

Отец Арсений

Посвящается памяти новых мучеников и исповедников российских

Отец Арсений. М., 1993. 302 с.

<http://pstgu.ru>

“Друг друга тяготы носите,
и тако исполните закон Христов”
(Гал. 6; 2)
Можно умереть,
но остаться жить для людей,
и можно остаться жить,
но быть погибшим.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ.....	3
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ.....	3
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИЗНИ ОТЦА АРСЕНИЯ	5
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ	6
ЛАГЕРЬ.....	7
БАРАК.....	8
БОЛЬНЫЕ	9
ПОПИК	12
“ПРЕКРАТИТЕ СЯЕ”	15
ВЫЗОВ МАЙОРА	16
ЖИЗНЬ ИДЕТ	19
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО	20
“ГДЕ ДВОЕ ИЛИ ТРОЕ СОБРАНЫ ВО ИМЯ МОЕ”.....	20
НАДЗИРАТЕЛЬ СПРАВЕДЛИВЫЙ	23
“МАТЕРЬ БОЖИЯ! НЕ ОСТАВИ ИХ!”	24
МИХАИЛ.....	28
“ТЫ С КЕМ, ПОП?”	31
САЗИКОВ.....	34
ИСПОВЕДЬ	34
“НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ”	35
ЭТАП.....	37
“ОСТАНОВИТЕСЬ!”	38
РАДОСТЬ	39
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.....	40
ДОПРОС	42
ВСЕ МЕНЯЕТСЯ.....	44
ПРОЩАНИЕ	45
ОТЪЕЗД	48
Отец Арсений	49
Часть вторая.....	49
ПУТЬ	49
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ	49
ВСПОМИНАЮ	50
ВСТРЕЧИ.....	56
ДОЛГИЕ ГОДЫ	58
Отец Арсений.....	84
Часть третья.....	84
ДЕТИ.....	84
ВЗБРАННОЙ ВОЕВОДЕ ПОБЕДИТЕЛЬНАЯ.....	84
ОТЕЦ МАТВЕЙ.....	87
ОТЕЦ ПЛАТОН СКОРИНО	91
МАТЬ МАРИЯ	97
“МАТЕРЬ БОЖИЯ! ПОМОГИ!”	105
НА КРЫШЕ.....	109
ПРИЗНАНИЕ.....	113

ЗАПИСКА.....	118
ПАНИХИДА.....	118
Я РАЗНОШУ ПИСЬМА.....	118
ЛЕНА.....	120
КОРСУНЬ-ЕРШИ.....	123
ДО И ПОСЛЕ КОРСУНЬ-ЕРШИ 1971 г.....	131
О СЕБЕ.....	132
ЮЛЯ.....	133
ТРИ СМЕРТИ.....	137
ЕЩЕ РАЗ КОРСУНЬ–ЕРШИ.....	140
ПИСЬМА.....	143
НЕСКОЛЬКО ГРУСТНЫХ МЫСЛЕЙ.....	143
ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ. РАССКАЗ НАДЕЖДЫ ПЕТРОВНЫ 1972 г.....	144
Отец Арсений Часть четвертая. ПУТЬ К ВЕРЕ.....	147
ПЛОТИК.....	147
МОСТ.....	150
ДОБРОЕ СЛОВО.....	153
ВЫСОТА.....	159
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ.....	169
МИЛОСТЬ ГОСПОДА.....	173
СЛЕДОВАТЕЛЬ.....	183
ВОСПОМИНАНИЯ А. Ф. БАТУРИНОЙ (ОТРЫВОК ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ).....	187
СЕЛО КРЯЖИ.....	187
ВАЛЕНТИНА.....	195
ИРИНА НИКОЛАЕВНА – ДУНЯША.....	198
Отец Арсений Часть пятая. ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО СВОЕГО.....	202
БЕСЕДА.....	203
ОТЕЦ ИЛАРИОН.....	204
УШЕДШЕЕ – НАСТОЯЩЕЕ ОТЕЦ ИЛАРИОН.....	207
ПСИХИАТР.....	210
ВСТРЕЧА С ДАНИИЛОМ МАТВЕЕВИЧЕМ.....	214
БЕСЕДА.....	221
КРОССВОРД.....	223
ЮРИЙ И КИРА.....	224
АРХИЕПИСКОП.....	233
ОДИНОЧЕСТВО.....	236
РАЗВЕДЧИК.....	238
ОТЕЦ СЕРАФИМ.....	244
ОТЕЦ ОЛЕГ.....	253
ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ.....	256
ПОЭТЫ “СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА”.....	258
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ АРСЕНИИ И ЕГО ДУХОВНЫХ ДЕТЯХ, БЕСЕДЫ ОТЦА АРСЕНИЯ, ЗАПИСАННЫЕ КИРОЙ БАХМАТ.....	269
ЕЩЕ О НАШЕЙ ОБЩИНЕ.....	275
ИСЦЕЛЕНИЯ.....	280
О МОЛИТВЕ.....	281
ВОСПОМИНАНИЯ ОТЦА АРСЕНИЯ.....	284
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВОСПОМИНАНИЯМ ОБ ОТЦЕ АРСЕНИИ.....	290

“Отец Арсений” – это сборник литературно обработанных свидетельств очевидцев о жизни современного исповедника – их духовного отца, а также их рассказы о своей жизни. Первые издания распространились по всей России и за ее пределами и сделали книгу “Отец Арсений” одной из самых любимых в православном мире. Книга переведена и издана на английском и греческом языках. Она явила образ святого, внутренне тождественный православной святости всех времен, но имеющего неповторимые черты подвижника нового времени. В новом издании впервые печатается пятая часть “Возлюби ближнего своего”, переданная издателям после выхода в свет предыдущих изданий.

Содержание

- Предисловие к четвертому изданию
 - Предисловие к первому изданию
 - Краткие сведения о жизни о. Арсения
 - Часть первая. ЛАГЕРЬ
 - Часть вторая. ПУТЬ
 - Часть третья. ДЕТИ
 - Часть четвертая. ПУТЬ К ВЕРЕ
 - Часть пятая. ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО СВОЕГО
-

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ

После первого издания книги “Отец Арсений” прошло семь лет. За это время она неоднократно переиздавалась на русском языке, три раза – на греческом, на английском, готовятся издания и на других языках. Ее благотворное влияние на души наших современников огромно, многие благодаря этой книге обрели христианскую веру.

Но нашлись и скептики, заявившие даже в печати, что книга “Отец Арсений” – роман, главный герой которого является собирательным образом, а рассказы, из которых он состоит, – художественный вымысел. Эти попущенные Промыслом Божиим сомнения побудили человека, лично знавшего отца Арсения, Владимира Владимировича Быкова, написать свои воспоминания, помещенные в настоящем издании в качестве Послесловия.

Отец Арсений в последние годы жизни постоянно благословлял своих духовных чад записывать рассказы приезжавших к нему и свои собственные воспоминания, повествующие о том, как Бог помог обрести веру и пройти жизненный путь. Старец высказывал уверенность в том, что со временем эти записи помогут другим людям найти Бога, и выражал желание, чтобы будущий сборник был назван “Путь к вере”. С таким названием была напечатана четвертая часть в третьем издании книги, выпущенном в 1998 г. Материалы четвертой части были собраны и переданы в Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт В. В. Быковым. Но Владимир Владимирович сообщил, что есть еще воспоминания, которые авторы или их потомки пока что не давали для опубликования. В ответ на наши усиленные просьбы Владимир Владимирович снова стал настойчиво уговаривать владельцев драгоценных рукописей передать их для нового издания. Так появилась пятая часть книги, названная нами “Возлюби ближнего своего”. Она содержит шестнадцать неизданных прежде рассказов духовных детей отца Арсения, его солагерников и его собственных. В них находится много новых сведений о жизни о. Арсения, появляются подлинные имена близких к нему людей (А. Ф. Батурина, А. Ф. Берг, Юрий и Кира Бахмат и др.). Впервые издаваемые тексты сообщают нам о поездках отца Арсения к епископу Афанасию (Сахарову), о его связи с протоиереем Сергием Орловым (в тайном постриге – иеромонах Серафим), с протоиереем Александром Толгским, протоиереем Всеволодом Шпиллером. Оказывается, целый ряд хорошо известных нам людей, теперь уже почивших, близко знали отца Арсения и тайно общались с ним (Д. И. Мелихов, Т. Н. Каменева, Л. А. Дилигенская и др.). Нас не должна удивлять такая искусная и строгая конспирация – в новых воспоминаниях рассказывается, как жила духовная община отца Арсения в годы гонений и в последний период его жизни в Ростове Великом, как училась беречь свою тайну. Эта тайна и теперь еще не полностью открылась – мы не знаем подлинного мирского имени отца Арсения, не нашли названия храма, где он служил в Москве. Но мы благодарим Бога за благодатный дар приобщения к великому пастырскому подвигу замечательного старца и дивного чудотворца, столь близкого к нам по времени.

Протоиерей Владимир Воробьев
Февраль 2000 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Немногочисленные жизнеописания подвижников и мучеников XX века хотя и являют торжество любви над злом и смертью, столь характерное для древних житий святых мучеников, но редко в такой степени, как книга “Отец Арсений”, принадлежащая неизвестному составителю.

“Отец Арсений” – это сборник литературно обработанных свидетельств очевидцев о жизни современного святого-преподобного, исповедника – их духовного отца, также их рассказы о своей жизни.

Подлинность описываемых событий (отчасти скрытых именными именами и названиями) не вызывает сомнений. Кроме подтверждений еще живых учеников отца Арсения есть и внутренняя гарантия этой подлинности – сердце читателя радостно верит всему описываемому, так как не верить невозможно – перед нами истина в ее неподдельной красоте.

Еще в самиздатской машинописи замечательная книга широко распространилась и произвела сильнейшее воздействие на большой круг читателей. Она явила образ святого нашего времени, внутренне тождественный православной святости всех времен, но имеющего неповторимые черты подвижника нового времени. В чем же особенность этого недавнего подвига? Прежде всего – в духе времени. Первые христианские мученики ждали скорого конца света, но они духовно родились в молодой церкви, живущей чистой, духовной жизнью, еще не знавшей пресловутых “исторических грехов”. Если тогда из двенадцати учеников один стал предателем, то гонения XX века, образно говоря, часто только одного из двенадцати оставляли верным. Страшная атмосфера общего отречения, измены, предательства, непредставимый масштаб духовной и исторической катастрофы, миллионы людей, плененных ложью и вовлеченных в сатанинскую расправу над Христовой Церковью, над своим народом и своей страной, – все это повергало в уныние и отчаяние, производило ощущение обреченности, безнадежности, оставленности. Потеряв веру в Бога, прежде великая, православная Россия, стала беззащитным объектом для осуществления сатанинского плана небывалого в истории геноцида. Гражданская и Отечественная войны, десятки миллионов жертв искусственно создаваемого голода, десятки миллионов невинных, мучительно уничтожаемых в бесчисленных лагерях и тюрьмах. Прежде православный народ спаивается, приучается к обману, воровству и лжи как способу жизни, к насилию и разбою, к блуду и разврату, к систематическому уничтожению собственных детей. В дьявольском помрачении, увидев друг в друге врагов и ставши врагами, люди отдали свои силы и жизни на вековую бессмысленную войну, жестоко, безжалостно мучая друг друга. Они стали неспособны организовать свою народную жизнь, разучились трудиться, разучились любить, жить семейной жизнью, рожать и воспитывать детей.

Зло в его сущности нельзя победить злом, как огонь нельзя потушить огнем. Только крестная Христова любовь, в своем самоотвержении с верой и смирением претерпевающая любые муки и даже смерть, способна победить зло и вырвать у него уже погибающую, ослепленную и озлобленную человеческую душу. Нет сомнения в том, что Россия и Русская Православная Церковь живет и молится, кается и духовно обновляется только потому, что великое воинство святых мучеников, движимых любовью ко Христу, к Церкви, к заблудшему русскому народу, противостояло злу, отдавая себя на крест за веру Христову. Не будь их, давно бы уже не осталось у нас камня на камне. Но сегодня сама жизнь Русской Православной Церкви со всей очевидностью являет нам чудесные плоды подвига своих новых святых мучеников. Тем не менее дух этого мученического подвига очень часто остается непонятым и писателями, и читателями. Вероятно, потому, что в жизни этот дух им не встречался. Часто тех, кто претендует теперь быть преемниками и почитателями святых мучеников, на самом деле пасут уже совсем другие пастыри. Воспоминания оставили лишь немногие свидетели, тогда, когда сами подвижники давно уже переселились в вечные кровы.

В отличие от большей части лагерной литературы, производящей сильное, но тяжелое впечатление, “Отец Арсений” приобщает нас к победному, светлому духу Христовой любви, которая не помрачается окружающим адом, но сияет еще ярче, еще неугасимей.

Всякий, кого сподобил Господь лично общаться с исповедниками того времени, сразу узнает в отце Арсении образ святого старца, исполненного любви, смирения, кротости, христианского трезвения и рассуждения, пребывающего в молитве, давно вручившего себя всецело воле Божией, наделенного благодатными дарами прозорливости и чудотворений. Немногочисленный и потаенный, но все же целый сонм таких старцев-исповедников еще недавно являл собою исполнение древних пророчеств о святых последних времен. Именно через них и осуществилось духовное преемство, соединяющее нас сегодня с полнотой Русской Православной Церкви, с ее святыми.

Рукопись публикуется по существу без редакторской правки ради сохранения ее подлинности. Просим всех, кто знает что-либо о героях этой книги или о других подвижниках XX века, поделиться с нами своими сведениями.

Протоиерей Владимир Воробьев 1993 г.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИЗНИ ОТЦА АРСЕНИЯ

Отец Арсений родился в Москве в 1894 г. В 1911 г. окончил гимназию и поступил на историко-филологический факультет Московского Императорского Университета. В 1916г. окончил университет, болел эндокардитом более восьми месяцев. В это время он написал свои первые работы по искусству – древнему русскому зодчеству. В начале 1917 г. после периода духовных исканий он уехал в Оптину пустынь, где был послушником двух старцев – Анатолия и Нектария. Здесь совершился его монашеский постриг, затем он был рукоположен в иеромонаха. В 1919г. отец Арсений по благословению старцев вернулся в Москву и был определен третьим священником в один из Московских храмов. Для этого понадобилось специальное разрешение св. Патриарха Тихона, т.к. служение иеромонахов на приходах обычно не допускалось. В начале 1921 г. о. Арсений стал вторым священником, а в конце 1921 г., когда настоятель храма отец Павел был переведен и вскоре арестован, настоятелем стал отец Арсений. За восемь лет служения он собрал в своем храме значительную общину, для которой стал любимым пастырем и духовником. В 1927 г. в конце декабря отец Арсений был первый раз арестован и выслан в Архангельскую область на два года. После окончания срока ссылки отец Арсений служил в подмосковном храме (за пределами стокилометровой зоны). В 1931 г. – опять был арестован и сослан в Вологодскую область на пять лет. Теперь отец Арсений получил разрешение жить в Вологодской, Архангельской и Владимирской областях. Служить в храме было нельзя, служил дома. Несколько раз тайно приезжал в Москву, встречался с владыкой Афанасием (Сахаровым), просил его рукоположить нескольких своих духовных чад в священный сан, на что получил согласие владыки Афанасия. Тайно окормлял свою духовную общину. Затем – третий арест в 1939 г., новая ссылка в Сибирь, потом – на Урал. Около года отец Арсений пробыл в ссылке в с. Троицкое Архангельской обл. В мае 1940 г. – был вновь арестован и заключен в Уральский лагерь. В марте 1941 г. переведен в лагерь усиленного режима, переписка и приезды духовных чад почти прекратились, а в 1942 г. – в лагерь особого режима, где переписка и посещения окончательно были запрещены. Только весной 1958 г. отец Арсений был освобожден из лагеря особого режима и поселился в г. Ростове Великом у Надежды Петровны. Скончался отец Арсений в 1975 г. и был погребен на кладбище г. Ростова. На могиле его был положен гранитный камень с надписью:

Отец Арсений
1894-1975

Потом этот камень исчез; в каком состоянии и где находится могила, теперь неизвестно, т. к. все, кто ухаживал за нею, уже скончались.

Текст приводится по изданию:

Отец Арсений. Под редакций протоиерея Владимира Воробьева. Издание четвертое, дополненное. – М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, 2000. – 784 с.; илл.

Отец Арсений

Часть первая.

ЛАГЕРЬ

Содержание

- ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ
- ЛАГЕРЬ
- БАРАК
- БОЛЬНЫЕ
- ПОПИК
- “ПРЕКРАТИТЕ СИЕ”
- ВЫЗОВ МАЙОРА
- ЖИЗНЬ ИДЕТ
- СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
- “ГДЕ ДВОЕ ИЛИ ТРОЕ СОБРАНЫ ВО ИМЯ МОЕ”
- НАДЗИРАТЕЛЬ СПРАВЕДЛИВЫЙ
- “МАТЕРЬ БОЖИЯ! НЕ ОСТАВИ ИХ!”
- МИХАИЛ
- “ТЫ С КЕМ, ПОП?”
- САЗИКОВ
- ИСПОВЕДЬ
- “НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ”

- ЭТАП
 - “ОСТАНОВИТЕСЬ!”
 - РАДОСТЬ
 - ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
 - ДОПРОС
 - ВСЕ МЕНЯЕТСЯ
 - ПРОЩАНИЕ
 - ОТЪЕЗД
-

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ

В последние годы появилось много воспоминаний о жизни политических заключенных во времена “культы личности”.

Пишут ученые, военные, писатели, старые большевики, интеллигенты самых разных профессий, рабочие, колхозники. Пишут о своей жизни в лагерях и тюрьмах, о допросах, но никто еще не рассказал нам о миллионах верующих, погибших в этих лагерях, тюрьмах или переживших небывалые страдания на допросах.

Страдали и умирали они за веру свою, за то, что не отреклись от Бога и, умирая, славили Его, и Он не оставлял их.

“Положить печать на уста своя” – значит предать забвению страдания, муки, подвижнический труд и смерть многих миллионов мучеников, пострадавших Бога ради и нас, живущих на земле.

Не забыть, а рассказать должны мы об этих страдальцах, это наш долг перед Богом и людьми.

Лучшие люди Русской Православной Церкви погибли в это трудное время: иереи и епископы, старцы, монахи и просто глубоко верующие люди, в которых горел неугасимый огонь веры, по силе своей равный, а иногда и превосходящий силу веры древних христиан-мучеников.

В этих воспоминаниях предстает пред нами один, только один из многочисленных подвижников. А сколько было их, погибших за нас!

Двадцать веков копило человечество многочисленные знания, христианство принесло Свет и Жизнь людям, но в двадцатом веке люди отобрали из многочисленного арсенала знаний только зло и, помножив на достижения науки, доставили миллионам людей величайшие и длительнейшие страдания и мучительную смерть. Господь привел меня пройти малую часть лагерного пути с отцом Арсением, но и этого достаточно, чтобы обрести веру, стать его духовным сыном, пойти путем его, понять и увидеть его глубочайшую любовь к Богу и людям и познать – что такое настоящий христианин.

Прошлое не должно быть утеряно, на прошлом, как на фундаменте, утверждается новое, поэтому собрать воедино часть жизненного пути о. Арсения я посчитал своим долгом.

Для того чтобы собрать драгоценные сведения об о. Арсении, мне пришлось обратиться к памяти его духовных детей, письмам, когда-то написанным им друзьям и духовным детям, и воспоминаниям, написанным людьми, знавшими его.

Духовные дети о. Арсения были многочисленны, и там, где поселял его Господь, появлялись они вокруг него, был ли это город, где он, ученый-искусствовед, принял иерейство и организовал в полузабытом приходе общину, деревня, куда его забросила ссылка, или затерянный в бескрайних лесах Севера маленький городок, или страшный лагерь “особого режима”.

Интеллигенция, рабочие, крестьяне, уголовники, политические заключенные – старые большевики, работники органов, соприкасаясь с ним, становились его духовными детьми, друзьями, верующими и шли за ним. Да! Многие, узнав его, шли за ним.

Каждый, знавший о. Арсения, рассказывал мне, что он видел и знал о нем.

Встречаясь с о. Арсением, я старался узнать о его жизни, но, хотя он вел со мною много бесед, о себе рассказывал мало. Кое-что мне удалось записать еще при его жизни, и, давая ему на просмотр записки, я спрашивал: “Так ли это было?” – и он всегда говорил мне: “Да, было”, – но обязательно добавлял: “Господь всех нас водил по многим дорогам, и у каждого человека, если внимательно присмотреться к его жизни, есть много достойного внимания и описания. Моя жизнь, как и каждого живущего, всегда переплеталась или шла рядом с жизнью других людей. Много было всего, но все и всегда было от Господа”.

Часто по несколько раз он исправлял неточности в написанном. Для удобства изложения воспоминаний некоторые события сдвинуты мною во времени, переименованы названия мест и имен почти всех участников, так как многие еще живы, а время переменчиво.

Труден был поиск, но в результате появились эти воспоминания, письма и записки, хотя и несовершенные по своему изложению, но воссоздавшие образ и жизнь о. Арсения.

Начиная свою работу, я не представлял вначале, какой соберу материал и объем книга, но теперь отчетливо вижу, что будет три части: “Лагерь” – первая часть, и Вы прочтете ее сейчас, вторая часть – “Путь”, в которую войдут отдельные письма, воспоминания, рассказы людей, знавших и знающих о. Арсения. Вторая часть написана, но требует доработки, а для третьей части собран многочисленный материал, над которым надо еще много работать. Молю Господа помочь мне.

Было бы самонадеянным говорить: “Я написал, я собрал”. Писали, собирали, посылали мне свои записки многие и многие десятки человек, знающие и любящие о. Арсения, и это им принадлежит написанное. Я лишь пытался, как и все, кого возрастил и поставил на путь веры о. Арсений, трудом своим отдать малую часть неоплатного долга человеку, спасшему меня и давшему мне новую жизнь.

Прочтя записки, помяните о здравии раба Божия Александра, и это будет мне великой наградой.

ЛАГЕРЬ

Темнота ночи и жестокий мороз сковывали все, кроме ветра. Ветер нес снежные заряды, которые, крутясь, разрывались в воздухе, превращались в облака мелкого колючего снега. Налетая на препятствия, ветер кидал клочья снега, подхватывал с земли новые и опять рвался куда-то вперед.

Иногда внезапно наступало затишье, и тогда среди темноты ночи высвечивалось на земле гигантское пятно света. В полосах света лежал город, раскинувшийся в низине. Бараки, бараки и бараки покрывали землю.

Вышки со стоящими на них прожекторами и часовыми уходили за горизонт. Струны колючей проволоки, натянутой между столбами, образовывали несколько заградительных рядов, между которыми лежали полосы ослепительного света от прожекторов.

Между первым и последним рядами колючей проволоки лениво бродили сторожевые собаки.

Лучи прожекторов срывались с некоторых вышек и бросались на землю, скользили по ней, взбирались на крыши барачных корпусов, падали с них на землю и опять бежали по территории лагеря, окруженного проволокой.

Часть прожекторов вылизывала пространство за пределами лагеря и, обожав определенный сектор, возвращалась к рядам колючей проволоки, чтобы через несколько мгновений начать повторный бег.

Солдаты с автоматами, стоя на вышках, непрерывно просматривали пространство между рядами проволочных заграждений. Затишье длилось недолго, ветер опять внезапно срывался, и все снова ревело, гудело, выло, колючий снег заволакивал яркое пятно света, и темнота охватывала долину.

Лагерь особого назначения еще спал, но вдруг раздался удар по висевшему рельсу, сперва один, у входа в лагерь, а затем под ударами зазвенели стальные рельсы в разных местах лагеря.

Прожекторы на вышках судорожно заметались, ворота лагеря открылись, и в зону стали въезжать один за другим крытые грузовики с “воспитателями”, надзирателями, работниками по режиму и вольнонаемными.

Машины разъезжались по территории лагеря, останавливались у барачных корпусов, из грузовиков выскакивали люди и по четыре человека шли к барачному корпусу, обходили его со всех сторон, проверяли сохранность решеток на окнах, наличие замков на дверях, отсутствие подкопов стен или других признаков, свидетельствующих о побегах заключенных.

Осмотрев и убедившись, что ничего не повреждено, надзиратели отпирали двери барачных корпусов, и в это время прожекторы еще более судорожно продолжали метаться, а часовые внимательно оглядывали с вышек лагерь. Собаки между рядами проволоки начинали нервно обегать свой участок.

Лагерь особого назначения начинал свой трудовой день. Тысячи, десятки тысяч заключенных приступали к работе.

Темнота медленно светлела, наступал серый северный зимний рассвет, но ветер по-прежнему рвал снег, кидал его в воздух, выл и гудел, встречаясь с малейшим препятствием, и все дальше и дальше нес жесткий, колючий снег.

За пределами зоны лагеря, недалеко от него, горело несколько костров, пламя которых то вспыхивало, то затухало.

Костры горели и днем и ночью беспрерывно, отогревая мерзлую землю для братских могил, в которых хоронили умерших заключенных. Лагерь ежедневно посылал туда сотни и десятки своих жителей, отдавая этим дань установленному лагерному режиму.

БАРАК

Лагерь “особого режима” ожил. Хлопали двери барачков, заключенные выбегали на улицу для проверки, строились. Раздавались крики, ругань, кого-то били.

Холод, пронизывающий ветер и темнота сразу охватывали заключенных. Строясь побригадно в колонны, шли они на раздачу “пайки” и оттуда к месту работы.

Барак опустел, но запахи прелой одежды, человеческого пота, испражнений, карболки наполняли его.

Казалось, крики надзирателей, отзвуки потрясающей душу ругани, человеческих страданий, смрад уголовщины еще оставались в опустевшем бараке, и от этого становилось до отвратительности тоскливо среди голых скамей и коридора нар. Тепло, оставшееся в бараке, делало его жилым и смягчало чувство пустоты.

Двадцать семь градусов мороза, порывистый ветер были сегодня страшны не только ушедшим на работы заключенным, но и сопровождавшей их и тепло одетой охране.

Те, кто несколько минут тому назад покинули барак, выходили на улицу со страхом, их ждала работа, пугавшая каждого непонятностью требований, бессмысленной жестокостью и непреодолимыми трудностями, создаваемыми лагерным начальством.

Выполняемая заключенными работа была нужна, но все делалось так, чтобы труд стал невыносим. Все становилось трудным, мучительным и страшным в лагере “особого режима”, все делалось для того, чтобы медленно привести людей к смерти. В лагерь направляли “врагов народа” и уголовников, преступления которых карались только смертью – расстрелом и заменялись им заключением в “особый”, из которого выход был почти невозможен.

Отец Арсений, в прошлом Стрельцов Петр Андреевич, а сейчас “зек” – заключенный № 18376 – попал в этот лагерь полгода тому назад и за это время понял, как и все живущие здесь, что отсюда никогда не выйти.

На спине, шапке и рукавах был нашит лагерный номер – 18376, что делало его похожим, как и всех заключенных, на “человека-рекламу”.

Ночь переходила в темный рассвет и короткий полутемный день, но сейчас фонари и прожекторы еще освещали лагерь.

Отец Арсений был постоянным барачным “дневальным”, колол около барака дрова и носил их охапками к барачным печам.

“Господи! Иисусе Христе, Сыне Божий! Помилуй мя грешного”, – беспрерывно повторял он, совершая свою работу.

Дрова были сырые и мерзлые, кололись плохо. Топора или колуна в “зону” не давали, поэтому колол поленья деревянным клином, загоняемым в трещину другим поленом.

Тяжелое и мерзлое полено скользило и отскакивало в слабых руках о. Арсения и никак не могло попасть по торцу забиваемого клина. Работа шла медленно.

Неимоверная усталость, глубокое истощение, изнурительный режим лагерной жизни не давали возможности работать – все было тяжело и трудно. К приходу заключенных огромный барак должен быть натоплен, подметен и убран. Не успеешь – надзиратель направит в карцер, а заключенные изобьют.

Бить в лагере умели и били в основном политических. Начальство било для воспитания страха, а уголовники избивали “отводя душу”, и скопившаяся ненависть и жестокость выходили наружу. Били кого-нибудь каждый день, били умеючи, с удовольствием и радостью. Для уголовников это было развлечением.

“Господи! Помилуй мя грешного. Помогите мне. На Тя уповаю, Господи и Матерь Божия. Не оставьте меня, дайте силы”, – молился о. Арсений и, изнемогая от усталости, охапку за охапкой переносил к печам дрова.

Пора было затапливать, печи совершенно остыли и не давали больше тепла. Разжигать печи было нелегко: дрова сырые, сухой растопки мало. Вчера о. Арсений набрал сухих щепок, положил в уголок около одной из печей, подумав: “Положу на сохранение сушняк, а завтра дрова быстро ими разожгу”. Пошел сегодня за сушняком, а уголовная шпана взяла и назло облила водой.

Подошло время разжигать печи, запоздаешь – не прогреется барак к приходу заключенных. Кинулся о. Арсений искать березовую кору или сухих щепок в дровах за бараком, а сам творит

молитву Иисусову: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Помилуй мя грешного, – и добавляет: – Да будет воля Твоя”.

Дрова за бараком перебрал и увидел, что ни коры, ни сушняка нет, как растапливать печи – не придумаешь.

Пока о. Арсений перебирал дрова, из соседнего барака вышел дневальный, старик, уголовник больших статей, жестокости непомерной. Говорили, что еще в старое время на всю Россию гремел. Дел за ним числилось такое множество, что даже забывать стал.

О своих делах не рассказывал, а за то малое, что следователь узнал, дали “вышку” – расстрел, да заменили “особым”, что для старых уголовников иногда было хуже. Расстрел получил и сразу отмучился, а в “особом” смерть мучительная, медленная. Те, кто из “особого” случайно выходили, становились полными инвалидами, поэтому, попав сюда, люди ожесточались, и выливалось это ожесточение в ток, что били политических и своих же уголовников насмерть.

Этот уголовник держал в строгости весь свой барак, и начальство его даже побаивалось. Случалось, мигнет ребятам – и готов несчастный случай, а там – веди следствие.

Звали старика “Серый”, по виду ему можно было дать лет шестьдесят, внешне казался добродушным. Начинал говорить с людьми ласково, с шутками, а кончал руганью, издевательством, побоями.

Увидал, что о. Арсений несколько раз перебирал дрова, крикнул: “Чего, поп, ищешь?” – “Растопку приготовил с вечера, а ее водой для смеха залили, вот хожу и ищу сушняк. Дрова сырые, что делать – ума не приложу”.

“Да, поп, без растопки тебе хана”, – ответил Серый. “Народ, с работы придя, замерзнет, вот что плохо, да и меня избыют”, – проговорил о. Арсений.

“Идем, поп! Дам я тебе растопку”, – и повел о. Арсения к своим дровам, а там сушняка целая поленица.

Мелькнула у о. Арсения мысль: шутку придумал Серый, знал его характер и помощи от него не ждал. “Бери, о. Арсений, бери, сколько надо”.

Стал о. Арсений собирать сушняк и думает: “Наберу, а он меня на потеху другим бить начнет и кричать: “Поп вор!”, но тут же удивился, что назвал его Серый “отец Арсений”. Прочел про себя молитву, крестное знамение мысленно положил и стал собирать сушняк. “Больше бери, о. Арсений! Больше!” Нагнулся Серый и сам стал собирать сушняк и понес охапку следом за о. Арсением в барак. Положили сушняк около печей, а о. Арсений поклонился Серому и сказал: “Спаси тебя Бог”. Серый не ответил и вышел из барака. Отец Арсений разложил в печах растопку стоечкой, обложил дровами, поджег, и огонь быстро охватил поленья в первой печи, успевай только забрасывать дрова, носил их к печам, убирал барак, вытирал столы и опять, и опять носил дрова.

Время подходило к трем часам дня, печи раскалились, в бараке постепенно теплело, запахи от этого стали резче, но от тепла барак стал близким и уютным.

Несколько раз в барак приходил надзиратель, и, как всегда, первыми его словами была озлобленная матерная ругань и угрозы, а при одном заходе в барак увидел на полу щепку, ударил о. Арсения по голове, но не сильно. Ношение дров и непрерывное подбрасывание их в печи совершенно обессилили о. Арсения, в голове шумело от слабости и усталости, сердце сбивалось, дыхания не хватало, ноги ослабли и с трудом держали худое и усталое тело. “Господи! Господи! Не остави меня”, – шептал о. Арсений, сгибаясь под тяжестью носимых дров.

БОЛЬНЫЕ

В бараке о. Арсений был не один, оставалось еще трое заключенных. Двое тяжело болели, а третий филонил, нарочно повредив себе руку топором. Валяясь на нарах, он временами засыпал и, просыпаясь, кричал: “Топи, старый хрен, а то холодно. Слезу – в рыло дам”, – и тут же опять сразу засыпал.

Другие двое лежали в тяжелом состоянии, в больницу не взяли, все было переполнено. Часов в двенадцать зашел в барак фельдшер из вольнонаемных, посмотрел на больных и, не прикасаясь к ним, громко сказал, обращаясь к о. Арсению: “Дойдут скоро, мрут сейчас много. Холода”. Говорил, не стесняясь, что двое лежащих слышат его. Да и почему ему было не говорить, все равно рано или поздно должны они были умереть в “особом”.

Подойдя к третьему больному, повредившему себе руку и сейчас демонстративно стонавшему, сказал: “Не играй придурка, завтра тебе на работу, а пересолишь – за членовредительство в карцере отдохнешь”.

В перерывах между рубкой дров, топкой печей и уборкой барака о. Арсений успевал подходить к двум тяжелобольным и, чем мог, помогать.

“Господи Иисусе Христе! Помоги им, исцели. Яви милость Твою. Дай дожить им до воли”, – беспрерывно шептал он, поправляя грубый тюфяк или прикрывая больных. Время от времени давал воду и лекарство, которое фельдшер небрежно бросил больным. В “особом” основным лекарством считали аспирин, которым лечили от всех болезней.

Одному, наиболее тяжелому больному и физически слабому, о. Арсений дал кусок черного хлеба от своего пайка. Кусок составлял четверть дневного пайка.

Размочив хлеб в воде, стал кормить больного, тот открыл глаза и с удивлением посмотрел на о. Арсения, оттолкнул его руку, но о. Арсений шепотом сказал: “Ешьте, ешьте себе с Богом”. Больной, глотая хлеб, произнес со злобой: “Ну тебя с Богом! Чего тебе от меня надо? Чего лезешь? Думаешь, сдохну – что-нибудь от меня достанется? Нет у меня ничего, не крутись”.

Отец Арсений ничего не ответил, заботливо закрыл его и, подойдя к другому больному, помог ему перевернуться на другой бок, а потом занялся делами барака.

Растопку, что дал Серый, хоронить не стал, а положил на виду, у одной из печей. Чего убирать-то, вчера убрал, а получилось плохо, а сегодня Бог помог.

Собрался было “нарубить” дров на завтра, вышел из барака, но потом решил, что все равно истопники других бараков растащат все до проверки. Печи накалились, и от них несло жаром. Отец Арсений радовался – придут люди с мороза, отогреются и отдохнут.

Во время этих размышлений вошел надзиратель, на вид ему можно было дать лет тридцать. Всегда веселый, улыбающийся, радостный, прозванный за это заключенными “Веселый”.

“Ты что, поп, барак натопил, словно баню? В карцер захотел? Дрова народные для врагов народа переводишь. Я тебе, шаман, покажу”, – и, засмеявшись, ударил наотмашь по лицу и, улыбаясь, вышел.

Вытирая кровь, о. Арсений повторял слова молитвы: “Господи, не остави меня грешного, помилуй”.

Филонивший Федька сказал: “Ловко он, подлюга, тебя в морду двинул, с весельем, а за что – и сам не знает”. Через час Веселый опять появился в бараке и, войдя, закричал: “Проверка, встать”.

С нар соскочил Федька, а о. Арсений вытянулся с метлой, которой только что подметал барак.

“Кто еще в бараке?” – кричал надзиратель, хотя уже утром производил проверку и знал, кто оставался.

“Двое освобожденных, лежачих больных, и третий на выписке, ходячий”.

Веселый пошел по коридору, образуемому нарами, и, увидев двух лежачих больных, понял, что встать они не могут, но для вида раскричался, однако подойти побоялся – а вдруг зараза какая.

“Ты смотри, поп, чтобы порядок был, скоро позовут куда надо, там запоешь”, – и, скверно ругаясь, вышел. День был на исходе, быстро темнело, и заключенные вот-вот должны были прийти с работы. Приходили обмерзшие, усталые, озлобленные, обессиленные и, добравшись до нар, почти в беспомощности валились на них.

С приходом заключенных барак наполнился холодом, сыростью, злобной руганью, выкриками, угрозами.

Через полчаса после прихода водили на обед. Время обеда для многих заключенных было временем страдания. Уголовники отнимали все, что могли, и били при этом нещадно, те, кто был слаб и не мог постоять за себя, часто лишались еды.

Политических в бараке было значительно больше, чем уголовников, однако уголовники держали всех живущих в бараке, особенно политических, в жестоком режиме.

Ежедневно какая-то часть политических лишалась пайки, что являлось невыносимым страданием. Усталые, голодные, вечно продрогшие заключенные постоянно мечтали о еде как о чем-то единственно радостном в этой обстановке. Во время обеда люди отогревались и частично утоляли чувство голода.

Обед был жалким, порции ничтожны, продукты полугнилые и почему-то часто пахли керосином.

И этот скудный обед, который не восстанавливал затраченных сил и был рассчитан на медленное истощение заключенных, мог быть отнят, ни один политический не был уверен, что сегодня он съест его.

Отец Арсений, попав в “особый”, часто лишался обеда, но никогда не роптал. Останется без обеда, придет в барак, ляжет на нары и начинает молиться.

Вначале кружилась голова, знобило от холода и голода, сбивались мысли, но, прочтя вечерню, утреню, акафист Божией Матери, Николаю Угоднику и своему святому Арсению, помянув своих

духовных детей, всех усопших, кого сохранила память, и так, бывало, всю ночь молится, а утром встает – и как будто силы есть, спал и сыт.

Духовных детей у о. Арсения было много и на воле и в лагерях, и душа его болела за них. Раньше в простых лагерях получал иногда письма, а когда перевели в “особый”, все кончилось.

В “особый” переводили опасных заключенных, переводили умирать без расстрела, от установленного режима.

Духовные дети о. Арсения считали, что он умер. Обращались в органы, а там ответ один: если перевели в лагерь “особого режима” – “не значит”.

...Было темно, колонны заключенных одна за другой входили в зону и растекались по баракам. Бараки оживали. В бараке о. Арсения сегодня было жарко, ребята входили злые, усталые, но, входя в теплый барак, радовались и ругались больше для порядка. Отца Арсения не били и при обеде пайку не отняли, то ли случайно, то ли у других шаршили.

Двум лежачим больным досталась от обеда только половина пайкового хлеба, да о. Арсений от себя кусок прогорклой трески спрятал за пазуху.

Придя в барак, о. Арсений стал кормить больных: нагрел воду с хвоей, добавил аспирин и обоих напоил. Хлеб и треску разделил пополам и дал каждому.

Дней через пять пошли больные на поправку, стало видно, что останутся живы, но лежали еще недвижны и шагу сделать не могли. Все это время о. Арсений урывками и ночами ухаживал за ними и делился частью своего пайка.

Что это за люди, о. Арсений не знал. Попали в барак больными с этапа, почти в беспамятстве, и поэтому никто их толком не знал. Заботы о. Арсения больные принимали холодно, но обойтись без него не могли, и, если бы не он, то давно бы им лежать в мерзлой земле. О себе не рассказывали, а о. Арсений и не спрашивал, по лагерным обычаям не полагалось, да и ни к чему это было. Сколько таких людей видел он по лагерям, не счесть. Бывало, выходит больного, расстанется и никогда больше не увидит. Да разве всех запомнишь!

Как-то от одного больного о. Арсений узнал, что зовут его Сазиков Иван Александрович. Молча подавая Сазикову еду или лекарство, о. Арсений молился по своему обыкновению, и губы его беззвучно двигались, шепча слова молитвы. Заметив это, Иван Александрович проговорил: “Молишься, папаша! Грехи замаливаешь и нам поэтому помогаешь. Бога боишься! а ты Его видел?”

Посмотрел о. Арсений на Сазикова и с удивлением произнес: “Как же не видел, Он здесь, посреди нас, и соединяет сейчас нас с Вами”.

“Да что, поп, говоришь, в этом бараке – и Бог!” – и засмеялся. Посмотрел о. Арсений на Сазикова и тихо сказал: “Да! Вижу Его присутствие, вижу, что душа ваша хоть и черна от греха и покрыта коростой злодеяний, но будет в ней место и свету. Придет для тебя, Серафим, свет, и святой твой, Серафим Саровский, тебя не оставит”.

Исказилось лицо Сазикова, задрожал весь и с ненавистью прошептал: “Пришибу, поп, все равно пришибу. Знаешь много, только понять не могу – откуда?”

Отец Арсений повернулся и пошел, повторяя про себя: “Господи! Помилуй мя грешного”. Время шло, работы надо было сделать много, и, совершая ее, читал о. Арсений акафисты, правила про себя, по памяти, вечерню, утреню, иерейское правило.

Второй больной был из репрессированных, стал постепенно поправляться. История его была самая обыкновенная, таких историй в лагере были тысячи, все одна на другую похожие.

Революцию Октябрьскую “делал”, член партии с семнадцатого года, Ленина знал, армией командовал в 1920г., в ЧК занимал большой пост, приговоры “тройки” утверждал, а последнее время в НКВД работал членом коллегии, но теперь его послали умирать в лагерь особого назначения.

В бараке репрессированные разные были, одни за глупое слово умирали, большинство попало по ложным доносам, другие за веру, третьих – идейных коммунистов – кому-то надо было убрать, так как стояли поперек дороги.

Всем им, сюда попавшим, необходимо было рано или поздно умереть в “особом”. Всем!

Был идейным и Авсеенков Александр Павлович. Как фамилию эту называли, сразу вспомнил о. Арсений этого человека. Часто упоминалась эта фамилия в газетах, да и приговор о. Арсению утверждал Александр Павлович.

Когда постановление “тройки” о расстреле о. Арсения “за контрреволюционную деятельность” и о замене расстрела пятнадцатью годами “лагеря особого режима” зачитывали, фамилия эта запомнилась.

Авсеенков был уже в годах, с виду лет около сорока-пятидесяти, но лагерная жизнь наложила на него тяжелый отпечаток, в лагере ему было труднее многих.

Голод, изнурительная работа, избиения, постоянная близость смерти – бледнели перед сознанием, что вчера еще он сам посылал сюда людей и искренно верил тогда, подписывая приговоры, на основании решения “тройки”, что посланные в лагерь люди или приговоренные к расстрелу были действительно “враги народа”.

Попав в лагерь и соприкоснувшись с заключенными, отчетливо понял и осознал, что совершал дело страшное, чудовищное, послав на смерть десятки и сотни тысяч невинных людей.

Не видя с высоты своей должности истинного положения вещей и событий, потерял правду, верил протоколам допросов, льстивым словам подчиненных, сухим директивам, а связь с живыми людьми и жизнью потерял.

Мучился безмерно, переживал, но ничего решить для себя Авсеенков не мог. Сознание духовной опустошенности и ущербности сжигало его. Был молчалив, добр, делился с людьми последним, уголовников и начальства не боялся.

В гневе был страшен, но головы не терял, за обижаемых вступался, за что и попадал часто в карцер.

Привязался Авсеенков к о. Арсению, полюбил его за доброту и отзывчивость. Бывало, часто говорил о. Арсению:

“Душа-человек Вы, о. Арсений (в бараке большинство заключенных звало о. Арсения – “отец Арсений”), – вижу это, но коммунист я, а Вы служитель культа, священник. Взгляды у нас разные. По идее я должен бороться с Вами, так сказать, идеологически”.

Отец Арсений улыбнется и скажет:

“Э! Батенька! Чего захотели, – бороться. Вот боролись, боролись, а лагерь-то Вас с Вашей идеологией взял да и поглотил, а моя вера Христова и там, на воле, была и здесь со мною. Бог всюду один и всем людям помогает. Верю, что и Вам поможет!”

А как-то раз сказал: “Мы с Вами, Александр Павлович, старые знакомые. Господь нас давно вместе свел и встречу нам в лагере уготовил”.

“Ну! Уж это Вы, о. Арсений, что-то путаете. Откуда я мог Вас знать?”

“Знали, Александр Павлович. В 1933 году, когда дела церковные круто решались, брата нашего – верующих – сотнями тысяч высылали, церковью видимо-невидимо позакрывали, так я тогда по Вашему ведомству первый раз проходил. Кого, куда?”

Первый приговор Вы мне утвердили в 1939 году, опять же по Вашей “епархии”. Только одну работу в печать сдал, взяли меня по второму разу и сразу приговорили к расстрелу. Спасибо Вам, расстрел “особым” заменили. Вот так и живу по лагерям и ссылкам, все Вас дожидался, ну наконец и встретились.

Бога ради не подумайте, что я хочу упрекнуть Вас в чем-то, во всем воля Божия, и моя жизнь в общем океане жизни – капля воды, которую Вы и запомнить, естественно, в тысячном списке приговоренных не могли. Одному Господу все известно. Судьба людей в Его руках”.

ПОПИК

Жизнь и работа в лагерях нечеловеческая, страшная. Каждый день к смерти приближает и часто года вольной жизни стоит, но, зная это, не хотели заключенные, не желали умирать духовно, пытались внутренне бороться за жизнь, сохранить дух, хотя это и не всегда удавалось.

Говорили, спорили о науке, жизни, религии, иногда читали лекции об искусстве, научных открытиях, устраивали маленькие литературные вечера, воспоминания, читали стихи.

На общем фоне жестокости, грубости и сознания близкой неизбежной смерти, голода, крайней степени истощения и постоянного присутствия уголовников это было поразительно.

“Особый” жил страхом, насилием, голодом, но заключенные часто стремились найти друг в друге поддержку, и это помогало жить.

Авсеенков, наблюдая жизнь заключенных, пришел к выводу, что в среднем больше двух лет редко кто выживал в “особом”, и думал: а сколько еще осталось ему? В зависимости от волны арестов в барак попадали инженеры, военные, церковники, ученые, артисты, колхозники, писатели, агрономы, врачи, и тогда в бараке невольно возникали “землячества”, состоящие из людей этих профессий.

Все были забиты, но тем не менее можно было видеть желание этих людей не забыть своего прошлого, своей профессии. Все вспоминалось в совместных разговорах.

Особенно жаркими были споры, возникавшие по любому поводу, люди горячились, старались доказать только свое, при этом каждый говорил так, как будто от его доказательства зависит исход любых событий и решений.

Отец Арсений в спорах не участвовал, ни к кому не примыкал, был со всеми общителен и ровен. Начнется спор, а о. Арсений отойдет к своему лежаку, сядет на него и начнет про себя молиться.

Интеллигенция барака относилась к о. Арсению снисходительно. “Одно слово попик, да еще притом весьма sereneкий, добрый, услужливый, но культуры внутренней почти никакой нет, потому так и в Бога верит, другого-то ничего нет за душой”. Такое мнение было у большинства. Случилось как-то, что собралось в бараке человек десять-двенадцать художников, писателей, искусствоведов, артистов.

Придут, бывало, с работ, в “столовую” сбегают, отдохнут, пройдет проверка, запрут барак, ну и начинаются разговоры: о театре, литературе, медицине, искусстве, – оживятся, спорят.

Как-то зашел разговор о древней русской живописи и архитектуре, и один заключенный высокого роста, сохранивший даже в лагере барственный осанку и манеры, с большим апломбом и жаром рассуждал об этих предметах. Собравшиеся с большим интересом слушали его.

Говорил “высокий” веско, со знанием дела и удивительно утвердительно. Во время разговора этого проходил мимо собравшихся о. Арсений, а “высокий”, как оказалось впоследствии, искусствовед и профессор, снисходительно обратился к о. Арсению:

“Вы, батюшка, очень верующий и духовного звания, так не скажите ли нам, как Вы оцениваете связь православия с древней русской живописью и архитектурой, и есть ли такие связи?” Сказал и улыбнулся. Все окружающие засмеялись. Сидевший недалеко Авсеенков и слышавший этот разговор тоже невольно улыбнулся.

Таким нелепым показался всем этот вопрос, заданный о. Арсению. Кто пожалел его, а кто и захотел посмеяться.

Все отчетливо понимали, что этот простецкий попик, каким был о. Арсений, ничего не ответит, не сможет ответить, так как ничего не знает. Понимали, что вопрос издевательский. Отец Арсений куда-то шел, остановился, вопрос выслушал, усмешки заметил и сказал:

“Сейчас, я сейчас, только вот дело доделаю”, – и побежал дальше.

“А попик-то не дурак, от срама сбежал”. “Да, русское духовенство всегда было некультурным”, – бросил кто-то фразу.

Минут через десять к группе интеллигентов подошел о. Арсений и, прервав лекцию “высокого”, сказал:

“Кончил я дела свои, прошу Вас повторить вопрос”. Профессор посмотрел на о. Арсения так, как он, вероятно, оглядывал невежд, неучей-студентов, и размеренно произнес:

“Вопрос, батюшка, довольно простой, но интересный. Как Вы, представитель русского духовенства, расцениваете влияние православия на древнерусское изобразительное искусство и архитектуру? Хотелось бы услышать.

О сокровищах Суздаля, Ростова Великого, Переяславля Залесского, Ферапонтовом монастыре, возможно, слышали? Иконы Владимирской Божией Матери и Троицу Рублева, вероятно, по церковным литографиям знаете, так вот и скажите, как оцениваете все это с точки зрения связей”.

Вопрос был профессорский, и все это поняли, и у большинства мелькнула мысль, что не надо было задавать его такому простецкому, но доброму попику. Ясно, что не ответит, по одному виду определишь.

Отец Арсений как-то выпрямился, даже внешне изменился и, взглянув на профессора, произнес:

“Взгляд на влияние православия на русское изобразительное искусство и архитектуру существует самый различный. Много по этому поводу высказано разных мыслей, и Вы, профессор, по этому поводу много писали и говорили, но ряд Ваших положений глубоко ошибочен, противоречив и, откровенно говоря, конъюнктурен. То, что Вы сейчас говорили, значительно ближе к истине, чем то, что Вы так пространно излагали в статьях Ваших и книгах.

Вы считаете, что русское изобразительное искусство развивалось только на народной основе, почти отрицаете влияние на него православия и в основном придерживаетесь мнения, что только экономические и социальные факторы, а не духовное начало русского народа и благотворное влияние христианства оказали на него влияние – на живопись и архитектуру. Лично я, профессор, держусь другого мнения о путях развития древней русской живописи и архитектуры, так как считаю, что влияние православия было решающим фактором на русский народ и его культуру, начиная с десятого по восемнадцатый век.

Восприняв в десятом веке византийскую культуру, русское духовенство, русское иночество понесло, передало ее в виде книг, живописи – икон, первых образцов возведенных греками храмов,

строю богослужения, описания житий святых, – русскому народу, и это все оказало решающее влияние на дальнейшее развитие всей русской культуры.

Вы упомянули икону Владимирской Божией Матери, а разве этот образ, как и другие произведения живописи, пришедшие к нам от греков, не явились той основой, на которой в дальнейшем расцвели иконопись и живопись?

Любое творение русской иконописной школы неразрывно связано с душой художника-христианина, с душой верующего, прибегающего к иконе как к духовному символическому изображению Господа, Матери Божией или святых Его.

Русский человек приходил к иконе не как к идолу, а как к символу, в котором видел, подразумевал и представлял духовно и внутренне образ, запечатленный в виде изображения. В этом овеществленном символе видел православный образ того, к кому прибегала душа его в горестной или радостной молитве. Русский иконописец с молитвой и постом запечатлевал образ Господа, Божией Матери и святых, и недаром русский народ хранит много прекрасных и дивных преданий о том, как создавались иконы, и верит, что рукою художника-иконописца водил ангел Господень, а не сам иконописец.

Русский иконописец древний никогда не подписывал именем своих икон, ибо считал, что не рука, а душа его с благословения Божия создавала образ, а Вы во всем видите влияние социальных и экономических предпосылок.

Взгляните на нашу древнюю икону Божией Матери и западную Мадонну, и Вам сразу бросится в глаза огромная разница.

В наших иконах духовный символ, дух веры, знамение православия; в иконах Запада дама – женщина, одухотворенная, полная земной красоты, но в ней не чувствуется Божественная Сила и благодать, это только Женщина.

Взгляните в глаза Владимирской Божией Матери, и Вы прочтете в них величайшую силу духа, веру в безграничное милосердие Божие к людям, надежду на спасение”.

Отец Арсений воодушевился, как-то весь переменялся, распрямился и говорил ясно, отчетливо и необыкновенно выразительно.

Называя иконы, давая пояснения, он раскрыл душу русской древней живописи и, перейдя к архитектуре, на примерах Ростова Великого, Суздаля, Владимира, Углича и Москвы показал связи ее с православием.

Ответ свой о. Арсений закончил словами: “Строя церкви, русский человек во Славу Бога заставил петь камень, заставил его рассказывать христианину о Боге и прославлять Бога”.

Говорил о. Арсений часа полтора, и слушавшая его группа интеллигентов замерла. Профессор потерял свой полунасмешливый и барственный вид, съезжился как-то весь и спросил:

“Простите! Откуда Вы знаете труды мои и русскую древнюю живопись и архитектуру? Где изучали? Ведь Вы священник?”

“Любить надо Родину свою и знать ее. Надо, как изволили сказать о духовенстве, чтобы попик понимал душу русского искусства и, будучи пастырем душ человеческих, показывал им правду и истину в их незапятнанном виде, ибо, профессор, многие люди, и Вы в том числе, облачают измышлением и ложью самое святое, что есть у человека. Делается это ради выгоды или политических, временно возникающих установок и взглядов, ради социального заказа”.

Профессор еще более переменялся и спросил: “Кто Вы? Фамилия Ваша?”

“В миру был Стрельцов Петр Андреевич, а сейчас о. Арсений, как и Вы, заключенный “особого”. Профессор подался вперед и с трудом проговорил:

“Петр Андреевич! Извините меня, извините. Не думал, не мог предполагать, что известнейший искусствовед, автор многих исследований и монографий по истории русской древней живописи и архитектуры, учитель многих и многих, встретится со мною здесь под видом священника и я задам ему глупый вопрос.

Несколько лет не было слышно о Вас, только статьи и книги рассказывали Ваши мысли, и я еще год тому назад вступал с Вами в полемику, лично не зная Вас. Как Вы, известнейший ученый, стали духовным лицом?”

“Потому и стал о. Арсением, что вижу и ощущаю Бога во всем и, будучи о. Арсением, особенно понял, что попику надо много знать. А если говорить о русских полах, то Вы должны знать, что они были той силой, которая собрала в XIV и XV веках русское государство воедино и помогла русскому народу сбросить татарское иго.

Действительно, в XVI-XVII веках стало морально падать русское духовенство, и только отдельные светочи русской церкви озаряли ее небосклон, а до этого было оно главной силой Руси”.

Сказал и пошел, а профессор и все стоящие, и в том числе Авсеенков, остались стоять, пораженные и удивленные.

“Вот тебе и попик блажененький, товарищи!” – произнес кто-то из слушавших интеллигентов, и все стали молча расходиться.

Авсеенков заметил, что с этого момента интеллигенция барака и лагеря стала смотреть и относиться к о. Арсению совершенно по-другому. Понятия Бог, наука, интеллигент для многих стали сближаться. Авсеенков, бывший старым идейным коммунистом и почти фанатично веривший в идеи марксизма, в первый год жизни в “особом” пытался жить обособленно от окружающих его людей, потом сблизился с некоторыми из них, но, увидя, что мысли бывших коммунистов в основном были направлены только на желание вернуться к прежней удобной жизни и совершенно были свободны от идеи добиться справедливости и бороться против произвола Сталина, отошел от этих людей.

Свою прежнюю жизнь Авсеенков пересмотрел и понял, что давно растерял идеи, и их заменили приказы, стандартные прописные истины и циркуляры. Связь с живым народом, массой людей он утерял, доклады и газетные статьи – вот что заменило ему живого человека.

Соприкасаясь с заключенными, увидел Авсеенков жизнь подлинную, невыдуманную, настоящую. К о. Арсению тянулся Авсеенков, необычное отношение ко всем без различия людям, сердечность, доброта, постоянно оказываемая всем помощь в любых ее формах и, как теперь он узнал, глубокая интеллигентность и образованность покорили его.

Беспредельная вера в Бога, постоянная молитва вначале отталкивали его от о. Арсения, но в то же время что-то необъяснимо притягивало его.

С о. Арсением чувствовал он себя хорошо, трудности, тоска, лагерный гнет сглаживались. Почему? Он не понимал.

Сазиков Иван Александрович оказался старым известным уголовником. Был он человек властный, жесткий, уголовную братию знал хорошо и вскоре подчинил себе весь барак и, конечно, установил связь со всеми уголовниками лагеря. Слово его было законом, боялись его, но в дела барака вмешивался он мало и как бы стороной.

В первые месяцы после своего выздоровления отдалился он от о. Арсения и вроде бы замечать не стал, но, повредив как-то себе сильно ногу, пролежал пять дней в бараке, рана стала загнивать, и создалась опасность потери ноги. Освобождение продолжали давать, но положение не улучшилось, и вторично выходил Сазикова о. Арсений.

Попробовал Сазиков дать о. Арсению подачку, но о. Арсений, улыбнувшись, сказал: “Не ради вознаграждения Вам делаю, а ради Вас – человека, ради Вас самого”.

Помягчал Сазиков к о. Арсению, мимоходом вроде бы и о своей жизни рассказывал, а однажды вдруг сказал: “Не верю я людям, а попам, говорят, и совсем верить нельзя, а Вам, Петр Андреевич, верю. Не продадите. В Боге своем живете, добро делаете не для своей выгоды, а ради людей. Мать у меня такая же была!” Сказал и пошел.

Записано по воспоминаниям Авсеенкова Александра Павловича, рассказам Сазикова Ивана Александровича и ряда других людей, бывших в то время в лагере.

“ПРЕКРАТИТЕ СИЕ”

Холода стояли страшные, заключенные сильно мерзли на работах, обмораживались, приходя в барак после работы, буквально валились с ног. Умирало много, барак постоянно обновлялся.

Трудно было всем, но особенно доставалось политическим. Все вставали, уходили на работу и приходили с работы озлобленные и вечно голодные, а тут еще при раздаче хлеба уголовники два дня подряд отнимали у политических весь паек. На второй день к вечеру, после кражи и после закрытия барака, произошла в бараке драка не на жизнь, а на смерть между уголовниками и политическими из-за хлеба.

Во главе политических встал Авсеенков, несколько бывших военных и человек пять из интеллигенции, а у уголовников – Иван Карий, отпетый бандит, хулиган и многократный убийца. В лагере убил не одного человека, любил играть в карты на жизнь человеческую. Политические требуют справедливости и порядка, а уголовники со смехом отвечают: “Брали и брать будем”. Прекрасно понимая, что лагерная администрация не встанет на защиту политических, а молчаливо одобряет эти кражи.

Сперва началась кулачная драка, а потом в ход пошли поленья, а некоторые уголовники достали ножи. В лагере они запрещались, их постоянно искали, беспрерывно обыскивали заключенных, но почти никогда ножи не находили.

Порезали одного военного, несколькими политическим тяжело повредили головы. Уголовники действуют сообща, а основная масса политических только кричит, боясь помочь своим.

Уголовники бьют жестоко, одолевают политических, кругом льется кровь. Отец Арсений бросился к Сазикову и стал просить: “Помогите! Помогите, Иван Александрович! Режут людей. Кровь кругом. Господом Богом прошу Вас, остановите! Вас послушают!”

Сазиков засмеялся и сказал: “Меня-то послушают, ты вот своим Богом помоги! Смотри! Твоего Авсеенкова Иван Карий сейчас прирежет. Двоих-то уже уложил. Бог твой, поп, ух как далек!”

Смотрит о. Арсений – кровь на людях, крики, ругань, стоны, и так все это душу переполнило болью за страдания людей, что, подняв руки свои, он пошел в самую гущу свалки и голосом ясным и громким сказал: “Именем Господа повелеваю – прекратите сие. Уймись!” И положив на всех крестное знамение, тихо произнес: “Помогите раненым”, – и пошел к своим нарам.

Стоит весь какой-то озаренный и словно ничего не слышит и не видит. Не слышит, как кладут у выхода из барака мертвых, помогают раненым. Стоит и, уйдя в себя, молится.

Тихо стало в бараке, только слышно, как люди укладываются на нары и стонет тяжело раненный. Сазиков подошел к о. Арсению и сказал:

“Простите меня, о. Арсений. Усомнился я в Боге-то, а сейчас вижу – есть Он. Страшно даже мне. Великая сила дана тому, кто верит в Него. Простите меня, что смеялся над Вами!”

Дня через два, придя с работы, подошел Авсеенков к о. Арсению и сказал: “Спасибо Вам! Спасли Вы меня, спасли! Бесконечно Вы в Бога верите, и я, смотря на Вас, тоже начинаю понимать, что есть Он”.

Жизнь в бараке шла размеренно. Одни заключенные приходили в барак и, прожив в нем недолго, ложились в мерзлую землю, другие приходили им на смену.

Воровство хлеба прекратилось, а если и случалось, то уголовники крепко учили своих за это. Отец Арсений работал по бараку, сильно уставал, истощение организма, как у всех заключенных, было предельным, но держался и духом не падал.

В бараке, населенном самыми разными людьми по своим характерам, жизни и настроениям, и при этом людьми, обреченными на смерть, измученными и поэтому озлобленными и ожесточенными, о. Арсений стал для очень многих связующим и сближающим началом, смягчающим тяжесть лагерной жизни.

Добротой своей, теплым ласковым словом согревал он многих душу, и, был ли то верующий, коммунист, уголовник или какой-либо другой заключенный, для каждого из них находил он необходимое только этому человеку слово, и оно проникало в душу, помогало жить, заставляло надеяться на лучшее, вело к совершению добра.

Как-то произошло незаметно, но Сазиков и Авсеенков сблизились. Казалось, что было общего между уголовником и бывшим членом коллегии? Их незримо соединял о. Арсений.

Записано по рассказам Авсеенкова, офицера Зорина,
Глебова, Сазикова.

ВЫЗОВ МАЙОРА

Надзиратель Веселый днем, когда барак бывал пуст и о. Арсений топил печи или убирал барак, стал часто проводить “поверку барака” и придирался ко всему, а в этот день, зайдя раза три, непрерывно матерился, ударил его по лицу, грозился и пугал, а к вечеру о. Арсения вызвали в “особый отдел”.

Вызов к вечеру считался плохим признаком. Говорили, что начальником “особого отдела” назначили нового майора. “Особый отдел” в лагере “особого режима” был страшен заключенным.

Вызовы в “особый отдел” всегда сопровождались неприятностями: снимали допросы по какому-либо дополнительному делу, заставляли стать “сексотом” – секретным сотрудником и за отказ били нещадно. Били и при допросах, единственно когда не били – это при зачитывании постановления об увеличении срока заключения.

Заключенные боялись “особого отдела”, работало в нем человек двадцать пять сотрудников – в основном проштрафившиеся где-то на службе в органах и переведенные служить в отдаленные лагеря для известного рода “исправления”. Было много из них сильно пьющих. Допросы вести умели, били с умением, – “признаешься во всем”.

Отца Арсения “принимал” лейтенант лет двадцати семи. Началось, как всегда, с шаблонных вопросов: имя, отчество, фамилия, статья, по которой осужден, крики: “все знаем”, “давай рассказывай”, угрозы, после чего предьявлялась главная цель вызова: “Давай показания о своей агитации в лагере”.

Ответив на стандартные вопросы, о. Арсений замолчал и стал молиться. Лейтенант гнушно матерился, бил кулаком по столу, грозил, а потом, встав, сказал: “Сейчас через майора пропустим, заговоришь”, – и, выругавшись, вышел.

Минут через десять вернулся и повел к майору – начальнику “особого отдела”. Отец Арсений, зная лагерные порядки, понял, что дело его плохо.

“Оставьте нас”, – приказал майор, взял дело и протокол допроса. Лейтенант вышел. Майор встал, плотно закрыл дверь кабинета, вернулся, сел в кресло и стал читать дело о. Арсения.

Отец Арсений стоял и молился: “Господи, помилуй мя грешного”.

Майор посмотрел дело и вдруг неожиданно, простым, доброжелательным тоном сказал: “Садитесь, Петр Андреевич! Это я приказал вас вызвать”.

Отец Арсений сел, повторяя про себя: “Господи! Помилуй мя грешного! Уповаю на Тебя!” И при этом подумал: “Сейчас начнется”

Майор помолчал, полистал еще раз дело, посмотрел на о. Арсения и на вклеенную в дело фотографию, отстегнул пуговицу верхнего кармана кителя и достал сложенный листок бумаги: “Возьмите, записка Вам от Веры Даниловны, жива и здорова. Прочтите”.

“Дорогой о. Арсений! Милость Господа не имеет пределов. Он сохранил Вас. Ничему не удивляйтесь. Доверьтесь. Молитесь о нас, грешных. Бог многих сохранил из нас. Молите Бога о нас. Вера”.

Почерк был Веры Даниловны, сестры Веры, одной из самых близких духовных дочерей о. Арсения. Сомнений в том, что писала именно она, быть не могло, так как когда-то условились, что при писании особо важных писем в слове “молите” одна из букв делалась измененной.

“Господи! Благодарю, что дал мне узнать о детях моих. Благодарю, Господи, за милость!”

Майор взял записку из рук о. Арсения и сжег. Оба молчали. Отец Арсений – от волнения и неожиданности, а также от непонятности происходящего. Майор молчал, понимая состояние о. Арсения, понимая, что он ошеломлен. Смотря на о. Арсения, майор видел перед собой измученного старика с небольшой бородкой, обритого наголо, в старой залатанной телогрейке и ватных брюках.

Из лежащего перед ним дела майор знал, что прошлое у старика большое: “выходец” из семьи известного ученого, окончил Московский университет, известен как блестящий искусствовед в Союзе и за рубежом, автор глубоких исследований по древней русской живописи и архитектуре и одновременно иеромонах, руководитель большой и сильной общины, которая, как предполагали “органы”, не распалась даже после его ареста.

И этот старик, живя когда-то на свободе, мог совмещать глубокую веру с наукой и в книгах своих прославлял красоту Родины и призывал любить ее. Сейчас майор видел, что все это умерло в сидящем перед ним человеке, он растоптан и сломлен. Смерть скоро придет к нему, она не заставит себя ждать.

Просьба жены, которую майор беспредельно любил и всегда прислушивался к ее словам, а также просьба Веры Даниловны, оказавшей в прошлом немалую помощь его жене и дочери, побудили майора взяться за это рискованное поручение.

Вера Даниловна была врач, и случилось так, что жизнь самых близких майору людей сохранилась благодаря самоотверженной и бескорыстной её помощи.

В условиях взаимных доносов и слежки помощь со стороны майора была для него самого крайне опасной, но была еще одна причина, побудившая его связаться в лагере с о. Арсением.

Отец Арсений молился и, казалось, так ушел в себя, что не видел майора, кабинета, в котором находился, забыл обо всем, но вдруг, подняв глаза и смотря на майора, спокойно сказал:

“Благодарю за весть эту добрую, именем Господа благодарю”. И майор, взглянув в глаза о. Арсению, понял, что не старик перед ним изможденный, а какой-то особый человек, необычный, и годы лагерной жизни не согнули, а увеличили силу его духа, ибо глаза о. Арсения излучали силу и свет, никогда до того не виданные майором, и в силе и свете были бесконечная доброта и великое знание души человеческой.

Майор понял, почувствовал, что взглянет о. Арсений на любого человека, скажет ему, и будет так, как хочет о. Арсений. Повелит – и любые отворятся ворота и спадут запоры. Самое сокровенное в душе человеческой видят эти глаза и читают мысль человеческую. Понял также майор, что не будет расспрашивать о. Арсений, почему он, вновь назначенный начальник “особого отдела” лагеря, передал ему записку от Веры Даниловны.

А о. Арсений смотрел куда-то вверх мимо майора и, смотря, встал. Встал, перекрестился несколько раз, поклонился кому-то, и, смотря на о. Арсения, встал майор, ибо предстал перед ним в этот момент не старик в рваной телогрейке, а иерей в полном церковном облачении и совершал таинство молитвы перед Богом.

Майор вздрогнул от неожиданности и непонятности происходящего, и что-то далекое, забытое пришло ему на память – время, когда мать водила его в старую деревенскую церковь, маленьким мальчиком, молиться в большие праздники, и что-то мягкое и доброе охватило его душу.

Отец Арсений сел, и опять перед майором был изможденный старик, но глаза по-прежнему излучали свет.

“Петр Андреевич! Послали работать в лагерь. Узнал, что Вы здесь. Был в Москве, сказал Вере Даниловне и взялся передать Вам записку и, кроме того, прошу Вас помочь одному человеку, живет с Вами в бараке”, – и майор замялся.

“Понял я, понял Вас! Александру Павловичу помогу. Все передам. Понимаю, что трудно Вам здесь, Сергей Петрович, не привыкли к новой работе. Трудно привыкнуть. Что здесь делается! Но будьте милостивы в меру сил своих и возможностей, это и то будет большой помощью заключенным”.

“Да, трудно! Очень трудно сейчас всюду, – произнес майор, – вот поэтому я здесь и оказался. Сердце кровью обливается, когда смотришь, что делается кругом. Слежка, доносы друг на друга, секретные инструкции одна страшнее другой. Делаеть, но ничтожно мало. стыдно сказать, но боюсь.

Надзиратель Пупков доносит на Вас все время. Явно не любит. Уберем его, поставим приличного, другого. Тяжело Вам, Петр Андреевич! Тяжело! Помочь, как уже говорил, могу мало, но стараться буду. Вызывать буду через посредство лейтенанта Маркова, это тот, что Вас допрашивал. Человек трудный, подозрительный, но на этом я его возьму. Предложу иметь за Вами особый надзор и после своих допросов ко мне направлять. Не беспокойтесь, особый надзор на Ваших делах не отразится и в дело личное не будет внесен.

Александру Павловичу скажите, что генерал Абросимов Сергей Петрович, разжалованный теперь в майоры, – здесь. Помнят Александра Павловича в верхах многие, но помочь трудно. Стараются и не один заход к Главному делали, но безрезультатно. Главный отвечает: “Пусть посидит”, – а заместитель пытается уничтожить. Много знает Александр Павлович. Идейный, прямой, а таких не любят. Давали указание убрать, но Главный санкции не дал. Пытаются окольными путями, через уголовников действовать. Уголовника Ивана Карего толкают на это.

Передайте Александру Павловичу записку от жены, это его поддержит. Помогите ему. Пусть остерегается Савушкина, бывшего секретаря обкома, доносы на него строчит, тоже в Вашем бараке живет. Протокол Вам надо подписать, идите, напишу при следующей встрече”.

Улыбнулся о. Арсений, взял чистый лист и подписал: “Впишите, что надо”.

Майор встал, подошел к о. Арсению и, взяв его за плечи, почему-то неожиданно сказал: “Помните меня”.

Полный впечатлений и переживаний, непрерывно славя Господа, усталый от всего пережитого, пошел о. Арсений и лег на нары.

Ждали его с нетерпением, мог и не вернуться. Лежа читал молитвы и псалмы, благодаря Бога и повторяя: “Господи, славлю дела Твои, благодарю, что показал мне милость Твою, помилуй мя, Боже!”

В лагерьях был заведенный порядок – вызвали заключенного в “особый отдел”, пришел оттуда, не спрашивай и не подходи к человеку. Боялись, что на подходящих падет подозрение, что боится он, о нем спрашивали. Придет время, найдет нужным, сам человек расскажет. Глаз не смыкал всю ночь о. Арсений. Промыслу Божию умилялся, славил Бога, молился Божией Матери, а утром встал и с легким сердцем занялся делами.

Надзиратель Веселый (Пупков) раза два забежал в барак, оглядел все бегающим взглядом и спросил: “Ну, что, поп? Не добились тебя в “особом”? Добьются!” И, засмеявшись, вышел.

Вечером, после прихода заключенных с работ и получения пайки, о. Арсений обратился к Авсеенкову:

“Александр Павлович! Помогите мне до проверки дров наколоть, а то не успею”.

Теперь у о. Арсения заранее нарубленные дрова не воровали, барак за этим смотрел.

Времени до проверки оставалось немногим более часа. Фонари и прожектору ярко освещали территорию лагеря. Дрова можно было колоть и вечером. Вышли к дровам, Тут о. Арсений и сказал:

“Полено буду передавать–записку возьмите, прочтите и проглотите, а потом все расскажу”.

“Какую записку? – опешив, спросил Авсеенков. – Какую?”

Схватил и стал деревянным клином колоть поленья, потом встал под фонарь, будто разглядывал полено, и стал читать записку.

Прочел раз, второй, и по лицу потекли слезы. Отец Арсений прошептал: “Проглотите записку”. И добавил: “Возьмите себя в руки”.

Пока дрова кололи и собирали, рассказал, что говорил Абросимов. Рассказал, что из генералов в майоры разжаловали, что друзья хотят помочь, но трудно, и что есть указание убрать его, Авсеенкова.

“Петр Андреевич! Отец Арсений! Не верю я в Бога, а здесь начинаю верить, надо верить. Письмо от Катерины получил – от жены, и приписка в нем от моего друга, большого, влиятельного человека. Помочь хочет, эта приписка смерти подобна, в случае, если кто узнает. Старый разведчик, бесстрашный. Есть еще люди и там, на воле, не все еще в подлости утонули.

Катерина пишет, что Бога молит обо мне, вероятно, по-настоящему молит, а тут Вы мне в этом аду помогаете, сердце согреваете, одного со своими мыслями не оставляете, да и не только мне – многим. Смотрите! Каким стал Сазиков, жестокий и страшный, а теперь помягчал и верит Вам во всем. Вы не видите, а я вижу! Нет! Не Вы, а, верно, Бог Ваш все это делает Вашими руками. Не знаю, буду ли я глубоко верующим, но знаю и вижу: есть Он – Бог. Есть!”

Внесли дрова в барак. Сазиков слез с нар и тоже пошел помогать носить. Отец Арсений рассказал Сазикову, какой разговор был с начальником “особого отдела”, что хотят Авсеенкова руками уголовников убрать, и попросил: “Помогите, Серафим Александрович”. Наедине звал Сазикова Серафимом, а не Иваном, именем вымышленным. Рассказывая, знал о. Арсений, что не выдаст и не предаст Сазиков – изменился он сильно.

“Редкий случай, – сказал Сазиков. – Поможем, убережем Александра Павловича. Человек он хороший, стоящий. Убережем, не бойтесь. У нас тоже свои секреты есть. Ребятам скажу, убережем”.

Записано по рассказам Авсеенкова, Абросимова, Сазикова
и кратким описаниям-воспоминаниям о. Арсения.

ЖИЗНЬ ИДЕТ

Время шло. Зима окончилась, и наступила весна. Болеть и умирать заключенных стало все больше и больше. Цынга в разных ее формах охватила почти всех, лагерная больница переполнилась, люди лежали в бараках.

Отец Арсений совершенно ослаб, но свои обязанности по бараку выполнял. Сильно потеплело, было сыро, барак приходилось топить так же часто, как и зимой, чтобы не отсырели стены и вещи.

Истощенный, еле передвигающийся, о. Арсений по-прежнему помогал людям, всем, кому мог, и его помощь несла необыкновенное внутреннее тепло людям. Помогал без просьб: подходил, оказывал помощь и молча уходил, не ожидая благодарности.

Надзирателя Веселого-Пупкова давно заменили и послали начальником лесопункта. Пришел новый надзиратель – молчаливый, требовательный, но справедливый. Заключенные быстро все подметили и дали ему прозвище “Справедливый”.

Надзиратель строго требовал выполнения лагерных правил и особенно следил за чистотой. Не бил и почти не ругался.

Прошло лето, короткое, но жаркое, с изнуряющим комариным облаком, вечно висящим над человеком, доводящим до изнурения и нервного расстройства.

Барак уже не топили, и о. Арсения, по преклонности лет и слабости здоровья, на тяжелые работы не посылали, а оставили убирать барак, территорию вокруг него и чистить выгребные ямы.

В “особый отдел” вызывали два раза. Первым допрашивал лейтенант Марков, но к начальству отдела не отправлял, второй раз, допросив, отправил к майору, тот был встревожен, нервничал и сказал:

“Трудное время сейчас. Строгости усилились, друг за другом слежка невероятная. Лицо я в лагере большое, все боятся, даже начальник лагеря, но никому и ничем помочь не могу. Нет людей верных, нет связующего звена. Когда еще позову? Не знаю! Просто сказать, боюсь, но ни Вас, ни Александра Павловича ни на одну минуту не забываю и из вида не упускаю. Записку опять Александру Павловичу передайте, не забыт он в Москве, протокол допроса подпишите, заранее написал. Делаются кругом дела страшные, и я тоже их пособник”.

Записку о. Арсений передал Авсеенкову, и тот опять воспрянул духом.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

Последнее время о. Арсений стал сильно уставать, еле-еле справлялся с уборкой барака, и, видя это, заключенные помогали ему. Держался он одной молитвой. Знающим его казалось временами, что живет он не в лагере, а где-то далеко-далеко, в каком-то особом, одному ему известном, светлом мире. Бывало, работает, губы беззвучно шепчут слова молитвы, и вдруг он радостно и как-то по-особенному светло улыбнется и станет каким-то озаренным, и чувствуется, что сразу прибавится в нем сила и бодрость. Но никогда это внутренне-углубленное его состояние не мешало ему видеть трудности окружающих его людей и стремиться помочь им.

Люди верующие, общаясь с ним, видели, что душа о. Арсения как бы вечно пребывала на молитвенном служении в храме Божиим, вечно стремилась раствориться в стремлении творить добро.

Оказывая помощь человеку, о. Арсений не размышлял, кто этот человек и как он отнесется к его помощи. В данный момент он видел только человека, которому нужна помощь, и он помогал этому человеку. Думали когда-то заключенные, что он заискивает, ждет благодарности. Оказалось, не то. Потом стали называть его “блаженненький”, и это оказалось не то.

Большинство поняло его. Изменился барак по отношению к о. Арсению. Интеллигенция видела в нем ученого, совместившего веру и знания. Бывшие коммунисты по поведению о. Арсения по-другому стали рассматривать веру и верующего, и многим из них верующий не казался “мракобесом”.

Верующие видели в нем иерея или старца, достигшего духовного совершенства и несшего в лагере свой подвиг. Смотря на жизнь о. Арсения в лагере, многие люди находили спокойствие и в какой-то мере примирались с жизнью в лагере.

Уголовники защищали о. Арсения и относились к нему уважительно – по-своему. Если кто-либо из вновь пришедших заключенных пытался обидеть его, то давали понять, что за это могут избить. Было довольно много случаев, когда уголовники прибегали к духовной помощи о. Арсения, они понимали и видели, что он не избегал и не сторонился их, как другие заключенные. Самое главное, о. Арсений никого не боялся.

“ГДЕ ДВОЕ ИЛИ ТРОЕ СОБРАНЫ ВО ИМЯ МОЕ”

В одну из зим поступил с этапа в барак юноша лет двадцати трех, студент, осужденный на 20 лет по 58-й статье. Лагерной житейской премудрости еще в полной мере не набрался, так как сразу после приговора попал из Бутырок в “особый”.

Молодой, зеленый еще, плохо понимавший, что с ним произошло, попав в “особый”, сразу столкнулся с уголовниками. Одет парень был хорошо, не обносился еще по этапам, увидели его уголовники во главе с Иваном Карими решили раздеть. Сели в карты играть на одежду парня. Все видят, что разденут его, а сказать никто ничего не может, даже Сазиков не смел нарушить Лагерную традицию. Закон – на “кон” парня поставили – молчи, не вмешивайся. Вмешался – прирежут.

Те из заключенных, кто долго по лагерям скитался, знали, что если на их барахло играют, сопротивляться нельзя – смерть.

Иван Карий всю одежду с парня выиграл, подошел к нему и сказал: “Снимай, дружок, барахлишко-то”.

Ну и началось. Парня Алексеем звали, не понял сперва ничего, думал, смеются, не отдает одежду. Иван Карий решил для барака “комедию” поставить, стал с усмешкой ласково уговаривать, а потом бить начал. Алексей сопротивлялся, но уже теперь барак знал, что парень будет избит до полусмерти, а может быть, и забит насмерть, но “концерт” большой будет.

Затаились, молчат все, а Иван Карий бьет и распаляется. Алексей пытается отбиться, да где там, кровь ручьем по лицу течет. Уголовники для смеха на две партии разделились, и одна Алексея подбадривает.

Отец Арсений во время “концерта” этого дрова около печей укладывал в другом конце барака и начала не видел, а тут подошел к крайней печке и увидел, как Карий студента Алешку насмерть забивает. Алексей уже только руками закрывается, в крови весь, а Карий озверел и бьет и бьет. Конец парню.

Отец Арсений дрова молча положил перед печью и спокойно пошел к месту драки и на глазах изумленного барака схватил Карего за руку, тот удивленно взглянул и потом от радости даже взвизгнул. Поп традицию нарушил, в драку ввязался. Да, за это полагалось прирезать. Ненавидел Карий о. Арсения, но не трогал, барака боялся, а тут законный случай сам в руки идет.

Бросил Карий Алешку бить и проговорил: “Ну, поп, обоим вам конец, сперва студента, а потом тебя”.

Заключенные растерялись. Вступись – все уголовники, как один, поднимутся. Карий нож откуда-то достал и бросился к Алешке.

Что случилось? Никто толком понять не мог, но вдруг всегда тихий, ласковый и слабый о. Арсений выпрямился, шагнул вперед к Карему и ударил его по руке, да с такой силой, что у того нож выпал из руки, а потом оттолкнул Карего от Алексея. Качнулся Карий, упал и об угол нар разбил лицо, и в этот момент многие засмеялись, а о. Арсений подошел к Алексею и сказал: “Пойди, Алеша, умойся, не тронет тебя больше никто”, – и, будто бы ничего не случилось, пошел укладывать дрова.

Опешили все. Карий встал. Уголовники молчат, поняли, что Карий свое “лицо потерял” перед всем баракком.

Кто-то кровь по полу ногой растер, нож поднял. У Алешки лицо разбито, ухо надорвано, один глаз совсем закрылся, другой багровый. Молчат все. Несдобровать теперь о. Арсению и Алексею, прирежут уголовники. Обязательно прирежут.

Случилось, однако, иначе. Уголовники поступок о. Арсения расценили по-своему, увидев в нем человека смелого и, главное, необыкновенного. Не побоялся Карего с ножом в руках, которого боялся весь барак. Смелость уважали и за смелость по-своему любили. Доброту и необыкновенность о. Арсения давно знали. Карий к своему лежаку ушел, с ребятами шепчется, но чувствует, что его не поддержат, раз сразу не поддержали.

Прошла ночь. Утром на работу пошли, а о. Арсений делами по баракку занялся: топит печи, убирает, грязь скребет.

Вечером заключенные пришли с работы, и вдруг перед самым закрытием барака влетел с несколькими надзирателями начальник по режиму.

“Встать в шеренгу”, – заорал сразу. Вскочили, стоят, а начальник пошел вдоль шеренги, дошел до о. Арсения и начал бить, а Алексея надзиратели из шеренги выволокли.

“За нарушение лагерного режима, за драку попа 18376 и P281 в холодный карцер № 1, на двое суток, без жратвы и воды”, – крикнул начальник.

Донес, наклепал Карий, а это среди уголовников считалось самым последним, позорным делом.

Карцер № 1 – небольшой домик, стоящий у входа в лагерь. В домике было несколько камер-одиночек и одна камера на двоих, с одним узким лежаком, вернее – доской шириною сантиметров сорок. Пол, стены, лежак были сплошь обиты листовым железом. Сама камера была шириной не более трех четвертей метра, длиной два метра.

Мороз на улице тридцать градусов, ветер, дышать трудно. На улицу выйдешь – так сразу коченеешь. Поняли заключенные барака – смерть это верная. Замерзнут в карцере часа через два. Наверняка замерзнут. При таком морозе в этот карцер не посылали, при пяти-шести градусах, бывало, посылали на одни сутки. Живыми оставались лишь те, кто все двадцать четыре часа прыгал на одном месте. Перестанешь двигаться – замерзнешь, а сейчас минус тридцать. Отец Арсений старик, Лешка избит, оба истощены.

Потащили обоих надзиратели. Авсеенков и Сазиков из строя вышли и обратились к начальнику: “Гражданин начальник! Замерзнут на таком морозе, нельзя их в этот карцер, умрут там”. Надзиратели наподдали обоим так, что от одного барака до другого очумелыми летели.

Иван Карий голову в плечи вобрал и чувствует, что не жилец он в бараке, свои же за донос пришьют.

Привели о. Арсения и Алексея в карцер, втолкнули. Упали оба, разбились, кто обо что. Остались в темноте. Поднялся о. Арсений и проговорил: “Ну! Вот и привел Господь вдвоем жить. Холодно, холодно, Алеша. Железо кругом”.

За дверью громыхал засов, щелкал замок, смолкли голоса и шаги, и в наступившей тишине холод схватил, сжал обоих. Сквозь узкое решетчатое окно светила луна, и ее молочный свет слабо освещал карцер.

“Замерзнем, о. Арсений, – простонал Алексей. – Из-за меня замерзнем. Обоим смерть, надо двигаться, прыгать, и все двое суток. Сил нет, весь разбит, холод уже сейчас забирает. Ноги окоченели. Так тесно, что и двигаться нельзя. Смерть нам, о. Арсений. Это не люди! Правда? Люди не могут сделать того, что сделали с нами. Лучше расстрел!”

Отец Арсений молчал. Алексей пробовал прыгать на одном месте, но это не согревало. Сопrotивляться холоду было бессмысленно. Смерть должна была наступить часа через два-три, для этого их и послали сюда.

“Что Вы молчите? Что Вы молчите, о. Арсений?” – почти кричал Алексей, и, как будто пробиваясь сквозь дремоту, откуда-то издали прозвучал ответ:

“Молюсь Богу, Алексей!”

“О чем тут можно молиться, когда мы замерзаем?” – проговорил Алексей и замолчал.

“Одни мы с тобой, Алеша! Двое суток никто не придет. Будем молиться. Первый раз допустил Господь молиться в лагере в полный голос. Будем молиться, а там воля Господня”.

Холод забирал Алексея, но он отчетливо понял, что сходит с ума о. Арсений. Тот, стоя в молочной полосе лунного света, крестился и вполголоса что-то произносил.

Руки и ноги окоченели полностью, сил двигаться не было. Замерзал. Алексею все стало безразлично.

Отец Арсений замолк, и вдруг Алексей услышал отчетливо произносимые о. Арсением слова и понял: это молитва.

В церкви Алексей был один раз из любопытства. Бабка когда-то его крестила. Семья неверующая, или, вернее сказать, абсолютно безразличная к вопросам религии, не знающая, что такое вера. Алексей – комсомолец, студент. Какая могла быть здесь вера?

Сквозь оцепенение, сознание наступающей смерти, боль от побоев и холода сперва смутно, но через несколько мгновений отчетливо стали доходить до Алексея слова: “Господи Боже! Помилуй нас грешных, Многомилостиве и Всемилолюбиве Боже наш, Господи Иисусе Христе, многия ради любви сшел и воплотился еси, яко да спасеши всех. По неизреченной Твоей милости спаси и помилуй нас и отведи от лютыя смерти, ибо веруем в Тя, яко Ты еси Бог наш и Создатель наш...” И полились слова молитвы, и в каждом слове, произносимом о. Арсением, лежала глубочайшая любовь, надежда, упование на милость Божию и незыблемая вера.

Алексей стал вслушиваться в слова молитвы. Вначале смысл их смутно доходит до него, было что-то непонятное, но, чем больше холод охватывал его, тем отчетливые осознавал он значение слов и фраз. Молитва охватывала душу спокойствием, уводила от ледящего сердце страха и соединяла со стоящим с ним рядом стариком – о. Арсением.

“Господи Боже наш Иисусе Христе! Ты рекл еси пречистыми устами Твоими, когда двое или трое на земле согласятся просить о всяком деле, дано будет Отцом Моим Небесным, ибо где двое или трое собраны во Имя Мое, там и Я посреди них...” И Алексей повторял: “... дано будет Отцом Моим Небесным, ибо где двое или трое собраны во Имя Мое, там и Я посреди них...”

Холод полностью охватил Алексея, все застыло в нем. Лежал ли, сидел на полу, или стоял, он не сознавал. Все леденело. Вдруг наступил какой-то момент, когда карцер, холод, оцепенение тела, боль от побоев, страх исчезли. Голос о. Арсения наполнял карцер. Да карцер ли? “Там Я посреди них...” Кто же может быть здесь? Посреди нас. Кто? Алексей обернулся к о. Арсению и удивился. Все кругом изменилось, преобразилось. Пришла мучительная мысль: “Брежу, конец, замерзаю”.

Карцер раздвинулся, полоса лунного света исчезла, было светло, ярко горел свет, и о. Арсений, одетый в сверкающие белые одежды, воздев руки вверх, громко молился. Одежды о. Арсения были именно те, которые Алексей видел на священнике в церкви.

Слова молитв, читаемые о. Арсением, сейчас были понятны, близки, родственны – проникали в душу. Тревоги, страдания, опасения ушли, было желание слиться с этими словами, познать их, запомнить на всю жизнь.

Карцера не было, была церковь. Но как они сюда попали, и почему еще кто-то здесь, рядом с ними? Алексей с удивлением увидел, что помогали еще два человека, и эти двое тоже были в сверкающих одеждах и горели необъяснимым белым светом. Лиц этих людей Алексей не видел, но чувствовал, что они прекрасны.

Молитва заполнила всё существо Алексея, он поднялся, встал с о. Арсением и стал молиться. Было тепло, дышалось легко, ощущение радости жило в душе. Все, что произносил о. Арсений, повторял Алексей, и не просто повторял, а молился с ним вместе.

Казалось, что о. Арсений слился воедино со словами молитв, но Алексей понимал, что он не забывал его, а все время был с ним и помогал ему молиться.

Ощущение, что Бог есть, что Он сейчас с ними, пришло к Алексею, и он чувствовал, видел своей душой Бога, и эти двое были Его слуги, посланные Им помогать о. Арсению.

Иногда приходила мысль, что они оба уже умерли или умирают, а сейчас бредят, но голос о. Арсения и его присутствие возвращали к действительности.

Сколько прошло времени, Алексей не знал, но о. Арсений обернулся и сказал: “Пойди, Алеша! Ложись, ты устал, я буду молиться, ты услышишь”. Алексей лег на пол, обитый железом, закрыл глаза, продолжая молиться. Слова молитвы заполнили все его существо: “... согласятся просить о всяком деле, дано будет Отцом Моим Небесным...” На тысячи ладов откликалось его сердце словам: “... Собраны во Имя Мое...” “Да, да! Мы не одни!” – временами думал Алексей, продолжая молиться.

Было спокойно, тепло, и вдруг откуда-то пришла мать и, как это еще было год тому назад, закрыла его чем-то теплым. Руки сжали ему голову, и она прижала его к своей груди. Он хотел сказать: “Мама, ты слышишь, как молится о. Арсений? Я узнал, что есть Бог. Я верю в Него”.

Хотел ли он сказать или сказал, но мать ответила: “Алешенька! Когда тебя взяли, я тоже нашла Бога, и это дало мне силы жить”.

Было хорошо, ужасное исчезло. Мать и о. Арсений были рядом. Прежде незнакомые слова молитв сейчас обновили, согрели душу, вели к прекрасному. Необходимо было сделать все, чтобы не забыть эти слова, запомнить на всю жизнь. Надо не расставаться с о. Арсением, всегда быть с ним.

Лежа на полу у ног о. Арсения, Алексей слушал сквозь легкое состояние полубытья прекрасные слова молитв. Было беспредельно хорошо. Отец Арсений молился, и двое в светлых одеждах молились и прислуживали ему и, казалось, удивлялись, как молится этот человек. Сейчас он уже ничего не просил у Господа, а славил Его и благодарил. Сколько времени продолжалась молитва о. Арсения и сколько времени лежал в полубытии Алексей, никто из них не помнил.

В памяти Алексея осталось только одно: слова молитв, согревающий и радостный свет, молящийся о. Арсений, двое служащих в одеждах из света и огромное, ни с чем не сравнимое чувство внутреннего обновляющего тепла.

Били по дверному засову, визжал замерзший замок, раздавались голоса. Алексей открыл глаза. Отец Арсений еще молился. Двое в светлых одеждах благословили его и Алексея и медленно вышли. Ослепительный свет постепенно исчезал, и наконец карцер стал темным и по-прежнему холодным и мрачным.

“Вставайте, Алексей! Пришли”, – сказал о. Арсений. Алексей встал. Входили начальник лагеря, главный врач, начальник по режиму и начальник “особого отдела” Абросимов. Кто-то из лагерной администрации говорил за дверь: “Это недопустимо, могут сообщить в Москву. Кто знает, как на это посмотрят. Мороженые трупы – не современно”.

В карцере стояли: старик в телогрейке, парень в разорванной одежде и с кровоподтеками и синяками на лице. Выражение лиц того и другого было спокойным, одежда покрылась толстым слоем инея.

“Живы? – с удивлением спросил начальник лагеря. – Как вы тут прожили двое суток?”

“Живы, гражданин начальник лагеря”, – ответил о. Арсений.

Стоящие удивленно переглянулись.

“Обыскать”, – бросил начлага.

“Выходи”, – крикнул один из пришедших надзирателей.

Отец Арсений и Алексей вышли из карцера. Сняв перчатки, стали обыскивать. Врач также снял перчатку, засунул руку под одежду о. Арсения и Алексея и задумчиво, ни к кому не обращаясь, сказал: “Удивительно! Как могли выжить! Действительно, теплые”.

Войдя в камеру и внимательно осмотрев ее, врач спросил: “Чем согревались?” И о. Арсений ответил: “Верой в Бога и молитвой”.

“Фанатики. Быстро в барак”, – раздраженно сказал кто-то из начальства. Уходя, Алексей слышал спор, возникший между пришедшими. Последняя фраза, дошедшая до его слуха, была: “Поразительно! Необычный случай, они должны были прожить при таком морозе не более четырех часов. Это поразительно, невероятно, учитывая 30-градусный мороз. Вам повезло, товарищ начальник лагеря по режиму! Могли быть крупные неприятности”.

Барак встретил о. Арсения и Алексея, как воскресших из мертвых, и только все спрашивали: “Чем спасались?” – на что оба отвечали: “Бог спас”. Ивана Карего через неделю перевели в другой барак, а еще через неделю придавило его породой. Умирал мучительно. Ходили слухи, что своя же братва помогла породе придавить его.

Алексей после карцера переродился, он привязался к о. Арсению и всех, находившихся в бараке, расспрашивал о Боге и о православных службах.

Записано со слов Алексея и некоторых очевидцев, живших в том же бараке.

НАДЗИРАТЕЛЬ СПРАВЕДЛИВЫЙ

Надзирателя Веселого сменили и вместо него назначили нового, которому за неукоснительное требование по выполнению лагерных правил, но справедливое отношение к заключенным дали прозвище “Справедливый”.

К о. Арсению новый надзиратель относился безразлично, и если находил какие-то неполадки, то говорил насмешливо:

“Службу, службу, батюшка, надо исправно править”.

Скажет и пойдет, а через час зайдет проверить.

Летом со Справедливым произошел необычный случай. Пошел он осматривать бараки, территорию вокруг них, а о. Арсений в это время подметал дорожки между бараками.

Прошел Справедливый по баракам, остановился на одной дорожке, вынул что-то из кармана бокового, раскрыл бумажник, посмотрев, положил назад и пошел дальше.

Отец Арсений, подметая дорожки, дошел до того места, где стоял надзиратель, и увидел, что на земле валяется красная книжечка, поднял, а это оказался партийный билет Справедливого. Отец Арсений поднял билет, положил в карман телогрейки, закончил подметать и пошел убирать барак, но поглядывает в окно, не идет ли надзиратель. Часа через два бежит Справедливый сам не свой. Отец Арсений вышел из барака и пошел ему навстречу. Потерять партийный билет, да еще в лагере, было бы для надзирателя в то время подобно смерти. Справедливый все это понимал. Бежит Справедливый по лагерным дорожкам, лицо от расстройства почернело, под ноги смотрит и все вокруг внимательно рассматривает, а народ по дорожкам уже ходил. Отец Арсений подошел к надзирателю и сказал: “Гражданин надзиратель! Разрешите обратиться!” Лицо Справедливого перекопилось от злости, и он закричал: “Прочь, поп, с дороги”, – и даже размахнулся для удара, а о. Арсений молча подал ему билет и пошел в барак. Справедливый билет схватил и закричал: “Стой!” И, подойдя, спросил: “Ну! Кто видел?” – “Никто не видел, гражданин надзиратель. Нашел на дорожке часа два тому назад”.

Повернулся Справедливый и пошел. Ничего вроде бы не изменилось, но стал надзиратель с о. Арсения все строже спрашивать, и подумалось, уж не хочет ли Справедливый убрать о. Арсения как нежелательного свидетеля. В лагерях такие дела просто делались, убил надзиратель заключенного, а докладывает начальству: “Напал на меня”, и благодарность еще за бдительность получит.

Убрать заключенные в лагере существовала тысяча разных способов, и все они были безнаказанными.

Время шло...

Записав по рассказу Андрея Ивановича, бывшего надзирателя в бараке, где долгие годы провел о. Арсений. Используются также отдельные рассказы и воспоминания о. Арсения.

“МАТЕРЬ БОЖИЯ! НЕ ОСТАВИ ИХ!”

В основу написанного здесь положены воспоминания о. Арсения, рассказанные им самим близким своим духовным детям, а также и мне.

Мои послелагерные встречи с Авсеенковым, Сазиковым и Алексеем-студентом также послужили основой для восстановления всего происшедшего, так как эти люди присутствовали при физической смерти о. Арсения в бараке, а также были очевидцами его возвращения к жизни.

Написав все это, я считал необходимым показать рукопись о. Арсению. Он, прочтя ее, долго молчал и на мой вопрос: “Разве что не так?” – ответил:

“Великую милость явили мне Господь и Матерь Божия, показав самое сокровенное и великое – душу человеческую, исполненную Веры, Любви и Добра. Показали, что никогда не оскудеет вера и множество людей несет ее в себе, одни пламенно, другие трепетно, иные несут в себе искру, и необходим приход пастыря, чтобы возгорелась малая искра в неугасимое пламя веры. Показал Господь, что люди, несущие веру, и особенно пастыри душ человеческих, должны помогать и бороться за каждого человека до последних сил своих и последнего своего вздоха, и основой борьбы за душу являются любовь, добро и помощь ближнему своему, оказываемая не ради себя, а ради брата своего. По отношению человека люди судят о вере и Христе, ибо сказано: “От дел своих оправдаешься и от дел своих осудишься”. И еще сказано: “Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов”.

То, что произошло со мною, было для меня величайшим уроком, наставлением и поставило меня на свое место. Будучи много лет в лагерях и сохраняемый в них милостью Божией, я подумал, что верой я силен, но, когда умер, показали мне Господь и Матерь Божия, что недостоин я даже коснуться одежды многих людей, находящихся в заключении, и должен учиться и учиться у них. Смирил меня Господь, поставил на место, которое должен я был занимать, показал глубокое мое несовершенство и дал время на исправление моих ошибок и заблуждений. Исправил ли я их только? Господи! Помоги мне”.

Сказав это, о. Арсений взял рукопись и через несколько дней возвратил мне ее. Читая после просмотра написанное, я увидел внесенные им исправления и дописанные места. Вот в таком виде и

лежит перед вами эта тетрадка. Отдавая мне рукопись, о. Арсений сказал: “Пока я жив, не показывайте никому, а умру – тогда и читать можно”.

* * *

Жаркое изнурительное лето и вечно жужжащего гнуса сменила промозглая, дождливая и холодная осень. Землю попеременно охватывал то мороз, то потоки оттаявшей грязи. В бараке было сыро и холодно и поэтому по-особенному тяжко. Одежда на заключенных неделями не просыхала, мокрые ноги были вечно стерты и постоянно болели. Началась повальная эпидемия тяжелого лагерного гриппа.

Ежедневно в бараке умирало по три-пять человек. Дошла очередь и до о. Арсения. Слег он. Температура за сорок, озноб, кашель, мокрота, сердце отказывается работать.

В “особом” при повальных гриппозных заболеваниях в больницу не клали; вот если ногу, руку отрезало или сломали, голова пробита, то клали на излечение, а при любой форме гриппа лежи и лечись в бараке. В лагерях “закон”: на ногах стоишь – работай, упал – докажи, что не симулянт. Доказал – будут лечить, если начальство одобрит.

В лагере установлен план выработки на каждого заключенного, начальство за перевыполнение плана ежемесячную премию получает. Заключенный хотя этого и не видит, но за ним идет контроль рублем. Начальство обязано соблюдать лагерный режим, так что “телячьи нежности” разводить некогда.

Заболел заключенный, температура высокая, надо у надзирателя-воспитателя просить разрешения, чтобы идти в санчасть. Там температуру замерят, если ниже 39 градусов, то топай на работу, а заспоришь – в карцер засадят, и надзиратель в морду даст для повышения твоей сознательности. Если температура выше тридцати девяти – лежи в бараке, но каждый день являйся в санчасть. Когда же лежишь в бараке без памяти, по вызову старшего по бараку придет фельдшер, смеряет температуру, бросит лекарство, ну тогда лежи, выкарабкивайся, но не прозевай, когда температура до тридцати восьми упадет.

В общем, закон: ходить можешь, то иди лучше работай, с лагерными врачами не связывайся. Врачи в “особом” вольнонаемные, дело свое хорошо знали, чуть что крик: “Симулянт! Марш на работу. В карцер пошлю!” В лагере среди заключенных врачей было много, но работать по специальности им не разрешали, а использовали на общих работах, и при этом тяжелых.

Когда заболел о. Арсений, то на третий день врач из заключенных осмотрел его, позвал для консультации профессора-легочника, тот тоже прослушал. Постояли, поговорили между собой и сказали Авсеенкову: “У больного общее воспаление легких, полное истощение, авитаминоз, сердце изношено. Дела его плохи, вряд ли проживет больше двух дней. Нужны лекарства, кислород, уход, но при таком истощении всего организма уже ничего не поможет”.

Отец Арсений почти старик. В “особом” не один год, за это время барак не один раз обновлялся, из “старожилов” осталось человек десять-двенадцать. Глядя на “старожилов”, начальство лагерное и сами заключенные искренне удивлялись – как и почему эти “патриархи” барака еще живы.

Вызвали через надзирателя фельдшера, осмотрел он о. Арсения издали, с расстояний двух метров, бросил аспирин, градусник дал Авсеенкову, чтобы тот измерил температуру о. Арсению, посмотрел, что сорок с лишним, и, сказав “грипп”, ушел.

Друзья видят, что пришел его черед умирать, пытаются спасти. Окольными путями послали в больницу ходока, включились в помощь дружки из уголовников, обхаживают надзирателей, где-то достали сухую горчицу, малину, несли все, что могли. Ходок, проникший через верных людей в больницу, просит помощи, лекарства, рассказывает, что с о. Арсением. Врач ходока выслушал и спросил: “Сколько лет зеку и в лагере который год?” Ходок объясняет, что больному сорок девять и в “особом” три года.

Врач на это только ответил: “Вы что, думаете, что лагерь “особого режима” – санаторий и зеки в нем до ста лет должны жить? Ваш больной рекордсмен, три года прожил. Пора и честь знать. Лекарств нет, для фронта нужны”.

...Температура поднималась, все чаще и чаще исчезало сознание. Авсеенков аспирином с малиной о. Арсения поит, Сазиков тряпку горчицей обмазал и положил на грудь и спину. Врачи из заключенных, придя с работы, тоже помогают, чем могут, но о. Арсению становится все хуже и хуже. Умирает.

Смерть в лагере дело обычное, привыкли все к ней, а тут все, как один человек, как-то по-особому переживали. (Из конца в конец только и слышалось: “Умирает о. Арсений, умирает Петр Андреевич”. Ибо для каждого сделал он что-то хорошее, доброе. Уходил человек необычный,

понимали это и политические, и уголовники.) (Фраза в скобках включена мною в воспоминания только после смерти о. Арсения и принадлежит Сазикову и Алексею-студенту.)

Молится и молится о. Арсений, чувствует помощь друзей своих, но постепенно стал затихать.

“Отходит”, – проговорил кто-то. Затих о. Арсений и сам чувствует, что умирает: барак, Сазиков, Авсеенков, Алексей, врач Борис Петрович – все куда-то ушло, провалилось, пропало.

Через какое-то время о. Арсений почувствовал необычайную легкость, охватившую его, и услышал, что его окружает тишина. Спокойствие пришло к нему. Одышка, мокрота, заливавшая горло, жар, сжигавший тело, слабость и беспомощность исчезли. Он чувствовал себя здоровым и бодрым.

Сейчас о. Арсений стоял около своих нар, а на них лежал худой, истощенный, небритый, почти седой человек со сжатыми губами и полуоткрытыми глазами. Около лежащего стояли: Авсеенков, Сазиков, Алексей и еще несколько заключенных, знаемых и любимых о. Арсением. Отец Арсений стал вглядываться в лежащего человека и вдруг с удивлением осознал, что это же лежит он, о. Арсений.

Друзья, собравшиеся около нар, огромный барак с его многочисленным населением, обширный лагерь вдруг стали как-то особенно видны о. Арсению, и он понял, что сейчас видит не только физический облик людей, но и душу их.

Сквозь охватившую его тишину он видел движение заключенных, не слышал, но почему-то отчетливо понимал, что говорили и думали эти люди. Со страхом понял о. Арсений, что видит состояние и содержание каждой души человеческой, но, однако, он уже не был с этими людьми, он уже не жил в том мире, из которого только что ушел.

Невидимая черта четко отделяла его от этого мира, и эту невидимую черту он не мог преодолеть.

Вот Сазиков поднес кружку с водой к “его” губам и попытался влить в рот, но не смог. Вода облила лицо. Что-то говорили между собой Авсеенков, и Алексей, и другие стоящие люди.

Отец Арсений, стоя в ногах своего собственного тела, смотрел на себя и окружающих людей, как посторонний, и вдруг понял, что душа его покинула тело, и он, иерей Арсений, физически мертв.

Отец Арсений растерянно оглянулся, барак уходил в темноту, но где-то в темноте, далеко-далеко горел ослепительный свет.

Сосредоточившись, о. Арсений стал молиться и сразу почувствовал спокойствие, понял, что надо куда-то идти и пошел к ослепительному свету, но, сделав несколько шагов, вернулся в барак, подошел к своим нарам и, смотря на Алексея, Александра Павловича, Иванова, Сазикова, Авсеенкова и многих, многих, с кем проходил в лагере тернистый путь страданий, понял, что не может оставить этих людей, не может уйти от них.

Став на колени, он стал молиться, умоляя Господа не оставить Алексея, Авсеенкова, Александра, Федора, Сазикова и всех тех, с кем он жил в лагере.

“Господи! Господи! Не оставь их! Помоги и спаси!” – взывал он и особенно просил Матерь Божию, умоляя Ее не покинуть, не оставить Милостью Своей заключенных “особого”.

Молясь, плача, умоляя и взывая ко Господу, Матери Божией и Святым, просил о. Арсений милости, но все было безмолвным, и только барак и весь лагерь предстали перед духовным взором иерея Арсения как-то особенно. Весь живущий лагерь со всеми живущими в нем заключенными и охраной увидел о. Арсений как бы изнутри. Каждый человек нес в себе душу, которая сейчас была осязательно видна для о. Арсения.

У одних душа была объята пламенем веры и опаляла этим пламенем окружающих, у других, как у Сазикова и Авсеенкова, горела небольшим, но все разгорающимся огнем, у некоторых искры веры тлели, и нужен был только приход пастыря, чтобы раздуть их в пламя. Но были люди, у которых душа была темной, мрачной, без малейшего намека на искру Света. Всмотриваясь сейчас в души людей, раскрывшиеся ему по велению Божью, о. Арсений испытал величайшее волнение.

“Господи! Господи! Я жил среди этих людей и не замечал, и не видел их. Сколько прекрасного несут они в себе, сколько здесь настоящих подвижников веры, нашедших себя среди окружающего мрака духовного и невыносимых человеческих страданий, и не только нашедших себя для себя, но отдающих жизнь свою и любовь окружающим людям, помогающих всем словом своим и делом.

Господи! Где же я был, ослепленный своею гордостью и малое делание мое принявший за большое!”

Отец Арсений видел, что Свет веры горел не только у заключенных, но был у некоторых людей охраны и администрации, по мере сил своих и возможностей совершавших добро, а для них это было большим подвигом.

“К чему все это, – пронеслось в мыслях о. Арсения, – к чему?” Он стоял, всматриваясь в духовный мир людей, людей, с которыми он постоянно жил, общался, говорил или видел, и каким неожиданно многообразным и духовно прекрасным предстал он перед ним. Люди, казавшиеся в общей массе заключенных духовно опустошенными и обезличенными, несли в себе столько веры, столько неисчерпаемой любви к окружающим, совершали добро и безропотно несли свой жизненный крест, а он, о. Арсений, живя с ними рядом, он – иеромонах Арсений – видел только около себя и не заметил их, не увидел этого, не нашел общения с этими людьми.

“Господи! Где же был я? Прости и помилуй мя, что я только видел себя и обольщался собой, мало верил в людей”.

Склонившись, о. Арсений долго молился. Поднявшись с колен, он увидел, что стоит еще в лагере, но раскрывшееся ему видение лагеря исчезло, пропали и нары, и барак. Отец Арсений стоял у выхода из лагеря, кинжальные лучи прожекторов пробежали по территории его, у ворот стояли часовые. Была ночь, лагерь спал.

Обернувшись к лагерю, о. Арсений благословил его и стал молиться о тех, кто оставался в нем:

“Господи! Как я оставлю их? Как буду без них? Не остави всех здесь живущих Своею милостью. Помози им”, – и, опустившись на колени в снег, стал молиться.

Было холодно, ветер бросал снег, а о. Арсений стоял и ничего не чувствовал. Он долго молился и, поднявшись с колен, вышел из лагеря. Миновал охрану и пошел по дороге. В темноте ночи где-то далеко-далеко горел яркий зовущий свет, вот к нему и пошел о. Арсений. Шел легко, спокойно. Миновал лес, поселок и вдруг вошел в свой город, где была его, именно его церковь. Церковь, где он начинал служение, церковь-храм, в которую он вложил вместе со своими духовными детьми много сил, чтобы восстановить старинное, древнее ее величие. “Что это, Господи! Почему я здесь?” – проговорил он про себя и вошел в церковь.

Первое, что он увидел, была икона Божией Матери, та древняя чудотворная икона, скорбный лик которой проникновенно и внимательно взирал на приходящих к Ней. В церкви все было так же, как он когда-то оставил ее, но сейчас она была полна народа, причем собравшихся было необычайно много. Лица молящихся были радостными и смотрели на икону Божией Матери.

Отец Арсений пошел к алтарю, молящиеся расступились, образуя проход, и он, с восторгом и благоговением смотря на иконы, как-то особенно легко шел вперед. Войдя в алтарь, стал готовиться к служению, хотел снять телогрейку, чтобы одеть облачение, но кто-то стоящий рядом повелительно сказал: “Не снимайте, это тоже облачение для служения”. Взглянув, о. Арсений увидел свою стеганку, но она была какая-то сверкающая, ослепительно белая. Надев епитрахиль, он стал совершать служение и удивился: алтарь был залит ярким светом, вся церковь светилась, иконы как-то особенно выглядели на стенах и, казалось, ожили, молящихся было много, и они все углубились в молитву, и при этом лица их были радостными.

Совершая обедню, о. Арсений увидел, что вместе с ним служат иеросхимонах Герман, иерей Амвросий, дьякон Петр и еще несколько иереев. И он, о. Арсений, знает всех сослужащих с ним, а сбоку в алтаре скромно стоят владыки Иона, Антоний, Борис, его духовный отец и друг владыка Феофил, и они радостно смотрят на него, о. Арсения.

“Господи! – подумалось о. Арсению. – Ведь они давно умерли, а сейчас здесь. Хорошо, что мы вместе”.

Служит о. Арсений, а душу его переполняет радость, молитва охватывает всего и поднимает ввысь.

Благословляя молящихся, увидел о. Арсений, что стоящих он тоже знает. Вот дети его духовные, вот прихожане этой церкви, а этих встречал и общался в своих странствиях или лагерях, жил когда-то с этими людьми. И все эти люди за кого-то молятся, просят. Взглянул о. Арсений на этих людей и отчетливо понял, что они, как и владыки и священники, сослужащие с ним, умерли, кто давно, а кто и недавно.

“Матерь Божия, что же это такое?” – пронеслось в мыслях о. Арсения, но, не ответив себе на этот вопрос, весь ушел в служение и молитву. Совершает обедню о. Арсений и чувствует, что сгорает он от радости и тепла внутреннего. Принял Святых Тайн, окончил служение и припал к образу Царицы Небесной Владимирской, моля о прощении грехов своих:

“Призвал меня, Мати Божия, на суд Свой Отец Небесный, ибо умер я, не остави меня, грешного и буди заступница и ходатаица о душе моей грешной у Царя Небесного. Не остави меня. На Тя уповаю, аз есмь грешен и недостоин”. Молясь о прощении грехов своих, просил он Матерь Божию не оставить Своею помощью всех, кого знал и кто оставался в миру. Просил за детей своих духовных и за тех, кто в лагерях с ним жил и там оставался. Просил за Алексея-студента, Сазикова, Авсеенкова, Абросимова, Алчевского и многих, многих лагерных. Ушел весь в молитву, забыл о времени и так

просил Царицу Небесную, что, казалось, молящиеся в храме слышали его молитву. Беспрерывно повторяя: “Мати Божия! Не остави их, страждущих”, – плакал об оставленных навзрыд, заливаясь слезами.

Сжимается, ноет сердце о. Арсения – как же будут жить друзья его, оставленные в лагере? Знает – тяжело там, невыносимо и, припадая к иконе Божией Матери, просит и просит не оставить друзей его, помочь им, облегчить страдания и муки, превышающие меру человеческих тягот... И вдруг услышал голос, исполненной необычайной мягкости, отчетливости и в то же время повелительности:

“Не пришел еще час смерти твоей, Арсений. Должен ты еще послужить людям. Господь посылает тебя помогать детям моим. Иди и служи, не оставлю тебя помощью Своею”.

Отец Арсений поднял голову, взглянул на икону и увидел, что Мать Божия как бы сошла с иконы и стоит на месте ее. Отец Арсений, пораженный, упал у ног Матери Божией и только повторяет: “Мать Божия, не остави их. Помилуй мя грешного”, – и опять услышал голос: “Подними лицо свое, Арсений, взгляни на Меня и скажи Мне, что хотел сказать и думал”.

Поднял лицо о. Арсений, взглянул на Мать Божию и, пораженный добротой Ее и величием неземным, склонившись низко, сказал:

“Мать Божия, Владычица! Да исполнится воля Твоя и Господа, но я стар и немощен. Смогу ли я послужить людям, как Ты, Владычица, хочешь?”

А Мать Божия продолжала: “Не один ты у Меня, Арсений, со многими людьми служить Мне будешь, помогут тебе, и ты с ними многим поможешь. Показал тебе Господь сейчас, что у Него помощников много. Показал тебе Господь души людей, населяющих лагерь, не думай, что ты один совершаешь добро, во многих людях живет вера и любовь. Иди и служи Мне. Помогу тебе”. И почувствовал о. Арсений, что коснулась головы его рука Матери Божией.

Встал о. Арсений с колен, вознес молитву еще и еще раз, снял епитрахиль, поклонился всем молящимся и священству и опять понял, что всех молящихся в храме знает, большинство из них провожал он в последний путь и жизнь свою как-то связал с этими людьми.

Подошел к Царским вратам, встал на колени и, поднявшись с колен, обратился к молящимся, прося их молитв и помощи, и пошел к выходу из храма, благословляемый народом. Вышел из храма, душу переполняла радость. Идти было легко, шел к барaku, в лагерь. Лес, дорога, дома – все мелькало и несло мимо него. Прошел мимо охраны, вошел в барак, увидел свой лежак, тело свое, лежащее на нем, людей, окружавших его. Вошел, лег на лежак и услышал разговор: “Все теперь! Холодеет. Умер наш о. Арсений. Пять часов уже прошло, скоро подъем, придется сообщить старшему”.

Кто-то из окружающих продолжал: “Осиротел барак, многим помогал. Мне, боровшемуся всю жизнь против Бога, показал Его, и показал делами своими”.

Неожиданно о. Арсений глубоко вздохнул и, испугав и поразив всех окружающих, проговорил: “Уходил я в храм, да вот Мать Божия сюда к вам послала”. И слова эти никому не показались странными или удивительными, так неожиданно поразительным было его возвращение к жизни.

Недели через две встал о. Арсений, но как-то странно ему все стало в бараке, по-другому и жизнь, и люди видны. Все ему, чем могут, помогают, кто что может – от обеда урвет и несет. Надзиратель Справедливый масла сливочного стал приносить и Сазикову отдавал для о. Арсения.

Встал, ожил о. Арсений. Тяжелая болезнь ушла.

Господь и Мать Божия послали его служить людям, послали в мир.

МИХАИЛ

Проверка кончилась, заключенных по счету загнали в барак и заперли дверь. Перед сном можно было немного поговорить друг с другом, обменяться лагерными впечатлениями, новостями дня, забить партию в домино или лечь на нары и думать о прошлом. Часа два после закрытия барака еще слышались разговоры, но постепенно они стали стихать, и тишина завладела баракom. Заключенные засыпали.

После закрытия барака о. Арсений долго стоял около нар и молился, а потом лег и, продолжая молиться, уснул. Спал, как всегда, тревожно. Приблизительно около часу ночи почувствовал, что кто-то его толкает. Вскочив, увидел незнакомого взволнованного человека, говорящего шепотом:

“Пойдемте скорее! Умирает сосед! Зовет Вас!”

Умирающий находился в другом конце барака, лежал на спине, дышал тяжело и прерывисто, глаза были неестественно широко открыты. “Простите. Нужны Вы мне. Ухожу, – сказал о. Арсению, а потом почти повелительно произнес: – Садитесь”.

Отец Арсений сел на край нар. Свет, идущий из коридора, образуемого нарами, слабо освещал лицо умирающего, покрытое крупными каплями пота. Волосы слиплись, губы были болезненно сжаты. Был он измучен, смертельно болен, но глаза, широко открытые глаза, как два пылающих факела, смотрели на о. Арсения.

В этих глазах сейчас жила, горела и металась вся прожитая этим человеком жизнь. Он умирал, уходил из жизни, исстрадался, устал, но хотел отдать во всем отчет Богу:

“Исповедуйте меня. Отпустите. Я инок в тайном постриге”. Соседи по нарам ушли и где-то легли. Все видели, что пришла смерть, и надо быть милостивым и снисходительным к умирающему даже в лагерном бараке. Склонившись к инок, проведя рукой по его слипшимся коротким волосам, поправив рваное одеяло, о. Арсений положил руку на голову, шепотом прочел молитвы и, внутренне собравшись, приготовился слушать исповедь.

“Сердце сдало”, – проговорил умирающий, назвав свое имя в иночестве “Михаил”, и начал исповедь.

Склонившись к лицу лежащего, о. Арсений слушал чуть слышный шепот и невольно смотрел в глаза Михаила. Иногда шепот прерывался, в груди слышались хрипы, и тогда Михаил жадно ловил открытым ртом воздух. Временами замолкал, и тогда казалось, что он умер, но в эти мгновения глаза продолжали жить, и о. Арсений, взглядываясь в них, читал все то, что хотел рассказать еле слышный прерывающийся шепот.

Многих людей исповедовал о. Арсений в их последний смертный час, и эти исповеди всегда до глубины души потрясали его, но сейчас, слушая исповедь Михаила, о. Арсений отчетливо понял, что перед ним лежит человек необычайной, большой духовной жизни. Умирал праведник и молитвенник, положивший и отдавший свою жизнь Богу и людям.

Умирал праведник, и о. Арсений стал сознавать, что иерей Арсений недостоин поцеловать край одежды инока Михаила и ничтожен и мал перед ним.

Шепот прерывался все чаще и чаще, но глаза горели, светились, жили, и в них, в этих глазах, по-прежнему читал о. Арсений все, что хотел сказать умирающий.

Исповедуясь, Михаил судил сам себя, судил сурово и беспощадно. Временами казалось, что он отдалился от самого себя и созерцал другого человека, который умирал. Вот этого умирающего он и судил вместе с о. Арсением. И о. Арсений видел, что житейский мир, как корабль, со всем его грузом тягот, тревог и горестей прошлого и настоящего, уже отплыл от Михаила в далекую страну забвения и сейчас осталось только то, что необходимо было подвергнуть рассмотрению, отбросив все наносное, лишнее, и отдать это главное в руки присутствующего здесь иерея Арсения, и он властью Бога должен был простить и разрешить содеянное.

За считанные минуты, оставленные ему для жизни, должен был инок Михаил передать о. Арсению, все открыто показать Богу, осознать свои прегрешения и, очистившись перед судом своей совести, предстать перед судом Господа.

Человек умирал так же, как умирали многие и многие в лагерях на руках о. Арсения, но эта смерть потрясла и повергла о. Арсения в трепет, и он понимал, что Господь даровал ему великую милость, разрешив исповедовать этого праведника.

Господь показывал сейчас Свое величайшее сокровище, которое Он долго и любовно растил, показывал, до какой степени духовного совершенства может подняться человек, бесконечно полюбивший Бога, взявший, по апостольским словам, “иго и бремя” христианства на себя и понесший его до конца. Все это видел и понимал о. Арсений.

Исповедь умирающего Михаила давала возможность увидеть, как в неимоверно сложных условиях современной жизни, во время революционных потрясений, культа личности, сложных человеческих отношений, официально поддерживаемого атеизма, общего попрания веры, падения нравственности, постоянной слезки и доносов и отсутствия духовного руководства человек глубокой веры может преодолеть все мешающее и быть с Богом.

Не в скиту или уединенной монастырской келье шел Михаил к Богу, а в сутолоке жизни, в грязи ее, в ожесточенной борьбе с окружающими его силами зла, атеизма, богоборчества. Духовного руководства почти не было, были случайные встречи с тремя-четырьмя иереями и почти годовое радостное общение с владыкой Федором, постригшим Михаила в монахи, а далее два-три коротких письма от него и неистребимое, горячее желание идти и идти ко Господу.

“Шел ли я путем веры, шел ли я так, как надо, к Богу, или шел неправильно? Не знаю”, – говорил Михаил.

Но о. Арсений видел, что не только не отступил Михаил от предначертанного пути, на который направлял его владыка Федор, а далеко, далеко прошел по этому пути, опередив и превзойдя своих наставников.

Жизнь Михаила была подобна битве в пути за духовное и нравственное совершенство среди обыденной жизни века сего, и о. Арсений понимал, что Михаил выиграл эту битву, битву, где он был один на один со злом, окружавшим его. И живя среди людей, творил добро во имя Бога и нес в душе, как пылающее пламя, слова апостола: “Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов”.

Отец Арсений понимал все совершенство и величие Михаила, сознавал свое ничтожество и страстно молил Господа дать ему, о. Арсению, силы облегчить последние минуты умирающего. Временами о. Арсения охватывала беспомощность и в то же время восторг от сознания близости с Михаилом, предсмертная исповедь которого открывала ему сокровенные пути Господни, учила и наставляла на путь глубочайшей веры.

И вот наступил момент, когда Михаил отдал все, что было на душе, о. Арсению и, отдав через него Господу, вопросительно взглянул на о. Арсения. И взяв бремя грехов умирающего и держа в руках своих, принял о. Арсений все на душу свою иерейскую и затрепетал, затрепетал еще раз от сознания своего ничтожества и беспомощности человеческой и, провозгласив молитву отпущения рабу Михаилу, сперва внутренне зарыдал, а потом, не сдержавшись, заплакал на глазах умирающего.

Михаил, подняв глаза и устремив их на о. Арсения, произнес: “Спасибо! Успокойтесь! Настал час воли Божией, молитесь обо мне, пока живете на земле. Ваш земной путь еще долог. Прошу Вас, возьмите шапку мою, записка там к двум людям, души и веры они большой. Очень большой. Адреса написаны. На волю выйдете – передайте, и Вы им нужны, и они Вам. Номер на шапке перешейте. Молите Господа об иноке Михаиле”.

Во все время исповеди были в бараке они одни. Барак, люди, его населяющие, обстановка барака – все отдалилось, ушло в какое-то небытие, и только состояние близости Бога, молитвенное созерцание и тишина внутреннего единения охватили их обоих и поставили перед Господом.

Все мучительное, мятельное, человеческое ушло – был Господь Бог, к которому сейчас один уходил, а другой был допущен созерцать великое и таинственное – смерть, уход из жизни.

Умиравший сжал руку о. Арсения, молился, молился столь проникновенно, что отделился от всего внешнего, а о. Арсений, прильнув к нему душой в молитвенном единении, отрешился от всего и благоговейно и безропотно шел за молитвой инок Михаила.

Но вот наступили минуты смерти, глаза умирающего засветились, загорелись тихим светом восторга, и он еле слышно произнес: “Не отрини меня, Господи!”

Михаил поднялся с нар, протянул вперед руки, почти шагнув, и громко произнес дважды: “Господи! Господи!”

И потянувшись еще немного вперед, упал навзничь и сразу вытянулся. Рука, державшая руку о. Арсения, разжалась, черты лица приобрели спокойствие, но глаза еще светились и с восторгом смотрели вверх, и о. Арсению показалось, что он воочию увидел, как душа Михаила покидала тело.

Потрясенный, о. Арсений упал на колени и стал молиться, но не о душе и спасении умершего, а о той великой милости к нему, о. Арсению, милости, даровавшей, сподобившей увидеть Неувиденное, Непознаваемое и самое таинственное из тайн – смерть Праведника.

Поднявшись с колен, о. Арсений склонился над телом Михаила, глаза которого были еще раскрыты и озарены светом, но свет постепенно гас, озаренность пропадала, чуть заметная дымка покрыла их, потом веки медленно закрылись, по лицу пробежала тень, и от этого лицо стало величественным, радостным и спокойным.

Склонившись над телом, о. Арсений молился, и хотя он только что присутствовал при смерти инок Михаила, на душе у него не было скорби, были спокойствие и внутренняя радость. Сейчас он видел Праведника, прикоснулся к Милости Божией и Славе Его.

Отец Арсений бережно оправил одежду умершего, поклонился телу Михаила и вдруг осознал, что он находится в бараке лагеря “особого режима”, и мысль, как молния, еще и еще раз пришла к нему, что Бог, Сам Господь был сейчас здесь и принял душу Михаила.

Скоро должен был начаться подъем. Отец Арсений взял шапку Михаила, спорол номера со своей и его шапки и пошел к старшему по бараку сказать о смерти Михаила.

Старшой из старых уголовников спросил номер умершего и посочувствовал. Барак открыли, заключенные выбегали на поверку, строились. Перед входом в барак стояли надзиратели, старшой по бараку, подойдя к ним, сказал: “Мертвяк у нас, № 382”.

Один из надзирателей вошел в барак, посмотрел на умершего, толкнул тело носком сапога и вышел. Часа через два из санчасти приехали на санях за телом. Вошел врач из вольнонаемных, небрежно скользнул взглядом по телу Михаила, рукавицей поднял веко и брезгливо сказал дневальным: “Быстрее на отвоз”.

В санях уже лежало несколько трупов. Михаила вынесли из барака и положили на тела других заключенных. Возница стал усаживаться на перекладину саней, опираясь ногами на окоченевшие

тела мертвых. Было морозно и тихо, шел редкий снег и, падая на лица мертвых, медленно таял, от чего казалось, что они плачут. Около барака стояли надзиратели, разговаривавшие с врачом, дневальные и о. Арсений, прижавший к груди руки и молящийся про себя.

Сани тронулись, о. Арсений, низко поклонившись, перекрестил мертвых и вошел в барак.

Возница, дергая вожжами, отвратительно ругаясь, понукал лошадей, и сани, медленно двигаясь, скрылись за баракком.

Записано в 1960 году со слов о. Арсения. В 1966 году
разрозненные записи были систематизированы
иеромонахом Андреем.

“ТЫ С КЕМ, ПОП?”

В начале заключения считаешь дни, потом недели, но уже на второй год наступает момент, когда ты ждешь только смерти. Изнурительная работа, полуголодное существование, драки, избиения, холод, оторванность от дома отупляли тебя, заставляли думать о неизбежности смерти в течение двух-трех лет лагерной жизни, поэтому основная масса заключенных морально опускалась, внутренне разлагалась.

У большинства из нас, политических, и у всех уголовников мысли менялись в соответствии с лагерной жизнью: приходом надзирателя, отнятой пайкой, дракой, работой, которую дали бригаде, карцером, отмороженным пальцем или очередной смертью барачного жителя.

И в этих событиях наши мысли месились, как раствор глины, и от этого становились однозначными, ограниченными страшной лагерной действительностью. Основная масса заключенных мечтала нажраться до отвала, или, как говорили в лагере, “от пуза”, выпастыся дня два подряд, достать где-то пол-литра спирта, выпить его и опять нажраться. Но все это были несбыточные и неосуществимые мечты.

Очень малая часть политических заключенных старалась сохранить в себе человека, пыталась держаться особняком, поддерживать друг друга, не опускаться до уголовников, держаться с достоинством, насколько позволяла лагерная обстановка.

Эти заключенные собирались в пределах одного барака группой, читали лекции, стихи, воспоминания и иногда даже что-то писали на обрывках грубой бумаги. Часто возникали горячие споры по самым разнообразным вопросам, но особенно ожесточенными были споры на политические темы, в которые нередко ввязывались уголовники и заключенные из безликой массы опустившихся политических. Спорили со злостью, ненавистью друг к другу. Отец Арсений в спорах не участвовал, но один раз его втянули насильно.

Обыкновенно заключенные боялись высказываться, но спор разжигал страсти и заставлял забывать о возможных последствиях в “особом отделе”, и иногда кто-нибудь из спорящих говорил: “Была не была, все равно подышать, так хоть перед смертью выскажусь”.

Прошла проверка, барак заперли, за стенами его метался ветер, снег завалил окна, было душно, сыро, но тепло. Лампочки горели в полнакала, и от этого становилось сумрачно и тоскливо, одиночество угнетало.

Заключенные собирались в группы, и начинались разговоры, споры, воспоминания. Уголовники играли в карты или в домино на деньги или пайку. Около одного лежака, недалеко от нар о. Арсения, собралось несколько человек, и в скором времени возник ожесточенный спор на тему: “Отношение зеков (заключенных) к власти”.

Минут через пятнадцать народу стало уже человек двадцать, спор приобрел острый характер. Люди перебивали друг друга, угрожали. Собрались бывшие партийцы, интеллигенты разных профессий, несколько бывших власовцев и еще какие-то заключенные. Раздавались крики: “За что сидим? Ни за что. Где справедливость? Расстрелять всех их надо!”

Лица спорящих были озлобленными, раздраженными, и только трое или четверо бывших членов партии возражали и пытались доказать, что все происходящее является какой-то грандиозной ошибкой, которую рано или поздно исправят, и что все происходящее, возможно, является вредительством, и что Сталин ничего об арестах не знает, или его обманывают.

“Обманывают, а пол-России посадили, это продуманная система уничтожения кадров”, – вопил какой-то голос.

“Знает Сталин, это его приказ”, – вторил другой. Один из заключенных, осужденный за агитацию и подготовку покушения на жизнь Сталина, был особенно озлоблен. Лицо его кривилось, голос дрожал. Несколько власовцев так же ожесточенно ругали все и вся.

“Уничтожать их надо, вешать, расстреливать, партийцев этих”.

Секретарь одного из ленинградских райкомов, большевик с 17-го года, буквально на кулаках сцепился с каким-то типом, служившим у немцев.

“Предатель, – кричал секретарь, – тебя расстрелять надо, а ты еще живешь!” – “Я-то таких, как ты, повешал и пощелкал не один десяток, жалею, что ты, падло, не попался. За дело сижу, а ты своим задницу лизал и со мной здесь дохнешь, как предатель”. – “Я предатель? Я предатель? Да я советскую власть утверждал!” – “Я да я, а сидишь, как предатель, вот и вся твоя власть в этом сказалась”.

Кругом смеются, но спор по-прежнему остается ожесточенным. Один из заключенных проговорил: “Церкви разрушали, веру попрали”. Кто-то из собравшихся, увидев о. Арсения, сидевшего на своих нарах, сказал, обращаясь к нему: “А ну-кося, Петр Андреевич! Слово свое о властях скажите. Как Церковь к власти относится?”

Отец Арсений промолчал, но его буквально втащили в круг спорящих. Секретарь райкома, друживший с о. Арсением, как-то сразу поник. Что должен был ответить о. Арсений, всем было ясно, слишком уж много натерпелся он в лагерях.

Власовец Житловский, командир какого-то соединения во власовской армии, в прошлом журналист и командир Красной Армии, человек жестокий и властный, державший в своих руках группу власовских офицеров, живших в лагере и бараке, снисходительно смотрел на о. Арсения.

Власовцы держались в лагере независимо, ничего не боялись, так как им все уже было отмерено, конец свой знали и сидели действительно за дело. “Давай, батя, сыпь!”

Отец Арсений, помедлив несколько мгновений, сказал: “Жаркий спор у вас. Злой. Трудно, тяжело в лагере, и знаем мы конец свой, поэтому так ожесточились. Понять вас можно, да только никого уничтожать и резать и надо. Все сейчас ругали власть, порядки, людей и меня притащили сюда лишь для того, чтобы привлечь к одной из спорящих сторон и этим самым досадить другой.

Говорите, что коммунисты верующих пересажали, церкви позакрывали, веру попрали. Да, внешне все выглядит так, но давайте посмотрим глубже, оглянемся в прошлое. В народе упала вера, люди забыли свое прошлое, Набросили многое дорогое и хорошее. Кто виновен в этом? Власти? Виноваты мы с вами, потому что собираем жатву с посеянных нами же семян.

Вспомним, какой пример давали интеллигенция, дворянство, купечество, чиновничество народу, а мы, священнослужители, были еще хуже всех.

Из детей священников выходили воинствующие атеисты, безбожники, революционеры, потому что в семьях своих видели они безверие, ложь и обман. Задолго до революции утратило священство право быть наставником народа, его совестью. Священство стало кастой ремесленников. Атеизм и безверие, пьянство, разврат стало обычным в их среде.

Из огромного количества монастырей, покрывавших нашу землю, лишь пять или шесть были светочами христианства, его совестью, духом, совершенством веры. Это – Валаамский монастырь, Оптиная пустынь с ее великими старцами, Дивеевская обитель, Саровский монастырь, а остальные стали общежитиями почти без веры, а часто монастыри, особенно женские, потрясали верующих своей дурной славой.

Что мог взять народ от таких пастырей? Какой пример? Плохо воспитали мы сами народ свой, не заложили в него глубокий фундамент веры. Вспомните все это. Вспомните! Поэтому так быстро забыл народ нас, своих служителей, забыл веру и принял участие в разрушении церквей, а иногда и сам первый начинал разрушать их.

Понимая это, не могу я осуждать власть нашу, потому что пали семена безверия на уже возделанную нами же почву, а отсюда идет и все остальное, лагерь наш, страдания наши и напрасные жертвы безвинных людей. Однако скажу вам, что бы ни происходило в моем отечестве, я гражданин его и как иерей всегда говорил своим духовным детям: надо защищать его и поддерживать, а что происходит сейчас в государстве, должно пройти, это грандиозная ошибка, которая рано или поздно должна быть исправлена”.

“Попик-то наш красненький, – сказал Житловский. – Придавить тебя надо за такую паскудную проповедь. Святошей притворяешься, а сам в агитаторах ходишь, на “особый отдел” работаешь”, – и с силой вытолкнул о. Арсения из круга спорящих.

Спор продолжался с прежней силой, но кое-кто из спорящих стал покидать собравшихся.

После этого спора некоторые заключенные стали преследовать о. Арсения, и особенно из группы Житловского. Раза два избивали его ночью, облили мочой нары, отнимали пайку. Мы, дружившие с ним, решили оберегать о. Арсения от людей Житловского, зная, что это народ отпетый, который может сделать все что хочет.

Как-то вечером пришел киевлянин Жора Григоренко, близкий друг Житловского, и позвал о. Арсения к своему шефу. Отец Арсений пошел. Житловский, развалившись на нарах, говорил со

своими дружками, собравшимися вокруг: “Ну-ка, поп? с нами или с большевиками пойдешь, душа продажная? На “особый отдел” работаешь, исповедуешь нашего брата, а потом доносишь? Пришьем тебя скоро, а сейчас выпорем для примера. Давай, Жора. Хотя дай попу высказаться”.

Жора Григоренко был всеми ненавидим. Коренастый, широкий в плечах, с головой без шеи, лицом, прорезанным шрамом, отчего лицо было перекошено и постоянно улыбалось, производя отталкивающее впечатление. Ходили слухи, что у немцев он был исполнителем приговоров, хотя осужден был только за службу рядовым во власовской армии.

Отец Арсений спокойно посмотрел на Житловского и досказал: “Жизнью людей распоряжаетесь не Вы, а Господь. С Вами я не пойду, – и, сев на нары против Житловского, продолжал: – Не пугайте меня, все это было в прошлом: крики, избиения, угрозы смерти. Богом, в Которого я верю, каждому человеку отмерена длина пути его и мера страданий, и если мой путь оборвется здесь, то на это будет Господня воля, а не мне и Вам изменять ее, и каждый из нас в конце концов придет на суд Божий, где от совершенных дел примет меру свою.

Я верю в Бога, верю в людей и до последнего своего вздоха буду верить. А Вы? Где Ваш Бог? Где вера Ваша? Вы много говорите о том, что хотите защитить угнетенных и обиженных людей, но пока Вы уничтожали, убивали и унижали всех соприкасающихся с Вами. Взгляните на руки Ваши, они же у Вас в крови!”

Житловский поднял руки и как-то странно посмотрел на них, потом взглянул на о. Арсения и не опустил, а бросил руки на колени и, сорвавшись на визг, крикнул: “Не заговаривайтесь, полегче!” – и опять впился глазами в лицо о. Арсения.

С верхних нар раздался голос Григоренко: “Аркадий Семенович! Попик-то на разговорном подъеме, может, акцию совершить?”

“Замолчи, Григоренко! – ответил Житловский. – Дадим ему перед издыханием наговориться, попы, как советские профсоюзные работники, всю жизнь болтают”. А о. Арсений продолжил:

“Как-то мне сказали, что верующий Вы, но во что? Пытали и убивали людей во имя чего? Помню Ваше упоминание о Достоевском, о котором говорили как о любимом писателе и душе русского народа. Вспомню Вам по памяти слова старца Зосимы из “Братьев Карамазовых”, которые он говорил перед смертью, обращаясь к братии: “Не ненавидьте атеистов, злоучителей, материалистов, даже злых из них, не токмо добрых, ибо из них много добрых, наипаче в наше время. Народ Божий любите... Веруйте и знамя держите. Высоко возносите его. Творите добро людям и тяготы их носите”. А Ваша жизнь проходит в ненависти и злобе. У каждого человека есть время одуматься и исправиться, и у Вас есть”.

Сказав, о. Арсений встал с нар и пошел в свой конец барака, но сверху с искаженным от злобы лицом соскочил Григоренко и бросился душить о. Арсения, и в то же время, расталкивая столпившихся дружков Житловского, появился высокий и мощный заключенный, носивший в бараке прозвище “Матрос”. Был он действительно матросом из Одессы, осужденным за “политику” к пятнадцати годам нашего лагеря. Бесшабашный, постоянно веселый, хороший товарищ, Матрос, находясь в лагере, почему-то не терял здорового вида, хотя жил как все заключенные.

Растолкав собравшихся, Матрос схватил Григоренко, приподнял, словно мешок, и бросил в толпившихся дружков Житловского.

“Ты, деточка, забыл, здесь не полицейский участок у немцев, а наш лагерь, – и, обернувшись к Житловскому, схватил его за руки, повернул к себе лицом и сказал с одесским жаргоном: – Милый ты мой! Угомони своих холуев немецких, а то всех перережем. Всех!”

Люди Житловского растерялись, в проходе между нарами появилось много заключенных, готовых вступить за о. Арсения и Матроса.

Подойдя к поднимавшемуся Григоренко, Матрос произнес: “Ты, немецкий прихвостень, Петра Андреевича не трогай, не приведи Бог, что случится, я тебя с Житловским лично пришибу, а перед этим котлету сделаю.

Пошли, Петр Андреевич! а то мы им на нервы действуем. Ну, почтение мое вам, до лучших встреч!”

Недели через три Жору Григоренко перевели в другой барак. Житловский после этого случая затих и в обращении с людьми помягчал. Споры в бараке по-прежнему не утихали. Отец Арсений в них не участвовал, но досказанное им однажды мнение по вопросу отношения к власти еще долго жило в бараке.

САЗИКОВ

Время шло, Сазиков все больше и больше привязывался к о. Арсению, заботился о нем, много рассказывал о себе. Говорил о детских годах. Родился в Ростове в интеллигентной семье, окончил ростовский индустриальный институт, стал инженером, и как-то случилось, попал в компанию “друзей”, и все вокруг завертелось, Закружилось, и почти двенадцать лет прошагал с тех пор Сазиков по уголовной дороге. Шел, шел, оглядывался иногда, задумывался, а свернуть на верную дорогу не мог.

Для следственных органов и для дружков особая жизнь была, а для о. Арсения показывал свою жизнь правдиво, ничего не скрывал. Крещен Серафимом в честь Серафима Саровского, мать верующей была, до 14-ти лет по церквам водила, в вере наставляла. Умерла, тогда Серафиму – Симе – было 22 года. Отец бросил семью давно. Закружила компания Серафима, и пошло, как всегда, с маленького, а потом пришли грабежи, разгул, были и убийства. Остановки нет, такой дорогой пошел, сойти с нее трудно, чуть в сторону – дружки назад ворочают.

Чему мать учила, забылось, выветрилось, жизнь другое показывала. О Боге и не думал, где Его в уголовном мире найти? До этого ли? Забот много, только посматривай.

С Серым “работать” приходилось. Человек Серый страшный, но вдруг иногда и душу покажет. Сложный он.

“Работал” Сазиков по большим делам, деньги брали крупные. Поступал в учреждение большое, магазин крупный, вообще туда, где денег много скапливается, то ли перед получкой, то ли после выручки. Работая, изучал обстановку учреждения, женщины помогали, благо сам высокий, красивый, речь интеллигентная, статный, одевался модно. Работал хорошо, ценили, отмечали, документы всегда имел чистые, верные. Знания имел хорошие, ведь по образованию инженер. Экономику тоже знал, поэтому в больших универсальных магазинах за него держались как за специалиста. Вот так и бывало – изучит, узнает что и как, а потом брали большую сумму.

Многое сходило благополучно, но в тюрьмах и лагерях побывал, не на малые сроки. Попадался на мелких делах, о больших не знали. Завалился на ерунде, дружок под нажимом на следствии “разболтался”, добрались до одного крупного дела, дали “вышку” (расстрел), но потом направили умирать в “особый”.

“Встретился с Вами, о. Арсений, поразили Вы меня, вижу – все для других делаете. Подумал, расчет какой-то хитрый имеете или блажной, но потом понаблюдал за Вами, мать свою покойную вспомнил. Многое сказанное ею мне в детстве припомнилось. Поразили Вы меня, назвав Серафимом. Подумалось, в бреду сказал, да вижу, что не только со мной такое у Вас было.

Наблюдать стал за Вами и отчетливо понял: не для себя живете, для людей – во имя своего Бога. Стал я жизнь свою пересматривать и вижу, что она была, как говорится, “хоть час, да мой, а там хоть потоп”. Думаю, для чего так жил? Друзей нет, есть дружки, никому я не нужен, если и делают что-нибудь мне, то только из страха.

За сердце взяли меня, примером своим поразили. Решил кончать с прошлым. Трудно это сделать. Кончай, да оглядывайся, свои же убьют. Между прочим, Серый к Вам тоже приглядывается. В лагерях уголовники народ отпетый, а в “особом” тем более. Бояться нечего, все равно смерть. В своих-то бараках мы с Серым порядок навели, но трудно с народом. Знаю, жизнь свою здесь кончу, но хочу Вашим путем пойти, верить хочу”.

ИСПОВЕДЬ

Пришел как-то Сазиков. Стоял, мялся, то о том, то о другом разговаривал, а потом сказал: “Отец Арсений! Хотел бы исповедоваться, если допустите. Видно, конец скоро придет, не выйдешь из “особого”, а грехов много ношу, очень много”.

Трудно в лагере на час, на два из барака вырваться, все время под наблюдением, на то и “особый”. Но удалось Сазикову вырваться и прийти к о. Арсению на исповедь. Остались вдвоем, до проверки часа два было. Застанут обоих вместе – карцер на пять суток обеспечен.

Встал Серафим на колени, волнуется, теряется. Положил о. Арсений на голову Серафима руку и стал молиться. Ушел в молитву. Прошло несколько минут. Заговорил Серафим сначала отрывисто, сбивчиво, с большим внутренним напряжением.

Отец Арсений молчал, не направлял, не подсказывал, а, слушая, молился, считая, что человек сам должен найти себя. Исповедовать в лагерных условиях приходилось много, но старых, заматерелых уголовников – редко.

В большинстве своем это были люди, потерявшие все на свете, ничего не имеющие за душой. Совесть, любовь, правда, человечность, вера во что бы то ни было давно были утрачены, разменены,

смешаны с кровью, жесткостью, развратом. Прошлое не радовало их, оно пугало. Оторваться от своей среды они не могли, поэтому жили в ней до последнего своего часа жестокими, обозленными, не надеявшимися в лагерях ни на что. Впереди была смерть или удачный побег.

В исповедях своих, если такие случались, были всегда одинаковы. Начало жизненного пути было разным, а все остальное у всех повторялось: грабежи, убийства, разгул, разврат и вечный страх попасться. В зависимости от души человека мера падения была разной: одни сознавали и понимали, что делают, но не могли остановиться и падали все ниже и ниже, другие же упивались содеянным, жили насилием, кровью, жаждали этого и с наслаждением доставляли страдания и муки окружающим, считая свою жизнь правильной и геройской.

Серафим понимал меру своего падения, пытался остановиться, но не мог найти выхода из уголовного мира. Когда приходила старость, многие из уголовников задумывались над своим положением, но решить, что же делать, не могли.

Отец Арсений это знал.

Сазиков говорил, но исповедь не шла. Идя на исповедь, он долго думал, что и как рассказывать, исповедовать, но сейчас все потерял, смешался. Хотелось искренности, но говорил не от души, то, что хотел сказать, ушло. Потеряла его исповедь связь с душой, и оставался рассказ.

Видел и понимал это о. Арсений и хотел, чтобы в борьбе с самим собой победил сам Серафим. Победил свое прошлое и этим бы открыл путь к настоящему.

Волновался, сбивался и, открыто рыдая, говорил Серафим, а исповедь от души не шла. Борется прошлое с настоящим, и ощутил о. Арсений, что нужна сейчас помощь Серафиму, нужно то “луковое перышко” апокрифической луковки, которое хоть и тонко и непрочно, но спасает тонущего, ухватившегося за него. И протянул о. Арсений это “перышко луковое”, сказав: “Вспомни, как умоляла тебя в лесу женщина пощадить, ты не пощадил, и разве потом не стыдился самого себя?”

И в одно мгновение понял Серафим, что все видит и знает о. Арсений. Не надо подбирать слов, чтобы показать себя. Надо, не боясь ничего, открыть душу свою, а о. Арсений увидит, поймет и взвесит все сам и скажет, можно ли простить его, Серафима.

Кончил Серафим исповедь, отдал душу и самого себя в руки о. Арсения, стоит на коленях, лицо в слезах. Первый раз в жизни своей открыл самого себя, показал всю, всю жизнь и сейчас ждал приговора, наказания, осуждения.

Отец Арсений, низко склонившись, молился и никак не мог найти самых простых и нужных слов, которые бы очистили, освежили и направили человека на новый жизненный путь.

Искренность исповеди, глубочайшее сознание греховности совершенного и в то же время страшнейшие преступления, доставившие людям страдания, несчастья и муки, – все как бы смешалось вместе, и надо было измерить, взвесить, разделить одно от другого и определить меру всему этому.

Иерей Арсений, прощающий и разрешающий грехи человеческие именем Бога, боролся сейчас с человеком Арсением, не могущим еще по-человечески принять, осознать и простить совершенное Серафимом.

“Господи Боже Мой! Дай силу мне познать волю Твою, указать путь Серафиму, помочь найти ему себя. Матерь Божия! Помоги мне и ему, грешным. Помоги, Господи!”

И, молясь, понял, что говорить ничего не надо, взвешивать и решать не нужно, ибо исповедь Серафима, человека, ранее утерявшего связь с Богом, была столь глубокой и искренней, обнажившей душу его и показавшей, что этот человек стремится к Богу, нашел Его и уже теперь будет продолжать путь к Нему. За свои дела даст ответ Серафим Самому Господу на Суде Божиим и перед совестью своей.

Встал о. Арсений и, прижав голову Серафима к своей груди, сказал: “Силою и властью, данной мне Богом, я, недостойный иерей Арсений, прощаю и разрешаю грехи твои, Серафим. Твори добро людям, и Господь простит многие из грехов твоих. Иди и живи с миром, и Господь укажет тебе путь”. И невидимые узы навсегда соединили о. Арсения и Серафима.

Окончив исповедь и обняв Серафима, о. Арсений, как бы предвидя будущее, произнес: “Не оставлю тебя в жизни твоей, Серафим. Господь поможет нам”.

“НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ”

Во время одного разговора Сазиков как-то сказал: “Вижу, о. Арсений, молитесь Вы по памяти, книг-то церковных у Вас нет, а узнали мы, что кое-что достать можно. Серый с ребятами говорил, а те сказали, что есть”.

“Бога ради! Прошу, ни у кого не отнимайте, грех на мою душу не берите”.

“Да что Вы, о. Арсений! Все по-хорошему будет, никого не обидим. В зоне складик есть, все, что у заключенных отбирают, особенно у пришедших по этапу, – туда складывают. Узнали через верных людей, что есть там книги. Давно лежат. Решили ребята этот складик взять, ну я и сказал, чтобы книги церковные захватили. Рассказал, что и какие взять”.

Заволновался о. Арсений, как это так? Стал ночью молиться и вроде бы к утру задремал и видит: вошел к нему монах-старец, благословил и говорит:

“Не бойся, Арсений! Возьми, что нужно, и молись митрополиту Алексию Московскому. Господь не оставит тебя”. Благословил вторично и ушел, спокойный, величественный.

Дня через два начался в бараке переполох, повальные обыски по баракам, вызовы в “особый отдел”, оказывается, уголовники разграбили склад сданных вещей.

Прошло дней десять, и передает Серафим Сазиков о. Арсению две маленькие книжки – Евангелие и Служебник. Взял о. Арсений все с благоговением, отошел к нарам, раскрыл Евангелие и затрепетал от сознания необыкновенной милости Божией. Во внутреннюю сторону переплета врезан кусочек шелка размером сантиметра четыре квадратных, древний, пожелтевший, а под ним надпись: “Антиминс. Мощи святого митрополита Алексия Московского. 1883 год”, а рядом врезан овальный серебряный образок размером в 20-копеечную монету.

Припал к святыне о. Арсений и возблагодарил Господа: “Господи! Боже Мой! Милостию Твоей жив, и дела Твои неисповедимы”. И заплакал от радости.

“Вы, о. Арсений, как службу справите, так мне или Серому отдавайте, у нас не найдут, а у Вас сразу отберут. Не беспокойтесь, ничего не оскверним, все будет в целости”.

Начались для о. Арсения дни, полные радости, работу дневную переделает, а ночью при моргающем свете читает Евангелие и правит службы, при подъеме на работу отдавал на хранение Сазикову.

Месяца два прошло, обыски утихли, и о. Арсений иногда оставлял на день Евангелие у себя, только прятал его в стенной тайник под доску, Сазиков сделал. Плановые дневные и ночные обыски всегда бывали, но в тайнике было безопасно.

Как-то днем, когда все были на работе, а о. Арсений работал по бараку и вроде бы все переделал, он достал евангелие и стал читать. Только сел, дверь барака открылась, и пришел наряд с обыском. Лейтенант, трое солдат и надзиратель Справедливый. Отец Арсений растерялся и спрятал Евангелие во внутренний боковой карман телогрейки. Стоит и молится. Солдаты идут по бараку и все переворачивают, вынимают качающиеся половицы, боковые доски дергают, вещевые мешки трясут. Дошли до о. Арсения, лейтенант из “особого отдела” приказал надзирателю Справедливому: “Попа обыщите, товарищ!” – и пошел с солдатами.

Справедливый стал о. Арсения ощупывать и сразу наткнулся на Евангелие, подержал руку на нем, потом из кармана вынул и быстро к себе в карман переложил и стал дальше обыскивать. Кончил обыск и докладывает: “Товарищ лейтенант! Ничего не обнаружено”.

“Больно скоро обыскали. Раздевайся, поп, сами обыщем по-нашенскому”. Разделся о. Арсений донага, солдаты одежду осмотрели, швы руками помяли, из карманов на пол все выбросили и, конечно, ничего не нашли. Лейтенант обозлился, обругал о. Арсения матерно и вышел.

Отец Арсений одевается, молится и плачет за великую радость, за веру в человека. Одедся, вещи собрал, швы зашил и пошел барак убирать после обыска.

Часа через полтора заходит надзиратель Справедливый и спрашивает о. Арсения: “Есть кто в бараке?” “Все на работах”, – отвечает о. Арсений.

Справедливый обошел весь барак, под лежаки заглянул и вдруг спросил: “Евангелие-то из склада?” Отец Арсений молчал. “Сказывайте, сказывайте – откуда?” – “Да, из склада”, – ответил о. Арсений. “Вы что, голубчик, о двух головах, что ли. Думать надо. Возьмите Евангелие, а коли взяли, так убирать надо. Нашел бы лейтенант, насмерть бы забили”. А потом тихо проговорил:

“Простите меня, батюшка! Трудно здесь, в лагере, не только заключенным, а и нам, если хоть капля совести осталась. Знаю, все знаю, о. Арсений! Каково здесь всем вам, понимаю, но от трусости и слабости человеческой приходится работать в этом аду. Помогу Вам, чем смогу, может, устрою куда полегче, но время для этого надо. Исподволь буду делать, а на людях нарочно лют буду. Вы уж простите”, – проговорил Справедливый и, не оборачиваясь, вышел из барака.

Посмотрел о. Арсений вслед Справедливому и устыдился, что усомнился в великом провидении Божиим, в путях Его неисповедимых, и еще, и еще раз понял, как разнообразна и полна душа человеческая, и что в каждой душе можно найти искру Божию и Любовь, и тихо стал произносить молитвы, повторяя: “Помилуй мя, Боже, по великой милости Твоей и по множеству

щедрот Твоих... Господи! Господи! Велик Ты и Славен делами Своими. Вот они, помощники Твои, о которых говорила Матерь Твоя. Мог ли я думать, что надзиратель будет помощник Твой. Мог ли?”.

И, вспомнив имя Справедливого – Андрей, стал молиться о нем и, молясь, увидел жизнь его, всю жизнь его и понял, что это за человек. Хороший и добрый.

ЭТАП

Прозорливость о. Арсения поражала и подчас пугала людей, приходивших к нему, но сам он не понимал и не чувствовал, что Господь даровал ему великое знание души человеческой.

Постоянно соприкасаясь с о. Арсением, я видел что он искренне верил, что понимание души является совершенно естественным для иерея, и ему думалось, что, читая мысли человеческие, не он читает их, а сам пришедший рассказывает о себе.

Он оказывал огромное и поразительное влияние на людей, общавшихся с ним, а тех, кто внимательно наблюдал его жизнь, удивлял глубиной и силой провидения, данного ему Богом.

Авсеенков рассказывал мне, что его до глубины души поразили два случая, происшедшие перед его глазами еще тогда, когда он только начинал становиться верующим под влиянием о. Арсения.

Пригнали в лагерь почти перед самой поверкой большую партию новых заключенных. Начальство стало распределять их по баракам на пустые места. “Человек двадцать пять попало в наш барак, – рассказывал Авсеенков. – Этап, видимо, был тяжелый. Этапников загнали в барак. Вошли не люди, а тени. На ногах не стоят, во многих жизнь еле-еле теплится. На улице мороз, ветер, в дороге два дня не выдавали питание, не спали трое суток. Чем живы, понять нельзя. Народ по составу сборный, большинство интеллигенция, овраги народа”: инженеры, агрономы, врачи и несколько человек уголовников.

Пригнали перед поверкой, когда в лагере заканчиваются все дела: хлеб выдан, обед из баланды съеден, начальство ушло или собралось уходить.

Вначале хотели хлеб выдать и обед, но потом поразмыслили – хлопотно. Котлы надо разогреть, кладовки отпирать, хлеб резать да еще ведомости писать, чтобы поставить на довольствие.

Хлопотное, очень хлопотное дело. Решили: подождут, завтра все сделаем – успеют.

Начальник по режиму сказал: “Не баре они, чтобы за ними ухаживать, а враги народа. Проживут”. На этом и порешили. Понимали, конечно, что будет в этот день в лагере большая смертность, так что придется по дням расписывать умерших. Этапное начальство людей сдало, теперь лагерному заботиться. Перемрут – лагерю отвечать.

Вошли этапники в барак, а новичков всегда всюду плохо встречают, что в детстве в школе, что на работе, а в лагере и подавно. Смотрим – вошли не люди, а “обноски человеческие”, стоять не могут. Трудно понять, как дошли до лагеря. К стенкам прислонились, за лежаки держатся.

Старший по бараку осмотрел их и сказал: “На свободные лежаки разбирайтесь”. А свободные лежаки от печей далеко. Холодно там, не согреешься за ночь. Старожилы барака в это время спать устраивались, кто уже лежал, кто в карты поигрывал. Уголовники осмотрели всех этапных, увидели, что взять с них нечего, и занялись своими делами.

Отец Арсений лежал и молился. Когда этапные вошли, встал, осмотрел их и пошел к барачной “головке” – так в бараке называли заправил из “серьезных” уголовников, их слово в бараке – закон для шпаны и политических, которые на них всегда с опаской поглядывали, а проще говоря, боялись. “Головку” не послушаешь – все случиться может.

Подошел о. Арсений к “серьезным” и сказал: “Надо этапным помочь, голодные, мерзлые, обмороженные, истощенные. Если не поможем, то часть народа умрет к утру”.

“Серьезные” уважали о. Арсения, не один год с ним жили, знали, что за человек, любили по-своему, а тут один из “серьезных” сплюнул, выругался и проговорил: “Да ну их, пустьдохнут. Сами скоро дойдем, от своей пайки жрать не дам. Понял, папаша?!”

Остальные молчали. Кому хочется со своим расставаться, да и закон лагерный – только дружкам помогай. Смотрят все в бараке на о. Арсения и “головку” – чем дело кончится? Этапники у входа в кучку сбились, слушают.

Отец Арсений на людей “головки” взглянул, перекрестился и спокойно сказал: “Этапных положим на лежаки у печей, сами на холодные перележем, что у кого из еды – на стол кладите, а воду в печах нагреем, еще не остыли. Давайте быстрее”.

“Серьезные” молча поднялись и пошли по бараку народ переключивать, что у них из еды было – первые достали и положили на стол. Остальные барачные жители тоже, конечно, класть стали, что у них было из еды. Кто-то из шпаны пытался утаить хлеб, им наподдали так, что надолго запомнили.

Еды по крохам собрали много, накормить 25 человек было можно. Воду в кружках нагрели в печах. Отец Арсений собранное разделил, раздал, а ребята развели этапных по теплым лежанкам. Все новенькие выжили, не то, что в других бараках. На третий день этапные ожили, на четвертый уже на работу послали.

Поразило меня спокойствие и сосредоточенность Арсения, когда он тихо и просто сказал: “Давайте быстрее!” Сказал людям, у которых, казалось, не было ничего за душой. Сказал – и пошли выполнять, словно приказ”.

“Часто задумывался я, – говорил Александр Павлович Авсеенков, – в чем сила о. Арсения? Мог ли он воззвать к совести людей или просто именем Бога потребовать выполнения необходимого долга?”

И Авсеенков решил, что требовал все это о. Арсений от имени Бога.

“ОСТАНОВИТЕСЬ!”

Второй случай, виденный Авсеенковым, еще более поразил его.

“Перед тем, как запираться барак на замок, проводилась проверка. Заключенных из барачных выгоняли на улицу, строили в шеренги и производили переключку. Был ли мороз сорок градусов, проливной дождь, или беспощадно осаждали гнус и комар, надо было мгновенно выбежать и встать на свое место в ряд.

Больные, имевшие освобождение из больницы, оставались в бараке и лежали на нарах. Пока заключенные стояли на проверке, надзиратели осматривали барак и пересчитывали оставшихся.

И на этот раз заключенные выбежали, стали в шеренгу. Было морозно, пересчитывали уже по второму разу, но одного человека не хватало. Люди мерзли, надзиратели злились, начали третий пересчет, и вдруг из барака выскочил парень лет 25-ти и бросился на свое место в ряд, но встать не успел. Надзиратели сбили его и стали бить ногами, парень пытался встать, что-то кричал, но его жестоко избивали. Строй стоял молча, не шелухнувшись, у всех сумрачные лица, возмущенные, злые, но сказать, а тем более сделать ничего нельзя.

Я стоял с о. Арсением и вдруг увидел, что тот вышел на шаг из строя, перекрестился, перекрестил надзирателей, избиваемого парня и отчетливо сказал: “Именем Господа говорю вам! Остановитесь! Прекратите!” – и, положив еще раз на всех крестное знамение, встал обратно в строй. И сейчас же прекратили бить парня, надзиратели занялись пересчетом, парень, шатаясь, встал на место.

Я потом спросил своего соседа по шеренге: “Видели, что сделал Петр Андреевич (о. Арсений), когда били парня?”

“Что сделал? Стоял как вкопанный”. Я всему этому страшно поразился, поразился той силе, которую дал Бог этому человеку – о. Арсению. Может быть, это гипноз, подумалось мне. И тут же я ответил сам себе: нет и, конечно, нет. Не для себя, а ради других совершает он все эти дела.

Совершаемое о. Арсением часто было необычным, казалось нелогичным, но в то же время все происходило из самого простого и обычного.

Народ в лагерь попадал самый разный, были и сектанты, фанатичные до безумия и абсурда. Иногда шли на смерть, лишь бы не поступиться малым. В своих убеждениях были совершенно искренни и поэтому ко всем относились как к заблудшим овцам. Часто эти сектанты помогали людям, но создавалось такое впечатление, что делали они это не ради человека, а ради самих себя.

К о. Арсению относились хорошо и пытались убедить в неправильности его веры, на что о. Арсений всегда говорил: “Разве я убеждаю, что ваша вера плоха? Верьте, как душа ваша велит, и тогда придете к истине. Помните слова апостола Павла: “Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов”, побеждайте зло добром”.

И мне всегда казалось: именно то, что он нес тяготы других, давало ему возможность побеждать многие трудности, влекло к нему людей, заставляло их следовать за им, и часто придавало ему ту необыкновенную силу духа, которая невольно вынуждала людей повиноваться у во имя Бога, а эти два случая, рассказанные мною, были тому примером”.

РАДОСТЬ

Лагерь жил своей размеренной жизнью. Одни умирали, другие приходили, чтобы умереть в нем, и ждали своего часа. Из “особого” на свободу почти никогда не выходили. Было несколько случаев освобождения бывших партийных работников из правительственных учреждений или очень видных ученых. Рассказывали, что за последние три года освободили около десяти человек, из которых один умер, когда ему сообщили это известие.

В 1952 г. О. Арсения вызвали в “особый отдел” лагеря, сначала к лейтенанту, а потом к майору. Майор встретил радостно: “Здравствуйте, о. Арсений! Здравствуйте, Петр Андреевич! Вести у меня сегодня хорошие. Александра Павловича Авсеенкова освобождают. Добились друзья с большим трудом. Завтра к себе вызываю. Боюсь, чтобы это известие его не потрясло. Сердце у него плохое. Прошу осторожно сообщить ему о предстоящем освобождении. Завтра буду объявлять ему при начальнике лагеря, пусть не волнуется. И не только освобождают, а в партии восстанавливают. Главный разрешил.

А с Вами плохо – церковник Вы. На вашем деле штамп: “Содержать в лагерях бессрочно – до смерти”. Хочу Вам помочь и не могу. Из нашего “особого” таких, как Вы, освобождают только по личным разрешениям Берия или его заместителя. С Вашим делом не пойдешь, оснований нет. Освободишь без их разрешения – донесут немедленно, и сам в лагере будешь. Если что-нибудь переменится, все для Вашего освобождения сделаю, а теперь и Александр Павлович включится в это дело.

Меня тоже в Москву переводят, “простили”, так сказать, восстанавливают в генеральском звании и опять посылают в разведку. Всю жизнь государство охранял, Родину любил и своей работой в Отечественную войну не один десяток дивизий спас, а потом кому-то помешал, донесли Главному и чуть было под расстрел не подвели “за связь с немцами”.

Главный велел проверить и послать работать в лагерь. Сюда попал – ужаснулся, помочь ничем не могу, следят за каждым шагом. То, что увидел, даже предположить не мог. При тебе бьют, а ты остановить не имеешь права. Раз остановил, сообщили: “Мешает и задерживает следствие”. Страшно! Для чего все это делается, понять сейчас невозможно. Петр Андреевич, уходя отсюда, хочу помочь, кому надо. Скажите, сделаю. Плохо, что Вам не могу помочь”.

Отец Арсений задумчиво взглянул на майора и сказал: “Спасибо Вам! Спасибо! Мне помочь нельзя, когда нужно будет, Господь поможет, но помогите выйти из этого лагеря Сазикову, бывшему студенту Алексею Никонову, врачу Денисову и бывшему уголовнику Трифонову. Переведите в простой лагерь, там проще жить и помочь можно”.

Уголовника Серого о. Арсений не назвал. Посмотрев пристально на Сергея Петровича – майора, сказал: “Сергей Петрович! Приедете в Москву, сделайте все, чтобы уйти со своей работы, не нужно работать Вам в органах. Перейдите на что-то другое, а то сгорите. Увидев, что происходит здесь, стали сами другим человеком. Спасите душу свою”.

Абросимов смотрел на сидящего перед ним старика и думал, что ему еще совсем не ясна его дальнейшая жизнь, а он, о. Арсений, вероятно, знает многое о его прошлой и будущей жизни. И опять воспоминания детства пришли к майору – да, такой человек, как о. Арсений, был настоящий христианин, о которых он читал когда-то.

Чувство глубокой скорби и одновременно радости охватило Сергея Петровича, он встал, подошел к о. Арсению и, волнуясь, сказал: “Встречу ли я Вас еще, не знаю, но Вы оказали на меня неизгладимое влияние. Многое я стал оценивать по-другому. Верю Вам, понимаю, почему верите, понимаю Веру Даниловну и жену свою. Все понимаю. Знаю, что все время молитесь. Не забывайте меня, Петр Андреевич, о. Арсений, не забывайте!”

Отец Арсений поднялся со стула, подошел к Абросимову, обнял его за плечи и сказал: “Да хранит Вас Бог, Сергей Петрович! Не забывайте людей, помогайте им, совершайте добро, где бы Вы ни были. Помогайте людям. Встретимся мы еще с Вами”.

Низко поклонился и вышел. Вышел так, что Абросимов почувствовал, что не он вызывал к себе о. Арсения, а о. Арсений пригласил его к себе.

Встречи с о. Арсением Абросимов никогда не забывал. Увидел он старика в рваной телогрейке, изможденного, усталого, и показалось ему, что сломлен он и опустошен, но когда, взглянул ему в глаза, понял, что полон он жизни, веры и бесконечной любви к людям, и не сломлен он, и не опустошен, а горит силой внутренней, которую отдает людям, облегчая их страдания и тяготы, и отгоняет уныние, страх и несет людям веру.

Абросимов понимал, что, пожелай этот старик выйти на волю или совершить что-то необходимое ему, – все совершится, так велика сила его духа, обогащенная и вскормленная верой.

Здесь, в “особом”, совершает он свой христианский подвиг, неся людям помощь и свет, Бога ради и людей, при этом наравне со всеми неся страдания и лишения.

Страшна была работа Абросимова, тяжелым был его жизненный путь, в результате чего связь с Богом была утеряна, но встреча с о. Арсением всколыхнула его душу, заставила задуматься над многим, переоценить прошлое. Долго надо было Абросимову еще идти к Богу, но первый шаг на тропу веры он с помощью о. Арсения сделал.

Много лет спустя Абросимов рассказывал: “Возвращение мое в Москву было трудным. Все мне было отдано – и звание, и должность, – но что-то встало между моей прежней и настоящей жизнью. Много я думал и ушел с этой работы. Буду откровенен: совершил я раньше много тяжелого, страшного и, делая все это, был уверен, что все делал правильно.

Во многом помог мне и Александр Павлович Авсеенков. Помог разобраться. Осознав многое, подумал я, что нет мне прощения, но однажды Александр Павлович передал мне записку от о. Арсения – он тогда был уже освобожден, в которой были слова: “Помните и не сомневайтесь! Господь, наказующий нас за прегрешения наши, волен и отпустить нам их с присущим Ему милосердием, и нет столь тяжкого прегрешения или проклятия, которых нельзя было бы искупить делами своими и молитвой”.

В дальнейшем много помог мне о. Арсений в познании веры. Конечно, не стал я таким, как многие его духовные дети, но пытался идти к Богу.

Отец Арсений, которому я часто говорил о многих своих сомнениях, колебаниях, связанных с вопросами веры и обрядов, всегда говорил мне: “При Вашем жизненном пути, долгих безыдейных скитаниях, внутренней потерянности сомнения и колебания естественны и неизбежны, но разве в этом дело – Вы поняли и ощущаете, что Бог есть, знаете путь к Нему. Верьте, и все наносное отойдет”. Замечательный человек о. Арсений, настоящий христианин.

Отец Арсений возвратился в барак. Было радостно за Александра Павловича, Сазикова, Алексея, Денисова, Трифонова, они покинут “особый” и в конце концов выйдут на волю, но чувство грусти, что друзья уйдут, охватило душу.

Помощников и друзей станет меньше. Верилось, что Господь не оставит его одиноким и придут, найдутся новые люди и заменят ушедших. Вечером сообщил Авсеенкову об освобождении. Ночь провели в разговорах, утром простились. Время и дела крепко привязали Авсеенкова к о. Арсению, привязали навсегда. Отец Арсений и лагерь полностью переменили образ мыслей, восприятие окружающего и мировоззрение Александра Павловича. Попав в лагерь, хотел кончить жизнь самоубийством, стал беспомощным, безвольным, а уходил из лагеря духовно обогащенным, сильным духом, с крепкой и устоявшейся верой в Бога, человеком, понимающим человеческие страдания.

Ночью долго молились оба. Обнимая о. Арсения, Авсеенков повторял: “Не забывайте меня, о. Арсений, с Вашими, а теперь и моими, буду встречаться. Молитесь о нас”. Авсеенков простился с Сазиковым и Алексеем утром, зная, что после объявления сообщения об освобождении ему не дадут вернуться в барак.

Недели через четыре внезапно вызвали Сазикова, Алексея, Денисова и Трифонова в “особый отдел”, в барак они не вернулись. Заключение гадали – что случилось с ними? Майор Абросимов, а теперь генерал, сдержал свое обещание.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Жизнь в лагере продолжалась. Систематически привозили новых заключенных на смену ушедшим на лагерное кладбище. Смерть почти ежедневно посещала то и один, то другой барак, унося с собой каждый раз новую жертву.

Завтрашний день был известен, он был голодным, изнурительным, тягостным, наполненным до предела унижениями и тяжелой многочасовой работой. Отупение, безразличие, желание близкой смерти приходили к заключенным. Отец Арсений по-прежнему продолжал жить в лагере своей обычной подвижнической жизнью.

Было тяжело без Алексея-студента, Сазикова, Авсеенкова, он полюбил их, привык и опирался на них в своих делах. Появились новые люди, с которыми он сроднился, но они переводились из барака в барак, умирали или угонялись в дальние отделения лагеря, в шахты.

По-прежнему помогая окружающим, неся им добро и духовное утешение, о. Арсений был необходим для многих. Как-то получилось, что он входил незаметно в жизнь людей, помогая им, облегчая страдания, скрашивая трудности жизни, и примером своего отношения ко всему

происходящему показывал, что даже жизнь в “особом” не так страшна, если за тобой стоит Бог, к Которому всегда можно прибегнуть.

Уголовник Серый тяжело заболел. Болело в области живота, обратился к лагерным врачам. Сперва дали аспирин, потом ревеня, но ничего не помогало. Лечили чем попало, почти не осматривая, а потом определили запущенный рак печени и метастазы.

Серый умирал тяжело, в больницу не брали и не лечили. Боли были страшные, но приходилось передвигаться по бараку, ходить к парашам, выходить на поверку. Отец Арсений терпеливо ухаживал за Серым, старался помочь, чем мог, ходил к врачам – просил наркоз для обезболивания, но ничего не получил.

Серый был озлоблен на всех и вся, но о. Арсения принимал кротко, ждал его прихода и просил сидеть около него. Когда о. Арсений садился около Серого, тот начинал рассказывать о своей жизни и как-то забывал свои боли.

Дня за два до смерти рассказал: “Умираю и мучаюсь за дело. Много людям горя принес, погубил многих. Жизнь не с того конца начал. Каяться не хочу, столько дел в жизни наворочал, не счесть. Знаю, что простить меня нельзя, да и не для чего. Верить в Бога я почти не верю, так, больше приметы какие-то, но знаю и чувствую, что Бог есть, потому что Вы в Него верите и Им живете.

Из поповичей я. Отец дьякон был, в Бога не верил, служил пересчету, деться-то некуда было. В общем, служил, как профессионал.

Когда рос я, то видел кругом ложь и обман, водку пили, развратничали, баб хватали, над Богом и обрядами издевались и этим же Богом прикрывались. На словах одно, на деле другое. Бывало, отец из церкви после службы придет и начнет доходы считать, за водкой посылает, над верой насмехается, матерится. Рассказывает, как деньги с тарелок таскал или бабу деревенскую облапошил.

Не верил я в Бога, казалось, блажь людская. В семинарии учился, кончил – воровать начал, по тюрьмам пошел, а потом революция, беспорядки, грабежи, разгул. Грабь, режь, Бога нет, сам себе хозяин. Компания подходящая подвернулась мне, ну и началось. Сперва дела маленькие пошли, потом средние, добрался до крови человеческой, где уж остановиться!.. Так и пошло, о. Арсений.

Много я ее, кровушки, пролил. То о новом деле думаешь, то в загул с бабами попадешь, то от тюрьмы бегаешь. Времени-то не было вспомнить – есть Бог или нет. По правде говоря, и думать о Нем не хотелось. Вас в лагере встретил – подумал, что юродствуете или хотите выгоду какую-то извлечь. Но увидел, как дружку моему Серафиму Сазикову и чекисту Авсеенкову Александру Павловичу душу перевернули, понял: искренне верите в Бога, и сам понял, что Бог, конечно, есть, ведь недаром в церковь, где отец дьяконом служил, народ валом валил. Видел я все это, когда мальчишкой еще в храме прислуживал.

Знаю теперь, что Бог есть, но мне к Нему дороги заказаны – дела мои прошлые никакими молитвами не замолить и не простить.

Умираю, смерти не боюсь, но чего-то страшно, а вот чего – разобраться не могу. Думал одно время исповедь у Вас принять, да, зная Вас, думал, что не простите мне грехов, слишком уж много натворил, но не жалею. Что было, то было.

Вот только два случая часто перед глазами стоят и ночью во время бессонницы и во сне приходят. Парнишку лет 17-ти пришлось в 30-м году пришить, как-то все по-глупому получилось. В ногах валялся, просил, плакал, а я самогону хватил, перед дружками куражился, хотел храбрость и безразличие свое показать, издевался над ним. Закрою глаза, а он, мальчишечка, так передо мною и стоит, весь заплаканный.

И женщина одна, так просто меня замучила, на неделе раза три придет, а сейчас – так каждый день приходит. Квартиру брали в 20-х годах в Москве, пришли по наводке, думали, пустая, на работе все. Пришли, а там сестра хозяйки, красивая, статная, молодая, как говорят, кровь с молоком.

Вошли мы, а она все поняла, к окну бросилась. Заперли мы ее в комнате. Вещей в квартире много, золотишко тоже было. Стали собирать узлы. Сложили, уходить надо, а женщина видела нас, убрать ее необходимо, выхода нет, опознает после. Ребята мнутя – дело-то мокрое, для них не очень привычное.

Пошел я. Дверь открыл. Взглянула на меня и участь свою поняла. Глаза большие, испуганные. Схватил я ее, взглянул в глаза и решил воспользоваться ею. Ребятам крикнул, чтобы в другую комнату ушли, ну и потащил. Ударил меня в лицо, стала потом вдруг спокойной и говорит презрительно: “Зверь Вы, а не человек. Зверь. Кончайте скорее!” в глазах смертельная ненависть, лютая прямо, а от этого еще красивее стала. Ну, я и снасилничал. Стал нож доставать. Она стоит, прижалась к стене, ждет удара, потом в угол к иконе повернулась, перекрестилась несколько раз и сказала: “Кончайте. Со мной Бог. Матерь Божия, не оставь меня!”

Жалко мне ее стало, да барахла много взяли, я ее и ударил под грудь два раза, а она сползает по стене и быстро-быстро крестится и шепчет: “Господи, помилуй!” Вот так каждый день ко мне и приходит теперь”.

Отец Арсений, слушая Серого, все время молился, но от жутких подробностей рассказа его пробиравал озноб. Сознательная жестокость, злоба, цинизм, бессердечие даже в лагере встречались нечасто. Умирал Серый мучительно, лицо было искажено, то ли от страданий, то ли от злобы к живущим людям. Лицо после смерти так и осталось необыкновенно злым.

Рассказ заключенного Серого записан в 1965 году со слов о. Арсения, но рассказу придан тон и манера, присущие уголовникам. Описание жизни о. Арсения в лагере написано А.Р., жившим в то время в одном бараке с о. Арсением и уголовником Серым.

ДОПРОС

После отъезда Абросимова сменилось два начальника “особого отдела”, и назначили пожилого, мрачного подполковника. В “особый отдел” пришло много новых сотрудников. Строгости в лагере усилились, жизнь заключенных стала совершенно невыносимой.

Многих вызывали в “особый отдел” на допросы. Угрозы, избиения, карцер стали массовыми явлениями. Со стороны казалось, что чего-то добиваться от людей, практически обреченных на смерть, нелепо, однако следователи даже здесь пытались создать какие-то новые дела.

“Особый отдел” последнее время “работал” с большой нагрузкой: создавались дела, “раскрывались заговоры”, проводились расследования, где-то выносили дополнительные приговоры, кого-то расстреливали.

В марте о. Арсения вызвали на допрос в “особый отдел”. Допрашивал майор Одинцов, человек среднего роста, с лысой головой удлинненной формы, отечным лицом, тонкими губами, разрезающими лицо, и бесцветными глазами. Всегда подтянутый, в хорошо отутюженном кителе, неизменно вежливый при встречах, он наводил ужас на допрашиваемых заключенных жестокостью допросов, но почему-то имел прозвище “Ласковый” или второе – “Начнем, пожалуй”.

Отец Арсений вошел и встал при входе. Деловито просматривая какие-то бумаги, следователь долго не обращал внимания на о. Арсения, потом, откинувшись на стуле, сказал: “Рад познакомиться, Петр Андреевич! Рад! Обо мне, вероятно, слышали, я Одинцов”.

“Слышал, гражданин следователь”, – ответил о. Арсений.

“Ну! Вот и хорошо, батюшка! Начнем, пожалуй! Хорошие слова сказал Александр Сергеевич Пушкин, к нашему разговору сказал. Говорить и признаваться у меня надо, а то кровью утретесь. У меня порядочек известный. Начнем! Признавайтесь”.

“О чем рассказывать?”

“Рассказывай, поп, об организации, которая действует в лагере и преследует цель покушения на жизнь товарища Сталина. Нам все известно, тебя выдали. Не тяни, раз обо мне слышал”.

Собравшись в единый ком нервов, о. Арсений молился, взывая к Матери Божией о помощи, умоляя Ее дать ему силы выдержать допрос. “Господи Боже наш! Не остави меня, грешного, укрепи, Владычица Небесная, дух мой немощный”.

“Я ничего не знаю ни о какой организации и признаваться мне не в чем”.

“Вот что, поп! Играть с тобой не буду, ты и так полудохлый, тебе все равно подышать, а мне дело позарез нужно. Садись и пиши, что тебе диктовать буду”.

“Гражданин следователь! Разрешите обратиться к Вам с вопросом?”

“У меня вопросов не задают, а отвечают, ну а ты давай – задавай, все равно тебе подышать здесь”.

“Гражданин следователь! Прошу Вас, взгляните в мое дело, и Вы увидите, кто допрашивал меня, но я никогда и никого не оговаривал, а меня били, и очень тяжело”.

Одинцов тяжело поднялся, обошел стол, подвинул к о. Арсению лист протокола допроса, ручку и сказал:

“Кто бы ни допрашивал, а у меня все напишешь”.

“Нет. Ничего писать не буду, в лагере нет никакой организации, Вы хотите создать новое дело и расстрелять безвинных, замученных людей, которые и так обречены насмерть”.

Одинцов подошел ближе, губы его задрожали и исказились, тусклый бесцветный взгляд оживился, и, почти заикаясь, он произнес: “Милый ты мой! Ты не знаешь, что с тобой сейчас будет”.

“Господи, помоги!” – только успел произнести про себя о. Арсений, как страшный удара лицо сбросил его со стула, и, теряя сознание от ошеломляющей боли, он понял, что все кончено. Одинцов добьет его.

В какие-то короткие мгновения прихода в себя, он чувствовал удары, наносимые ногами и пряжкой офицерского ремня, которой били по лицу. В эти мгновения о. Арсений молил Матерь Божию, но, не успев произнести двух-трех слов, проваливался в темноту бессознательности и наконец затих.

Очнулся на несколько секунд на улице и только понял, что его волокут его в барак. Второй раз очнулся в бараке на нарах. Кто-то мокрой тряпкой протирал его лицо и говорил: “Добили старика, не доживет до утра”. И матерно, с ненавистью вспоминали Ласкового – следователя Одинцова.

Третий раз о. Арсений очнулся, как ему почудилось, опять в бараке. Тело нестерпимо болело, и боль гасила все в сознании. Пытаясь что-то припомнить, о. Арсений решил, что его допрашивают, потому что кто-то резал, казалось, голову.

Он захотел призвать имя Божие, молиться, но, ухватившись за начало молитвы, мгновенно терял ее. Боль, невыносимая боль вытесняла все, бросала в беспмятство, раздирала сознание. Он ждал и ждал еще ударов, крика, еще большей боли, ждал смерти. Возвращаясь десятки раз в сознание на короткие мгновения и теряя его на длительное время, о. Арсений в моменты возвращения сознания все время пытался войти в молитву, но не мог, ожидая новых ударов, невероятная боль, затуманенность мыслей отводили молитву.

В один из кратких периодов возможности сознавать о. Арсений с испугом понял, что он умрет без молитвы, без внутреннего покаяния. Голову кто-то поворачивал, что-то нестерпимо жгло и колело, и вдруг о. Арсений услышал: “Быстро два укола камфары, осторожнее с йодом, не попадите в глаза. Накладывайте швы. Как мог этот мерзавец так искалечить человека? Осторожно брейте голову!”

Отец Арсений почувствовал, что чьи-то руки нежно поворачивают его голову, а сам он лежит на чем-то твердом и без одежды.

Сознание надолго покинуло его. Потом ему рассказывали, что пролежал он без памяти больше трех дней на больничных нарах. Придя в себя, пытался понять, где он. У следователя, в бараке или еще где? И с трудом осознал, что в больнице. Начал молиться, но после двух или трех фраз боль опять отбросила его во мрак беспмятства, и эта борьба за молитву с болью и беспмятством продолжалась несколько дней.

С каждым днем он успевал захватить, именно захватить, все больше слов молитвы и наконец молитвой победил все. Глаза были завязаны, но он все время чувствовал прикосновение чьих-то ласковых и заботливых рук, так же кто-то ласково что-то говорил ему и кормил его.

Голос был с легким еврейским акцентом: “Ну! Ну! Ничего, выжили. Не думал, что вырветесь из этой переделки. Завтра развяжу Вам лицо. Сам на допросах бывал, знаю эти легкие разговорчики, но мы Вас починили, почти как новый”.

Скоро сняли повязку с глаз и головы. Врач, которого звали Лев Михайлович, заботливо возился с о. Арсением, давал советы, успокаивал. “Тихо, тихо, сейчас посмотрим. Дорогой мой! Лицо у вас почти без единого шрама! Вот и хорошо. Рад за Вас”.

На о. Арсения смотрели два больших близоруких глаза в очках. Лицо было мягким и добрым. “Задержу еще Вас здесь, сколько смогу, – говорил Лев Михайлович. – Задержу, да не попасть бы Вам второй раз к этому зверю. Молитесь своему Богу, а то убьет”.

Пробыл о. Арсений в больнице более сорока дней. Расставались со Львом Михайловичем, замечательно добрым человеком и прекрасным врачом, буквально со слезами. Обнимая о. Арсения, Лев Михайлович убежденно говорил:

“Не может так все продолжаться, не может. Обязательно кончится, и мы выйдем с Вами из этого ада и встретимся”. И, действительно, в 1963 г. встретились.

Вернулся из больницы о. Арсений в тот же барак, но из старых жильцов его осталось очень мало, большинство угнали на рудник. Говорили, что и следователя Одинцова куда-то перевели.

Месяца через три после выхода из больницы вызвали о. Арсения в “особый отдел” к начальнику. Грузный, неповоротливый человек со свинцовым взглядом, он внимательно осмотрел о. Арсения и сказал: “Живучий ты! И Одинцова перенес, и в лагере зажился, не мрешь, ну это хорошо! Намекали мне тут из Москвы, чтоб тебя не добить, да кто разберет – может, на пушку берут, проверяют. Ну-ну! Живи, на тяжелые работы дам указание не посылать”.

После этого разговора до самой смерти Главного в “особый” не вызывали. Шрамы на теле и голове остались воспоминаниями о допросах.

Записано на основе рассказа о. Арсения несколькими

ВСЕ МЕНЯЕТСЯ

Сообщение о смерти Главного пришло к заключенным лагеря с опозданием на три дня. Пришло случайно, через охрану. Администрация лагеря по неизвестным причинам скрывала это известие.

Был март, стояли большие морозы, снежные вьюги проносились над лагерем, заматывая его и временами отрезая от внешнего мира. Вместе с сообщением о смерти в лагерь вошло что-то тревожное, щемящее, неизвестное. Каждый думал: “Что будет? Пойдет ли все как раньше, или что-то изменится к худшему, и всех заключенных уничтожат?” Каждый молчаливо понимал: что-то должно случиться.

Первые два месяца, приблизительно до конца мая, лагерь жил прежней жизнью, но потом в его размеренный ход стало вторгаться что-то новое и почти неуловимое: казалось, что в хорошо заведенный механизм кто-то вставляет палки и сыплет камни.

Все так же работали, так же плохо кормили, так же умирали заключенные, но не привозили новых. В действиях начальства появилась нотка неуверенности, даже извинительного заигрывания с заключенными.

Приблизительно через год после смерти Верховного стали происходить перемены: улучшилось питание, матерщина и зуботычины исчезли, надзиратели и следователи в “особом отделе” обращались к заключенным на “вы”. Приехали комиссии из ЦК, прокуратуры. Номера с одежды спороли и стали называть не по номерам, а по фамилиям.

Пошли опросы, подымали дела, разговоров было много. На некоторых заключенных дела были уничтожены, и следствие вели заново, отправляя заключенных в те города, откуда они были взяты. Вызывали свидетелей, кого-то запрашивали. Разрешили переписку и даже посылки. За работу стали платить и делать расчеты за питание и одежду.

Первые комиссии, опросив несколько сот заключенных, уехали, месяца через два приехала вторая партия комиссий, осела в лагере и приступила к поголовному пересмотру дел репрессированных. Вначале освобождали бывших военных, старых членов партии, ученых, бывших видных хозяйственных руководителей.

Прошло еще некоторое время, объявили массовую амнистию уголовникам. Лагерь из “особого” стал обыкновенным, но со строгим режимом. В нем остались бывшие полицаи, власовцы, уголовники, не попавшие под амнистию за совершенные тягчайшие преступления, и политические, освобождение которых, по неизвестным причинам, кому-то было нежелательным.

За каких-нибудь полтора-два года лагерь опустел на девять десятых. Бараки пустовали, административный состав сократили наполовину. Начальство решило сузить зону лагеря. Перенесли охраняемые вышки, проволочную ограду. Часть барачков осталась вне зоны, и их сожгли.

Последнее время о. Арсения переводили из барака в барак. Из друзей никого не осталось, но о. Арсений по-прежнему помогал окружающим, постоянно молился, ежедневно писал письма и с нетерпением ждал писем с воли.

Оставшиеся заключенные были крайне озлоблены, и было трудно сейчас войти с кем-нибудь в дружеские отношения. Два или три иерея и несколько верующих заключенных, которых знал о. Арсений, находились в состоянии затравленности, угнетенности, не надеялись на освобождение, но писали всюду заявления и жалобы и из-за этого почему-то держались обособленно и отчужденно.

Пожалуй, это время было самым трудным для о. Арсения, вокруг него образовалась пустота, человеческое безлюдие, но осталась молитва, которой он только и жил. Трудно было потому, что, постоянно горя желанием оказывать человеку добро, он не находил сейчас себе дела.

В середине 1956 года о. Арсения расконвоировали, разрешили выходить за пределы лагеря в жилой поселок, освободили от тяжелых работ и перевели в инвалидную команду.

К марту 1957 года лагерь опустел почти полностью, зону сужали несколько раз, опустевшие бараки сжигали, и теперь за проволочной оградой лагеря чернели десятки остовов печей от сгоревших барачков, валялись жгуты ржавой колючей проволоки, блестяли осколки стекла, громоздились остатки кирпичных фундаментных столбов.

Писем приходило много, и это было большой радостью. Первыми были письма от Веры Даниловны, Алексея, Ирины, Серафима Сазикова, Александра Авсеенкова, и пришла с очень сложной оказией записка от Абросимова, теперь генерал-лейтенанта. Абросимов писал: “Помню, ничего не забыл, делаем все, но мешают. Помню и помню Вас. Верю, что скоро встретимся в другой обстановке. Держитесь!”

Отец Арсений отвечал на письма, вдумываясь в судьбы и жизнь людей, и часто письмо человека, которого он не видел много лет, рассказывало ему так много, что, казалось, сам он, этот человек, присутствует здесь.

Надзиратель Справедливый уже более года, как ушел из лагеря, и о. Арсению было трудно и не хватало этого простого душой человека.

Некоторое количество амнистированных уголовников опять возвратились в лагерь, осужденные за вновь совершенные преступления. Уголовники последнее время как-то особенно обнаглели, вели себя вызывающе, не боялись охраны, но вдруг сменили начальника лагеря, и сразу все изменилось. Повысилась требовательность к работе, улучшилось питание, за нарушение режима жестоко наказывали, но не было издевательств, жестокости, грубости.

Жизнь продолжалась, о. Арсений ждал часа воли Божией.

Это был последний барак, в котором жил о. Арсений перед освобождением из лагеря.

Из старых знакомых никого в бараке не осталось. Одних освободили, другие умерли, третьих перевели в другие бараки или лагеря.

ПРОЩАНИЕ

Настал 1957 год, меня расконвоировали и разрешили иногда выходить из охранной зоны. Кончая работу, я покидал лагерь, медленно шел к ближайшему лесу или к таежной болотистой речке, садился на сухой пенек и начинал молиться. Голос мой далеко разносился по редколесью, затихая в ветвях берез и склоненных к воде ив, в елях и травах.

Здесь, в лесу, молиться было спокойно и легко: грубость лагерной жизни исчезала и наступала возможность молитвенного единения с Богом. И в это время вокруг меня как бы собирались мои духовные дети и друзья, живущие на воле, вспоминались умершие, которых я любил, или те, кого я проводил когда-то в последний путь, встретив на дорогах ссылок и лагерей.

Было тепло, комары монотонно звенели, вились сероватым облачком, пытаюсь проникнуть через сетку накомарника. Внезапно возникший ветер уносил комаров, но через несколько мгновений ветер стихал, и они снова окружали меня. Лагерь, барак, уголовники, постоянный надзор сразу забывались, было только беспредельное синее небо, лес, колыхавшиеся травы, голоса птиц и молитва, объединяющая все и соединяющая с Богом и природой, созданной Им.

Уходить из лагеря разрешали нечасто. День этот был выходным. Я вышел из зоны и пошел далеко в редколесье, раскинувшееся за лагерем, где раньше, когда “особый” был полон заключенных и в нем кипела лагерная жизнь, постоянно горели костры, оттаивавшие землю для больших, но неглубоких ям, в которых ежедневно хоронили умерших лагерников.

Кладбище было огромным, вся площадь, когда-то обнесенная столбами и оплетенная колючей проволокой, теперь была открыта. Местами столбы упали, проволока порвалась и обвисла. Сейчас кладбище было похоже на заброшенное огородное поле, покрытое неровными и расплывшимися грядами, на которых кое-где стояли колья с прибитыми деревянными или жестяными бирками-табличками.

Большинство кольев и табличек валялось на земле, номера захороненных заключенных, написанные на них, стерлись, и только на некоторых виднелись расплывчатые очертания букв и цифр.

Я прошел далеко вперед. Земля была местами мокрой, нога глубоко погружалась в сыроватую глину, смешанную с перегноем из трав и листьев, и с трудом отрывалась при каждом шаге. Перешагивая через поваленные колья, невысокие насыпи, обходя большие по площади, но неглубокие провалы, образовавшиеся на месте братских могил, хватаясь за стволы чахлах деревьев, шел я по кладбищу.

Весеннее, сегодня теплое солнце постепенно спускалось к горизонту. Я остановился, оглянулся во все стороны, перекрестился, благословляя всех лежащих на смертном поле, и начал молиться. На душе стало тягостно, грустно, печально. Ветер стих, стояли неподвижно травы, мелкий кустарник, хилые березы и ели. Казалось, ветер, тихий и прохладный, скрылся в подлеске и травах, прижался к земле, затаился и чего-то ждал.

Я медленно шел по полю, отдалившись от окружающего, сосредоточившись и молясь об умерших, и передо мною вставали люди, возникали из прошлого воспоминания, мучительные и тяжелые.

Люди, когда-то знакомые и любимые мною, или те, кого я напутствовал, провожая в последний путь, или встреченные мною здесь, в лагере, сдружившиеся со мною и передавшие мне в исповедях свою жизнь, лежали сейчас на этом поле смерти.

Вспоминались усталые, изможденные лица, растерянные, печальные, полные тоски, молящие или горящие неугасимой ненавистью глаза умирающих, и у каждого была жизнь, к которой я прикоснулся и как иерей принял часть ее на себя в исповедный час.

Воспоминания приходили и мгновенно исчезали для того, чтобы сейчас же возникли новые. Я громко молился, и скорбные слова заупокойных молитв разносились над кладбищем, истомляли душу, вселяли чувство тревоги.

Тысячи, десятки тысяч человек, лежавших здесь, убиты режимом лагеря, убиты, медленно умерщвлены другими людьми. Юноши и старики, тысячи верующих, защитники Родины, проливавшие за нее кровь, самые обыкновенные простые люди, попавшие в лагерь по ложным доносам, лежали сейчас в полуболотистой земле.

И здесь же, на этом поле смерти, лежали люди, предавшие Родину, участники массовых казней, полиция, многократные убийцы-уголовники.

Где-то далеко шумел трактор-бульдозер, сравнивая могильные насыпи и заравнивая ямы, чтобы никто и никогда не вспоминал о тех, кто остался здесь.

Где-то лежали небрежно брошенные в могилы владыка Петр, архимандрит Иона, монах-праведник Михаил, схимник из Оптиной пустыни Феофил, многие великие праведники и молитвенники: друг людей врач Левашов, профессор Глухов, слесарь Степин, до самого последнего часа своего совершавшие добро, и много-много других, когда-то знаемых мною людей.

Я молился, вспоминая усопших, но вдруг слова молитвы иссякли, и я оказался стоящим на поле, растерянным, раздавленным воспоминаниями, сомнениями. Что осталось от погибших? Ржавая табличка со стертым номером, кость, торчащая из наспех засыпанной могилы, обрывок ткани?

Хоронили в спешке, ямы рыли неглубокие. Земля здесь всегда была мерзлой, и ее приходилось сутками оттаивать, чтобы вырыть могилу на несколько десятков человек.

Зимой трупы забрасывали землей и снегом, летом специальная бригада подправляла могилы, засыпая землей выступавшие кости ног и рук. Даже сейчас казалось, что из-под земли тянется запах тления. Было душно, сыро, тихо. Солнце нагрело землю, и от этого над полем поднимался легкий, еле заметный пар. Воздух дрожал, переливался, и казалось, будто что-то необычайно легкое и большое плыло над кладбищем.

“Господи! Господи! – вырвалось у меня, – это же души умерших поднялись над местом скорби”. Тоска, необычайная, щемящая тоска схватила и сжала мне сердце и душу. В горле встал комок рыданий, слезы застилали глаза, а сердце все сжималось и сжималось, готовое остановиться. Состояние полной безнадежности, уныния и чувство скорби охватили меня, я растерялся, упал духом и весь внутренне сник. Отчаянная душевная боль вырвала у меня болезненный стон. “Господи! Зачем Ты допустил это?”

Пронзительный и долгий плач внезапно возник и понесся над полем. Вначале это был низкий вибрирующий и воющий стон, перешедший потом в длительное однозвучное рыдание, временами срывающееся и напоминающее вопль человека. Ноющий и колеблющийся стон был заунывен и долог, он покрывал все бескрайнее поле, сковывая и наполняя душу беспредельной скорбью. Прозвучав над полем, плач неожиданно смолк, для того чтобы через несколько мгновений возникнуть с прежней силой.

“Я, – говорил о. Арсений, – еще более внутренне сжался, нервы напряглись до предела, все во мне наполнилось болезненной тоской. Окружающее потемнело, поблекло, стало гнетущим, я почувствовал себя сломленным, раздавленным. “Господи! Господи! Яви милость Свою!” – воскликнул я, осеняя себя крестным знамением.

И вдруг ветер, затаившийся в перелесках и травах, вырвался на волю, заколыхал травы, закачал деревья и настойчиво повеял мне в лицо, и мгновенно все ожило, пробудилось, двинулось.

Заунывный стон исчез, неожиданно высоко в небе зазвучало пение птиц, дрожащая и парящая волна воздуха рассеялась, растворилась в пространстве.

Состояние растерянности, гнетущей тоски и безнадежности прошло, я распрямился, стряхнул с себя страх и услышал в дуновении ветра движение жизни. Ветер принес свежесть, запахи травы, леса, отголоски далекого детства, неповторимую радость.

Стонущий плач, пронесившийся над полем, оказался не чем иным, как вибрирующим звуком циркулярной пилы, работавшей на далекой лагерной лесопилке. Ветер медленно набирал силу, воздух стал упругим и ощутимым. Жаворонок рывками поднимался в высоту, песня его то затихала, то отчетливо звенела в небе, и я осознал, что жизнь сейчас идет так же, как и до гибели всех лежащих здесь людей, и так же будет идти.

Жизнь продолжалась и будет продолжаться всегда, так как это был закон Господа, и природа, созданная Им, выполняла Его предназначения. Охватившее меня состояние растерянности и безысходной тоски было вражеским наваждением, моей слабостью, маловерием.

Я отчетливо понимал, что иерей Арсений поддался духу уныния и тоски. Опустившись на колени на одну из могильных насыпей и прислонившись к стволу невысокой березы, собрав всю оставшуюся силу и волю, стал молиться Господу, Матери Божией и Николаю Угоднику.

Постепенно душевное спокойствие овладело мною, но вначале настоящая молитва приходила с трудом.

По-прежнему передо мною было скорбное поле смерти, расползающиеся насыпи, ямы, наполненные темной водой, жестяные и деревянные бирки, обломки человеческих костей, сломанная лопата, которой когда-то копали землю.

По-прежнему лежали в земле десятки тысяч погибших заключенных, многие из которых навсегда вошли в мое сердце. Все так же душа моя была полна человеческой скорби о погибших, но гнетущее чувство уныния и тоски, охватившее меня, под влиянием молитвы ушло.

Долгая молитва очистила душу и сознание, дала мне возможность понять, что Устроитель жизни Господь призывает не поддаваться унынию и скорби, но молиться об умерших, требует творить добро живущим людям во имя Господа Бога, Матери Божией и во имя самих живущих на земле людей.

Окончив молитву, я медленно пошел с кладбища. Северное закатное солнце неохотно уходило за горизонт, покрытый лесом. Темная гряда леса взбиралась на пологие сопки, потом вдруг сбегала с них вниз, и от этого казалось, что вершины деревьев распиливают небо гигантской пилой. Ветер опять зарылся в перелесках и травах, и сейчас над кладбищем снова стояла тишина. В отдалении еле слышно ворчал трактор, циркулярная пила замолкла.

Со стороны леса доносилось тоскливое кукованье кукушки по растерянным детям. Одна кукушка кончала, и где-то в отдалении начинала другая. Кому считали они годы жизни? Тем, кто лежит на простырающемся передо мной поле смерти, кто нашел свой конец и не вел счет времени? Мне, еще живущему в лагере? Но срок моей жизни знал один только Бог.

Шел я к лагерю, охваченный воспоминаниями. Время от времени мысли мои разрывал голос кукушки, и тогда далекие воспоминания детства и юности проходили перед глазами. Мать, с которой я иду по лесу, – она рассказывает мне о лесе, травах и птицах, и так же куковала кукушка. Вспомнилась первая исповедь, давно ушедшие друзья, моя церковь, где много лет я служил. Думал ли я тогда, что услышу голос кукушки на кладбище лагеря особо усиленного режима, где лежат десятки тысяч мертвых, большинство которых безвинно погибли, свидетелем гибели их был и я? Думал ли, что буду участником всего происходящего и так же, как и они, пройду скорбный путь мучений и издевательств?

Для чего все это, Господи? Для чего мучились и погибли те люди, верующие и неверующие, праведники и страшнейшие преступники, злодеяния которых невозможно оценить по человеческим законам? Почему? И сам ответил себе.

Это одна из тайн Твоих, Господи, которую не дано постичь человеку – рабу греха. Это тайна Твоя. Неисповедимы пути Твои, Господи. Ты знаешь, Тебе ведомы пути жизни человеческой, а наш долг творить добро во Имя Твое, идти заповедями Евангелия и молиться Тебе, и отступятся тогда силы зла. Ибо там, где двое или трое собраны во Имя Твое, там и Ты посреди них. Помилуй меня, Господи, по великой милости Твоей и прости за уныние, слабость духа и колебания.

Обернувшись на четыре стороны, благословил я всех лежащих на поле, и, низко склонившись, простился со всеми. Господи, упокой души усопших рабов Твоих. До конца жизни своей буду помнить я тех, кто остался лежать здесь, в земле.

Перебирая в памяти знакомых мною умерших, тихо поминал я за упокой души и в этот момент отчетливо видел лица их...

Шел 1957 год, лагерь пустел с каждым днем, где-то недалеко от него возник гражданский поселок, в который из разных мест страны ехали вольнонаемные взамен ранее работавших заключенных.

Появились улицы, скверы, длинные вереницы домов, приезжали люди, ничего не знавшие об “особом” и о полуболотистом кладбищенском поле, на котором остались лежать тысячи погибших заключенных.

Прошлое уходило из памяти людей.

ОТЪЕЗД

Подошел конец 1957 г. Отца Арсения несколько раз вызывали в управление лагеря. До конца срока оставалось еще шесть лет, так как в 1952 году “добавили” еще десять. Вызывали, расспрашивали, допрашивали, писали протоколы, заполняли анкеты, что-то у кого-то запрашивали и наконец весной 1958 года сообщили, что освобождают по амнистии, хотя основное освобождение всех заключенных прошло уже несколько лет назад.

Сообщили буднично, будто о. Арсений получил сообщение о получении посылки, а не сидел в лагере без всякой вины многие годы, только кто-то из членов комиссии с некоторым удивлением сказал: “Вот поди же, выжил старик! Приходится освобождать!”

Одели, дали на проезд литер, деньги, заработанные за последние годы, справку для получения паспорта по прибытии на место жительства. Место жительства? Где оно было сейчас у о. Арсения? В комиссии спросили, выдавая справку, куда он едет. И о. Арсений назвал маленький старинный городок под Ярославлем, в котором когда-то часто бывал и жил, изучая старину. Он отвык от воли, плохо представлял себе жизнь за пределами лагеря, и сейчас ему было почти безразлично, куда ехать.

Усталость, безграничная усталость давила и сгибала его. “Все в руках Божиих, – решил он. – Бог устроит”. Надо было отдохнуть, собраться с силами, побыть одному и в молитве найти спокойствие, собранность, и тогда можно встретиться со своими духовными детьми. Сейчас сил не было, и только одна молитва поддерживала его.

Внезапно наступила ранняя северная весна, теплые ветры согнали снег с пригорков и дорог. Было сухо, комары и гнус еще не одолевали, прилетели ранние птицы, в воздухе чувствовалась бодрость и свежесть. С вещевым мешком, в новых гражданских ботинках, черных брюках, в новой телогрейке и стандартной шапке-ушанке вышел о. Арсений за ворота лагеря. Теплый весенний ветер налетал на него, шевелил волосы, придавая свежесть утру, чуть-чуть пылил дорогу.

Пройдя контрольный пункт, о. Арсений обернулся лицом к лагерю, низко склонился к земле и, прощаясь, перекрестил лагерь. Охрана не без удивления смотрела на него: уходил старик, много лет пробывший здесь.

Отойдя от ворот лагеря и поднявшись на пригорок, по которому шла дорога, о. Арсений обернулся опять к лагерю и осмотрел его. Сейчас лагерь был жалок, вышки и несколько рядов проволоки охватывали несколько темных бараков. За пределами лагеря лежали груды кирпича, стояли полусгоревшие столбы от сожженных бараков, поваленные столбы с колючей проволокой, полусгнившие остатки вышек, и о. Арсений вспомнил лагерь “особого режима”, когда-то беспредельно громадный, кипучий в своей страшной жизни.

Сойдя с дороги и смотря на лагерь, о. Арсений молился, вспоминая многих и многих людей, оставшихся здесь, и тех, кого Господь увел отсюда. Долгие, томительные годы прошли для о. Арсения здесь. Долгие! Но Господь никогда не оставлял его, и Он сохранил о. Арсения, дал ему возможность в этом море скорби найти много совершенного, прекрасного. Найти людей, у которых о. Арсений по великой милости Бога взял то, к чему стремится и должен стремиться каждый христианин.

Здесь, в окружающем его человеческом горе, он научился молитве “на людях”, здесь пример многих и многих праведников и просто обыкновенных людей показал ему, что надо брать тяготы человека на себя и нести их, и в этом закон Христов. Молясь, благодарил о. Арсений Господа, Матерь Божию и всех тех, кто оставался здесь и великой неоцененной помощью своей помогали и учили его.

Попутная грузовая машина подвезла о. Арсения до гражданского поселка, где теперь обыкновенным служащим работал бывший надзиратель лагеря Справедливый. Разыскать дом и квартиру Справедливого было нетрудно. Станным и необычным показалось находиться вне лагеря – не было крика, уголовников, распорядка дня, ругани.

Справедливый в прошлом, а теперь Андрей Иванович вместе с женой провожали о. Арсения на вокзал. Два дня, прожитых у Андрея Ивановича, дали возможность о. Арсению осознать волю. Андрей Иванович доплатил к литеру, и о. Арсений ехал в купированном вагоне. Расположившись на нижней полке, подложив под голову свой вещевого мешок, он закрыл глаза.

Поезд вздрагивал на стыках, колеса мерно стучали, за окном проносились тайга, скалы, реки, озера Сибири. Перед мысленным взором сейчас проходило прошлое, люди и люди шли бесконечной вереницей. Погибло большинство, но многие все же выжили, и их о. Арсений увидит. Новая жизнь еще плохо представлялась о. Арсению. Все было неизвестно, но был Бог, и при Его помощи должна была начаться эта жизнь. Мысли, заполнившие сознание, отошли, и о. Арсений стал молиться и вдруг услышал: “Осторожнее, здесь из лагеря, как бы не обворовали”, – и второй голос полупшепотом

произнес: “Удивляюсь! Как их только выпускают? Расстреливать надо”. Отец Арсений открыл глаза: на противоположном месте устраивалась молодая пара. Поезд шел вперед, мелькали станции, реки, леса, города, на перронах свободно ходили и говорили люди. Жизнь шла.

Отец Арсений молился о новой наступающей жизни, о тех, кто остался в “особом” навечно.

Весна полностью вошла в свои права, за окнами поезда по мере приближения к Москве все расцветало яркими красками. Страшное прошлое, связанное с лагерем “особого режима”, ушло в невозвратность. Период тяжелых испытаний, выпавших на долю Родины, прошел.

Смотря в окно, но ничего не замечая, о. Арсений молился и благодарил Господа, Матерь Божию и всех святых за великую милость и помощь, оказанную ему, и просил за всех, кого знал и любил. Приближался город, где о. Арсений должен был начать новую жизнь и продолжать служение Богу и людям.

КОНЕЦ
ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Отец Арсений

Часть вторая.

ПУТЬ

Содержание

- ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ
- ВСПОМИНАЮ
- ВСТРЕЧИ
- ДОЛГИЕ ГОДЫ
- ПИСЬМА (отрывок из воспоминаний О.С.)
- ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПРОШЛОГО (О МИХАИЛЕ)
- ПОМНЮ
- ИРИНА
- ЖУРНАЛИСТ
- МУЗЫКАНТ
- ДВА ШАГА В СТОРОНУ
- ЗАМЕРЗАЮ
- САПОГИ

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ

В этой части собраны воспоминания и рассказы об о. Арсении, а также о людях, так или иначе соприкасавшихся или встречавшихся с ним. Одни больше, а другие меньше.

Вы встретитесь здесь с людьми, имена которых уже встречались в первой части – “Лагерь”, встретите и новых людей, то ли духовных детей о. Арсения, то ли тех, кто, однажды узнав о. Арсения, навсегда унес с собой веру в Бога, понял, что такое настоящий верующий человек, несущий людям добро, радость и исцеление от тягот жизни.

Он, о. Арсений, умел брать на себя трудности и грехи других людей, учил их молиться, так что они могли найти путь к Богу, он воспитывал в человеке веру, давал ему понимание радости сотворения добра. Нам не дано знать, скольким людям облегчил он жизненный путь и скольких привел к Господу и дальше вел по этой дороге веры, но мы знаем, что таких людей было много, очень много. Прочтя собранные воспоминания, рассказы и записки, вы поймете и увидите жизненный путь о. Арсения, а также людей, жизнь которых служит для нас примером. Мы должны глубоко благодарить всех духовных детей о. Арсения, знакомых и друзей его, написавших о нем или о своей жизни, связанной с ним в той или иной степени.

Читая воспоминания, рассказы и записки эти, невольно чувствуешь ту необычайную святую любовь и глубокое почитание о. Арсением Матери Божией, к Которой он постоянно возносил молитвы о нас, грешных.

Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!

ВСПОМИНАЮ

Поезд остановился, и о. Арсений вышел из вагона. Шла весна 1958 г, буйная, радостная, веселая. Было утро, яркое, солнечное. Местами на земле лежал нерастаявший снег, блестели голубые от весеннего неба лужи.

Пройдя по перрону и выйдя на привокзальную площадь, о. Арсений осмотрелся. Чистый, прозрачный воздух прочерчивал узоры далеких колоколен, главы церквей с погнутыми крестами на куполах.

В телогрейке, шапке-ушанке, с вещевым мешком за спиной, с небольшой седой бородой, о. Арсений, при первом взгляде на него, казался колхозником, приехавшим в город за продуктами, но какие-то еле уловимые черты в одежде, походке, манере общения говорили, что он вернулся из заключения.

Город был тот же, что и два с половиной десятилетия тому назад, но еще больше обветшал, стал грязнее и мрачнее, и даже весенняя погода не оживляла его, а наоборот, подчеркивала убожество давно не отремонтированных домов, разбитых булыжником мостовых, замусоренных дорожных канав, обшарпанность ларьков и палаток, гнетущую одноцветность всего окружающего.

Отец Арсений опустил руку в карман телогрейки, достал записку с адресом и пошел разыскивать дом Надежды Петровны. Все было сейчас новым: люди, разговоры, поведение людей и сам маленький городок, который он когда-то часто посещал и подолгу в нем жил.

Монастырская, Заречная, Посадская улицы стали улицами или проспектами Энгельса, Марата, Советской, Гражданской, Ильичевской.

Отец Арсений долго расспрашивал, ходил, и наконец перед ним появилась, поднимаясь в гору, нужная ему улица. Он разыскал дом и, подойдя к закрытой калитке, дернул ручку звонка в отверстии забора.

Позвонив несколько раз и услышав, как в доме дребезжит колокольчик, но никто не выходит, о. Арсений беспомощно оглянулся, не зная, что же делать. Стало холодно, дорога утомила, пересадки, волнения, томительная неизвестность, оторванность от привычной лагерной жизни, суэта свободы заставили потерять внутреннюю собранность и спокойствие. Оставаясь стоять у калитки, о. Арсений растерялся. Куда же идти? Что делать? В городе он никого не знал, был второй адрес, но, обыскав все карманы, не нашел его. Необходим был человек, который помог бы снять в городе комнату. Надо было отдохнуть, пожить одному, привыкнуть ко всему новому, понять, войти в жизнь на воле, от которой он отвык за долгие годы лагерной жизни, и затем уже списаться с духовными детьми и друзьями. Что делать? Может быть, Надежда Петровна уехала? У калитки стояла небольшая скамейка, потеряв ее рукавицей, о. Арсений в изнеможении сел.

“Я задумался, – рассказывал потом о. Арсений, – задумался о том, что незаметно поддался духу гордыни, возомнил, что справлюсь с новой жизнью один, без друзей своих и духовных детей, привыкну к новому, а Господь показал сейчас мои заблуждения. Все окружающее пугало, было незнакомо, чуждо. Одна надежда была на Господа”.

По улице проходили редкие прохожие, а старик в телогрейке, вещевым мешком за спиной, полусогнувшись, сидел на скамейке, прислонившись к забору, и как будто дремал. Городок, улица, запертый домик – все отдалилось, ушло, и осталась только одна молитва к Господу и Матери Божией, в которой о. Арсений просил простить его за гордость, неверие в помощь близких своих.

Время шло, и часа через три из соседнего дома вышла женщина и спросила: “Вам кого, гражданин?” – и о. Арсений удивленно увидел себя на скамейке, рядом с забором, незнакомую улицу и женщину, стоящую около него, и с трудом осознал, где находится. Разыскав в кармане записку, отец Арсений ответил: “Надежду Петровну”, – но вопросы продолжались: “Кто? Откуда, зачем? Давно ли в городе?”

Отец Арсений отвечал односложно: “Знакомый. В гости, давно не виделись”. Казалось, что прервать любопытствующий допрос нельзя, но в этот момент подошла женщина к калитке, и о. Арсений понял, что это Надежда Петровна. Так произошел его приезд в город и встреча с Надеждой Петровной, у которой он прожил более 15-ти последних лет своей свободной жизни.

Жизнь Надежды Петровны была далеко не обычна. Дочь учителя, она в 16 лет вступила в партию, участвовала в гражданской войне, руководила женотделом губернии, работала в партийных органах, поступила в Институт красной профессуры, кончила его и перешла на работу на так называемый “идеологический фронт”.

Статьи, брошюры, книги, написанные ею, обрели известность. Работала со Скворцовым-Степановым и Варгой, избиралась делегатом различных съездов, но в 1937 году арестовывается и только в конце 1955 года освобождается “по чистой” в возрасте 55 лет. Из троих детей в живых осталась старшая дочь Мария, которая к моменту выхода Надежды Петровны из лагеря уже давно

была замужем за военным врачом. Сын Юрий, пробыв несколько лет в детском доме, был взят на фронт, где и погиб 19-ти лет, младший, Сергей, умер в этом городе в детском доме. Жить в Москве Надежда Петровна не захотела и решила поселиться там, где умер и похоронен маленький Сергей. Убеждения, любовь, интерес к жизни, когда-то волновавшее прошлое – все было вытравлено, стерто допросами, унижением, лагерем. В душе осталась постоянная боль. Дочь и зять купили в этом городке для Надежды Петровны небольшой, но хороший домик с уютным садом. В 1952 году встретил о. Арсений в лагере мужа Надежды Петровны – Павла, тяжело болевшего, но почти до самой смерти продолжавшего работать на тяжелых работах. Павел сдружился с о. Арсением и попросил, если о. Арсению удастся выйти из лагеря, разыскать жену, рассказать о его жизни и, если будет возможно, помочь ей. В конце 1956 года, еще находясь в лагере, о. Арсений списался со своими друзьями, и они с большим трудом нашли Надежду Петровну, которая к этому времени уже жила своем домике в Р. Отец Арсений написал ей обстоятельное письмо об умершем муже, о последних днях его жизни, и вот тогда-то и пригласила она, чтобы после освобождения приехал о. Арсений к ней жить.

Приняла Надежда Петровна о. Арсения хорошо, он подробно рассказал ей о жизни ее мужа в лагере, о его несгибаемой стойкости, мыслях, высказанных им перед смертью. Много рассказал. Слушая о. Арсения, Надежда Петровна то плакала, то лицо ее становилось гневным, злым, и она повторяла одну и ту же фразу: “Какой человек был Павел! Какой человек! Погубили сознательно, преднамеренно. Мерзавцы!”

Прожил о. Арсений у Надежды Петровны несколько дней и почувствовал, что трудно ему, чуждо все здесь. Молиться стеснялся и все время чувствовал себя гостем, хотя и жил один в комнате, да и второй адрес нашел за это время в кармане телогрейки.

Поблагодарив Надежду Петровну за гостеприимство, ушел жить к Марии Сергеевне, своей хорошей знакомой и духовной дочери из Москвы. “Пришла я, – рассказывает Надежда Петровна, – дней через десять навестить о. Арсения, тогда звала его Петром Андреевичем. Смотрю – домик ветхий, живет в каком-то чулане, кровать складная, ломаная, одеяло старое, ситцевое, а сама Мария Сергеевна от старости еле двигается и не только помочь о. Арсению не может, а и сама требует ухода. В общем, битый битого везет. Стала звать его опять к себе жить, а он посмотрел на меня как-то по-особому, кротко-кротко и сказал: “Возможно ли это? Я ведь священник, иерей, молюсь подолгу и богослужение дома совершаю, а у Вас взгляды другие, вы неверующая, атеистка, кроме того, ко мне и друзья приезжать будут, и не один, а много. Неподходящий я для Вас постоялец”.

Вижу, что и Мария Сергеевна не одобряет его переезда ко мне, но почему-то неизмеримо стало жалко мне его, пришла я на второй день и увела к себе. Поселила о. Арсения в большой комнате, окна в сад выходят, тихо, спокойно там. Стала ухаживать за ним, одна ведь живу. Дочь с мужем хорошо, если один раз в месяц из Москвы приедут, а внучка только на каникулы зимой приезжала. Времени свободного много, читала все больше, а тут вроде бы и занятие, да и вижу – человек он очень интересный и какой-то особенный. Вначале не понимала, что в нем особенного? Первое время все молился – днем, вечером, ночью, утром. Иконочку взял у Марии Сергеевны, повесил в уголок, лампадку постоянно поддерживал горящей. Странно мне все это было, непонятно. Думала – без образования он, фанатик, или лагерь сильно повлиял, но по разговору – интеллигентный. Стала присматриваться к нему, иногда вечерами подолгу разговаривали, и поняла я тогда, что передо мною человек огромных знаний, культуры и какого-то особого, высокого духа и доброты необычной. Поняла все это в течение полутора месяцев. Присматриваясь к о. Арсению, заметила, что не привык он еще к свободе и лагерь не оставляет его, со всем его страшным прошлым. Хотя и сказал он мне, что будут к нему приезжать друзья, но никто ни разу не приезжал, а писем он также никому не писал и, как потом узнала, запретил и Марии Сергеевне сообщать кому-нибудь, что живет здесь.

Первые три недели на улицу не выходил, а потом стал сидеть на улице на скамеечке. Состояние его было мне понятно, так как и со мною, и с моими друзьями по выходе из лагеря происходило нечто подобное: одни замыкались в себе, а в других просыпалась нервозно-кипучая деятельность, сменявшаяся потом депрессией”.

“Стала я, – рассказывала потом Надежда Петровна, – больше говорить с о. Арсением, расспрашивать, рассказывать о себе, а также попросила разрешения заходить к нему, когда он молился или совершал богослужение, и в эти моменты становился он другим человеком, ранее мною не виданным, поражавшим, меня.

Помню: как-то вечером охватила меня тоска гнетущая, давящая. Дети Юрий и Сергей неотступно стояли перед глазами, вспоминала все время мужа, и что-то темное заползло мне в душу, хотелось броситься на пол и биться головой, кричать, рыдая, обо всем потерянном, утраченном. Жизнь казалась бесцельной и ненужной теперь. Для чего жить? Для чего? Я металась по

комнате, кидалась на кровать, закусывая зубами подушку, вставала и беззвучно плакала, слезы заливали лицо. Кто мне поможет? Кто мне ответит за то, что случилось? Кто?

Было так тяжело, что я хотела умереть. Мне вспоминались страдания детей в детских домах, ужас расставания с ними при аресте, их расширенные глаза, полные страха и мольбы, обращенные ко мне, уходящей с арестовавшими меня работниками НКВД. Смерть мужа в лагере. Допросы и моя жизнь. Все проносилось с какой-то особой четкостью, обостренно, болезненно. Хотелось куда-то бежать и потребовать ответа: ЗАЧЕМ все это было?

Я одна в доме, Петр Андреевич – изможденный и оторванный от жизни человек, не могущий мне помочь, но рядом никого не было, и я, плача, все же пошла к нему. Тоска, скорбь и какая-то особая озлобленность охватили меня. Я вошла без стука. Петр Андреевич стоял в углу перед иконой Божией Матери, неярко горела лампадка, и он в полный голос молился. Я вошла, громко, резко открыв дверь, но он не обернулся. Остановившись, услышала слова молитвы, четко произносимые им:

“Царица моя преблагая, надежда моя Богородица, защитница сирым и странным, обидимым Покровительница, погибающим спасение и всем скорбящим утешение, видишь мою беду, видишь мою скорбь и тоску. Помогни мне, немощному, укрепи меня, страждущего. Обиды и горести знаешь Ты мои, разреши их, прости руку Свою надо мною, ибо не на кого мне надеяться, только Ты одна защитница у меня и предстательница перед Господом, ибо согрешил я безмерно и грешен перед Тобою и людьми. Будь же, Мать моя, утешительницей и помощницей, сохрани и спаси мя, отгони от меня скорбь, тоску и уныние.

Помоги, Мать Господа Моего!”

Отец Арсений окончил молитву, перекрестился, встал на колени, положил несколько поклонов, прочел еще какую-то молитву, которую я не запомнила, и встал с колен. А я, ухватившись за косяк двери, рыдала громко, обливаясь слезами, и только слова молитвы к Божией Матери отчетливо звучали передо мною. Забегая вперед, хочу сказать, что они запомнились мне на всю жизнь, запомнились мгновенно, навсегда, запомнились так, как я восприняла их тогда. Сквозь охватившие меня рыдания я смогла сказать только одно: “Помогите, мне очень тяжело!”

Ничего не спрашивая, Петр Андреевич оторвал меня от дверного косяка и посадил на стул. Захлебываясь от рыданий, я стала говорить, сперва озлобленно, потом раздраженно и наконец успокоилась. И вся моя жизнь, вся до мельчайших подробностей вставала передо мной, и я выплескивала ее на о. Арсения. Рассказывала о себе, детях, муже, о горе, страданиях, о своей жизни, об ошибках, стремлениях, о прошлой работе. Прошлое, обнаженное прошлое вдруг предстало передо мной совершенно по-другому. Рассказывая о себе, я увидела не только себя, но и тех людей, которым я приносила страдания, боль, унижение, возможно, и смерть. Все прошло перед моими глазами. Слова молитвы, услышанные мной, во все время моего рассказа, незримо присутствовали, как бы освещая мне путь. Говорила я долго, несколько часов, а о. Арсений, опершись руками на стол, недвижно слушал меня, не прерывая, не поправляя. Когда я кончила, сама удивившись тому, что рассказала, о. Арсений встал, подошел к иконе, поправил лампадку, перекрестился несколько раз и стал говорить. Говорил он, вероятно, недолго, но то, что сказал, еще и еще раз заставило меня понять все свои страдания иначе, чем я понимала их раньше. Ведь страдала и мучилась я и за те дела, которые когда-то совершала, ведь и от моих поступков и действий страдали люди, а я не думала о них, забывая об их мучениях. Почему я должна быть лучше их?

Отец Арсений сказал: “Хорошо, что Вы мне рассказали свою жизнь, ибо полная откровенность – это кладезь очищения совести человека. Вы найдете себя, Надежда Петровна”, – и трижды благословил меня. Я не стала сразу верующей, но поняла, что есть многое, то многое, что упущено мною в жизни, и это упущенное и ранее не найденное с помощью Божией и о. Арсения я нашла. Сперва я привыкла к нему, потом привязалась и увидела в нем человека совершенно необычного, несущего в себе глубокую духовность, веру и доброту к людям. Никогда не могла я предположить, что худой усталый человек, пришедший ко мне в лагерной телогрейке, окажет такое влияние на меня и я стану верующей, ранее отрицавшая Бога и гнавшая Его.

Этот разговор в очень большой степени сблизил меня с о. Арсением, и он стал меньше стесняться, постепенно оттаивать, интересоваться окружающим и к исходу второго месяца написал уже несколько писем, и, вероятно, дня через четыре приехало к нему сразу несколько человек. Нечего греха таить, показались мне эти люди несколько странными, но только вначале, а потом я поняла их, и сама, вероятно, стала такой же, как и они. Со многими сдружилась и полюбила их”.

“Месяцев через пять-шесть я уже стала духовной дочерью о. Арсения, – рассказывала Надежда Петровна, – но одно событие, происшедшее в это время, особенно повлияло на меня.

Был у нас с мужем большой нам друг и товарищ Николай. Арестован он был одновременно с Павлом – моим мужем – и проходил по одному и тому же делу. В 1955 г. выпустили его, реабилитировали, восстановили во всем и вся. Работая в Харькове на большой хозяйственной должности, был он в командировке в Москве и решил заехать ко мне. После лагеря не виделись мы, а только переписывались.

Приехал! Я расспрашивать стала, как в лагере жил, о себе рассказываю, почему вдруг в этом городе живу, о детях плачу. Николай о себе рассказывает, конечно, арест, лагерь, допросы, вспоминает, кто донес о несуществующем деле. Стал о моей дочери расспрашивать, а потом вдруг спросил, смеясь: “Надежда, а ты замуж не вышла? Раздевался когда, увидел – мужская шляпа и пальто у тебя в передней висят. Чьи это?”

А я ему ответила что-то резкое, но тут же спохватилась и сказала, что живет у меня жилец, хороший знакомый, с мужем в лагере в последний год его жизни сидел. Николай, вероятно, машинально, спросил: “Кто он?” – Я назвала: “Священник, Стрельцов Петр Андреевич, ты его знать не можешь, ведь последние четыре года вы сидели в разных лагерях с Павлом”.

Николай буквально подскочил и закричал: “Отец Арсений! Здесь! Где он?”

Ворвался без стука к о. Арсению в комнату, и я слышала, что он кричал: “Отец Арсений! Отец Арсений!”

Я следом за Николаем вошла в комнату и увидела, как Николай обнимает о. Арсения и, что меня крайне удивило, плачет, и еще более удивило, что он вдруг сказал: “Господи! Какая радость, что Вас встретил. Запрашивал о Вас, искал через знакомых, а ответа нет. Благословите меня, Бога ради”, – и пошел под благословение.

Сели, разговаривают и меня забыли. Вышла я чай приготовить. Готовлю и удивляюсь! Что такое с моим покойным Павлом произошло и с Николаем? Почему они оба от о. Арсения, можно сказать, без ума? Чай я поставила, но о. Арсений и Николай его так и не пили. К ночи Николай пришел. Пока его не было, я все размышляла. Хороший, добрый о. Арсений, но чтобы Николай, коммунист, под его благословение подошел, было мне непонятно.

О чем они тогда говорили несколько часов кряду, я не знала, а уже потом, через несколько лет, Николай сказал мне, что исповедовался.

Пришел Николай какой-то просветленный и первое время молчал, а потом всю ночь говорил об о. Арсении. Вначале это меня даже обозлило. Приехал человек ко мне, не видел бездну лет и внезапно ушел. Конечно, хороший человек о. Арсений, но поступать так по отношению ко мне, столько перенесшей, казалось бестактным и неправильным. Мог бы с о. Арсением и потом поговорить, и я раздраженно сказала: “Послушай, Николай! Сама вижу, что Петр Андреевич человек хороший, но ты-то почему так к нему относишься? Под благословение подошел, меня оставил, к нему бросился! Ведь столько лет меня не видел!”

Посмотрел на меня Николай удивленно и начал рассказывать. Долго говорил, очень долго, и увидела я Петра Андреевича, о. Арсения, совершенно по-другому.

Помню его рассказ: “Лагерь, Надя, мне жизнь по-новому показал: взгляды, людей, идеи, события, свое прошлое и настоящее оценил я иначе, чем раньше рассматривал. Сама в лагерях была, знаешь! На воле человек добрый, верный, отзывчивый, цены ему нет, и веришь в него, а попал этот человек в лагерь – и сразу видишь: шкурник, доносчик, предатель – дрянь. Отца и мать предаст. Мы с тобой таких видели, из-за них сидели многие годы, близких потеряли.

А этот человек, Надя, не одну сотню людей спас от смерти и мук. Чем спас? Добрым словом, заботой, помощью. Ты знаешь, что в лагере значила внутренняя, моральная поддержка? Все значила, больше, чем еда.

Мы в лагерях к своим тянулись: партийный к партийному, интеллигент к интеллигенту, колхозник к колхознику, вор к вору, шпана к шпане, и если помогали, то только своим, да и помогали-то редко, больше предавали, а он, о. Арсений, всем помогал. Не было у него своих и чужих, а просто были люди, которым нужна помощь. Так он и меня с Павлом нашел. Были мы на грани отчаяния, хотели бежать, а ведь это было равносильно смерти. Ничего никому не говорили, а он накануне нашего побега с этапа подошел к нам и заговорил.

Мы смотрим на него как обалделые. Откуда он знает? Растерялись. Страшно нам, Надя, стало с Павлом. Отговорил убежденно, ласково, и успокоились мы.

Когда я в бараке услышал, что он поп, презрительно к нему отнесся, да и вид у него был самый неказистый. Прожил я с ним в бараке около года, и стал он для меня и Павла как звезда путеводная. Присмотрись, Надя, к нему, – присмотрись, и тоже к нему под благословение пойдешь!”

Сильно повлиял на меня рассказ Николая, да я к тому времени и сама, как уже говорила, к о. Арсению привязалась, это меня просто уход к нему Николая расстроил”.

Продолжу рассказ об о. Арсении и его жизни.

Комната, которую ему предоставила Надежда Петровна, была большая. Окна выходили в сад, засаженный яблонями, вишнями, рябиной. Соседний двор был далеко и совершенно не виден, зимой чуть-чуть просвечивал.

Рано утром рыжий петух взлетал на забор и задиристо кричал несколько раз, в это время о. Арсений вставал и начинал утренние молитвы. Потом опять ложился, а в семь утра начинал службу до девяти. От семи до девяти, когда он служил, присутствовали все приехавшие к нему духовные дети и иногда Надежда Петровна. После службы он беседовал с приехавшими или работал. Писал письма, иногда диктовал их, когда плохо себя чувствовал. Много читал книг по искусству и также писал.

Приезжало очень много народа, именно очень много.

Вера Даниловна. Высокая, седая и внешне строгая и недоступная, а на самом деле милейший и добрейший человек. Самый близкий друг и духовная дочь о. Арсения, пришедшая к нему когда-то одной из первых. Почти все из нас лечились у нее, она была врачом. Приезжали еще два врача – Людмила и Юля, почти одних лет. Приезжала с мужем и детьми Ирина, красивая, лет 45-50. Вместе с Верой Даниловной они лечили о. Арсения и иногда даже увозили его в Москву, чтобы положить то в одну, то в другую клинику. Отец Арсений всегда отказывался, не хотел, спорил, но под общим нажимом сдавался. В этих случаях к ним присоединялась Надежда Петровна, собирала вещи, и о. Арсений буквально выставлялся из дома, при этом он всегда, уходя, говорил одну и ту же фразу: “Здоров я, выдумки все это, выдумки”.

Ирина была особенной: мягкой, женственной, необычайно доброй, и никто бы не подумал, что это уже известный врач-хирург, имеющий звание профессора и свою кафедру. Жизни Ирины я не знала, но видела, что о. Арсений с каким-то особым уважением относился к ней.

Помню приезды инженера Сазикова, красивого, всегда элегантно одетого человека, буквально обожавшего о. Арсения. Размеренной походкой, бывало, ходили они по саду и часами о чем-то говорили. Сазиков был остроумен, находчив и, казалось, весел, но в его больших карих глазах жила постоянная глубокая скорбь. Приезжал он часто и в один из своих приездов разговорился со мной, сказав, что сидел вместе с о. Арсением в лагере и что он бывший вор-рецидивист.

Я страшно удивилась и сказала, что он, вероятно, шутит, но Сазиков ответил: “Я не смеюсь, я старый уголовник, которого вырвал из этой среды о. Арсений”. Сазиков производил впечатление человека, всецело поглощенного верой и работой. Кто и что он за человек, я не знала, о. Арсений учил нас никогда и никого не расспрашивать, так было заведено, но года через четыре после первого знакомства мы встретились с Сазиковым в Москве, и он стал частым гостем в нашей семье, вот тогда-то он и рассказал мне и мужу свою жизнь.

Помню, приезжал совершенно седой человек с волевым лицом, военной выправкой и пронизательными глазами. Проходя к о. Арсению, он молча здоровался со мной и другими людьми, сидевшими в комнате Надежды Петровны.

Отец Арсений встречал всех приезжавших к нему всегда радостно и приветливо, но этого человека как-то особенно и тепло, и душевно. Кто был приезжающий, мы не знали, а интересоваться, как я уже говорила, не полагалось, но однажды о. Арсений позвал меня и сказал: “Познакомьтесь! Иван Александрович Абросимов. Меня не будет – не оставляйте его”. Я хотела что-то возразить, но о. Арсений настойчиво и требовательно повторил: “Не оставляйте, не оставляйте! Вы, Иван Александрович, поддерживайте знакомство с Таней, хорошее, доброе знакомство. Меня не будет – другого иерея ему найдите”.

Вот и стали мы знакомы с Иваном Александровичем.

Частым гостем был Алеша, лагерьный Алеша-студент. Рассказывать о нем не нужно, так как каждый из нас хорошо его знает как о. Алексея, принявшего паству о. Арсения на свои плечи и руки.

И все-таки я не могу удержаться, чтобы не написать о нашем отце Алексее.

Милый, светящийся, голубоглазый Алеша еще при жизни отца Арсения стал его опорой и надеждой. Мягкий и добрый, он был отзывчив на человеческое горе, ласков с людьми, хорошо знал богослужение и проникновенно молился. Кто бы мог подумать, что Алексей станет духовным отцом многих из нас!

Помню встречу Сазикова и Абросимова у о. Арсения, помню их встречу с Алексеем. Это встречались люди, которых связывало что-то значительно большее, чем дружба, вряд ли так могли встречаться даже любившие друг друга братья. Сына Алексея Петю Сазиков и Абросимов буквально боготворили, задаривали игрушками и еще Бог знает чем.

Иногда приезжал колхозник или агроном, появлялся поэт-писатель или рабочий-токарь, какие-то старушки интеллигентного вида или старый ученый с женой из Ленинграда, а иногда подолгу

живал старенький владыка Иона, находившийся на покое, но сохранивший юношескую память и трезвый ум, большой знаток истории Русской Церкви и богослужения.

Приезжало много народу, обо всех не напишешь, но хочется вспомнить еще и Наталью Петровну, которая многим из нас помогала, многих спасла и сохранила в то время, когда о. Арсений был в лагерях.

Страстная, порывистая, Наталья Петровна всегда была в действии. Как-то мне пришлось наблюдать ее разговор с одной из духовных дочерей о. Арсения. Трудно вспомнить сейчас, о чем происходил разговор, но я почему-то тогда обратила внимание на ее руки. Худая рука ее то сжималась в кулачок, то взволнованно постукивала по ручке кресла, то чертила узоры на столе или нервно теребила кромку скатерти, и было видно, что рука соткана из нервов, нервов, которые живут одной жизнью с мыслью и движением передают собеседнику весь смысл разговора, пытаются заставить его понять самое главное и основное.

Когда разговор приобретал страстный характер, то и руки начинали передавать напряжение мысли, страстность души, и я, почти не слыша слов, понимала все сказанное, понимала значение спора и его принципиальность для Наталии Петровны. Иногда рука в отчаянии бросалась в пространство – это означало, что собеседник не понимает, но постепенно движение руки замедлялось, и она спокойно ложилась на ручку кресла, и я понимала, что спор окончен и Наталия Петровна что-то доказала.

Люди входили и уходили, писали и получали ответы и уносили с собой спокойствие, веру, надежду на лучшие и часть души самого о. Арсения. Часто замечала я, что и сам о. Арсений, говоря со своими духовными детьми и друзьями, получал от них что-то новое и с нетерпением ждал приезда многих.

“Каждый человек, с которым ты общаешься, обогащает тебя, приносит тебе кусочек света и радости, и даже если принес он горе свое, ты находишь во всем волю Божию, и видя, как человек вместе с тобой преодолевает горе, радуешься за него.

Но есть среди моих духовных детей такие, которые обновляют меня каждый раз, когда я встречаю их. Они для меня свет и радость!”

Много раз приходилось мне молиться с о. Арсением. Бывало, стоим мы в комнате, полутемно. Освещены лампадками только иконы, о. Арсений служит. Читает отчетливо, ясно, и чувствуется, что весь ушел в молитву, молится так, что и ты, только что приехавший и сошедший с поезда и еще не отрешившийся от дороги и московской суеты, постепенно идешь за ним, забываешь все окружающее и только видишь иконы Божией Матери, вникаешь в слова молитв, и где-то внутри тебя начинает загораться радость общения с великим таинством Господней службы.

Склонившись на колени, читает о. Арсений про себя иерейские молитвы, и тогда входит тишина, и ты начинаешь в это время молить Господа о милости к тебе, о прощении грехов, о даровании исполнения своих просьб. Нет комнаты, нет рядом стоящих с тобой, ты стоишь в храме, горят лампы, лик Божией Матери, Владимирской и Казанской, смотрит с икон, как бы обнимая тебя своей всепрощающей милостью, и о. Арсений ведет к согревающему и освещающему свету молитвы. Молиться рядом с о. Арсением для всех нас всегда было большой радостью.

Много еще можно рассказывать об о. Арсении, очень много, но мне думается, что главное я рассказала.

Приезд о. Арсения в город написан мною на основе его рассказа нам. О Надежде Петровне написала с ее разрешения, остальное – мои личные впечатления, а у тех, кого упомянула, тоже спрашивала, можно ли о них писать. Перечитывая написанное, вижу, что не смогла я рассказать об о. Арсении так, как надо, не хватило у меня нужных слов. Господи, прости меня, грешную Татьяну. Воспоминания мои не могут быть полными, так как я пришла к о. Арсению только в 1959 г., привела меня к нему Юлия, у которой я лечилась долгие годы. Познакомилась я с Юлией Сергеевной как пациентка в 1951 году, и с тех пор связала нас долгая крепкая дружба. Красивая, высокая, стройная, привлекла она меня с первой встречи внимательностью, ласковостью, добротой. Болезнь моя была запущена за военные годы, недоедание также отразилось на здоровье, лечение не помогало. Юлия Сергеевна, а потом для меня Юля, вылечила, помогла мне во многом, привела к церкви, а потом и к о. Арсению. Духовная дочь о. Арсения, она сама заслуживает специального рассказа, но, к сожалению, по многим причинам я не могу этого сделать.

В 1964 году я прочла воспоминания о ссылке Юлии в Корсунь-Ерши. В этих воспоминаниях очень полно раскрыт характер Юлии Сергеевны как человека, воспитанного о. Арсением, и в этих же воспоминаниях показывается то огромное влияние, которое оказывал о. Арсений на своих духовных детей.

Воспоминания написаны Т.П. на основе рассказа

ВСТРЕЧИ

Мы были почти одногодки. Петр был старше меня на один год, учились в одной гимназии, но в разных классах. Знали друг друга, но подружились только в последних классах, однако потом пути наши разошлись. Он пошел в Московский Университет на искусствоведческий, а я в высшее техническое.

Был Петр всегда серьезен, добр, зачитывался книгами, любил искусство, театр, живопись, музыку, но я никогда не замечал его приверженности к религии. На несколько лет потерял его из вида и только после окончания мною МВТУ стороной услышал, что Петр досрочно окончил университет, написал книгу, являющуюся результатом его исследований, каких, я тогда точно не знал, а еще через несколько лет мне сказали, будто он стал монахом и священником, что меня несказанно удивило.

Я женился, как говорят, “по сильной любви”, но через год жена внезапно ушла к моему товарищу, причем это было так неожиданно и непонятно для меня, что я буквально сходил от горя с ума. Не находил себе места, временами меня захватывала мысль о самоубийстве, бросался то к одним, то к другим людям, пытаюсь найти помощь, и даже начал временами пить.

Вспомнил о церкви, кинулся поговорить со священником, но ушел неудовлетворенный. Внезапно пришла мысль о Петре, решил разыскать его. Узнал, в каком храме служит. Поехал, нашел церковь – она оказалась небольшой и довольно древней. Помню, пришел в храм, встал в сторонке в одном из приделов. Петр служил обедню, молящихся было много и в основном интеллигенция.

Обедня кончилась, все стали подходить под благословение, и я видел, как люди целовали руку Петру и он как-то по-особенному добро говорил почти с каждым. Мне это было странно, непривычно и не вязалось с представлением, сложившимся о Петре.

Благословив всех, он ушел в алтарь и через несколько минут вышел оттуда в подряснике и сразу направился ко мне, при этом у него был такой вид, который говорил, что он знал о моем пребывании в храме.

Народу в церкви было еще довольно много. Утром я немного выпил, и от меня, вероятно, пахло вином, поэтому молящиеся сторонились, но мне было безразлично.

“Что случилось?” – спросил Петр, и этот вопрос, и то, что он знал, что я в храме, потому что горе пришло ко мне, сразу обозлили меня, и я ответил:

“Ничего, я попал сюда случайно”, – хотя ответ был явно нелеп и глуп.

Не отходя от меня, Петр остановил кого-то из проходящих и попросил позвать священника, находившегося здесь же, в храме, и, когда тот подошел, сказал:

“Отец Иоанн! Прошу, отслужите молебен, я сегодня не могу, – и, обратившись ко мне, произнес: – Пойдемте ко мне домой”.

Жил он недалеко от церкви. Шли молча. У него дома я все рассказал, при этом без просьбы с его стороны, а просто вырвалось мое горе наружу, и, рассказывая, плакал надрывно и, вероятно, даже по-пьяному.

Отец Арсений – я уже узнал, что он теперь не Петр, – слушал меня не перебивая и не утешая. Кто-то во время моего рассказа приходил, пытаюсь что-то сказать, но о. Арсений отвечал, что занят.

Когда я окончил свой длинный и сбивчивый рассказ, о. Арсений просто и обыденно сказал: “А виноват-то ты сам. Ты же оттолкнул жену от себя, забыв про ее душу, стремления, желания”. Говорил он недолго, но вдруг мне от его слов стало не по себе, и как будто завеса спала с моих глаз – я осознал и понял многое, чего раньше не замечал, не хотел замечать, и мне стало почти легко. Прожил я у него три дня и ушел примиренным с жизнью, пришел к вере и в церковь.

Вот с этого-то времени и стал мой прежний товарищ и друг моим духовным отцом и наставником.

Проходили годы, жизнь моя изменилась, я женился, любил вторую жену, шли звания, степени, жизненные успехи часто обгоняли мои способности, я стал известен, но, приходя к о. Арсению, чувствовал себя студентом первого курса перед убежденным сединой профессором, и в то же время это был мой друг и товарищ.

Лагерь и ссылки отрывали его от нас, но не отдаляли, и, когда он после “особого” обосновался в городке Р., я постоянно ездил к нему и вот об этих поездках и хочу рассказать.

...Сегодня я еду к о. Арсению, как всегда, волнуясь. Жду от этой встречи чего-то большого и радостного.

Поезд еще только подходит к вокзалу, но я уже встаю и одним из первых иду к выходу. Небольшой вокзал городка был шумен и суетлив. Из вагонов выходили люди, таща тяжелые чемоданы, мешки, свертки, корзины, набитые продуктами, закупленными в Москве. Пожалуй, я только один из всех шел всегда с портфелем, где лежали книги и немного конфет, привезти которые всегда и всем наказывала Надежда Петровна.

Городок был по-своему аккуратен, уютен, весел. Главы многочисленных церквей и соборов, хотя и потрепанные временем и усердием человеческого небрежения и равнодушия, как-то по-особому украшали город, придавая ему сказочный вид.

Покинув вокзал, я торопился к о. Арсению. Утренняя свежесть, дыхание далеких лесов и полей, приносимое ветром, несли какую-то особенную бодрость и радость, и я шел, волнуясь, в предчувствии чего-то таинственного и радостного. Шел, ожидая, что встреча принесет мне нечто новое и заставит жить лучше.

Вот и улица, знакомая, милая улица. Одноэтажный домик, где жил о. Арсений. Сейчас он был центром притяжения моей души, источником, откуда я должен был унести ту “живую воду”, благодаря которой может жить вера, надежда и человеческая любовь.

Окна блестели, проглядывая сквозь ветви деревьев. Завешенные белыми занавесками, они придавали домику таинственность, привлекательность и уют и заставляли еще больше стремиться в него, и в то же время я иногда боялся войти в его дверь, потому что нес в себе сомнение в правильности совершенных мною поступков и дел.

Вот и калитка с большим железным кольцом, которое держит в зубах оскалившийся лев, – чудо искусства древних русских кузнецов. Звоник прикреплен на заборном столбе. За калиткою дорожка, покрытая крупным речным песком. Я звоню, толкаю калитку, и она, пропев на несколько голосов, открывается, и меня сразу охватывают сладковатые запахи прелых листьев, увядшей травы, еще теплой земли. Посаженные вдоль забора рябины краснеют гроздьями ягод, висящими в воздухе, и кажется, что находишься ты не в городе и сошел не двадцать минут назад с современного поезда, а попал в какое-то необыкновенное, полное очарования царство ожидаемой радости.

Сделав несколько шагов по дорожке, я останавливаюсь у двери и жду, когда Надежда Петровна откроет мне. Слышу шаги, разговор Надежды Петровны с котом, который постоянно вертится у ее ног, и сейчас она боится наступить на него. Дверь открывается, лицо Надежды Петровны, вначале строгое, озаряется доброй улыбкой, и она радостно встречает меня. Прохожу, раздеваюсь, радуюсь предстоящей встрече, волнуясь. Волнуюсь и думаю: вот иду сейчас к самому близкому мне человеку, которому через несколько минут отдам все свои сомнения, грехи, мысли, раздумья, так чего же волноваться, ближе у меня никого нет. И все равно волнуясь.

Если в момент моего приезда у о. Арсения находится кто-нибудь из его духовных детей или друзей, я жду, и иногда это бывает долго. Если же он один, то Надежда Петровна тихо стучит к нему и говорит, что я приехал, и тогда через несколько мгновений открывается дверь, и он, мой о. Арсений, идет ко мне, радостный, светлый.

Я подхожу под благословение, потом мы обнимаемся и несколько раз целуемся. Садимся, о. Арсений начинает расспрашивать о Москве, знакомых, друзьях, новых книгах, новостях, и особенно церковных. Задает вопрос за вопросом, я отвечаю. Иногда, услышав что-нибудь смешное, заразительно смеется.

Мы говорим, и я вижу ту же комнату, те же диван и письменный стол с креслом, иконы Божией Матери в углу, горящую лампадку, книги на столике под Иконами, знакомые портреты по стенам и опять книги – в шкафах, на полках, на письменном столе. Все как всегда и в то же время новое, милое, дорогое, хотя и десятки раз виденное мною.

Все новости мною рассказаны, и я замолкаю. Нет, нет, мне еще многое хочется рассказать, но я просто боюсь утомить о. Арсения, отнять у него время. Замолкает и он, задумчиво смотря на меня и в то же время куда-то поверх меня, и от этого задумчивого взгляда мне делается не по себе. В памяти всплывает все происшедшее за последнее время, и особенно то, что совершено мною плохого.

И вот именно в этот момент о. Арсений скажет мне: “Зачем? Зачем Вы так обидели человека, мы с Вами христиане, и нам не должно поступать так!”

От ожидания этих слов я и волновался, идя к нему, потому что стыжусь своих поступков: я сделал не так, как он учил. Я, начиная рассказывать, пытался оправдаться, найти извинительные причины, но, слушая сам себя, понимал, что не прав.

Приходил час исповеди, и мне делалось не по себе, о. Арсений становился почти гневен, глаза его темнели, я готов был провалиться сквозь землю от ощущения собственной отвратительности и греховности. Молились мы подолгу, и вместе. Молился он необычно легко, молитва с ним очищала, возвышала и поднимала. Он учил, наставлял, вел по пути веры, и в то же время это был самый

близкий мой друг, с которым мы по-настоящему дружили, говорили обо всем много, и конечно, о главном – о вере и пути верующего. Он много рассказывал о себе, о своей жизни, о людях, с которыми встречался, унес от них что-то хорошее, научился любить человека, молиться, идти к Богу. Отец Арсений бескрайне любил человека, видя в нем образ Божий.

Бывало, после исповеди мы сидели и подолгу разговаривали, и в этих разговорах черпал я знание веры и находил духовные силы.

Я уезжал от него обновленным и от встречи до встречи жил тем, что он мне давал. И мне казалось, что только со мной он был таким особенным и замечательным человеком, но, конечно, это было наивно. Приезжало очень много его духовных детей и друзей, для которых он был тем же духовным отцом и другом, как и для меня, но каждый из нас считал, что только с ним и именно с ним был о. Арсений таким, как я рассказываю. О нем много говорили, рассказывали о чудесах, бывших с ним, и я помню, как в одном из разговоров я спросил об этом о. Арсения. Он сразу погрузился, задумался, потом сказал мне: “Чудесного, чуда? Нет, со мной ничего такого не было, что бы можно назвать чудом. У каждого иерея – исповедующего, причащающего, напутствующего умирающих, ведущего своих детей духовных – бывает много замечательных, с духовной точки зрения, событий, так же много необычного происходит и у каждого верующего человека, но часто мы не можем понять и осознать меру происходящего, раскрыть в них Волю Божию, Его руку, Промысел, Руководство. То, что происходило со мной, или то, что я видел вокруг себя, часто потрясало меня, повергало в трепет, и я начинал отчетливо видеть Волю Господню. Я не раздумывал и не задавал себе вопросов, чудо ли это Господне или результат необычайного стечения обстоятельств в жизни. Я твердо верил и верю, что Господь привел нас к совершившемуся, а следовательно, какими бы путями мы ни шли, во всем была только Его и Его Воля.

И только так понимая совершаемое, человек постигает Господню Волю. Были ли то действия, происходившие вокруг меня, или события, где я сам был участником, – они глубоко поражали меня, и я говорил себе: это чудо, но, сознавая свое ничтожество и несовершенство, понимал, что не мне созерцать чудесное.

В жизни все является чудом, а самым главным – то, что Волею Господней человек живет на земле. Верьте в это!”

И я увидел, что вопрос мой расстроил о. Арсения.

Как-то я спросил о. Арсения: “Отец Арсений! Мы, духовные дети ваши, часто говорим о прозорливости духовных отцов и, нечего греха таить, о том, что и Вы обладаете этим даром, и...”

Отец Арсений резко прервал меня, сказав: “Не продолжайте! Вы плохо знаете, что такое прозорливость. Иерей, постоянно общающийся с людьми, выслушивающий их горести, тяжести жизненные, радости, невольно познает душу человеческую, а если он искренен в любви своей к духовным детям и глубоко внимателен к ним и памятливы, то есть все помнит о них, то невольно начинает видеть, подмечать и ощущать любое движение души верующего, которого он знает и с которым постоянно общается.

Возьмите мать малого ребенка, ведь она все видит и подмечает в его поступках и заранее предугадывает его мысли и действия, потому что это ее ребенок, которого она знает и любит. Так и иерей замечает все в пришедшем к нему человеке и часто безотчетно высказывает пришедшему то, что тот хотел сказать, но это не прозорливость, а духовная наблюдательность, которую имеют многие. Прозорливость – это Дар Божий, который дается избранным, таким, как о. Иоанн Кронштадтский, а не нам, грешным. Закончим этот разговор, он ни к чему”.

Уезжал я всегда от о. Арсения спокойным, радостным, однако расставание с ним расстраивало меня. За несколько дней домик, улица, городок становились родными, а комната о. Арсения была обетованной обителью, но приходилось уезжать. Обнимая о. Арсения, получая прощальное благословение, прощаясь с ним, я что-то терял, но жил ожиданием новой встречи.

ДОЛГИЕ ГОДЫ

Вы просили меня прислать Вам воспоминания об о. Арсени. Я никогда не задумывался, что надо написать воспоминания о человеке, оказавшем на меня огромное влияние, потому что все его действия, поступки, его облик, высказанные им мысли живут, для меня в настоящем, а не в прошлом.

Прочтите! То, что я написал, – это рассказ о жизни трудной, убогой, изломанной, не имевшей вначале внутреннего содержания, но в конце жизни освещенной верой, которую мне принес о. Арсений.

...В камере внутренней тюрьмы мне зачитывали приговор. Жесткие официальные слова и фразы бьют меня, как острые камни... Диверсия, враждебная агитация, шпионаж в пользу

иностранного государства; передал сведения, признан виновным по статье... Слова падают и падают, однотипно, буднично, и вдруг происходит взрыв... “Приговорен к расстрелу”.

Приговор объявлен, а я стою. Кто приговорен к расстрелу? Я, Сергей Николаевич Денисов?

Откуда-то издали опять приходит жесткий голос: “Распишитесь”, – и передо мною появляется бумага, я тупо смотрю, отталкиваю ее и кричу: “Это ложь, ложь, неправда!!”

Трое вошедших спокойно стоят, они привыкли к этим крикам. Один из них нарочито громко говорит: “Можно не расписываться, приговор объявлен в законном порядке. Приведут в исполнение в течение десяти дней, на это время улучшат питание”.

Я сажусь на койку, они уходят.

Мне двадцать пять лет – 1913 года рождения, сейчас 1938 год. Я комсомолец, секретарь обкома комсомола. Я люблю Родину, партию, работу. Я делал все, как требовала партия, Сталин. Я знал, что врагов народа стало особенно много с 1934-35 гг., когда убили Кирова. Я сам всюду выступал, требуя их смерти.

Но причем тут я? Я всегда шел с партией. Почему меня били, требовали признания, а я доказывал следователю, что он ошибается? Потом я понял, что он враг и пробрался в органы. Я требую прокурора, пишу в ЦК, Сталину, но следователь смеется, показывает мне мои письма и еще больше бьет меня.

На очной ставке Яшка Файнберг – второй секретарь обкома комсомола, мой лучший друг, – показал, что я хотел убить Сталина и вовлекал его, Яшку, в свою группу. Вид у Яшки смущенный, и, когда я кричу: “Ты врешь, негодяй!” – у него делается испуганный вид, но он упрямо твердит: “Ты меня вовлекал, вовлекал”, – и с опаской глядит на следователя. Приводят других свидетелей, и они тоже говорят, что я враг.

Проходит день, два, десять, кормят меня так же плохо, как и раньше. Каждый раз, как дверь камеры открывается и входит надзиратель, я жду, что меня поведут на расстрел.

На 12-й день входит надзиратель и бросает слова: “Быстро, с вещами!” “С какими вещами, у меня их нет”, – думаю я. Я собираюсь на расстрел, но сейчас мне уже почему-то безразлично.

В “черном вороне” набито много народу, стоим, тесно прижавшись друг к другу. Везут долго. Трясет. Молчим. Слышатся паровозные гудки. Останавливаемся. “Выходи!” – раздается крик. Кто-то плачет. Соскакиваем. Охрана стоит коридором, моросит нудный дождь. Куда-то ведут. Толкают, бьют прикладами, гонят к товарным вагонам.

“Выходи, мать твою...” – я взбираюсь по настилу из досок, удар прикладом в спину – и я влетаю в полунабитый вагон. Заключенных гонят и гонят, уже трудно стоять. Закрывают дверь. Едем. Два дня не кормят. Где-то за Горьким – узнали случайно – отцепляют наши вагоны, выгоняют из них заключенных, дают воду и какой-то селечной протухшей баланды.

Привозят в этапный лагерь. Опытные заключенные, “зеки”, говорят, что расстрел нам заменили работой в тяжелых лагерях: два года в Магадане, на приисках, потом лесоразработки и специальные лагеря “особого режима”. Узнаем, что началась война, от вновь прибывших заключенных и по тому, что многих из нас в первые дни войны неожиданно расстреляли.

...Кончилась война, пришли 50-е годы. Я уже многое понял и посмотрелся, но все равно пишу и пишу в прокуратуру и в ЦК. Никто не отвечает, и я знаю, что из этих лагерей не выходят.

Опух, отек, сердце отказывает, мне еще только 38 лет, а я совсем старик, на вид мне далеко за 60. Почему я еще живу и сколько еще проживу, мне непонятно, но конец должен быть скоро.

...Я пишу эти записки через 10 лет после выхода из лагеря. Сейчас 1967 год, мне уже 54 года, а на вид все 70 с лишним, в метро даже уступают место, что теперь делают редко.

Работаю, конечно. Лучшие годы моей жизни прошли в лагерях, но это было у многих. Годы, проведенные в лагере, не прошли для меня даром. Я стал верующим.

Три последних года был в лагере вместе с о. Арсением. Присмотрелся к нему, к его жизни, поступкам, действиям, увидел веру его, помощь людям. Разговорился с ним, понял его. Невозможно рассказать, сколько он помогал, поддерживал в трудные минуты, отводил от меня опасности, учил переживать неприятности, находить утешение и силы в молитве.

Сам обездоленный, голодный, больной, непонятно, где он находил силы помогать людям и еще по ночам молиться. Но именно в помощи людям и в беспрестанной молитве черпал он силы для себя и других, это давал ему Господь.

Вышел я из лагеря раньше о. Арсения, но разыскал его и встретился только в 1959 году и вот живу теперь от встречи до встречи с ним.

Мне кажется, что большего об о. Арсении не скажешь: Великий Молитвенник у Бога и помощник людям, спасший и помогший множеству страждущих. Молитвой его живу сейчас и буду жить.

Когда он говорит с человеком, то самые простые слова в его устах приобретают другой смысл, очищают, успокаивают и зовут к Богу.

ПИСЬМА

ОТРЫВОК ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О. С.

...Приезжала я часто, подолгу жила около него и поэтому хорошо знала его жизнь.

Писем приходило к о. Арсению много, они приносили радость людей, волнение, страдание, тоску, горе, страстную мольбу о помощи, боль сердца, сомнение или чувство глубокой веры. В каждом письме жил человек, в той или иной степени отражалась его душа. Одни люди открывали жизнь полностью и не находили нужным щадить себя, другие в отрывочных и подчас неоконченных фразах пытались раскрыть душу, третьи только напоминали о себе, глубоко уверенные, что о. Арсений знает, что волнует писавшего и что сейчас нужно предпринять.

Письма редко приходили почтой, в основном, писались на московские адреса знакомым и привозились оказаниями приезжавшими духовными детьми и друзьями и передавались Надежде Петровне. Письма шли из самых разных городов, потому что многие друзья о. Арсения, приобретенные им в ссылках и лагерях, были разбросаны по всей стране, от Владивостока до Калининграда. Каждое письмо читалось внимательно, и писавший знал, что обязательно получит ответ, от содержания которого многое зависело в жизни.

Часто и подолгу живя у о. Арсения и невольно наблюдая, я видела, что, читая письма, он мгновенно внутренним взором охватывал все, что когда-то было связано с жизнью человека, писавшего ему. И этот человек со всей его прошлой и настоящей жизнью, казалось, сейчас же входил в комнату, становился рядом с о. Арсением и продолжал рассказывать о себе даже и то, что не высказал в своем письме.

Прочтя письмо, задумчивый и сосредоточенный, сидел о. Арсений за столом, временами рассеянно вглядываясь в качающиеся за окном ветви деревьев, и, казалось, слушал невидимого собеседника, рассказывающего ему о своих горестях и бедах.

Отрешившись от окружающего, писал он ответные письма, временами осеняя себя крестным знаменем, не вставая с кресла, молился и опять продолжал писать.

Для о. Арсения не было простых писем, все они были важными, так как за каждым письмом видел он мечущуюся и страждущую душу человека.

Иногда о. Арсений по нескольку раз начинал писать ответ, но откладывал написанное и снова писал, видимо, что-то заставляло его беспокоиться и сомневаться. Бывало, он подолгу задумчиво сидел в кресле, комнату слабо освещали лампадки, горевшие перед иконами, круг света от настольной лампы вырывал из темноты кусок стола с лежавшим на нем недописанным письмом. В эти минуты лицо о. Арсения становилось усталым и грустным, открытые глаза смотрели на мерцающее пламя лампад, но он не видел ни своей комнаты, ни письменного стола с недописанным письмом, ни меня, вошедшую в комнату. Он видел сейчас только человека, который писал о своих бедах и горе, он был с ним всей душой и, молясь, думал, как вымолить помощь у Господа этому страждущему и заблудшему. Весь охваченный болью за человека, он молился и иногда плакал. Молился за человека, терпевшего духовное или физическое бедствие, которому нужна была помощь. И в этот момент, уйдя в молитву, отрешившись от окружающего, он стоял рядом со страждущим, душой своей ощущая его страдания, волнения, заблуждения, и принимал решение, беря на себя всю ответственность за душу, жизнь и поступки человека.

Наступал момент, когда лицо о. Арсения прояснялось, светлело, он вставал, распрямлялся, подходил к иконам, склонялся в поклонах, осеняя себя несколько раз крестным знаменем, прикладывался к образу Владимирской или Казанской Божией Матери и спокойно садился и заканчивал письмо.

Смотря в эти минуты на о. Арсения, я понимала, что это была тяжелая борьба добра и любви со злом и мраком за человека, которому он писал.

Но бывало, ответ не получался, и тогда он глубоко страдал, что-то беспокоило его и не удовлетворяло. Отец Арсений оставлял письмо и долго-долго молился и в молитве находил ответ.

Он брал на свою душу страдания и тяготы духовных детей и нес их во имя Бога, Любви, Людей, а мы, отдавая ему грехи, не видели, что перекладываем на него всю тяжесть, даже не думали об этом.

Каждый из приходивших к нему думал, что только его здесь Больше всех любят и лучше всех к нему относятся, – такова была неисчерпаемая сила любви к людям, дарованная Богом о. Арсению.

Своей любовью к людям вымаливал он у Господа и Матери Божией помощь, прощение, утешение многим и многим. Безжалостны мы были к нему. Сколько писали ненужного, вздорного,

необдуманного, заставляли его страдать за нас, но скольких из нас он спас силой своей молитвы, скольким отдал часть своей жизни, здоровья, тепла! Можно ли сосчитать дни и ночи, что он простоял за нас на молитве, и какой радостью для него было то, что он облегчил нам жизнь, утешил, отвел милостью Божией беду, наставил на путь веры, добра и любви, спас колеблющегося. Он был богат любовью, ее хватало на всех приходящих, но не просто пришла эта любовь к о. Арсению, не просто. Долгими годами внутренней работы, беспрестанной молитвой к Господу и Матери Божией, тяжкими жизненными и лагерными испытаниями, подражанием отцам нашей Церкви, наставлением и заимствованием опыта людей глубокой веры достиг о. Арсений великого дара любви к людям. Милость Господа была с ним!

...Однажды я застала о. Арсения за писанием письма, которое он откладывал несколько раз, и, видимо, то, что ответ не получался, беспокоило его. Благословив меня, он сказал: “Простите, не могу говорить с Вами. Расстроен! Наказал Господь: не могу написать письмо, а так нужно ответить, подождите!” Подошел к иконам и стал молиться. Я села в кресло. Молился он долго. Кончив, сел и начал писать. Написав страницу, положил ручку и задумался. Я забылась и очнулась, услышав слова о. Арсения, обращенные ко мне: “Раздваиваюсь временами. Человек и иерей расходятся во мне, а этого не должно быть. Вот и сейчас долг иерея подсказывает одно, а чувства человеческие – другое. Труден и многострадален путь человека. Понять себя, оценить свои силы может не всякий, и духовному отцу надо взвесить, что может и на что способен его духовный сын или дочь, и вовремя указать правильный путь.

Ошибся духовный отец – и погубил человека, душу его. Мудрствовать или полагаться на свое разумение духовному отцу пагубно, недопустимо. Необходимо опираться только и только на помощь Божию, находя это в молитве и только в молитве. Вот сейчас получил письмо, в котором очень хороший человек, проживший сложную, в житейском понимании красивую жизнь и в конце концов победивший себя и пошедший по пути глубокой и истинной веры, просит и молит меня благословить его на путь священства.

Путь иерейства, путь истинного священства всегда был труден, а теперь в особенности. Это не одно служение в храме, как часто считают, это трудный и неизмеримо тяжелый подвиг, когда должно отречься от себя во имя других людей. Ты должен принять в свои руки души многих, а потом вести их. Путь истинного священства труден, на него не каждый способен. Многим же думается, что иереем настоящим быть просто. Да! Просто, если ты не отдал всего себя людям, но трудно, когда ты принадлежишь им.

Тяжело писать мне, чтобы этот человек не шел в священники, так он жаждет этого, но это не его путь. Не приняв иерейства, больше принесет людям добра, но люди, окружающие его, советуют стать ему иереем, видя, что он прекрасной души человек, – и, уже не обращаясь ко мне, сказал, подойдя к иконам: – Верую, Господи, что поможешь ему, верую!” – и стал молиться.

Помню, приходили письма, читая которые он радовался и возносил благодарственные молитвы. Иногда, прочтя письмо, радовался, словно ребенок, молился, благодаря Матерь Божию и Господа.

Я много писала о. Арсению, и часто в письмах моих было много мелкого и ненужного, и только увидев, как он относится к нашим письмам, поняла всю нашу жестокость и безжалостность к нему.

В свои ответы о. Арсений вкладывал душу, он отрывал частицу ее и передавал человеку. Получая от него письмо, ты вдруг со страхом и удивлением узнавал о себе то, что еще еле-еле определилось в тебе, о чем ты никому и ничего не говорил, а только отрывочно думал и даже старался скрыть от самого себя, а даваемый им совет оказывался единственно правильным решением.

Особенностью о. Арсения было то, что он никогда ничего не требовал, а только мягко и вдумчиво советовал тебе, а ты сам делал выбор, но приходившие к нему как-то само собой поступали именно так, как говорил он, ибо все совершалось во имя Божие. Я знаю, только два или три раза он требовал выполнения данных им советов. Память его была неисчерпаема, помнил он сотни имен, адресов своих духовных детей, помнил всю их жизнь, все, что они говорили и рассказывали о себе, помнил родных их. Он помнил и знал все. Если кто-либо не писал ему, то беспокоился и сам писал этому человеку.

Иногда, служа у себя в комнате обедню, вдруг начинал поминать новопреставленного раба Сергея или болящую Антонину, а дня через три мы узнавали из писем или от приезжих, что умер Сергей Георгиевич, или тяжело больна Антонина, или Антонина приезжала и говорила о болезни. Что это было? Прозорливость, знание совершившегося? Мы никогда не спрашивали об этом о. Арсения, но так было.

Беседы, исповеди, разговоры с ним надолго оставались в памяти. Можно было не видеть о. Арсения месяц, полгода и, приехав к нему, начать рассказывать или исповедоваться, и ты вдруг начинал понимать, что он уже все давно о тебе знает, знает твои поступки, ошибки, грехи.

Бывало, рассказываешь о себе во время исповеди, еще только начинаешь фразу, а он уже, тихо перебивая тебя, полностью ответит на твой невысказанный вопрос или выскажет свое мнение о твоём поступке. Случалось, что только поздороваешься, зайдешь в комнату, а он посмотрит на тебя и скажет: “Не ожидал я ссоры с братом из-за мамы, не ожидал. Вы к матери ближе, чем он, и должны понимать”. Стоишь перед ним, готовая провалиться сквозь землю. Так бывало со всеми.

Многие из нас замечали, что у о. Арсения была особая привязанность к “лагерникам”, как мы заглазно называли тех его духовных детей, которые сдружились с ним в лагерях и ссылках. В одном из разговоров я как-то сказала об этом о. Арсению, сказала в виде укора. Слушая меня, о. Арсений задумался на минуту, а потом сказал: “Вы правы. Я, действительно, привязан ко многим из них. Лагерь показал мне жизнь и людей по-другому, дал мне возможность понять промысел, и милость Божию, и людей иначе, чем я когда-то знал их в условиях воли.

Все обнажено, обострено до предела, мера страданий человеческих доведена до черты, ты обречен на смерть, медленную и мучительную, и все это сознают. И вот в это время мучительного долговременного умирания найти в себе человека, сохранить веру, помогать другим очень трудно, но были такие люди, много было таких, которые именно в лагерях на грани мучительной смерти находили в себе столько духовных сил, что поражали меня. Эти люди научили меня в условиях лагеря понимать и находить Бога, показали великую силу веры, значение добра, человечности и духовного подвига. Они – эти люди – спасли меня от смерти, удержали от сомнений и уныния и дали возможность выжить в условиях лагеря, научили молиться среди ругани, драк и разговоров. Да, я бесконечно благодарен моим лагерным друзьям, благодарен Господу и Матери Божией, пославшим их мне. Встречаясь и вспоминая этих людей, я каждый раз вижу то большое, что сделали они для меня и многих, многих других. Сделали во имя Господа и Человека. Я их вечный должник, вот почему я так привязан к ним”.

Сказал и задумался. Вспоминая жизнь о. Арсения в лагере, думала, скольких людей он сам спас от смерти и привел к вере.

...Во время болезни и в последний год жизни о. Арсений сильно ослабел, я читала ему присланные письма и писала под диктовку ответы. Меня поражала его духовная мудрость. Читая ему письма, полученные от духовных детей, я вначале удивлялась, что ответы часто совершенно не совпадали с вопросами письма, и думала, что о. Арсений ошибается, и два-три раза пыталась его поправить. Отец Арсений сразу сбивался и не мог дальше диктовать ответ, так что приходилось откладывать письмо. Потом я поняла, что просто ошибалась. Приходили ответные письма, в них люди благодарили о. Арсения за наставления и советы, которых, как мне казалось, они не просили. Вот тут-то я и поняла всю глубину его прозорливости, мудрости и понимания души человеческой.

Он был необычайно мягок в обращении с людьми, но непоколебимо тверд в избранном пути. Молитва и жизнь для людей были основой его подвижничества.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПРОШЛОГО О МИХАИЛЕ

Здоровье и силы возвращались медленно. За три года, прошедших с момента освобождения, о. Арсений изменился мало. Выше среднего роста, худощавый, всегда державшийся прямо, внешне он производил впечатление здорового человека, а приветливость и внимательность к собеседнику заставляли тебя забывать, что он тяжело болен и устал.

Только глаза его часто становились грустными и печальными, и временами казалось, что горе и страдания многих людей, прошедших перед его взором, продолжали стоять перед ним. Мы знали, что встреченных им людей он никогда не забывал. Там, в лагере “особого режима”, он не замечал своих болезней, хотя казалось, что именно там они должны были особенно сказываться. Здесь, на воле, болезни обострились: суставный ревматизм, жестокая, внезапно приходящая стенокардия часто прерывали течение размеренной жизни и приковывали о. Арсения к постели. Годы и болезни наступали неумолимо, но о. Арсений не замечал ни того, ни другого. Болезни он скрывал от окружающих, и только внимательные глаза врача Ирины подмечали его заболевания, и она, не слушая возражений, укладывала его в постель. Но это мало изменяло образ его жизни. Лежа, он говорил с приезжими друзьями, писал или диктовал ответы на письма. Писем приходило много. Ежедневно кто-нибудь приезжал. Хорошо, если это был один человек, бывали дни, особенно выходные, когда приезжало до 10-ти человек. С каждым надо было поговорить, ответить на вопросы, вдуматься в его жизнь и дать совет. Без молитвы о. Арсений не мог жить, а на нее не оставалось

времени, поэтому молился он, в основном, ночью, сокращая и без того короткий промежуток времени, отведенный для сна.

Друзья и духовные дети любили его, но, приезжая или присылая письмо на нескольких страницах, каждый думал, что он только один у о. Арсения, а в результате все это складывалось в огромную, непосильную работу для тяжелобольного человека, и, хотя каждый из нас жалел и старался сделать ему что-то хорошее и приятное, все вместе губили и утомляли его.

Иногда возникала необходимость в поездке о. Арсения в другой город для неотложной встречи с духовными детьми.

В конце 1960 года о. Арсений решил выехать в Ленинград для розыска и встречи с теми двумя людьми, адреса и имена которых назвал умирающий Михаил (см. воспоминания о Михаиле). Сопровождала его я. Приехали рано утром. Отец Арсений не захотел зайти к знакомым, а прямо с вокзала поехал по адресу, когда-то данному Михаилом. Я отговаривала и предлагала съездить самой узнать, живут ли они еще по этим адресам, но он ответил: “Не надо, поедemте. Они не уехали”.

Вышли на вокзальную площадь. Было шумно и, как всегда, когда приезжаешь в новый город, запутанно и бестолково. Отец Арсений не захотел ехать на такси, а, спросив, какой троллейбус идет по Невскому проспекту, заторопил меня к остановке. Ехали молча. Отец Арсений с особым вниманием рассматривал людей, дома, улицы. Сошли где-то в середине Невского и пошли по улице, отходящей от него в сторону. Дом был большой, шестизэтажный, светлый, с двумя широкими подъездами, у одного из которых висело несколько бронзовых и гранитных досок, говоривших, что когда-то здесь жили известные всему миру ученые. Поднялись на лифте на четвертый этаж. На входной квартирной двери блестела медная табличка с фамилией разыскиваемого нами человека. Я позвонила. Довольно быстро открылась дверь, и женщина лет сорока пяти, выйдя на площадку, спросила: “Вам кого?” Отец Арсений назвал фамилию, имя и отчество хозяина квартиры. Вытирая руки о передник, женщина приветливо сказала: “Проходите”. Мы вошли в переднюю. “Подождите, он сейчас выйдет, – и, прикрыв дверь в одну из комнат, негромко сказала: – Сергей Сергеевич! К Вам пришли”. И почти тотчас в переднюю вышел высокий человек, с красивым удлинённым лицом, окаймленным черной бородой. Большие черные глаза его поражали живостью и пронизательностью. Окинув нас взглядом, он спросил довольно резко: “Чем могу служить?” – “Я по одному давнему поручению пришел к Вам”, – ответил о. Арсений. “Очень рад, очень рад. Прошу, раздевайтесь”. Мы разделлись, втиснув наши пальто на вешалку, и вошли в большую комнату, из которой перед этим только что вышел Сергей Сергеевич.

Огромный письменный стол стоял у окна и занимал четверть комнаты. Старинная мебель стояла у стен, сплошь завешанных картинами вперемежку со старинными иконами. Тяжелые высокие шкафы были заставлены книгами. Книги заполняли стол и лежали на некоторых креслах. Середину комнаты занимал небольшой четырехугольный стол, покрытый белой скатертью. Вся обстановка комнаты и ее хозяин как-то особенно врезались мне в память и подчеркивали профессию Сергея Сергеевича. “Чем могу служить?” – спросил Сергей Сергеевич и пригласил нас садиться. Женщина, открывшая нам дверь, также вошла в комнату и остановилась около письменного стола.

“В 1952 году было угодно Богу встретить мне человека, Михаила Терпугова. Встретился с ним в лагере “особого режима”, из которого сам вышел только в 1958 г. Исповедуясь, Михаил назвал мне Вашу фамилию и адрес и просил обязательно встретиться с Вами, сказав мне, что обоим нам это необходимо. Просил не забывать его в молитвах Ваших и рассказать о последних минутах его жизни”.

Сергей Сергеевич почти приподнялся с кресла, весь подался вперед, сжал подлокотники, при этом глаза его стали еще темнее и в них промелькнуло что-то тревожное. Несколько мгновений смотрел он неподвижно на о. Арсения, потом резко встал и, отчеканивая каждое слово, произнес: “Простите, но не ко мне Вы. Ошиблись, вероятно, адресом”.

Женщина, стоявшая около стола, шагнула вперед и, издав что-то похожее на стон, проговорила со слезами в голосе: “Сережа!” – “Оставь, Лиза! Да! Да! Ошиблись. Пришли не по тому адресу. Извините! Не задерживаю! Ошибка у Вас произошла, государи мои милостивые”, – произнес взволнованно Сергей Сергеевич. И в произнесенной им фразе чувствовалось, что слова “государи мои милостивые” звучали насмешкой. Мы поднялись и заторопились к выходу. Все молчали. Я оделась и стала подавать пальто о. Арсению. Женщина оставалась стоять в комнате, но потом быстро подбежала к нам и, схватив о. Арсения за руку, сказала: “Скажите, кто Вы? Ваше имя?” – “Петр Андреевич Стрельцов – иеромонах Арсений, – и также назвал мое имя, – приехали из Р... Специально к Вам!”

“Подождите! Не уходите, вернитесь, сядьте! Подождите 20 минут, не уходите. Не сердись, Сережа!” – И женщина бросилась назад в комнату и стала куда-то звонить по телефону.

Мы растерянно стояли в передней. Из комнаты слышались возгласы: “Это я, Лиза! Прошу тебя, немедленно приходи. Понимаешь, немедленно! Бросай все. Очень, очень надо! Все узнаешь, поможешь”. Сергей Сергеевич угрюмо стоял около нас. Кончив говорить, женщина вошла в переднюю и сказала: “Прошу Вас, разденьтесь и подождите минут 20, может быть, я Вам чем-нибудь помогу. Сережа! Не сердись, сейчас все разъяснится”.

Мы прошли в комнату и сели за стол, покрытый скатертью, а Сергей Сергеевич беспомощно и рассеянно сел за письменный стол. Женщина побежала на кухню, и минут через пять на столе стоял чайник, чашки и что-то из печенья. Некоторое время все молчали, было тяжело и неудобно. Чтобы разрядить обстановку, я заговорила о картинах, висевших на стене. Сергей Сергеевич, видимо пересиливая себя, рассказал нам о двух или трех пейзажах, назвав имена художников, но о. Арсений, встав, подошел к одной из икон Божией Матери и стал внимательно рассматривать, а, рассмотрев, сказал: “Прекрасная икона, такой иконописный и в то же время божественно-человеческий лик Матери Божией редко удается увидеть на иконах”.

Сереже тоже нравится эта икона, но он не может все еще определить точно время и место ее написания. Вы понимаете в иконах?”

“Должен понимать”, – ответил о. Арсений и, еще раз подойдя к иконе, стал ее рассматривать. “Разрешите снять и взять в руки”, – обратился он к Сергею Сергеевичу, тот недовольно поморщился, подошел к иконе, снял ее со стены и стал показывать о. Арсению. Отец Арсений протянул к иконе руки, Сергей Сергеевич отстранился, видимо, не желая, чтобы незнакомый человек брал икону, но, взглянув на о. Арсения, сразу бережно передал ему ее.

Я и стоявшая женщина с удивлением смотрели на о. Арсения. Протянутые им руки, наклон головы и облик всей его фигуры были так молитвенны, благостны, что казалось, брал он “Пречистую Чашу с Кровью и Телом Спасителя”, и это, конечно, понял и увидел Сергей Сергеевич.

Держа икону в руках и подойдя с ней к окну, бережно осматривал ее о. Арсений. Взгляд его, строгий и молитвенный, долго и пытливо задерживался на изображении; наклоня икону к свету, он долго всматривался в лик, медленно повернул обратной стороной, осмотрел врез шпонки, а потом торцы, но не возвратил икону Сергею Сергеевичу, а положил ее аккуратно на стол.

Свет из окон падал на белую скатерть и лежащую икону, и мне захотелось вскрикнуть – таким несказанно дивным оказался вдруг лик Божией Матери. Там, на стене, этого не было видно. На руке Матери Божией свободно сидел Младенец, и Она, Мать, прижимала Его к Себе и смотрела взором, полным нежности и любви на Младенца Своего, и в то же время в глазах Ее лежала затаенная скорбь, ибо знала участь Сына Своего и знала, для чего должна была растить Его. Знала о предстоящей крестной Его смерти. И казалось, материнская любовь, и божественное знание, и предначертание жизни Сына и Его страданий жили вместе. Весь лик был полон материнского счастья и в то же время скорбен.

Отец Арсений молчал, а Сергей Сергеевич смотрел на икону, полный восторга. Он увидел Ее такой впервые.

Нежная кружевная вязь золота, разбежавшаяся по одежде Матери и Младенца, подчеркивала и усиливала впечатление красоты и неземного величия. В мягкой полуулыбке Матери была милость, и лицо говорило: “Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные. Придите, и Я успокою вас!”

Оторвав глаза от иконы, я взглянула на Сергея Сергеевича, он смотрел, пораженный, на лежащую на скатерти икону, он не видел ее такой раньше. Медленно поднимая голову, он посмотрел на о. Арсения, и я уже поняла, что он верит ему и хочет, чтобы о. Арсений оказался именно тем человеком, который знал Михаила.

Отец Арсений распрямился и, смотря на икону, произнес: “Разве важно время и место написания, разве надо знать мастера – это нужно искусствоведам. Вы взгляните на лики Младенца и Матери Божией, и, если Вы верующий, поймете, что один человек, без помощи Божией, не мог бы написать такую икону. Взгляните!”

Когда писана? В начале XVII века в Великом Устюге. Мастер? Знает Бог один, который вдохновлял иконописца. Доска очень старая и много раз записанная, а эта запись реставрировалась, но очень давно. Все это неважно, в этой иконе живет Дух Божий. Взгляните! Каким беспредельным душевным миролюбием веет от ликов младенца и Матери Божией. Иконописец был полон любви и веры Христовой, и свой великий талант он умножил верой и любовью, и поэтому лик Богоматери стал духовно-вещественен, он утешает всех, кто изнемогает в скорби и печали, кто обездолен, наг, сир, находится в узах, кто теряет веру в людскую справедливость, кто немощен. Он ободряет людей этих, он вселяет в них надежду, напоминает им, что есть другая жизнь, очищенная от скверны и страха, от крови и злобы мира сего. Лик Матери Божией зовет нас к Себе, дает нам надежду на спасение”.

В передней раздался звонок. Елизавета Андреевна – так нам представил ее потом Сергей Сергеевич – кинулась открывать дверь. В передней разговор велся шепотом. Говорили две женщины, слышалось, что снимали пальто. Сергей Сергеевич напряженно смотрел на дверь, весь вид его говорил, что для него будет ужасно, если о. Арсений окажется не тем человеком, за которого он несколько минут тому назад принял его.

Дверь в комнату порывисто открылась, вошла Елизавета Андреевна и за ней женщина, которая, взглянув на о. Арсения, бросилась к нему: “Отец Арсений! Отец Арсений! Как же Вы не сообщили о своем приезде! Господи! Как хорошо, что Вы приехали. Лиза говорит, что Сергей Сергеевич Вас за шпика принял! Я о Вас Лизе рассказывала, вот она и догадалась позвонить мне. Давно хотела Сергея с Лизой к Вам привезти, а Вы сами приехали. Господи! Это же замечательно. Благословите!” И все сразу переменялось. Отец Арсений прожил у Сергея Сергеевича четыре дня. Второго знакомого Михаила я разыскала и пригласила к о. Арсению.

На обратном пути о. Арсений сказал мне: “Неисповедимы пути Господни! Сколько прекрасного, нужного дала мне эта встреча”. Потом в течение многих лет встречала я у о. Арсения Сергея Сергеевича, Лизу и третьего ленинградского друга инока Михаила.

1967 г.

ПОМНЮ

...Я помню! Я никогда не смогу забыть лагеря “особого режима”. Даже теперь, через много лет, вся обстановка лагеря и жизнь в нем постоянно возникают передо мною. Вспоминается все до мельчайших подробностей, а ночью все это переходит в повторяющиеся кошмары.

Арест, непрерывные допросы с применением физического воздействия, тюремная камера, долгий пеший переход в колонне, окруженной конвойными с автоматами и сторожевыми овчарками, морозящий осенний дождь, крики охраны перед началом движения: “Два шага в сторону – стрельба без предупреждения!” Все это было пугающим, страшным, но постоянно жила надежда на какое-то лучшее будущее. И вот, наконец, лагерь особо усиленного режима, и я только в нем понял, что все предыдущее было еще не самым страшным. Восемь месяцев, прожитые в “особом”, оказались тяжелейшими, непереносимыми испытаниями.

Ночь. Барак заперт. Вдоль коридора, образованного уходящими в темноту нарами, тускло светят электрические лампочки, то почти затухая, то наливаясь красноватым, еле тлеющим огнем. Полутемно, только сквозь забитые снегом и льдом окна вдруг пробьется скользкий луч прожектора, захватит кусок стены или нар и мгновенно исчезнет. За стенами барака 30-ти градусный мороз, ветер бьется в окна, рыскает, стонет и плачет на тысячу ладов. В бараке люди, их много, но ты один, совсем один, чужой для всех, и для тебя все чужие. Ночь, у которой нет конца, охватывает тебя. Звуки постепенно смолкают, и ты начинаешь прислушиваться, как тишина окружает, подступая к нарам, стенам, окнам, как она выходит из темноты и становится рядом с тобой, и тогда ужас охватывает все твое существо, и сознание беспомощности и безысходности не покидают тебя всю ночь. В тишине отчетливо возникало прошлое, безысходное настоящее и будущее, и даже отдельные бредовые крики, стоны и ругань спящих заключенных не отгоняли тишины, а еще более подчеркивали твою отрешенность от жизни. Временами создавалось впечатление, что ты мог бы тронуть руками окружающую ночную тишину, облепившую твои мысли тоской и страхом. Барак молчал. Ушедший день вспоминался как тяжелый, давящий кошмар. Смерть все время стояла рядом с тобой, сопровождаемая побоями, унижением, голодом, осквернением и унижением человеческой души.

“В карцер тебя, гнида! На расстрел пошлю!” – с искаженным от злобы лицом кричало лагерное начальство. “Убью, пришибу!” – ежеминутно орали уголовники, и это были не пустые угрозы, а реальные действия, совершаемые ежечасно перед глазами. Ночь не возвращала сил, она истомляла, заставляла страдать больше, чем ушедший тяжелый день. Заключенный “особого” жил без срока, один срок кончался – добавляли неведомо за что новый, и так, пока не умрешь. Надеяться не на что. Сотни дней, каждый из которых прожит на грани смерти и похож один на другой.

...Перевели меня в новый барак. На четвертый день замечаю, идя к парашам, недалеко от входа в барак человека, постоянно стоящего около своих нар. Что он делает ночью и стоя? Когда же спит? Случайно узнаю, что этот заключенный молится. Иногда уголовник, проходя мимо старика, скажет: “Шаманишь, поп?”

Все равно мы должны здесь сдохнуть, а этот еще молится. Зачем? Для чего молитва? Там, на воле, до лагеря я слышал, что есть верующие и их ссылают, потому что они борются против власти. У нас в семье религия и суеверие считались признаком отсталости, некультурности. Что может дать человеку вера вообще, и во что можно верить здесь, я лагере: “особого режима”, где все мы должны

обязательно погибнуть? Отчаяние все сильнее охватывало меня, жить не хватало сил. Я решил умереть. Для родных я давно уже умер, в Москве на их запрос, вероятно, уже дан ответ: “Не числится”. Решение принято: так жить нельзя. Я хочу умереть не тогда, когда захочет охрана или уголовники, добьет мороз или голод. Я хочу умереть сейчас, теперь. Отмучился – и конец. Может быть, это трусость? Нет, необходимость. Бороться за жизнь можно тогда, когда есть надежда. В “особом” нет этой надежды – впереди мученическая смерть. Ночью я иду к парашам, там выступает балка, она уже испытана многими. Веревку я украл на работах, обмотал вокруг себя и пронес. Скорее кончать, а потом меня не будет – и хорошо.

Иду по коридорам между нар, мимо старика. Он стоит и молится по-прежнему. Кругом спят. Старик, как всегда, ничего не замечает, он целиком ушел в себя. Хочу быстро пройти и кончить. Иду, но старик вдруг оборачивается, шагает ко мне в проход между нарами, берет за руку и говорит: “Садитесь! Вы не один здесь, нас таких много, но с нами Бог!”

Я сажусь, а он говорит тихо, спокойно, проникновенно и доброжелательно. Слушаю старика и вдруг начинаю полупшепотом отвечать ему. Сейчас я ненавижу его, он мешает мне, это не его дело, как я распоряджусь со своей жизнью. Но он говорит о моей жизни и почему-то знает ее, знает настолько подробно, что это пугает. Откуда он может знать?

Разговор его спокоен. Да! Он понимает – мне трудно. Я болен, истощен, оскорбления, унижения, голод страшны, но все это можно победить и надо обязательно победить, и если я захочу, то победа останется за мной.

Я озлобленно отвечаю, оскорбляю, стараюсь уйти, а он, сжимая мне руку, тихо и спокойно говорит. Прерываю его, но он продолжает говорить о жизни, о том, что человек не имеет права сам уничтожать ее, а должен сделать все, чтобы сохранить. И вот наступает минута, когда я уже слушаю старика и начинаю отчетливо понимать, что он неведомыми путями уже подал мне руку помощи. Ничего не изменилось для меня в “особом”, но я уже не одинок.

Он не навязывает мне своего Бога, он только упомянул о Нем. Сейчас старик просто помогает мне, и я вижу и понимаю, что он имеет какую-то особую внутреннюю силу, которой у меня нет. Я начинаю чувствовать, что этот человек берет на себя все мое безысходное горе и тяжесть лагерной жизни, он понесет это вместе со мной, и я не иду больше к балке и навсегда остаюсь с этим стариком. Потом я узнаю, что он совсем не старик, а просто прожил несколько лет в “особом” и изможден до последней степени. Одни зовут его “Петр Андреевич”, другие “отец Арсений”, и это имя, образ и жизнь его забыть никогда нельзя.

Отец Арсений открыл новую жизнь, привел к Богу, заново создал мое внутреннее “я”.

Поэтому хочу рассказать о нем самое главное, самое основное. Говорить о нем можно бесконечно, дела его беспредельны, и имя им – Господь и Любовь, творимая во имя Бога, ради людей. Помню его слова: “Каждый человек что-то должен оставить в жизни: построенный своими руками дом, посаженное дерево, написанную книгу – и все это необходимо совершить не для себя, а для человека. Люди будут смотреть на возвращенное тобою дерево или сделанную вещь, и в эти минуты ты снова будешь жить, так как принесешь им радость, и, вспомнив тебя, они призовут Господне благословение. Неважно, что именно делаешь, важно – к чему ты прикасался, что меняло форму, становилось лучше, чем было раньше, чтобы в этом новом оставалась частица тебя самого, и все совершалось бы во имя Господа и любви к людям”. “Но самое главное, – говорил о. Арсений, – в любом своем делании помогать человеку, облегчать его страдания, молиться за него”.

Так поступал о. Арсений и учил тех, кто приходил к нему. Он отдавал самое лучшее, самое сокровенное тепло своей души, веру, опыт исповедания веры, учил молиться и разжигал в соприкасающемся с ним человеке искру Божественного. Кто из знающих его забудет дела, совершенные им? Сколько людей пришло к нему и унесло с собой все это, и сколько радости, умиротворения и спокойствия взяли мы у о. Арсения!

Я пережил все это сам, я видел, как на моих глазах перерождались, созидались и обновлялись души людей, и люди уходили верующими, унося с собой тепло, взятое у него. Вспоминая прошедшее и видя свое настоящее, я и сам начинал передавать людям Свет Веры, любовь и доброту, полученные от о. Арсения.

Много людей, живших с ним рядом, ушло из жизни, но они уходили уже не озлобленными и ожесточенными, а озаренными и освященными верой в Бога, и прошедшая мучительная жизнь не казалось им страшным кошмаром, а воспринималась как неизбежное испытание, как путь к Богу.

И часто, перед тем как уйти из жизни, эти люди сами успевали осветить своими делами путь другим. Если же человек встречался с о. Арсением в свой последний смертный час, то и тогда он облегчал его страдания, и уходил этот человек со светлой, успокоенной душой. Дар души, данный о. Арсению Господом, был так велик и приумножен трудами и жизнью, что, щедро раздавая людям

свое богатство, этот человек не беднел, а только увеличивал его, сам не ведая того. Когда он говорил, то ты сам отчетливо понимал, что он знает о тебе больше, чем ты сам. Он знал, что будет с тобой. Глаза его смотрели открыто, внимательно, ласково. Смотри в них, ты начинал черпать силы и спокойствие, а когда он говорил, голос его убеждал, и человек верил ему и убеждался потом, что он прав.

Он был мужественный и сильный во всем, он ничего не боялся в жизни. Бог, Бог и Бог был его знаменем, силой, прибежищем и упованием, и с этим он шел среди тягот, мучений, страданий.

В монастыре ему дали имя Арсений, что значит мужественный, и это было символично.

Я вышел из лагеря на несколько лет раньше о. Арсения, много писал ему, а после освобождения разыскал и встретился с ним в старинном русском городке.

Небольшой домик, комната, где он прожил последние годы своей жизни, не изгладятся из моей памяти. Сколько радостных дней и часов было проведено здесь, разве можно когда-нибудь забыть!

Вы входили в комнату о. Арсения, и первое, что видели, – это иконы Владимирской и Казанской Божией Матери, Нерукотворный Спас, Николая Угодника и Иоанна Богослова. Иконы были древнего письма, необычной тонкой работы, перед ними постоянно горели две лампадки: красная и зеленая, стоял хрустальный стакан, в котором всегда было несколько живых цветов. Здесь же, на столике, покрытом белой скатертью, лежали: Евангелие, Псалтирь, Служебник и очередная Минея, на письменном столе, стоявшем у окна, лежали книги – богословские, по искусству и древней архитектуре, стихи современных и старых поэтов, технические труды, брошюры и журналы.

У одной из стен стоял шкаф, забитый книгами, у другой стены располагался диван, на котором о. Арсений отдыхал днем и спал ночью. Три удобных старинных кресла дополняли обстановку, на стенах висело несколько картин, подаренных известными художниками, с которыми дружил о. Арсений. Почти все картины изображали природу, и только на одной была написана женщина на фоне лагерного барака. Красивое и привлекательное лицо было изможденным, усталым и почти серым от страданий, и только в глазах жили убежденность, сила и негибкая воля. Портрет был написан до пояса. Фоном картины служил серый барак, на женщине была серо-зеленая телогрейка, коричневая мягкая шапка-ушанка. Все это создавало впечатление безысходного страдания человека, но стоило только взглянуть в глаза, и ты сразу видел, что человек жив; дух его не сломлен, он живет, несмотря на страдания, ожидание смерти, и ты понимал, что женщина никогда не согнетса, не сдастся, не отречется. Сейчас она немощна, физически раздавлена, но дух Божий живет в ней и никогда не умрет, и глаза, смотрящие с портрета, рассказывали об этом. Портрет писал большой художник, друг о. Арсения.

Кого изображал портрет, мы не знали, но было известно, что это была духовная дочь владыки Макария, погибшая в лагере.

Вернувшись из лагеря, о. Арсений не стал служить в церкви. Первые месяцы после выхода из лагеря жил уединенно, но потом центром его жизни стала большая духовная семья, разбросанная по разным местам Советского Союза.

Люди приезжали, писали (эта фраза ошибочна, писали очень много, но не в г. Р., а московским духовным детям, привозившим полученные письма о. Арсению, в среднем в день получалось 18-20 писем. – От составителей). Приезжали каждый день не менее одного-двух человек, в субботу и воскресенье приезжали иногда недопустимо много – 8-10 человек, и хозяйка дома, Надежда Петровна, в эти дни волновалась за о. Арсения.

Духовных детей было много, и почти каждый приезжал два раза в год. В одной из комнат домика Надежды Петровны стояли две кровати, на которых спали приезжие, если же народу бывало много, то приходилось располагаться на полу.

Свою работу искусствоведа о. Арсений не забыл и посвящал ей иногда свободное время, но практически этого времени не бывало. Он написал несколько статей, но не смог опубликовать. Печататься не давали, хотя бывшие “лагерники” помогали, кое-кто из них вернулся к работе в издательстве, имя искусствоведа Петра Андреевича Стрельцова не было забыто.

Вставал о. Арсений в пять утра, ложился в 12 ночи. Молился непрерывно, каждый день совершал богослужение, исповедовал и беседовал с приезжающими.

Горели лампадки, и в тишине комнаты слышался его негромкий голос, произносящий слова молитвы. Молиться с ним было необыкновенно радостно, благодать Господня осеняла тебя. Как-то особенно тепло, духовно, с чувством глубочайшей любви и в то же время величественности молился он Госпоже нашей Владычице Богородице – Матери Божией.

Акафист Владимирской Божией Матери читал так, что ты начинал забывать, где находишься и что вокруг тебя. Произнося заключительные слова икоса: “Радуйся, Пресвятая Владычица Богородица, благодать и милость иконою Твоею нам являющая”, – он прославлял все безначальное

совершенство Царицы Небесной, а, умоляя и обращаясь к Ней, он просил и говорил от имени всех детей своих духовных.

Раз в неделю он служил панихиду, и это было моление о тысячах душ, и эти панихиды потрясали нас, молящихся. Слыша и видя, как он молился об умерших, мы отчетливо понимали, что о. Арсений видит каждого поминаемого, чувствует его душу. Временами о. Арсений плакал, и мы, присутствующие, понимали, что произносимые им имена умерших не что-то ушедшее, а родное, близкое, любимое, знакомое.

Приезжали и уезжали друзья и духовные дети, унося с собою полученный запас сил, веры, желания помогать другим, желание быть лучше.

Когда-то большая, собранная о. Арсением община за долгие годы его ссылок и заключения уменьшилась: одни умерли или сильно состарились, другие тяжело болели, третьи отошли из страха, но все же большая часть осталась. Много пришло и новых, значительно больше, чем утратилось. Пришли те, которых о. Арсений встретил в ссылках, лагерях, или те, кого привели его прежние духовные дети или лагерники, вроде меня.

Я знал и помню многих, но кратко расскажу только о тех, кого часто встречал в свои приезды к о. Арсению или встретил в лагере и там полюбил, а потом так же, как и они, стал его духовным сыном.

Врач Ирина, отец Алексей, раньше называемый Алексеем-студентом, Абросимов, Сазиков, Авсеенков, хозяйка домика Надежда Петровна и многие, многие другие вспоминаются мне, добрые, хорошие, замечательные люди. О них много написано и рассказано их друзьями.

Вспоминается приезд к о. Арсению в 1962 году владыки Н., это был серьезный богослов и философ и, как Многие говорили, хороший духовник. Приехал для исповеди. Многие духовные дети о. Арсения ходили в церковь, где служил владыка.

Прожил он два дня, исповедовался и сам исповедовал о. Арсения. Много говорил о судьбах Русской Церкви в настоящее время, о том, что важно сейчас для верующего, и, смотря на обилие книг в комнате, сказал: “Только Евангелие, Библия и Творения Святых Отцов нужны верующему, а остальное не стоит внимания”.

Отец Арсений, помолчав несколько мгновений, ответил: “Вы правы, Владыка, главное в этих священных книгах, но человек бурно развивающегося века резко отличается от верующего IV века. Горизонт знаний необычайно раздвинулся, понятия стали иными, наука раскрыла много неизвестного, обилие знаний внесло массу противоречий. Современный иерей и верующий должны много знать для того, чтобы разобраться в окружающем. Теория относительности, современное состояние воинствующего атеизма, знания по биологии, медицине, а тем более современная философская наука должны быть известны ему. К иерею приходят: студент, врач, ученый-физик, рабочий, и часто каждому из них надо ответить, ответить так, чтобы Бог, вера не звучали анахронизмом или полуответом”.

Молитва и молитва всегда была с о. Арсением, размышлял ли, шел или куда ехал, он все время молился, и в еле уловимом движении губ угадывались слова: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного”.

Помощь людям, помощь в любой ее форме была основой его жизни. В тяжелейших условиях лагеря, будучи истощенным, больным, находясь на грани смерти, он отдавал себя людям, делая за них работу, ухаживая за больными, заботился о немощных и вновь пришедших в барак, делился Своим скудным пайком с обездоленными.

Здесь, на воле, он по первому зову ехал куда угодно, лишь бы помочь, отдавая все, что имел. Мы часто старались уберечь его от таких поступков, понимая, что, отдав последнее, он останется ни с чем. Материальную помощь он не принимал, считая, что сам должен обеспечивать себя, но мы через хозяйку домика – Надежду Петровну – пытались незаметно заботиться о нем” хотя он, вероятно, и догадывался об этом; Неисчислимому количеству людей помог он, помог именно тай, как сказано в Евангелии – неся тяготы человеческие и этим исполняя закон Христов.

Вот таким я знаю о. Арсения, другие люди, знающие и любящие его, еще много расскажут о том, что он сделал для них, но я думаю, что для меня он сделал самое главное, главное – вдохнул в душу мою Веру и Любовь.

Великий Молитвенник и подвижник, о. Арсений осветил и освещает духовный путь многих и многих людей...

Взято из книги воспоминаний Ш-ва А. Р.
1967-1969 гг.

ИРИНА

Декабрь 1956 года уходил в морозах и вьюгах. Лагерь опустел, и о. Арсений находился в преддверии освобождения. Переписка была разрешена, и тяжесть заключения скрашивали письма, а их приходило много. Одно из писем пришло от Ирины, и было оно порывистым, радостным, добрым. Казалось, вся Ирина с ее характером жила в этом письме.

“Петр Андреевич!

От бабушки Любы узнала, что Вы живы. Бог сохранил Вас. Я чувствовала, знала, что Вы переживете все трудное, ужасное, страшное, потому что Господь должен был сохранить Вас. Вы нужны людям, а как необходимы мне! Прошлое – мучительное, кошмарное – постепенно уходит, верю в хорошее будущее. Дети выросли, Таня уже большая. Алексей в пятом классе. Вы не видели его. 15 лет я ничего не знала о Вас, за это время многое переменялось в моей жизни, по Вашему совету стала врачом. С мужем по-прежнему большие друзья. В нем есть искры веры, которые я стараюсь раздуть в пламя. Он все знает о Вас и всегда говорит мне: “Помни о. Арсения, хорошее не забывай, будь с людьми как он”.

Скорее приезжайте, скорее, хотя это и не зависит от Вас. Встречу и заставлю жить у себя. Мать Божия всегда с нами. Она привела меня к вере, спасла Татьяну и неотступно помогает семье. Сколько хорошего дала мне Ваша бабушка Люба! Мама умерла, и она заменила мне ее.

Господи! Какая я счастливая, что встретила Вас!

Анна”.

Это небольшое письмо наполнило сердце о. Арсения воспоминаниями и дало возможность еще раз окинуть внутренним взором прошлое и неисповедимость путей Господних.

Шел 1939 год. Несколько лет назад кончился лагерный срок, начались ссылки: Кострома, Архангельская, Пермская, Вологодская области. Отдаленные районы, и только в этом году пришлось жить близко от железнодорожной станции. Поселок был небольшой, а хозяйка домика, где поселился о. Арсений, оказалась верующей, доброй и отзывчивой женщиной, ставшей его духовной дочерью.

Тайно, в день Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня, первого августа по старому стилю приехал к своим в город о. Арсений и остановился у Наталии Петровны Астаховой, одной из самых близких духовных дочерей.

О приезде его знали только семь человек, глубоко преданных вере и ему духовных детей и друзей. Квартира Астаховых находилась на третьем этаже большого каменного дома. Приехав, о. Арсений на улицу не выходил, Наталья Петровна с мужем уходили на работу, а о. Арсений оставался в квартире один и дверь никому не должен был открывать. На случай экстренного прихода кого-либо из “семерки” договорено было давать условный звонок, на который о. Арсений открывал дверь, не спрашивая, кто пришел. Пребывание о. Арсения в городе скрывалось, и для всех он жил на Севере в ссылке. Приезд его в родной город был вызван встречей с двумя Владыками и несколькими иереями для решения вопросов о жизни Церкви в эти трудные для нее времена. Встреча была назначена на 25 августа на даче в поселке Абрамцево, у одного художника. Было 19 августа по новому стилю, праздник Преображения Господня.

Все дни, прожитые у Астаховых, о. Арсений посвятил писанию писем духовным детям и своим друзьям. Письма передавались знавшим о приезде о. Арсения, а те, в свою очередь, отдавали их верным друзьям для передачи адресатам. Получавшие письма считали, что они привезены из ссылки с оказией.

Шесть дней, прожитые в городе, прошли спокойно. Вечером о. Арсений служил предпраздничную вечерню утреню, исповедовал. Утром торжественно отслужил обедню, причастил Наталию Петровну с мужем и всех остальных шесть человек, бывших у обедни и исповедовавшихся вечером.

Затем все ушли на работу, и о. Арсений остался в квартире один. После торжественной службы на душе было радостно и спокойно. Оснований для тревоги не было. Марфа Андреевна – хозяйка домика на севере, где жил о. Арсений, условной телеграммы не давала, значит, о нем не спрашивали. Здесь также оснований для волнений не было – как будто никто не следил.

Опустившись на колени, о. Арсений долго молился, благодарил Господа за милости Его: приезд в город, встречу с любимыми духовными детьми, радость общения с ними и за то, что Господь сподобил его, грешного иерея, торжественно отслужить обедню Преображения Господня. В квартире было тихо и спокойно. Отец Арсений сел за стол и стал писать маленькие короткие записочки на тонких полосках тонкой, но плотной бумаге. Мелкий убористый почерк заполнял всю полосу, и сколько важного, огромного таили эти письма для духовных детей. Ответы наставляли, предостерегали, уговаривали, требовали, успокаивали. Мы все с нетерпением ждали этих маленьких узких полосок бумаги, которые несли нам свет и жизнь, освещенные словами духовника. Время от времени о. Арсений вставал и ходил по комнате, иногда подходил к окну и, становясь за занавеской,

смотрел на противоположную сторону улицы, где находился большой продовольственный магазин, и ему казалось, что около него то прохаживалась, то стояла одна и та же фигура женщины. Эта женщина несколько дней подряд появлялась в одно и то же время и внимательно смотрела на окна дома, где жил о. Арсений.

“Следят, или кажется мне?” – думалось о. Арсению. Из дома он не выходил, в дороге слезки не замечал, а здесь о его приезде знали только самые близкие люди. “Мнительность”, – ответил он сам себе и, помолвившись, сел писать. Время подходило к одиннадцати дня. Отец Арсений поправил лампадку и стал молиться. Маленький язычок лампадного огонька то вспыхивал, то еле-еле мерцал. Уйдя в молитву, забыв обо всем окружающем, о. Арсений читал акафист Владимирской Божией Матери, прославляя, величая и смиренно моля Владычицу.

И вдруг молитву разорвал резкий звук входного звонка. Звонили условным способом, длинный, три коротких, продолжительный и опять короткий. “Кто это? – подумал о. Арсений. – Сегодня никто не должен прийти! Что случилось?”

Звонки повторялись, настойчиво, требовательно.

Встревоженный, о. Арсений потел открывать дверь, звонить могли только свои, значит, что-то случилось.

“Вероятно, пришла телеграмма с севера от Марфы Андреевны”.

Войдя в переднюю, перекрестившись и возложив упование на Матерь Божию, о. Арсений быстро открыл дверь, и сейчас же, отталкивая дверь ногой, вошла, ворвалась женщина, лет двадцати-двадцати двух. Быстро закрыв дверь и наступая на о. Арсения, она прошла в комнату.

“Я из органов, вот удостоверение, смотрите. Вы – Стрельцов Петр Андреевич, называемый о. Арсением, живете здесь шесть дней. Я веду за Вами наблюдение днем, ночью и вечером ведут другие”.

Отец Арсений растерялся: на столе лежали письма, он без разрешения приехал из ссылки. Получилось плохо, он подвел многих людей.

“Господи, Матерь Божия, помогите!” – мысленно произнес он, но уже отчетливо понял: все погибло, арестуют многих.

Женщина, молодая и красивая, с явно интеллигентным лицом, была одета слишком обыкновенно и серо, казалось, для того, чтобы не выделяться из общей массы людей, раствориться в толпе, стать незаметной.

Понимаете, я из органов, веду наружное наблюдение за Вами, но у меня случилось несчастье. Заболела дочь, звонила домой, температура за 40 градусов, распухло внутри горло, посинела, хрипит, задыхается. И все так внезапно, утром уходила из дома – была здорова, а сейчас мама только повторяет по телефону: “Таня умирает!” Звонила в управление, просила заменить, отказали. Нет подменщика, который бы всех вас в лицо знал. Приказали не уходить. Что делать? Дочь умирает. Надо срочно оказать помощь, позвать врача, а мама совершенно растерялась. Умирает Татьяна! Мне надо домой, а сменщик придет только в 17 часов. У меня к Вам просьба – не уходите никуда. Дайте слово, что не уйдете. Очень прошу не уходить, если уйдете, погубите меня. Еще просьба, если кто придет к Вам, пока меня не будет, скажите, ведь того, кто придет к Вам, могут “вести” до квартиры, а я должна сообщить потом, что были люди. Ваши, которые работают у нас, говорят, что Вы добрый, помогаете людям.

Не уходите, прошу Вас. Скажите, что сделаете. Плохо Татьяне, а управление не отпускает”.

Отец Арсений уже все понял, и эта женщина, говорившая отрывочными фразами, могла больше ничего не говорить. В ее глазах он прочел во много раз больше, чем она могла рассказать о себе.

“Идите к дочери, я никуда не пойду, а если кто придет, то скажу Вам. Идите!”

“Спасибо, гражданин Стрельцов! Спасибо. Я только до 15-ти часов, а потом опять встану на наблюдение, – и, заканчивая разговор, почему-то сказала: – Меня зовут Анной”.

Дверь хлопнула, и о. Арсений остался один. Горела лампадка, лежал открытый молитвенник, пачка написанных писем была на столе.

Все открыто. НКВД знает, что он здесь, и ведет наблюдение за ним и остальными, оно хочет выявить всех людей общины и общающихся с ним, для того чтобы взять их потом.

Эта Анна, ворвавшаяся в дом и знающая условный звонок, отказ начальства ее сменить, брошенная ею фраза: “Ваши, которые работают у нас”, назначенная встреча с Владыками, неожиданная болезнь дочери Анны – было цепью одних событий, руководимых Промыслом Божиим.

Тяжесть происшедшего навалилась на о. Арсения, придавила и смяла его в сумятице мыслей и переживаний. Пугала, страшила ответственность за судьбы людей, муки их, переживания. Да, конечно, приезжать было нельзя, это было ошибкой.

Отец Арсений подошел к раскрытому молитвеннику, тяжело опустился на колени и стал читать акафист Владимирской Божией Матери с того места, где его прервал звонок Анны.

Путались фразы, не понимались знакомые и любимые слова, путались мысли, но, постепенно овладевая собой, о. Арсений отбросил житейское и ушел в молитву. Почти четыре часа молился о. Арсений, прочитаны были акафист, молитвы, отслужен благодарственный молебен.

То, что произошло сейчас, было великой милостью Божией, Его заботой, Произволением о тех, кто был вместе с о. Арсением. Страхи, тревоги, волнения ушли.

В три часа раздался условный звонок. Отец Арсений открыл дверь, вошла Анна.

“Слава Богу! Вы здесь”, – вырвалось у нее.

“Здесь, никуда не уходил, и ко мне тоже никто не приходил. Идите на свой пост, Ирина”.

Женщина была измучена, но когда о. Арсений назвал ее Ириной, она выпрямилась, вздрогнула и голосом, в котором слышалось удивление и испуг, спросила: “Почему вы назвали меня Ириной?”

“Идите, Ирина! Идите!” – ответил о. Арсений.

В глазах ее появились слезы, и она еле слышно сказала: “Спасибо Вам”.

Отец Арсений закрыл дверь и вернулся в комнату.

Господи! Это Ты повелел мне назвать ее Ириной. Тебе ведомо все, Господь Вседержитель”.

На противоположной стороне улицы, около магазина ходила Ирина, в пять вечера ее сменил мужчина.

Наталье Петровне и ее мужу, а также пришедшим в этот вечер друзьям о. Арсений рассказывать ничего не стал. Его рассказ ничего бы не изменил, а только встревожил бы всех и испугал. Внутренний голос говорил о. Арсению, что надо ждать завтрашнего дня – все в руках Божиих.

Отец Арсений приготовился к худшему, сжег письма и попросил Наталию Петровну так же уничтожить все лишнее.

20-го августа отслужил ранним утром обедню и после ухода Наталии Петровны и ее мужа встал на молитву, но молитва не шла. Одолеvalo беспокойство, тревога, душевное смятение. Около 11-ти часов раздался звонок, о. Арсений открыл дверь, на пороге стояла Ирина.

Пропустив ее в комнату, о. Арсений сел около стола.

Я к Вам. Таню с большим трудом удалось положить в больницу. Беспокоюсь, волнуясь страшно, что-то будет? Спасибо за вчерашнее, звонила вечером в управление, докладывала, сказали, что к Вам никого “не вели”. Не был у Вас никто”.

“Садитесь, Ирина! Удивился я, как Вы решили зайти ко мне, к человеку, за которым ведете наблюдение. Вы меня, вероятно, врагом считаете?”

“Я пришла поговорить с Вами, не бойтесь меня. Поверьте, я сама пришла, и болезнь дочери не выдумка. Расскажите мне, кто и что Вы за люди? Почему с Вами так борются? Ваши, что дают о Вас сведения, много рассказывают о каких-то добрых делах, помощи, взаимных заботах. О Вас лично много хорошего говорят, но нам разъясняли, что Вы фанатик, классовый враг, сколачиваете враждебную группу из церковников, а добро Ваше вредное, для агитации. У меня сейчас три часа свободного времени, никто не придет проверять. Проверки бывают очень редко, и, как правило, в 14 часов. Расскажите о себе. Временами буду смотреть в окно и, если потребуется, срочно уйду”.

Смотря в лицо Ирины, о. Арсений начал рассказывать о вере, верующих, потом – почему борются с верой, и о том, что верующие люди не против власти.

Рассказывая, о. Арсений ничего не боялся, да и чего он мог сейчас бояться, когда видел, что Ирина знает про общину и отдельных людей значительно больше, чем он мог рассказать ей. Рассказывая, о. Арсений так увлекся, что забыл о времени, забыл, кто такая женщина, сидящая перед ним, он говорил человеку, говорил убежденный в своей правоте, защищая веру.

Ирина внимательно, но, казалось, недоверчиво вслушивалась в каждое слово. Знала она про общину много, по-своему – одно слово, враги, а здесь о. Арсений рассказывает все по-иному, и получаются две правды. Кто прав, возникал вопрос?

Там, в НКВД, знали многое, но пока выжидали, надо было забрать всех людей общины, послать в лагеря, ссылки. Надо было взять не за веру в Бога, а за борьбу с властью, но борьбы не было, никто не боролся, была только вера в Бога, объединяющая людей.

“В органах с нами ведут систематические занятия и говорят, что вы враги, но Вы рассказываете по-другому, да и я, наблюдая за вами, вижу в вас только несовершенных людей. На занятиях нам подробно рассказывали о Вашей организации, о Вас, демонстрировали Ваши письма, из которых можно понять, что кто-то о ком-то заботится, есть поручения, много о Боге. Может быть, это шифр?”

Несколько человек “Ваших” давно работают в органах, в основном все сообщения идут от них. Я назову их фамилии”.

“Не надо, не называйте, не хочу!” – воскликнул о. Арсений.

“А я назову! Назову! Не люблю предателей, эти люди так же легко предадут нас, как предали своих. Я присутствовала однажды на допросе. Противно смотреть, глаза бегают, извиваются, словно ужи, боятся, а пишут.

Я слушала, сидя в стороне, и мне казалось, что многое было полуправдой. Вот фамилии тех, кого я знаю: Кравцова, диакон Камушкин, Гуськова, Полюшкина”.

Отец Арсений вздрогнул, внутренне возмущился и вскрикнул: “Вы говорите неправду, они не могут предавать”, – но, взглянув на Ирину, понял: “правда” и вдруг заплакал. Заплакал по настоящему, навзрыд.

Что Вы? Что Вы, гражданин Стрельцов, я правду говорю. Шестнадцатого августа я Кравцову сама вела в управление. Правда это все, правда. Успокойтесь, дрянные они люди.

Не должна была говорить Вам, но жалко мне Вас. Не расстраивайтесь. Я пойду. Зайду завтра. Вас еще не скоро должны взять, хотят выявить все связи. Позвоню из автомата маме, что с дочерью. Расстроила я Вас”.

Потрясенный и раздавленный, остался о. Арсений.

Слезы заливали лицо, и мысли, одна тяжелее другой, приходили и приходили.

Катя! Катя Кравцова – одна из самых близких ему людей, неутомимая помощница, добрейшей души человек, молитвенница, знаток церковной службы. Она знала все об общине. Все знала. Что толкнуло ее на путь доносов, предательства? Катя, которую в общине называли “Катей беленькой”, в отличие от других Екатериин. Красивая, умная Катя. Что толкнуло ее – страх, разочарование, обида, испуг, временное малодушие, угрозы?

Отец диакон Камушкин, его духовный сын и раньше постоянный сослужитель на всех богослужениях, и эти двое Лидия Гуськова и Зина Полюшкина, верные его духовные дочери. Да! Они были верными, любящими, глубоко верующими и любимыми его духовными детьми, но что произошло, почему они так пали? Только ли страха ради? Не я ли, духовный отец, проглядел где-то, не уберег овец стада своего от падения? Не я ли виновен в этом? Господи! Прости меня, грешного, научи, наставь! Моя вина, спаси их, останови и сохрани остальных.

Вспоминая исповеди, разговоры, письма этих духовных детей своих, о. Арсений по отдельным крупичкам попытался восстановить прошлое и определить начало падения.

Да! Он, иеромонах Арсений, должен был вовремя заметить колебания детей своих, их ошибки и остановить.

Упав на колени, плача молился о. Арсений, умоляя Господа и Царицу Небесную о помощи, восклицая: “Господи! Господи! Не остави меня! Прости руку помощи Твоей, будь милостив. Спаси детей моих от погибели!”

21 августа Ирина также пришла. Дочери стало совсем плохо. Нарыв в горле резко увеличился, крупозное воспаление легких развивалось, дыхание было прерывистым. Врачи предупредили, что состояние безнадежное.

С поста Ирину не отпускали, днем в больнице дежурила бабушка, ночью Ирина. Войдя в комнату, Ирина заплакала.

“Успокойтесь! Успокойтесь! Господь милостив. Таня поправится”, – говорил о. Арсений и, смотря на Ирину, видел растерянную, убитую безутешным горем молодую женщину, опустошенную, не имеющую ни на что надежды.

“Безнадежна Татьяна, умрет. Две болезни сразу. Сказали, умрет, а я не могу днем быть около нее”, – проговорила она и, рыдая, упала головой на стол.

Отец Арсений подошел к шкафчику с иконами, открыл его, зажег вторую лампадку и сказал: “Буду молиться о Тане, буду просить Господа”.

“Я тоже буду просить Вашего Бога, я готова делать все, лишь бы спасти Таню, но не умею молиться и не знаю Бога”.

Пламя лампадок тихо колебалось, освещая то одну, то другую икону, но наиболее ярко выделялась икона Владимирской Божией Матери.

“Будем, Ирина, просить Матерь Божию, Заступницу нашу, о выздоровлении Тани”, – и начал молиться громко и отчетливо. Молясь, о. Арсений не видел Ирины, забыл о ней, он помнил только о безутешном человеческом горе, страдании. Моля Царицу Небесную исцелить младенца Татиану, всю свою душу, всю свою духовную силу иерея вложил о. Арсений в эти молитвы. Рассказывая мне об этой молитве почти через 25 лет, о. Арсений говорил: “Вы знаете, что я редко плачу, а здесь плакал, умолял Господа и Матерь Божию о помощи, просил как иерей, дерзновенно просил и – страшно сказать – требовал, да, именно требовал, так велико и безысходно было горе Ирины. Не было у нее ни надежды, ни веры, но в глазах ее я видел доброту и любовь. Я умолял Господа исцелить Таню,

просил Матерь Божию осенить светом Своим, светом веры Ирину, зажечь в ней веру Христову, дать ей Надежду. Потом я калялся владыке Ионе за свою дерзновенность”.

Прошло два часа, кончив молиться, о. Арсений обернулся и увидел Ирину – она стояла на коленях, с лицом, залитым слезами, и не отрываясь смотрела на икону Владимирской Божией Матери, ничего не замечая вокруг себя и что-то шепча. Сердце о. Арсения наполнилось неизмеримой жалостью к Ирине. Подойдя, он положил руку на ее склоненную голову, сказав: “Идите, Ирина. Господь поможет. Будем просить оба, Вы и я. Матерь Божия, наша Заступница, не оставит Вас, Она поможет”.

Ирина поднялась с колен, шагнула к о. Арсению, крепко схватила его за руку и, плача, проговорила: “Петр Андреевич! Я на всю жизнь поверила Вам и Ей, ведь Она тоже была Матерью, и, если все так, как Вы говорили, Она поможет. Матерь Божия! Помогите и спасите Таню. Все сделаю, только спасите”.

До прихода Наталии Петровны о. Арсений молился. Вечером, когда в квартире была Наталия Петровна с мужем и двое из так называемой “семерки”, около 11 часов раздался телефонный звонок. Отец Арсений быстро встал и, подойдя к телефону, взял трубку и сказал: “Анна! Слушаю Вас”.

“Спасибо, спасибо, все хорошо. Она помогла, я теперь на всю жизнь верю Вам и Ей. Спасибо. Звоню из автомата”.

Все присутствующие в комнате почти одновременно заговорили: “Зачем, зачем Вы взяли трубку. Телефон прослушивают”.

Отец Арсений подошел к иконам, перекрестился и сказал: “Так нужно. Великую милость явили Господь и Матерь Божия, и не только мне, а главное, вновь рожденному человеку. С кем я говорил, никто знать не может, Анна на свете много”, – и, подойдя к иконе Божией Матери, начал молиться.

Стоит вспомнить, что при допросах о. Арсения много раз потом спрашивали, кто такая Анна.

Внезапное появление Ирины все изменило. Многие продумав и моля у Господа помощи, о. Арсений решил не встречаться с Владыками и уехать 25 августа из города, а до дня отъезда из квартиры не выходить.

Надо было сохранить общину, духовных детей от арестов, какими-то путями изолировать тех, кто предавал.

До самого дня отъезда Ирина приходила к о. Арсению в 11 часов и уходила в два часа. Приходила, расспрашивала, рассказывала, но, главным образом, слушала о. Арсения и первый раз в своей жизни исповедовалась и причастилась, став духовной дочерью о. Арсения.

Договорено было, что Ирина будет писать под именем Анны, а о. Арсений запомнил адрес ее двоюродной сестры, на имя которой должен писать ответные письма. Для того чтобы Ирина могла узнать основы веры и иметь надежного верующего человека около себя, о. Арсений дал ей адрес бабушки Любы, глубоко верующей женщины, не связанной с людьми общины. В записке было написано: “Помогите, наставьте, никогда не оставляйте. Молитесь вместе”.

До того как о. Арсений попал в “особый”, удавалось два-три раза в год посылать письма Ирине, из “особого” писать уже было нельзя.

Призванная в органы по комсомольскому набору, Ирина после встречи с о. Арсением с большим трудом ушла на учебу в медицинский институт и потом работала врачом в одной из московских клиник.

Все это о. Арсений узнал по выходе из лагеря в 1957 году. Сейчас, в конце декабря 1956 г., вспоминая августовские дни тридцать девятого года, помнил о. Арсений свои мучительные раздумья о Василии Камушкине, сестрах Зинаиде и Лидии, помнил, что не нашел в их исповедях, беседах с ними и письмах ни малейшего сознания, понимания своего падения, предательства. Этих людей о. Арсений не мог остановить.

Помнил исповедь Кати Кравцовой тогда же, 23 августа. Исповедь кончилась, о. Арсений ждал, хотел, чтобы Катя сказала, но она молчала. Отец Арсений молился, взывая к Господу. Катерина ждала разрешительную молитву, не понимая, почему медлит о. Арсений. Помнил ее недоуменную фразу: “Батюшка! Я кончила”, – и о. Арсений прочел разрешительную молитву. Окончена исповедь, но не окончен разговор.

“Катя! Почему Вы предали общину, зачем рассказываете о наших делах следователю? Зачем? Скольких Вы губите. Вы моя опора и одна из любимейших и верных духовных детей. Катя!” Испуганное, полное ужаса лицо, глаза огромные, залитые стыдом, слезами и страхом, искаженные, закусанные губы.

Откуда Вы узнали? Кто Вам сказал? Они, о. Арсений, и без меня все знают, все. Знают, что Вы приехали. Все знают, я и половины не говорю правды, я... – и вдруг лицо стало решительным,

собранным: – Я хотела спасти общину, людей, Вас, я врала им, но они многое знают. Запуталась я теперь”.

Разговор был долгим и окончился тем, что Катя должна уйти от дел общины. Так и было. Через год Катя вышла замуж, перестала общаться со старыми друзьями и только в 1958 году встретила с о. Арсением.

В 1942 году на изнурительных допросах, материалах следствия, предъявляемых ему следователем, он еще раз убедился в правоте Ирины, назвавшей ему имена доносителей.

Бывший диакон в 60-х годах работал в патриархии на высоких должностях.

Надо было уезжать. Отец Арсений долго говорил с Наталией Петровной и Верой Даниловной, рассказал им истинную причину своего приезда, не упомянул об Ирине и откуда он все узнал. Предупредил и о диаконе Василии, Лидии Гуськовой, Зинаиде Полношкиной. О Кате Кравцовой – Кате Беленькой – о. Арсений ничего не сказал, он верил ей, понял ее заблуждение, ошибку, – нет, не предательницей она была.

Отец Арсений понимал, что арест его предрешен, но необходимо, чтобы произошел он не здесь, в городе, а в ссылке.

Пусть потом допрашивают, сажают в карцер, бьют, показывают донесения агентов – он не уезжал из ссылки, не был в городе.

На 25 августа Ирина взяла билет на ночной поезд, а 24-го о. Арсений писал письма, написал и Кате “Беленькой” – Кравцовой.

В 1966 году Катя отдала это письмо Вере Даниловне, рассказала, как она стала сотрудником органов и почему. Вот отрывок из этого письма:

“Господа молю о Вас. Укрепите себя молитвой, просите Божию Матерь о помощи. Вы упали, найдите силы подняться. Я понял Вашу ошибку, не осуждаю Вас. Вы сильная, решительная, стойкая и, когда Вас позвали, надеялись на себя, а надо все упование возложить на Бога, и тогда решительность и стойкость Ваши помогли бы в борьбе со злом. Ваш героизм превратился в ошибку, а потом во зло.

Отойдите от дел, выдержите напор зла и победите, хотя понимаю, что это не просто. Противоборствуйте злу.

Силы утешения черпайте в молитве. Матерь Божия наша помощница и защитница.

Да хранит Вас Бог. Ваш духовный отец иеромонах Арсений. Настанет время, и встретимся мы еще с Вами, молюсь постоянно о Вас.

Да благословит Вас Бог”.

25 августа о. Арсений во время дежурства Ирины в 11 часов утра ушел на вокзал, где и переждал до вечера. На вокзал о. Арсения провожала мать Ирины – Варвара Семеновна, принесла в дорогу продукты, прощалась ласково, добро, заботливо.

Отъезд для о. Арсения был тягостен, он потерял троих своих духовных детей, потерял безвозвратно, но на Катю он надеялся, верил ей, она не сойдет с пути веры.

Ирина простилась с о. Арсением утром, прощалась трогательно и просила молиться о ней и всех домашних. К вере, к ее неисчерпаемому источнику утешения и жизни пришел новый человек, и в этом для о. Арсения была большая радость.

Помню, о. Арсения спросили: “Как Вы могли сразу поверить Ирине?” И он ответил: “Поверил, ибо неисповедимы пути Господни и неисчерпаема милость Его”.

Записано по рассказам о. Арсения,
Ирины, Веры Даниловны
и Наталии Петровны, объединено,
обработано и пересказано
одним из участников этих событий.
1968-1975 гг.

ЖУРНАЛИСТ

Он все записывал. Где-то доставал обрывки грубой серой бумаги, складывал их в тетрадку, сшивал и обрезал ножом, сделанным из куска ножовки.

Приходя с работы, быстро проглатывал миску баланды, заедая куском черствого мерзлого хлеба, усталый и полуголодный, садился на нары и начинал огрызком химического карандаша писать на мятых листах бумаги.

Карандаш быстро скользил по поверхности грубых бумажных листов, оставляя после себя строчки, связанные из аккуратно выписанных букв.

Казалось, что он пришел сюда корреспондентом газеты, набраться впечатлений, понять психологию живущих заключенных, администрации лагеря, окунуться в этот новый для него мир, а потом дать серию очерков под названием: “Лагерь „особого режима””.

Так казалось, но он был обычный заключенный номер К-391, осужденный по 58-й статье на двадцать лет лагеря “особого режима”. Пока он успел прожить в лагере меньше года, исписав при этом несколько тетрадок, в которых заключенные и жизнь лагеря были показаны со всей правдивостью и откровенностью.

Жажда описать все, оставить свои записки людям буквально сжигала его, особенно первое время. Встречая нового заключенного, он бросался к нему и закидывал его вопросами.

“Кто Вы? Откуда? За что? Кто и как вел следствие?” – и казалось, что следующим вопросом будет: “Ваши впечатления о лагере “особого режима?”, но этого вопроса он не задавал. Все было предельно ясно. Он ухитрялся куда-то прятать свои записки, и за это приходилось отдавать уголовникам часть пайкового хлеба.

Изредка, при обысках, у него находили обрывки записей, отбирали, сажали его в карцер, но это не отбивало у него желания писать.

Этот человек видел мир глазами журналиста, и, вероятно, даже за несколько минут до смерти он записывал бы свои впечатления, ибо так был создан. Беря очередное “лагерное интервью”, он пытался понять и осмыслить происходящее. Барак с его разношерстным населением был им ошупан, осмотрен и взвешен, только несколько заключенных не были расспрошены. В числе их был и о. Арсений.

В бараке этого человека прозвали “Журналист”, и казалось, что он гордится этим, ведь и на воле он был журналистом, его статьи появлялись в “Известиях”, “Правде”, “Труде”.

Торопливость, нервозность, желание обо всем расспросить собеседника вначале вызывали у заключенных подозрение, но удивительная отзывчивость и общительность невольно располагали к нему большинство политических и уголовников. Полицаи, пособники немцев и некоторая часть власовцев встречали его враждебно. Через полтора года жизни в лагере он многому научился и понял многое, “интервью” стал брать реже, записывая, подолгу задумывался, видимо, что-то заново переоценивая и переосмысливая.

С о. Арсением в бараке встречался. Стороной услышал, что поп, искусствовед с университетским образованием, пользуется среди заключенных авторитетом и многие любят его. Но то, что о. Арсений был служителем культа, заставляло журналиста относиться к нему с внутренним презрением и сожалением.

Пребывание о. Арсения в лагере казалось журналисту в известной мере правомерным, т.к., по его мнению, верующие, и особенно служители культа, так или иначе были враждебны советской власти и боролись против нее. Журналист обобщал полицаев, лиц, сотрудничавших немцами, и верующих во что-то одно общее, сторонился этих людей и “интервью” у них не брал.

Считая, что он попал в лагерь в результате какого-то особого вредительства, журналист возмущался нахождением под одной крышей с этими людьми. Он, боровшийся всю жизнь, как ему казалось, за истину и верящий в нее, вдруг вынужден был общаться с “диверсантами” и попами, своими идейными противниками.

Однако интервью с о. Арсением все же состоялось. Журналист заболел, и его оставили вместе с о. Арсением убирать и топить барак. Убирали барак молча, журналист не разговаривал, носил дрова, выгребал золу, рвал кору и строгал щепу. Человек молодой и сильный, он довольно быстро сложил поленья у своих печей, а о. Арсений все еще только носил. Сложив дрова, журналист приступил к растопке, заложил щепу и кору и, зажигая спичку за спичкой, пытался разжечь огонь. Сжег коробок спичек, но дрова не разжег. Перешел к другой печке, и тоже ничего не получается. Время идет, журналист нервничает, барак надо было протопить к приходу заключенных.

Отец Арсений наносил дрова, уложил их в печки, подложил растопку и с одной спички разжег каждую печь и стал только подкладывать в них поленья. Он увидел, что у журналиста ни одна печь не горит, подошел и сказал: “Разрешите, помогу”, – а тот, раздраженный, ответил со злостью: “Прошу не мешать, в помощи не нуждаюсь”. Отец Арсений молча отошел, но стал внимательно наблюдать, как у журналиста идут дела. Журналист извелся, нервничает, понимает, что вечером его обязательно избыют, а заодно попадет и о. Арсению за холод в бараке. Прошло еще минут двадцать, о. Арсений помолился, подошел к журналисту, тихо его отстранил, вынул из печки дрова, положил стоечкой растопку, обложил дровами, поджег бересту, и с одной спички разгорелись дрова. Подошел ко второй печке журналист за ним, смотрит, но молчит. Третью печь журналист разжег сам. Лицо у журналиста в саже, но доволен: “Спасибо, что научили. Думал, просто, а оказывается, целая наука”. “Я, – ответил о. Арсений, не одну сотню печей в лагерях разжег, вот и науку эту превзошел”.

Печи разгорелись, надо было только дрова подбрасывать да подносить. Слово за слово, разговорились. Журналист, по своей привычке, стал вроде бы “интервью” брать, а получилось, что минут через десять сам о себе стал рассказывать. Время подошло к приходу заключенных, и журналист вдруг обнаружил, что не он пока спрашивает, а сам о себе рассказывает все до малейших подробностей.

Рассказал незнакомому человеку свою жизнь, и почему-то от этого на душе стало спокойнее и легче.

Пришел с работы народ, зашумели, прошла первая поверка, потом вторая, заперли барак, журналист лег на нары и почти до самого подъема пролежал с открытыми глазами, думая, почему так случилось, что он открыл свою жизнь незнакомому старику, да и как раскрыл! И этот человек внезапно стал ему близким и родным.

Вот и пошло от одного разговора к другому, и незаметно легла душа журналиста в руки о. Арсения.

Первое время журналист говорил об о. Арсении: “Старик-то – силища! Душа его как мир – все и вся вмещает” – а через месяц: “Отец Арсений – человек необъятной души, доброты великой. Понял и увидел я настоящего верующего христианина”. Сдружился он с о. Арсением на всю жизнь.

Любил журналист стихи, и знал их великое множество, и вечерами, когда запирали барак, сидя на нарах, читал вполголоса для себя или по просьбе друзей. Читал проникновенно, раскрывая душу поэта. Блок, Брюсов, Пастернак, Симонов, Гумилев, Лермонтов, Есенин были особенно им любимы. Читая, он перерождался, голос делался четким, ясным, выразительным, оттеняющим каждое слово и фразу. Известное стихотворение в его чтении становилось новым, задушевым и слушалось с интересом. Помню, читал он “Незнакомку” Блока, и, слушая его, мы забыли барак, голод, холод, заключение и были в тот момент где-то в старом Петербурге, с “Незнакомкой”.

“...И веют древними поверьями

Ее упругие шелка,

И шляпа с траурными перьями

И в кольцах узкая рука.

И медленно, пройдя меж пьяными,

Всегда без спутников, одна,

Дыша духами и туманами,

Она садится у окна...”

И мы, присутствующие, сидели и видели эту женщину.

Читая Есенина, он раскрывал нам его мятущуюся больную душу, глубокую, но растрченную нежность, задушевность его лирики и тоску и плач по сломанной и бесцельно прожитой жизни. Читал журналист много, но помню, что особое впечатление тревожного ожидания оставило на нас тогда стихотворение Симонова “Жди меня, и я вернусь”.

Собралось вокруг журналиста человек 5-6, разговорились, а потом кто-то попросил его прочесть стихи. Журналист читал минут десять, резко оборвал чтение, задумался, видимо, что-то перебирая в памяти, и, ни к кому не обращаясь, сказал: “Прочту Симонова, когда-то на фронте в 42-м году читал он мне это стихотворение военных лет”, – и начал читать:

“Жди меня, и я вернусь,

Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди,

Жди, когда снега метут,

Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут,

Позабыв вчера.

Жди, когда из дальних мест

Писем не придет,

Жди, когда уж надоест

Всем, кто вместе ждет...”

Первые строки стихотворения воспринимались окружающими почти безразлично, но потом задушевность чтения, проникновенность, теплота слов захватили нас, а окружающая лагерная жизнь, безысходность и обреченность напомнили близких, всколыхнули ушедшее дорогое прошлое.

“Жди меня, и я вернусь

Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот пусть

Скажет – повезло”.

Голос журналиста звучал громко, заполняя часть барака, заключенные стали собираться вокруг. Охваченные воспоминаниями, затаив дыхание, боясь пропустить сказанное слово, стояли люди, вспоминая семью, родных, дом и всех тех, кто жил на воле, и каждый думал: “А могут ли ждать меня? Помнят ли? Ведь меня уже давно официально нет. Я не числюсь. Я списан, умер”. Голос тем временем продолжал:

“Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой –
Просто ты умела ждать,
Как никто другой”.

Журналист кончил, низко склонил голову и сразу ушел в себя. Окружающие тихо и медленно стали расходиться по своим нарам.

Высокого роста человек, лет сорока, неожиданно сказал: “Войну прошел, в госпиталях валялся, опять сражался за Россию. Думал, вот-вот вернусь. Жене с фронта писал: жди, вернусь. Вот и вернулся! А жена все равно ждет, да не дожидется, мы в “особом”... – и неожиданно закончил: – Может, и выйдем!”

..Журналист пережил смерть Сталина, вышел на свободу, вынеся никому не ведомыми путями свои записки. Фамилия его теперь часто встречается на страницах толстых журналов и центральных газет. Вышло несколько книг, в которых я нахожу знакомые отзвуки перенесенных страданий и встреч со. Арсением, дружба с которым осталась у него на всю жизнь. Я часто встречаюсь с журналистом, мы вспоминаем лагерную жизнь, о. Арсения и тех, кто вышел из лагеря и остался жив. Самое главное, что мы с журналистом верим в одно, и нам обоим о. Арсений принес новую жизнь. Многое из записок журналиста использовано в воспоминаниях об о. Арсении.

МУЗЫКАНТ

Высокий, худой, оборванный и, как все, бесконечно измученный, появился этот человек в бараке.

Обтянутое кожей лицо, на котором выделялись большие черные задумчивые и печальные глаза, смотревшие в пространство совершенно безучастно.

На работах норму не выполнял, почему и получал только часть пайки, и поэтому с каждым днем все больше и больше слабел.

Приходя с работы, медленно съедал паек, садился на нары и, ни с кем не разговаривая, смотрел в мутное окно барака, за пределами которого открывалась унылая картина лагерных улиц. Временами лицо оживлялось, и длинные пальцы рук, лежащие на коленях, начинали двигаться, и тогда казалось, что человек играет на рояле.

О себе рассказывал он мало, вернее, ничего не рассказывал, но как-то все случайно разъяснилось. Прошло более полугода с момента его прихода в барак, окружающие привыкли к его молчаливости и отчужденности.

Вечером около одних нар собралось несколько заключенных, о. Арсений также присутствовал. Вначале разговор велся о лагерных делах, но незаметно перешел к прошлому, вспомнили театр, музыку, и в этот момент к говорившим подошел молчаливый заключенный.

Разговор о музыке углубился, кто-то заговорил о каком-то особом влиянии ее на душу человека, о “партийности” музыки. Отец Арсений, как всегда, не участвовал в спорах, но здесь неожиданно заговорил и высказал мнение, что музыкальные произведения, имеющие глубокое внутреннее содержание, должны благотворно влиять на душу человека, облагораживать слушателя, неся в себе элементы религиозного воздействия на душу человека.

Молчаливый и всегда замкнутый, заключенный оживился, глаза заблестели, голос окреп, и он спокойно, почти властно заговорил. Говорил необычайно задушевно, профессионально, обоснованно и убедительно, продолжая развивать мысль о. Арсения о влиянии музыки на человека.

Один из заключенных, стоявший около нар, стал пристально вглядываться в лицо говорившего и вдруг воскликнул: “Позвольте! Позвольте! А я Вас знаю, Вы пианист”, – и назвал фамилию выдающегося музыканта.

Музыкант вздрогнул, смутился и проговорил: “Если бы Вы знали, как мне не хватает музыки! Если бы Вы только знали! С ней я прожил бы даже здесь”.

Кто-то глупо спросил: “За что Вы здесь?” И музыкант необычайно серьезно ответил: “По доносу друга, а вообще за то, за что мы все здесь”, – сказал и, сразу отойдя, лег на свои нары.

Выражение тоски и отчужденности после этого разговора еще больше легло на его лицо, взгляд стал совершенно отсутствующим, отзывался он только на второе или третье обращение.

Мы видели, что человек ушел в себя, потерял связь с другими, а в условиях лагеря это было равносильно смерти.

Прошел месяц, и музыкант совершенно ослаб, с трудом ходил на работу, нормы выполнял все меньше и меньше, соответственно уменьшался и паек.

Отец Арсений несколько раз пытался заговорить с ним или чем-нибудь помочь, но все было безуспешно. Музыкант не слушал, отвечал невпопад или уходил. Как-то о. Арсений обратился к окружающим: “Гибнет человек без музыки, что бы ему достать для игры?” – и один из уголовников, любивший о. Арсения, сказал: “В красном уголке есть гитара разбитая, попробую ее с ребятами позычить”.

В “особом” имелся красный уголок, в котором никогда не проводилось никаких мероприятий, хранилось несколько десятков книг, никому не выдававшихся, и в шкафу валялась сломанная гитара. Красный уголок всегда был заперт, но, вероятно, в лагерных отчетах начальства числился как необходимая принадлежность для “политической перековки” заключенных – зеков. Неизвестно, какими путями “взяли” уголовники гитару из запретного уголка и принесли в барак. С треснутой декой, оставшимися пятью струнами, облезлым лаком, она производила жалкое впечатление. Всем было ясно, что в бараке гитара долго не продержится, при первом же обыске ее отберут, но появление гитары в бараке было событием и развлечением.

Нашелся заключенный, который приклеил деку, почистил лак. Два дня гитару уголовники прятали, а на третий день, когда дека подсохла, после вечерней поверки и обысков положили гитару на нары музыканта, когда он был в другом конце барака.

Пришел музыкант и, сев на нары, задел рукой струны, они жалобно зазвенели, он испуганно обернулся, схватил гитару, растерянно посмотрел на окружающих и стал настраивать ее. Вначале струны дребезжали, звуки нестройно метались, потом окрепли, и музыкант заиграл.

В пяти-шести местах уголовники резались в самодельные карты, где-то стучали костяшками домино, озлобленно ругались, разговаривали, молча лежали на нарах, и вдруг барак внезапно наполнился звуками. Они охватили людей, ругань стихла, стук домино прекратился, карты легли на колени. Что-то неизмеримо большое, родное, чуть-чуть грустное, необыкновенно близкое для каждого заключенного вошло в барак и стало с ним рядом.

В звуках возникали и приходили родные места, поля, покрытые травами, оставленные и потерянные навсегда жены, матери, дети, лица любимых женщин, друзей.

Все светлое, хорошее, что жило в людях, всколыхнулось, пришло и встало рядом. Грубость, жестокость лагерной жизни ушла. Заключенные стояли, сидели или лежали притихшие, озаренные прошлым. Что играл музыкант, было сейчас неважно. Может, это была его музыка, но гитара пела проникновенно, пела и рассказывала о прошлом. Мы слушали, и звуки лились, тонкие и светлые. Это бились где-то друг о друга льдинки, это пела вода, то журча, то гремя, то налетая на камни. Это по-человечески билось нечеловеческое сердце музыканта, которое, вопреки окружающей нас обстановке, все осветило, дало жизнь и радость.

Звуки лились, объединяя необъединимое, они были среди нас, хотя породившая их мечта была неизмеримо далека от слушавших их людей, и наступил момент, когда струны зазвучали все печальней и печальней, они рыдали, стонали и тихо протестовали. Музыка отделила людей от гнетущего настоящего, от проклятой действительности.

Вдруг по коридору прогремели шаги, раздвигая стоявших людей, к музыканту шел высокий, черноволосый человек, искаженное лицо покрывали размазанные слезы – это был известный в бараке уголовник, жестокий и безжалостный.

“Прекрати, зануда, музыку, не бери душу. Прекрати, пришибу”. Уголовник шагнул к музыканту с поднятой рукой, но кто-то из стоявших уголовников схватил черноволосого и выбросил в коридор. Потом было слышно, как он рыдал в конце барака.

Звуки рассказывали о страданиях, невыносимом горе, тоске, этапах, лагере. Сердце невыносимо сжималось, но наступил момент, когда страдание и горе стали постепенно исчезать из музыки, приходило спокойствие, умиротворенность, казалось, что человек нашел свой путь. Музыкант рассказывал сейчас в звуках свою жизнь, но слушатели прочли в них нашу жизнь. Игра оборвалась, и музыкант несколько мгновений сидел неподвижно. Кто-то из стоявших сказал: “Спойте нам!” Подняв голову, музыкант запел тихим и хрипловатым, но чрезвычайно выразительным голосом. Это была старинная русская песня:

“Что вы голову повесили, соколики мои?

Разлюбила! Ну так что ж,

Стал ей больше не хорош,

Буду вас любить, соколики мои”.

И сейчас же все окружающие оживились и заулыбались.

Голос музыканта был, конечно, не для певца, но столько было в нем теплоты и задушевности, что это покорило слушателей. Кончив песню, он заиграл вальс “На сопках Маньчжурии” в замедленном темпе, и тихие, всем знакомые звуки этого вальса как-то особенно обрадовали и сблизили всех.

Расходились молча. Музыкант сидел на нарах, прямой, спокойный, просветленный, бережно держа в руках гитару. Большие глаза смотрели в темноту и благодарили всех за гитару.

Мы с о. Арсением сидели на нарах, лицо его было задумчивым и сосредоточенным. “Он верующий, глубоко верующий, – проговорил о. Арсений, – он сегодня рассказал нам об этом в звуках музыки”.

Гитара прожила в бараке два дня, и за эти дни музыкант переродился: повеселел, оживился, стал общительным. Уголовники дали ему прозвище “Артист” и взяли его “под закон”, что соответствовало лагерной терминологии “охраняем”.

Отбрали гитару на утренней поверке, нашли в тайнике, донес кто-то из “сексотов”. Музыканту дали три дня карцера. Какое-то время музыкант был бодрым и веселым, но потом сник.

Недели через три, ночью, о. Арсений почувствовал, что его кто-то дергает за рукав. “Извините меня, извините! Ночь сейчас, но мне необходимо поговорить с Вами. Знаю, Вы священник. Давно хотел подойти к Вам, да все боялся, а теперь чувствую, что пришло время мое. Спасибо Вам за гитару. Узнал стороною, что от Вас все исходило. Выслушайте! Я коротко. Простите, что разбудил”.

Склонив голову к о. Арсению и обдавая его своим горячим дыханием, музыкант шепотом рассказывал о себе, скороговоркой выплескивая свои мысли. “Господи! Господи! Как я грешен!” – повторял он время от времени. Видимо, все, что он говорил, было давно продумано и выстрадано.

Слезы временами падали на руку о. Арсения. “Господи! Господи! Грешен я очень, но зачем они отняли у меня музыку?”

Отец Арсений долго молился вместе с музыкантом.

Недели через три музыканту на работах раздробило кисть левой руки, а через недели две из лагерной больницы с одним из выздоровевших заключенных пришло от музыканта письмо.

В записке было: “Не забывайте меня перед Господом, смерть стоит со мною рядом. Молите Бога обо мне”.

Записано по воспоминаниям лиц, бывших в лагере,
и рассказу о. Арсения. 1959 г-

ДВА ШАГА В СТОРОНУ

Знакомство мое с о. Арсением было давнее, по тогдашним лагерным временам, около года, но, зная друг друга, встречались мы мало, а слышал я тогда о нем много.

Потянулся я к нему в пятьдесят третьем году.

Летом перегоняли нас этапом на “временку”, строить в необитаемом месте бараки и заложить ствол шахты.

Идти надо было сорок километров, в общем-то недалеко. За три дня с ночевкой и тащимым грузом дойдешь. Солнце невыносимо жжет, гнус и комары забираются в малейшую щелку. Идем одетые, душно, тяжело. Лицо и руки зудят от укусов гнуса и пота. Летом в жару часто бывало даже труднее, чем зимой в морозы. Идем, ноги свинцовые, груз оттягивает руки, плечи; одежда прилипла к телу, и это еще больше затрудняет движение. Желание у всех одно: броситься на землю, распластаться, прижаться к ней и никогда, никогда больше не вставать, что бы ни случилось, что бы ни произошло после, но какая-то непреодолимая сила заставляла двигаться вперед, волочить по земле ноги, мучительно, переживая каждый пройденный метр, идти и идти...

Устали все: охрана, заключенные и сторожевые собаки. Дорога казалось бесконечной, хотя многие проходили ее не раз. С каждым шагом сил становилось все меньше.

Колонна растянулась, ряды изогнулись и почти перемешались. Временами слышалась команда: “Не растягиваться, ближе ряды!”, но команда отдавалась голосом усталого человека, который так же изнемогал от жары, тяжести оружия и напряженного внимания к движущейся растянувшейся колонне. Ноги тонули в красно-оранжевой листве, покрывавшей дорогу. Листья ольхи, осины и березы медленно падали с веток на головы проходивших, тихо кружились в воздухе и шелестели под ногами.

Рядом со мной шел о. Арсений. Несколько раз я спотыкался, и он заботливо подхватывал меня под руку. Два или три раза я взглядывал на него и думал: “Почему он еще идет?”, а он шел – прямой, сосредоточенный, ничего, казалось, не видящий. Губы его двигались, и я уже тогда знал, что он молится.

Дорога проходила между грядами холмов, откосы которых поднимались сразу около обочины и были покрыты опавшей листвой, принесенной ветром, и редким, уже оголенным от листьев кустарником.

Впереди нас шел татарин, высокий, худой, с лицом аскета. Пустой вещевой мешок болтался на спине, сам татарин был оборван, грязен. В бараке знали, что он из Казани и, попав в лагерь, “дошел”, т. е., просто говоря, опустился до последнего предела и был на краю гибели.

В бараке он жил от меня через трое нар. Видя, что человек погибает, многие из окружающих людей пытались хоть чем-нибудь ему помочь, но было уже бесполезно. Сейчас татарин шел спотыкаясь, руки беспорядочно болтались, весь он как-то неестественно качался.

Когда же отдых? Временами кто-нибудь падал, упавшего обходили, и тогда уставшая охрана ударами ног поднимала его.

Собаки шли на поводках конвоиров, понуро уткнувшись мордами в землю, и, казалось, ничего не замечали.

Воцарилось спокойствие, все шло молча, команд охраны не было, и только ноги идущих, погруженные в листву, ворошили ее, и от этого над колонной стоял постоянный тревожный шорох.

Болели ноги, разламывалась голова, неимоверно болело и устало тело. Я думал только об отдыхе. Когда же он придет? От усталости темнело в глазах, фигуры впереди идущих расплывались в кровавой дымке, качались и временами пропадали, а затем возникали вновь.

Все! Сил больше нет. Сейчас упаду! И вдруг шорох от ног разорвал пронзительный крик: “Бегу! Бегу!” Раздалась необычная возня, состояние оцепенения мгновенно прошло, и я увидел, что высокий татарин, расталкивая заключенных, перескочил через канаву и побежал вверх по откосу холма, покрытого листвой. Бежал он медленно, видимо, не хватало сил.

Колонна зашевелилась, проснулась от усталости. Конвоиры направили автоматы на заключенных, а лейтенант и один из солдат повернулись к бегущему и стали стрелять. Пули ложились рядом, поднимая облачка пыли, а татарин медленно поднимался по склону.

Такой побег назывался “побег к смерти”, это случалось часто. Дойдет человек до “последнего” и тогда устраивает демонстративный побег, для того чтобы его пристрелили.

Охрана знала эти “побеги” и настигала заключенного с помощью собак, била его и направляла опять в колонну, а иногда убивала при “попытке к бегству”. Все зависело от начальника конвоя.

Татарин еле-еле поднимался по склону, а лейтенант и солдат, видя, что силы сейчас оставят его, крикнули, чтобы спустили собак. Остановят, избыют, доложат начальству, добавят зеку еще срока, но жив будет.

Колонна замерла, переживает, понимает, что конвой спасает татарина, и вдруг сбоку застрочил автомат. Третий бил метко, с первых же выстрелов изрешетил всего татарина, и тот, падая, какие-то мгновения пытался как будто ухватиться руками за сияющее солнечное небо и, протянув одну руку к солнцу, упал головой вниз по склону, а автомат все продолжал стрелять.

Татарин лежал на склоне и хорошо был виден всей колонне. Лицо разбито, одежда в крови, а третий конвойный все стреляет...

Колонна заключенных от внутреннего напряжения и волнения подалась на конвой, и тогда начальник охраны дал над головами заключенных предупредительную очередь из автомата и закричал: “Садись на землю!”

Люди упали на дорогу, покрытую листьями. Над головами прошла вторая очередь, и тот же голос, срываясь от крика, продолжал: “Пригнись, распластайся!” – и тяжелый мат закончил фразу. Стало тихо, и было слышно, как солдат сказал лейтенанту: “Товарищ лейтенант! Я его, гада, по-снайперовски уложил с первой очереди”, – в голосе солдата слышался татарский акцент.

И в это время кто-то из колонны крикнул: “Собака! Своего татарина убил. Смерть тебе!” Солдат-татарин резко обернулся к колонне и направил на заключенных автомат, и в этот момент начальник конвоя крикнул: “Ибрагимов! Отставить!”

Распластались, прижались к земле. Слышу, кто-то около меня плачет. Голову повернул – вижу, о. Арсений стоит на коленях, возвышаясь над всеми лежащими, лицо в слезах, и временами тихо-тихо всхлипывает, а губы двигаются и произносят что-то полупшепотом.

Я его рукой ударил и говорю шепотом: “Ложись! пристрелят!” – а он продолжает стоять на коленях, смотрит куда-то невидящими глазами, шепчет и крестится. Второй раз толкнул его – не

ложится. Ну, думаю, пусть стоит, меня бы только не пристрелили. Прошло минут 10–15, охрана по обочинам дороги бегают, слышим, тело поволокли по земле, а потом раздалась команда: “Вставай! Ряды держи – не путайся. В сторону шаг – стреляю!”

Встали с земли, ряды выравнивали. Пошли. Смотрим – тело убитого убрали, только кровь осталась на листьях, где он лежал. Идем. Охрана злая, чувствуем: чуть что не так – автоматной очередью прошьют. Посмотрел я на о. Арсения – в глазах слезы, лицо серьезное, печальное-печальное, но вижу, что молится. Почему-то вид о. Арсения обозлил меня, нашел тоже время молиться и плакать! Спрашиваю: “Что, Стрельцов? Разве такого не видели?”

“Видел, и не раз, но ужасно, когда убивают безвинного человека. Ты все видишь и ничем не можешь помочь”. А я ему с издевкой сказал: “Вы бы Бога-то своего на помощь призвали. Он бы и помог татарину, или хоть бы прокляли убийцу. Хоть словесная и бесполезная, но месть”.

“Что Вы! Что Вы! Разве можно проклинать кого-нибудь, а Бог и так сейчас многих из нас спас. Я видел это. Солдата Господь покарает. Ангел Смерти уже встал за его спиной. О, Господи! Как я грешен!” – закончил о. Арсений. Сказал и пошел, грустный-грустный.

Расстрел заключенного татарина снял со всех нас усталость, и колонна пошла быстрее, но шла молча.

Через день пришли на времянку. Месяц надо было здесь нам прожить. Работали по 15-18 часов. Питание давали по самой низкой лагерной норме. Каждый день хоронили мертвецов. Комары, гнус заели. До того измучились, что многие прямо с лопатой или топором замертво падали на рабочих местах.

Охранник подойдет, прикажет другому заключенному топор или лопату взять и отойти от лежащего, а сам ногой толкнет упавшего. Кто отойдет, отлежится, а других прямо на повозку и к врачу. Тот осмотрит, зафиксирует смерть, подпишут акт – и кончился твой лагерный срок...

Стал я к Стрельцову приглядываться. Поразил он меня на перегонном этапе. Я вижу, необычный он человек, какой-то особенный. Работает так же, как все, в лагере много лет, старый, вконец измотанный и почему-то живет, не умирает. Молится все время, во что-то верит, и так верит, что от этого только и живет еще.

Вот так и присмотрелся я к нему. Главное, что удивило меня: устает ведь, как все, но всем старается помочь и помогает. Относится ко всем внимательно, приветливо. Его даже охрана по своему любила и щадила.

Проработали месяц. Пришло шестьсот человек, а назад гнали не более двухсот.

Шли до лагеря четыре дня. Шли медленно. Охрана не торопит, понимает, что во всех нас только что и осталось душа, да и та еле-еле держится. Пришли в “особый”, дали день отдыха, даже паек хороший выдавали три дня, там тоже люди бывали. Месяц на “времянке” крепко привязал меня к о. Арсению. Все меня в нем поражало. Доброта необыкновенная, помощь людям безотказная и главное, что помогал он в самую трудную для тебя минуту. Бывало, тяжело, тоскливо, грустно на душе и жить не хочется, а он подойдет, положит руку на плечо и скажет два-три самых простых слова, которые сразу осветят, согреют тебя или ответит на то, что тебя сейчас угнетало и мучило.

Таких, как я, получающих помощь от о. Арсения, было много. Одни уходили, другие приходили и образовывали около него какой-то особенный круг.

Почему я начал воспоминания об о. Арсении с этапа на “времянку” и с убийства заключенного татарина? Да только потому, что поведение о. Арсения во время перехода было для меня совершенно необычным, а его отношение к окружающим людям во время месяца работ на стройке поражало даже охрану. Помню, что охрана иногда называла его “отец” за его настоящую помощь другим.

Солдата-татарина Ибрагимова убили на другой день в лагере. Доведя нас до “времянки”, конвой вернулся в “особый”. Убили в казарме – солдатской, убили зверски. Выкололи глаза и перерезали горло. Заключенные этого сделать не могли, так как убит он был вне зоны, а там жило только начальство. Убил кто-то из своих, татар-охранников. Узнали мы об этом только через неделю после возвращения в “особый”, и я рассказал об этом о. Арсению. Помню, о. Арсений страшно расстроился и сказал мне: “Господи! Господи! Как это все ужасно. Еще одна смерть. Мучительная, страшная. Смерть без примирения со своей совестью и хотя бы внутреннего покаяния”. Сказал и отошел, а я с радостью подумал: “Собаке – собачья смерть”.

Вышел я из лагеря на три года раньше о. Арсения, но уже вся моя жизнь была связана с ним. Я всегда благодарю Господа, что Он дал мне возможность встретить такого человека, как о. Арсений. В 1958 году я вторично встретил о. Арсения, но это уже было на воле.

Записано человеком, духовно любимым и воспитанным
о. Арсением. 1966-1967 гг.

ЗАМЕРЗАЮ

Петра Андреевича? Конечно, помню, на всю жизнь запомнил. В дороге, можно сказать, познакомились. Вышли из лагеря утром. Мороз градусов 30, да при этом еще ветрено, а одеты только в телогрейках. Идти недалеко, около 10-ти километров, а по времени часов 4-5 с лагерным “сидором” на спине (“сидор” – это вещевого мешок). Скоро холод стал прохватывать до костей, а часа через два я окончательно замерз. Оглядываюсь, вижу, ребята тоже мерзнут, охрана в тулупы одета, но, видно, и ей холодно. Собаки, охраняющие колонну, покрылись инеем. Идем, крепимся, стараемся быстрее, чтобы согреться. Чувствую, что ноги и руки окончательно отмерзли и одеревенели, колонна замедлила движение. Охрана кричит: “Ходу, ходу! Шевелись! Замерзнете!” Стал спотыкаться, ног уже не чувствую, бреду кое-как. Слышу, меня кто-то поддерживает за локоть. Смотрю, старик рядом идет. Удивился, что ему до меня? Иду, качаюсь, сил уже больше нет. Старик схватил меня за руку и держит, чтобы не упал и говорит: “Духом не падайте. Держитесь, двигайтесь больше, согревает это, и дойдете с Божией помощью”. Прошли еще с полкилометра, иду в забытии, дороги уже не разбираю, поскользнулся и упал. Пытаюсь подняться, руки, ноги не действуют. Сознание после падения прояснилось, и понял я, что конец. Замерз, погиб. Лежу и вижу: ряды заключенных размыкаются, обходят меня, а старик остался около меня. Порядок знаю: последний ряд пройдет, и охрана, замыкающая колонну, подойдет ко мне, и если я не подымусь, то, чтобы со мной не возиться, пристрелили и сообщат потом по начальству: “Убит при попытке к бегству”.

Старик стоит около меня зачем-то. Подошел старший лейтенант, начальник охраны, толкает ногой: “Вставай”, – а я отчетливо соображаю, но ни сказать, ни двинуться уже не могу. Слышу, старик говорит старшему лейтенанту: “Гражданин начальник! Помогите ему, замерзнет”.

А тут подошел старшина с автоматом и как-то просительно сказал: “Товарищ старший лейтенант! Ему бы спиртишку, у меня во фляге есть”. Старший лейтенант дал команду колонне идти вперед, а сам со старшиной остался. Старик опять просит помочь мне, а где тут помогать, когда я совсем замерз, охрана возиться со мной не будет, холодно, хлопотно, да и ни к чему ей, проще пристрелить. Одним меньше, одним больше. Что из этого? Старик просит, не боится. Я хоть мерзлый упал, а он порядок нарушил, из колонны вышел. Пристрелят его непременно. Старший лейтенант посмотрел на старшину, и вижу – тот автомат снимает. Ну думаю, конец, поехали мы со стариком в могилевскую губернию. Старшина автомат старшему лейтенанту отдал, подошел ко мне и говорит старику: “Давай, дед, поднимем его”. Подняли. Старшина фляжку со спиртом достал и мне в рот сунул. Полился спирт в глотку. Сжег все внутри, а я судорожно глотаю. Выпил изрядно. Стали старшина со стариком меня от одного к другому перебрасывать. Задвигался я, а спирт изнутри согревает. Минут 5-10 меня бросали, роняли нарочно, подниматься заставляли с земли. Разогрелся, руки, ноги чувствую, иголками колоть их стало, и больно. Значит, отошли, и сам-то я бодрей стал. Говорю охранным: “Спасибо”, – а они в ответ: “Не нам спасибо говори, а старику. Поразил он нас тем, что с тобой остался”. И к нему обратились: “Как же это ты отстать не побоялся? Приказ знаешь? Два шага в сторону – стреляем без предупреждения!”

Старик поклонился им в ответ и сказал: “Чего же бояться вас, душа человеческая у всех людей есть, да и видел, что поможете. Человека в беде Бог не оставит”.

Догнали колонну. Ребята потом удивлялись, как это нас не пристукнули. Я ничего не рассказывал, как жив остался. Вот так и познакомился с Петром Андреевичем, старик-то – это он был. Сперва знал как Петра Андреевича, потом как иерея Арсения. Вошел Петр Андреевич – о. Арсений в мою жизнь как что-то огромное, светлое, радостное, так что не только помню, а постоянно живу им. Вспоминая многое, думаю: “Прав был о. Арсений, у многих людей живет в душе доброта, человечность, но где-то скрыта она, и только надо суметь найти ее, так было со старшиной и старшим лейтенантом”.

Году в 63-м встретил в Калуге старшего лейтенанта из охраны. В штатском он был и, как потом узнал, на каком-то заводе работал. Подошел к нему. “Здравствуйте, – говорю, – товарищ старший лейтенант!” а он не узнает, напомнил – обрадовался, к прошлому вернулись, он мне сказал: “Страшное время было, сейчас вспоминать даже трудно”.

Спрашиваю: “Как это Вы тогда нас не пристрелили, да еще старшина спиртом поил?”, –а он в ответ: “А мы что, не люди? Да и старик нас поразил. На смерть ведь шел, а не побоялся Вам помочь. Скажу по правде, у нас в охране об этом старике разговоры были. Особенный он был, добрый, говорили, священник”. И спросил: “А где он сейчас?” Я сказал, что о. Арсений жив. Разговорились со старшим лейтенантом, зашли в кафе, выпили по маленькой, вспомнили жизнь нашу лагерную. Вот так было. Переписывался я с о. Арсением долго, до самой его смерти. Письма все сохранил. Скажу Вам: Человек был большой!

Записано со слов председателя колхоза – агронома

из Калужской области.

САПОГИ

Спрашиваете, что помню?

Да все помню. Все это рассказано тысячи раз: допросы, приговор, лагерь, голод, избиения, уголовники, постоянно стоящая рядом с тобою смерть и неистребимая память о близких. Помните:

“Ты теперь далеко-далеко,
Между нами снега и снега,
До тебя мне дойти не легко,
А до смерти четыре шага...”

А до нее действительно было рукой подать, эта старуха всегда сторожила нас то в виде нового приговора, то убийства уголовником из-за куска хлеба, то от голода и от тысячи других причин.

Вообще все было как у сотен тысяч таких же, как я, горемык. Нечего вспоминать об этом, не я один перенес это, а тысячи, и никакого в этом подвига нет. А вот суметь найти себя в лагере не всякий мог. Отец Арсений нашел свое место в лагере, и не один, а сотни подвигов совершил.

Тому, кто не был в лагере, трудно понять, в чем заключается лагерный “подвиг” и можно ли сравнить его с подвигом на войне. Скажу, можно. На войне бросок вперед сделал в горячке и спешке – или сам пропал, но людей спас, или жив остался и дальше идешь, а в лагере все время под смертью ходишь, а если другому помогаешь, то вдвойне тяжело.

Мое знакомство с о. Арсением произошло зимой из-за валяных сапог, а до этого не знал его. Зимой главное, чтобы ноги были сухие, а здесь, в “особом”, сапоги всегда мокрые, отмерзают ноги, болят, в струпьях. Ночью сушить сапоги на печках нельзя, оставишь – упрут, а вечером уголовники не дают, сами сушат. В эту зиму ноги совсем отморозил, больше не могу на работу идти. Последний раз пришел, пятка к сапогу примерзла, в ручей провалился. Доковылял до барака, сапоги снять сил нет, упал на нары и обеда не съел, лежу и думаю – завтра сдохну. Лежу и в забытьи слышу, кто-то с меня сапоги снимает. Думаю, считают, что умираю, но уже все равно,дохну, не до сапог. Снял кто-то один сапог, второй, портянки размотал и стал ноги растирать, а я в забытьи все слышу. Растер, закрыл ноги и ушел. У меня мысль мелькнула: сапоги взял и портянки, а зачем ноги растирал и обмороженные болячки чем-то смазал? Болят ноги, но легче стало, я незаметно уснул.

Утром бригадир подошел ко мне и по уху дал: “Чего не встаешь?” – я, оказывается, проспал. Вскочил, а ноги-то разуты, оглядываюсь и вижу: подходит ко мне старик и подает мне сухие сапоги и портянки. Не понял я ничего, схватил, оделся и заковылял на работу. Вечером старик опять взял сапоги и высушил, и так несколько раз. Это меня и спасло. Пригляделся к нему, а потом разговорился, раз, другой и привык. А знаете, как он сапоги сушил? Положит их на печь и всю ночь стережет, а работал как и все. В лагере это больше чем подвиг.

Очень я переживал, да и кто не переживал, что сдохну в лагере и о родных ничего не знаю, а он, старик, хотя я уже знал, что его зовут Петр Андреевич или о. Арсений, просто и обыденно сказал мне: “Все у вас хорошо будет, выйдете скоро из лагеря и родных увидите”, – и, сам не зная почему, но я поверил как в истину.

И действительно, освободили меня через год с небольшим. Взяли меня в 1952-м, два с лишним был в простых лагерях, а в январе 53-го дело пересмотрели, срок добавили и в “особый” перевели. В конце 1955 года внезапно освободили: в правах, в партии, в должности восстановили, родные живы оказались.

Приезжаю я теперь к о. Арсению раз в полгода: душевно опустошенный, внутренне усталый, а он встречает меня, переговорит, исповедует, выслушает, накипь с души снимет, оживу я и с нетерпением жду следующей встречи. Уезжаю к себе в Новосибирск и увожу с собой частицу тепла и веры, полученные от о. Арсения, и постепенно расходую. Коммунист я и верующий в то же время. Вы это знаете, а там, конечно, не знают. Должность занимаю большую, стараюсь только идеологической работой не заниматься, связанной с атеизмом и антирелигиозной пропагандой. Обхожу это все. Вот Вам и мое знакомство с о. Арсением. Мир на таких людях держится. Я его в лагере наблюдал, многим он помогал, и мы, на него глядя, помогать другим стали. Вижу, вопрос задать хотите, как это я верующим стал? Смотрел на его дела, вот и стал, ну а потом другие помогли, рассказали, разъяснили, и сам, конечно, все, что хотел, то и узнал. Раз стали меня расспрашивать, то опять вернусь к вопросу о подвиге, потому что много теперь об этом говорят. Подвиг! Подвиг! А что такое подвиг? Войну я Отечественную прошел, во многих боях участвовал, добровольцем пошел, солдатом начал, майором кончил. Орденом Славы награжден, двумя орденами Ленина, орденами Отечественной войны, Красного Знамени, да всего и не перечислишь, что имею. Партизанским отрядом командовал, по заданию у немцев работал, четырежды ранен был, все было нипочем. Знал,

для чего делал и что с тобой всегда товарищи есть, а если погибнешь, то за Родину. Попал в лагерь “особого назначения” и понял, что такое “фунт лиха”. Понял, что не смерть самое страшное во имя чего-то, а лагерь, в котором ты один на один сам с собой, и смерть с тобой, неумолимая, долговременно-мучительная, и кругом тебя все смертники, озлобленные, опустошенные, и нет твоим мучениям конца, и погибаешь ты неизвестно почему и во имя чего. Если совершишь побег, то куда? Товарищей у тебя все равно нет, тебя боятся. Ты один. Поверьте мне! Самый большой подвиг в жизни – это в нечеловеческих условиях помочь людям, будучи голодным и умирая от голода, отдать последний кусок хлеба, сделать за другого тяжелую работу, будучи сам полутрупом. Верьте мне, это действительно подвиг. Я водил людей в атаку, спасал из-под огня товарищей, меня спасали, но я знал, во имя чего я это делаю, а в лагере для чего было помогать и спасать? Все равно мы должны были умереть. Отец Арсений многих из нас спас и делал это во имя Бога и людей, никогда не щадил себя. Это подвиг во имя любви к человеку, и ты не ждешь себе никакой награды, ты несешь только одни трудности. Господи! Если бы все люди были похожи на о. Арсения!

Записано со слов Андреенкова в 1966 году

КОНЕЦ
ВТОРОЙ ЧАСТИ

Отец Арсений

Часть третья.

ДЕТИ

Содержание

- ВЗБРАННОЙ ВОЕВОДЕ ПОБЕДИТЕЛЬНАЯ...
- ОТЕЦ МАТВЕЙ
- ОТЕЦ ПЛАТОН СКОРИНО
- МАТЬ МАРИЯ
- “МАТЕРЬ БОЖИЯ! ПОМОГИ!”
- НА КРЫШЕ
- ПРИЗНАНИЕ
- ЗАПИСКА
- ПАНИХИДА
- Я РАЗНОШУ ПИСЬМА
- ЛЕНА
- КОРСУНЬ-ЕРШИ
- ДО И ПОСЛЕ (КОРСУНЬ-ЕРШИ)
- О СЕБЕ
- ЮЛЯ
- ТРИ СМЕРТИ
- ЕЩЕ РАЗ КОРСУНЬ-ЕРШИ
- ПИСЬМА
- НЕСКОЛЬКО ГРУСТНЫХ МЫСЛЕЙ
- ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ

ВЗБРАННОЙ ВОЕВОДЕ ПОБЕДИТЕЛЬНАЯ...

Задержалась я у подруги. Заговорились. Взглянула на часы, одиннадцать вечера. Быстро простилась – и на станцию. Идти не далеко, сперва дачными улицами и только у станции минут семь леском. Луна на ущербе, темно, от провожатых отказалась и побежала. Молодые мы все смелые. Иду и думаю: мама сердиться будет, что поздно пришла, а завтра вставать рано к ранней обедне, а потом дел невпроворот. Иду быстро, улицы прошла и вбежала в лесок. Темно, мрачно и, конечно, страшно, но ничего, тропка широкая, не раз хоженная. Вошла и чувствую: домашним духом тянет, а людей – никого. Бегу, и вдруг меня кто-то сзади схватил за руки и на голову что-то накинул. Вырываюсь, крикнуть хочу, но мне рукой через тряпку рот зажали. Борюсь, вырываюсь, пытаюсь ногами ударить напавших, но от сильного удара по голове на какие-то мгновения затихла. Оттащили с тропинки в сторону, с головы материю сняли, потом я поняла, что это был пиджак, но рот тряпкой зажимают

еще. Мужской голос сказал: “Пикнешь – зарежем!” – и нож перед глазами появился. “Ложись, дура, будешь тихо себя вести, не убьем”, – смотрю на человека, один низкий, другой высокий, и от обоих вином пахнет. “Ложись!” – рот разжали и толкают на землю, а я шепотом говорю им: “Отпустите, пощадите!” – и рванулась, высокий приставил нож к груди и колет. Поняла, что ничто меня не спасет. Высокий парень сказал второму: “Пойди шагов за 30 к тропке. Справлюсь с ней, тебя крикну”, – невысокий ушел.

Я стою и отчетливо понимаю, что нет мне сейчас спасения, никто помочь не может. Что делать? Как защититься? И вся мысль ушла к Богу: “Помоги, Господи!” Молитв вдруг никаких не помню, и откуда-то внезапно возникла только одна, к Богородице, и я поняла: одна Матерь Божия может меня спасти, и стала в исступлении читать: “Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная”, – а в это время высокий повалил меня и стал рвать одежду. Сорвал, наклонился надо мной, нож в руке держит. Я это отчетливо вижу и в то же время исступленно молюсь Богородице, повторяя одну и ту же молитву и, вероятно, молилась вслух. Наклонился высокий и вдруг спросил меня: “Ты что там бормочешь?” – а я все Молюсь и в этот момент услышала свой голос, а парень опять сказал: “Спрашиваю, чего?” – и тут же выпрямился и стал смотреть куда-то поверх меня. Посмотрел внимательно, взглянул на меня и со злобой ударил в бок ногой, поднял с земли и сказал: “Пойдем отсюда”, – и, держа нож в руке и сорванное с меня белье, повел куда-то в сторону. Дошли, бросил меня на землю, опять наклонился надо мною, а я молюсь и молюсь.

Стоит около меня и опять поверх вглядывается, а я все время призываю Божию Матерь и в то же время чувствую, что ничего почему-то не боюсь. Парень стоит и смотрит куда-то в лес, потом взглянул на меня и сказал: “Чего ей здесь, в лесу, ночью надо?” Поднял меня, отбросил нож и повел в лес. Идет молча, я молюсь вполголоса и ничему не удивляюсь и ничего уже не боюсь, помню только, что Божия Матерь со мною. Конечно, мысль дерзновенная, но я тогда так думала.

Шли недолго. Вижу – мелькают между деревьями огни станции. Не выходя из леса, парень сказал мне: “На! Оденься! – и бросил мои вещи. – Я отвернусь”. Отвернулся, я оделась. Пошли, взял он билет до Москвы, подвел к бачку с питьевой водой и платком вытер мне лицо. Кровь у меня от удара была на голове.

Сели в поезд, вагоны пустые, поздно, мы только вдвоем в вагоне. Сели, молчим, а я все время молюсь про себя, непрерывно повторяя: “Взбранной Воеводе победительная...”

Доехали, вышли из поезда, он спросил: “Где живешь?” Я ответила. Доехали трамваем, на задней площадке, до Смоленской площади, а потом пошли в Неопалимовский переулок ко мне домой. Я молюсь, он идет молча, только на меня изредка вглядывается.

Дошли до дома, поднялись по лестнице, я ключ достала и опять на меня страх напал. А зачем он здесь? Дверь не открываю, стою. Посмотрел парень на меня и стал спускаться по лестнице. Открыла я дверь, бросилась в комнату и перед иконой Божией Матери Владимирской упала на колени. Благодарю Ее, плачу. Сестра проснулась и спрашивает: “Что с тобой?” – молюсь и не отвечаю, молюсь.

Часа через два пошла, лицо вымыла, привела себя в порядок и до утра молилась, благодаря Матерь Божию, а утром побежала в церковь к ранней обедне и все о. Александру рассказала. Выслушал он меня и сказал: “Великую милость оказали Вам Господь и Матерь Божия. Благодарить их надо, а злодея покарает”.

Прошел год. Сiju я дома и занимаюсь. Окна открыты, жарко, душно. В квартире мама да я. Звонок, мама кому-то открывает и говорит: “Проходите. Дома!” – и мне из коридора кричит: “Мария, к тебе”. Подумала я: “Вот некстати, – но крикнула: –Входите!” Встала, решила, что кто-нибудь из товарищей-студентов. Дверь открылась, и я замерла. Он, тот парень из леса. Спросили бы меня минуту тому назад – какой он, я не смогла бы сказать, а тут мгновенно узнала.

Стою словно одеревенела, а он вошел, почему-то осмотрел комнату и, не обращая на меня внимания, рванулся в угол, где у меня висела цветная литография с иконы Владимирской Божией Матери. Иконы мы с мамой держали в маленьком шкафчике, а Владимирскую повесили под видом картины на стене.

Подошел, посмотрел и сказал: “Она”, – постоял некоторое время и подошел ко мне. “Не бойтесь меня, я пришел попросить у Вас прощения. Простите меня, виноват я перед Вами страшно. Простите!” А я стою, окаменевшая, растерянная, а он подошел ко мне близко, близко и еще раз сказал: “Простите меня!” – повернулся и вышел. Эта встреча произвела на меня страшно тяжелое впечатление. Зачем приходил? Что хотел этот бандит? В голову пришла мысль: надо бы милицию позвать, задержать его, но вместо этого открыла шкафчик с иконами и стала молиться.

В голове все время неотвязчиво стояла мысль, почему, взглянув на икону Владимирскую, сказал: “Она”.

Потом все раздумывала. Почему его тогда не разглядела, почему такой бандит прощения просил, зачем это ему нужно? И совсем он не высокий, и глаза его смотрят пытливо и пристально, не по-бандитски.

...Началась война, был 43-й год. Голодали мы ужасно. Я работала в госпитале сестрой и пыталась учиться в медицинском институте, сестра болела, но училась в седьмом классе, а мама еле ходила от слабости.

Жизнь была тяжелой, но я все-таки успевала иногда забегать в церковь. Прошли бои под Москвой, на Кавказе, под Сталинградом, начиналась весна 43-го года. Дежурила я эти дни два дня подряд. Пришла усталая, есть нечего, сестра лежит, мама тоже. Ослабли обе.

Разделась, разжигаю печку, руки трясутся, болят. Пытаюсь молиться, читаю акафист Божией Матери по памяти. Слышу, стучат в дверь, открываю, стоит лейтенант с палкой и большим вещевым мешком: “Я к Вам!”

Спрашиваю: “Кто Вы?” Он не отвечает и втаскивает в комнату мешок, потом говорит: “Тот я! Андрей!” – и тогда я мгновенно узнаю его. Мама приподнимается и смотрит на него.

Андрей развязывает мешок, неуклюже отставляет ногу, садится на стул без приглашения и начинает вынимать что-то из мешка.

На столе появляются банки с тушенкой, сгущенным молоком, сало, сахар и еще, и еще что-то. Вынув, завязывает мешок и говорит: “Ранен я был тяжело, три месяца с лишним по госпиталям валялся, думал, не выживу, сейчас в клиниках ногу долечивают. Лежал, Вас вспоминал и Матери Божией молился, как Вы тогда. Говорили врачи, что умру, безнадежен. Выжил, живу, а эти продукты братень мне притащил от радости, что в госпитале разыскал, он тут под Москвой в председателях колхоза ходит. Наменял – и ко мне”.

Встал, подошел к шкафчику с иконами, открыт он был, перекрестился несколько раз, приложился к иконам, подошел ко мне и опять, как прошлый раз, сказал: “Простите меня Бога ради. Прошу. Гнетет меня прошлое непрерывно. Тяжело мне”, – а я посмотрела на его продукты, на него самого, стоящего с палкой около стола и закричала: “Возьмите, возьмите все сейчас же. Убирайтесь вон!” – и расплакалась. Стою, реву, мама лежит, ничего понять не может, сестра из-под одеяла голову высунула. Андрей посмотрел на меня и сказал: “Нет, не возьму”, – подошел к печке, разжег ее, положил полешки, постоял минут пять около нее, поклонился и вышел, а я все время навзрыд плакала.

Мама спрашивает: “Маша, что с тобой и кто этот человек?” Я ей тогда все рассказала. Выслушала она меня и сказала: “Не знаю, Маша, почему ты тогда спаслась, но что бы ни было, хороший и очень хороший Андрей. Молись за него”.

Спас нашу семью в 1943 году Андрей своей помощью. Недели две его не было, а потом к маме приходил раз пять без меня и каждый раз приносил бездну всякого, всякого и часами с мамой разговаривал.

Шестой раз пришел вечером, я была дома. Пришел, поздоровался, подошел ко мне и опять сказал: “Простите Вы меня!”. Разговорила я с ним. Много о себе рассказывал. Рассказал, как увидел меня в лесу и почему напали тогда, все рассказал. Рассказал, как наклонился надо мною и услышал, что я что-то шепчу, удивился, не понял и вдруг увидел стоящую рядом Женщину, и Она остановила его повелительным жестом, и когда он меня второй раз на землю бросил, то опять эта Женщина властно рукой Своей заслонила меня, и стало ему страшно. Решил отпустить меня, довел до станции, увидел, что я не в себе, и повез в Москву. “Мучила меня совесть за Вас постоянно, не давала покоя, понял, что все неспроста было. Много думал о той Женщине. Кто, что Она? Почему меня остановила? Решил пойти к Вам, попросить прощения, расспросить о Ней. Не мог больше мучиться. Пришел к Вам, трудно было, стыдно было идти, страшно, но пришел. Вошел к Вам и увидел на стене образ Матери Божией Владимирской и сразу понял, кто была эта Женщина. Ушел от Вас и стал узнавать все, что можно было узнать о Божией Матери. Все, все узнал, что мог. Верующим стал и понял, что великое и страшное было мне явление, и я совершил тяжелое прегрешение. Очень сильно повлияло на меня происшедшее, и ощутил я глубокую перед Вами вину. Вину, которую нет возможности искупить”.

Много Андрей мне рассказывал о себе.

Мама моя была человеком исключительной души и веры и еще до прихода Андрея последний раз говорила мне: “Мария! Матерь Божия явила этому человеку великое чудо, не тебе, а ему. Для тебя это был страх и ужас, и ты не знала, почему Господь отвел от тебя насилие. Ты верила, что тебя

спасла молитва, а его сама Матерь Господа остановила. Поверь мне, плохому человеку такого явления не было бы. Матерь Божия никогда не оставит Андрея, и ты должна простить его”. Андрей маме тоже все рассказал.

Сестра моя Катерина была от Андрея без ума, а у меня до самой последней встречи с ним к нему жило чувство брезгливости и даже ненависти, и продукты, которые он приносил, я старалась не есть... Когда же разговорилась с ним, то поняла многое, взглянула на него по-другому и успокоилась. Подошла я тогда к Андрею и сказала: “Андрей! Вы изменились, другим стали. Простите меня, что долго не могла я победить в себе чувства ненависти к Вам”, – и подала ему руку.

Прощаться стал – уезжал в батальон выздоравливающих, а после на фронт должны были отправить.

Мама сняла со своей крестовой цепочки маленький образок Божией Матери с надписью: “Спаси и сохрани”, благословила им Андрея, перекрестила и по русскому обычаю трижды расцеловала. Расстегнул он ворот гимнастерки, снял ее, и мама куда-то зашила ему образок. Катька, прощаясь, порывисто обняла Андрея и поцеловала в щеку. Подошел он ко мне, низко поклонился и, как всегда, сказал: “Простите меня Бога ради и ради Матери Божией, молитесь обо мне”, – подошел к иконе Владимирской Божией Матери, приложился к ней несколько раз, поклонился всем нам и, не оборачиваясь, вышел.

Хлопнула дверь, мама и Катя заплакали, а я потушила в комнате свет, подняла светомаскировочную штору и вижу в лунном свете, как он вышел из дома, обернулся на наши окна, перекрестился несколько раз и пошел.

Больше никогда его не видела, только в 1952 г., была я уже замужем, получила письмо от него на старый адрес, мама мне письмо передала. Письмо было коротким, без обратного адреса, но по почтовому штемпелю увидела, что оно послано из-под Саратова.

“Спасибо, спасибо Вам всем. Знаю, страшен я был для Вас, но Вы не отбросили меня, а в одну из самых тяжелых минут поддержали прощением своим. Только Матерь Божия была Вам и мне помощницей и Покровительницей. Ей и только Ей обязаны Вы жизнью, а я еще больше – верой, дающей две жизни – человеческую и духовную. Она дала веру и спасла меня на военных дорогах. Спаси и сохрани Вас Матерь Божия. Наконец-то я живу христианином. Андрей”.

Это последнее, что мы узнали о нем. Я рассказала о. Арсению об Андрее, и он сказал: “Великая милость была дана этому человеку, и он оправдал ее. Хранил его Господь для больших и хороших дел”.

ОТЕЦ МАТВЕЙ

Отцу Арсению сильно недомогалось, и ему пришлось лечь в постель, но как раз в эти дни совершенно неожиданно приехал человек, лет 55-ти. Отец Арсений, не слушая наших возражений, встал с кровати, оживился и радостно встретил приезжего.

Надежда Петровна занялась приготовлением ужина, после которого о. Арсений и приезжий ушли в комнату и, вероятно, проговорили всю ночь, так как готовить постель в этот вечер не пришлось.

Утром о. Арсений и о. Матвей, так звали приехавшего, служили обедню, где я и Надежда Петровна присутствовали, весь день он о чем-то говорил с о. Арсением, и Надежда Петровна каждый раз с трудом убеждала их пойти обедать или пить чай.

Вечером за ужином о. Арсений чувствовал себя хорошо и с каким-то особым доброжелательством смотрел на о. Матвея, а тот спокойно сидел у стола, внимательно всех слушал и очень охотно отвечал на вопросы или рассказывал. Прожил о. Матвей у нас шесть дней и на четвертый день рассказал мне много о себе. Его рассказ о том, как он жил после войны, нашел и опять потерял семью, поразил меня, и я попросила разрешения записать рассказанное.

“В апреле 1941 года меня внезапно взяли в армию. Мне было 28, а Людмиле 25. Женился по большой любви. Друг без друга нам жизнь была не в жизнь. Первое время в армии места себе не находил. Писали мы друг другу почти каждый день. Была Людмила для меня всем, и сыновей я, пожалуй, любил меньше, чем ее. Человек она необычный: с большой силой воли, принципиальная, правдивая, добрая, отзывчивая, и я знал, что любит меня так же, как и я ее. Любовь наша была не физическим тяготением, а глубокой духовной привязанностью и близостью.

По образованию я физик, Людмила кончила педагогический техникум и работала преподавательницей в младших классах средней школы.

Война, как всякое бедствие, приходит неожиданно. С первых дней попал я в тяжелые бои, отступал, выходил из окружения, сражался. Домой писал часто, но, как потом узнал, писем моих

почти не получали, а про меня и говорить нечего. Ранен был несколько раз, лежал в госпиталях: на Урале, в Сибири, по-прежнему много писал Люде, получал письма от нее, но, как попадал на фронт, переписка прекращалась. В феврале 45-го года ранили меня тяжело, вылечили и прямо из госпиталя попал я седьмого мая под Прагу, где и закончил войну. Грудь в орденах, мысли дома, не только у меня, а у всех. Отвоевались. Родину отстаивали.

Через шесть дней после победы арестовали меня, а первого июня трибунал приговорил к расстрелу с заменой 12-ю годами заключения. Состряпал на меня дело старшина, написал, что я вел агитацию в пользу врага, и сколько я ни доказывал следователю, а потом трибуналу, что это бред, ложь – Родину я защищал, несколько раз ранен, награды получил, и немалые, – никто меня не слушал, а слушали только старшину. Потом уже узнал – многих он посадил, выслуживался.

Осудили, и до 1957 года прожил я в лагерях.

В одном из лагерей встретил о. Арсения, привязался к нему, полюбил, к тому времени я уже был верующим. Помог мне в этом один заключенный, добрый, хороший и глубоко верующий человек. Очень много дал он мне тогда в лагере.

Об аресте и осуждении семье сообщить не мог, но думал, что Людмила узнает от органов или товарищей. Последние годы находился в далеком сибирском лагере, из которого по чистой освободили в 1957 году. Три месяца пришлось проработать на заводе в Норильске, писал оттуда в Москву, семью разыскивал, но ответа не получил.

Обратился в бюро розыска, не отвечают.

Оделся более или менее прилично и поехал искать своих, но почему-то не официальным путем, а через знакомых. Узнал, что уехала Людмила в эвакуацию в город Кострому, там и осталась. Волнуюсь, жду встречи, мысль только одна: как-то они там живут? Что с ними?

Вот и Кострома. Приехал в семь вечера, пока нашел улицу, дом, подошло время к девяти часам. Постучал в дверь, открывает мужчина. Посмотрел на меня, вздрогнул, отступил испуганно в глубь передней и вдруг сказал: “Проходите, Александр Иванович!”

Вошел я, разделся. Мужчина безмолвно стоит и смотрит на меня, потом повернулся к какой-то двери и крикнул: “Люда, к нам пришли!”

Вошла Людмила, увидела меня, бросилась ко мне с криком и плачем: “Саша! Саша! Ты! Где был?”

Обнимает меня, целует. Забыл я все, все на свете, схватил я Людмилу, прижал к себе, плачу, целую в иступлении лицо, руки и чувствую, как под руками моими бьется ее сердце. Сколько это продолжалось, не знаю, но когда немного успокоился, то случайно взглянул на мужчину, открывшего мне дверь, и увидел на его лице такое страдание и неподдельное горе, что трудно передать. Спрашиваю: “Люда, кто это?”

Оторвалась она от меня, посмотрела на нас обоих, надломилась как-то и со стоном в голосе крикнула: “Муж!” – и только тут я окончательно понял, что мое время ушло. Охватила меня беспомощность, растерянность. Сел я и спрашиваю: “А как же я?”

Молчат оба. Схватился я за голову руками и зарыдал. Трясусь и плачу. В жизни моей этого не было, а тут долгие годы мучения и ожидания отдали свое. Отчаяние страшное пришло. Чувствую, взял меня кто-то за плечи и говорит: “Успокойтесь! Успокойтесь! Расскажите, что с Вами было за эти годы?”

Поднимаю голову – а это муж моей Людмилы. Сел напротив меня, Людмила стоит. Смотрю на нее, смотрю и с трудом осознаю происшедшее. Мысли смутные, вязкие, тяжелые, злые, но потом состояние растерянности и злобы прошло, и опять я стал видеть одну Людмилу. Осунулась, в лице ни кровинки, большие глаза ее в слезах и невыносимой муке. Смотрит то на меня, то на Бориса – потом я узнал, что так его зовут.

Как и раньше, красивая, моя бесконечно родная Людмила, моя жена, а теперь жена другого. Люда, о которой долгие годы я думал, мечтал, к которой стремился, и только надежда увидеть ее дала мне возможность выжить в лагерях в течение 12-ти лет заключения – и вот наконец я нашел ее и сразу же потерял.

Перевел взгляд на Бориса и также вижу на лице растерянность и страдание. “Расскажите! Прошу Вас!”

Стал я рассказывать, вероятно, говорил долго. Рассказывал, как из армии писал, упомянул про взятие Праги,

Вспомнил арест, суд, 12 лет лагеря. Рассказал и замолчал, они также молчат, и в это время из мглистого тумана мыслей первый раз пришло воспоминание о Боге, и я в душе своей воскликнул: “Господи, помоги и рассуди. Ты Один знаешь пути наши”.

Людмила обошла разделявший нас стол, подошла ко мне и с мольбой сказала: “Саша, прости меня, виновата перед тобой. Писем от тебя не было, запрашивала военкомат, писала всюду, ждала, а ответ один: “Пропал без вести”. Три года ждала, ждала ежедневно, и все нет известий. Решила, что убит. Последнее письмо пришло из-под Праги. Мысли были только о тебе, но видишь – встретила Бориса, привыкла к нему, полюбила и вышла замуж на четвертый год нашего знакомства, и к двум нашим сыновьям прибавилась дочь Нина, сейчас ей уже семь лет. Прости меня, я одна виновата, Бориса не вини. Не дождалась я тебя. Прости”, – говорит и плачет. Борис молчит.

Что делать? Что делать? Не знаю и не вижу выхода, они оба также не знают. Взглянул на стенку и вижу – в рамках висят мои фотокарточки довоенные, и все происшедшее сразу по-другому осветилось.

Осуждение и раздражение, охватившее меня, сгладились, и что-то доброе, теплое охватило сердце и душу.

Не забыла, помнила, и действительно никто не виноват. Что делать? Что делать?

Тягостная тишина вошла в комнату. Гнетущая, мрачная, тишина страдания. “Где дети?” – спросил я. “К бабушке все трое пошли, там сегодня и ночуют”, – ответила Людмила, и опять стало тихо.

Я смотрел на жену, понимая и зная, что позови я ее, и она уйдет со мной, уйдет с детьми от Бориса, а я забуду ее второе замужество и буду любить по-прежнему. Но что делать с детьми? За восемь лет они полюбили и привыкли к новому отцу, и от него уже есть дочь. Как они отнесутся ко всему совершившемуся, ко мне, перенесут ли, поймут ли, забудут ли Бориса?

Я разобью сложившуюся семью, где сейчас есть согласие, где друг друга любят и понимают. Почему я должен прощать Людмилу? Чем она виновата передо мною? Она ждала, искала, помнила, страдала, оставшись с двумя детьми, не меньше меня и, только уверившись, что я умер, вышла замуж, нов новой семье не был забыт я, о чем сказали мне фотографии. Я был один, а их трое, брошенных, оставленных. Почему я имею какие-то особые права? Ни она, ни я не виноваты в случившемся, а тем более Борис. Сильно любил и люблю Людмилу, но это не дает мне право ради одного себя разбить семью, посеять зло, раздор, лишить детей человека, который стал им отцом. Мои сыновья полюбили Бориса. Но полюбят ли теперь меня? Что будет с дочерью, у которой только один отец, Борис? И опять мысль о Боге пришла ко мне. Не знаю почему, но я встал и прошел в другую комнату.

Три кровати стояли у стен, здесь жили дети. В головах самой маленькой кровати была приколота небольшая икона, висевшая на ленточке, кто был изображен, какой святой, я не понял, но то, что у ранее не верующей Людмилы появилась в доме икона, поразило меня и в то же время внутренне согрело, обрадовало.

В лагере человек, который дал мне возможность уверовать в Бога, говорил, что путь к Господу только через добро, помощь людям и отречение от своего большого и любимого человеческого Я, всегда выставляемого вперед.

Эти мысли мгновенно возникали и проходили передо мною. Выбор был только один. Я обязан, должен уйти из жизни детей, Людмилы, Бориса.

Людмила сидела растерянная, подавленная, не зная, что делать. Лицо ее было столь скорбно, что мне стало стыдно за себя, за то, что я долго молчу, держа Людмилу и Бориса в состоянии неизвестности, напряжения. Борис сидел опустив низко голову, как будто неимоверная тяжесть тянула его к земле.

Я встал и, подойдя к Людмиле и Борису, сказал: “Я уйду, это необходимо и справедливо по отношению ко всем нам. У вас семья, а я – утраченное прошлое. У Вас сыновья, дочь, у меня ничего. Вы любите друг друга. Я уйду, здесь нет жертвы, здесь воля Бога и ваше право”.

Я встал и стал одевать пальто. Борис смотрел на меня с тревогой. Людмила бросилась, обняла меня и, целуя, сказала: “Не уходи”, – но что-то неуверенное прозвучало в этом. Борис подошел и, взяв меня за руку, сказал: “Тяжело ей, переживает за нас обоих и за детей”.

Я вышел. Встреча с Людмилой и детьми не состоялась. Осталось только прошлое. Я опять один. Человек, которого я люблю, безвозвратно потерял.

Ждать долгие годы, надеяться, выжить только из-за этого, найти и потерять. Потерять навсегда.

Я шел по улицам Костромы, погруженным в темноту, шел, раздавленный происшедшим, шел, понимая, что другого выхода не было, а Людмила по-прежнему стояла перед моими глазами.

Примерно полгода я болел. Свет не без добрых людей, помогли мне, но в это время я как-то особенно близко подошел к церкви, и это остановило меня от многих неверных решений и поступков.

Устроился по своей специальности физиком в один институт, ушел в работу, что называется, с головой, достиг по воле Божией неплохих результатов. Пришла небольшая известность, печатные труды, жизненное благополучие и обеспеченность, но образ Людмилы, ее глаза постоянно стояли передо мною.

Город, где я жил, был небольшой, но церковь сохранилась одна, остальные когда-то закрыли или сломали. Храм стал моим прибежищем, местом душевного отдыха, утешения. Там, в церкви, сблизился я с одним врачом, глубоко верующим человеком, оказавшим на меня очень сильное влияние и много помогавшим мне.

Пожалуй, это был один из немногих тогда домов, где я бывал, отдыхал душой и учился духовной жизни. За семьей Людмилы не следил, не нужно было и для нее и для меня. Только однажды написал письмо Борису, в котором просил принимать от меня помощь. Высылал почти все мои деньги, через одного хорошего знакомого, живущего в Костроме. Трудно мне было все эти годы. Переживал и страдал, никак не мог забыть Людмилу и детей.

Года через четыре узнал случайно, что о. Арсений жив, списался с ним, поехал к нему, и стал он моим духовным отцом и руководителем на долгие годы, а потом я принял монашество и был поставлен иеромонахом. Давно хотел, долго готовился, но о. Арсений долго не разрешал и только в позапрошлом году благословил.

Оставил физику и пошел служить в церковь, чем немало удивил своих коллег по институту. Живу сейчас в промышленном городе, церковь небольшая, но верующих много, и много настоящих, хороших.

Успокоился, забылся, прошлое сгладилось, но полгода тому назад произошло со мною событие, опять потрясшее и взволновавшее меня.

Пришел домой после обедни. Хозяйка квартирная сказала, что приходил ко мне два раза пожилой мужчина, не назвался, но предупредил, что часа в четыре опять зайдет. Особого значения я этому не придал, однако около четырех часов действительно позвонили. Пошел открывать дверь. Вошел человек, на вид лет за пятьдесят, лицо желтое, изможденное, но глаза ясные, поражающие своей особой выразительностью и добротой. Вошел, поздоровался, назвал меня по имени-отчеству. Знаю его хорошо, где-то с ним встречался, но вспомнить не могу. Смотрю на него удивленно, вероятно, он это заметил. Спросил: “Не узнали?” – и сразу же после этих слов узнал я в вошедшем Бориса – мужа Людмилы.

Без всякого предисловия стал рассказывать: “Приехал рассказать о детях, отчет Вам дать. Рак у меня, две операции перенес, сейчас химиотерапией залечили. Пожелтел весь, а состояние здоровья не лучше. Проживу в лучшем случае два месяца. Ну, это для начала. За помощь спасибо, много семье дала. Помогали много. Жене не говорил, как просили, но догадывалась, Вас хорошо знала.

Сыновья Ваши уже имеют детей. Хорошими людьми воспитала их Людмила. Оба кончили институт, инженеры. Дочь наша Нина на первом курсе. Бог милостив, воспитали детей верующими. Людмила раньше не верила в Бога, но после Вашего от нас ухода сильно изменилась в этом отношении.

Откровенно скажу, следил за Вашей жизнью. Считал недопустимым упускать Вас из виду, потому что судьбы наши переплелись. Сложно, мучительно связаны. Знаю, тяжело переносили Вы случившееся, но и на нас с Людмилой оставило это глубокий след. Людмила любила и любит Вас, хотя и не знает, где сейчас Вы. Уход Ваш еще больше приблизил ее к Вам. Принеся себя в жертву семье, подчеркнули Вы силу любви своей.

Переживал я очень ее любовь к Вам, но было бы неправдой сказать, что она меня уже не любила. Сколько лет мы с ней после случившегося прожили, и никогда не была она холодна или равнодушна ко мне, никогда не сказала мне слова осуждения. Бывало, проснешься ночью, она не спит или делает вид, что спит. Знаю – мысли о Вас”. И стал мне подробно рассказывать о детях и жизни семьи и в конце сказал: “Время жизни моей ушло, остались считанные дни, у Вас в церкви, вероятно, есть второй священник, попросите его исповедовать меня. Помогите мне”.

Смотрел я на Бориса и думал, что жизнь его после моего появления была трудной, мучительной, полной сомнений, тревог, и тем не менее он с Людмилой смог воспитать детей, укрепить веру свою, сделать Людмилу верующей. Его жизнь по сравнению с моей была сложнее и труднее, была подвигом. Прожил он у меня три дня.

Исповедовал и причастил его наш настоятель о. Андрей. Помню, сказал он мне: “Хорошего человека встретил. Хороший Ваш знакомый Борис. Редкостный”.

В момент рассказа о. Матвеем своей жизни присутствовал о. Арсений, он внимательно слушал, хотя я и знала, а, что о. Матвей все уже давно рассказал ему. Прожив несколько дней, о. Матвей уехал, больше мне не пришлось его видеть, помню только, что месяцев через пять о. Арсений сказал:

“Помните о. Матвея, письмо от него получил. Жизнь его трудная, сложная, но сумел он с помощью Господа найти единственное правильное решение. Да хранит его Бог”.

Рассказ о. Матвея произвел на меня очень сильное впечатление и запомнился на всю жизнь.

ОТЕЦ ПЛАТОН СКОРИНО

“В старинном патериконе прочел я когда-то сказанное святыми отцами о том, что Господь предоставляет каждому человеку возможность оглянуться на пройденный жизненный путь, осмыслить его и определить свое отношение к Богу и сделать шаг к познанию Господа или оттолкнуться от Него. В жизни постоянно происходят события, которые дают возможность всем ощутить и осознать Бога и прийти к нему. Право выбора принадлежит человеку. Господь, создавая вокруг человека цепь определенных событий, хочет помочь мечущейся человеческой душе прийти к Нему, и вина наша, если мы оттолкнем путь к спасению. В моей жизни было несколько таких переломных моментов, когда мне предоставлялась возможность решать – куда идти? Дважды (так кажется мне) оттолкнул я протянутую мне нить Истины, но Господь был милостив и еще и еще раз выводил меня на дорогу веры. Благодаря милости этой, стал я верующим, христианином, а потом и иереем.

На пути к вере встречал я людей замечательных, истинных помощников Бога, которые много помогли мне, многому научили и примером своей жизни показали, что такое христианин”. Так говорил мне о. Платон, временами замолкая, задумываясь и потом опять продолжая рассказ.

Высокий, крепко сложенный, с открытым, типично русским красивым лицом, серыми глазами, в которых жило упорство, сжатыми губам, он производил впечатление волевого человека, готового преодолеть любое препятствие. И в то же время лицо его было необычайно добрым, и в глазах, казалось, сейчас же отражалось все происходящее вокруг. Отражалось непосредственно. Я почему-то решила, что такой человек, как о. Платон, если нужно, положит за друзей жизнь, но в ярости, вероятно, страшен, коли до этого дойдет дело. Мысли мои пролетали мгновенно, а о. Платон продолжал начатый разговор.

“Скажу Вам! Рассказывать получается вроде бы сложно, а в жизни куда все проще складывается. Ленинградский я, из детского дома. Кончил семилетку и пошел работать слесарем на оборонный завод, поэтому в армию не взяли в мирное время. В партию не успел вступить – двадцать третий год только пошел, когда война началась, но всегда был в активе – в школе, в пионерах, в комсомоле. В танцах, массовках, вылазках и во всем прочем старался быть первым. Сейчас уже скрывать нечего, за девушками много ухаживал, да и меня они не забывали. Модно было в те времена заниматься антирелигиозной пропагандой, ну и я тут был не из последних..

В сорок первом году, как война грянула, я сразу же добровольцем пошел. Сильный, здоровый – назначили меня в разведку. Целый год воевал благополучно: ни ранения, ни царапины серьезной. Тогда думал – везло. Убило командира у нас снарядом, назначили нового лейтенанта. Увидели мы в нем этакое интеллигентное, чистоплюя, или, как тогда говорили, “из чистеньких”. Невысокий, худощавый, щупленький, разговор ведет культурно, без ругательств: Задание дает, словно чертеж выписывает, точно, ясно, требовательно. Нам-то, обстрелянным солдатам, показался он хлипким, несерьезным. Сидя-то в блиндаже, каждый распоряжаться может, а как в разведке себя покажет? Но удивил он нас в первый же выход на разведку. Про хорошего солдата говорят: не “воевал”, а “работал”. Лейтенант наш именно работал, как артист. Бесстрашен, осторожен, аккуратен. Ходит как кошка, ползет по земле словно змея. Солдат бережет, сам за других не прячется, а старается, где надо, первым идти. Недели через три пошли мы в дальнюю разведку по немецким тылам. Трудный, опасный поход. Обыкновенно уйдут группой человек шесть-десять, данные по радиации сообщали, но в большинстве случаев не возвращались – гибли. Вышло нас с лейтенантом восемь человек, прошли линию фронта – двоих потеряли. Оторвались от немцев, вошли в тыл к ним, благо местность лесистая, и стали вести разведку. Ходили шесть дней, каждый день сведения по радиации передавали, но потеряли в стычках с немцами еще троих. Осталось нас трое: лейтенант Александр Андреевич Каменев, сержант Серегин и я. Получили приказ идти к своим. Легко сказать – идти назад. Немцы нас ищут, ловят. Они ведь тоже не промах. Пробрались мы к переднему краю, дождались ночи, залегли, изучаем обстановку. Где перейти? Выползли на нейтральную полосу, тут-то нас немцы и обнаружили. Залегли мы в воронку. Начали немцы артиллерийский обстрел полосы, повесили над головами осветительные ракеты и поливают пулеметным огнем. Тут-то меня и контузило. Серегин незаметно ухитрился из воронки уползти к нашим, а мы с лейтенантом остались. Я почти все время терял сознание, лейтенанта легко ранило в ногу. Пришел я на мгновение в себя и подумал: уползет он, как Серегин. Понимаю, что выхода у него другого нет. Расстелил он плащ-палатку, меня на нее

затолкал – неудобно все это делать, воронка неглубокая. Сам распластался и, как только стало меньше света, потащил меня. Я ему говорю: “Брось – оба погибнем. Где тебе, я тяжелый, а ты вон какой маленький”. “Ничего, Бог поможет”, – а тащить надо метров двести. Немцы заметили движение, усилили обстрел из орудий. Осколки, как горох, кругом сыпятся. Пулеметные очереди к земле прижимают, земля фонтанчиками от пуль вздымается. Впал я в беспамятство, временами приходя в себя, слышу сквозь какой-то туман взрывы и чувствую, что волокут меня по земле. К своим ли, к немцам ли? Ребята потом рассказывали, что никто понять не мог, как меня, такого здорового, шупленький лейтенант доволол. Разговору об этом в части было много. Лейтенанта и меня за успешную разведку наградили орденами Красного Знамени. Отлежался я и опять в разведку. Смотрю на лейтенанта влюбленными глазами. Стал благодарить его, а он с улыбкой ответил: “Видишь, Платон, Бог-то нам помог!”. Мне его ответ шуткой показался. Стояли мы тогда в обороне, силы накапливали всем фронтом. Послали нас опять по тылам. Немцы стали очень осторожны, кого ни посылали, все гибли. Знаем, что идем на верную смерть, но приказ есть приказ, надо идти. Вышло нас шесть человек, и, забегая вперед, скажу, все шесть и вернулись. В дивизии все этому удивлялись, а сведения, добытые нами, оказались крайне важными, притащенный нами “язык” – немецкий лейтенант сообщил что-то очень нужное. Для меня этот поход оказался исключительным, так как это в какой-то степени было началом моей новой жизни. Это была та ступень, с высоты которой я должен был осмыслить, что живу не так, как надо. Забрались мы в этом разведпоиске километров за 30 от фронта. Добрались до какого-то села. Подошли, на окраине церковь стоит, почти у самого леса.

Четверо солдат пошли на разведку к селу, а я с лейтенантом церкви. Тихо, тихо кругом, луна неярко светила, и крест с куполом от этого сверкал серебристо-синеватым светом, и мне подумалось, что нет и не должно быть сейчас никакой войны, где люди режут друг друга. Но автомат висел на шее, сбоку на спине армейский кинжал, сзади автоматные диски, и со всех сторон окружала притаившаяся смерть. Лейтенант пошел к церкви, прячась за деревьями, а я стал обходить погост, но не дошел и вернулся назад. Смотрю, стоит лейтенант у дерева, смотрит на церковь и крестится. Голова поднята, крестится медленно и что-то полупшепотом произносит. Удивился я этому страшно. Лейтенант образованный, бесстрашный, хороший солдат, и вдруг такая темнота, несознательность. Хрустнул я веткой, подошел и сказал шепотом: “Товарищ лейтенант, а Вы, оказывается в богов верите”. Испуганно повернулся он ко мне, но потом овладел собой и ответил: “Не в богов я верю, а в Бога”, – и легла после этого случая между лейтенантом и мною какая-то настороженность и недоверие. Долго рассказывать, но вернулись мы, как я уже говорил, без потерь, но испытали много. Все считали, что нам везет, а теперь я думаю, что это было Божие произволение. Вернулись, а мне одна мысль все время покоя не дает. Не может настоящий советский человек верить в Бога, тем более образованный, потому что должен был прочесть труды Емельяна Ярославского, Скворцова-Степанова, где с предельной ясностью доказано, что Бога нет, и если кто и верит, то придерживается буржуазных воззрений и тогда является врагом... Думаю, “шкура овечья на волчьем обличье” одета на лейтенанта. Притворяется. Храбрый, это верно, меня спас, поиски были удачные. Камуфляж, маскировка все это, для какого-то большого дела задумана. Враг-то расчетливый, хитрый. Не могу успокоиться. Пошел в “особый отдел”. Встретил младшего лейтенанта, доложил по уставу и рассказал о своих сомнениях. Он оживился, обрадовался и сразу же повел меня к своему начальству. Начальник “особого отдела” был у нас майор, латыш, сумрачный и всегда внешне усталый. Выслушал он младшего лейтенанта, тот доказывает, что лейтенант Каменев – затаившийся враг, которого надо обезвредить. Расспросил про лейтенанта, как в разведке себя вел, с солдатами на отдыхе, с кем общается. Подумал немного, недовольно посмотрел на нас, позвонил куда-то, что-то спросил и сказал: “Товарищ младший лейтенант, Вы сегодня с группой разведчиков за линию фронта пойдете, вот там и проверите лейтенанта Каменева, а сейчас можете идти, а ты, Скорино, останься”. Младший лейтенант побледнел, изменился в лице, что-то хотел сказать, но майор махнул рукой, и тот вышел. Майор дождался, когда закрылась дверь, посмотрел на меня и сказал: “Слушай, Скорино! Я о делах разведки много знаю, о тебе с лейтенантом тоже, но скажи мне, что у тебя – голова или пустой котелок? – и постучал пальцем по моему лбу. – Дурак ты! Ну что, верующий, крестился на церковь, разве в этом дело? Ты его дела видел, с ним работал? Тебя спас, сведения для командования принес, а им цены нет. Ты же про него говоришь – враг. Я в 41-м году от самой границы шел: отступление видел, окружение, панику, страх, храбрость, истинное бесстрашие, любовь к Родине. Вот когда довелось узнать людей. Все бы так воевали, как лейтенант Каменев. Ты знаешь, он в начале войны обоз раненых из окружения вывел. Раненого генерала с поля боя вынес. Не знаешь, а о людях с кондачка судишь! Сегодня в разведку пойдете, командование решило, вот и посмотри за нашим младшим лейтенантом и твоим Каменевым. Выкинь из головы свою глупость и людям не рассказывай! Шагай да научись лучше людей распознавать. Я в молодости тоже горячку порол и

много дров наломал, а теперь часто об этом жалею. Иди!” Удивился я разговору. Пошли ночью в разведку, “языка” брать. Младший лейтенант из “особого отдела” оказался отчаянным трусом, за нас прятался и никак от земли оторваться не мог, вперед не шел, старался быть сзади, когда к немцам шли. Взяли “языка”, потащили. Вырвался младший лейтенант вперед, а тут обстрел начался, он от страха бросился в какую-то яму, побежал во весь рост, тут ему осколком полголовы снесло. Через неделю опять послали нас по тылам немцев. Первую линию обороны прошли благополучно, потом в лесу нарвались на охранение артиллерийской части. Еле ушли. Дошли до условленного места, разошлись надвое, договорились, где встретиться. Лейтенант меня с собой взял. Два дня ходили, больше ночью. Наткнулись на большое танковое соединение, обходили стороной, пытались силы определить, но в конце концов сами с трудом спаслись. Долго уходили, петляли всячески, но ушли. Разыскали в лесу овражек, там листья сухие скопились, забрались в них, лежим. Устали, решили по очереди спать, но ни тому, ни другому не спится. Эх, думаю, была не была, скажу лейтенанту, что был в “особом отделе” и о нем говорил и как сам к вере отношусь. Рассказал, молчит лейтенант, как будто заснул. Потом, вдруг спросил: “А ты знаешь, что такое вера?” Не дожидаясь моего ответа, стал говорить. Рассказывает, и стало передо мной открываться что-то новое. Вначале показалось увлекательной, доброй и ласковой сказкой – это о жизни Иисуса Христа говорил, а потом, когда перешел к самому смыслу христианства, потрясло меня. Рассказывал о совершенстве человека, добре, зле, стремлении человека к совершению добра. Объяснил, что такое молитва. Сказал о неверии и антирелигиозной пропаганде. И увидел я религию, веру совершенно не такой, как представлял раньше, не увидел обмана, темноты, лживости. Часа три проговорили мы, пока рассвет не обозначился. Я только спросил его: “А вот про попов говорят, что жулики они и проходимцы, как это с верой совместить?” Ответил лейтенант: “Многое, что про священников говорят, – ложь это, но было много и из них плохих. Ко всякому хорошему делу всегда могут из корысти пристать нечестные и плохие люди”. – “Вы не из поповских детей, товарищ лейтенант?” – “Нет, не из поповских, отец врач, мать учительница, оба верующие, и я только верой живу и держусь, а то, что ты в “особый отдел” пошел и обо мне говорил, так это не без воли Божией. Сам услышал, что майор тебе про людей говорил. Там тоже люди есть, и неплохие”. Крепко в душу запал мне этот разговор. Пришли на сборный пункт. Двое раньше нас пришли. Передали по рации донесение и повернули к своим. Два дня еще ходили, пробирались к линии фронта, кругом немецкие части. Разбили немцы нашу группу. Лейтенант да я остались неранеными, остальные полегли. Даже сейчас трудно понять, как к своим попали. Привязался я к лейтенанту, но через месяц перевели его в другую часть на повышение. Началось наступление, ранило меня тяжело. Встреча с лейтенантом Каменевым большой след оставила в моей жизни, заставила задуматься о многом, вероятно, подготовила меня к принятию веры. Хороший он человек был. Отправили меня в тыл. Попал в госпиталь под Вятку– в Киров. Пролежал пять месяцев и два еще в санатории. Рана моя гноилась, началось заражение крови. Лечение не помогало, дальше – больше, и увидел я по лицам врачей, что не выкарабкаться мне, а тут еще в отдельную палату положили, значит, безнадежен. Ждут, когда умру. Жить, конечно, хотелось, но устал я от болей, лечения и ожидания чего-то страшного, неизвестного и давящего. Не смерти боялся, а чего-то другого.

Была у нас в госпитале сестра Марина, худенькая небольшая девушка с карими глазами. Веселая, добрая и удивительно внимательная ко всем раненым. Любили мы ее за чуткость и безотказность помочь нам. Бывало, все выздоравливающие влюблялись в нее по очереди, но она со всеми была одинаково хороша и поклонников держала на расстоянии.

Перевели меня в “отходную” палату, сознание временами теряю надолго, а то впадаю в забытие. Придешь в себя и видишь, что Марина то тебе укол какой-то делает, то лицо от пота протирает, то белье меняет. Лежу я как-то с закрытыми глазами, входит главный врач с группой врачей, обход делает. Палатный докладывает историю и в конце говорит: “Безнадежен, начался общий сепсис”.

Главный врач осмотрел и тоже сказал: “Безнадежен”.

Я лежу в полудреме, но все слышу и понимаю. Не знаю, днем или ночью, вероятно, ночью, пришел в сознание и чувствую, стоит около меня Марина, полупшепотом что-то читает и протирает мне лоб водой. Вслушался в слова и понял: молится она о моем выздоровлении. Открыл глаза, а она мне говорит: “Ничего, ничего, Платон, все пройдет”, – и дала мне выпить воды. Потом я узнал, что вода была святая. Марина продолжала молиться. И так длилось недели две. Принесет в пузырьке святую воду или кусочек просфоры, и мне каждый день дает их, и все молится и молится, как только около меня окажется. Ко мне приходила даже в те дни, когда ее дежурств не было. Выходила и вымолила она меня у Бога.

Когда поправляться начал, много мне о вере говорила, молитвам научила. Ушел я из госпиталя по-настоящему верующим. Она да лейтенант Каменев жизнь мою перевернули полностью.

Любил я Марину, словно мать родную, хотя она моих лет была. Главный врач, направляя меня в санаторий, сказал: “Мы Вас с того света вытащили, но без сестры Марины и наша помощь не помогла бы. Выходила она Вас, в ноги ей поклонитесь”.

Но я-то уже знал, Кто мне вместе с Мариной помог, и дал себе слово, если жить останусь, то, как война кончится, пойду в священники. Сказал об этом Марине.

Отгремела война, демобилизовался я из-под Берлина и приехал в свой Ленинград и, прямо сказать, с ходу в семинарию. Пришел, документы взяли, посмотрели и вернули. Я туда, я сюда – почему-то не принимают. Наконец отдал, и вдруг вызывают в военкомат, да и в другие учреждения вызывали. Стыдят, смеются, уговаривают: “Слушай, Скороино! Ты с ума сошел! Кавалер полного набора орденов “Славы”, других куча, звание старший лейтенант, а ты в попы. Армию порочишь!”

Поступил все-таки. Нелегко учение мне давалось, знаний мало, образование – только семилетка, да и ту давно кончил. Очень трудно было. Да иногда и нарочно кое-кто мешал. Кончил семинарию, захотел в монахи, но тут меня в семинарии на смех подняли: “Куда ты, такой здоровый и во многом еще неопытный, и в монахи, женись, священником будешь”. Откровенно говоря, правы мои наставники оказались – не годился я, конечно, для монашеской жизни, да и где мог к ней готовиться?

Жениться надо, а я учусь в семинарии. Никуда не ходил и ни одну девушку не знаю. Назначение дают мне под Иркутск, а я еще не иерей. Надо невесту искать. Раньше, до войны, много знакомых в городе было, а за эти годы растерял, а учась в семинарии, женщинами не интересовался и о женитьбе не думал, хотя и знал, что для священника это необходимо. Где невесту искать? Пошел в храм и стал молиться, помощи у Господа просить. Долго молился, вышел на улицу, смотрю – на одной ноге кто-то ковыляет, обгоняю, а это бывший капитан из нашего полка.

Забыл сказать, войну-то я закончил старшим лейтенантом, а начал солдатом. Я к капитану бросился. Обрадовались. Он меня к себе пригласил. Разговорились про дела минувших дней, про сегодняшние житейские. Капитан балагур, весельчак, человек добрый, гостеприимный. Рассказываю, что семинарию кончил, должен быть священником, но жениться надо. Вижу, из всего моего разговора понял капитан, что мне жениться надо, а остальное за шутку принял.

“Есть невеста! – кричит. – Нинка, моя двоюродная”. Познакомился я с ней дня через два, понравилась, и, кажется, я ей. Решил жениться, сделал через несколько дней предложение, о себе рассказал. Вначале, что я в священники готовлюсь, тоже не поверила, потом задумалась и дала согласие, только сказала: “Платон! А я-то неверующая”. Ну, думал, неверующая, а каким я раньше был!

Пошел в семинарию, рассказал. Выслушали не очень внимательно и благословили. Женился недели через две, посветили в диаконы, потом в священники. Уезжать надо. Нина мне говорит: “Ты, Платон, поезжай, а мне еще полтора года нужно, чтобы пищевой институт кончить”.

Почему-то это у меня из головы вылетело, знал же, что учиться. Надо ехать. Договорились, кончит – приедет. Откровенно сказать, тяжело уезжать было, полюбил я Нину. Верил, что приедет.

Да и о Нине рассказать надо. Роста невысокого, мне чуть выше плеча, худенькая, стройная, глаза большие, серые. Сама красивая-красивая, подвижная, язык острый, за словом в карман не полезет.

Уехал я за Иркутск. Село большое, церковь закрыта за смертью священника. Запущена, частично разрушена. Кое-как навел порядок, две старушки помогали. Начал служить, а народу только три человека. Страшно стало. Где же прихожане? Но решил служить ежедневно. Неделю, месяц, три служу, никто не идет. Впал в отчаяние. Поехал к владыке в город, рассказываю, что служу, а храм пустой. Что делать? Владыка выслушал и благословил служить, сказав: “Господь милостив, все в свое время будет”.

Зашел я, уйдя от владыки, в городскую церковь, дождался конца службы и подошел к старому священнику, рассказал ему свои горести. Позвал он меня к себе домой, обласкал и сказал: “Господь призвал Вас на путь иерейства. Он не оставит Вас. Все хорошо будет – прихожане придут, и жена приедет. Молитесь больше”. Подружился я с отцом Петром, часто приезжал к нему. Многим он меня поддерживал. Духовной жизни был человек.

Прошло полгода, а прихожан только восемь человек, а я все служу. Материально стало трудно, буквально жить не на что. В свободное время стал подрабатывать, то крышу покрою, то сруб поправлю, то где-нибудь слесарной работой займусь. Во время работы с хозяевами поговоришь, им, конечно, интересно с попом разговор затеять. О вере, бывало, начинали спрашивать, я, конечно,

рассказывал, стали прислушиваться, в церковь заходить. Сперва просто посмотреть, а потом и молиться.

Работу, конечно, делал честно, аккуратно, не хвалюсь, бывало, сделаешь – сам удивишься. Завод ленинградский меня к этому приучил. Заказчиков – хоть отбавляй.

К концу года в храм стало приходиться уже человек восемьдесят-девяносто, в основном пожилые, а по второму году и молодежь пошла.

Первое время в селе ко мне относились плохо, идешь по улице, мальчишки кричат: “Идет поп – бритый лоб”, – а часто просто бранными словами ругали.

Молодежь задирала, смеялись. Придут в церковь, хохочут, мешают службе. Я вежливо их прошу, уйдут, ругаясь. Решили, что я безответный. За год жизни в селе избил меня очень сильно молодые ребята, шел я вечером, вот и напали. Они бьют, я только прошу – не надо, а им смех бить попа.

Очень трудно было. Без Нины беспрерывно скучал, но наконец приехала. Рад был очень, а она сперва приуныла, не представляла своей жизни в деревне со священником. У Нины диплом инженера, устроилась мастером на большой молочный завод в нашем селе. Взяли охотно, хотя и придирались потом, что жена попа Знающая, работающая, она во всем показывала пример

Однажды шли мы с Ниной вечером, напали на нас четверо подвыпивших ребят, меня трое бить начали, а четвертый пристал к Нине. Я прошу их оставить, Нина кричит: “Спасите”, – а ребята бьют меня, а там жену на землю валят. Двое каких-то ребят в сторонке стоят.

Эх! Думаю, о. Платон! Ты же разведчиком был, в специальной школе учился разным приемам, да и силушкой тебя Бог не обидел. Развернулся вовсю. Простите за слова фронтовые, не священнику их говорить, но “дал я им прикурить”. Кого через голову, кого в солнечное сплетение, а третьего ребром ладони по шее, а потом бросился к тому, который на Нину напал. Разъярился до предела, избил четвертого парня и в кусты кинул. Нина стоит, понять ничего не может. Двое ребят, что в стороне стояли, бросились было своим помогать, но когда я одному наподдал, убежали. Собрал я побитых ребят, да здорово еще им дал. Главное, все неожиданно для них получилось, не ждали отпора, думали – тюфяк поп, безответный. Собрал и решил проучить. Стыдно теперь вспомнить, но заставил их метров пятьдесят ползти на карачках. Ползли, пытались сопротивляться, я им еще выдал. Нинка моя хохочет: “Не знала, что ты, Платон, такой! Не знала!” Злой я тогда очень был.

После этого случая относиться ко мне стали лучше, а ребята, которых я побил, как-то подошли ко мне и сказали: “Мы, тов. Платон, не знали, что Вы спортсмен, а думали, что только некультурный поп”. Одного парня я года через два венчал, а у другого дочь крестил.

Понимаю! Осудите Вы меня за эту драку, не иерею это делать, но выхода не было. Если бы один шел, а то с женой. Потом ездил, владыке рассказывал, он очень смеялся и сказал: “В данном случае правильно поступил, а вообще силушку не применяй. Господь простит!”

Несколько лет в селе прожили. В 1955 г. девятого мая отмечали десятилетие Победы над Германией. Председатель колхоза и председатель сельсовета были старые солдаты. Объявили – будет торжественное собрание в клубе. Приглашаются все бывшие фронтовики и обязательно с орденами.

Нина говорит мне: “Ты, Платон, обязательно пойдешь”.

Оделся я в гражданское платье, надел свои ордена и медали, а их у меня много: три ордена Славы всех степеней, еще когда солдатом был, получил, четыре Красной Звезды, орден Ленина, Боевого Красного Знамени, три медали “За отвагу”, две “За храбрость” и медных полный набор.

Прихожу в клуб, здороваюсь с председателем колхоза, узнал меня с трудом, смотрит удивленно и спрашивает: “Ордена-то у Вас откуда?”

Отвечаю: “Как откуда? На войне награжден”. Куда меня сажать, растерялся. Орденосцы в президиуме сидят, а у меня орденов больше, чем у других, но я поп. Потом с кем-то посоветовался и говорит: “Товарищ Платонов! Прошу в президиум”, – и посадил меня во втором ряду. Надо сказать, меня многие называли товарищ Платонов, принимая имя “о. Платон” за фамилию.

Стали фронтовики выступать с воспоминаниями, я подумал, подумал и тоже выступил. Конечно, понимал, что все это может кончиться для меня большими неприятностями у уполномоченного по делам церкви и у епархиального начальства, но хотелось мне народу показать, что верующие и священники не темные и глупые люди, а действительно верят в Бога, идут к Нему, преодолевая все и не преследуя каких-то корыстных целей.

С председателем колхоза я даже сдружился. После этого случая он относился ко мне хорошо. Рассказывал, что ему и председателю сельсовета нагоняй был от районного начальства, что попа с докладом выпустили. Воспоминания в доклад переделали.

Двенадцать лет прожил я в этом селе. Господь по великой милости Своей не оставлял меня с Ниной. Последние годы храм всегда был полон народу, относились ко мне хорошо, и власти особенно не притесняли.

Нина моя, конечно, не сразу к церкви пришла, но теперь, по-моему, куда больше меня в вере преуспела. Верит истинно, службу прекрасно знает и во всех церковных вопросах моя опора и помощник.

Сейчас в город перевели, там и служу. Трудно мне среди городских, но привыкаю.

Вот, кажется, и все главное о моей жизни и о том, какими путями шел я к Богу.

Простите! Вспомнил сейчас, как в первый раз услышал о Боге от верующего человека. Поразила меня эта встреча, заставила задуматься. Прочертила, конечно, какой-то след в моей душе, временами приходила на память, но было мне тогда 14 лет, и жил я тогда в детском доме.

Был у нас преподаватель обществоведения Натан Аронович, фамилию забыл. Любили мы его. Вечера устраивал, диспуты, доклады, водил нас по музеям, руководил кружком антирелигиозной пропаганды, вечно был с нами.

Поступил в детдом парнишка лет 14-ти, Вовка Балашов, видимо, из интеллигентной семьи. Молчаливый, замкнутый. Учился хорошо. Пробыл у нас полгода, и кто-то из ребят заметил, что Вовка крестится. Дошло до преподавателей. Не знаю, о чем они говорили, но были тогда в моде в школах литературные суды над Чацким, Онегиным, Татьяной Лариной, Базаровым и другими героями произведений, которые мы тогда проходили. Обычно суд происходил в зале. Был председатель, обвинитель, защитник и обвиняемый – судимый литературный герой. Преподаватель всегда сидел в стороне и почти в “ход суда” не вмешивался.

Натан Аронович решил устроить показательный суд над Иисусом Христом и христианством. Обвиняемым решили сделать Вовку Балашова, одели его в простыню, чтобы он походил на Христа. С нами Натан Аронович целую подготовку провел по осуждению Христа и веры. Обвинитель – Юрка Шкурин, защитник – Зина Фомина, председатель Коля Островский, человек семь свидетелей и два класса публики – 7 “А” и 7 “Б”.

Мы все страшно заинтересовались, готовились дней десять втайне, от Вовки, но тем временем стали звать его “Христосик”. За день до суда Вовке сказали, что он будет обвиняемым и изображать Христа. Вовка стал отказываться, протестовал, но его не слушали. Потом мы узнали, что многие преподаватели возражали, но Натан Аронович настоял. Мы видели, что Балашов за какой-то один день осунулся и издергался.

Собрался суд! Председатель Коля Островский открыл заседание. Балашов простыню не надел, стоит бледный, ни кровинки в лице. Девчонки его жалеют, нам, зрителям, тоже как-то не по себе. Председатель спрашивает Вовку: “Признаете себя виновным?” Надо было ответить: “Не признаю”, и тогда заседание превращалось в спор нескольких сторон. В какой-то степени это было интересно. Спорили, обсуждали, доказывали, читали отрывки из произведений, цитаты – в результате чего облик “судимого” литературного героя обрисовывался более полно, лучше усваивалось произведение. Вся суть суда заключалась в споре, а Вовка Балашов взял да и ответил: “Я верующий! Суда не признаю, у каждого есть своя свободная совесть”, – и сел.

Начали допрос. Вовка молчит.

Суд растерялся, заведенный порядок нарушился. Натан Аронович сделал знак председателю, чтобы речь начал прокурор. Юрка Шкурин встал и закатил речь: “Пережитки капитализма, кулаки, попы, мощи”, – и закончил опять пережитками капитализма... Хорошо говорил, мы аплодировали. Защитник Зина Фомина тоже долго говорила. Отметила пережитки прошлого, низкую культуру обвиняемого, влияние среды и прочее, и прочее. Вообще ее речь получилась большим обвинением, чем Юрки Шкурина. Мы опять аплодируем. Потом стали вызывать свидетелей. Каждый из них приводил цитаты из антирелигиозных книжек, журналов, и даже кто-то показал карикатуру на Христа из журнала “Крокодил”. Всем было весело и интересно. Председатель вдруг обнаружил, что речи прокурора и защитника должны были быть произнесены после вызова свидетелей, но, увидя, что ничего уже сделать нельзя и довольный ходом суда, предложил последнее слово обвиняемому Балашову.

Натан Аронович сидел довольный и по своей всегдашней привычке, когда был в хорошем настроении, потирал руки.

Думали мы все, что Вовка после всего сказанного откажется от последнего слова, а он встал и заговорил. Словно тяжесть с себя сбросил какую-то, выпрямился и стал даже выше ростом. Заговорил, и мы, что называется, рты раскрыли. Говорит о добре и зле, о чем Иисус Христос учил, почему он верит в Бога, что мы все бедные, жалкие, потому что не верим, что душа и ум наш от этого пусты. Он никогда не бывает один, с ним всегда Бог, “на Которого у него надежда и в Котором сила”.

Говорит, голос дрожит, вот-вот расплачется.

Натан Аронович делает председателю знак, чтобы он заставил Вовку Балашова замолчать, а тот не хочет прерывать Балашова. Вовка закончил словами: “Да, я верующий, и это мое дело. Судить меня никто не имеет права. У каждого человека есть совесть, она свободна, и другие люди не должны навязывать свои взгляды. Я верю в Бога и рад этому”, – и остался стоять.

Говорил хорошо, захватил всех сидящих в зале. Мы ему устроили овацию. Никто из нас не думал, что молчаливый и застенчивый Вовка Балашов так мог говорить, откуда слова брал.

Прокурор, защитник, суд растерялись. Ребята народ честный, поняли Вовку, поняли, что мы не имеем права судить человека за его убеждения, да, кроме того, очень искренней и непосредственной была его речь, не вымученной.

Натан Аронович вскочил и крикнул председателю: “Зачитывайте приговор!” – а Коля Островский смущенно ответил: “Он же не виновен”. И в воздухе повис вопрос: “Кто не виновен? Христос или Балашов?” – и как-то получилось так, что никто не виноват.

Натан Аронович передернулся, лицо пошло пятнами, голос сорвался, и он почти прошипел: “Довольно комедию разводить, нет никакого Христа, христианство – неудачное извращение иудейской религии. Это выдумки. Бога нет. Балашов нес вредный бред. Читайте приговор!”

Председатель Коля Островский посоветовался с “заседателями” и объявил: “Суд решения, ввиду непонятных обстоятельств, не принял”.

Расходились мы с заседания суда с тяжелым сердцем, невеселые. Потом были долгие споры, но что-то засело внутри у каждого из нас.

Недели через две Балашова перевели, по настоянию Натана Ароновича, в детский дом трудновоспитуемых ребят, а любимый преподаватель Натан Аронович потерял нашу любовь, и мы не тянулись больше к нему.

Оглядываясь назад, вижу, что Господь многими путями вел меня к Себе. Лейтенант Каменев, сестра Марина Вовка Балашов, учеба в семинарии, женитьба на Нине трудная вначале жизнь в селе священником, служба в разведке и многое, многое другое, что я не рассказал Вам, были теми ступенями, по которым вел меня Господь”.

Спросила я о. Платона: “Как Вы узнали о. Арсения?”

“В храме, где я служу теперь, есть у меня духовный сын, хороший знакомый и друг о. Арсения, вот и попросил он у него разрешения приехать мне сюда. Вот и приехал. Благодарю за это Бога. Всю жизнь свою в его руки отдал, уезжаю прямо-таки обновленным.

Приеду домой – Нину сюда направлю. Отец Арсений сказал, чтобы приехала”.

МАТЬ МАРИЯ

Долгие годы прожитой жизни со всеми ее радостями, тревогами, трудностями и горем превращаются в конце концов в воспоминания, которые человек несет в себе. Яркие и светлые воспоминания озаряют дальнейшую жизнь, ведут к совершенствованию души, а если они темны и отвратительны, то их стараются забыть, но память не позволяет этого, и тогда воспоминания преследуют, давят и терзают человека. Прошедшая жизнь всегда воплощается в воспоминания.

Я хочу рассказать о людях, жизнь которых не ушедшее прошлое, а подлинная, настоящая жизнь сегодняшнего дня, хотя это возникает из воспоминаний. Истинная любовь обогащает человека, несет ему счастье и постоянно возрождается в новых и новых людях, но есть сила большая, чем любовь, – это самоотречение ради людей, это совершение добра, беспредельная вера в Бога, молитва и помощь своим ближним.

Таковыми людьми были о. Арсений и мать Мария, и я хочу рассказать о них, потому что Вы должны знать тех, кто помогал окружающим, облегчал им страдания, наставлял и вел к Богу, и я уверен, что многие, кто прочтет об о. Арсении и м. Марии, об их делах и поступках, будут черпать оттуда новые силы и находить правильный путь. Поэтому рассказ об о. Арсении и м. Марии не воспоминание, а настоящая жизнь, тот живительный источник, дающий возможность верить и обретать силы.

Для этого рассказа мною использованы записки, которые я вел почти ежедневно. Конечно, в этих записках много субъективного, личного, написанного под влиянием тогдашнего настроения. Перекладывая записки в рассказ, я пытался в какой-то мере освободиться от этого личного, наносного, но, вероятно, это мне не всегда удавалось.

...На отпуск я тогда приехал к о. Арсению. Городок, где он жил, я любил и каждый день путешествовал по его улицам, старинным, полуразрушенным монастырям и храмам. То посещал конец IV века, то попадал в пышный, парадный XVIII век, то в полуказенный XIX-й. Довольно

быстро подружился с работниками музеев, и для меня часто открывались такие красоты и тайны старинны, которые вряд ли могли узнать приезжие или жители этого старинного городка.

Мои 27 лет позволяли мне совершать многокилометровые прогулки по окрестностям, а вечерами, когда о. Арсений бывал свободен, я молился с ним, говорил или присутствовал при разговорах с другими людьми, неизменно получая каждый раз новые знания духовной жизни, людей и веры. Уходя от него, чувствовал я себя духовно обогащенным.

В этот день утром я совершил большой поход в монастырь, построенный в XVI веке. Много сохранилось, но сильно обветшало. Особенно прекрасен был собор, в котором даже сохранился иконостас XVII века. Пришел усталый, отдохнул около двух часов, а вечером, около восьми, приехала к о. Арсению из Москвы незнакомая девушка с запиской. Прочтя записку, о. Арсений сказал мне: “Утром поедem в Москву. Пишет Евдокия Ивановна, тяжело заболела одна знакомая ей монахиня Мария. Выехать придется в пять утра, с первым поездом. Прошу тебя взять три билета и поехать со мной. Пробудем в Москве дня четыре”, – и стал разговаривать с приезжей.

Не успев рассмотреть гостью, я пошел собрать кое-какие вещи для о. Арсения и себя. Уложив вещи в портфель с помощью Надежды Петровны, хозяйки дома, где жил о. Арсений, я вернулся в комнату, но его там уже не было.

Гостья ходила по комнате, рассматривала книги на столе, в шкафах, картины, иконы, висевшие в углу, вещи. Рассматривала довольно бесцеремонно и, видя, что я вошел, не обратила на меня внимания, продолжая так же все разглядывать. Осмотрев и сев в кресло, сказала, обращая ко мне: “Никогда не думала, что современного священника может интересовать искусство, медицина, философия, марксизм. Я думала, что в основном священники знают только богослужение, Евангелие, Библию. Удивляюсь Вашему Петру Андреевичу, – и, внимательно оглядев меня с ног до головы, насмешливо спросила: “Скажите! Вы тоже из этих, как Петр Андреевич?”

Тон ее разговора, бесцеремонность необычайно задела меня, мне стало больно за о. Арсения, и я вызывающе сказал: “Да, из этих! Но прежде чем говорить об о. Арсении в таком тоне, взгляните на книги, написанные им”.

“Книги?” – удивленно повторила она. Открыв шкаф, я показал несколько книг, написанных им. Взяв одну из них в руки и задумчиво перелистывая страницы, останавливаясь и временами читая, девушка, как бы забыв про меня, произнесла: “Ученый и священник! Странное сочетание. Жизнь идет вперед, материализм охватил почти полмира, наука вошла в обиход и сознание человека, знания необозримы, написаны тысячи книг, опровергающих веру, а она живет... Верят ученые, писатели, знаменитые художники, врачи, педагоги, верят миллионы высокообразованных людей на Западе, и в то же время наши церкви полны почти одними старухами, которые, когда я бывала девочкой в церкви, страшно раздражали меня своими поучениями и советами”. И, как бы отвечая на что-то себе, сказала: “Много написано, но никто еще не доказал, что нет Бога, – и, обратившись ко мне, продолжила: – Знаете, я много прочла атеистических книг, но у меня создалось впечатление, что в них не столько доказывают свою правоту, сколько опорочивают религию или спорят с Богом, стараясь доказать Ему, что Его нет. Моя бабушка Катя верит беспредельно, и если бы Вы знали, что это за человек, она лучше всех, и даже моей мамы и отца. Были бы все такие верующие!” И неожиданно спросила меня: “Ну! А Вы как думаете о Боге?”

Я собрался ответить, но увидел стоящего в дверях о. Арсения. С доброй улыбкой смотрел он на свою гостью, и столько было тепла и приветливости в его взгляде, что я решил: отвечать не надо.

“Приготовился?” – спросил он меня.

“Да, завтра пойду к четверем утра на вокзал и возьму билеты, а Вас попрошу к пяти часам прямо к поезду”, – ответил я.

В вагоне ехали молча. Отец Арсений сосредоточенно смотрел в окно. Мимо проходили леса, поля, пролетали станции, переезды, какие-то здания, шли по тропинкам люди, а он, отдалившись от всего, молился.

Девушка, которую звали Татьяной, читала медицинский учебник, а я пытался вчитываться в какую-то повесть. Ехали несколько часов. Два или три раза о. Арсений наклонялся к нашей спутнице и что-то спрашивал.

Москва встретила нас шумом, и было видно, что о. Арсений, привыкший к тихой жизни старинного русского городка, как-то терялся и чувствовал себя неуверенно. Садясь в такси, долго не мог закрыть дверь растерянно смотрел на проносившиеся мимо автобусы троллейбусы, трамваи, автомашины, толпы народа,двигающиеся по тротуарам. Высокий современный дом встретил нас криками детей, разговорами репродукторов, бросавших из окон то музыку, то слова песен, запахом лестничных клеток, хлопаньем дверей лифтов, дробным стуком каблучных “шпилек” об асфальт,

торопливостью прохожих, пронизывающими взглядами пенсионеров, сидевших на лавочках около подъездов.

В квартире стояла тишина, потоки солнца врвались в окна. С дороги вымыли руки. Таня, зайдя к бабушке, что-то сказала и стала поить нас чаем. Я отказывался, а о. Арсений молчал. Татьяна решительно ставила чашки, резала хлеб, сыр, какую-то рыбу. Минут через пять стол был уставлен, вероятно, всем, что было в доме, а еще через десять мы пили крепкий чай.

Мы вошли. В небольшой комнате на кровати лежала старая женщина, положив руки поверх одеяла, лицо было строгим и скорбным, большие серые глаза смотрели на нас пылливо и в то же время ласково.

“Бабушка, вот я и привезла тебе знакомых Евдокии Ивановны”.

“Да, уж давно слышу, давно”, – ответила та, которую Татьяна назвала бабушкой.

“Садитесь, батюшка! – обратилась она к о. Арсению. – А ты, шустрый, тоже садись, послушай. Таня пойдет, делами займется”.

“Почему она назвала меня шустрым?” – подумал я.

Мы сели. На какие-то мгновения воцарилась тишина. О. Арсений, казалось, во что-то вглядывается, о чем-то сосредоточенно думал.

“Вы-то, батюшка, поближе сядьте, рассказывать о себе сперва буду, чтобы знали жизнь мою, а потом уж и исповедуете. Голос у меня теперь тихий”. О. Арсений молча подвинул стул ближе к кровати и опять сосредоточенно всматривался в лицо женщины. Было видно, что он до предела внутренне собрался, и по легкому движению губ я догадался – молится.

В комнате было тихо, странно тихо. Молчал о. Арсений, молчала Мария. Через большое окно, задернутое легкой занавеской, пробивался солнечный свет, на стенах висело несколько литографий с известных картин Нестерова. В углу около кровати, под двумя полотенцами, расшитыми старинной русской вышивкой, висела икона Владимирской Божией Матери. Полотенца были подколоты булавками, было видно, что временами полотенцами иконы завешивали.

Меня поразило лицо лежавшей матери Марии. Когда-то, вероятно, красивое, оно и сейчас, прорезанное сеткой морщин, осталось красивым, но было безмерно усталым и скорбным. Большие серые глаза смотрели на о. Арсения с мольбой и надеждой.

Длинные узкие руки, покрытые тонкой сетью проступающих вен, лежали недвижно, но напряженно, казалось, что вот-вот она обопрется на них и поднимется с подушки. Неподвижность и в то же время напряженность рук придавали им скульптурную окраску. Всматриваясь в руки матери Марии, я невольно представил себе ее характер, и мне вспомнился портрет академика Павлова, написанный Нестеровым, где руки, лежащие на краю стола, напряженные руки мастера-ученого также выражали его характер.

“Благословите, батюшка, инокиню Марию, в миру Екатериной звалась. Расскажу о себе, чтобы знали, кого исповедовать будете. Может, батюшка, это и странно, но отец мой духовный Иоанн сказал мне: “Будешь умирать, расскажи о себе духовнику. Не забудь”. Вот исполняю волю его. Вы уж, о. Арсений, не обессудьте на меня за это – за рассказ”.

Отец Арсений подошел, низко поклонился и как-то по-особому трогательно, любовно благословил лежащую, так же благоговейно и трепетно приняла благословение мать Мария.

“Сиротою я, батюшка, осталась с шести лет. Приютила меня одна бабушка-бобылка. Куски хлеба по деревням собирали, гроши на папертях, тем и жили. Помещица наша, барыня, Елена Петровна, Царство ей Небесное, взяла меня в услужение, а потом, когда к дому привыкла, начала с барышней Наталией Сергеевной играть. Подружкой ее стала. Полюбили мы друг друга. Барыня Елена Петровна справедливая, добрая была. На ней весь дом держался. Полюбила меня, как дочь родную, ласкала, и стала я воспитываться и учиться наравне с барышней. Хорошее время, батюшка, было!

Подросла я, стало 17 лет. Лицом и фигурой Господь не обидел. Бывало, гости меня за барышню принимали. Да Елена Петровна и Наташа за это не обижались. Святые люди, скажу Вам, были.

Сергей Петрович, барин наш, до женщин большой охотник был. Сколько горя и страданий доставлял он Елене Петровне своими увлечениями, а во всем остальном человек был хороший. Царство ему Небесное!

Подросла я, стал меня барин все ласкать, то обнимет, как дочь, то поцелует, а потом стал стараться одну встретить в саду или в комнате. Поняла я, избегала его. Страшно и стыдно было перед барыней и Наташей. Родной меня считают, дочерью, а тут пакость такая и грех ужасный.

С детства я в Бога верила и мечтала в монастырь уйти, даже Елена Петровна, бывало, подсмеивалась и ласково “монашкой” называла. Молилась я всегда подолгу.

Остановит, бывало, меня Сергей Петрович, а я его прошу, умоляю не трогать меня, а он только отвечает: “Дурочка! Счастья своего не видишь”.

А раз случилось, барыня и Наташа уехали в гости, Сергей Петрович тоже куда-то поехал, а у меня в этот день голова разболелась, осталась я дома. Сажу у себя в комнате, вдруг барин входит ко мне и прямо с порога взволнованно говорит: “Люблю тебя, Катя! Уедем. Увезу тебя в Петербург, в Париж”, – и стал меня обнимать. Толкает, платье, белье рвет, а я отталкиваю его. Богу молюсь, говорю в себе: “Помоги, Господи, защити, Мать Божия, не остави меня”, – а Сергей Петрович совсем обезумел, обнимает меня, платье все порвал, говорит что-то. Отталкиваю, борюсь с ним, вырвалась, упала перед ним на колени, плачу, кричу: “Сергей Петрович! Ничего не хочу, пощадите меня семью свою не срамите, себя. Грех это, грех страшный. Не губите! В монастырь хочу”, – а он еще больше озверел. Зарыдала я в полный голос и кричу: “Мать Божия! Помоги!” – и в это самое время открылась дверь, ворвалась Елена Петровна и закричала: “Вон из моего дома! Чтобы ноги твоей больше не было”.

Вскочила я с колен, словно в беспамятстве, и, как была простоволосая, растерзанная, в порванном платье бросилась к двери, а Елена Петровна схватила меня и кричит: “Стой, Катя! Стой! Не тебя гоню, а Сергея. Вон из дома!” – и выгнала. Около года дома не жил.

Обняла она меня, приласкала, сама расплакалась: “Прости меня, Катя! Усомнилась я в тебе, следить стала, а сейчас, стоя за дверью, все слышала. Все поняла”, – и целует, целует меня, а я рыдаю, остановиться не могу. Святая, праведная женщина была.

Недолго я у них после этого прожила, в монастырь просилась. Отговаривала, не пускала меня Елена Петровна.

Ездил к нам часто один инженер-путеец, сын хорошей подруги Елены Петровны, за мной ухаживал. Уговаривала меня Елена Петровна замуж идти, приданое большое давала, а я все свое. Монастырь да монастырь. Поехала Елена Петровна со мной в монастырь, игуменья у нее там дальней родственницей была. Переговорила, вклад за меня внесла, и стала я послушницей.

Плакали Елена Петровна и Наташа, расставаясь со мной, а про меня и говорить нечего. О Господи! Каких людей посылаешь Ты. Слава Твоя в них.

Хорошо в монастыре было. Многому научилась и многое познала. Много хороших людей встречалось, дали узнать, как к Господу идти. В хоре пела, службу изучила, шить научилась, потом все в жизни пригодилось. Недолго в обители побыла – пять лет с небольшим. Пришла в четырнадцатом, а в 1919-м стали молодых послушниц выселять из монастыря. Год еще в деревне на частной квартире была, недалеко монахини жили, их навещала, а потом уехать пришлось. Председатель сельсовета проходу не давал, пристал, ко мне.

Уехала под Рязань, в церковь уборщицей. Хороший наставник был отец Иоанн, вел меня по-монастырски. Великой души был человек и молитвенник большой, да недолго я там прожила. Церковь закрыли, а о. Иоанна выслали в Сибирь. Переписывалась с ним. Старенький он, недолго в ссылке прожил. Очень много он мне дал, грешно сказать, но больше, чем в монастыре.

Уехала я под Кострому, знакомая там была, опять при церкви жить стала. Вначале все хорошо было, да о. Герасим, настоятель, вдруг стал очень ласков, а как-то вечером службу кончил, я храм убирала, и вдруг напал на меня, с ног сбил, хотел насиле совершить. Я прошу его оставить меня, отталкиваю, борюсь с ним, а он словно зверь, сквернословит и хочет своего добиться. Ударил я его в лицо больно. Избил меня, живого места не оставил, платье порвал в клочья. Еле вырвалась, убежала, а через два дня меня по его доносу в милицию забрали за злостную агитацию. Три месяца просидела в тюрьме. Помогли люди, и начальник из отдела по-хорошему отнесся. Выпустили.

Уехала. С большим трудом поступила на швейную фабрику, шить-то умела, потом на курсы медицинских сестер устроилась. Кончила, ушла с фабрики в больницу хирургической сестрой. В Москву перебралась, помогла одна монахиня, она водной из Градских больниц работала и меня туда устроила. Вот с 24-го года там и работала, на пенсию недавно ушла.

С Еленой Петровной и Наташей все время переписывались. Разбросала их жизнь в разные стороны. Сергей Петрович в 19-м году умер, а Елену Петровну проводила в 27-м на кладбище, приехала в Москву на операцию, у нас в Градской лежала. Года не прожила. Наташа в Москву ко мне часто приезжала, да и я к ней ездила. Тяжело жила, много страдала. Погибла вместе с мужем в 1937-м.

Подружилась я в больнице с врачом, пожилая, душевная. Всю себя больным отдавала, звали ее Верой Андреевной, муж бросил, двое детей осталось: Алексей и Валентина, мать Татьяны, что Вас сюда привезла.

Стали мы с Верой вдвоем детей воспитывать. Трудно было. Бог помог, на ноги поставили, но в 43-м взяли Алешу на фронт, и через три месяца погиб он.

Вера Андреевна на фронте была в госпитале, а я в больнице сестрой. Валентина на фронт рвалась, но потом поступила в медицинский институт, замуж вышла. Первой Ксения родилась, потом Таня, и я стала второй бабушкой.

Вот и жизнь вся моя, батюшка. То в больнице, то дома по хозяйству. Какая уж монахиня? Сами видите! Все житейское, обыденное. Прости меня, Господи! Самое главное-то забыла. В 35-м году сподобил меня Господь стать монахиней, и дали мне при постриге имя Мария. Постриглась тайно, свои-то через несколько лет узнали. Так и жила по-мирски, одно название – монахиня. Сама знаю, грех большой! Не получилось из меня монахини, не получилось! Молиться любила, в церковь стремилась, и ничего не получалось. Дежуришь ночью, только про себя молиться начнешь, звонок, в палату бежишь к больному или сидишь около тяжело больного, оперированного. В операционной стоишь, все внимание и мысли – не перепутать, не опоздать инструмент подать, а дома готовка, разговоры, дети.

До молитвы и не дойдешь, разве только в дороге, на улице. Бывало, за весь день десятков раз успеешь сказать: “Господи! Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй, меня грешную”. Ночью перед сном молиться начнешь, сил нет. Валишься на кровать. И хороших дел сделать не могла, все в житейских хлопотах. На пенсию вышла, молиться много начала, в церковь хожу, а людям помогать сил не стало. Старая я, слабая теперь. Вот и стремилась в монахини и не оправдала обета, мною данного. Великий грех на мне! Великий! Еще когда в обители жила, была несколько раз у одного великой жизни старца, и он, благословляя меня в последний раз, сказал: “Людям добро неси и молись больше, в этом монаха спасение. Долгой, Екатерина, будет твоя дорога к монашеству. Многие испытания пройдешь, но Господь не оставит тебя. Иди!” То же и о .Иоанн рязанский мне говорил. Не выполнила я их заветов. Грешила много, замуж чуть не вышла, это в 30-м году было, да Господь остановил меня.

Мечтала с малых лет, стремилась к монашеству и после поступления послушницей в монастырь только через 20 с лишним лет стала монахиней, да при этом плохой. Вот, батюшка, жизнь моя! Рассказала по завету духовника, чтобы знали меня доподлинно перед исповедью.

Позвала я Вас, батюшка, с великим трудом и не чаяла, что Вы ко мне приедете. Еще позавчера была в церкви, и силы были, но пришла домой вечером и поняла, что наступил час воли Божией. Говорю Вале и Андрею Федоровичу, что умру во вторник, не верят, смеются. Чудишь, отвечают, бабушка. Благо, сами врачи, все по очереди меня слушали, знакомого вызвали, говорят, сердце внезапно ослабло. Я-то знаю, что уже ничего не поможет. Спасибо, Евдокия Ивановна, дочь Ваша духовная, взяла на себя смелость к Вам с письмом Таню послать. Не блажу я, батюшка, а знаю, что умру. Валентину и Таню в вере воспитывала, да только верят они по-своему, по-интеллигентному. Грех мой, и большой, не сумела дать, что хотела. Спросите меня за это Господь.

Андрей Федорович – добрейшей души человек. Людям много добра несет. Слова против никогда не сказал, но третий десяток с ним живу, а до конца не поняла. Может, и верующий, но очень скрытный. Исповедуйте меня, батюшка, а ты, шустрый, пойдешь в комнаты, к Тане.

Отец Арсений во время рассказа Марии был необычно серьезен, сосредоточен, и в то же время взгляд его был как-то по-особому светел. Когда я встал и уходил, о. Арсений сказал матери Марии: “Милость Господа всегда с нами, и воля Его над нами”.

Я вышел и сел в большой комнате у окна. Рассказ матери Марии, откровенно говоря, не произвел на меня какого-то особого впечатления. Жизнь ее показалась обыкновенной, у многих людей жизнь была намного сложнее, мучительней и более подвижнической. Серьезность и какую-то особую взволнованность о. Арсения к рассказу матери Марии я объяснить себе не мог. Жизнь как жизнь.

В кухне чем-то шумела Татьяна. Посидев минут тридцать один, я пошел к ней. В фартуке, чистила она у раковины картофель, на холодильнике лежал учебник, в который она временами заглядывала.

“Ну, наговорились и пришли мешать. Готовлю и учусь, – я повернулся и пошел в комнату. – Да бросьте обижаться, недотрога! Я еще вчера поняла, как Вы обиделись, когда сказала – Вы тоже из этих? Берите чистилку и принимайтесь за картошку. Есть ведь тоже будете?” – смеясь, сказала она. Я взял чистилку. Татьяна дала фартук и уступила место у раковины, спросив с тревогой в голосе: “Как бабушка?” Я пожал плечами, что я знал? Татьяна, повернувшись ко мне, сказала: “Если бы Вы знали, что это за человек! Как много сделала для бабушки, папы, меня с Ксенией. На ноги нас поставила, воспитала, вся семья на ней все годы держалась. А скольким людям помогала! Скольким!!”

Ночами бесплатно дежурила, без просьб, у незнакомых больных, выхаживала их, ходила к другим на дом, помогала и помогала. Не спрашивала: “Помочь?”, а просто отдавала себя людям без остатка. Ни секунды, ни минуты не жила для себя. Папа скрытный, молчаливый человек, но любит

бабушку больше мамы, Ксении, меня, своей матери и не потому, что она его выходила во время инфаркта. Не потому! Любит и уважает за дела ее и неотказную помощь людям. Скольким людям бабушка принесла добра и не сосчитать, и все за счет себя, своего здоровья, сил, времени, сна. Подруги мои придут ко мне, разговаривают с бабушкой и потом советоваться ходят, как к любимой матери. Подарок сделает она человеку – и всегда такой, какой ему нужен и приятен. Мы, родные, привыкли к ней и поэтому многого не замечаем, а посторонний человек, соприкасаясь с ней, сразу доброту ее заметит. Нелегко ей у нас. Иконы и то не вешает. Не хочет. Папа ей сколько раз говорил: “Вешайте, бабушка, в комнату Вашу никого впускать не будем”. Не вешает, стеснить нас боится, отвечает: “В церкви помолюсь, там икон много”.

Знаем, переживает, что мы неверующие. Да не так все. Верим, конечно, но не так, как бабушка. Верим по-своему. Рассказывая, Таня плакала, не стесняясь меня. Кончив готовить, перешла в комнату и с нетерпением ждала выхода о. Арсения. Говорила со мной, рассказывая о матери Марии.

Часа через три из комнаты матери Марии вышел о. Арсений и сказал Тане, что бабушка просит ее к себе. Сняв епитрахиль, сел в кресло и погрузился в глубокое раздумье, ничего не замечая вокруг себя. Таня входила, уходила, звонила по телефону, приходил врач, а он сидел, строгий, сосредоточенный, ушедший в себя. Я, чтобы не мешать, вышел на кухню, мне думалось, что о. Арсений молится. После ухода врача и каких-то дел Татьяна пришла на кухню.

“Что сказал батюшка?” – спросила она меня шепотом.

“Не знаю, не спрашивал!” – ответил я так же тихо.

“Врач сказал, что наступила резкая сердечная недостаточность и вообще все очень серьезно. Я тоже бабушку слушала. Звонила папе и маме на работу”, – и тихо заплакала, прижавшись головой к краю стола. Три часа тому назад услышанный мною рассказ матери Марии казался мне обыкновенным и простым, жизнь как у многих, но то, что говорила Татьяна, раскрывало человека совершенно по-другому, и жизнь, с которой я столкнулся, стала сейчас невольно частью и моей жизни, и я что-то взял на себя.

Отец Арсений соприкоснулся с бесчисленным множеством людей, Принял на себя их Страдания, муки, примирил этих людей с жизнью или с наступающей смертью. Он, о. Арсений, всегда помнил этих людей, мучительно переживал за них, старался помочь живущим и молился о живых и мертвых беспрестанно. Я знал, что в лагерях о. Арсений видел и перенес очень много, он встречался с необыкновенными людьми. События, встречи тех лет оставили на нем глубокий след, и мне казалось, что теперь ничто не может поразить его. Что же поразило его сейчас?

Пришла мать Татьяны, Валентина Ивановна, что-то говорила с Таней, поздоровалась с о. Арсением и мною и ушла в комнату матери Марии. Пришел Андрей Федорович и, поздоровавшись с нами, также прошел к своим. Из комнаты матери Марии донеслась громко сказанная им фраза: “Живем, бабушка Катя!” – и сразу все стихло. Минут через десять вышла Валентина Ивановна и, обратившись к о. Арсению, сказала: “Бабушка вас обоих просит зайти”.

“Проститься хочу, о. Арсений, со всеми”, – сказала мать Мария. Спокойная и радостная, лучезарная, лежала она на кровати, одетая в черное платье. Прощание было тяжелым для всех домашних. Благословляя, мать Мария каждому громко говорила слова, которые, вероятно, были понятны особенно тем, кому говорились.

Андрей Федорович плакал, плакал, по-детски всхлипывая, и никак не мог отойти от Марии. Я стоял около о. Арсения. Мать Мария вдруг обратилась ко мне: “Подойди, милый! Простись и ты со мной, не зря ведь приехал. Подойди!”

Благословляя меня, она громко сказала: “Таню мою не забывай и не обижай”. Странными и непонятными показались мне тогда эти слова.

Отец Арсений, стоявший в момент прощания в углу комнаты, подошел после меня к матери Марии и трижды благословил ее наперсным крестом, потом низко-низко склонился три раза, почти касаясь головой пола перед ней. Выпрямившись, он остался стоять – прямой, строгий, с просветленными, радостными глазами. Казалось, что он увидел что-то особенное, таинственное, радостное и боится нарушить это великое и увиденное.

...Похороны окончены. Щмящее чувство грусти еще живет во мне. В памяти возникают отдельные слова матери Марии, разговоры, прощание. Растерянные, подавленные лица родных и сосредоточенное, напряженное лицо о. Арсения. Тягостное расставание с матерью Марией волнует меня и расстраивает, хочется чем-то помочь, отдать часть себя, чтобы им стало лучше, легче, но беспомощен. Грустно, тяжело, больно. Прощаемся. В квартире только родные и Евдокия Ивановна. Валентина Ивановна, прощаясь, подходит под благословение к о. Арсению, Ксения делает это как-то смущенно. Татьяна с широко открытыми глазами подходит к о. Арсению, хватает его за руку, потом обнимает его несколько раз, целует порывисто и смущенно. Лицо о. Арсения озаряется доброй

улыбкой, той улыбкой, когда она проходит сквозь грусть раздумий и боли. Андрей Федорович топчется смущенно, не зная, как надо проститься со священником, который понравился ему как человек, сделал у них в доме много доброго и хорошего, и в то же время этого священника надо отблагодарить. Андрей Федорович долго жмет руку о. Арсению, благодарит, зовет заходить и в конце концов пытается дать деньги, как обыкновенно дают за визит докторам, но рука его повисает в пространстве, а о. Арсений обнимает и целует Андрея Федоровича, улыбаясь широко и открыто. Со мной прощаются, как со старым знакомым, и зовут заходить, Татьяна тоже приглашает приходить. Простившись, о. Арсений низко кланяется и обращается ко всем со словами: “Благодарю Вас, что позвали меня и дали возможность увидеть замечательного человека, настоящего подвижника, христианина, приносившего людям только добро и радость. Я многому научился, много узнал прекрасного от матери Марии. Спасибо Вам. Это редкий, исключительный человек”.

Еще раз склонившись в глубоком поклоне, спокойный и строгий, о. Арсений вышел. Мы идем втроем: о. Арсений, Евдокия Ивановна и я. Отец Арсений молчалив и сосредоточен. “Пройдемся по Москве”, – говорит он мне. Я отдаю небольшой портфель с вещами Евдокии Ивановне, она идет домой, а мы по улицам города. Садовое кольцо. Кривые переулки, узкие улицы, темные облупленные дома и новые – высокие, окруженные палисадниками, деревьями, кустами. “Я хочу посмотреть Москву”, – говорите. Арсений. Ловлю такси, едем к Кремлю. Солнечно, немного ветрено, и от этого легко, свободно дышится. Медленно входим через Боровицкие ворота, поднимаемся в гору, идем вдоль стены, огибаем соборы и подходим к колокольне Ивана Великого. Я отстаю, мне кажется, что о. Арсений хочет побыть один. Он идет медленно, оглядывая каждый выступ, каждый завиток в камне, вырубленный многие столетия тому назад.

Успенский собор. Народу сегодня немного. Фрески, иконы, тонкие шнуры заграждений, гробницы, надписи, фрески, иконы, мощи святителей. В этом соборе всё прошлое русского народа. Его вера, величие, чаяния, надежды, потерянные надежды.

Иконы и фрески... Около них подолгу стоит о. Арсений, задумчивый, сосредоточенный и суровый. Стена собора, где лежат святители московские – митрополиты Алексей и Петр.

Отец Арсений медленно подходит, склоняется в трехкратном поясном поклоне, кладет крестное знамение на себя и продолжает еще долго стоять неподвижно. В тот момент, когда он склоняется, метров за шесть от него раздается голос: “Гражданин! Здесь музей и молиться нельзя!” Не оборачиваясь, о. Арсений продолжает по-прежнему стоять там, где несколько столетий назад были погребены святители Москвы.

Медленно обходит собор, долго-долго стоит у иконостаса, вглядываясь в иконы, лики святых. Временами застывает на месте или по несколько раз возвращается к одной и той же иконе. Переходим в Архангельский собор, идем на Красную площадь к Василию Блаженному, берем такси и едем. Отец Арсений называет то одну, то другую улицу, останавливает такси, выходит, осматривает храмы, обходит их. Смотрит подолгу и внимательно.

Их много, открытых или закрытых церквей: маленькая Трифона Мученика, Андроньевский монастырь, Донской.

Таксист спрашивает меня: “Что, дед – турист или ученый?” “Ученый”, – отвечаю я.

Едем на три кладбища. Отец Арсений минут по тридцать ходит, где-то сперва на Ваганьковском, потом на Введенских горах и Пятницком.

Таксист, молодой парень, нервничает. Я успокаиваю, отвечаю: “Расплатимся! Не обидим!”

Возвращаемся в центр. Долго петляем по переулкам бывшей Остоженки – Метростроевской, Пречистенки – Кропоткинской. Останавливаемся около старинных особняков, маленьких деревянных домишек, расположенных в глубине дворов и вот-вот готовых рассыпаться.

Иногда подъезжаем к какому-то месту и видим новый дом, построенный два-три года тому назад, вместо стоявшего и известного ранее о. Арсению. Медленно проезжаем Сивцев Вражек, Молчановку, едем на Таганку, оттуда на Швивую горку и к храму великомученика Никиты, и недалеко от него о. Арсений подходит к старому, облупленному дому и долго стоит около него, всматриваясь в окна, двор, окружающие дома. Издалека мне кажется, что он смахивает с лица набегающие слезы.

Едем в Замоскворечье к Евдокии Ивановне. Уже вечер, почти семь часов. Евдокия Ивановна начинает что-то хлопотать по хозяйству, ставит тарелки, но о. Арсений вдруг встает и говорит нам: “Я скоро приду!” Пытаюсь пойти с ним, но он не хочет, чтобы я шел, и уходит. Остаемся растерянные и подавленные, полные тревоги за него, и я начинаю перебирать события этих дней: неожиданность поездки в Москву, смерть матери Марии, моя встреча с Татьяной, похороны матери Марии, какое-то углубленно-серьезное состояние о. Арсения, постоянная его озабоченность, поездка по Москве.

Москва! Город его детства, юношества, становление характера, убеждений. Здесь, еще учась на третьем курсе, написал первые статьи и вскоре книги, стал известным ученым. Здесь, в Москве, принял монашество и иерейство, долго служил в церкви, потом уехал в подмосковный город, где создал общину, которую любил и все время поддерживал. Еще в Москве он заложил во многих людях первый камень веры и построил на нем крепкое здание будущей общины.

В новый город приезжали люди из Москвы, и было не трудно сказать, кого было больше в этой общине, московских или местных, – конечно же, москвичей.

Он любил новый город, там он возрос духом, но здесь, в Москве, городе его детства и становления, был заложен фундамент веры. Здесь он научился любить людей. Здесь, в Москве. Вот почему так дорога она ему. Вот почему сегодня так взволнованно смотрел о. Арсений отрывки своей жизни, вспоминая дорогое ему прошлое. Но почему он необычно серьезен? Почему?

Сквозь его внешнюю, несвойственную ему суровость, проглядывала затаенная грусть, видимо, вспоминались давно ушедшие любимые люди. Но еще много осталось в Москве, очень много, тех, кого любил и знал о. Арсений, и почему никого не позвал к Евдокии Ивановне или не поехал к своим духовным детям, как делал всегда, приезжая сюда? И опять у меня возникло это “почему?”. Но мне ли это знать?

Около девяти часов вечера о. Арсений пришел радостный, оживленно стал рассказывать, как поехал в церковь и встретил там много своих подмосковных знакомых и друзей (он никогда не говорил “духовные дети” или “мои духовные дети”).

“Увидев меня, поразились, спрашивают, как это я оказался в Москве, да еще в церкви. Вы извините, Евдокия Ивановна, сказал, что остановился у Вас, придут, вероятно”, – и действительно, скоро стали раздаваться звонки, и в квартиру набралось человек 16. Многих я знал. Оставшееся время вечера и большую часть ночи о. Арсений исповедовал и говорил с пришедшими. Выехали из Москвы в 11 час. дня. Утром пришло еще несколько человек, а трех или четырех человек о. Арсений сам пригласил по телефону, это были “лагерники”, как, смеясь, называли мы между собою духовных детей, друзей и знакомых, долго проживших с о. Арсением в разных лагерях.

Усталый, невыспавшийся, но удивительно радостный уезжал о. Арсений из Москвы. Провожало его много знакомых, в общем, все, кто успел узнать о его приезде. На вокзале была Татьяна, кто-то сообщил ей об отъезде.

После приезда домой о. Арсений два дня отдыхал. Входила к нему в комнату только Надежда Петровна, рассказывая нам потом, что он все время служил и молился.

Дней через шесть-семь позвал меня о. Арсений на прогулку. Миновали окраины городка и вышли на берег реки к полям. Проселочная дорога, петляя, врезалась в поле колосющейся ржи. Взлетали птицы, несильный ветер склонял к земле рожь, легко продувал одежду, шевелил волосы. Шли молча, дорога ушла в сторону, и мы, почти касаясь друг друга, пошли по тропинке. Солнце спускалось к горизонту, тени удлинялись, дышалось легко и свободно.

Весь уйдя в себя, отдалившись от окружающего, безучастно скользя взглядом по тихо колеблющейся ржи, удлиненным теням трав, оранжевому шару солнца, петляющей тропинке, шел он, погруженный в мысли, известные ему одному, или молитву... Он шел, забыв про меня, поле, травы, рожь, солнце. Временами замедляя шаг, казалось, что он куда-то всматривался. Рожь в низинах доходила нам до плеч, прикрывая часто горизонт, но, когда мы поднялись на пригорок, огромное поле открылось полностью, упираясь одним краем в чернеющий лес. Ветер стих. Отец Арсений остановился и сказал мне: “Вы помните смерть матери Марии? – и, не дождавшись ответа от меня, продолжал: – В жизни моей было много, очень много встреч с людьми, и из каждой встречи выносил я новое, нужное и глубоко поучительное и всегда ощущал волю Божию, Его великий промысел, Божественную мудрость. Не было в моей жизни больших и малых встреч, человек всегда оставался человеком, и, каким бы он ни был, подобие образа Божия всегда жило в нем. Только в одном случае греховность заставляла бледнеть этот образ, или великая сила подвига во имя Бога и близких заставляла сверкать, озаряла человека, делая его подобным ангелу Божию. Три раза в жизни разрешил мне Господь увидеть великих подвижников, встреча с которыми была духовным счастьем, обогащением, радостью, откровением Божиим. От каждого человека уносил я хорошее, брал лучшее, у каждого я учился, но исповедь в лагере о. Михаила, встреча на далеком севере с простым сельским священником о. Иоанном и матерью Марией были для меня откровением, являлись переломным духовным рубежом, заставлявшим совершенно заново оценивать и понимать жизнь, людей и весь пройденный мною путь. Ты слышал рассказ м. Марии, но я видел, что вначале ты не оценил и не понял всего. Жизнь ее показалась тебе обыденной и простой. Да и не только ты, а и домашние, окружающие ее, не видели это. С близкого расстояния видишь камень горы, а не всю гору, так бывает с жизнью человека.

Вдумайся, взглядишь в ее жизнь. Это же полное отречение от себя ради Господа и людей, ближних своих. “Девочка-кусочница”, сирота, тянущаяся к Богу, барышня в богатом доме помещицы и опять тяга к Богу, стремление. Послушница в монастыре, уборщица в храме, где настоятель – насильник, работница, медицинская сестра, и всюду, всюду, где бы она ни была, мысль о Боге, огромная, горячая помощь людям. Мысль, стремление к Богу и бесконечное, беспредельное растворение собственного “я” в людях, ради них, для них. И вот этого-то ты не уловил, не увидел в ее рассказе, не почувствовал.

Я, слушая рассказ о ее жизни, волновался, внутренне удивлялся силе ее духа, поражающему стремлению к Богу, побеждающему все препятствия, трудности и невзгоды. Предсмертная исповедь м. Марии еще более открыла мне совершенство ее души, великое смирение и любовь к людям, и все это было совершено в обыкновенной нашей жизни, среди окружающих нас людей, современной убивающей суеты. Незаметность совершаемых ею дел, скромность и полное личное сознание малости делаемого еще более подчеркивают величие подвига, совершенного м. Марией. Мать Мария умела терпеть, а это самое главное в жизни христианина – уметь терпеть и не думать, что этим совершаешь подвиг, и, делая добро людям, неся его им, помнить только, что перед тобой человек, брат твой, который страждет и которому нужна помощь, и ты приносишь эту помощь не от себя, а от Бога и во имя Его. Мать Мария умела делать так, забывая себя. Внимая исповеди ее, я радовался всему, возвышался духом. Даже грехи ее, а они были, являлись той мерой оценки человека, его поведения, когда исправление их являло собой победу духа над плотью, торжество веры над грехом. Не забывай эту семью. Мать Мария дала им много. Не забывай”.

Я не забыл. Мы с Татьяной остались вместе, примерно через год она вышла за меня замуж. Каждый из нас помогает друг другу теперь.

Отец Арсений остановился и, оторвавшись от своих мыслей, оглядел поле. Было такое впечатление, что он только сейчас вдруг осознал, что мы стоим среди ржи, солнце уходит к лесу, пахнет мятой, полынью, и то, что мы шли по петляющей тропинке в теплый летний вечер.

Тронув рукой колосья ржи, наклонившись и сорвав какой-то цветок, он, чуть заметно улыбнувшись, сказал: “Жить мне осталось мало дней, поэтому встреча с м. Марией была мне необходима. Господь послал ее, дабы показать праведницу нашего века и еще и еще раз смирить меня”.

Шли обратно. Отец Арсений как-то оживился, пытливо разглядывал далекий силуэт города, купола, храмы, колокольни. Много рассказывал мне о людях, которых знал когда-то и любил. Был радостно-светел, но глаза становились задумчивыми и печальными.

Подходя к городку, о. Арсений, обернувшись ко мне, сказал:

“Действительно! Чего может достичь человек с помощью Божией. Мать Мария! Мать Мария!! – произнес он несколько раз и, как бы продолжая только ему известную мысль, сказал: – Все видеть, все понять, все знать, все перенять, все формы, все цветы вобрать в себя глазами, пройти по всей земле горячими ступнями, все воспринять и снова воплотить...” Эти стихи написал очень хороший человек, замечательный поэт Максимилиан Волошин. Он любил людей, делал много добра, шел каким-то только ему известным путем к Свету, он так же, как и м. Мария, совершал все для человека, но Бог для него был абстракцией, условностью, и поэтому дорога его была извилистой, он вечно возвращался вспять. Дошел ли он до конца пути своего, знает только Господь, но душа его и жизнь были хорошими.

Я знал его, но шел 1925 год, и много было тогда трудностей, много было колебаний.

Мать Мария, простая русская женщина, и знаменитый поэт - оба шли к одной цели, но как различны были их пути!

Господи, прости нас!”

Мы подходили к дому.

К. С

“МАТЕРЬ БОЖИЯ! ПОМОГИ!”

На второй день войны – 23 июня – мужа взяли на фронт, и я осталась одна с Катей.

Ночные тревоги, залпы зенитных батарей, мечущиеся по небу темные лучи прожекторов, вой сирен, воздушные заграждения из сигарообразных аэростатов, висевших над городом, и тревожные сообщения Информбюро об оставлении городов и целых областей делали лица людей скорбными и тревожными. Слова “война” и “фронт”, казалось, вытеснили из жизни людей все другие чувства и переживания.

Такой была Москва 1941 года.

При каждой бомбежке я с Катериной бегала в подвал, расположенный под домом, и сидела там до конца тревоги, тысячи и тысячи раз переживая происходящее. На сердце постоянно было чувство страха, и казалось, что обязательно случится что-то плохое и непоправимое. Письма от мужа приходили редко, а мои он совсем не получал. Часть, где он находился, непрерывно перебрасывалась, номера полевой почты менялись, и поэтому мои письма не доходили. Муж спрашивал, почему я не пишу ему, а я ничего не могла поделать, писем от моих не получал.

Многих детей из Москвы эвакуировали, вывезли и детский сад, где была Катя, но она из-за болезни осталась со мной. Приходилось работать и сердобольным знакомым подбрасывать дочь на день. В сентябре эвакуировали мое учреждение, но Катя еще болела, и мне пришлось остаться. В начале октября Катя поправилась, но уехать с каким-либо учреждением я уже не могла. Немцы прорвали фронт и двигались к Москве, что-то грозное и страшное нависло над каждым человеком. Город пустел, уезжали поездами, на автомашинах, уходили пешком. Преодолевая множество трудностей и препятствий, мы выехали. Путешествие было кошмарным. Все, кто мог, мешали, ругали, пересаживали, выбрасывали из вагона. Поезд три раза бомбили, а за Рязанью ночью в довершение всего меня обокрали. Давка, скученность, холод в вагонах были невыносимыми, и, вероятно, от этого пассажиры ненавидели друг друга, подозревая всех и каждого в самых худших намерениях, и относились подозрительно к каждому человеку. Пословица “человек человеку волк” в дороге подтвердилась. Хороших людей почему-то не встречалось. В дороге Катя простудилась, беспричинно плакала и жаловалась на головную боль. Проехали Урал, началась Сибирь. За окнами вагона заснеженные степи, редкие станции. Дует сильный ветер, мороз, пурга. Наконец поезд дошел до города, куда мы ехали. Собрали свой жалкий скарб и вышли. За пределами перрона лежал старинный сибирский город. Холодный, чужой и неизвестный.

Куда идти, где остановиться? Чем жить? И я поняла все безрассудство моей поездки, эвакуации из Москвы где были знакомые, квартира, работа, пак. Было утро. Тянул из степи пронизывающий ветер. Я стояла растерянная, оглушенная, испуганная неизвестностью, суетой вокзала. Нет денег, вещей, карточек. Пошла в городской военкомат, там очереди. Толкнулась туда, сюда, всем не до меня. С трудом пробилась к какому-то майору. Говорю, муж на фронте, офицер, я из Москвы. Показываю документы, прошу, тяну Катю за руку. Ответил так: “Приезжих много, помочь не могу. Город забит людьми. Сами устраивайтесь”, – но дал два талона на обед. Что делать? Пошли, быстро пообедали и двинулись на рынок продать шерстяную кофточку, что была на мне. Стоим, предлагаем, но никто не берет. Таких, как я, продающих, много, а покупателей нет. Стало смеркаться. Катя плачет, замерзла, устала, хочет спать. Решила ехать на вокзал, а дальше – что будет, то будет. Сели на трамвай. Тащится медленно по каким-то улицам. Окна в трамвае затянуты льдом, ничего не видно, знаю только, что вокзал – конечная остановка. Продышала на окошке в льдинке пятно и стала смотреть, где едем. На душе злость, раздражение на всех и вся. Трамвай остановился и долго не шел, я взглянула в окно и увидела стоящую в глубине улицы церковь. Люди тянулись к ее дверям. Входило много народу. Что-то заставило меня подняться и выйти из трамвая и пойти в церковь. Держа Катю за руку, я вошла.

Была какая-то служба. Церковь только заполнялась, и я, раздвигая стоящих, прошла вперед и встала перед большой иконой. В церкви было тепло. Я развязала Кате платок и расстегнула шубу. В голове билась только одна мысль – что делать? Куда деваться? Катя со мной, мы голодны, одиноки, без пристанища. От усталости, голода и волнения церковь, иконы, стоящий рядом народ качались иплыли перед моими глазами. Если бы я была одна, тогда случившееся не страшило бы меня, но со мной была четырехлетняя дочь. Хотелось кричать, требовать, просить, плакать, но к кому обращаться, кого просить? Зачем мы пришли сюда? Сколько мы стояли, я не знаю. Только Катя дернула меня за рукав и громко сказала: “Мама, я устала стоять!” Кругом зашептались, а стоящая около иконы старуха негромко сказала, обращаясь ко мне: “Ребенков на ночь глядя от нечего делать водят. Нашла, где стоять”, – и стала оттеснять меня от иконы. Церковь уже наполнилась народом, и мне некуда было двигаться. Даже здесь гонят, подумалось мне, а еще проповедуют добро, и я подняла глаза на икону, перед которой стояла.

С иконы на меня смотрели глаза Божией Матери. Лик был наклонен к младенцу, а Он, обняв ручонками Мать, тесно прижался Своей щекой к Ее лицу. И в этом взаимном объятии чувствовалась необычайная любовь и желание защитить Сына от кого-то и согреть его великой Любовью, данной только Матери.

В глазах Матери Божией было столько глубокой лучистой теплоты, что, смотря в них, каждый чувствовал и находил спокойствие и утешение. Взгляд Божией Матери, устремленный на молящихся, был полон грусти, жалости и тепла, он вселял надежду и утешал. Вера моя всегда была слабой и ничтожной. В детстве мама учила меня молиться “за папу, за маму” и заставляла учить “Отче наш”,

“Богородице Дево, радуйся!”. Потом все забылось, потускнело, стало далеким воспоминанием, немного смешным, немного грустным.

Если окружающие смеялись над обрядами и церковью, то смеялась и я, но где-то в душе еле теплилось чувство, что, возможно, Бог есть. Но только возможно.

Лик Божией Матери, смотрящий сейчас на меня с иконы, вдруг мгновенно перевернул мою душу, и, несмотря на безысходность моего положения, я поняла, что надежда может быть только на Нее. И я стала молиться. Молиться, не зная слов молитвы. Я просто просила Божию Матерь, умоляла Ее помочь нам. И я уверовала, что Она поможет. Почему я, неверующая, так думала в тот момент, даже теперь не знаю. Думаю, что необыкновенный, исполненный Божественного тепла взгляд Божией Матери заставил меня поверить в это. На полу сидела Екатерина, где-то стояла, шипела и толкалась старуха, а я молилась. Сейчас помню, что вся моя молитва была бесконечной просьбой. Все мое существо взывало, молило, просило за Катю. “Помоги! Помоги! Матерь Божия!” – сотни и сотни раз повторяла я. Слезы заливали лицо. Я смотрела на икону с мольбой, и мелкая дрожь сотрясала меня.

Служба кончилась, народ расходился, а я все стояла и молилась перед иконой. Церковь пустела. Катерина спала на полу. К выходу шел священник, я подошла к нему с просьбой о помощи. Он выслушал меня, скорбно развел руками и, торопливо застегивая шубу, вышел. Старуха, гнавшая меня от иконы и в который раз подходившая ко мне, после выхода священника схватила Катерину за воротник и, громко крича, что здесь не ночлежный дом, а храм Божий, что я нахалка и дрянь, потащила дочь к дверям. Катя, проснувшись, плакала, а я подошла к иконе Божией Матери и, припав к Ней, еще и еще раз просила помочь нам и с полной уверенностью, что Она не оставит нас, пошла к выходу. Из церковной темноты опустевшей церкви вышла женщина и, схватив меня за руку, резко сказала: “Пойдемте!” – и мы вышли из церкви. Я подумала – еще один человек гонит. Женщина, держа меня за руку, куда-то вела нас. Было очень холодно, мороз пробирал до костей. Снег хрустел под ногами, прохожих почти не было, и только изредка проносились машины. Мы молча шли вдоль небольших домов и заборов. Временами хотелось спросить, куда мы идем? Но я не спрашивала, надеясь на что-то лучшее. Мысль, что Матерь Божия не оставит нас, крепла и крепла с каждой минутой, и, идя в неизвестность, я продолжала молить Богородицу. Помню, возникали тысячи мыслей, тревожных, беспокойных, страшных, но, как только я на мгновение закрывала глаза, образ Матери Божией вставал передо мною, и все беспокоившее меня отходило на задний план, исчезало.

Остановились перед высоким забором, калитка жалобно всхлипнула, и мы вошли в палисадник, засыпанный снегом. Подошли к небольшому одноэтажному дому. Женщина долго возилась с ключами, что-то говорила сама себе сердитым голосом и, открыв дверь, сказала: “Проходите быстро и раздевайтесь. Верхние вещи на вешалку в передней, а сами на скамейку садитесь, чтобы живность не разнести. Меня зовут Нина Сергеевна, а теперь ждите, позову”. В комнате было тепло, вещи повесили в передней и сели в комнате на скамейку. Из соседней комнаты послышался, как мне показалось, раздраженный голос: “Нина! Ты с кем пришла? “Кого Бог послал, с тем и пришла”. Нина Сергеевна куда-то ушла. Гремели ведра, тянуло дымом, запахло вареной картошкой. Меня от всего пережитого трясло. Катя, прижавшись ко мне и, разомлев от тепла, дремала. “Что будет? – думалось мне – дадут переночевать, а потом?” Озноб все сильнее и сильнее забирал меня. Через какое-то время открылась дверь и появилась Нина Сергеевна. “Что это, голубушка, Вы расселись? Идите помогать!” Я встала и пошла на кухню. Топились плита, в баках грелась вода. Недалеко от плиты стояла эмалированная ванна. “Наливайте горячую воду и разбавляйте. Дочь вымою я сама. Имя-то Ваше скажите, дочери я уже знаю”. Я сказала свое имя. “Ниной зовут, как и меня. День своего Ангела знаете?” Я не знала. “Знать надо, голубушка, раз по церквам ходите. Нина только один раз в году бывает – 27 января по-новому”.

К чему велся этот разговор, я не понимала. В кухне было тепло, приятно пахло дымом, чем-то вкусным, ванну я наполняла водой. Мне стало неудобно, что в чужом доме, у незнакомых людей, идет суматоха, беспокойство из-за нас, и я сказала об этом. Нина Сергеевна резко оборвала меня и сказала: “Не разводите телячьих нежностей, несите дочь, я ее сама вымою, а то сами-то Вы грязная с дороги, да еще, возможно, вши на Вас?”

Я раздела сонную Катерину. Барахтаясь в воде и визжа от удовольствия, она хватала ручонками за шею Нину Сергеевну и что-то ей рассказывала.

Я стояла у плиты в полузабытьи, все казалось нереальным и происходило как бы во сне. “Ну, а теперь Вы”, – услышала я слова Нины Сергеевны. Катю она унесла на руках. Я стала медленно раздеваться и вошла в ванну. Мелкий озноб стал опять сотрясать меня, мочалка падала из рук, и я еле стояла на ногах, и в этот момент в кухню вошла Нина Сергеевна. Я смутилась. “Да бросьте стесняться, я же врач. Послушайте, голубушка. А Вас здорово трясет. Мойтесь, мойтесь скорее. Вы

же больны”. Нина Сергеевна, кухня, плита вдруг сразу поплыли перед моими глазами, и только временами я чувствовала, что меня мыли, обдавали водой, вытирали, надевали рубашку, и иногда откуда-то издалека, словно сквозь вату, прорывался голос: “Стойте же, стойте, не мешайте”. Куда-то вели, подымали, чем-то жгли грудь, давали воду.

Пришла я в себя на короткое мгновение через четыре дня, как мне потом сказали. Помню только, что все время, пока я находилась в беспамятстве, передо мной стоял образ Божией Матери, а я молилась и молилась за Катю, себя, Нину Сергеевну, приютившую нас. Кто-то старался увести меня от иконы, а я вырывалась, боролась, кричала: “Матерь Божия, не остави нас”, – и каждый раз, когда я, изнемогая в борьбе, тянула руки к иконе, кто-то злобно отталкивал меня, но, преодолевая все, я шла и шла к Ней, и тогда лик Божией Матери озарялся светом, я оказывалась перед иконой, и тогда дышалось легко, и на душе становилось спокойнее, но через несколько мгновений все повторялось. Если бы Вы знали, как мне было страшно и тяжело! Ужас, страшнейший ужас охватывал меня, только бы не оттолкнули, не отбросили от иконы Божией Матери, только бы быть около Нее.

Я понимала, что только я одна могу спасти Катю и себя, спасти просьбой к Матери Божией, и, если Она смилуется и протянет нам руку Своей Великой помощи, мы можем жить. Если бы можно было рассказать, как я молилась, пока находилась в беспамятстве. И вот я пришла в сознание. Еще закрыты глаза, но я слышу мерный звук маятника, где-то скрипят половицы, и кто-то говорит шепотом. Слабость такая, что я не могу пошевелить пальцем, с трудом открываю глаза. Чужая светлая комната, окно задернуто занавеской. Я медленно перевожу глаза и замираю от нахлынувшей на меня радости. В углу на высоте человеческого роста висит икона, горит зеленый огонек лампы, освещающей лики. Икона та же, что и тогда была в церкви, перед которой я иступленно молилась и рыдала. (После я узнала, что это икона Владимирской Божией Матери.)

Я смотрю на икону, шепотом повторяю то, что говорила в беспамятстве: “Матерь Божия! Не остави нас”, – и начинаю плакать. Кто-то тихо вытирает мне слезы, и я засыпаю первый раз за все время без сновидений, страхов и кошмаров. Просыпаюсь на другой день. Еще лежа с закрытыми глазами, слышу тот же стук маятника, шорохи. Из соседней комнаты доносится голос Кати и чей-то низкий, читающий сказку... Я пробую крикнуть, позвать Катю, открываю глаза, и опять образ Божией Матери смотрит на меня. Успокаиваюсь, кратко молюсь и опять зову Катю и Нину Сергеевну. Скрипят половицы, и надо мною склоняется женское лицо в очках, доброе, мягкое, приветливое. “Катя здесь, а Нина Сергеевна сейчас в больнице, придет поздно. Хорошо, что Вы пришли в себя, ну теперь все будет хорошо. Матерь Божия помогла Вам, все Вы Ее в беспамятстве звали, – и рука женщины нежно погладила меня по голове. – Общее воспаление легких, грипп и тяжелое нервное потрясение одновременно свалились на Вас”. И тут же без перехода сказала: “Мы с Ниной Сергеевной подруги, обе московские. В 1935 году сюда приехали жить, зовут меня Александра Федоровна, я по специальности врач-стоматолог. С Катей Вашей мы очень сдружились, мы с Ниной решили, что Вы у нас жить будете”.

Пролежала я еще пять дней, и только тогда Нина Сергеевна разрешила мне встать.

Чужие, незнакомые люди приютили нас, выходили меня, больную, ухаживали, поили, кормили, возились с Катей. Почему я пришла в церковь, встала перед иконой Владимирской Божией Матери, молилась и уверовала в Ее помощь? Почему лик Божией Матери неотступно был со мною во все время моей болезни и первое, что я увидела, была именно икона Владимирской Божией Матери? Почему я стала почти внезапно верующей? Почему? И еще лежа в кровати, я отвечала себе: потому, что все, что было со мною, являлось самым настоящим, подлинным и великим чудом, которое Господь и Матерь Божия послали мне, грешной, как великую милость. Осознав все это, я еще больше прониклась сознанием благодарности к Божией Матери, любви к Ней и любви к людям, спасшим меня и Катю.

Обо всем этом я и рассказала Нине Сергеевне и Александре Федоровне, еще когда отлеживалась после болезни. И Нина Сергеевна и Александра Федоровна дали мне возможность стать по-настоящему верующим человеком, они же крестили Катю, рассказали и научили всему, что дало мне познать веру. Прожила я у них три года, работая на заводе, и вернулась в Москву лишь для того, чтобы спасти комнату, а Катю они оставили у себя, там же она кончила школу, поступила в институт и только в 1960 г. приехала вместе с бабушками Ниной и Сашей в Москву. Рассказывать, что были за люди Нина Сергеевна и Александра Федоровна, мне не надо. В этом коротком, одном из важнейших этапов моей жизни, сказано о них все, что можно сказать о настоящих христианах. Добавлю, что они были духовными детьми о. Арсения, и в 1936 году им пришлось уехать из Москвы, дабы избежать шедших тогда повальных арестов.

В 1959 году познакомили они меня и Катю с о. Арсением, вышедшим за год перед этим из лагеря. Вот и стали мы с Катей его духовными детьми. В 1960 году приехали наши бабушки под Москву, купили себе домик, но практически живут у Кати в семье.

Благодарю Тебя, Господи, за великую милость, оказанную мне. Благодарю Владычицу Богородицу за чудо приобщения меня к вере, к Церкви, к Источнику жизни. Благодарю Владычицу, что дала мне увидеть верных дочерей Твоих и послала отца духовного и наставника нам с Катей, иерея Арсения.

Слава Тебе, Господи!

НА КРЫШЕ

Жизнь постоянно бывала трудной, полной самых непредвиденных опасностей и страхов, беспрестанно грозящих нам духовной или физической гибелью, но Господь и Матерь Божия всегда были милостивы к нам и в грозную минуту опасности не оставляли. Если я отдалялась от Господа, то Он посылал мне человека, который помогал выйти на верный путь и избавлял от ошибок и заблуждений, а если в страшную минуту губительной опасности обращалась к Богу, то помогал. Сколько раз в жизни убеждалась я, что молитва, искренняя молитва являлась для всех спасением, а молитва к Матери Божией всегда была самой спасительной и безотказно избавляющей от бед духовных и физических.

Расскажу я вам о силе молитвы отца духовного и о том, как повлияла на нас, участников описываемых здесь событий.

Голод был тогда в Москве. Выдавали на человека по осьмушке хлеба с мякиной. Ничего нет: ни картошки, ни крупы, ни капусты, а уж о мясе забывать стали. Деньги не имели цены, крестьяне меняли продукты только на вещи, и при этом обмен носил откровенно грабительский характер. Нас, “городских”, в деревнях встречали враждебно, и буквально приходилось упрашивать, чтобы обменяли хлеб или картошку на шубу или золотую цепочку. Голодно, холодно и в страхе жили мы тогда.

Саша, Катя и я пришли к отцу нашему духовному Михаилу проситься в поездку за хлебом. Многие уезжают с вещами и привозят хлеб, почему же и нам не съездить. Отец Михаил выслушал нас, неодобрительно покачал головой, подошел к иконе Божией Матери и долго, долго молился, потом повернулся к нам и сказал: “Вручаю вас Заступнице нашей Матери Божией. Возьмите каждая по образку Владимирской и молитесь ей непрестанно всю дорогу. Она и святой Георгий только и помогут вам. Трудно, ох как трудно будет. Я за вас здесь тоже молиться буду”. И как бы не для нас сказал: “Матерь Божия и угодниче Божий Георгие! Помогите им, спасите и сохраните от опасностей, страха и поругания. Помогите, Матерь Божия”, – и, благословляя нас, был молчалив.

Повернувшись к иконе Владимирской Божией Матери, стал молиться, как бы забыв нас.

Вот так мы и поехали, только всю дорогу вспоминали, почему батюшка святого Георгия призывал. Девчонки мы были молодые, жизнь нам казалась несложной, трудностей не признавали, ничего тогда не боялись, но, конечно, жизни совершенно не знали. Все время жили в городе, семьи интеллигентные, ни народа, ни деревни не знали. Учились в университете на разных факультетах, а объединяла нас церковь и дружба. Родные нас долго не пускали, но мы поехали. Из Москвы ехали в теплушках, где на подножках, в тамбурах. Сентябрь был на исходе.

Наменяли пуда по два муки и по пуду пшена. Ташим, мучаемся, но бесконечно счастливы. Мы с продуктами! Вот-то обрадуем своих, когда приедем, но застряли далеко от Москвы. Всюду заградительные отряды отнимают хлеб. На станциях в поезда не сажают. Идут только воинские эшелоны или закрытые товарные вагоны с какими-то грузами.

Кругом тиф, голод, грабежи, разруха. Три дня сидели на станции, питались луком и жевали сухое пшено. До сих пор его вкус на губах чувствую. Ночью пришел большой состав из товарных вагонов. Пошли разговоры, что воинский и идет в сторону Москвы. Рано утром открылись двери, солдаты (тогда назывались красноармейцами) высыпали из вагонов и пошли менять у крестьян яблоки, соленые огурцы, печеную репу, лук. Проситься в вагон боимся. Женщины говорят, что к солдатам в вагоны влезать опасно. Рассказывают ужасы. Расползаются слухи, что белые прорвали фронт, банды зеленых гуляют вокруг станции, грабят, насилуют всех и вся. Где-то вспыхнула холера. Страшно и безвыходно, вот тогда и вспомнили слова о. Михаила. Вагоны эшелона были полны красноармейцев, лошадей, орудий, повозок. Солдаты сидят на полу, на нарах, курят, смеются, сплевывают семечки, кричат женщинам, сидящим на площадке перед вокзалом: “Бабы, к нам! Прокатим! Скоро поедем!” Мы боимся. Несколько женщин решают ехать. Солдаты с шутками втаскивают их в вагоны, берут мешки и узелки. Идет слух, что поездов несколько дней не будет. Мы

волнуемся, возбужденно обсуждаем, что делать. Тем временем на крышах некоторых вагонов появляются люди с мешками, их становится все больше и больше. Из вагонов слышится смех, играют гармошки. Говорят, что эшелон идет до Серпухова.

Группа женщин, в том числе и мы трое, решаем взлезть на крышу, так как другого способа ехать нет. С трудом взбираемся по лесенке между вагонов, втаскиваем мешки, помогая друг другу. Солнце печет. Распластываемся на самой середине ребристой крыши, вжимаемся в горячее железо.

Я молюсь, призывая помощь Божией Матери, и пытаюсь незаметно креститься. Саша и Катюша также, вжавшись в крышу, молятся. На крышах почти все заполнено, в основном одними женщинами. Паровоз нестерпимо дымит, топят дровами. Наконец поезд дергается несколько раз, останавливается, потом, как бы раскачиваясь то вперед, то назад, медленно сдвигается с места и, постепенно набирая скорость, идет вперед.

Проплывает станция, заполненная шумящей толпой людей, некоторые пытаются вскочить на буфера, подножки. Срываются, падают и опять делают попытки уехать, но это удастся немногим. Поезд уже вышел в степь – глухую, безлюдную. Однопутное полотно дороги сиротливо рассекает сухие травы, безмолвие умирающей степи.

Черный дым, пронизанный искрами, вылетающими из паровозной трубы, покрывает нас, лежащих на крыше. Искры жгут руки, лицо, прожигают одежду, мешки. Отмахиваемся от искр, словно от мух, тушим друг на друге, отряхиваемся. На сердце у меня спокойно, я даже на время перестаю молиться и с интересом смотрю на степь, дорогу, черные спины вагонов, усеянных людьми. Саша ушла в себя и беспрестанно молится, это видно по ее сосредоточенному лицу и легкому движению губ. Смотря на нее, мы с Катей тоже начинаем молиться. Молитва к Божией Матери еще больше успокаивает душу, вселяет уверенность. Саша тихо просит, чтобы мы все трое легли друг к другу головами. Осторожно перекадываемся, и Саша по памяти читает нам акафист Владимирской Божией Матери. Читает она его несколько раз. Соседи не слышат, вагоны скрипят, раскачиваются и поют на разные голоса. Саша после прочтения акафиста каждый раз читает молитву, где есть такие слова, обращенные к Богородице: “О Мати Божия, под покров Твой прибегаем, на Тебя надеемся и Тобою хвалимся. Огради и спаси нас, беззащитных, от всяких бед, не остави нас и покрый нас милостью Твоею. В руки Твои вручаем себя, ибо Ты спасение и надежда наша”.

И каждый раз после прочтения акафиста я чувствую, что мы не одни на крыше вагона, три девчонки, беззащитных и слабых, а Она, Мать Божия, с нами и в трудную минуту придет к нам.

Жарко, душно, трудно гасить искры и цепляться за гребни крыши. Вагоны, сильно раскачивает, руки устают, мешки съезжают в сторону, и их беспрерывно приходится поправлять. Поезд несколько раз останавливается на небольших станциях, солдаты грузят дрова, паровоз берет воду, и мы опять едем. Проходят разрозненные дорожные будки, деревни, постройки, но рядом с дорогой по-прежнему лежит сухая, сожженная солнцем степь. Едем, едем и едем, но вдруг поезд внезапно останавливается. С поезда соскакивают люди, бегут вдоль состава, что-то оживленно обсуждают. Поезд стоит, мы по-прежнему лежим. Солнце почти спустилось за горизонт, становится прохладнее. Искры больше не летят, кругом бескрайняя степь. Хочется пить. Двери вагонов открываются, солдаты выскакивают на полотно дороги, идут к редким придорожным кустам, беззлобно ругаются друг с другом, чему-то смеются. Мы сверху смотрим на них. Вдруг кто-то из солдат восклицает: “Братва, баб-то сколько на крышах!” И мгновенно происходит перемена в настроении. “Ребята! Айда к бабам”. Вагоны пустеют, все высыпает на насыпь. Многие лезут на крыши. Шум, смех, крики, визг.

“Господи! – проносится мысль. – Что же делать?” На крышах появляются солдаты, сперва немного, но потом все больше и больше. С соседних крыш раздаются крики, кто-то просит, умоляет, плачет. “Охальник! Что делаешь? Я тебе в матери гожусь!”, “Солдатики! Хлебушка-то не повредите, дома дети мал-мала-меньше остались голодные”. – “Хлеб твой, тетка, не повредим, нас начальство кормит”. Сапоги стучат по железу, гулко, страшно. Кто-то из женщин иступленно рыдает, молит, кто-то борется, прыгает с крыши, разбивается. Крыша нашего вагона еще пуста от солдат, но вот несколько солдат появляются и на ней. Я молюсь, обращаясь к Божией Матери, прошу Ее. Катя, прижавшись ко мне, плачет и, всхлипывая, молится вслух. Саша сурово смотрит на приближающихся солдат. Я знаю Сашу, она не сдастся, не отступит. Ее лицо полно уверенности и твердости, она вся ушла в молитву. Я по-прежнему молюсь Матери Божией, прошу о. Михаила помочь нам, памятуя, что молитва отца духовного спасает, вспоминаю слова о. Михаила о святом Георгии, начинаю просить и его. Саша! Я очень верю в ее молитву и надеюсь на нее, а она сейчас по-прежнему сосредоточенно спокойна, лежит прижавшись к крыше, в то время, как мы все вскочили. Обходя других женщин, к нам подходит солдат, скуластое лицо, гладкая стриженная голова,

бездумные раскосые глаза. Катя прячется за меня. Раскосый хватает меня за руку и говорит примиряюще: “Ложись, девка, не обижу!” Я отталкиваю его, начинаю отступать и, смотря ему в лицо, крещусь несколько раз. Беззлобно ухмыляясь, он наступает, протянув вперед руки, а я пячусь назад. На крышах копошатся, борются, просят, сдаются. Всякая борьба, конечно, бессмысленна, солдат много, и они совершенно не представляют того, что делают. Им кажется происходящее веселым развлечением. Полк отвели на отдых для пополнения, там, на фронте, смерть постоянно висела у них над головой, они огрубели, и сейчас все происходящее – их законное право, думают они. Спротивление женщин смешит их и еще больше разжигает. Вероятно, врываясь в только что занятую деревню, они привыкли брать чужих женщин, дрожащих и боящихся их. Все эти мысли пришли, конечно, уже в Москве, дома.

Раскосый идет, я отступаю. Катя хватает меня и кричит: “Крыша кончается”. Я оборачиваюсь и вижу, что отступать уже некуда, а снизу поднимается матрос в тельняшке, натянутой на широкую грудь, высокого роста, с озлобленным лицом, на котором сверкают, именно сверкают, большие глаза. Матрос пугает меня решительностью, злобой и энергичностью движений, поэтому весь его облик врзается мне в память. Отступать некуда, впереди раскосый, сзади матрос.

Раскосый останавливается, Катя стоит у края крыши, Саша по-прежнему распласталась на горячем железе, углубленно уйдя в молитву за нас и за себя. Она ничего не видит, да и ее никто не пытается тронуть. Матрос хватает меня за плечи, отстраняет в сторону и говорит мне сильным, но дрожащим от злости голосом: “Спокойно, сейчас разберемся, а с крыши всегда успеешь прыгнуть”, он шагает к раскосому, бьет его в грудь и говорит: “А ну, паскуда, вон отсюда”, – после чего раскосый немедленно прыгает в провал между вагонами. Мы остаемся одни. Матрос идет по крыше, подходит к какому-то лежащему солдату, поднимает его за шиворот и кричит: “Ты что, контра, делаешь, рабоче-крестьянскую власть и армию позоришь!” Солдат отчаянно ругается, пытается ударить матроса, но тот выхватывает наган и стреляет ему в лицо. Падая, солдат соскальзывает с крыши и летит на насыпь.

“Товарищи! – кричит матрос. – Мы солдаты революции, мы строим и защищаем Советскую власть, мы за народ, и мы из народа. Что вы делаете? Позор! Красная Армия защищает трудящихся, а мы здесь позорим себя. Расстреливать надо на месте каждого насильника. Стыдно, товарищи! Ведь где-нибудь так же едут наши сестры и жены! Коммунисты, ко мне!”

Солдаты шумят, где-то дерутся, спускаются с крыш, выбегают из вагонов. Группы вооруженных людей собираются у вагонов, где стоит матрос, – это коммунисты полка и командиры. Начинается митинг. Матрос говорит яростно, просто, доходчиво. Вначале красноармейцы шумели, хватались за оружие, но на крышу вагона, где стоит матрос, поднимались и говорили командиры, солдаты, комиссары.

На крышах остались одни женщины и несколько мешочников-мужчин. Митинг продолжался минут пятнадцать, но паровоз стал подавать гудки, солдаты забрались в вагоны, наскоро похоронив расстрелянного. Матрос, подойдя к нам, сказал: “Пошли, девушки, в вагон, спокойнее доедете”. Саша, поднявшись с крыши, сказала: “Пойдемте”.

Ехали медленно двое суток. Относились к нам очень хорошо, кормили перловой кашей, поили темно-красным настоем горелого чая, взятого где-то из горевших вагонов. Матрос, звали его Георгий Николаевич Туликов, но в поезде называли его “товарищ Туликов”, был комиссар полка. Разговаривал с нами всю дорогу, расспрашивал, кто и что мы. Больше рассказывала всегда несловоохотливая Саша. Мне казалось, что напрасно она говорит малознакомому человеку о нас, о вере, университете, дружбе нашей и о том, как мы надеялись на помощь Матери. Божией и святого Георгия во все время нашей поездки, находясь на крыше. Георгий задумчиво слушал нас, ни разу не осудив, не выразив насмешки рассказанному.

Спали мы в закутке вагона, где для нас расчистили место. Вся дорога прошла в разговорах и расспросах. Молились по ночам, особенно Саша.

Два или три раза поезд встречали заградительные отряды, пытаюсь снять сидевших на крыше женщин и зайти в вагоны, но, встреченные вооруженной охраной поезда, с руганью и угрозами уходили. Довезли нас до Подольска, дальше эшелон не шел. Георгий и спутники его по вагону посадили нас в пригородный поезд, и мы благополучно доехали до Москвы.

Прощаясь в Подольске, мы благодарили Георгия и тех из военных, кто ехал в вагоне. На прощание Георгий сказал: “Может быть, и встретимся, жизнь-то переплетенная”.

А Саша, наша тихая Саша, всегда излучавшая умеренность и тихое спокойствие, подошла к Георгию, положила ему руки на плечи и сказала: “Да сохранит Вас Бог для хороших дел и будьте всегда добрым, отзывчивым. Прощайте!” И, сняв руки с его плеч, низко поклонилась в пояс. Так это необычно было для застенчивой, молитвенной Саши.

Радость родных по поводу нашего возвращения была безмерна, а мы, только успев умыться, поспешили к о. Михаилу.

На пороге домика, где он жил при церкви, нас встретил о. Павел: “Батюшка вас дожидается, сказал, что идете, послал встретить. Все эти дни за вас молился”.

Мы вошли, о. Михаил порывисто встал, обнял нас, благословил и, повернувшись к иконе Владимирской Божией Матери, стал молиться вслух, благодаря Матерь Божию и святого Георгия за наше возвращение, и только после молебна рассказали мы ему обо всем, что произошло с нами. Слушая нас, о. Михаил смотрел на иконы Владимирской и Казанской Божией Матери, висевшие в комнате, и беззвучно шевелил губами. Выслушав, сказал: “Благодарю тебя, Господи, за великую милость, явленную нам, грешным. Георгия-матроса не забывайте, искра Божия живет в нем и не потухнет. Да не загасит искру эту суета жизни человеческой. Молитесь о нем, еще придется кому-нибудь из вас с ним встретиться, вот тогда-то и помогите ему. Обязательно помогите”.

...Прошло более двадцати лет, шел военный 1943 год. Отец Михаил умер в ссылке в 1934 году, там же с ним погибла и наша чудесная молитвенница Саша. Расставание с духовным отцом – отцом Михаилом – было для нас всех ужасным, община переживала это трагически, тяжело, болезненно. Только короткие письма, присылаемые им с оказией, поддерживали нас в течение нескольких лет. Арестован был о. Михаил в 1928 году, несколько раз ездила я к о. Михаилу и жила у него по месяцу, а Саша, сразу все бросив, уехала за ним в ссылку.

Сколько событий произошло за эти годы, сколько ушло людей! Трудно было без о. Михаила, но он поручил меня о. Арсению, духовному сыну своему, жившему в это время в другом городе, рядом с Москвой.

Умерла Саша, Катя давно была замужем, связь моя с ней не порывалась. В 1943 году работала я хирургом в военном госпитале по 18-20 часов в сутки, домой неделями не приходила, в церковь попадала от случая к случаю, не хватало времени увидеть своих. Молилась урывками, и все только Матери Божией.

В эти тревожные военные годы воспоминания о прошлом стерлись, забылись, сейчас надо было только помнить о Боге. Путешествие на крыше вагона стало далеким и туманным.

Госпиталь был офицерский, раненых привозили много. Бывало, делаешь операцию, в лицо и не взглянешь, только рану и смотришь.

Привезли в операционную без сознания одного полковника. Ранение тяжелое, запущенное. Оперировать пришлось ночью. Операция продолжалась четыре с лишним часа, несколько раз переливали кровь, к концу операции мы все еле держались на ногах, а я, как была в операционной одежде, так и свалилась сразу без сил и уснула. Сестры сонную меня раздели.

Проспала часа четыре и сразу к больному кинулась. Медленно к нему жизнь возвращалась, тоненьким, крохотным ручейком втекала она в него, много с ним хлопот было, но выходили. Каждый день к нему раза по три приходила, уж очень хотелось спасти его.

Пришла как-то на двадцатый день после операции. Лежит слабый, бледный, прозрачный, только глаза одни светятся еле-еле. Посмотрел он на меня и вдруг тихо, но отчетливо сказал: “Машенька! Сколько ходите ко мне, а все не узнаете!” Возмутилась я, резко ему сказала, что я военврач, а не Машенька. Взорвало это меня, пришла я с целой группой врачей – обход утренний делала, а он улыбнулся и ответил: “Эх, Машенька, а я вас с Катей и Сашей всю жизнь помню!” – здесь-то меня и захватило прошлое. Закричала: “Георгий!” Бросилась к нему, обнимаю. Стали врачи и сестры из деликатности выходить из палаты, а я, как девочка, схватила его за голову и плачу. Смотрю, а на его кровати табличка, как у всех, висит, а на ней мелом написано: “Георгий Николаевич Туликов”. Почему же я раньше это не заметила?

Глаза Георгия еще больше оживились. Сказал: “Идите с обходом, после зайдете”.

Два месяца я к нему приходила после обходов и дежурств. Переговорили о многом, но первый вопрос его был – по-прежнему ли я верующая? Много и по-хорошему говорили, благо лежал он в отдельной палате. Расспрашивал, а я не боялась, рассказывала об о. Михаиле, умершей Саше, замужней Кате, о себе и об о. Арсении, который был в лагере. О себе говорил много. Жизнь прошел тяжелую, но душу имел чистую, добрую и открытую. Рассказы Саши тогда в вагоне отложили в душе его какой-то отпечаток, который не стерся, а заставил относиться к вере, религии и людям с осторожностью, вниманием и доброжелательностью. В 1939 году, будучи в чине полковника, попал в лагерь. “Там, – рассказывал Георгий, – повидал я людей хороших и плохих, но из многих и многих встреченных запомнился мне навею жизнь юноша лет двадцати трех, несший людям столько добра и тепла, что все любили его, даже лагерные уголовники. Вот он-то и познакомил меня с Богом, именно познакомил. В начале сорок первого года Глеб погиб в лагере, а меня освободили в августе и послали на фронт в чине капитана, теперь опять до полковника дослужился. До ранения дивизией

командовал, поправлюсь и опять на фронт хочу. За плечами академия генерального штаба, гражданская, Халкин-Гол, Испания, Финская война, а теперь вот Отечественная”.

Расставались мы с Георгием большими друзьями, всю войну переписывались, а в 1948 году переехал он с семьей в Москву, стали встречаться часто и регулярно. Вышел на пенсию в больших чинах и живет сейчас почти все время под Москвой на даче, воспитывая внуков. Встречаемся так же часто, но встречи наши бывают и в соборе Троице-Сергиевой Лавры в Загорске. Неисповедимы пути Твои, Господи! Вечно прав был о. Михаил, сказав в двадцатом году, что встретимся мы с Георгием. Велика сила молитвы человеческой к Богу, но сколь велика и спасительна молитва отца духовного о своих детях, сколь велика милость Матери Божией и забота Ее о нас, грешных! Молитвой своей к Матери божией спас нас отец Михаил от гибели и поругания и через наше спасение привел Георгия к вере. Пресвятая Богородице, спаси нас!

Из воспоминаний М. Н. Ар.

ПРИЗНАНИЕ

Воспоминания об о. Арсении – это неизбежно рассказ о себе, своей жизни, поступках, действиях, так или иначе связанных с ним как с отцом духовным. Необычайная ясность мысли, знание людей и жизни, глубокое проникновение в душу человека, которое правильнее назвать прозорливостью, постоянный молитвенный подвиг и полное отречение от своего “я” во имя людей выделяли его среди многих и многих иереев, знаемых мною. Вся его жизнь заключалась в несении помощи людям. Скрыть, утаить на исповеди, уклониться от искреннего рассказа о себе было невозможно. Стоишь передним и буквально физически ощущаешь, что он видит тебя всю и заранее знает, что ты скажешь.

До войны, в те годы, когда он находился на свободе в ссылках, я вместе с мамой часто приезжала к нему и стала его духовной дочерью, в ту пору мне было около 18 лет, но потом о. Арсений многие годы находился в лагерях, и только редкие-редкие записочки доносили до нас его наставления, а начиная с 1949 года мы, его духовные дети, даже не знали, жив ли он и где находится. Я передаю Вам свои записки без упоминания моего настоящего имени. Слишком много в этих записках лежит личного.

В сороковые годы я вышла замуж за человека верующего, спокойного, доброго, но крайне замкнутого и молчаливого даже со мной. Старше меня он был на десять лет.

Отечественная война была позади, репрессии 1946-1952 годов не коснулись нас. Родились две дочери, мама жила с нами. Муж любил меня ровно, спокойно, много времени отдавал детям, воспитывая их в духе веры. Материально мы жили хорошо, много молились дома, в субботу и в воскресенье ходили в ближайшую церковь, где был очень хороший священник, о. Георгий. Казалось, что в семье царит полное согласие и благополучие.

Но пришла весна 1952 года, и со мной произошло то, что оставило след на всю жизнь. След остался какой-то двойной: тягчайшего греха, который я сознаю и в котором я искренне каялась, и в то же время захваченного мною большого счастья, радости бытия и прошедшей настоящей любви. Этот второй след лежит где-то на самом дне моей души, покрытый покаянием, но тем не менее живущий и сознаваемый. О своем грехе я говорила и каялась о. Георгию, о котором упоминала, и тогда мне думалось, что исповедь как бы частично очистила мое греховное прошлое.

В 1958 году о. Арсения освободили из лагеря, и трудно передать то ощущение радости, которое мы, его духовные дети, испытали, встретившись с ним. Мне думалось, что все мы как-то по-новому приблизились к Богу. Все было рассказано, исповедано о. Арсению, но своего 1952 года я не могла рассказать ему, было страшно и стыдно, временами я думала, что он отвернется от меня, услышав о происшедшем.

Что же произошло со мной? Я уже говорила, жили мы всей семьей дружно, и вдруг в 1952 году неожиданно увлекла и полностью поглотила меня огромная, всежигающая любовь к человеку, чуждому по духу, неверующему, но доброму, хорошему, отзывчивому, очень умному и волевому. Любовь эта пришла почти внезапно. Первым потянулся ко мне он, с необычной для меня нежностью, подкупающей лаской и тем всепокоряющим вниманием и заботой, которые так ценят и любят все люди, и особенно женщины. К сожалению, мой муж никогда не был внимателен и ласков, в нем жил человек долга и размеренности.

В первые дни внимание, забота и нежность Федора (настоящее имя его было другим) удивили и, пожалуй, чуть-чуть напугали меня, и в то же время я сама потянулась к нему, захотелось понять, заглянуть в его душевный мир, разведать тайники души и помочь, да, именно в чем-то помочь! В

чем? Я и сама четко не понимала, что я могу сделать для Федора. Боже мой! Как много, огромно много значат для человека, и особенно для женщины внимание, ласковое и заботливое слово. Жизнь шла размеренно и привычно, каждый из нас, приходя домой, знал, что скажет и спросит муж, мама, дети. Интересы в сложившихся семьях становятся почти неизменными и не выходят за рамки устоявшихся годами привычек и традиций.

С широким кругозором, энциклопедическими глубокими знаниями, энергичный, высокий, неброской, но привлекательной мужской внешностью, Федор нравился людям, но был скромн, замкнут, сдержан и, насколько я знала, никогда не увлекался женщинами, был однолюб и очень, я подчеркиваю, очень любил свою жену Анну, с которой я многие годы дружила. В 1952 году Анюте было 43 года, Федору 46 лет. Федор с Анютой жили такую же размеренной жизнью, как и наша семья, но Анюта по характеру напоминала моего мужа, молчаливая, замкнутая, педантичная, неласковая и до удивления хозяйственная.

Федор жил работой. Специальности наши смежные, и хотя мы работали в разных организациях, но иногда нам приходилось встречаться и даже выполнять совместные работы. Федор и Аня часто бывали у нас дома, так же как и мы у них. Невольно у меня с Федором разговор переходил на интересующие нас проблемы, и тогда Анюта и муж говорили: “Неужели даже дома необходимо вспоминать работу?” Но видя, что ничего не помогает, вели свои разговоры друг с другом или с другими гостями. Наше обычное знакомство, вероятно, продолжалось бы без всяких осложнений многие годы, если бы не пришла беда.

Именно – если бы. Весной 1952 года мы с мужем должны были поехать в небольшой сердечный санаторий, мы не раз бывали в нем и любили окружающую его природу, но поездка не состоялась, мужа неожиданно послали в длительную командировку, и его путевка пропала. Решили предложить ее Федору, благо у него был неиспользованный месячный отпуск. “И тебе не одиноко, свой человек будет рядом”, – сказал мне муж.

Было начало мая, стояла солнечная теплая погода, светлая прозрачная зелень, раскинувшиеся холмистые дали, кружевные перелески, первые полевые цветы невольно создавали радостное, приподнятое настроение. Сверкание глади маленьких озер, связанных бесчисленными протоками, уединение, тишина, почти полное безлюдие в окрестностях санатория наполняли душу умиротворенностью, спокойствием, настраивали на лирические мысли. Вспоминались картины художников Васильева, Левитана, Нестерова. В эту весну мне все казалось прекрасным. Первые пять санаторных дней мы с Федором с увлечением ходили по окрестностям, говорили, говорили и говорили обо всем. Всегдашняя молчаливость и замкнутость Федора полностью исчезли. Было очень интересно. Обсуждали, спорили, восторгались, говорили о религии, вере, о чем только не говорили! Я была счастлива и всему радовалась. Федор вдруг открылся мне совершенно другим человеком – интеллектуальным, одаренным, ласковым, но после пятого дня пришел и шестой день, день, в который вся моя прошлая жизнь разлетелась вдребезги, и началась совершенно новая, наполненная радостью встреч, светом другого человека, огромной, сжигающей любовью.

Семья, муж, дети, вера, наставления духовного отца, женская стыдливость – все смела, словно стихийное бедствие, никогда мною не испытанная земная человеческая любовь, и я поверила, что ко мне пришла настоящая, один раз в жизни являющаяся к человеку любовь, отказаться от которой не было сил, да я тогда и не хотела отказываться. Каждый день, прожитый с Федором, был счастьем, открытием новых ощущений, радостей. Окружающий меня мир стал прекрасным, и то, что раньше казалось тусклым, серым, вдруг заблистало, высветилось, стало красивым, светлым. И это, вновь найденное в жизни, несло и несло меня бурным потоком, размывающим когда-то дорогое и любимое мое прошлое. Я с нетерпением ждала следующего опьяняющего дня, новых разговоров, встреч, близости. Никогда я не испытывала таких чувств к мужу, его любовь и духовная близость, несмотря на то, что мы оба были глубоко верующими, не шли ни в какое сравнение с моим отношением к Федору. В своем чувстве к Федору я сгорала, забывая все и вся, и я видела, что то же происходит с Федором, только в значительно большей степени, он переродился на моих глазах. Возможно, что те, кто когда-то будут читать мои записки, удивятся, но за все семь месяцев нашей близости чувство раскаяния, сожаления о происходящем не приходило ко мне. Я любила его больше чем человека, в мое влечение к нему входил новый, огромный мир, не знаемый ранее. Критическое восприятие и осмысливание происходящего с точки зрения моего духовного прошлого было потеряно. Пишу так, как было тогда, пытаюсь говорить только правду. Федор переродился, энергия была ключом, огромный сгусток знаний, сосредоточенный в нем, вдруг стал доступен многим, и на работе он делал открытие за открытием, замкнутость, молчаливость исчезли, и окружающие с удивлением для себя замечали, что раньше они не знали его таким.

О том, что я верующая, он узнал, увидев мои крестик и образок, приколотые к рубашке, и каждый раз с удивлением смотрел на них. Да, было так! И даже его вопрос: “А ты, оказывается, верующая?” – ни на секунду не заставил меня вспомнить прошлое, остановиться, задуматься.

Время санаторного отдыха пролетело мгновенно, мы вернулись в город, но вернулись другими людьми. Встречи наши не прерывались, наоборот, отношения стали еще более прочными, мы продолжали встречаться, сперва, где могли, тайно, но потом с большим трудом была найдена комната. Боялись всего – встреч со знакомыми, сослуживцами, родными, уходили с работы в библиотеки, в местные командировки и бежали в нашу комнату. Мы воровали свою любовь у семьи, совести, воровали перед людьми, а я краля ее перед лицом Бога. Иногда мне казалось, что я влезла в чужой дом, жадно хватаю красивые вещи и все время боюсь, что поймают, и любой шорох и скрип пугают, но больше всего боюсь, что в этом доме меня застанут мама и муж. Даже во сне эти мысли преследовали меня. Я боялась задуматься о происходящем, потому что тогда мое прошлое властно вторглось бы в настоящую жизнь, и напускное мужество, зиждущееся на воруемом счастье, оставило бы меня, и тогда падение в бездну сомнений, переживаний и мучений стало бы неизбежным. Страх перед страданиями от разбитой любви с Федором, мучений, связанных с разрушением семьи, обнаруженным обманом, пугали; тайно и тайно можно было любить, любить, только скрывая, а также не вдумываться в происходящее, не анализировать. Лгала мужу, маме, оставляла детей, всячески изворачивалась и встречалась с Федором и не могла остановиться. Я думала, что муж ничего не замечает, да и сейчас не знаю, догадывался ли он о том, что было. Слишком он всегда был молчалив. На мои вымышленные задержки, раздражительность не реагировал, только стал более внимателен, больше уделял времени детям и много молился.

Сколько могла продолжаться такая жизнь, не знаю, но на исходе седьмого месяца тяжело и длительно заболела старшая дочь. Вначале лечили дома, бессонные ночи у кровати дочери, вызовы врачей, уход как-то невольно легли на плечи мужа и мамы. Стало хуже, и дочь пришлось положить в больницу, и здесь основная тяжесть легла на мужа. Даже в эти опасные дни я не остановилась, урывками бегала к Федору и, как мне тогда думалось, вполне законно забывалась от невзгод жизни.

На работу мне позвонила мама и сказала, что дочери стало плохо. В этот день и час я должна была встретиться с Федором, и я, невзирая ни на что, пошла к нему. Что-то около трех часов дня побежала домой, чтобы взять в больницу приготовленный мамой сверток и застала мужа, стоящего на коленях перед иконами.

“Господи! Не остави нас, грешных, исцели и посети милостью Твоею”, – и называл имя дочери и мое.

Осторожно выйдя из комнаты и взяв оставленный мамой в кухне сверток, я побежала в больницу. Мысль о болезни дочери, страх за ее жизнь, отчетливое сознание моего духовного падения мгновенно перевернули мою душу. Словно завеса спала с моих глаз. Я, верующая, духовная дочь о. Арсения, томящегося сейчас в лагерях, ведшего меня по пути веры, стала хуже многих неверующих, перед которыми втайне гордилась своей верой.

Прибыв в больницу, увидела мужа, склонившегося над кроватью дочери. Мне почудилось, что дочь умерла. Я кинулась к ней, муж остановил меня: “Не подходи, она сейчас спит после укола”, – и отвел меня к окну.

“Я жду тебя здесь почти с утра, – сказал он и продолжил фразу: – Теперь кризис прошел, и вы обе вернулись”. И эта непонятная фраза привела меня в смятение, что значит “...и вы обе вернулись”? Мне показалось, что дочь умерла и муж в волнении говорит бессмысленные слова. Я бросилась к мужу и зарыдала. Мягко обняв меня и глядя по плечам, он повторял “Ничего, ничего, все уже кончено, все”.

Я поняла, что дочь жива и несколько успокоилась, но слова мужа таили еще какой-то смысл, видимо, относившийся ко мне. Поразительно еще то, что он не уходил из больницы с самого утра, а я отчетливо видела его дома. Что это? Всю ночь просидели у кровати дочери. Оба молчали, но сколько передумали... Вся моя жизнь прошла перед мысленным моим взором, и я увидела себя такой, какой была. Я боялась смотреть на мужа: его кротость, терпение сделали больше, чем любые укоряющие слова.

С этого дня моя жизнь с Федором сразу оборвалась. Конечно, я была безвольной игрушкой в руках греха, мне было стыдно за себя, что я отступилась от Бога, забыла наставления о. Арсения, что пошла по пути неверности и развращенности.

Но одновременно с этим должна сказать, что прошли долгие годы после случившегося в 1952 году, я искренне каялась в происшедшем, сознавала и сознаю всю греховность содеянного, прошу Господа простить меня, но в то же время не жалею о происшедшем. Слишком искренней, настоящей и по-человечески прекрасной была наша любовь с Федором. Я ошиблась, отступилась, но я любила и,

даже находясь семь месяцев в состоянии греха и сознавая его, молила Господа простить меня, так же как молю и уповаю и теперь на Его милость.

Мне говорили: раз ты так говоришь, то ты не раскаялась, не осознала глубину своего падения. Это неправда, я все осознала, но проклясть прошлое не могу и не хочу. Судить меня можно по-всякому.

Жизнь наша с мужем пошла по-прежнему, только внутренне я стала другой. Незримая черта тайны отделила меня от мужа, но он, как мне казалось, не чувствовал этого, так же был молчалив, немногословен. Знаю, он любил меня, но слишком размеренно и спокойно, иногда мне думалось, что я была для него одной из вещей, находившихся в квартире, матерью наших детей, но не женой и женщиной.

Федор ушел из моей внешней жизни, никогда не возникало даже намек на прежние отношения, мы встречались семьями, ходили друг к другу в гости, знакомство нельзя было прервать, так как мой муж и жена Федора Анна просто это не поняли бы. Наш разрыв с Федором очень сильно повлиял на него, пропала энергия, появилась вялость, работа валилась из рук, и только лет через восемь он пришел в себя. Самым неприятным было то, что Аня по-прежнему дружила со мной, даже рассказывала мне, что в 1952 году она почувствовала увлечение Федора какой-то женщиной. Трудно и стыдно мне было это слушать.

Вот что было со мной тогда.

После встречи с о. Арсением в 1958 году прошло пять лет. Каждый месяц я приезжала к нему на исповедь, за советом и утешением и уезжала спокойная, умиротворенная, обновленная, но прошлое по-прежнему тяготило меня

В 1963 году приехала я в октябрьские дни. Отец Арсений был необычно бодр и весел. Отстояла я в его комнате вечерню и утреню, исповедовалась глубоко и искренне. Отец Арсений во время исповеди был необычайно молчалив. Я подробно говорила о себе, и, когда кончила, он спросил: “Все?” “Все!” – ответила я. Он тяжело вздохнул и опять спросил как-то по-особому строго: “Все?” – и, не услышав ответа, покрыл епитрахилью и отчетливо произнес разрешительные молитвы.

Утром я с еще несколькими приехавшими причащалась. На улице было солнечно, но ветрено. Вышла в садик и села с Аней на скамейку. От вечерней исповеди, причастия и солнечного дня было радостно и спокойно.

Потом Надежда Петровна поила нас чаем со сладким пирогом и жареной картошкой, которую так приготавливать могла только она. За столом много говорили, вспоминали, рассказывали. Отец Арсений после чая отдохнул, а затем захотел пойти в лес, отстоящий от города километра полтора. Ирина-доктор, как мы ее звали, не советовала ему выходить, говоря о сильном ветре и собирающихся тучах, но о. Арсений стал одеваться, вмешалась Надежда Петровна, настойчиво требуя одеться потеплее. Захотели идти с о. Арсением Аня и Ирина, конечно, каждый из приехавших хотел пойти, но раз они первые изъявили желание, остальные молчали. Аня и Ирина пошли одеваться, а о. Арсений оставался еще у себя. Выйдя в переднюю и увидя их одетыми, вдруг неожиданно сказал, посмотрев на меня: “Я пойду с Л., ей надо пройти со мной”. Вышли. Миновали улицы, огороды, старые сушильные сараи кирпичного завода, началось поле. Ветер рвал траву, сизые клочья туч, казалось, цеплялись за землю, ветки оголенных от листьев деревьев гнулись, извивались, тщетно пытались сопротивляться напору ветра. Ветер кружил опавшие листья, гнал их вперед, бросая нам под ноги. Слышался свист ветра, непрерывное шуршание мертвых листьев. Было впечатление, что мы идем по чему-то живому, стонущему и умоляющему.

Мне стало не по себе. Я взглянула на о. Арсения, он шел спокойный, сосредоточенный, задумавшийся, и только отзвук слабой доброй улыбки освещал временами лицо.

Неширокая тропинка уходила к лесу. В лесу ветер стал особо ощутим. Деревья под его порывами тоскливо шумели и стонали, а листья, покрывавшие землю, приподнимались и медленно двигались по направлению ветра, наталкиваясь на корни деревьев, напозвали друг на друга, чтобы при следующем порыве опять рассыпаться на отдельные движущиеся комья. Ветер, его тоскливый вой, обнаженные мечущиеся ветви деревьев, ползущие по земле листья, разорванные клочья низких осенних туч, несущихся по небу, придавили меня, испортили настроение, вселили беспокойство и тревогу. “Почему именно меня позвал о. Арсений? – думалось мне. – Почему?” Он никогда не делал ничего напрасно. Думал, как помочь нам, его духовным детям, думал постоянно и вел всех нас к Богу. Вероятно, и сейчас он позвал меня неспроста. Вчера была исповедь, сегодня я причащалась, и вдруг мысль о 1952 годе словно пронзила меня.

“Отец Арсений! – воскликнула я и остановила его. – Я должна сказать Вам”. И, задыхаясь от возбуждения, начала говорить.

Отец Арсений, стоя почти рядом со мной, смотрел на меня внимательно и ласково. Выслушав первые фразы моей исповеди о прошлом, он наклонил голову, перекрестился и, обращаясь ко мне, сказал: “Не рассказывайте! Не надо! Грех Ваш большой, но грех Господь простил Вам, снят с Вас о. Георгием на исповеди. Не повторяйте”.

Я плакала, обливаясь слезами, пыталась продолжать и вся дрожала от внутреннего страха, смущения и стыда.

“Не надо! Я понял все. То, что не рассказали мужу, это и плохо и хорошо. Он любит Вас, а сказанное могло бы глубоко его ранить и привести к большим неприятностям в семье, но он и так все знает. Грешны мы все, помните о своем грехе перед Господом и семьей. Молитесь и молитесь, просите прощения. Я также буду молиться вместе с Вами. Главное, что решились рассказать отцу духовному. Правда очищает человека, и особенно сказанная на исповеди. Пойдемте”, – и благословил меня.

Мы углубились недалеко в лес и повернули к дому. Так же свирепствовал порывистый и холодный ветер, гнулись извивающиеся ветви, ползли по земле и шуршали опавшие листья, метались по небу космы свинцовых облаков, но ко мне пришло спокойствие, то спокойствие, которого я не имела с 1952 года, и сейчас эта мечущаяся, мрачная погода больше не пугала, не томила мою душу. Отец Арсений, идя домой, был оживлен, радостен. Пока мы шли, он говорил о покаянии и как-то по-особому рассказывал мне о житии Марии Египетской. Каждое сказанное им слово имело для меня значение и несло в себе глубокий смысл.

Дома о. Арсений весь день был какой-то светлый и молитвенный, он много рассказывал нам о людях, встреченных им в жизни лагерной, говорил тексты из Евангелия и святых отцов. Говорил о грехах неисповеданных и молитве. Особенно много рассказывал о силе молитвы по взаимному уговору и вспомнил, как несколько раз молился в лагере и просил о спасении друзей своих, а сидевший здесь же за столом отец Алексей, называемый многими заглазно “Алеша-студент”, сказал: “Отец Арсений! А наше спасение в карцере, когда совместная молитва явила чудо?!”

Помню слова о. Арсения, что молитва двух или трех человек, договорившихся просить об одном деле, если эта молитва идет от глубокой веры и чистого сердца, всегда сильна перед Господом и Матерью Божией.

“Грех, – говорил о. Арсений, – для большинства людей неизбежен, так как человек живет на земле, но самое основное в жизни – отношение человека к Богу, обращение к Нему через молитву искреннюю, неформальную. Покаяние, исповедь, сознание греховности и совершение добрых дел, любовь к людям, животным, природе”.

“Надо постоянно помнить, – говорил о. Арсений, – слова Писания: “Мне отмщение, и Я воздам” (Рим. 12, 19).

Чувство мести не должно посещать нас, если оно приходит, надо бороться с ним молитвой, воспоминаниями жизни святых отцов наших, о том, как они боролись с этой страстью и побеждали ее”.

Когда жажда мести одолевает нас, о. Арсений советовал встать на место того человека, которому ты хочешь мстить, и тогда станет понятно безрассудство твоих желаний.

В этот же вечер он говорил о внимании к людям и о том, что надо уметь слушать человека, рассказывающего о своем горе, и, даже если тебе непонятны его поступки, надо посмотреть на его жизнь его глазами, вникнуть, но не осуждать. Жизнь настолько сложна, что человек в большинстве случаев не знает, как он поступит.

Говоря, о. Арсений часто и подолгу смотрел на меня и, казалось, всю душу мою видел в эти моменты.

Грех, совершенный мною, не исчез, он остался. Исповедью и покаянием я не сняла его, и ответ за содеянное придется держать на Суде Господнем, но исповедь и покаяние дали мне возможность полностью осознать поступки мои, и в признании отцу духовному как бы пригвоздили к позорному столбу и этим облегчили мое смятение душевное и дали понять ничтожность себя самой.

Прощаясь со мною и благословляя, о. Арсений сказал: “Всегда помните и молитесь, просите и просите прощения. Греховность свою перед мужем не забывайте и многое прощайте ему”.

Уезжала я успокоенная. В дороге и дома долго думала и пыталась понять, откуда знал о. Арсений об исповеди у о. Георгия, я никогда и никому не говорила об этом. Великий провидец душ человеческих был о. Арсений, взглядом своим проникал и читал он самое сокровенное и тайное, что у тебя имелось.

Отец Арсений ушел, оставив нас осиротевшими, умер муж, перед которым я была виновата, ушли дети, появилось много времени для воспоминаний и размышлений, и я решила рассказать о той огромной помощи и духовной силе, которую передал о. Арсений всем нам.

ЗАПИСКА

Дали мне записку для передачи о. Арсению, и я ее в дороге потеряла. Когда? Где? Не могла понять. Обнаружила потерю только по приезде.

Растерялась, разволновалась и прямо, как теперь говорят, сходу стала говорить об этом о. Арсению. Знала я, что записка очень важная, человек, писавший ее, очень ждал ответа, но что было в записке, я не знала и даже приблизительно не могла рассказать о содержании.

Отец Арсений выслушал меня, задумался и сказал: “И в этом Господня воля”.

На следующий день я уезжала, благословляя меня, о. Арсений дал мне письмо и сказал улыбаясь: “Это уж не теряйте”.

Я уехала и сразу же по приезде пошла к М...е и, перед тем, как передать ей письмо, призналась, что ее записку потеряла. М...е очень расстроилась и даже заплакала, но, прочтя письмо о. Арсения, несказанно обрадовалась и прослезилась, но теперь уже от радости, повторяя при этом одну и ту же фразу несколько раз: “Господи, Господи! Какая радость! Отец Арсений написал мне полный ответ на мою записку. Понимаешь, все, все написал. Ты же смеешься, что не передала записку. Откуда же он узнал о моих бедах?”

И я тоже подумала – откуда?

ПАНИХИДА

Утром о. Арсений служил обедню. В субботу приехали трое, а с ночным поездом – четверо.

Причастив всех нас, исповедовавшихся, окончив обедню, о. Арсений сказал, что мы, если хотим, можем идти пить чай в комнату Надежды Петровны, а он придет через час, так как будет служить панихиду.

Мы не ушли. Отец Арсений начал служить панихиду о новопреставленном Кирилле, служил и плакал. Вся панихида была плачем души, настоящим надгробным рыданием. Плачем о близком, ушедшем друге. Не было нас, никого не было во время службы, а была беспредельная молитва о милости, прощении, об упокоении умершего раба Кирилла.

Кто был новопреставленный, никто из присутствующих не знал, но мы понимали, что это был друг, и любимый друг, о. Арсения.

Кончив служение и переодевшись, о. Арсений, грустный, пошел с нами пить чай. Разговор не вязался, пили чай молча, о. Арсений тоже молчал, а мы временами еле слышно перешептывались, потом о. Арсений ушел в свою комнату, а мы остались сидеть.

Часа в три принесли телеграмму на имя о. Арсения: “21-го марта с. г., 7 утра скончался Кирилл, сердечная недостаточность. Сын Игорь”.

Телеграмма пришла из Ярославля.

Прочтя телеграмму, сразу вспомнился многим из нас Кирилл Сергеевич, добрый и хороший человек, бывший с о. Арсением в одном из лагерей.

Все мы, сидевшие, взглянув друг на друга, подумали, каким надо быть провидцем (может быть, это и не то слово), чтобы духом узнать о смерти духовного

Велика сила Твоя, Господи, в избранных детях Твоих.

Я РАЗНОШУ ПИСЬМА

Запись О...р

Прожив у о. Арсения больше двух недель, Наташа возвратилась и привезла целую пачку писем, которые надо было срочно раздать.

Половину писем поручили разнести мне.

Время было тревожное, шел 1936 г., многих из наших арестовали, чувствовалось, что за оставшимися установлена слежка, поэтому разноска писем была довольно опасной.

Наташа рассказывала, что когда она жила у о. Арсения, то за домом явно следили, а хозяйку и многих соседей вызвали в райотдел и спрашивали, кто приезжает, пишет, останавливается и служит ли он дома.

“Когда ехала я в поезде в Москву, у меня было такое ощущение, что кто-то постоянно ходит за мной. Ехала в общем вагоне, на станции сели несколько человек, но внимание мое привлекла только одна женщина, непрерывно вертевшаяся около той части вагона, где была я.

Всю дорогу думала – как быть с письмами, если возьмут меня, но ничего придумать не могла и положила тогда на слова о. Арсения, когда он благословил меня при прощании: “Господь милостив. Он сохранит Вас, Он будет с Вами, ничего не бойтесь! Все будет хорошо!”

Вышла в Москве из поезда и сразу почувствовала, что за мной никто не следит. Успокоилась и без всякой тревоги пошла домой. Нервное напряжение спало, и подумалось, что все это мне казалось”.

Так говорила Наташа по приезде, передавая мне письма. Мы разложили письма на столе и стали разбирать, раскладывая по известным нам именам. Ночевала я у Наташи, и половину ночи проговорили об о. Арсении, его поручениях, о том, как он живет.

В семь утра вышла я из дома. Было воскресенье, народу на улицах почти не было, попадались редкие прохожие. Шла я радостная, возбужденная. Полученное мною письмо от о. Арсения принесло мне много хорошего, вселило уверенность, и прежние мои неустроенности сразу улеглись.

Отошла я от дома метров пятьдесят и почувствовала, что за мной идут. Обернулась – женщина. Возникла мысль – следят! Решила проверить, пошла быстрее и свернула в ближайший переулок. Шаги не отставали, я опять свернула у следующего переулка, женщина по-прежнему шла за мной. Стало неприятно и страшно. Защемило сердце, ноги перестали повиноваться, и я растерялась. Письма со мной, если возьмут, то подведу многих. Дошла я до конца квартала, свернула опять за угол и перешла на другую сторону улицы. Женщина упорно шла за мной, держась на расстоянии 50-70 метров. Было ясно, что следят. Возникла мысль бросить письма куда-нибудь и бежать, но их, вероятно, найдут, а меня знают, ведь я шла от Наташи.

Переборов растерянность и взяв себя в руки, я начала молиться. Сперва сбиваясь, но потом сосредоточилась. Пошла не спеша.

Может быть, это было и дерзновенно, но я, молясь Матери Божией, сказала: “Матерь Божия! На Тебя уповаю и на Твою только помощь надеюсь. Возьми меня под защиту Свою, вручаю себя Тебе! Помоги!”

Иду и молюсь, возложив все на Матерь Божию. Прошел страх, тревога, и на душу легла уверенность – я не одна. Охраняет меня Матерь Божия, если что и будет, то во всем воля Божия. Что бы ни было! Все зависит от Тебя, Богородица, как Ты велишь, так и будет. Иду уверенно, ничего не боясь, а шаги преследующей меня женщины стучат, стучат сзади. Пошла я еще тише и, понимая безвыходность моего положения и возложив в молитве все упование свое на Матерь Божию, обрела уверенность и спокойствие еще больше. Иду и молюсь, даже не замечаю, где иду. Одна мысль, одно прошение – к Богородице, но слышу, что меня догоняют шаги. Дошла до пересечения улиц, завернула за угол, перекрестилась и вижу – идет рядом со мной женщина моих лет. Так же, как я, одета, все в точности, платок легкий на голове, пальто, сумочка. Идет рядом, вполборота ко мне лицом. Лицо мне до удивления знакомое, но светлое, озаренное необычным светом.

Взглянула я, и больше на Ее лицо смотреть не могла, так оно было светло и прекрасно. Идем рядом, я молюсь, радуюсь, что со мной необычайная Спутница, но, что за Спутница, не знаю, а шаги за спиной по-прежнему стучат. Прошли до следующего перекрестка, и моя Спутница, обернувшись ко мне, сказала повелительно, строго: “Остановитесь и стойте. Я пойду вперед”. Сказала строго, а лицо полно доброты и света. Остановилась я, а Она – Спутница пошла вперед. Одеждой, ростом, фигурой на меня полностью похожа. Странно мне показалось это, но я остановилась. Женщина, что шла за нами, дошла до меня, оглядела с ног до головы потопталась, но было такое впечатление, что она на меня смотрит с удивлением. Обошла меня стороной и побежала за моей Спутницей, а Та быстро шла вперед.

У женщины, что следила за мной, когда она ненавидящим взглядом оглядывала меня, лицо было злобным и темным, казалось, вся она переполнена ненавистью ко всему живущему.

Я стояла, не имея сил сдвинуться с места, и смотрела, как впереди шла моя Спутница, похожая на меня одеждой, а за Ней – женщина-агент, шедшая до этого за нами. Дойдя до перекрестка, завернули они за угол и скрылись, я очнулась и, молясь, пошла в обратную сторону и к часам двум разнесла все письма.

“Кого послала мне в помощь Матерь Божия? Кого?” – постоянно думала я. Но это была Ее благодатная и великая помощь.

Через год меня арестовали, допрашивали несколько раз, следователь настойчиво добивался, что за Женщиной шла рядом со мной и куда Она или я скрылись. Вызывали даже женщину-агента, рассказавшую: “Иду я, товарищ лейтенант, за ней следом, а она все петляет и за углы заскакивает, смотрю – на углу ул. Казакова кто-то стоит, подошла, и задвоилось у меня в глазах. Обе одеты одинаково, точка в точку, в платках, в ботинках, пальто, сумка, повадка при походке, наклон головы. Пошла я за ними и понять не могу, какую я от дома вела, а какая на углу появилась. Смотрю – одна

остановилась, а другая быстро вперед идет, я подумала да и пошла за уходящей. Шла, шла минут десять, а потом она у меня посреди улицы вдруг исчезла. Я Вам, товарищ лейтенант, и тогда и сейчас правду говорю – прямо так и исчезла. Вы спросите, пусть признается, как сделала? Словно в цирке”.

Что я могла ответить? Следователь кричал, даже на одном допросе бил, а я все молчала и отвечала: “Не знаю”, – беспрерывно молясь Матери Божией, и наконец не выдержала и сказала: “Никуда я не пряталась и не исчезала, это меня Мать Божия спасала, я шла и всю дорогу Ей молилась”. Следователь на это засмеялся, но бить перестал.

Приговоры в эти годы были суровые, но и здесь помогла мне Богородица, дали мне только высылку на три года за сто километров от Москвы, что было самым малым наказанием.

Кого послала Мать Божия в ответ на мою молитву? Сама ли пришла и увела следившую за мной женщину, или послала кого-то из святых, или Ангела моего хранителя. Но реально видела я чудесную свою Спутницу, слушала Ее голос, происшедшее зафиксировано в протоколе допроса.

Отца Арсения пришлось мне увидеть только в 1958 году. Рассказала я ему и спросила, что это было? И о. Арсений сказал: “По молитвенной просьбе Вашей оказала Вам великую милость Пресвятая Богородица, наша Заступница и Охранительница от бед и напастей. Чудо и большая милость была явлена Вам и мне, ибо, сохранив письма, отвела Она от многих и многих аресты, ссылки и лагеря.

Слава Тебе! Господи! Слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас. С иконой Казанской Божией Матери никогда не расставайтесь. Молитесь перед ней чаще”.

Воспоминания А. В. Р-ой.

ЛЕНА

Я приехал к о. Арсению рассказать о своих делах, поисповедоваться и получить советы о многих жизненных вопросах, волновавших меня, но он был болен, и мне пришлось прожить несколько дней у гостеприимной Надежды Петровны, дожидаясь, когда о. Арсений поправится и сможет принять меня.

На второй день приехали двое, оказавшиеся мужем и женой. Юрию Александровичу было около сорока лет, а Елене Сергеевне лет тридцать пять. Оба высокие, интересные, несколько шумные и подвижные, но внутренне удивительно единые во всем, что касалось веры, жизни и отношения к людям.

Они мне понравились. На другой день я вместе с ними пошел по старинным церквям, монастырям и музеям. Разговорились, и вечером я, как-то незаметно для себя, рассказал, какими путями пришел к церкви, и, закончив, довольно бестактно почему-то спросил своих новых знакомых: “А как вы пришли к церкви?” Юрий Александрович посмотрел на жену и сказал: “Да вот, через нее”, – и оба чему-то рассмеялись.

“Может быть, расскажете?” – опять спросил я, но Юрий с Леной растерянно переглянулись и перевели разговор на другую тему.

Третий день совместной жизни у Надежды Петровны еще больше сблизил нас. Наконец о. Арсений поправился настолько, что смог говорить с нами. Прожили мы еще два дня, и Надежда Петровна, как всегда накануне отъезда, устроила для всех живущих чай, называемый “прощальным”.

Отец Арсений даже поднялся с постели, вышел из своей комнаты и сел с нами за стол. Врач Ирина, духовная дочь отца Арсения, специально приехавшая из Москвы для ухода и лечения, внимательно следила за каждым его шагом и движением. Отец Арсений расспрашивал нас всех о Москве, новостях и сам много рассказывал нам интересного и нужного. С особой приветливостью смотрел он на Юрия и говорил с ним и вдруг в середине одного разговора сказал, обращаясь к Юрию и Лене: “Напрасно не рассказали, как пришли к церкви, обязательно расскажите или напишите и передайте Александру Александровичу (так зовут меня). Обязательно напишите и передайте”, – повторил о. Арсений.

Мы были удивлены тем, что о. Арсений знал о моем вопросе к Юрию и о том, что он не ответил.

В Москве Юрий и Лена стали частыми гостями в нашем доме, а мое собрание старопечатных книг искренне заинтересовало их и привело в восторг. Месяца через два после встречи у о. Арсения Юрий смущенно передал мне свои записки, которые я, с разрешения его и Лены, даю вам читать. Прочтите! Этого хотел и о. Арсений.

“...Кончил я десятилетку, поступил в институт, стал студентом. Спорт, книги, театр, туризм были моими увлечениями. Проводил время весело, бездумно, беспечно, но учился хорошо и после окончания института был оставлен аспирантом. Через три года защитился, стал кандидатом наук и,

преисполненный собственного достоинства, ушел на исследовательскую работу, как теперь говорят, в “почтовый ящик”. Работа интересовала и увлекала. Раньше каникулы, потом отпуска и выходные дни проводил в туристических походах и поездках. Собрал большую библиотеку и все стремился и стремился куда-то. Чего-то мне всегда не хватало. В своих исканиях искал нового, прекрасного.

Бывало, идешь походом в горах, перед тобой расстилается безграничный мир гор, воздуха, облаков, альпийских лугов, осенних лесов, покрытых багряным листом, и хаотического нагромождения скал. Прозрачная дымка покрывает далекие горы, на всем лежит печать таинственности, величавости и красоты, до боли в душе подавляющей тебя необъятностью и совершенством. Хотелось поклониться природе, поблагодарить ее за красоту, подаренную человеку. Наши дремучие северные леса заставляли меня погружаться в русскую сказку и чувствовать себя беспомощным пигмеем, затерянным среди великанов.

На привалах пели песни, в пятидесятых: “Кузнечик – коленками назад”, “Флибустьеры”, “Шагай вперед, хозяин ты земли” и многое другое. Время проходило весело, интересно, но приезжал домой и начинал ощущать внутреннюю пустоту, неудовлетворенность, тоску.

Любил несколько раз и каждый раз думал, что искренне, но проходило время, и наступало охлаждение, безразличие.

Горе принес многим, да и сам бывало страдал от отчаяния, но думал только о себе, а о чужих переживаниях не задумывался. Иногда любовь приходила, словно внезапный приступ тяжелой болезни – трясет, гложешь и ничего не видишь, а то вползала любовь серенькая, нудная и тянулась, лишь занять время.

Вот так и шла моя жизнь, внешне удачливая, интересная, но внутренне пустая, и это я временами сознавал.

Работала у нас в конструкторском отделе девушка, инженер-конструктор, лет двадцати пяти. Способная, волевая, упорная. Звали ее сослуживцы Елена Сергеевна. Рассказывали, что когда пришла в отдел работать, то стали звать ее: “Ленка, Лена”, но очень серьезно она сказала: “Зачем так сложно, зовите просто Елена Сергеевна”, – и отучила. Я с ней по работе часто встречался, но внимания как на женщину не обращал. Лена не казалась мне неинтересной, но серьезность и собранность ставили ее в моих глазах в положение эдакого “синего чулка”. Проработал с ней около года и все не замечал.

Собрались на экскурсию в Ростов Северный, бывал я там несколько раз, но поехал, потому что мои всегдашние спутники справляли чей-то день рождения, а я не захотел там быть.

В семь часов утра собрались в экскурсионном автобусе, он был заполнен в основном пожилыми людьми, молодых сидело всего человека четыре, в числе которых была и Лена. Приехали. Пошли, как всегда, по храмам, музеям. Экскурсовод рассказывает, но Елена Сергеевна ходит в отдалении одна и внимательно рассматривает иконы, фрески, храмы. Я экскурсовода тоже не слушал. Подошел к Лене и сказал: “Вы послушайте. Очень интересно”. – “Мне неинтересно, я по-своему воспринимаю древнее русское искусство”.

Пошли по музею. Рассказывает почти так же, как экскурсовод, но в интонации, оттенках слышится что-то другое. Иконы, жизнь святых, эпизоды из русской истории зазвучали в ее рассказе какой-то другой жизнью: мягче, теплее, искреннее, и на переднем плане выявилось отношение верующего человека к вере, Богу, и все это преломлялось через душу верующего. Когда пошли по храмам, Елена Сергеевна оживилась, и ростовские фрески в ее рассказе раскрылись для меня по-новому.

Фрески, иконы, архитектуру храмов подняла она на ступень одухотворенности, величественности, связав все с верой и жизнью нашего народа, его прошлым.

Заинтересовала меня Елена Сергеевна. На работе стал подходить к ней, разговаривать. Съездили в Суздаль, Углич, и поездки эти дали мне много нового. Спросил – как ей удалось узнать так подробно о древнерусском искусстве. Ответила: “Интересовалась, читала”. Дальше – больше. Начал ухаживать без особого интереса. Думалось, скоро достанется.

Провожал как-то вечером и обнял, грубо, сильно, и поцеловал. Оттолкнула, вырвалась, ушла. Заело это меня. Пытался на работе подойти, заговорить. Не разговаривает, молчит, избегает. После работы догонял и пытался заговорить, молчит. Не стала одна ходить. Сказала мне только: “Не ожидала, что Вы такой грубый. Не искусством Вам заниматься! Показное, наигранное все у Вас!”

В институте сослуживцы, особенно женщины, которые все замечают, подсмеивались надо мною, видя мою привязанность к Лене, и говорили мне: “Вот она безответная любовь-то, Юрий Александрович, и до Вас дошла”.

Началось лето, уехал я на юг в отпуск. Встретился там с одной знакомой, горы, палатки, походы... Увлёкся, и Лена как-то забылась. Приехал в Москву и чувствую, не могу без Елены

Сергеевны, нужна она мне как воздух. Опять пытался говорить, провожать – все безрезультатно. Молчит, не отвечает. Говорит только на работе по делам, и то односложно. Один раз хотел заговорить с ней на улице. Иду за ней. Вошла в метро, доехала до одной станции. Вышла и пошла переулками, я в отдалении иду за ней, дошла до церкви и, войдя, стала проходить между молящимися вперед. Прошла и встала около какой-то иконы, потом я узнал, что Николая Чудотворца. Перекрестилась несколько раз и запела вместе с хором. Я встал в стороне и наблюдаю. Лицо преобразилось, посветлело и стало сосредоточенным. Такую Лену я никогда не видел.

С этого раза каждую субботу начал, таясь, ходить в эту церковь. Встану в стороне между молящимися и потихоньку наблюдаю за ней, но через месяца полтора Лена увидела меня. Хотел заговорить, извиниться, но ничего не помогало, и вскоре ушла она из-за меня из института. Сослуживцы, и то это поняли.

Однако я продолжал ходить в церковь, меня интересовало, что заставляет современного человека верить? да еще такую девушку, как Лена. Прихожу, прислушиваюсь, стараюсь вникнуть, понять богослужение. Мне казалось, можно интересоваться древней архитектурой, живописью, историей, любить старину, но как можно в наше время верить в Бога? Зачем? Да еще молиться. Стоять рядом с пенсионерами, старухами, слушать чтение священнослужителей, малопонятное и невразумительное. Поют, конечно, хорошо, но можно пойти в концертный зал и услышать в исполнении лучших певцов прекрасный концерт, и при этом сидя среди достаточно культурной публики.

А здесь?

Мне захотелось вникнуть в природу современной веры. Узнать, что влечет и заставляет человека верить? Лена, увидев меня, перестала ходить в эту церковь, я продолжал, присматриваясь и изучая. Увидел, что стоят не одни старики и старухи, есть и молодежь. Рослые парни, одетые по-современному, молодые девушки, женщины с детьми, интеллигентного вида мужчины. Что могло привести сюда Лену и этих людей? Что? Хотелось спросить, подойти, разговориться.

Вначале каждую субботу, а потом и в другие дни приходил в церковь. Вслушивался, пытался понять, но из общего строя богослужения понимал отдельные слова, фразы. Вдумывался в смысл услышанного. Трудно, очень трудно разобраться. Возникла мысль, что почти два тысячелетия люди верили в Бога, Иисуса Христа, Божию Матерь, молились, поклонялись, умирали за веру не потому, что кто-то обманывал их или они заблуждались, а потому, что, вероятно, вера в Бога является необходимой потребностью человеческой души, необходимостью. А может быть, это одно из тех психологических или психических состояний человека, которые еще недостаточно изучены?

Читаются и поются молитвы “Ныне отпускаеши раба Твоего...”, “Свете тихий...”, “Благослови, душе моя, Господа...”. Запоминаю слова, прихожу домой, записываю, вдумываюсь и постепенно, как древняя надпись, расшифровываются фразы и смысл. Много становится понятным, но в голове еще полный туман. Когда народ в храме поет, я тоже начинаю петь, это поднимает настроение, захватывает. Я стараюсь узнать как можно больше о христианстве. Сведений, почерпнутых мною из книг по иконописи, описанию старинных храмов, оказывается ничтожно мало. Начинаю поиски. Достаю Евангелие, Библию, книги дореволюционных изданий о церкви, расспрашиваю кое-кого из родственников и знакомых.

Что-то проясняется, но чтение Библии запутывает, а мысли Евангелия понятны, добры, но в наше время слишком уж наивны. Иду в библиотеки, разыскиваю сочинения о религии, но там все поносится, осмеивается и ругается, и я чувствую лживый, поверхностный подход к проблемам веры, хотя кое-кто справляет церковные праздники. В церкви никого не знаю и спросить неудобно. Случайно у одних родственников нахожу старый учебник – катехизис. С жадностью читаю его, многое проясняется, изложение сухое, тяжелое, деревянное, казенное, но смысл некоторых молитв и богослужений становится понятен. Я уже знаю, что происходит в храме во время богослужения, но в основном вечерни и утрени, так как прихожу на эти службы. Изучить, понять, осмыслить становится моим увлечением. Я вхожу в какой-то новый, ранее не известный мне мир. Мир, как оказывается, не отгороженный от современной жизни, а включающий ее.

Я так же увлекаюсь путешествиями, природой, но что-то новое, вошедшее в мою жизнь, сделало ее осмысленной, одухотворенной, наполненной, и в то же время многое кажется мне странным, несовременным, надуманным. Лену уже давно не вижу. Несколько раз бывал в других церквях, но и там ее не видел. Больше полутора лет понадобилось мне, чтобы понять службу и постичь основные правила веры, но как я еще мало знал тогда!

Многое из прежнего ушло, и новые интересы вошли в мою жизнь. Отпуск провожу в Загорске. Снимаю комнату и каждый день хожу в монастырь. Стою у раки преподобного и знаколюсь со студентом Академии. Он объясняет и помогает многое понять, отвечает на мои вопросы. Это

счастливая встреча. Наконец наступает день, когда я понимаю, почему люди верят в бога. Я пришел в церковь только для того, чтобы увидеть Лену, но теперь прихожу потому, что не могу не ходить. Верю ли я? Или привык к церковной службе? Даже мне самому еще трудно ответить. Молитвы, читаемые в церкви, я не просто слушаю, а вникаю в их смысл и временами ловлю себя на том, что молюсь. Иду домой, а в душе еще долго живут слова молитвы, возгласов, песнопений. Прошло почти два года, как я пришел в первый раз в церковь из-за Лены. Пришел, догоняя ее, потом стал ходить из любопытства, сейчас хожу как верующий.

Пасха. Окончился Великий пост. Идет утренняя. Состояние торжественности, радости охватывает стоящих в храме. Народ поет “Христос воскрес из мертвых, смертью смертью поправ...” Пою, конечно, и я. Всего меня переполняет необыкновенный восторг, душа стремится ввысь, хочется обнять все и вся. Нет усталости, обид, нет тревог.

Кончается заутреня, отстояв обедню, иду к выходу. Народу много, пройти трудно, и я решаю выйти через левый выход храма. На ступеньках стоит Лена. Не удивляюсь встрече и говорю: “Христос воскрес!” Лена порывисто поднимает голову, смотрит на меня. Брови радостно взлетают, глаза сияют от внутреннего восторга, лицо счастливо-взволнованно. Я, смотря на нее, повторяю: “Христос воскрес, Лена!”. “Воистину воскрес!” – отвечает Лена и неожиданно тянется ко мне, и мы христосуемся на ступеньках храма. Спускаемся по ступенькам храма и идем вместе. Куда? Зачем?

Где-то из-за домов пробивается рассвет, город тих и спокоен, воздух свеж и прозрачен. Я беру Лену под руку и говорю: “Лена! Два года я ходил в эту церковь, вначале из-за Вас, потом из любопытства, а теперь прихожу, потому что верю”. И начинаю рассказывать о себе. Говорю, говорю и говорю, а в душе по-прежнему звучит пасхальная служба, звучит “Христос воскрес!”.

Лена идет молча и слушает, а я смотрю на нее и все еще продолжаю говорить. Мы идем по улицам, переулкам, бульварам, не замечая, где идем. Вероятно, попадаются прохожие, но я не вижу их. Сейчас я весь в охватившей меня пасхальной службе и, нечего скрывать, полон радости, что иду с Леной. Все сегодня удивительно хорошо. Пасха, жизнь, настроение и то, что я с Леной! Мне кажется, что я переродился. Я иду и говорю Лене о Пасхе, о вере, о своей жизни и о ней самой, Лене. Она идет, опираясь на мою руку, слушает и молчит, только временами взглядывает на меня. Мне становится беспокойно и страшно от ее молчания, и я, сжимая ее руку, говорю, теряясь и задыхаясь: “Лена! Вы знаете, Лена? Вы знаете, что я хочу сказать Вам”, – начинаю я третий раз и никак не могу закончить фразу до конца.

Она не вырывает руку и не отталкивает, а только смотрит на меня большими темными глазами, потом опускает их и тихо произносит: “Знаю!”

Прохожие, вероятно, с удивлением смотрят, как здоровый верзила на углу переулка обнимает и целует девушку, а возможно, в этот ранний час и нет прохожих.

“Юрий! – говорит Лена. – Я знала, что ты по-прежнему бываешь в церкви, теперь это будет наша общая церковь”.

Я не отвечаю, да, я просто обнимаю Лену, и мы идем дальше, а перед нами опять возникает церковь, из которой мы ушли после обедни, в ней идет вторая обедня.

Входим. Медленно проходим к иконе Божией Матери, прикладываемся, молимся и уходим.

Лена говорит: “Идем к моей маме, она ждет меня после заутрени”.

Вот так я и пришел к церкви. Все остальное вам ясно и без моего рассказа.

Об о. Арсении. Через мать Лены два года тому назад мы приехали к нему первый раз, а теперь я езжу и езжу, каждый раз унося от него ни с чем не сравнимую радость постижения веры, наставление и руководство, как надо жить верующему в нашем современном обществе.

Написал Вам свой рассказ за один длинный вечер, написал, заставив себя вспомнить прошлое, хотя оно и не такое уж прошлое, женаты мы с Леной только четыре года. Юрий”

КОРСУНЬ-ЕРШИ

1963-1971 гг.

В 1932 году арестовали меня, Юлю и Соню. В эти годы в основном брали верующих, или, как тогда называли, церковников.

Мы трое пришли к о. Арсению девочками, к моменту ареста мне было 23, Юле и Соне по 24 года. Дружили и всюду бывали вместе – в церкви, в гостях, в театрах, поездках, музеях.

Сидели в одной камере в Бутырках, камера была большая, человек на сорок, почти все церковники и, в основном, молодежь. Продержали три недели, вызывали два раза к следователю, вызвали третий раз, зачитали приговор – высылка из Москвы на четыре года. Приговор был какой-то странный, всех приговаривали на три года высылки, следующая ступень была – лагерь. Выпустили и

предложили ехать в Архангельск, а там, мол, назначат место жительства. Я училась на четвертом курсе медицинского института, Юля работала на фабрике швеей, а Соня чертежницей в каком-то конструкторском бюро.

Дома плач, мама с папой бросились хлопотать, просить, но все оказалось безрезультатным, так же было и у Юли с Соней. Через десять дней выехали мы в Архангельск и доехали без приключений. Явились в НКВД, дали нам направление в райцентр, названия которого раньше мы и не слышали.

По Северной Двине поднялись вверх на двести километров, от пристани добрались на лошадях и оказались в нашем райцентре. Пока ехали на пароходе, увидели, что кругом голод, магазины пустые, хлеба не продают, висят только хомуты, дуги и постромки. В дороге питались тем, что взяли с собой из Москвы.

После долгих уговоров разрешили переночевать в коридоре “дома крестьянина”, утром пошли в райотдел. Разговоры шепотом, слухи одни страшнее других. Пришли к уполномоченному, очередь ссыльных. Крик, ругань, матерщина, только не бьют. Кого на лесозаготовки, кого на сплав или строить дороги, всех без разбора: мужчин, женщин, молодых, стариков. Страшно, молимся про себя.

Подошли, подаем документы, что-то хотим сказать. Взглянул искоса и зашелся в крике – “контра”, “проститутки”, и через слово матерщина.

Юля высокая, красивая, настоящая русская красавица, посмотрел на нее и чуть бить не стал. Кричит: “Сволочь! Отъелась на рабочих харчах!”

Документы отобрал и ушел куда-то. В очереди говорят: “В лес, девушки, пошлют, на смерть, а тебя, высокая, к начальству в кровать” (это про Юлю).

Господи, Господи! Чего мы только не натерпелись! Пришел уполномоченный, бумаги подписаны, бросает их нам и опять в крик: “Сегодня же вон из города”, – и пошла ругань.

Взяли бумаги, у всех троих направление в село Корсунь. Стали искать подводу. Расспрашиваем, где Корсунь, говорят, верст двадцать от райцентра. Бегали, искали и только к середине дня нашли возчика с двумя ящиками на возу. Заломил с нас немислимую цену, что-то около тридцати рублей. Выхода нет, согласились. Возчик был пьян, всю дорогу ругался, пытался приставать то к Юле, то к Соне, меня назвал хворобой и пренебрежительно махнул рукой. Два или три раза телега опрокидывалась в грязь, поднимали телегу, ящики, собирали упавшие вещи и совсем раскисшего возницу. С невероятным трудом проехали около десяти верст и заночевали в какой-то деревне. Утром тронулись, но у Юли пропал узел с одеждой, искали долго, не нашли и поехали дальше. Выезжали, возчик был мрачен и трезв, но по дороге опять захмелел, видимо, незаметно выпил. На одном из поворотов воз опрокинулся, и Юлин узел с одеждой оказался старательно зарытым на телеге под сено.

К вечеру второго дня добрались до нашей Корсуни. Ткнулись в один дом, второй, третий – хозяйева не пускают. Возчик сбросил наши вещи и уехал. Моросил дождик, густой тяжело лаяли собаки, кругом окружала темнота. Мы устали, промокли, хотелось есть и плакать от полной неизвестности. Молиться в этот момент я не могла. Юля же не теряла присутствия духа и, помню, сказала нам: “Девочки, вы по стойте здесь и молитесь Николаю Угоднику, а я пойду по селу, может быть, кто и пустит”.

Минут через тридцать пришла Юля, сказала, что нашла ночлег у одной старухи.

Большая изба. Огромная русская печь, по стенам лавки, стол, прибитый к полу, в углу темная доска иконы. В избе холодно, но печь горячая. Разделись, забрались на печь, улеглись и пролежали без сна всю ночь. За ночь вещи высохли, мы прогрелись и оживились.

Бабка высокая, костлявая и необычайно злая к нам, ссыльным.

“Нагнали вас тут, поганцев, – говорила она нам, – вот ничего и не стало. Ты скажи, девка, куды керосин делся? Сахара нет, соли нет. Принесло вас”.

Утром обнаружили, что пропал мой сверток с платьем, конечно, украл возчик. Цену за жилье бабка заломил, как и возчик за подводу, большую. Поели, что было с собой, переоделись и пошли в сельсовет для отметки прибытия.

В большом пятистенке размещался сельский совет. Помещение было замусорено и заплевано до предела. Председатель, высоченный рыжий мужчина, хмуро оглядел нас, взял документы, записал в книгу фамилии и сказал: “В Корсуни жить не разрешу, валяйте отселева в Ерши, и всего три версты. В понедельник и четверг на отметку являться ко мне или к Михалеву. Милиционер Михалев приезжать будет. Вам не разрешено никуда отлучаться. Народ не смущайте, агитацию не разводите, у меня чтобы тихо все было, а то в райцентр отправлю там разговор короткий. Мне за вас отвечать надо”.

Я робко спросила, где можно купить продукты. Председатель засмеялся и зло сказал: “Советская власть врагов не должна кормить, не обязана”. Тем наш разговор и кончился.

Пришли к бабке и видим: в избе собрались одни девки и бабы – разложили наши вещи на лавках, рассматривают, примеряют, смеются. Особенно смешными показались им наши лифчики и кружевные комбинации, только и слышалось: “Срамота!”

Еле-еле собрали разбросанные вещи и под дружный смех пошли в Ерши. Все взять не смогли, книги и тяжелые корзинки оставили. Нагрузились до предела. Три версты оказались пятью. Моросил дождь, ноги тонули в грязи, разъезжались, обессилев, дошли.

Сняли избу у одинокой бабки Ляксандры. Бабка была маленькая, сухонькая, подвижная. Большие голубые выцветшие глаза доброжелательно и приветливо смотрели на людей. Жила бабка плохо, сыны уехали в город и не появлялись в деревне, занятые своими делами, дочери повыходили замуж и забыли мать, денег никто не присылал, и она одиноко коротала свой век, питаясь тем, что давал огород.

Нас встретила хорошо и даже была рада. Деревенские новости мы знали уже на другое утро, но они не обрадовали нас. Ссылных в деревне не было, а те, что были, умерли от голода зимой, работы найти невозможно, председатель сельсовета злой человек, купить ничего нельзя, народ сам живет впроголодь.

В избе было тепло, спали мы на печи, над головой шуршали голодные тараканы, из щелей вылезали и кусали блохи, на полу спала старая овца – единственная скотина бабки Ляксандры. Первое время питались тем, что привезли, но продукты кончились, и надо было что-то делать. Писали письма в Москву, но переводы и посылки нам не доставляли, надо было получать разрешение ехать в район на почту, а председатель не давал. Пошли проситься работать в колхоз, не взяли, хотели собирать грибы, малину и чернику для заготовителей Центросоюза, собрали, сдали на пункт, но денег и продуктов нам не дали, а посмеялись. Мы поняли, что нас обрекли на голодную смерть. Бабка Ляксандра сказала: “Жалко вас, девки, и ничем помочь не могу. Год прошлый у Ипатьевых семья жила, так же билась, померли с голодухи – ссыльные ведь”.

Настал для нас голод, ни купить, ни достать ничего нельзя, мы днями сидели голодные. Стали менять носильные вещи, но крестьяне, зная наше бедственное положение, давали за шерстяное платье ведро картошки, за ботинки два фунта муки.

Было сырое лето, на огороде бабки Ляксандры ничего не уродилось, и она тоже голодала, делясь с нами, чем могла. Человеческой надежды не было никакой, и мы просили Николая Угодника, Матерь Божию помочь нам. Наступил момент, когда я усомнилась в возможности Божией помощи. Только Юля всегда и всюду верила, надеялась и говорила нам: “Господь не оставит нас, Матерь Господа нашего поможет. Отец Арсений поручил нас Ей – Богородице”. Милая Юля, как много давала она мне сил своими утешениями, молитвой. Соня замкнулась, молчала, и если в Москве она много внутренне давала нам с Юлей, то теперь я опиралась только на Юлю.

Лето было дождливым, овощи на огородах ела мошкара и гусеницы, картошка гнила в земле, но грибов и малины в лесу было много. Решили собирать грибы, чернику, малину и сушить. Ходили по двое, одна из нас оставалась дома на случай проверки, чаще оставалась Соня.

Грибов было много, малины тоже, но собирать ее было труднее. Бабка научила нас сушить грибы в русской печи, и за лето мы насушили грибов килограммов тридцать с лишним. Было большим счастьем, что на дворе у бабки, не знаю почему, было завезено несколько сажень дров и хвороста. Пришла холодная осень с проливными дождями, заморозками, по утрам лужи покрывались льдом, повалил первый снег. Из носильных вещей оставили только самое необходимое, а остальное сменяли на картошку. Незаметно установилась зима с морозами и жестокими метелями. Бабка где-то на чердаке разыскала две пары старых подшитых валенок, благодаря которым мы могли выходить на улицу без опасения отморозить ноги.

Два раза в неделю являлись в сельсовет Корсуни на регистрацию, эти дни были для нас самыми страшными во все время нашей ссылки в Ершах и Корсуни. Председатель, отмечая документы, с особым удовольствием матерился, кричал, заставлял подолгу ожидать на улице, уходил куда-то или просто сидел на скамеечке около сельсовета и обменивался новостями с проходящими друзьями и товарищами, делая вид, что не замечает нас. Каждую минуту мы ждали, что куда-нибудь отправят или заставят выполнять неведомо что.

Если председатель отсутствовал, регистрацию вела молодая женщина с необычайно грустными, усталыми глазами, лицо ее с правой стороны было чем-то изуродовано, и поэтому к посетителям она поворачивалась всегда левой стороной. Она молча брала наши справки, давала в руки перо для расписки в журнале и, не произнося ни одного слова, отпускала. Только однажды, посмотрев на Юлю, сказала: “Какая ты красивая”, – и здоровая щека ее залилась румянцем.

Часто в понедельник и четверг сельсовет почему-то днем бывал закрыт, мы ждали до темноты, появлялся председатель или секретарь, регистрировал нас, и мы шли в Ерши ночью по раскисшей

грязи в дождь. Хуже всего было ходить зимой в метель. Становилось страшно, жутко, отовсюду чудилась опасность, но мы шли и шли.

Раза два-три приставали парни, но милость Божия спасала нас.

Несколько раз приезжал в Ерши на лошади милиционер Михалев, обыкновенно долго топтался в сенях дома, вытирая ноги, молча входил, садился на лавку, доставал тетрадь, химический карандаш, смотрел на нас, словно на неодушевленные предметы, давал расписаться в книге, вставал и говорил всегда одну и ту же фразу: “Дела, дела, на месте, значит, девки!” - и, оглядывая нас и избу недобрый взглядом, уезжал. Лицо Михалева было квадратное, лохматые брови топорщились над глазами, глубокие морщины, словно след от удара топором, прорезали в самых неожиданных направлениях лоб, щеки, подбородок. Михалев производил впечатление языческого идола, вырубленного из куска дерева, лицо казалось недобрый, злым.

Бабка Ляксандра при его приходе начинала суетиться, волновалась и выходила из дома. Мы Михалева не любили, боялись его посещения, взгляда, носимой им тетрадки и даже лошади, на которой он приезжал.

Лютая северная зима скрутила нас, и мы только тем и спасались, что грелись у печки. Тепло поддерживало нас, но голод одолевал. Грибы, грибы и грибы в двух видах – суп и каша из них. Если удавалось достать пять или шесть картошек, крошили их в грибное месиво, и нам казалось, что живем по-царски.

Юля начала болеть, вначале желудок, потом ослабли ноги, руки, и она окончательно слегла. Первый раз в начале декабря не пошла на регистрацию. Пошли я и Соня, сказали, что Юля больна, но председатель не поверил, начал кричать и ругаться, изощренно, цинично, угрожающе. Идя домой в Ерши, мы всю дорогу плакали. На другой день приехал Михалев проверить, не сбежала ли Юля, но увидел, что больна, решил не являться.

Недели через две из района приехали с обыском, перерыли все вещи, отобрали Евангелие, Псалтирь, молитвенники, и с этого времени мы могли молиться только по памяти.

Соня раза четыре или пять ходила одна зачем-то в Корсунь и один раз даже ночевала там. Выглядела она лучше Юли и меня, но последнее время подолгу задумывалась, молча ходила по избе, садилась и отчужденно смотрела в окно.

Я пыталась заговорить, спросить ее, но она упорно молчала и как-то в одну из сред ушла утром в Корсунь, осталась там ночевать, а в четверг принесли от нее записку:

“Умирать с голоду не хочу, надо жить. Судите меня, но я не вернусь. Одной молитвой не проживешь. Прощайте. Соня”.

Мы с Юлей расплакались, а бабка Ляксандра, придя вечером, доложила нам: “Сонька-то с голодухи к Ваське Строкову ушла в Корсунь, в председателях колхоза ходит. Жена его весной померла, увидел Соньку, приглянулся ему, ну и спутались. Охлопотал он ее или так взял, дело ихнее, как королева жить теперь будет”.

Юле от всего происшедшего стало хуже. Пошла я в Корсунь искать Соню, спрашивала и не нашла. Как же могло случиться, думала я, вместе были у о. Арсения, всех он вел, и Соня служила примером для многих. Почему так случилось, почему? Задавала себе вопрос и не могла ответить. Еще более и истовее мы стали с Юлей молиться, умоляя Господа дать нам силы и помощь.

Бабка Ляксандра, спасаясь от голода, решила уехать к сестре в Шенкурск. “Не помощница я вам, девки, а лишний рот”. Остались мы вдвоем. Прожили еще месяц, питаюсь грибами. В понедельник я пошла на регистрацию. Юля совсем ослабла, и я боялась оставить ее одну.

С трудом добрела до Корсуни. Шел мелкий колючий снег, ветер сбивал с ног. Дверь сельсовета оказалась на запоре, я потопталась и в растерянности пошла вдоль улицы. Мелькнула мысль – буду просить милостыню. Только прошла несколько шагов, смотрю – на порог одного дома выбежала девочка лет десяти и закричала: “Тетя! Тетя! Зайдите сюда”. Вошла в дом, хозяйка усадила меня за стол и стала кормить.

“Я, голубушка, давно за Вами следила из окошка, как Вы к сельсовету ходили на отметку, часами ждали. Ты на отметку приходишь будешь, ко мне заходи, отогреешься, покормлю. Сонька-то ваша за председателем колхоза ходит. Не тужите о ней, дерьмо завсегда кверху всплывает. Бог с ней. Хлеба-то на дорогу возьми и картошки”.

Наелась я, отогрелась добротой человеческой, отдохнула и, когда увидела в окошко председателя, пошла отмечаться. Пришла в Ерши радостная, возбужденная, рассказываю Юле, кормлю ее. Прожили три дня, кончилась еда, опять настал голод. В Корсунь на отметку я не могла идти, не было сил.

Утром, не помню какого дня недели, пошла за дровами. Вышла на крыльцо, охватило меня холодом, и увидела я отчетливо лес, прилесные поля, огороды, покрытые пеленой снега. Красота

необъятная, что-то нежное и торжественное было в этой голубизне снега хрустальной чистоте воздуха, темной дымке леса. Во всем очаровании зимнего света было столько неземного, что я произнесла вслух: “Господи! Ты же здесь, но почему оставил нас? Помогите!” Но никто не откликнулся, и, качаясь, брела я носить дрова. Поленья падали из рук, но я носила и носила их в избу, охваченная раздражением и злостью. Мы брошены, мы оставлены. Умираем!

Кончив носить дрова, я остановилась на крыльце, погода изменилась, пошел крупный снег, зимнее солнце скрылось, темные сизые тучи закрыли небо, бросая на землю хлопья снега, кругом потемнело, померкло, и перед глазами кружились, переплетались и бились белые птицы. Мне стало нестерпимо жарко и душно, страх охватил меня. Держась за заледенелые стены крыльца, я с трудом открыла дверь, захлопнула ее и почти ползком добралась до лавки, где была моя постель.

На печи лежала Юля, у меня не хватило сил забраться к ней. Забылась я в беспомощности и, как потом сказала Юля, бредила всю ночь. Утром проснулась, попробовала встать, не смогла, окликнула Юлю, она ответила. Мы еще жили, но долго ли будем жить?

На второй день я очнулась, около меня стояла Юля и давала мне воду. Я попыталась встать, с трудом поднялась, заставив ее лечь. В доме было холодно, печь не топилась два дня, протопить не хватило сил. Мокрота и кашель душили, знобило, и я начала молиться. Утром я услышала, что в сенях кто-то возился, долго отряхивался, наконец дверь открылась и вошел Михалев. Увидев нас лежащими, подошел, откинул одеяло, осмотрел и сказал: “Дела, дела”, – и вышел.

Мы с Юлей впали в забытие, сейчас нам было безразлично – был Михалев или не был, мы умирали. Смерть медленно вползала в наш дом, в наше тело. Короткий день кончился, за стенами свистел ветер, неся хлопья снега, в избе было холодно, и старые тулупы бабки Ляксандры уже не грели.

В темноте Юля еле слышно спросила: “Люда, ты жива? Я скоро умру”. Мы стали молиться Божией Матери, Николаю Угоднику и Господу, умоляя простить и принять наши души. Уже не было страшно одиночества, смерти, холода, мы понимали неизбежность происходящего и положились полностью на волю Божию. “Господи, не остави нас, грешных!” – сказала Юля, и я, мысленно перекрестившись, провалилась в беспомощность.

Очнулась от удара двери. В избу вошли двое, по голосам чувствовалось – мужчина и женщина. Чиркнула спичка, зажглась лучина, и я увидела Михалева.

“Дела, дела, девки! С женой приехал”. По избе ходила женщина, открывала печь, накладывала в нее дрова, передвигала чугуны. Разожгла печь и подошла к нам. “Ишь ты, как оголодала, – сказала она Юлии. – Тела-то почти не осталось”. Оглядела меня, провела рукой по лицу и, обращаясь к мужу, сказала: “В печи надо девку пропарить”. “Господи! Что это?” – подумала я. Голова отчетливо работала, а память фиксировала все происходящее. Михалев вышел, внес два мешка, зажег принесенную свечу, отыскал вход в подвал и снес туда мешки.

Жена Михалева была неразговорчива, время от времени открывала заслонку, бросала в печь дрова, что-то готовила, грела, наливала. Печь топилась вовсю, но в избе было еще холодно. Михалев вышел и стал носить в избу дрова, охалка за охалкой, складывая их у печи. Наносив дров, Михалев сказал жене: “Я поехал, а то заметят, ты под утро придешь”, – и вышел.

Вера, так звали жену Михалева, закрыла дверь деревянной щеколдой, села на лавку и стала дожидаться, когда протопится печь. Дрова прогорели, изба нагрелась. “Вши-то есть?” – спросила нас Вера и, узнав, что нет, удовлетворенно сказала: “Тогда враз вымою”.

Часов в семь в избе стало жарко, вероятно, уже поздно ночью Вера разбудила меня. “Влезай, девка, в печь и мойся золой, липовым цветом с малиной напою, через три дня встанешь”. Помогла раздеться, поднялась на гнеток и по соломе залезла в печь, там уже стояли чугуны с водой, ковш и зола. Мыться в печи научила нас бабка Ляксандра. Было неудобно, очень жарко, но мне вдруг стало лучше. Время от времени Вера открывала заслонку и, заглядывая, спрашивала: “Девка, а ты жива?” Я вымылась, приятно ломило суставы, пропала головная боль, хрип и кашель исчезли. “Посиди, посиди, прогрейся”, – говорила мне Вера. Потом помогла вылезти, натянула на меня свою домотканую рубашку, завернула в тулуп и буквально забросила на печку. Напоила настоем из трав, накормила и стала таким же порядком мыть Юлю.

Утром Вера разбудила меня. “Слушай, девка. Мне по темноте от вас уйти надо, на ночь-то я приду. Ты тулуп накинь и дверь запри от греха. Подругу-то корми помаленьку, но чаще. Лежите да ешьте”.

Прижалась я к Юле, а она мне говорит: “Вот видишь, по молитвам отца духовного Арсения и нашей неотступной просьбе Господь и Мать Божия не оставили нас”.

Почти каждый день приходила к нам Вера, кормила, готовила, топила. Михалев дня через четыре приехал, привез еще мешок картошки и ведро квашеной капусты. На пятый день я поднялась,

Юля поправлялась медленно. За окнами крутили метели, надсадно, тоскливо, по-волчьи выл ветер, цепляясь за углы дома, морозы не уходили, а с каждым днем крепчали.

Но мы впервые за время ссылки были согреты человеческим теплом добра и любви совершенно незнакомых нам людей, помощи от которых, как нам казалось, нельзя было ожидать. Зримо, физически ощутимо Господь и Матерь Божия через Андрея, так звали Михалева, и Веру оказали нам помощь, спасли. Это было настоящее, большое чудо, оказанное нам по молитвам о. Арсения и великой милости Божией. Мы с Юлей беспрестанно благодарили Господа и с благоговением смотрели на дядю Андрея и Веру. Дивны дела Твои, Господи, и только Тебе одному ведомы пути человеческие.

Юля ожила, стала проявлять интерес к окружающему, говорила со мной и Верой, вспоминала прошлое, молилась вслух. Мы верили в милость Господа, но невольно приходили мысли: кончатся продукты, привезенные дядей Андреем, перестанет приходить Вера, что будет? Опять голод? Но милость Божия безгранична. На десятый день я настолько окрепла, что чувствовала себя так, как когда-то в Москве.

В этот день же Вера сказала: “Андрей в больнице с братенем говорил – фельдшер он там. Сходи, девка, обещал санитаркой взять. Заработок небольшой, но жить можно, продукты по талонам будешь получать, с народом здешним познакомиться, а там – что Бог пошлет. Юлю куда-нибудь потом пристроим. Андрей, девки, вас не оставит”.

В понедельник утром пошла я в Корсунь. Искрился снег, горел диск солнца, и высокое просторное небо, повторяющее, отражающее искристость снега, было белое над головой и синеватое вдали. Все ложилось на душу легко, спокойно. Не перечеркивало того, что было, а, наоборот, давало возможность осмыслить, понять величие Промысла Божия.

Мы с Юлей перестрадали, умирали, но это было в прошлом. Сейчас ощущение жизни, радости того, что мы живем, заглушало и отдаляло перенесенные страдания и вселяло уверенность, что мы не одни – нас окружают люди, готовые в любой момент помочь нам, с нами Бог.

Может быть, сейчас единственно важным казалось устройство на работу, теплый платок, защищающий тебя от мороза, рукавицы, валенки. Да, это было жизненно необходимым, но не в этом было главное.

Сверкающее солнце, голубовато-искрящийся снег, темнеющий лес, охватившее меня чувство никогда не испытываемой и нахлынувшей радости, голубизна небесного свода заставили остановиться, прислониться к дереву и прославить Господа.

Я шла и думала: мир наш с Юлей, кажется, сузился, он умещался в простых житейских вещах и заботах, и в то же время он был духовно безграничен, широк, всеобъемлющ.

У нас отняли молитвенник, Евангелие, Псалтирь, но того, что мы помнили, знали, того, чему научил нас о. Арсений, было вполне достаточно, чтобы быть с Богом, идти к Нему, просить Его, не быть одинокими. Мы были богаты.

Показались окраины Корсуни. Отметилась в сельсовете и стала разыскивать больницу. Больница оказалась фельдшерским пунктом, размещенным в бараке, оставленном лесозаготовителями. Было две палаты, по шесть человек в каждой, маленькая каморка, называемая аптекой, приемные кабинеты, один из которых назывался операционной. Конечно, все это я узнала, поступив работать.

Пошла к фельдшеру – Ивану Сергеевичу, он был заведующим врачебным пунктом, аптекой и родственником дяде Андрею. Спросил, что болит? Сказала, что насчет работы. Вспомнил, расспросил, дал согласие принять. Несколько дней я мыкалась, председатель сельсовета не разрешал, фельдшер ходил в сельсовет, звонил в райотдел НКВД, райздрав и наконец получил разрешение.

Вставала в пять утра и шла из Ершей в Корсунь, в мороз, метель, ночь. Первое время было страшно, но положились на волю Божию. Идешь, бывало, жутко, но молишься всю дорогу и пройдешь ее незаметно.

В сельмаге по талонам давали продукты, промтовары, жители стали узнавать меня и иногда продавали картошку, капусту или меняли на промтовары, но самое главное было то, что дядя Андрей не раз привозил нам картофель, сало или даже мясо.

К апрелю месяцу Юля поправилась окончательно, появился румянец, живость, веселость. Прежней стала моя Юля. Вечерами мы много занимались с ней, когда было свободное время. Достала книжки за полную среднюю школу, решали задачи, читали. Книжки я брала в Корсуни в школе, перезнакомилась с учителями.

В мае месяце отдали больнице еще один барак, увеличили штат, прислали врача-терапевта Зою Андреевну, молодую женщину лет 28-ми с ребенком. Меня перевели медицинской сестрой, а Юлю взяли санитаркой. Зажили мы уже хорошо, только мало приходило писем, а посылки ни разу за год

не получили. Посылки приходили в райцентр, за получением надо было туда ехать, а разрешение на выезд из Корсуни нам не давали, и посылки, пролежав положенный срок, отправлялись обратно.

Прожили год, началась весна. Дядя Андрей приехал “проверить”, на месте ли мы, и дал нам полтора мешка картошки на семена.

“Землю, девки, хорошо перекопайте и унавозьте”. Пять дней копали землю, удобряли, благо старого навоза у бабки Ляксандры лежало много в сарае, а тут и сама Ляксандра от сестры из Шенкурска приехала.

“Девки, а вы-то живы? Вот не чаяла увидеть, да и сытые. Это Бог вам помог, а мне сестрин хлеб – во где сидит”.

Обрадовалась порядку в доме, помогла огородом заниматься, семена капусты, репы, моркови где-то достала и говорила: “Заживем теперь, девки. Заживем”.

В больнице работа налаживалась, работать было интересно, мы с Юлей многому учились. Фельдшер Иван Сергеевич оказался и человеком и специалистом замечательным. Новый врач Зоя Андреевна и я без стеснения спрашивали у него совета, опыт был у него громадный, и он умел ненавязчиво посоветовать, поправить, сказать, при этом сам всегда оставался в тени. Имей Иван Сергеевич высшее образование, давно стал бы профессором, настоящий русский самородок.

Второй год прожили хорошо. С Юлей мы еще больше сдружились и сжились по-особенному. Человек чистой и светлой души, она покорила меня своей мягкостью и в то же время стойкостью и беспредельной верой. Я часто наблюдала за ней в больнице. Больные любили ее. Если кто-нибудь тяжело страдал, она умела подойти, успокоить, утешить. Те из больных, которые соприкасались с ней, становились ее друзьями, знакомыми, готовыми сделать для нее все, что бы ни попросила, но она ни у кого ничего не просила.

На третий год приехал брат Юли, а вслед за ним и моя мама. Мы смотрели на них, как на людей иного мира, далекого-далекого от нас. Нам привезли книги, одежду, продукты. Разговоров, радости не счесть, но приезд вызвал и неприятности.

Недели через две после отъезда родных вызвали нас в район. Кто был? Зачем был? Что привезли? В то время, когда мы находились в райцентре, у нас произвели обыск, но ничего не взяли; уезжая, мы книги спрятали. В райотделе нам угрожали, пугали, грозили послать на лесозаготовки.

О Господи! Как все было трудно! Вернулись подавленные, рассказали дяде Андрею.

“Обойдется! Васька Крохин донес. Вы, девки, никого больше не приглашайте, срок-то ваш скоро кончается. Неровен час и добавить могут”.

Бабка Ляксандра больше не уезжала, привязалась к нам, полюбила, и мы отвечали ей тем же. В начале четвертого года отнялась у бабки рука и нога, но говорить могла свободно. Грубоватая речь, резкие, непривычные для нас выражения деревенского северного языка прикрывали нежную и добрую душу русской женщины. Оставленная сынами и дочерьми, она считала это вполне естественным, как птица, вырастившая своих птенцов, нежно и заботливо когда-то ухаживавшая за ними, но знавшая, что наступит время и они улетят от нее.

Писем дети больше не писали, а она не писала, так как не знала толком их адресов. Кто-то из детей был слесарь, учителька, инженер, но где?

Нас бабка полюбила и после приезда из Шенкурска звала “доченьки”. Годов, как она говорила, было ей за восемьдесят. Жила бабка до смерти мужа хорошо. С тех пор как мы стали работать в больнице, бабка прониклась к нам необычайным уважением, а меня, ведущую фельдшерский прием, называла не иначе как по имени и отчеству – Людмила Сергеевна. Последние годы мы жили хорошо, были сыты, одеты, работали. Тяжелую домашнюю работу делали сами, ничего не давали делать бабке, а когда она слегла, старались всеми способами облегчить ее болезнь. Молились мы с Юлей вслух, и бабушка привыкла к этому и тоже молилась с нами, говоря: “Хорошо, доченьки, на душе спокойно. Это Господь вас на мою старость привел”. Месяца за три до смерти позвала нас бабушка и сказала: “Доченьки, хочу наследство вам оставить, пригляделась я к вам, и должно оно пригодиться”. Потребовала, чтобы мы дверь заперли, окна занавесили и спустились в погреб. Отрыла я там в земле крынку, высыпала на стол содержимое: николаевских денег бумажных рублей на шестьсот, золотых десяток двадцать штук, несколько золотых колец и сережек.

Говорим: “Куда и зачем нам это, бабушка?” – “Куда, куда? Это Бог скажет, когда время придет. всю жизнь муж копил для детей, а вы ближе сынов и дочерей стали, им не отдавайте”, – и взяла с нас слово. Убрали мы крынку в подвал и забыли о ней.

Умерла бабушка Александра – на похороны пришли две старушки, соседки. Детям даже сообщить не смогли, адресов не знали.

В больнице мы прижились, относились к нам хорошо, но и работали мы с Юлей не покладая рук. Фельдшер Иван Сергеевич тяжело болел, и я вела прием вместо него. Пациентов было много.

Врач Зоя Андреевна умела работать с больными, ладила с начальством из райздравицы. Добилась строительства каменного корпуса больницы, увеличения штата, купила новый инвентарь. Смело делала операции, которые вначале меня пугали. Зое Андреевне все удавалось, работа с ней много дала мне и научила как врача.

Десятки лет прошло со времени ссылки, но я всегда помню ее и навещаю несколько раз в год. Живет он под Подольском.

Прошло четыре года, кончилась ссылка, но отпустят ли? Многих оставляли на второй срок или направляли в лагерь. Обратились мы к дяде Андрею, рассказали о наших опасениях.

“Дела, дела, – думал я об этом. Свет не без добрых людей. Проситесь на работу здесь остаться, а я уж помогу”. Зачем оставаться, не сказал, мы мечтали только об отъезде. Вызвали нас в райотдел, дрожим, волнуемся. Шел 1936 год, кругом слышались разговоры о начавшейся волне репрессий, писалось в газетах о процессах, расстрелах, арестах. Принял нас начальник райотдела, полистал наши дела и спросил, куда мы хотим ехать. Назвали нашу Корсунь. Удивился, сказал: “Да! Здесь кадры нужны”.

Получили документы – и обратно в Корсунь. Пришли в сельсовет, получили справки для прописки и получения паспорта, а оттуда пошли к дяде Андрею.

“Дела, дела, девки! Хорошо, что здесь остались, надо паспорта чистые получить. Есть в районной милиции человек, за золотое кольцо чистые паспорта выдаст. По чистому паспорту всюду пропишут, главное, что не по справке НКВД выдан. Да где золото-то достать?” Вспомнили мы о наследстве бабки Ляксандры, рассказали: “Дела, дела, девки, посмотреть надо”.

Принесла я, показала. Выбрал два тяжелых кольца обручальных, а про десятки сказал: “Опасное золото, никому не показывайте, одну десятку увидят, донесут - и опять тюрьма, подумают, что золотых много. Идите паспорт получать, я предупрежу там, в районе”.

Поехали в район получать паспорт. Принимает начальник паспортного отдела, очередь тянется медленно. Вошла я первая, боюсь, села, даю документы.

“Из Корсунь? Давайте”. Просто, обыкновенно, открыто. Взял справки, кольцо, потом зашла Юля, и все повторилось.

Прожили мы в Корсунь более полугодом. Паспорта у нас были чистые, без указания, что выданы по справке НКВД, выписались и уехали: я в Иванове, кончать медицинский, Юля в Александров – кончать среднюю школу экстерном и потом тоже поступать на медфак.

Месяца за три до отъезда шла я из больницы и увидела Соню, метнулась она в сторону, но по улице тянулись заборы, и тогда, повернувшись, пошла на меня. Поравнялись, я к ней: “Соня!” – а она резко сказала: “Ничего не говори мне. Довольна, счастлива, ни о чем не жалею. Умирать не хочу, рада, что выжили. Одними молитвами не проживешь. Прощай”, – и пошла.

Злое, раздраженное было у нее лицо, и что-то чужое наложило на ней отпечаток. Я поняла, она боится нас, хочет стать другой, забыть прежнюю жизнь. В одежде проглядывала мешанственность, прежней интеллигентности уже не было. Пытливый взгляд, раньше живший в ее глазах, угас, остался страх, что-то испуганное и больное. Через много лет я опять встретила Соню. Голодная, холодная, жестокая жизнь в Ершах-Корсунь в первый год придавила нас вначале, все было против нас: люди, природа, окружение и даже Соня, наша любимая Соня в самый трудный период жизни нашей своим уходом нанесла нам, казалось, непоправимый удар, который почти доконал нас. Уход Сони на какое-то короткое время подорвал во мне веру в великое Провидение Божие. Все решительно было против нас. Мы умирали, нам никто не мог помочь, но вдруг неожиданно пришла помощь от человека, которого мы считали наибольшим своим врагом, и тогда в ослепительно ярком свете открылась нам Великая Милость Господа, открылось то, что не знает человек, и слова “Неведомы пути Твои, Господи” стали особенно понятны. Это было настоящее чудо, которое открывает вдруг прекрасное, сокровенное и что-то Божественное, находящееся в человеке, скрытое до поры до времени, так было с дядей Андреем и Верой. И обратное произошло с Соней. Трудности, испытания сняли с нее веру, как что-то наносное, и осталось одно житейское, будничное. Много встречали мы хороших людей: фельдшер Иван Сергеевич, врач Зоя Андреевна, бабушка Александра, или, как она звала себя, “бабка Ляксандра”, добрая, чистая душа. Трогательно отдавала она нам свое наследство, трогательно заботилась, любовно называя “доченьки”. Наследство бабушки помогло нам получить чистые паспорта, дало возможность получить образование, вернуться в Москву, прописаться.

Дядя Андрей с его постоянными словами: “Дела, дела, девки”, молчаливый и сумрачный человек, с грубым и неприятным лицом, работавший старшим милиционером, оказался с нежной душой, добрым и отзывчивым. Нет, это не те слова, чтобы охарактеризовать дядю Андрея – замечательного, великодушного человека, готового в нужный момент положить душу и жизнь за

други своя. Я очень виновата перед ним. Уезжая и прощаясь с Верой и дядей Андреем, мы горько плакали, и в этот момент он сказал: “Дела, дела, девки! Наследство бабки Ляксандры отдайте мне, а то в дорогах обокрадут, я в удобное время перешлю в баранке”.

Не нужно, совершенно не нужно нам было с Юлей это наследство, и мы отдали его, но что-то подлое и противное шевельнулось у меня в душе: “Возьмет дядя Андрей золото и не отдаст. Уезжаем”. Прошло два года, и получила я от дяди Андрея посылку, лежали в ней домотканые коврики и березовый туесок, наполненный засохшими баранками. Разломила я их, и выпало наследство бабки Ляксандры.

Если бы я могла рассказать, как я плакала от стыда, от сознания своей мерзопакостности.

Дядя Андрей и Вера были куда лучше многих нас, верующих и постоянно говорящих о вере и заповедях Господних.

Не знаю, верил или не верил дядя Андрей. Спросить его с Юлей не решались, стеснялись, но разве в этом было только дело? Делами своими он у многих верующих людей поддержал веру, спас. Об этом я узнала спустя много времени.

В 1949 году мы встретились с дядей Андреем и Верой в Москве, адрес они мой знали – мы переписывались.

Согнулся он, постарела и Вера. Всю Отечественную войну прослужил сержантом, ранен не был, вернулся в Корсунь. При встрече сказал, как всегда: “Дела, дела, девки!”. А “девкам” уже под сорок, были замужем, имели детей. Я сильно постарела, но Юля по-прежнему была красива, время почти не тронуло ее.

Радость наша была настолько непосредственной, что я увидела, как по лицу дяди Андрея побежали слезы, он виновато утирал их, стараясь низко наклонить голову.

В 1963 году мы с Юлей навестили нашу Корсунь. Дядя Андрей с Верой жили в маленьком домике, чистом и аккуратном, получали пенсию, работали на заводе. Корсунь неузнаваемо разрослась, вырос лесозавод, появился завод плит, механический и еще что-то.

Нашей деревни Ерши больше не было, жители бросили дома и перебрались в Корсунь. От дома бабки Ляксандры остались одни куски кирпича и черепки. Больница, где мы работали, разрослась, но ни одного человека из тех, кто работал с нами, не встретили.

Корсунь переименовали в поселок и дали другое название, от прежнего ничего не осталось. Жители были почти все приезжие из окрестных деревень и сел.

Прожили мы с Юлей три дня и уехали полные воспоминаний и грусти, что расставались с дядей Андреем и Верой.

ДО И ПОСЛЕ КОРСУНЬ-ЕРШИ 1971 г.

В конце 1962 года о. Арсений посоветовал многим из нас написать воспоминания о том времени, когда мы пришли в церковь, росли в ней, об испытаниях, выпавших на нашу долю, о людях, оставивших в сердцах наших памятный след, о жизни в ссылках и лагерях.

“Напишите! – говорил о. Арсений. – Расскажите о своей жизни в двадцатые и тридцатые годы, о жизни тех, кого вы знали и любили, это многим поможет понять те времена, оценить и не забыть путь, которым люди тех лет шли к вере”.

В начале 1963 года почти за два месяца написала я воспоминания о жизни и ссылке в селе Корсуни и деревне Ерши.

Прочтя записки, о. Арсений сказал: “Вы описали только один период своей жизни, дополните написанное, расскажите о своей семье, Юле, Соне, о жизни в военные годы, о том, что помогло укрепить веру, сохранить жизнь, уберечь от напастей и искушений”.

Почти восемь лет собиралась продолжить записки и только в 1971 году решила написать, но если “Корсунь – Ерши” дались мне относительно просто, то вторую часть воспоминаний приходилось одолевая с большим трудом. Записей и дневников я не вела, поэтому многое из прошлого потускнело, изгладилось. Бессонными ночами перебирая годы, что-то удалось восстановить; когда была жива Юля, обращалась к ее памяти и к памяти близких друзей, но некоторые эпизоды настолько ярко запечатлелись в моем сознании, что я описывала их, словно видела только сейчас. Воспоминания не отличаются стройностью и хронологичностью, я писала так, как они возникали, и часто, рассказывая о чем-то происшедшем в тридцатые или сороковые годы, перескакивала в пятидесятые и шестидесятые, потому что мне хотелось провести сравнение или попытаться сделать обобщение.

Формирование религиозных взглядов, отношение к вере, нравственные установки, вытекающие из учения Церкви и святых отцов, учение о молитве как о пребывании и соединении человека с

Богом, почитание святых, и особенно Божией Матери, любовь к ближним – все это было вложено в нас о. Арсением.

Находясь подчас в самых трудных обстоятельствах, без всякой, казалось, духовной поддержки, не имея общения с близкими по духу людьми, мы только поэтому и выжили, что черпали из полученного источника силы для борьбы с унынием, невзгодами и сомнениями.

Мы всегда верили, что Господь и Матерь Божия по молитвам о. Арсения сохранят нас.

Трудно далась мне эта часть воспоминаний, не один раз писала я их, переписывала и опять начинала писать. Давала читать друзьям, исправляла и опять писала заново и чувствовала постоянную неудовлетворенность от написанного. После многих переделок решила оставить так, как получилось. Знаю – много повторов, фразы вяжутся словами “было”, “так как”, “что” и так далее, но что же делать, если только так сумела написать.

О СЕБЕ

В нашей семье религия, церковь признавались и почти почитались, но поверхностно, бездумно. Церковь существовала, но зачем, для чего?

Папа по натуре был скептик, подсмеивался над церковью, обрядами, духовенство презирал, называя “долгогривые”.

Мама ходила, именно ходила в церковь на Рождество и на Пасху или когда случались неприятности, а также похороны родственников и знакомых. Меня водили в церковь редко, для порядка, так было заведено, прилично, но выучили молитвам: “Отче наш”, “Богородица”, а также молиться “за маму и папу”. Вот что я знала до 15-ти лет. Класс, в котором я училась, был разношерстный, смесь интеллигенции и детей рабочих. Все тянулись к новому, как всегда, насмехались над прошлым, ругали попов, монахов, и я, конечно, не составляла в этом отношении исключения. В школе дружила с очень милой и хорошенькой девочкой из “приличной семьи”, как говорила мама. Девочку звали Соня, мы всюду были с ней вместе.

Однажды во время каникул от нечего делать зашли в церковь, был праздник Преображения Господня – 19 августа. Пробрались вперед, службу не понимали, но она нам понравилась, захватила, вовлекла куда-то ввысь, облекала во что-то легкое, светлое. Отстояли до конца.

Выйдя из храма, Соня сказала: “Люда, до чего же хорошо, радостно на душе!” Потом еще и еще раз пошли в эту церковь. Соня уже многих знала, кое с кем разговорилась, пошла на исповедь и уговорила меня. Я приготовилась рассказывать о своих взглядах и настроениях. На амвоне стоял худощавый, чуть выше среднего роста священник. Подойдя к нему, я опустила на колени, взглянула и увидела, что он молодой, и почему-то смутилась, сразу забыв все, что хотела сказать. Он ждал. Так продолжалось несколько томительных минут, потом он мягко и вопросительно проговорил: “Вы зачем пришли?” Я стала рассказывать о себе, потом почему-то о Соне и о том, что мне нравится и что не нравится в церкви, и закончила тем, что богослужение для меня непонятно и сложно.

Священник слушал меня не перебивая, и уже за это я была ему благодарна. Кончила, и он стал задавать мне вопросы – о смысле веры, жизни и, если я молчала, сам отвечал на них, рассказывая о молитве, грехе, значении милости к людям, добре. Спросил, что меня особенно мучает, беспокоит. Я недоуменно пожала плечами и ответила, что меня ничего не мучает и не беспокоит.

“Я познакомлю Вас с человеком, хорошим, добрым и знающим православие, дружите с ним, он поможет во многом разобраться, и тогда Вы придете к исповеди как к великому таинству христианства, очищающему человеческую душу от скверны и греха. Вам надо много узнать”, – и, благословив, отпустил, не приняв мою исповедь, подчеркнув, что я к ней не готова.

Всю службу я раздумывала, с кем меня познакомит священник, вероятно, старуха или пожилая женщина. Хотелось уйти, чтобы не ждать нравоучений.

Священник о. Арсений познакомил меня с Наталией Петровной. Господи! Как я благодарна ей, сколько она отдала мне времени, сил и поистине сделала из меня верующего человека, открыв то, что не было мне известно. Наталия Петровна, так я звала ее всегда, а ей было только 24 года. Только лет десять тому назад я осмелилась назвать ее Наташа. Прошло шесть месяцев, и я пошла на исповедь к о. Арсению, с сознанием значения ее и необходимости для верующего человека.

Я слушала его проповеди, бывала на беседах, занималась в кружках, много читала духовной литературы под руководством его и Наталии Петровны. Шли годы, и у меня сформировались взгляды, понятия, выработалась линия поведения, я изучила службы и стала, как мне казалось, настоящей верующей.

Первые годы мама с папой смеялись надо мной, считая хождение в церковь пустым, но не опасным увлечением, ребячеством. Папа, как всегда, иронизировал, рассказывал анекдоты о духовенстве и монастырях, цитировал высказывания Вольтера о религии. Потом отношения в семье обострились, постов моих не признавали, когда я молилась, старались отвлечь и мешать. Дома решили, что меня вовлекли в церковную секту, и мама однажды в субботу, ничего не сказав мне, пошла к о. Арсению, простояла всю службу, но только на другой день после обедни попала к нему.

Увидев ее в церкви, я волновалась, ожидала скандала. Наташа успокаивала, говоря: “Положись на милость Божию”, – но дома никаких разговоров не было, только мама после встречи с о. Арсением стала ходить в церковь.

Вот так мама и я стали духовными детьми о. Арсения. Папа перестал иронизировать, о чем-то они, видимо, говорили с мамой, успокоился, принимал все как должное. Папа был человеком исключительной доброты, душевности, глубокой образованности, умный в жизни, но не имел собственного мнения, а, безгранично любя маму, смотрел на все ее глазами. Несколько раз папа приходил в нашу церковь к о. Арсению, но, как я поняла из маминых разговоров, речь шла уже не обо мне. Церковь, вера дали мне в жизни все. Только благодаря этому, я прожила светлую жизнь, несмотря на большие испытания, выпавшие на мою долю.

Я не была любимой или нелюбимой дочерью о. Арсения, все у него были одинаковы, только одни больше отдавали церкви, потому что имели способности и выделялись, а другие, подобные мне, приходили получать утешение, руководство, наставление и питаться от древа жизни. Очень много дала мне церковь, я много узнала и поняла, но всегда искала совета, поддержки, старалась опереться на человека более сильного и опытного в духовном отношении, и Господь посылал мне таких людей.

Еще в конце двадцатых годов о. Арсений, благословляя меня, сказал: “Люда! Вам много дано Господом, во многом Вы преуспеваете в жизни и науке, но в вопросах веры Вам суждено быть всегда ведомой”. Так оно и было всегда. Тогда же о. Арсений поручил Юле опекать меня.

ЮЛЯ

В вопросах веры мне суждено быть только “ведомой”, так сказал о. Арсений. Тогда меня это страшно задело: мы почти одноклассники, я поступила в университет, а Юля кончила только семилетку. Наша семья корнями выросла в старую русскую интеллигенцию, а Юля? Отец и мать рабочие, без образования. Когда-то я так думала, но жизнь показала, насколько прав был о. Арсений, как он знал людей.

Встретились и познакомились мы с Юлей в церкви. Стояли в правом приделе, всегда на одном и том же месте, и приблизительно через полгода начали здороваться, потом, выходя после службы, шли до остановки трамвая, разговаривая, и стали подругами. Я же познакомила Юлю с Соней. Вот тогда и началась наша долготелая тройственная дружба, продолжавшаяся до ссылки в Корсунь–Ерши.

Соня имела хороший и приятный голос, училась пению, пела в церковном хоре, принимала, несмотря на свою молодость, участие во всех церковных делах, всегда знала больше нас, и это как-то выделяло ее среди других.

Юля была тихой и скромной, старалась не выделяться, и даже если что-то хорошо и знала, то ждала, когда ее спросят. Родилась Юля в рабочей семье, верующей, богомольной. Мать Юли, внешне спокойная, тихая женщина – Мария Тимофеевна, ходила в Чудов монастырь к о. И., семью вела строго в православном духе. Детей не баловала, приучала ко всему и незаметно сделала их помощниками по дому.

Отец – Сергей Петрович – из староверов, человек суровый, резкий, но справедливый, верил крепко, обстоятельно, ходил с женой в Чудов, но редко, больше в свою приходскую церковь, говоря: “Милость-то Господня всюду одна”. Когда приходскую церковь закрыли, вычитывал службы дома. Несмотря на внешнюю суровость, в душе был мягок, отзывчив и добр. В жене души не чаял и полностью ей подчинялся. Среди родственников ходили рассказы, что Сергей Петрович полюбил Марию Тимофеевну, когда ему было пятнадцать лет, а ей тринадцать, и это чувство пронес он через всю свою долгую жизнь, считая ее самой лучшей женщиной в мире.

Мне казалось, что Юля с братом жили в отсвете этой любви, и это отложило отпечаток на всю жизнь семьи. Мария Тимофеевна умерла первой, в 1942 году, Сергей Петрович пережил ее на девять лет. Утрату перенес тяжело, но понимал, что кто-то должен уйти первым, и радовался, что тяжесть разлуки суждено нести ему, а не ей. Работал Сергей Петрович, как тогда говорили, металлистом, а на самом деле был квалифицированный слесарь-лекальщик, мастер на все руки. Увидела я Марию Тимофеевну, когда ей было около пятидесяти лет, но и в эти годы она была еще красива.

Атмосфера в их доме была пропитана верой, но без ханжества и умиления перед чем-то сладковатым и чуждым истинному православию. Когда я в первый раз пришла в их дом, меня поразило обилие духовных книг и журналов “Паломник”. Светских книг было мало, но почему-то был полный Диккенс и Всеволод Соловьев.

Мария Тимофеевна службу знала хорошо, пела по-монастырски на гласы и непередаваемо четко и молитвенно читала по-славянски акафисты, службы, каноны и этому научила также и детей. Хотя, как я уже писала, образование у меня тогда было более обширным, чем у Юли, в отношении знания Святых отцов, истории Церкви и церковной службы я ни в какой мере не могла сравниться с ней и поэтому, как могла, училась у нее. Очень большое влияние на меня оказали исповеди Юли, вернее, приготовление к ним. Исповедь для Юли была большим духовным событием. Исповедовалась Юля не чаще четырех раз в год. Недели за две до исповеди она начинала готовиться, внутренне прибирала себя, просматривала и продумывала свои поступки, дела, разговоры, обиды, взаимоотношения с окружающими. Каждый день в течение двух недель читались покаянные молитвы, кафизмы. Юля становилась по-особому собранной, постилась, старалась меньше общаться с людьми, говорить. Если исповедовалась вечером, а причащалась утром, то вся ночь посвящалась молитве. Несколько дней после причастия была светлой, обновленной, и всегдашняя ее обаятельность еще больше усиливалась.

Еще в Ершах я много говорила с Юлей об исповеди, приготовлении к ней, значении и влиянии на душу верующего. Конечно, все, что мне рассказывала Юля, полностью вытекало из поучений Святых отцов, наставлений о. Арсения, иначе и быть не могло, но главное было в том, что Юля своим примером показывала, как стать такой, как учит, советует и наставляет Церковь.

В 1940 году, уже будучи врачом, я приехала к Юле в тот областной город, где она училась в медицинском институте. Было лето, экзамены у нее кончились, и мы решили поехать в одно из сел, где была церковь, благо, нас там никто не знал. Еще до моего приезда Юля стала готовиться к исповеди, начала готовиться и я. Юля снимала комнату на окраине города, комната была маленькой, перегородка из тонких досок, хозяйка шумливая. Из-за перегородки постоянно доносился ее визгливый голос и ругань в адрес мужа или соседей.

Читать вслух или молиться мы не могли, каждое наше слово или движение слышалось по другую сторону стен. Мы говорили и молились только шепотом. Хозяйку раздражало, что она не слышит наших разговоров, она злилась, пыталась внезапно войти или подслушать. Эта постоянная напряженность портила мне настроение, раздражала, и я жаловалась Юле.

“Ты, не обращая внимания, молись!” – говорила она мне, и я невольно обратила внимание на Юлю. Стоя около стола, она читала молитвенник шепотом, и я видела, что она не слышит ругани хозяйки, не видит убогой обшарпанной комнаты, выщербленного пола. Она ничего не видит, она молится, полностью уйдя в молитву. А я? Я блуждаю по комнате взглядом, прислушиваюсь к разговорам за стеной. Юля привлекла меня к себе, сжала мою голову и, читая над моим ухом шепотом молитвы, невольно заставила меня молиться. Конечно, эта комната была неудобна, но другой нельзя было снять, так как станция скорой помощи, где работала по ночам Юля, была через два квартала. Ночным поездом ехали в село. Сельский храм поразил меня: огромный, в мраморных колоннах, полный солнечного света, легкой дымки от ладана, он невольно настраивал верующего на молитвенное настроение. Народу в церкви было мало, все больше старики и старухи. К священнику на исповедь стояло два человека. Стали и мы. Исповедники поднимались на амвон, священник спрашивал имя, покрывал голову епитрахилью и читал разрешительную молитву.

Пошла Юля. Прошло десять, пятнадцать минут, наконец двадцать, стоящие позади меня две старушки стали возмущаться и довольно громко говорить: “Что-то отец наш Фрол закопался, или грех у девки большой. Тянет батюшка, надо раз – и в сторону”.

Исповедь шла на левой стороне амвона. Когда Юля подошла, священник громко спросил имя, она ответила “Юлия”. Спросив что-то, батюшка поднял руки с епитрахилью, собираясь, видимо, покрыть ее голову и дать отпущение грехов, но потом нагнулся к Юле и замер, простояв так до конца исповеди. Юля вышла, и пошла я. Священник стоял растерянный, и мне даже показалось, что со слезами на глазах.

“Вы ее подруга?– спросил он и, не дожидаясь моего ответа, сказал: – Хороший, очень хороший человек, Дала мне, иерею, наглядный урок”.

После обедни о. Фрол попросил нас зайти к нему, долго говорил с Юлей, явно проявляя к ней особое уважение, и при прощании спросил: “Вы не монахиня?”

По дороге я рассказывала, что видела, на что Юля ответила: “Люда! Ты пришла на исповедь, а не по сторонам смотреть”, – и она была права. Эта исповедь Юли в сельской церкви надолго запомнилась мне. У Юли был особый дар рассказывать и передавать знакомое, она обладала

феноменальной памятью и способностями, что дало ей возможность экстерном закончить среднюю школу и с отличием кончить медицинский факультет.

В 1961 году о. Арсений сказал: “Господь дал ей неоцененный дар внутренней духовности, глубокую веру и вечное желание отдать себя людям. Вглядитесь, как она живет, ведет семью, воспитывает детей, относится и лечит больных – она монахиня в миру, – и, обернувшись ко мне, произнес: –Спросите Люду, она жила и дружит с Юлей”.

Вспоминаются Юдины рассказы в Корсуни–Ершах, в них вырисовывается ее облик.

Зимними и осенними долгими вечерами, когда мы не работали в больнице, а сидели дома, было томительно и тоскливо. Керосина не было, приходилось жить почти в темноте. Зажигалась лампадка перед маленьким образочком Николая Чудотворца и читали утреню, вечерню, акафисты, псалтырь. Первое время читали, что могли, по памяти, когда у нас отобрали книги, а потом, когда родные привезли псалтырь, часослов и несколько акафистов, читали по этим книгам. Бабка Ляксандра также молилась с нами. Кончив молиться, мы все трое забирались на широкую, теплую русскую печь. Покрывались ряднинкой и блаженно лежали. Я лежала, прижавшись к Юле, бабка около меня. В избе стояла тишина, только изредка потрескивал пол, вьюга билась о стены дома, или ветер свистел и гудел на все голоса в трубе. Я просила Юлю, чтобы она рассказала что-нибудь из житий святых, бабушка тоже говорила: “Расскажи”.

Некоторое время Юля молчала, собираясь с мыслями, потом начинала рассказ, и в темноте вырастала пещера, вырытая в склоне горы, одиноко растущая пальма, отшельник, сидящий на козьей шкуре, деревянный крест, или где-то в общих чертах возникал силуэт Рима, цирка, дворца и влекомая на смерть девушка-христианка.

Но особенно мы любили рассказы из жития Преподобного Сергия, Серафима Саровского, Николая Угодника, Феодосия Тотемского, Иоасафа Белгородского. Дремучий русский лес, инок Сергей, строящий себе келью, ученики, пришедшие к нему, первая деревянная церковь, возникающий монастырь, и на Руси является Великий святой Сергей Радонежский, воплотивший в себе все русское православие. Юдин рассказ, взятый из жития Преподобного Сергия и читанный мною не один раз, становился ярким, красочным, по-особому близким здесь, в ссылке, среди таких же дремучих лесов.

Духовная сила Православной Церкви сливалась с историей Руси, понятием Родина, нашей суровой природой, монастырями, верой, и я понимала, что все это наше родное, неотделимо близкое, хотя и находящееся сейчас в опале, но без которого невозможно жить.

На четвертый глас мы начинали петь тропарь: “Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти вельми подвизался в жизни временней... – и заканчивали: – ...и не забуди коже обещался еси, посещая чад твоих, Сергие Преподобне, отче наш”.

Потом пелась стихира “Преподобне отче наш Сергие, мира красоту и сладость временную отнюдь возненавидел еси, монашеское житие паче возлюбив, и Ангелом собеседник быти сподобился еси, и светильник многосветлый Российския земли...”

Темная изба, мечущийся по стенам отсвет лампадного огонька, безмолвная тишина дома уходили, и я отчетливо видела жизнь Преподобного Сергия, церковь, где он молился, и тот далекий отделенный столетиями мир, живший верой в Господа.

Слушать Юлю доставляло большую радость, я часто думала, насколько хорошо надо было знать, запомнить и любить жития святых, службу, историю Русской церкви, чтобы суметь передать все очарование, красоту, силу веры и любви к Богу, людям, церкви – для этого и самому надо было быть очень хорошим человеком. Запомнилось мне чтение акафистов Николаю Чудотворцу, Божией Матери, Сергию Преподобному, канонов или церковных служб. Юля читала ясно, отчетливо. Веселая и общительная в жизни, она сразу становилась строгой и серьезной, голос приобретал торжественность, славянский язык звучал четко, каждое слово было понятно, значительно.

Вот тогда-то я и осознала, что молиться нужно только на славянском языке, наш разговорный язык слишком опошлен, подчас циничен. Мы молились, и тяготы жизни, страхи отступали, и сознание, что с нами Бог, охватывало тебя. Сколько мне дали Юлины рассказы, как помогли выдержать тяжесть ссылки, жизнь на краю маленькой деревеньки, затерянной среди лесов, среди чужих, враждебно настроенных людей, – может понять только тот человек, который сам пережил все это.

Вспоминаются рассказы из патерикона. Маленькие пятистрочные повести, читанные когда-то по несколько раз, в пересказе Юли расцветались яркими красками, оживали.

“Авва Павел, увидя человека, пашущего на осле свое поле, сказал своим ученикам...” И этот простенький, давно забытый рассказ в дополнительном толковании Юлии становился целью жизни. Хотелось подражать и поступать именно так, как говорил авва Павел. Бабка Ляксандра, слушая

Юдины рассказы или молясь с нами; восклицала: “Да как же хорошо, Господи! Господи! А люди еще грешат”.

Бабушке особенно нравились рассказы из патерикона, она готова была их слушать по нескольку раз, открывая в них каждый раз что-то новое, необычное. Любили жития Алексия, Человека Божия, Трифона-мученика и Адриана и Наталии, а также апокрифические сказания о Божией Матери, которых Юля помнила довольно много. Иногда задавала вопрос: “А почему же поп-то наш в Корсуни, когда церковь стояла, ничего не рассказывал, аль запрещено при царе было? Красота-то какая, а народ не знал”.

Иногда вечерами после молитв бабушка сказывала нам северные сказки. Сказывала хорошо, колоритно и, вероятно, могла стать известной сказительницей. Надтреснутый старческий голос становился певуч, протяжен. В избу к нам вкатывался белок-колобок, вбегала хитрющая лиса-кума, скакал на сером волке Иван-царевич, плясала на курьих ножках избушка с Бабой-Ягой и Кощеем Бессмертным, которых бабка наделяла отвратительными прозвищами и нередко довольно крепко ругала словами, свойственными русскому народу, но это случалось, когда она очень увлекалась. За четыре года совместной жизни бабушка ни разу не рассказала двух одинаковых сказок. Начало было всегда одинаковым, стереотипным, но после двух-трех фраз знакомая сказка становилась новой, вводились новые действующие лица, расцветивались подробности. Мы с Юлей любили эти сказки и некоторые даже записали. Добрая, хорошая бабушка Ляксандра, наша “заботница и ухаживательница”, как она себя называла!

Забегу на несколько лет вперед и расскажу, как я однажды начала пересказывать своим детям сказки бабушки Ляксандры. Я рассказывала, а ребята вертелись, крутились и не слушали моих сказок. Мне было обидно, я считала сказки интересными и любила их. В момент рассказа пришла Юля с мужем и детьми, я пожаловалась ей и просила рассказать бабушкину сказку.

Напились чаю, о чем-то поговорили, и Юля начала рассказывать, и вдруг произошло чудо. В комнате зазвучал бабушкин голос, вбежала лиса, пытаюсь обмануть ленивого, но хитрого кота, зашумел лес, закукарекал петух. Слушая Юлю, я видела бабку Ляксандру, нашу избу в Ершах, огонек лампадки перед иконой Николая Чудотворца, где мы молились более четырех лет, и вдруг разрыдалась. Никто ничего не понял, кроме Юли, которая тоже расплакалась, и сказка осталась неоконченной.

Тогда, в Ершах, я тоже рассказывала, это были пересказы повестей, романов, но я сама чувствовала, что звучали они бледно. Юле я много рассказывала о строении человека, кровообращении, внутренних органах, этого требовала работа в больнице.

Бабка не любила моих лекций, говоря: “Ты бы, доченька, что-нибудь для души рассказала, а про печенки мне ни к чему”.

Вспоминаются наши походы в лес. Шел третий год пребывания в Ершах. Работа в больнице поставила нас “на ноги”, был кусок хлеба, надежда, что проживем здесь до конца ссылки. Летом в воскресенье, когда не было дежурств, шли в лес, выбирали полянку, расстилали старенькое байковое одеяло, ложились на спину и безмятежно отдавались своим думам. Кругом стояли высоченные, прямые, как стрелы, сосны, ржавые снизу и золотистые ближе к кронам, тяжелые разлапистые ели с темной и претемной хвоей. Белые облака с синеватой оторочкой плыли по голубому небу, верхушки сосен, качаясь, пытались дотянуться до них, и от беспредельного небесного простора слегка кружилась голова, и мысли теряли четкое очертание. Хотелось полететь за облаками в бездонное небо, и в этот момент уходили Ерши, райцентр с его вызовами на регистрацию, мысли, окрашенные тревогами и волнениями.

Проходил час, каждая из нас думала о чем-то близком и дорогом, потом Юля касалась меня рукой и говорила: “Давай молиться”. Первым читался акафист Божией Матери, потом опять безмолвно лежали, вспоминая родных, церковь, друзей. Солнце поднималось выше и выше, щемящее чувство тоски охватывало временами душу, и тогда я просила Юлю что-нибудь рассказать. Сколько хорошего дали нам эти дни!

Вернусь к воспоминаниям о Юле. Через несколько лет после окончания института она вышла замуж. Замужество ее многих удивило, расстроило. Я перестала с ней видеться, осуждала ее вдоль и поперек, ругала. Вышла она замуж за молчаливого, хмурого человека, совершенно неверующего. Ухаживал он за Юлей около двух лет, упорно, настойчиво. Первое время она избегала его, но потом разрешила приходить к ней домой. Бывало, придешь к ней, а Игорь сидит насупленный, неразговорчивый, отвечающий только двумя словами: “да”, “нет”. Я говорила: “Юля, гони его, он чужой, не наш”. “Да что ты, он хороший”, – отвечала она. За Юлей ухаживало много молодых людей верующих, родных по духу, но почему-то безрезультатно. В конце второго года ухаживания Юля согласилась выйти замуж, но поставила условием венчаться.

Венчались далеко от Москвы в сельской церкви, пригласили и меня. Я рвала и метала, отказывалась ехать, но все же поехала.

Во время венчания меня поразило Юлино лицо, оно было залито слезами и в то же время было как-то по-особенному светлым, полным раздумий. Я боялась, что замужество изменит Юлю, оторвет от церкви, а постоянное общение с неприятным (на мой взгляд!) мужем наложит плохой отпечаток. Трудно передать, как я жалела, что нет с нами о. Арсения, который удержал бы ее от этого неверного шага, но все опасения оказались напрасными. Замужество не изменило Юлю, она так же часто молилась дома, ходила в церковь, встречалась с друзьями. Трудно сказать, что она сделала, но через год муж ее неузнаваемо изменился: суровость и замкнутость исчезли, и Игорь превратился в добрейшего и общительного человека, деятельного помощника жены во всех ее делах, но самое главное, он стал глубоко верующим человеком.

Для многих из нас, и в особенности для меня, он стал другом и обрел черты совершенно новые, дотоле неизвестные.

Отец Арсений, встретившись с Игорем в 1958 году, с особой теплотой отнесся к нему.

Через два года после замужества родилась дочь, и Юля внешне переменялась, появились новые заботы, радости, огорчения, но внутренне она осталась прежней, конечно, молитве, церкви и друзьям теперь оставалось меньше времени, слишком много уходило его на работу и семью.

Наша дружба никогда не прерывалась, и по-прежнему я стремилась к Юле со всеми своими горестями и несчастиями. Прибежишь к ней, расскажешь о своем горе, выслушает она, подойдет к иконам и начинает молиться, сперва одна, потом со мной. Скажет после два-три слова, кажется, совсем простых, обнимет тебя, и ты уходишь спокойной, в полной уверенности, что Господь не оставит тебя и все идет как надо.

Заканчивая записки о Юле, скажу, что она оказала на меня огромное влияние, да и только ли на меня? Формирование духовного характера в основном происходило под ее непосредственным влиянием, и о. Арсений говорил мне об этом не один раз.

ТРИ СМЕРТИ

В первый день войны меня взяли в армию, несмотря на то, что у меня уже был сын. Направили хирургом в госпиталь для легко раненных. Ехали по направлению Минска, но уже около Смоленска нас повернули к Москве. Высадили за Смоленском, где мы и развернули работу. Раненых было много, везли без сортировки, кого попало. Начальник госпиталя попался суетливый, безалаберный, кричал без толку, но считался хорошим хирургом.

Войска отступали, госпиталь все время менял расположение, меня перебросили в полевой эвакуопункт. Попали в окружение, выходили с войсками под непрерывной бомбежкой, обстрелом. Где-то везли раненых на машинах, конных подводах, оборудование, инструменты тащили на себе. Вырвались из окружения. Госпиталь - то расформировывали, то формировали вновь, и вдруг мы стремительно стали отходить на Восток.

Не о войне и своей жизни хочу рассказать, а о смерти трех совершенно незнакомых мне людей. Смерти, которая рая необычайно поразила меня и дала возможность осознать неисповедимость путей Господних.

Вспоминается день, когда я дошла до предела человеческих сил, и мне казалось, что жить уже невозможно. Кругом страдания, смерть, стоны, слезы, разруха. В душе у меня ничего не осталось живого, все онемело, заглохло. Такой опустошенной, онемевшей я жила почти месяц, и впереди виделся только мрак и страх.

Несколько последних дней шел дождь или мокрый снег, землю расхлябило, мы с трудом выдергивали ноги из липкой грязи и продолжали двигаться в тыл с транспортом раненых. Я шла за санитарными повозками, и мне казалось, что небо над нами никогда не раскроется, солнце на нем не появится до самой моей смерти. Небо серое, низкое, промозглое, мир сузился, перемокшие оголенные деревья стали безлики, съезжились и осели в разжиженную землю. Тусклый короткий день был просто длинным сумрачным вечером без конца и края. Мы не устали и не измучились, это не те слова, которыми можно охарактеризовать предел полного израсходования человеческих сил и внутренней душевной подавленности. Мне помнится, я шла и молилась только одним словом, повторяя при каждом шаге: "Господи! Господи! Господи!"

Где-то позади нас гремел бой, то приближаясь, то удаляясь, а мы ползли по месиву грязи и наконец добрались до деревни и в уцелевших домах разместили раненых и развернули операционную.

Грохот далекого боя приблизился, стали приносить раненых. Наш главный хирург, высокий, худой человек с изможденным лицом, делавшим его похожим на аскета, оперировал, а я почти автоматически, бездумно помогала. Раненых поступало много. Врачи, сестры, санитары измучены, измотаны, и трудно понять, как мы еще что-то можем делать, но делаем. Главный хирург Семен Андреевич исступленно работает и своим примером бодрит и нас.

Тогда, на фронте, я в какой-то мере боялась и не любила его. Во время операции, борясь за человеческую жизнь, он не щадил себя и нас, становился грубым, жестким, излишне резким, но в обыденной жизни был немногословен и застенчив.

С поля боя принесли юношу-солдата, его сопровождал лейтенант, тяжело раненный в ногу, просивший как можно скорее осмотреть и помочь раненому солдату. У юноши было девичье лицо, нежный пушок покрывал щеки, лицо заостренное от страданий, глаза закрыты. Сестры стали снимать с солдата одежду, подошла и я. Ранен в живот, откинула бинты перевязок, разрезанные ножницами, и увидела месиво из крови, грязи, обрывков одежды. Сознания нет, сильнейший шок, смерть неизбежна.

Подошел главный, посмотрел и сказал: “Все”. Мы хотели уходить, но солдат вдруг открыл глаза и отчетливо сказал, смотря на меня: “Я умираю, рана смертельна, достаньте крест, он в верхнем кармане гимнастерки, приложите и перекрестите. Имя Алексей, прощу Вас”.

Я склонилась над ним, достала маленький крестик, приложила к губам умирающего и трижды громко произнесла: “Господи! Прими душу страждущего и умирающего раба Алексия, во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь!”

Алексей глубоко вздохнул, поднял руку для крестного знамения, но рука бессильно упала и смог только сказать: “Господи! Прими душу мою. Благослови Вас Бог! Господи!” – вздохнул раза два и умер.

Главный хирург, сестры и санитар взволнованно смотрели на умирающего, пораженные, как и я, особой благодатью и верой Алексея. Лейтенант, пришедший с солдатом, плакал.

Дня через три вечером, когда мы уже добрались до железной дороги и ехали в санитарном поезде, куда нас погрузили со всеми ранеными, главный хирург вдруг сказал мне: “Вы сделали хорошее дело, это надо было выполнить!”

Солдат, совсем мальчик, страдающий от неизмеримых болей, сознающий, что умирает, и призывающий имя Божие, показал в этот тяжелейший для меня жизненный момент глубину человеческой веры и осветил на долгие годы еще и еще раз путь, которым надо идти. Что такое моя жизненная тяжесть по сравнению с его страданиями, предстоящей смертью, и он, несмотря ни на что, стремился к Господу, уповал на Него, звал.

Расскажу о Семене Андреевиче, главном хирурге. После смерти Алексея нас что-то незримо сблизило. Внешне это ничем не выразалось, он так же был резок, требователен, так же кричал на операциях на меня, как и на всех остальных, но я чувствовала, что какая-то нить соединяет нас. Во время операции он стал давать мне пояснения, советовал, иногда вызывал на сложные операции, даже если я в этот день не дежурила, указывал, что читать из специальной литературы, без моих просьб приходил на операции, которые делала я.

Проработав в тыловом госпитале больше двух лет, я рассталась с ним, он уехал в Москву, как тогда говорили, “на повышение”, оставил свой московский адрес и сказал, когда меня демобилизуют и я приеду в Москву, чтобы обязательно ему позвонила.

Окончилась война, госпиталь расформировали, врачей уволили в запас, и я оказалась дома в Москве, в семье. Работала в поликлинике рядом с домом, это казалось мне верхом успеха. Проработала около года, поехала в институт повышения квалификации. Там я и встретила снова Семена Андреевича, где он читал лекции, но подойти к нему постеснялась. Я простой, заурядный врач, а он профессор, заведующий кафедрой. На третий день он сам подошел ко мне и сказал улыбаясь “Людмила Сергеевна! Что же эта Вы?”

После окончания института усовершенствования врачей я перешла работать к нему в исследовательский институт, и здесь-то и увидела в нем не только известного хирурга, но и большого ученого, многогранно способного человека, страстно влюбленного в хирургию и живущего постоянно только одной мыслью – спасти человека, помочь больному, облегчить страдания.

Довольно скоро мы познакомились семьями, и в домашней обстановке Семен Андреевич оказался застенчивым и чутким человеком, по-настоящему приветливым хозяином дома. Окончательное становление меня как врача-специалиста проходило под его непосредственным руководством и влиянием, и все мои успехи в этой области в той или иной мере связаны с ним.

Мир тесен, жена Семена Андреевича, Наташа, и ее мать, Александра Васильевна, оказались духовными детьми отца Петра, жившего под Ярославлем, к которому я часто ездила в последние годы.

Время было такое, что мы скрывали друг от друга многое. Хотя и бывали то они у нас, то мы с мужем у них, обнаружилось это совершенно случайно. В 1953 году, будучи у нас, Семен Андреевич вспомнил о смерти юноши-солдата Алексея, и о том, как я благословила его. Наташа, посмотрев на меня, внезапно спросила: “Вы верующая или просто так сделали?”

Какое-то мгновение помедлив, я ответила: “Верующая”. С этого и началась наша дальнейшая дружба, но уже основанная на другом. Огромен мир человеческий, но пути Господни неисповедимы.

Запомнилась на всю жизнь и оставила тяжелое впечатление смерть одного подполковника, тяжело раненного, лет сорока пяти.

Раненный в обе ноги и нижнюю часть живота, он тяжело мучился, временами кричал и буквально выл по-звериному, не мог смириться с мыслью, что умирает. Крик его наполнял злость, ненависть ко всему живущему, он поносил Бога, Матерь Божию, Святых, призывал непрерывно темную силу.

В неестественно расширенных глазах жил ужас и страх. Смотри куда-то в пространство, подполковник временами кричал: “Уйди! Не мучь меня”, или с кем-то разговаривал, отвечая на вопросы, или вроде бы допрашивал и угрожал: “Поддай ему, поддай. Заговоришь у меня, не такие говорили”.

Эти разговоры перемешивались с изощренными ругательствами, проклятиями, криками, леденящими душу. Вначале мы думали, что он бредит, говорит и кричит в беспамятстве, но на обращенные к нему вопросы отвечал разумно, рассказывал о себе. Временами что-то поднимало и бросало его на кровати, обезболивающие лекарства не помогали, рвал повязки, мы привязывали его к кровати, чтобы он не упал на пол, но все было безуспешно.

Фактически являясь трупом, он проявлял огромную физическую силу. Видя его страдания, я стала молиться о нем, а однажды, стоя за занавеской, сделанной из простыни и отделявшей его от кровати другого умирающего, и слыша проклятия, ругань и крики, я незаметно перекрестила его три раза. Как же он богохульствовал и кричал после этого. “Уберите ее, – это он про меня. – Вон! Вон! Она мешает мне, мучает. Уберите!” Видеть же, как я его крестила, он не мог. Я вторично перекрестила, но, испугавшись и ужаснувшись крика, богохульства и ругани, убежала, мне было страшно той темной силы, заключенной в нем. Слабый, обессиленный, он в этот момент сорвал повязки, разорвал бинты, привязывающие его к кровати и бросил фарфоровый поильник в дверь, пробив доску. Меня к себе на перевязку не допускал, а если чувствовал, что иду по коридору, или видел, изобретательно ругался и богохульствовал. Сестры и санитарки не любили и боялись подполковника.

Однажды я дежурила по госпиталю, ночью меня вызвала испуганная молодая врач Татьяна Тимофеевна, ласково называемая многими Танечка, дежурившая в это время во втором корпусе. “Людмила Сергеевна!– говорила она мне поспешно. – Подполковник в пятой палате буйствует, ничего не могу сделать. Помогите!” Я побежала в корпус, поднялась на этаж. Из пятой палаты слышался невообразимый крик, рев и ругань. Больные в других палатах волновались, сестры и санитары стояли в коридоре. Танечка то вбегала, то выбегала из палаты.

Я вошла, подполковник бился на кровати, словно в припадке эпилепсии, бинты пропитались кровью, бинты-привязи частью были сорваны, в глазах, налитых кровью, горела нечеловеческая злоба и ненависть. Увидев, что я вошла, он всю свою ярость обратил на меня и закричал: “Крест на ней, крест, я-то знаю, – и полилась ругань и богохульство. – Я попов и таких, как ты, многих в расход ввел, попалась бы ты мне раньше!” Таня сквозь слезы говорила: “Я боюсь его, Людмила Сергеевна! Он какой-то весь внутренне черный, злобный. Я многих видела сумасшедших и умирающих, но такого никогда. Откуда такая злость, чем помочь?”

Действительно, чем помочь? Сестры и санитарки, стоя в коридоре, переговаривались и успокаивали больных. Я приказала привязать больного к кровати, предварительно сделав перевязку, и ввести успокаивающее лекарство, и решила остаться с ним. Было страшно. Подполковник по-прежнему поносил меня и кричал на весь этаж. Я села на стул около кровати и начала молиться про себя, повторяя после каждой молитвы: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Силою Честного и Животворящего Креста Твоего спаси и сохрани меня и успокой раба твоего Григория”, – так звали подполковника.

Молиться было трудно, я напряглась, сосредоточилась, пытаюсь устремиться молитвой к Богу. Подполковник не затихал, проклинал, поносил. Прошло минут двадцать, я изнемогала, с лица от напряжения стекал пот, но страх у меня прошел, встав, подошла к подполковнику и трижды осенила

его большим крестом. В первое мгновение он по-звериному зарычал, при втором крестном знаменнии стал затихать и при третьем замолк. Лицо приняло спокойное выражение, глаза закрылись, и он, казалось, заснул. Двадцать минут молитвы у постели человека, одержимого нечистым духом, настолько истомили меня, что в коридор я вышла полностью обессиленной, еле держась на ногах. Татьяна Тимофеевна спрашивала: “Что с ним?” Разве я могла сказать, что темные силы овладели его душой.

Дня через три подполковник умер. Мне рассказывали, что смерть была мучительной, страшной. Когда этот человек поступил в госпиталь, мы считали, что проживет он не более трех дней, но он прожил почти три недели. Земная жизнь, грехи его не давали возможности умереть. Санитарки говорили: “Нечистая сила его не отпускает, грехов много на душу взял. Связался с ней, вот и мучает его”.

Третья смерть в госпитале также поразила меня. Умирал майор лет 55-ти, знал, что умрет. Газовая гангрена обеих ног, ампутация за ампутацией, исчерпаны все средства, но гангрена поднимается все выше и выше. Дней за пять до смерти вывезли его в отдельную палату, а за два дня до смерти позвал меня.

“Людмила Сергеевна! Помощь мне Ваша нужна, давно к Вам приглядываюсь, верующая Вы? – я согласно кивнула головой. – Не удивляйтесь, что узнал, старый – вот людей и вижу. Давным-давно в церковь ходил, а потом отошел, забылось все как-то, а Бог есть. Хочу прощения у Него попросить. Умру, заочно отпойте, а сегодня к вечеру святой воды и просфоры частицу достаньте. Может быть, у Вас и сейчас есть?” “Есть”, – ответила я, пошла за своей сумочкой и достала кусочки, почти крошки хранившейся у меня просфоры и маленький пузырек от лекарств, в котором всегда находилась святая вода. Это было мое сокровище, бережно хранимое и всегда бывшее со мной во время войны.

“Хотел бы в грехах покаяться, но как? Расскажу Вам, а Вы, когда Бог пошлет, священнику расскажите от моего имени. Можно это сделать?”

Я не знала, можно ли? Но утвердительно кивнула головой. Майор лежал прямо передо мной, с ампутированными ногами выше колен, с заостренными чертами лица, высохший, совершенно седой. Последние дни возникали боли, приводившие его в бессознательное состояние, но он не кричал, не стонал, а только крепче сжимал обескровленные губы в те моменты, когда сознание еще не покидало его.

Еле слышно, временами замолкая от боли, он начал рассказывать. Говорил с большими перерывами около трех часов, говорил, не щадя и не выгораживая себя, потом замолк минут на десять и сказал: “Все, все без утайки рассказал Вам, Людмила Сергеевна, нерасказанное мучило меня. Теперь прошлое в Ваших руках, мне стало легче. Дайте!” Он бережно проглотил кусочки просфоры, отпил из ложки святую воду, медленно перекрестился три раза.

“Слава Богу, умру по-человечески. Отпойте в церкви еще Дашу, Федю и...” – потерял сознание. Через день, так и не приходя в сознание, умер.

В 1946 году, после демобилизации, я рассказала исповедь майора, звали его Николаем, отцу Петру, а в 1958 году о. Арсению.

Отец Арсений, выслушав, сказал: “Глубокая, проникновенная исповедь внутренне большого человека, да примет его Господь в обители Свои. Поминайте в молитвах своих Николая, Дарью и Феодора, и я на проскомидии буду всегда поминать”, – и прочел для Николая, как для исповедника, разрешительную молитву.

Вспоминая эти виденные мною смерти совершенно различных людей, я отчетливо ощущала тогда огромное влияние силы Божией, это укрепляло во мне веру, вселяло уверенность, давало возможность жить и понимать Господнее произволение.

Смерть солдата Алексея показала беспредельность человеческой веры, ее силу, стремление и любовь к Богу. Открытое проявление темных сил при смерти подполковника Григория давало возможность увидеть то, о чем никогда нельзя забывать и с чем надо постоянно бороться молитвой к Богу и Матери Божией, или, говоря современным языком, быть духовно бдительным.

Смерть майора Николая, человека, в последний час пришедшего к Богу, открыла тогда мне пути человеческие кие и дала возможность услышать исповедь искреннюю, не щадящую себя, и тогда я воочию поняла – что такое исповедь полная, исповедь души человеческой.

ЕЩЕ РАЗ КОРСУНЬ–ЕРШИ

Возвращусь еще раз к жизни в ссылке, в Корсуни-Ершах, для того чтобы показать, как милость Господа и Пресвятой Богородицы хранила нас.

Зимой после почти двухсуточного дежурства Юля и я шли из Корсуни в Ерши. Ярко светила луна, голубел искрами снег, дорога, петляя между сугробами, уходила в лес. Тишина стояла необычайная, только скрип снега под ногами нарушал, ее. Усталые от работы, бессонных ночей, ухода за тяжело больными, мы с удовольствием шли по дороге и, выйдя за околицу Корсуни, по установившемуся у нас с Юлей правилу, начали молиться. Прочли правило, акафист Божией Матери. Юля начинала, я продолжала читать, и так, меняясь, молились до самого дома. Отошли от Корсуни около версты, навстречу шло четверо, подошли подвыпившие молодые парни.

“Монашки! Наконец-то дождались”, – местные жители за глаза называли нас монашками. Не сворачивая, пытались мы пройти по дороге вперед. “Стой, девки, не напрасно ждали. Ублажим!” Обнимают, хватают за руки, говорят гнусности, толкают, дышат в лицо винным перегаром. Прошу: “Ребята, пустите, оставьте, домой идем”.

Смеются, понимают, что если и пожалуемся, никто за нас не заступится – мы ссыльные. “Айда к стогу, посмотрим, что за монашки”.

Я, отталкивая, прошу отпустить, кричу. Юля стоит на дороге словно одеревеневшая. Губы сжаты, глаза на парней смотрят отчужденно, строго, а я отбиваюсь и вижу: Юля медленно поднимает руку, крестится несколько раз, крестит меня и так же неподвижно стоит посередине дороги.

Отвращение, беспомощность, ледящий душу страх наваливаются на меня, и даже мысль о Боге приходит только тогда, когда я вижу крестящуюся Юлю. Продолжая бороться с ребятами, я сквозь слезы кричу: “Матерь Божия! Помоги!” Парни тащат меня к стогу, Юля стоит с двумя парнями посередине дороги, они ошалело топчутся около нее, и вдруг сзади раздается: “Эй! Давай с дороги”, – из Корсуни движется конный обоз. Оттолкнув парней, я бросаюсь к саням и кричу возчику: “Отец, спасите! Насилуют!” – “Садитесь, девки, да никак ты – фельдшерка. Я вас, поганцы, сейчас топором огрею, будете знать, как приставать”.

Парни ошалело топтались, а Юля тихо подошла и села рядом со мной на сани. Обоз остановился, возчики подошли к нам. “Ежели, девки, они вас обидели, мы хулиганам зададим, их тепереча много развелось”.

Приехали в Ерши, я всю дорогу плакала, Юля сидела молча. Рассказываю бабке Ляксандре, трясусь, а Юля опустила на колени перед образочком Пресвятой Богородицы и начала молиться. Ночью спросила Юлю: “Ты испугалась?” “Конечно, испугалась и понимала, что ничто человеческое не могло спасти нас, только милость Божия и заступничество Матери Божией было нашей надеждой, и Пресвятая Богородица не оставила нас и послала нам помощь”.

Вспоминается шестое ноября 1935 года в клубе, расположенном в бараке, где проводили торжественный Октябрьский вечер. Почему-то пригласили и нас в обязательном порядке. Клуб полон народа, на помосте президиум. После торжественной части обещали крутить кинокартину. Идти не хотелось, но наша заведующая сказала, что надо пойти. Сели в самых задних рядах. Доклад о международном и внутреннем положении: через фразу – “великий, мудрый, гениальный вождь, отец родной” и, конечно, о бдительности и врагах народа.

Началось чествование передовиков труда, тогда их называли стахановцами. Один, второй, третий выступают, рассказывают о своих трудовых успехах, и вдруг на трибуне высоченный лесоруб, недавно лежавший у нас в больнице, начавший выступление с международного положения, потом прошелся по врагам народа, перешел к трудовым достижениям и потом называет Юлино имя, отчество и фамилию: “Товарищи! Лежал я в больничке, тяжело болел, думал, помру, но выходила меня санитарка стахановка Юлия, настоящий ударник труда”, – и пошел, и пошел. Почему в президиуме нет, благодарность не зачитывали?

Собравшиеся в зале кричат, одобряют оратора. Поднялся в президиум “наш Рыжий”, так мы называли председателя сельсовета, и, срывая голос, начал говорить: “Граждане, тут неувязочка вышла, санитарка, которую назвал лесоруб Федин, не ударник труда, а вражина, враг народа, отбывающая наказание в нашем районе. Сейчас она с подружкой пробралась на наше собрание. Федин попался на удочку врага. Удалим враждебный элемент с нашего трудового собрания. Ставлю на голосование. Кто за? Кто против? Воздержавшихся нет. Единогласно”.

Под общее улюлюкание и свист мы стали выбираться из задних рядов. В проходе толкали нас и даже плевали в лицо.

Прошло не одно десятилетие, но даже теперь обидно и горько, как отнеслись к нам на собрании. Мы боялись неприятностей от НКВД, все могло быть в это время, но, слава Богу, обошлось без последствий.

Работа в больнице оборачивалась для нас иногда неприятностями. У председателя сельсовета, “нашего Рыжего”, жена должна была родить. Привезли, положили в больницу, и сразу начался скандал у врача Зои Андреевны. Председатель кричал: “Не дам, не позволю роды контре принимать”.

Знаем мы их, всюду вредят, ребенка изуродуют. В район поеду, снятия добыюсь”. Зоя Андреевна успокаивала разбушевавшегося отца, обещала сама принимать роды, но роженица, пролежав четыре дня, ночью в мое дежурство родила. Ребенок родился здоровый, роды прошли благополучно, жена председателя оказалась приветливой женщиной, всему была рада и благодарна, хотя и сознавала себя, в некотором роде, первой дамой в Корсуни.

Какой же был шум, когда председатель узнал, что роды принимали мы с Юлей! Я начала думать, что нашей жизни в Корсуни приходит конец.

“Если ребенок или мать заболеют, тюрьма вашей своре”, – кричал он. Но Бог был милостив, ни в больнице, ни дома мать и ребенок более полугода ничем не болели, что и на самом деле было удивительно. Господь хранил нас.

Еще тогда, в Корсуни, мы отчетливо поняли, что такие люди, как председатель сельсовета, медсестра Полина, работавшая в больнице, сотрудники райотдела НКВД, унижавшие и издевавшиеся над нами, искренне верили, что мы враги, и их отношение к нам являлось результатом внутренней убежденности в нашей виновности. Осуждать этих людей было трудно, предшествующие годы воспитали в них недоверие и ненависть к людям.

Встречалась и другая категория людей – жестоких и безразличных, которые просто не умели сочувствовать, представлять себе чужое горе, чужую боль. И наносили удары, мучили и убивали с полным бездушием, потому что они никогда не знали и не хотели знать евангельских истин о добре, любви и милости. Эти люди любили только себя.

Расскажу еще о нескольких тягостных днях в Ершах.

Бабушка Ляксандра умерла, и мы жили в избе одни. Юля была в больнице на дежурстве, я дома. С вечера слегка морозило. Ночью погода переменилась. Утром с реки рваными клочьями пополз серый туман. Цепляясь за нижние ветки деревьев, кустарники, он падал в низины и медленно карабкался на склоны. Вначале пелена тумана стелилась по земле, и чудилось, что все закрыто серым и плотным одеялом, на котором поднимались мокрые деревья, крыши домов, верхушки заборов, но затем он стал подниматься к небу, стараясь слиться со свинцовыми облаками, неподвижно висевшими над миром.

Жду прихода Юли, время тянется мучительно и нудно.

Домашняя работа переделана, приготовлен обед, протоплена печь, наколоты дрова, несколько раз прочитано правило. В избе полутемно, керосина нет, лампадку не зажигаю, мало масла. Пробую уснуть, для того чтобы не видеть серого, грязного дня, мутной пелены тумана, отделившей от меня свет, солнце, лес, для того чтобы избавиться от мрачных мыслей, сковывающих сознание. Уснуть не удается. Тяжелые и серые мысли приходят одна за другой. В душу вползает тоска, гнетущая, пугающая так же, как туман, ползущий по земле и сжавший ее в своих объятиях.

Пробую бороться, но уныние, тоска, черные неумолимые мысли подламывают меня, обессиливают, сминают. Мечусь по избе, пытаюсь что-то делать – не помогает. Начинаю молиться, опускаюсь на колени, становится легче, но потом сбиваюсь, тревожные мысли вытесняют молитву, и опять наступает приступ страха, тревоги. В изнеможении падаю на лавку, зарываюсь головой в одеяло и начинаю рыдать, но темная, именно темная тоска одолевает все больше и больше, становится трудно дышать, думать.

“Господи! Господи! – кричу я. – Помоги!” Начинаю и опять кончаю молиться.

Что-то страшное, пугающее и давящее стоит сзади меня, я оборачиваюсь, боюсь, крещусь несколько раз, прижимаюсь спиной к стене, но ничего не помогает.

Скрипит дверь, я еще больше пугаюсь, входит Юля, а я рыдаю во весь голос, она бросается ко мне: “Что с тобой?” Бессвязно рассказываю, плачу и еще дрожу от страха. Зажигается лампадка, я вижу лучистые Юлины глаза, светлое, доброе лицо, и я начинаю рассказывать о гнетущей тоске, страхе и о чем-то стоящем позади меня.

Юля успокаивает, запирает дверь на засов, подходит к иконам, начинает читать акафист Ангелу Хранителю. Первые же слова его снимают тяжесть, успокаивают, молитва проникает в душу, и я постепенно оживаю. Я знаю, Юля очень устала, но я сейчас эгоистична и не отпускаю ее, и она не стремится уйти от меня, а всеми силами пытается помочь мне. Уже поздно, мы ложимся, и я рассказываю ей, что было со мной. Юля слушает и говорит о молитве к Ангелу Хранителю, о том, что он всегда с нами, и напоминает мне стихиру: “Яко приял еси от Бога крепость хранити душу мою, не престай кровом твоих крил покрывати ю всегда”.

“Молясь Ангелу Хранителю, ты отогнала бы темное, что стояло за твоей спиной и вошло в твою душу”.

Помню месяца через два меня так же охватила тоска и страх, но, начав молиться Ангелу Хранителю, я отогнала смущающие меня страхи. Такова сила молитвы к Ангелу Хранителю.

ПИСЬМА

В разлуке с друзьями и родными письма имели огромное значение, они приносили радость, ты начинала понимать, что не забыта, о тебе помнят и любят.

Письма от о. Арсения являлись жизненно необходимыми, в них давалась духовная направленность, давались ответы на наболевшие вопросы, определялся дальнейший путь в церкви. Писем, написанных мне о. Арсением, сохранилось около тридцати, но перед самой войной я отдала их М. Н., жившей на даче, на сохранение, а она их почему-то сожгла. Сохранились только два письма, полученные в Корсуни–Ершах и хранившиеся у мужа. Привожу их текст:

“Люда! Пути Господни неисповедимы. Знаю о жизни Вашей, понимаю трудности, оторванность от церкви, дома, друзей. Неуверенность, вечные опасения разъедают душу. Положитесь полностью на волю Божию, возложив упование на Господа, Он всегда с нами.

Молю о Вас Бога, верю, что все будет хорошо.

Больше опирайтесь на Юлю, верьте ей во всем. Господь дал ей чистую веру, сильную и хорошую душу. Всегда будьте вместе. Тяжелая весть о Соне расстроила меня, но в Соне много хорошего, доброго, и это никогда не угаснет в ней. Настанет время, и она опять придет к Богу. Удастся ли написать еще? Не знаю. Приложите все усилия для окончания медицинского института, помогите Юле кончить экстерном среднюю школу и поступить в медицинский институт.

Молю Бога о помощи Вам, молю Господа о Соне, и Вы не забывайте меня, ибо главные тяготы впереди. Да хранит Вас Бог и Пресвятая Богородица”. Подписи, конечно, нет, только до боли знакомый почерк. Второе письмо было получено через несколько месяцев и состояло всего из трех строчек.

“Тяжко в ссылках и заключениях, но Бога ради должны мы нести крест свой, где бы Вы ни были, не забывайте совершать добро людям. Молитесь Пресвятой Богородице друг о друге и обо мне грешном. Господь всегда с нами”.

Что писал о. Арсений Юле, я не знала. У нас было установлено писем друг другу не показывать.

Эти два письма предопределили мой дальнейший жизненный путь.

НЕСКОЛЬКО ГРУСТНЫХ МЫСЛЕЙ

В двадцатые, тридцатые и сороковые годы мы были молоды, полны сил, откровений, горели желанием помогать друг другу. Первые годы о. Арсений был рядом с нами, вел нас и, даже находясь в ссылках, руководил нами. Церковь нашу закрыли, служили по домам, община стала жить скрытно.

Аресты следовали за арестами, одних заключали в лагеря, других посылали в ссылку, кое-кто затаился или отошел.

Война многих из нас разбросала в разные концы страны. Начался голод, эвакуация, переезды, мобилизация. Об о. Арсении не было никаких известий, говорили, что он расстрелян, умер от голода в лагере. Даже в это суровое время община, а может быть, и не община, а просто мы, духовные дети о. Арсения, держалась вместе.

Окончилась война, мы почти все собрались в Москве, встречались, пытались как-то объединиться, заботиться друг о друге, как в былые времена, изучать что-то, ухаживать за нашими больными, но ничего не получалось.

Те из духовных детей о. Арсения, которые после войны приняли священство, уехали из Москвы, и ездить к ним часто стало невозможно.

На исходе сороковых годов и в начале пятидесятых мы вдруг обнаружили, что сильно сдали, постарели, стали не душевны, черствы, нетерпимы к другим людям. Слова о любви друг к другу, о помощи произносились так же, как и раньше, но мы хотели, чтобы больше заботились о нас, чем мы о ком-то. Нас подменили.

У каждого была семья, свои заботы, болезни, работа, дети, и во всем этом растворилась вера и добрые пожелания. Не было человека, который наставил бы нас, а сами оказались немощны.

Только около наиболее стойких и верных духовных детей о. Арсения, таких, как Наташа, Варя, Юля и еще нескольких других, группировалось небольшое количество людей, но некоторые отошли и ходили только в открытые церкви. Встречались редко, случайно, больше на похоронах, на больших церковных праздниках.

Разговоры были о здоровье, кто как живет, кто умер, болен, родились дети, внуки, получили квартиру, защитил диссертацию. Былые споры, разговоры, взаимно обогащавшие нас, совместное чтение святоотеческой литературы, обмен мнениями – все ушло в прошлое.

Былой свет померк, духовная жизнь еле теплилась.

Поражу Пастыря, и рассеются овцы, – и вдруг в 1958 году мы узнали, что о. Арсений жив и на свободе. Первые встречи, разговоры, исповеди, огромная, ни с чем не сравнимая радость охватила нас. Мы потянулись к о. Арсению, к родному очагу, под его кров, но не все. Кто-то не поехал, отошел, боялся.

Стало горько за человеческую неблагодарность, черствость, забывчивость – за нас же страдал о. Арсений.

Прошел год, и в небольшом домике, в городке далеко от Москвы, появились не только мы, но и много тех, кого встретил о. Арсений на дорогах лагерных странствий. Приезд о. Арсения, встречи с ним заставили многих из нас жить по-новому, стряхнуть житейскую накипь, стать ближе к церкви. Мы по-прежнему ходили в разные церкви Москвы, но душу свою несли к о. Арсению, там у него оставляли свои горести, обиды, сомнения, тяжести жизни, отдавали ему грехи наши и получали духовное наставление и утешение, дававшее нам возможность жить в духе веры. Помню слова о. Арсения: “Идите в мире путями заповедей Господних, будьте милостивы друг к другу, старайтесь в делах своих и помыслах быть подобно монахам, хотя и живете в бурном житейском море и тогда милость Божия не оставит вас”. И еще говорил: “Молитва к Пресвятой Богородице – одна из главных и сильных молитв для верующего. Каждый день проверяйте поступки свои и давайте ответ в содеянном себе и Господу”.

Несмотря на то, что о. Арсений был с нами и возродил многих из нас, все же мы стали другими. Молодость ушла, жизнь измотала и изломала нас, я чувствовала, что в наших молитвах больше звучали просьбы, чем прославление Господа, а когда-то было по-другому.

Однажды я спросила о. Арсения, почему так? И он несколько грустно ответил мне: “Это в какой-то мере естественно. Слишком много тяжелого перенесли люди, пережили. Было сделано все для того, чтобы вытравить из человека веру, поставить в такие условия, когда необходимо думать только о том, как выжить, преодолеть созданные препятствия. Взгляните, как построена кругом жизнь: радио, журналы, телевизор, газета, кино и театр заставляют вырабатывать стандартный образ мышления, единый для всех, а это ведет к тому, что человек ни минуты не может оставаться со своими мыслями, почувствовать Бога.

Сам темп современной жизни, ускоренный, стандартный и все время напряженный, заставляет думать односторонне в желательном кому-то направлении. Наедине с собой человек не может побыть, даже отдых его в санаториях, домах отдыха построен по определенному ритму и программе. Человеку говорят, вкладывают, учат тому, что задано, предначертано. Массы людей собраны вместе и в то же время разобщены борьбой за существование. Вот этой отразилось даже на верующих, подвело под общий стандартный уровень, сделало равнодушными. Стандартность мышления, заданное мышление мешает человеку стать верующим, а верующему сохранить веру. Но помните, Церковь Божия и в этих условиях будет жить вечно. Сохраняйте веру свою, боритесь за индивидуальность мышления, молитесь больше, читайте Священное Писание, и Господь сохранит вас, не даст потерять ясность мысли, думать, как безлика масса равнодушных, холодных людей”.

ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ. РАССКАЗ НАДЕЖДЫ ПЕТРОВНЫ 1972 г

“Господь хранил нас, хранил неотступно и милостиво”. В 1958 году, окончательно поселившись у меня, о. Арсений первое время ни с кем не общался, а потом написал несколько писем, и стали к нам приезжать в день по несколько человек, в субботу и воскресенье бывало и до десяти.

Отцу Арсению я первое время напоминала, что это опасно, но он полагался на волю Божию, а я боялась и даже устанавливала некоторую очередность посещений, особенно в воскресные и праздничные дни. Соседи на нашей улице были хорошие и плохие, но, к сожалению, плохих было больше. Времена, конечно, были не те, что при Вожде, но все же мы оба репрессированные, бывшие лагерники, а о. Арсений священник, и при этом не служащий в церкви. Всякое могло быть.

Приблизительно через год после приезда о. Арсения заходит ко мне участковый Павел Семенович, за глаза звали его у нас “Пашка-хап”. На вид лет тридцать пять, роста среднего, русский, голубоглазый, лицо открытое, улыбочное. Вот за эту-то улыбочность мы все его на улице побаивались. Квитанцию на штраф пишет, говорит предупредительно и улыбается.

Вошел в дом, поздоровался, спросил о моем здоровье, все ли благополучно, а потом о жильце спрашивать стал. Кто, что, откуда? Я рассмеялась и ответила: “Павел Семенович! Жилец-то прописан, и милиция о нем все знает. Скажите прямо, что Вам надо?”

“Да ничего, собственно, не нужно. Да вот соседи говорят, что много народу к Вам ездит. Жилец-то священник, может, на дому священствует, а это законом запрещено, для этого церкви есть”.

Во время этого разговора вышел из своей комнаты о. Арсений, поздоровался и сел.

“Вы обо мне спрашиваете?”

Павел Семенович немного замялся и сказал: “Да, о Вас, гр. Стрельцов. Спрашиваю, не священствуете ли на дому? Из лагерей прибыли?”

Разговорились, Павел Семенович чему-то посочувствовал, что-то о сектантах сказал, что в городе объявились. Козырнул знанием секты иеговистов, что идут на поводу у американцев, что-то о Боге сказал. Отец Арсений отвечал и, на мое удивление, разговор поддерживал. Около часу просидел у нас Павел Семенович, выпил чаю, закусил, и денег я ему дала, в старых деньгах сто рублей. Взял, как всегда, не отнекивался, за эти поборы и прозвали его “Пашка-хап”. Деньги в руки не брал, надо было положить их в боковой карман шинели или кителя. Когда деньги в карман всовывали, делал вид, что не замечает.

Уходя от нас, сказал: “Вы это, насчет приезжих осторожней”, – и ушел, а потом раз в месяц стал заходить, то номер на доме посмотрит, то ограда в порядке ли, есть ли собака, домовую книгу полистает и все норовил с о. Арсением поговорить.

И как-то случилось, что о. Арсений с ним встречался, то на звонок выйдет, то услышит наш разговор и так же из комнаты выйдет, и станет наша беседа общей.

Разговоры у них странные были. Отец Арсений почему-то о своей жизни рассказывал, о Москве, нашем городе, его истории, а иногда Павел Семенович начинал о себе и семье рассказывать или вступал в рассуждение о слышанном.

Не любила я этих визитов Пашки, а разговоров тем более, и как-то о. Арсению сказала: “Ну что Вы с ним разговариваете? Ходит, выглядывает, каждый раз деньги берет. Чистой воды хапуга”.

Отец Арсений задумчиво посмотрел на меня и ответил: “Надежда Петровна! Вы внимательно взгляните в Павла Семеновича, и тогда увидите в нем большую искру Божию”.

А я про себя подумала: “Где у этого хапуги может быть искра Божия?”

Года два ходил к нам Павел Семенович и, прямо на удивление, всегда-то встречался с о. Арсением. Придет, посидит, выпьет чаю, закусит, поговорит и уходит. Первое время я ему деньги в карман, как всегда, вкладывала, но потом перестал брать. Не любила я его приходов, боялась, что высматривает, а о. Арсений, наоборот, при приходе Павла Семеновича оживлялся, и мне даже казалось, был рад ему.

Года через три не только что деньги не брал с нас, а бывало, придет к о. Арсению, то селедку какую-то особенную, то банку красной икры из раймага принесет, что с черного хода начальство получает, и никогда никаких денег за покупки не брал, а только говорил: “Это мой презент”. Прошло еще года два, о. Арсений стал приглашать Павла Семеновича даже в свою комнату, мы все возмутились и стали говорить о. Арсению, что этого делать нельзя, а он в ответ только улыбался. Павел Семенович несколько раз предупреждал меня о соседях или о том, чтобы в некоторые субботы не приезжали или приезжал один-два человека, и тогда приходилось идти на вокзал и предупреждать приехавших о необходимости отъезда. Вероятно, в эти дни следили за домом, и, действительно, два или три раза я заставала в саду людей, изображавших пьяных, “случайно” пролезших через довольно высокую ограду.

Заходил к нам Павел Семенович не чаще двух раз в месяц, при этом обязательно побывав у соседей. На нашей улице говорили: “Хотя Пашка и хап, а у него на участке порядок”.

О чем говорили о. Арсений и Павел Семенович в последние годы, не знаю, но только видела, что Паша привязался к нему.

В ноябре шестьдесят третьего года Павел Семенович пришел к нам расстроенный, умирала у него мать, Сел в столовой и заплакал. Отец Арсений стал успокаивать. “Мать верующая, всю жизнь Богу молилась, а в церковь не могла ходить, я-то партийный, по должности у людей на виду, в милиции служу. Мать очень переживала, что я участковым работаю, прозвище мое знала: Пашка-хап. Да что делать, жизнь так сложилась. Очень прошу Вас, о. Арсений, прийти к нам с Надеждой Петровной и маму поисповедовать и причастить, сама тоже просит, я ей про Вас много рассказывал. Вы ко мне вечером тихонько заходите, домик в саду стоит, я у калитки ждать буду”.

Часов около восьми, как договорились, вышли мы с о. Арсением и пошли. Я чего-то боюсь, а о. Арсений чему-то радуется. Вышли на улицу: темень, дождь, пришли, у калитки ждет Павел, провел в дом. Мария Карповна совсем плоха, говорит еле-еле, только глаза горят, худая, высохшая.

Вышли мы в соседнюю комнату, стоим, переговариваемся. Жена Павла плачет навзрыд и только повторяет: “Такого человека, как Пашина мама, не найти, меня опекала, внуков воспитывала, в церковь хотела, а из-за нас ходить не могла. Иконку Матери Божией в чулане держала, там и молилась каждый день”.

Часа через два вышел о. Арсений и нас позвал. Мария Карловна после исповеди оживилась, попросила приподнять ее на подушке и сказала: “Батюшка, Пашу моего и Зину не оставляйте. Христом Богом прошу. Хорошие они, а это, что Павел в милиции служит, ничего, он добрый, душа у него есть, многим помогал, как умел”.

Потом ко мне обратилась: “Голубушка, Надежда Петровна, ты останься, отходную по мне прочти. Сегодня Господь приберет меня, ты уж просьбу мою уважь”.

Никогда я отходной не читала, смотрю растерянно на о. Арсения, и что ответить, не знаю. Отец Арсений сказал мне: “Останьтесь, я псалтырь с собой взял”. Читать по-славянски умею, псалтырь много раз читала, о. Арсений и службу меня заставил изучить, с того времени как я верующей стала.

Конечно, осталась, хотя и страшно. Жена Павла пошла провожать о. Арсения. Остались в комнате Павел и я. Зажгли свечку, стала я читать, волнуясь, сбиваюсь, но потом взяла себя в руки.

Мария Карповна лежит с открытыми глазами и изредка с большим усилием крестится. Павел около меня стоит, Зина пришла, уложила детей и тоже с нами начала молиться.

Ночь, поздно, я уставать стала, временами воду пью, но читаю и читаю. Поднимаю голову, вижу, Мария Карловна что-то сказать хочет. Подошла я.

“Подожди, голубушка, чуток, прошусь я с Павлом и Зиной, и ты тоже после подойди”.

Было в этом прощании что-то неизбежное, глубоко грустное. Мария Карповна была сосредоточенно серьезна, ласкова, и ни тени боязни не мелькнуло на ее лице.

Павел и Зина, припав к руке матери, тихо плакали, но в глазах каждого было столько глубокой любви и какого-то сознания, понимания, что смерть это не ужас, а Великая неизбежность, которую надо освятить лаской, добротой и верить, что связь с умершим не прервется. В дальнюю дорогу уходила Мария Карповна.

Подошла и я. Почти шепотом сказала она мне: “Не оставляй их, голубушка, молись обо мне. Прощай!”

И опять читала я псалтырь. Около шести утра незаметно умерла Мария Карповна. Утром ушла я домой, а ночью о. Арсений отпевал умершую. После смерти Марии Карповны темными вечерами заходила Зина и молилась у о. Арсения со всеми, кто в это время бывал у него. Павел Семенович приходил днем под видом очередного обхода своего участка или поздно вечером, заранее предупредив о своем приходе.

В шестьдесят четвертом году поступил Павел на заочный юридический факультет, окончил в шестьдесят девятом, уехал из нашего города в другую область, где и работает сейчас народным судьей.

До самой смерти о. Арсения, т. е. до осени 1975 г. посещал его Павел, а после его смерти стал духовным сыном о. В. в другом городе, куда направил его сам о. Арсений.

Отец Арсений говорил мне, что у Павла необычайно чистая душа и, даже находясь на работе в милиции, он многим делал хорошее.

Запомнился мне один вечер, разговор с о. Арсением о силе веры у человека. Было это в один из тех редких дней, когда никто не приезжал. После долгой молитвы у себя в комнате вышел о. Арсений к вечернему чаю. Настроение у него было радостное, вначале он много рассказывал об одном офицере, встреченном им в лагере, о необыкновенной чистоте его души, самопожертвовании, вызывавшем даже уважение охраны, при этом весь рассказ был удивительно ярким и произвел на меня большое впечатление. Вероятно, я его когда-нибудь запишу.

Потом разговор перешел на тему о силе веры, и о. Арсений сказал: “У каждого человека своя сила веры, и дается она Господом в зависимости от устройства, внутренних сил и собственного духовного подвига.”

Монаху или иерею, прошедшему большой путь наставничества и подвига под руководством старцев, изучавшему Священное Писание, дано много и спросится много.

А возьмите Павла Семеновича и Зину – что им было дано? Почти ничего, но в душе была искра Божия, и эту искру заложила мать, все время поддерживая ее.

Еще полностью не осознав веры, Бога, сколько делали они добра, как мы узнали после от посторонних людей!

Достаточно было загореться в душе их пламени веры, и засветились они, засверкали больше, чем те, кто пришел в первый час. В жизни своей, – закончил о. Арсений разговор на эту тему, – таких чистых душой людей встречал я не раз”.

Последний раз с Павлом Семеновичем виделась я в Москве в начале этого года.

Написано Надеждой Петровной.

Из архива Татьяны Ниловны Каменевой.

КОНЕЦ
ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ

Отец Арсений Часть четвертая. ПУТЬ К ВЕРЕ

Содержание

- ПЛОТИК
 - МОСТ
 - ДОБРОЕ СЛОВО
 - ВЫСОТА
 - ОТЕЦ ВАСИЛИЙ
 - МИЛОСТЬ ГОСПОДА
 - СЛЕДОВАТЕЛЬ
 - ВОСПОМИНАНИЯ А. Ф. БАТУРИНОЙ
 - СЕЛО КРЯЖИ
 - ВАЛЕНТИНА
 - ИРИНА НИКОЛАЕВНА – ДУНЯША
-

ПЛОТИК

Встретилась я с Василием Андреевичем в начале 1970 года в доме Надежды Петровны. Среднего роста, немного смугловатый, с открытым взглядом, он не произвел на меня особого впечатления. Был молчалив, собран, о себе не стремился рассказывать.

Встречались несколько раз во время приездов к о. Арсению по субботам или воскресеньям за общим столом, однажды даже ехали вместе в Москву. Разговорились; больше говорила я, рассказывала о жизни о. Арсения в лагере, что-то о себе. Василий Андреевич внимательно слушал, а на мои вопросы отвечал односложно. Спросила, как он пришел к Богу и к о. Арсению. Ответил, что в 1968 году его привел о. Федор Петровский, знавший о. Арсения в пятидесятых годах по лагерю и ставший еще тогда его духовным сыном.

О. Федора встречала два или три раза также за общим столом и знала, что служит в церкви Святой Троицы где-то под Калугой.

В один из моих очередных приездов опять встретилась с Василием Андреевичем. Собралось нас в эту субботу в домике Надежды Петровны человек десять, мы почти заканчивали пить чай. Разговор был оживленный, вспоминали войну 1941–45 годах; кто-то упомянул, что участвовал во взятии Кенигсберга в апреле 1945 года. О. Арсений внимательно слушал говорившего и вдруг, обернувшись к Василию Андреевичу, сказал:

– Расскажите о переправе через Днепр.

Василий Андреевич от неожиданности смутился, потому что взоры всех сидящих за столом обратились на него. Помедлив, начал рассказывать о переправе и о чудесном спасении. Мы с глубоким интересом слушали, а когда Василий Андреевич закончил, о. Арсений сказал:

– Напишите об этом подробно, о таком люди должны знать!

Месяца через три Василий Андреевич передал мне написанное, и я, ничего не изменив, дала только название.

* * *

Дивизию нашу сосредоточили на левом берегу Днепра (был октябрь 1943 года) и приказали форсировать Днепр. Плоты, лодки, плотники стали сразу после приказа изготавливать. Делали все сами из заборов, сараев, крестьянских домов, разбитых повозок. Сформировали из нас группы по 5, 8, 10 человек во главе с сержантами или младшими лейтенантами и приказали строить плоты и плотники. Пришел лейтенант из саперного батальона, показал, что и как делать. Наука несложная:

сколотили и связали большие плоты и огромное количество плотиков. Сделали шесты, длинные грубые весла.

К вечеру (кажется, 10 октября) плавсредства были готовы. Погода пасмурная, дождливая, холодная; ветер порывами, темень непроглядная. Около десяти вечера спустили плавсредства на воду; к нашему плоту прикрепили пулемет, у каждого солдата был автомат. На больших плотках установили и привязали орудия, разобранные минометы. Минут за двадцать до начала переправы наша артиллерия повела шквальный огонь по правому берегу для подавления немецких огневых точек, артиллерии, минометов, живой силы. Немцы вначале обстреливали нас не часто, но как только обнаружили двигающиеся по Днепру, под прикрытием нашего огня, лодки, плоты и плотики, открыли ураганный огонь по левому берегу и плавсредствам, двигающимся по воде.

Ширина Днепра в месте нашей переправы не превышала пятисот метров. Отплыли мы от своего берега метров 150. Вначале мины и снаряды немцев падали беспорядочно, но потом огонь стал прицельным. Лодки, плоты, плотики раскачивались, заливались водой, переворачивались, тонули.

Осколки мин и снарядов визжали, шипели вокруг нас; люди сбрасывались взрывной волной в воду убитыми, ранеными и шли на дно. Часть лодок и плотов плыла по реке уже без людей. Иногда кто-нибудь из тонущих взбирался на них и помогал другим взобраться. То там, то здесь на поверхности появлялись головы плывущих, люди хватались за бревна, доски от разбитых плотов, пытались вплавь добраться до правого берега, но большинство тонуло.

Вода была ледяной. На лодках и плотках, уцелевших от обстрела, солдаты старались поплавающих в воду вытащить. Сквозь грохот разрывов прорывались голоса тонущих, раненых и солдат, старающихся уцепиться за бревно, лодку, плот.

– Помогите, спасите! – кричали люди, то погружаясь в воду, то появляясь на поверхности. Кем-то отдавались команды: “Вперед, вперед!” – и постоянно звучала исступленная ругань.

На нашем плотике плыло восемь человек с полным боекомплектом гранат, дисков к ППШ и привязанным к доскам пулеметом. У всех были грубые весла, но гребли только четверо, всем грести было невозможно. Чем ближе подплывали к правому берегу, тем ожесточеннее был минометный огонь и прицельный огонь тяжелых пулеметов, бивших по плотам и лодкам. Наша артиллерия по-прежнему вела интенсивный обстрел немецких огневых точек и окопов, расположенных на высоком правом берегу.

Над переправой немцы “повесили” множество осветительных ракет, медленно спускающихся на парашютах. Стало светло, словно днем. Рядом с нашим плотиком упала большая мина, взрыв подбросил его, поставил почти вертикально. Я и сержант ухватились за поднявшийся край и удержались, двое из спасенных держались за привязанный пулемет, остальных сбросило в воду. Плотик взлетал и опять падал да волнах, образованных взрывами, и вот-вот должен был опрокинуться, но чудом удерживался на плаву. Сержант и я гребли и гребли к правому берегу. Весел уже не было, их перебило осколками мин или вырвало из рук. Гребли выловленными досками обломками. Бойцы, вытасченные нами из воды, были полностью деморализованы и нам не помогали.

Правый берег возвышался над водой, на высотах его прочно окопались немцы, полностью просматривая при мертвенном свете ракет реку и левый берег. Наша задача была доплыть до немецкого берега и, под его прикрытием, сосредоточиться группами, подняться вверх и уничтожить укрепления, узлы сопротивления, живую силу.

Вода кипела от взрывов; тысячи осколков от мин и снарядов во всех направлениях пронзали воздух, убивали и ранили солдат, ломали бревна плотов и лодки. Надежды добраться до берега не было, да и там нас ждала смерть, но мы гребли и гребли. Иногда кто-нибудь из находившихся в воде хватался за наш плотик или за протянутую нами руку, но осколки поражали людей, и они тонули. Многие не умели плавать и тонули сразу, намочшее обмундирование и оружие тянули на дно.

До берега оставалось метров сто (это сейчас, через десятилетия, оцениваю расстояние, тогда об этом не думал), и здесь из шестиствольного миномета немцы дали залп, вокруг кучно легли мины, плотик взлетел, снова упал, и двое солдат, спасенных нами и цеплявшихся за доски, были убиты осколками, только сержант и я остались живы, все время гребли, и ни один из нас не получил даже царапины.

Что спасало и уберегало нас? Что?

Брызги воды при взрывах секли по лицу, рукам, а мы все гребли и гребли. Рядом прогремел взрыв, плотик завертело, закачало, и я понял, что сейчас мы погибнем.

Сержант опустил остаток весла, замер, и сквозь взрывы, вой мин, осколков и снарядов я увидел и услышал, как он несколько раз перекрестился и отчетливо сказал: – Помилуй меня, Господи, прими

дух мой с миром, а если сохранишь жизнь – уйду в монахи и стану иереем, но не как я хочу, Господи, а как Ты. Помилуй меня, Господи.

Несмотря на то что вокруг слышались оглушительные взрывы, крики людей, ужасающая ругань, я четко услышал сказанное. Мне было девятнадцать, что я знал в то время о Боге – обрывки высказываний! Но где-то в сознании глубоко-глубоко всегда жила мысль: есть что-то высшее, вероятно, это Бог, но о православии, христианстве не знал ничего.

То, что сделал сержант, удивило меня, вероятно, он тоже хотел жить и поэтому обратился к Богу. Хотелось и мне остаться живым, и я, с истинной верой внутренней и мольбой, тоже перекрестился несколько раз и сказал: – Господи, помоги и спаси! Обязательно приму крещение. Помоги, Господи!

О таинстве крещения из разговоров в семье, хотя и неверующей, я знал. И, пока мы плыли, все время просил Бога спасти нас.

Плотик перестал крутиться. Сержант сказал:

– Грести буду я, а ты людей из воды вытаскивай. Схватывал утопающих за руки, одежду и втаскивал на плотик. Вытащили мы с сержантом восемь человек, некоторых с оружием, двое были ранены. Плотик сильно перегрузился, до берега оставалось метров 50; гребли все спасенные солдаты – палками, руками, кто чем мог. Немецкие мины и снаряды нас больше не достигали, высокий берег Днепра защищал. Но опасность быть убитым не уменьшилась – из прибрежных окопов немцы поливали нас автоматным и пулеметным огнем.

Наконец плотик ткнулся в берег, вытащили раненых, положили на песок, сняли пулемет. На узкой полосе берега уже скопились солдаты и офицеры, в начале командовал лейтенант, потом его сменил майор, которого, оказывается, мы вытащили из воды. Ну, дальше рассказывать о войне уже нет смысла, переправа продолжалась, высаживались все новые группы солдат и офицеров. Трудно сказать, но думаю, что из каждой сотни переплывавших Днепр, гибло 60–70 человек.

В памяти сохранилась фамилия сержанта – Петровский, но ни лица, ни роста не запомнил. Прибыл он в нашу роту после тяжелого ранения за два дня до форсирования Днепра, а после переправы и боя на правом берегу я с ним не встречался, думал, что убит. Был приказ, что солдат и офицеров, первыми захвативших плацдарм на правом берегу Днепра, представлять к званию Героя Советского Союза, но я получил только медаль “За боевые заслуги”.

Начал и закончил войну солдатом, в Манчжурии, в декабре 1945 года.

Кончилась война, о своем обещании креститься всегда помнил, но не исполнял, хотя читал Евангелие, Ветхий Завет, но в нем запутался; брал у знакомых пожилых людей книги религиозного содержания, изданные до 1917 года; однажды даже дали годовую подписку журнала “Паломник” за 1910 год, чуточку стал разбираться и стал твердо верить – Бог есть, о своем обещании креститься ни отцу, ни матери, ни жене никогда не говорил, а в то же время мучился, что не исполняю своего обещания.

Я отчетливо сознавал, что Господь спас при переправе сержанта Петровского и меня. Иногда возникала мысль: а как же остались живы другие солдаты и офицеры, были они верующие или нет? Ответа не находил.

Прошло почти двадцать лет; в 1965 году пришли мы с женой к нашим хорошим друзьям на день рождения хозяйки дома. Мы любили эту семью, они были душевные люди, помогали многим и нам тоже. Я знал, что они верующие, часто ходили в церковь, но никогда не смел рассказать о своем обещании. За столом собралось человек восемнадцать–двадцать, вначале разговор, как это бывает всегда, велся на самые разнообразные темы, но потом перешел на то, кто и каким путем пришел к Богу, и я понял – все собравшиеся глубоко верят в Бога, и мысль, что я не исполнил своего обещания, словно пронзила меня.

Некоторые рассказывали подробно, другие говорили, что верили с детства, третьи – как нашли Бога и не могут жить без Него. Напротив меня сидел человек моих лет, которого хозяин дома называл Сергеем, и он стал рассказывать, как Господь привел его к вере на войне, в 1943 году, при переправе через Днепр. Он говорил:

– Верующий я всегда был с малых лет и всегда Бога в душе своей нес. Переправлялись мы в конце сентября через Днепр на плотках – в общем, его рассказ почти в точности совпадал с моим, только переправа была в другом месте. – Страшно было, не то слово, смерть безжалостная, беспощадная, шла за каждым из нас, из десяти человек восемь гибли: тонули, падали убитыми. Стою на плоту – плот большой был, с орудием; люди падают убитыми, тонут. Перекрестился я мысленно и положился на волю Божию, стою и читаю молитву Богородице “Взбранной Воеводе победительная” и “Господи, прости и помилуй”. Греб веслом и всю переправу эти молитвы читал, потом стал после молитвы Матери Божией добавлять “Да будет воля Твоя! Сергей Преподобный, моли Бога о нас!”

После этой переправы еще более в вере укрепился, сейчас в церкви иподиаконом, но хочу священником стать.

Впился я в него глазами, а Сергей меня спрашивает: –А вы на войне были? – Смутился я отчего-то, замешкался с ответом, а жена моя, Мария, сказала:

– С первых дней войны до декабря 1945 года.

– Друг у меня есть, – сказал Сергей, – друг он мне и духовный отец – Федор Петровский. Тоже участвовал в переправе через Днепр на плоту; из восьми человек отплывших только он да солдат живы остались и даже ранения не получили. Отец Федор, переплывая Днепр и видя гибель неминуемую, дал Господу обещание, – если жив останется, то монахом станет и иереем, что и сделал после войны. Сейчас в церкви Святой Троицы трудится, в Калужской области.

Не случайна была эта встреча с Сергеем – неисповедимы пути Господни – Промысл Господа вел меня к ней. Договорился с Сергеем Николаевичем в следующий выходной день поехать к о. Федору – а вдруг это бывший сержант Петровский?.. Ехали автобусом до Калуги, потом опять автобусом до городка, а у самой церкви Святой Троицы и сошли. Волновался я сильно, очень хотелось, чтобы сержант Петровский оказался о. Федором. Пока ехали, вставало передо мной видение боя, переправа, крики тонущих, взрывы, мертвящий свет осветительных ракет, болтающийся плотик, гибнущие люди. Руки и головы солдат и офицеров, то появляющиеся из воды, то хватающиеся за края плотов, доски, обломки или исчезающие в глубине люди. Петровский и я, стоящие на плотике, и мое обещание, не выполненное до сих пор.

Отец Федор Петровский сразу узнал меня и во второй наш приезд крестил жену и детей.

Если только вдуматься, что было со мной, то понимаешь великую силу провидения Господа нашего Иисуса Христа, заботу о спасении души человеческой и милость Его к нам, слабым духом и верой. Отец Федор стал нашим духовным отцом, другом, близким человеком, он и привел меня к о. Арсению, с которым встретился в 1950 году, в лагере, уже будучи иеромонахом, и до самой кончины которого был духовным его сыном.

Скромный, застенчивый и мягкий, он совсем не напоминал того смелого сержанта Петровского, с которым я плыл на плоту; потом я узнал, что и в церковной своей жизни он стоек и смел, особенно это проявилось во время хрущевских гонений на Церковь.

Вот так я пришел к вере, потеряв двадцать лет из неразумия, непонимания истинного пути жизни человеческой.

1973, 1979 г.

В. А. Чичагов.

Из архива В. В. Быкова

МОСТ

Пришел я к Богу на войне, при взрыве моста на горной речке. Рассказывать о своем детстве не буду, скажу только, что в семье в Бога никто не верил. Только тогда, когда я уезжал летом на каникулы, тетя Нюра, сестра отца, учила меня молиться и читала Евангельские истории по какой-то растрепанной книжке; было интересно, но как-то проходило стороной. Она заставила меня выучить несколько молитв: “Отче наш”, “Взбранной Воеводе победительная” и какие-то еще, но мне запомнились только эти и еще “Господи, Иисусе Христе Боже наш, не остави нас, грешных, Своей помощью”.

Дома сердились на тетю Нюру и даже выговаривали ей, но она сестру и меня все же крестила и была моей крестной матерью, а когда я бывал у нее, водила меня к священнику, о. Павлу, доброму и хорошему человеку. Мама и папа не знали, что мы были крещены.

В 1940 году взяли в армию, послали в танковое училище, кончить не успел – началась война. Направили в действующую армию, часть разбили; отступали, переформировывались, стал пехотинцем, артиллеристом и даже, на короткое время, связистом.

Отступали от Ростова, добрались до Кавказа, сперва бои шли в предгорьях; вошли в горы, часть нашу разбили, осталось человек 20 под командованием капитана, и стали мы самостийными партизанами; но вскоре с местным партизанским отрядом соединились и стали сильно досажать немцам на железных дорогах и шоссе. В боях участвовал многих, Бог хранил, и даже ни разу не был ранен, но о Боге не вспоминал. Но написать должен об одном особенном событии.

На железной дороге, находившейся от отряда в 10–12 километрах, был мост над бурной горной речкой, который немцы тщательно охраняли. По обеим сторонам моста были построены небольшие казармы, где жила охрана. Днем и ночью по мосту ходили солдаты, а ночами опоры моста

освещались прожекторами. Каждый проходящий состав тщательно обыскивали и гражданских лиц не возили.

Для командования этот мост было особенно важно уничтожить, так как он был частью основной транспортной магистрали, по которой снабжались немецкие войска.

Был получен приказ: во что бы то ни стало взорвать мост. Попробовал наш отряд подойти к мосту со стороны правого берега, потом левого, но, понеся большие потери, мы ничего сделать не смогли.

Вероятно, приходил приказ за приказом из Москвы, но мост взорвать не удавалось. Тогда было принято решение взорвать опоры моста, подойдя к ним по реке. Создали несколько штурмовых групп, провели десятки учений, но четыре штурмовые группы, даже не дойдя до опор, погибли в воде.

Река была бурная, вода стремительно неслась вперед, ворочая камни, ударяясь о скальные завалы. При этом температура воды была, вероятно, 3–4 градуса.

Пятой штурмовой группой была моя, я был старшим. Командование понимало, что подорвать опоры, подойдя по реке, невозможно, но нас все равно послали.

В группе нас было пятеро: Сомов, русоволосый колхозник из-под Костромы; грузин Сванидзе, красивый, подвижный и добродушный; эстонец Карл, носивший почему-то русскую фамилию Хохлов, всегда угрюмый, молчаливый, но добрый и отзывчивый на чужую беду; Стогов, учитель из Коврова, и я, москвич. Не удивляйтесь обилию подробностей – взрыв моста стал поворотным моментом в моей жизни.

Подойти к мосту по берегу можно было не ближе чем на 100–120 метров, дальше уже располагались ДОТы и все было оцеплено колочей проволокой. Вышло нас с базы десять человек – бойцы несли наше снаряжение: взрывчатку, бикфордов шнур, взрыватели, упакованные в непромокаемые мешки; наша группа шла налегке. Шли горными тропами. Дул пронизывающий ледяной ветер. Река ревела, шумели бьющиеся друг о друга камни, и даже в эту темную ночь были видны отблески водяных гребней и волн. Глубина реки, по данным разведки, не превышала полутора–двух метров, но весь путь надо было пройти в стремительно текущей воде, сбивающей с ног, ворочающей камни, образующей бесчисленные водовороты и при этом нестерпимо холодной.

Дошли до места, бойцы сложили наши вещи, и мы стали раздеваться, снимая теплую одежду; остались в черных майках, штанах и легких ботинках, подвязав их проволокой к ногам. Прикрепили непромокаемые мешки и начали входить в реку”

Первым входил Сомов, молча поклонился на четыре стороны и бросился в реку; вторым – эстонец Хохлов, деловито осмотрелся, словно раздумывая о чем-то, постоял две-три секунды и медленно сошел в воду, сказав: “Прощайте, товарищи!” Стогов, проходя мимо меня, выругался, длинно и вычурно, и сказал: “Пошли, командир, смерть это, верняк!”

Четвертым был Сванидзе, он подошел к воде, трижды перекрестился и что-то сказал по-грузински.

Замыкающим вошел я – вода мгновенно обожгла тело. Провалившись в яму почти по горло, был вытолкнут течением и ударился о камни. Холод сжал тело, парализовал руки, ноги, дыхание словно остановилось. Плыть или сопротивляться течению было невозможно – оно швыряло, било, бросало на камни.

И вдруг молитвы, выученные когда-то с тетей Ньюшей, мгновенно возникли в памяти. Я знал, да все мы знали, что 120 метров с мешками взрывчатки нам до средней опоры не пройти, мы обязательно погибнем, как погибли шедшие до нас группы. И, понимая это, я стал молиться Матери Божией: “Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, Радуйся, Невесто Неневестная!” И: “Господи, Иисусе Христе, не остави нас, грешных”. Борясь с течением, я все делал автоматически, повторяя беспрерывно молитвы; и в остальной своей жизни не одну тысячу раз повторял и повторяю эти молитвы.

Мы не плыли, нас несла вода, била о камни, холод сковывал тело, но, когда я стал молиться, страх и беспомощность отошли от меня. Молился я не о спасении наших жизней – мы знали, что не дойдем до опор моста и погибнем – я, маловерующий (тогда) человек, молился, чтобы Господь принял наши души. Течение несло вперед, мы взбирались на скользкие обломки скал, тащили взрывчатку, проваливались в ямы.

Впереди меня шел Сванидзе, мы помогали, как могли, друг другу. Были пройдены первые несколько десятков метров, и вдруг около меня появился Сомов, шедший первым. Кажется, он крикнул: “Прощайте!” – и ушел под воду. Было приказано двигаться только вперед и не спасать

погибающего, но мы все же попытались, но это было бесцельно. Прошли еще десятка два метров, и Карл Хохлов сказал: “Все, командир! Возьми взрывчатку, свело ноги, тону!”

Нас осталось трое – Стогов, Сванидзе и я. Что мы делали, когда течение бросало нас на камни и било о них – не помню, я только молился; холод и боль во всем теле словно покрывались молитвой к Божией Матери.

Мы трое еще были живы и находились уже в 10–12 метрах от центральной опоры моста.

Избитые о камни, ооченевшие, потерявшие от боли и холода все силы, взобрались на скалы, выступавшие из воды, но от ледяного ветра сползли в воду.

Казалось, опора была рядом, но немцы, опасаясь взрыва моста, по воде натянули на тросах сетку; деревья, принесенные рекой, создали настоящий завал, который необходимо было преодолеть. Не буду рассказывать, как мы это сделали, но подобрался к натянутой сетке – надо было нырять под нее. Бесперывно молился Пресвятой Богородице и Господу Иисусу Христу, только это и заставляло сейчас меня жить. Первым под сетку нырнул я, Сванидзе стал передавать мешки со взрывчаткой. Стогов, держась за плавающие деревья, вдруг захохотал и исчез под водой. Нас осталось двое. Сванидзе нырнул под сетку, мы выползли на скользкое основание, на котором стояла средняя опора. Обессиленные и замерзающие, лежали на ледяном грунте. Ни я, ни Сванидзе ничего не говорили друг другу, мы подползли к опоре и стали укладывать мешки со взрывчаткой около нее. Но вдруг луч прожектора медленно пополз над мостом, спустился вниз, к опорам, задержался и опять ушел вверх. Так повторилось несколько раз. Мы распластались около опоры, луч прожектора опять опустился, и очередь крупнокалиберного пулемета ударила в скальное основание, это продолжалось секунд 15–20. Луч прожектора ушел, пулемет замолчал. Возможно, немцы заметили что-то неладное, а, может быть, это была очередная проверка. Я продолжал молиться и укладывал со Сванидзе взрывчатку. Время от времени луч прожектора опять вползал на скальное основание, а пулемет продолжал обстреливать пространство около опоры.

Последние силы и последний запас тепла, сохранившиеся в теле, уходили; руки не гнулись, ноги не действовали, я лежал и молился. Надо было достать взрыватели, они висели у меня на шее в мешочке, но руки не поднимались. Сванидзе лежал на обледенелом основании. “Господи, Иисусе Христе, помилуй! Не остави нас, грешных! Пресвятая Богородица, помилуй нас!” Сванидзе подполз ко мне, нагнулся к моему лицу и сказал: “Ты что, молишься? Давно слышу сквозь шум воды, это хорошо, я тоже все время молился, Бога призывал”, – сказал и затих. Я подполз к опоре, после сказанных Сванидзе слов меня что-то словно толкнуло и дало силы – сорвал с шеи пакет со взрывателями, установил их, упал, и в это мгновение луч прожектора осветил основание опоры, камни, берег, и пулемет очередь за очередью начал бить по скальному основанию. Прожектора и пулеметы били с правого и левого берега, осколки скалы летели в разные стороны. Трассирующие пули огненными нитями прорезали темноту ночи, то приближаясь, то удаляясь от опоры.

Лучи прожекторов перебегали с берега реки на опоры, скользили по реке и снова возвращались к скальному основанию. Внезапно погасли прожектора, замолкли пулеметы. Сванидзе вскочил, перекрестился широким крестом и, сказав по-русски “С Богом”, – бросился в воду. Опять забили пулеметы, вспыхнули прожектора, осколок камня ударил меня по голове, я потерял сознание.

От режущей боли в спине очнулся и опять начал молиться. Все было готово к взрыву, но отползти от опоры не было сил. Продолжая молить Господа и Матерь Божию, просил принять душу мою. Все, что когда-то говорила и чему учила меня тетя Ньюша, пришло и встало в сознании.

Осталось только произвести взрыв. Умолял Господа простить меня, защитить и сохранить мать, отца, сестру и еще и еще раз простить меня за прежнее неверие. Мысль, что сейчас умру, не беспокоила меня; молился только о спасении души; вдруг, внезапно, возник передо мной о. Павел, крестивший меня и ставший крестным отцом. Строгий и в то же время какой-то лучезарный, стоял он около меня, благословил и четко и властно произнес: “Иди, Константин! Иди! Матерь Божия защитит тебя!”, и я, лежащий на ледяном скальном основании, бездыханный, ооченевший, вдруг поднялся и шагнул в темень ночи, в бушующую реку.

Огромный столб пламени, грохот взрыва потрясли берега, а я оказался за двести метров от моста и держался за ветки деревьев, потом бойцы поста, дежурившие у поворота реки, тащили меня на берег. Лежа на берегу, был еще во власти молитв и слов о. Павла: “Иди, Константин, Матерь Божия защитит тебя!”

Сознание работало, и я, только что умиравший, замерзший и недвижимый, сейчас мог стоять, пока меня одевали в сухое обмундирование, и даже отвечать на вопросы. Там, где был мост, захлебывались пулеметы, бегали по берегам лучи прожекторов, надрывно гудел паровозный свисток. На берегу лежал живой Сванидзе, завернутый в шинель, и мертвый Стогов. Сванидзе тяжело заболел

психически, и его месяца через два отправили на большую землю. Всю дорогу я молчал и даже часть пути шел, но потом силы оставили меня, и партизаны взяли меня на руки.

В 1962 году разыскал Сванидзе, приехал в Грузию. Жил он в деревне, в доме, окруженном садом и виноградником; следы психического заболевания полностью исчезли. Был очень верующим человеком, каждое воскресенье ездил на машине в небольшой городок в церковь.

Какова была наша встреча, Боже мой! Мы, здоровые, сорокапятiletние мужчины, плакали, как дети, что-то пытались вспомнить, сказать, а наши жены стояли рядом и не знали, что делать. В 1984 году Илья Сванидзе скончался.

А к о. Арсению в 1965 году я приехал первый раз с его духовной дочерью, нашим добрым другом Ниной Павловной, по его благословению написал эти воспоминания.

Когда я рассказал о том, что было со мной, о. Арсений сказал:

– Я верю, с Вами произошло подлинное чудо. Исполнок веков известно, что молитва крестного отца и крестной матери (а здесь крестный отец был иерей!) творит чудеса. Благодарите Господа Бога и Матерь Божию за проявление великой милости. Молитесь перед иконой “Взыскание погибших” (празднование 5/18 февраля) и “Нечаянной радости” (9/22 декабря). Воспоминания напишите.

Вот так я пришел к вере и Господу нашему Иисусу Христу и несказанно полюбил Матерь Божию, чем сейчас и живу.

1966–1989 гг.

Константин Шевров.

Из архива В. В. Быкова.

ДОБРОЕ СЛОВО

Изо дня в день видишь человека, живешь или работаешь с ним, проходят месяцы, годы, привыкаешь к нему, и видится он тебе ничем не примечательным, обыкновенным, “сереньким”, и возникает мысль, что жизнь у него будничная, неинтересная.

Но однажды совершается необычайное, ты обнаруживаешь, что человек этот духовно богат, во много раз богаче тебя, и живет интересной жизнью и богатство души щедро отдает людям, помогая им и не жалея себя. Уже на склоне лет поразил меня и, в какой-то степени, подвел итог некоторым моим исканиям и раздумьям долгий разговор с молоденькой медсестрой Любочкой, рассказавшей мне большой отрезок своей жизни.

В конце 60–х годов заведовала я хирургическим отделением в клинической больнице. Больница была новой, в свое отделение подобрала хороший персонал, в большинстве врачи были те, с кем я когда-то работала, и, что теперь бывает довольно редко, медицинские сестры тоже подобрались хорошие. Большинство из них были молодые, больные звали их Машенька, Катенька, Любочка. Сестер за тридцать лет называли по имени и отчеству, а тех, кому было ближе к пятидесяти – только по отчеству – Федоровна, Михайловна. Это стало традицией, и каждый вновь поступающий больной воспринимал ее как нечто естественное; так же к этому относились и сестры.

Все сестры были внимательны и приветливы с больными; одних больные любили больше, других меньше. Но одна из них – Любочка, молоденькая девушка 22 лет, особенно была любима больными, и это не вызывало у других сестер зависти или недоброжелательства; сами сестры любили Любочку, старались ей подражать, поверяли свои секреты, советовались с ней. Казалось, что Любочка делала для больных не больше, чем другие сестры, выполняя те же назначения врачей, и так же помогала больным, как и ее подруги по работе.

Заболела я фурункулезом, перешедшим во флегмону; пришлось лечь в свое отделение на ряд операций. Флегмона оказалась затяжной, и я пролежала больше месяца; и вот здесь поняла, почему больные любят Любочку.

Лежала в палате на трех человек, в отдельной палате не захотела – с людьми веселей.

Утром, входя в палату, Любочка радостно обращалась ко всем лежащим со словами: “Утро доброе!” – и думалось, что слова обращены не ко всем, а к каждому в отдельности. Раздавая градусники, спрашивала каждого, как он провел ночь, что ему сейчас нужно. Поправляла подушку, одеяло, тяжелобольному вытирала лицо, давала пить. Помнила, как каждого зовут, иногда говорила: “Звонила вашему мужу вечером, рассказала о здоровье. Он просил передать...” Всегда имела монетки для звонка по телефону-автомату и давала, если кто не имел.

Делая инъекции, внутривенные вливания, ободряла больного, успокаивала, уверяя, что станет лучше и больной поправится. Для всех у нее было доброе слово, полное участия, ободрения. Какой огромный смысл таится в нем, как необходимо в семье, на работе слышать его от близких, товарищей, друзей, а тем более больным!

Любочка со своим участием, с добрым словом, входила в мир больного радостным лучом света, путеводной нитью к выздоровлению, надеждой. Расспрашивала больных о домашних делах, предлагала опустить письмо да и многое другое.

Со всеми была ровной; мягкая улыбка часто освещала лицо, и от этого оно становилось еще более приветливым и располагающим. Больные всегда, именно всегда, “совали” ей подарки, но она их никогда не брала и говорила: “Отдайте другим сестрам”. Больные, выписавшиеся из больницы, часто в дни ее дежурств приходили и навещали ее или звонили и о чем-то говорили с ней.

Доброе слово Любочки часто помогало больше лекарств.

Было удивительно видеть, как молоденькая девушка, два года назад кончившая медучилище, а сейчас учившаяся на втором курсе медфака, находила невидимые контакты с больными, при этом выполняла быстро и в срок все назначения врачей, так же как другие сестры. Откуда это у нее? Часто размышляла об этом, лежа в палате.

Мне не спалось – созрел очередной фурункул, боли были сильные, пульсирующие. Я встала и вышла в холл, дежурила Любочка. Царил полумрак, только столик дежурной сестры освещала настольная лампа. Села в кресло около Любочки; вторая сестра спала в процедурной, хотя это не полагалось, но мы, врачи, как бы не замечали этих нарушений. Больным не разрешалось сидеть ночью в холле, и Любочка неодобрительно взглянула на меня и только покачала головой:

– Больно Вам, Елизавета Алексеевна?

И, понимая, что мне, заведующей отделением, не надо давать советы, взяла мою руку и как-то по-особому, едва касаясь, погладила, и в этом прикосновении ко мне перешло столько внутреннего тепла и участия, что боль вдруг утихла. Любочка медленно проводила своей рукой по моей руке. Я смотрела на ее лицо и видела на нем подлинное сострадание, которое бывает только у очень чутких и хороших людей, желающих взять часть твоей боли на себя, облегчив этим твою.

Внезапно я спросила Любочку: – Почему вы пошли в медицинские сестры, а сейчас учитесь в медицинском? Почему вас так любят больные?

– Да что вы? – удивилась Люба, – они относятся так же, как ко всем сестрам.

– Но у вас к каждому есть участие и доброе слово.

– Вы об этом, – сказала Любочка, – это же так естественно, ведь они больные, им нужны помощь, участие, и для этого я и хочу стать врачом; а доброму слову научила меня мачеха – мама Наташа.

И Люба рассказала мне.

* * *

Мама умерла, когда мне было почти двенадцать лет. Папа через три месяца вновь женился, и в дом вошла новая женщина, полностью завладевшая вниманием отца.

Вещи мамы: чашки, тарелки, любимые мамой, скатерть – в общем, все хозяйственное – стали ее вещами; в кухне, где постоянно возилась мама, теперь готовила чужая женщина – мачеха, да, именно мачеха, и это до глубины души задевало меня.

Я возненавидела ее с того момента, когда поняла, что отец любит ее и забыл маму. Возненавидела, когда она появилась в первый раз и еще не было сказано, что она будет женой отца.

Отцу было сорок, а ей 27. Красивую, интересную, деятельную, отец любил ее горячо, а мама наша была забыта, отошла куда-то далеко-далеко. Меня и шестилетнюю сестренку Зою отец очень любил, заботился о нас, делал подарки, гулял с нами; но сейчас заботы о нас полностью легли на мачеху. Если мы гуляли, то только с ней, подарки и новые вещи приобретала она; но это не радовало меня, а только еще более ожесточало.

Перед тем как мачехе появиться в доме, отец говорил со мной, как со взрослой. Объяснил, что ему, мужчине, невозможно работать и одновременно заниматься хозяйством, воспитывать нас; что тетя Наташа, – так звали мачеху, – хороший человек, полюбит нас и будет нам мамой. Много и долго говорил папа, а я озлобленно повторяла: “Нет, нет и нет, не нужна нам мачеха, я буду готовить, помогать тебе, смотреть за Зоей, ненавижу мачеху!”

Мачеха пришла в дом. Пришла тихо, осторожно, и мы стали жить вместе. Она ничего не переставляла в квартире, не меняла заведенных ранее порядков и не старалась командовать. Справедливости ради надо сказать, что заботилась она о нас, детях, хорошо, и, как это ни горько было сознавать, лучше, чем ушедшая мама. Мама была доброй, увлекающейся то книжкой, то подружкой, любила внимание мужчин – и тогда домашняя работа откладывалась до лучших времен. Говорю – что было, то было.

Мачеха любила порядок, чистоту, каждая вещь имела свое место, в комнате не было ни пылинки; и это еще больше раздражало меня. На стенах по-прежнему висели мамины фотографии, портрет, написанный маслом художником, дружившим с папой, вышитые дорожки; в чашечке

серванта по-прежнему лежали обручальное кольцо, янтарные бусы, брошки и другие мамины любимые украшения. Мачеха ничего не тронула, а свои брошки, кольца, ожерелья положила отдельно, не смешивая с мамиными. Дабы не травмировать нас, отказалась празднично отмечать свадьбу, но узнала я об этом от отца, будучи уже взрослой.

Мачеха попросила меня и Зою звать ее Наташей. Зоя быстро привыкла к ней, ласкалась, играла и вдруг стала звать мамой; а я ненавидела Наташу, и эта ненависть росла с каждым днем; я, как могла, отравляла ей жизнь. У себя в комнате, в головах кровати, повесила мачеха две маленькие бумажные иконки (потом узнала – Матери Божией Владимирской и Николая Чудотворца). Одну я разорвала и бросила на пол. Мачеха, ничего не говоря, подобрала, расправила, склеила и вновь повесила. Тогда я разорвала обе, в нашем доме не верили в Бога и никаких икон никогда не бывало. Мачеха опять склеила иконки и повесила на прежнее место. Тогда я, придя из школы, сорвала и сожгла их в кухне.

Дня три иконок не было, а потом появились другие на прежнем месте. Я срывала, рвала, жгла, но проходило два дня, и они опять появлялись. Месяца три продолжалась эта борьба, но потом мне надоело, мятые и склеенные, остались иконки на своих местах.

Меня удивляло, что мачеха ни разу не сказала об этом отцу. Звала я ее не Наташей, а только мачехой и особенно любила называть ее так при посторонних. Чтобы досадить, сломала брошки, рассыпала ожерелье, “случайно” заливала кофе скатерть, стала плохо учиться, хотя до этого была отличницей. Пыталась восстановить против нее Зою, но ничего не получилось. Отец замечал, что грублю мачехе, останавливал, но все было напрасно.

Первое время молчание мачехи восприняла как свою победу, мне казалось, что она боится меня; так думалось мне, ребенку, но потом я стала задумываться. Тихо, спокойно, ласково помогала она мне во всем: обшивала, готовила, мыла, приводила мои вещи в порядок; делала всегда хорошие подарки, я от них демонстративно отказывалась, но где-то в тайниках души была рада, тем более что подарки мачеха выбирать умела.

Ненавидела, но постепенно в глубине души начало появляться уважение и чувство благодарности – от девочек в школе знала, какие были у них мачехи. Однако, ненависть росла, творилось со мной что-то нетерпимое. Стала озлобленной, мстительной, в школе вела себя отвратительно; то отец, то мачеха вызывались к классному руководителю, завучу, директору. Однажды отец был в командировке, мачеха уложила нас спать. Часов в 12 ночи проснулась я и увидела в комнате мачехи свет, открыла дверь и вижу: стоит она лицом к своим иконкам, молится и крестится, читает молитвы, по лицу текут слезы; потом полусшепотом произносит:

– Господи, Господи, помоги! Матерь Божия, не остави меня, грешную! Люблю я Любочку, почему она ненавидит меня? Помоги, Господи! Чем виновата, что стала мачехой? Что делать – не знаю, на Тебя уповаю, Царица Небесная, помоги! – и стала опять читать молитвы. Потом я узнала – это был акафист Нечаянной радости. Молится, а слезы текут и текут.

Легла я тихонечко, а на душе смутно и противно, для чего это все надо?

Она никогда не ругала ни меня, ни Зою; всегда было у нее доброе слово, согревающее, ободряющее, а если я очень отравляла ей жизнь, то грустно говорила:

– Ну! Зачем так, Любочка?

Подруги, приходившие ко мне, любили ее, говорили:

– Какая она у тебя хорошая!

Мачеха всегда приветливо встречала и обязательно старалась накормить.

Помню, пришла я в пятницу, отметки плохие получила; бросила портфель на диван, села на стул злая-презлая; в это время вошла мачеха из кухни и спросила:

– Любочка! Что у тебя по контрольной?

Что случилось со мной – не знаю – схватила портфель с дивана и со злостью бросила на обеденный стол. На столе стояли тарелки, чашки, кастрюли с супом – все полетело на пол, загремело, разбилось, а я в истерическом припадке ухватила скатерть и сдернула ее. Мачеха бросилась ко мне, обнимает, целует:

– Любочка, успокойся!

Отбиваюсь, она по-прежнему успокаивает, прижимает к себе. Я со злости укусила ей руку до крови.

В это время раздался звонок, папа с Зоей гуляли и вернулись к обеду. Я сразу успокоилась, истерика мгновенно прошла. Понимаю, что перешла все границы и попадет мне от папы за это побоище, что называется, по первое число.

Открыла мачеха входную дверь и, слышу, в передней говорит отцу:

– Петя! Прямо несчастье, зацепилась за скатерть, и все, что на столе было, на пол уронила, жалко – посуды много разбила.

Папа любил хорошую посуду и на мачеху даже накричал, возмутился, хлопнул дверью и ушел из дома. Молча собрала мачеха осколки, вытерла пол, постелила чистую скатерть, накрыла на стол, а когда отец возвратился, сели обедать. Укушенную руку мачеха перевязала бинтом, он промок от крови, а на вопрос отца:

– Что с рукой?

– Осколком порезала, – и ничего больше не сказала. Поразила меня мачеха до глубины души, и я задумалась – нужно ли так себя вести? Вскоре вызвали папу в школу, пошла мачеха. Поведение плохое, отметки отвратительные, уроки пропускаю. При маме была отличницей, а как мачеха пришла в дом, одной из худших учениц стала. Классная руководительница меня жалела, обвиняя во всем мачеху, – в общем, семья неблагополучная. Идем в школу, я мрачная, злая, а мачеха идет грустная. Шли пустырем, народу никого нет, остановилась мачеха, обняла меня, гладит по голове, поцеловала в щеку и печально сказала:

– Любочка, ну зачем ты себя так ведешь? Зачем? Ты можешь учиться хорошо, себя мучаешь, папу и меня. Сердишься, что я за папу замуж вышла, но я же люблю вас всех!

Не ответила я. Пришли в школу, вы догадываетесь, какой разговор состоялся у директора школы. Шла домой мачеха подавленная. Отец во многом винил Наташу, – мол, не можешь к ребенку подойти. Вернулись домой, я пошла к соседке по этажу, мачеха дома осталась. Через час я вернулась, осторожно открыла входную дверь, села тихо за стол готовить уроки и слышу – в комнате мачехи кто-то плачет. Пошла, открыла дверь, вижу: сидит на кровати мачеха, уткнула голову в колени и плачет навзрыд, только слышится: “Господи, помоги! Господи, помоги!”

Подошла к ней, – не замечает, плачет; вдруг подняла голову, и я увидела такое несчастное, заплаканное лицо, что всей своей детской душой поняла всю подлость, несправедливость своих поступков, бросилась к мачехе, обняла и говорю:

– Тетя Наташа! Простите меня, хорошо буду учиться, не расстраивайтесь! Я назло вам все делала!

Обняла меня тетя Наташа, плачем обе, и поцеловала я ее первый раз, с этого дня все переменялось. Учиться стала хорошо, помогала по дому, настроение в доме полностью изменилось, стало радостным. Первое время, как уже говорила, звала только мачехой, потом тетей Наташей, а теперь просто мамой. Почти год продолжалась моя борьба с мачехой, но добротой своей она победила, перевернула во мне душу, и я ее полюбила, потому что не полюбить было нельзя.

Мама Наташа научила меня любить людей, научила быть доброй, дала на всю жизненную дорогу Доброе слово, обращенное к человеку. Но, самое главное, Зою и меня крестила, научила вере, молитвам, службе, привела к Церкви: это наполнило мою жизнь, которая без Бога теперь немислима. Первое время мы ходили в церковь в Брюсовском переулке, а теперь ходим в церковь Ильи Обыденного на Метростроевской, стараюсь иногда бывать (если удастся) на чтении акафиста Нечаянной радости.

Расскажу об отце. Был он – душевный, скромный, но до удивления увлекающийся. Говорю “был”, потому что более года тому назад умер от рака легких. Работал преподавателем МЭИ, был талантлив, аккуратен, усидчив. Очень любил жизнь, самозабвенно увлекался моделестроением старинных каравелл, парусных фрегатов, ботов; так продолжалось четыре года, потом бросил; возникла фотография: объективы, пленка, фотобумага, отличные портреты, пейзажи, участие в выставках, призы, и это бросалось, и начиналось что-нибудь новое.

Если отец ничем не увлекался, у него опускались руки, он становился сумрачным, молча сидел дома; но перерывы между увлечениями продолжались не более недели, потом возникало что-то новое, и он уходил полностью в возникшее увлечение, ничего не видя и не замечая. За месяц перед смертью говорил мне:

– Интересную прожил жизнь, но разбросал себя по разностям, растерял по частям, а собрать воедино не мог. Но, знаешь, не жалею об этом. Рад и счастлив, что Наташа привела вас и меня к Богу. Рад и счастлив.

Курил папа сильно – по 3–4 пачки в день; вина в доме никогда не было, но один–два раза в год, не знаю по какому поводу, приходил пьяный; тогда добрый и хороший папа превращался в отвратительного человека, хама и, да простит мне Бог, в свиноподобное существо, и даже теперь воспоминания о нем как о пьяном противны и заслоняют доброго и родного человека, которого видела каждый день и любила.

Первый раз я запомнила его пьяным, когда мне было 4 года, а потом все повторялось неоднократно. Мама очень пугалась, когда он приходил пьяный, забивалась в угол дивана и

расширенными от страха глазами, с ужасом смотрела на него; а он расхаживал по комнате, мерзко ругался, бил дорогие вещи, остервенело кричал и сильно бил маму, особенно по щекам. Иногда мама бросалась перед ним на колени, умоляла его утихомириться, но ответом были ругань и пощечины, я бросалась защищать маму, но и мне доставалось.

Боже мой! Как мы боялись его пьяных приходов! Утром был молчалив. Уходил на работу, не убрав разбитого и поломанного, а вечером приходил абсолютно трезвый, радостный и веселый, и наша спокойная жизнь продолжалась до следующего однодневного загула. Постоянный страх витал над нами – когда это случится?

Когда пришла мачеха, я с нетерпением ждала прихода отца в пьяном виде, думая: покажет этой слюнтяйке и добренькой размазне свою любовь и побьет ее. Так хотелось ей досадить! Примерно за месяц до моего примирения с тетей Наташей папа пришел с двумя приятелями сильно пьяный. Обычно, когда отец приходил пьяный, первым возвещал об этом дверной звонок. Звон был непрерывным, казалось, тревожным и злым.

Мама Наташа была на кухне, а звонок злобно и неотрывно звенел. “Начинается”, – подумала я. Было противно и страшно, но в то же время хотелось увидеть унижение и слезы мачехи. Вот до чего довела злоба и ненависть! Слышу, мачеха говорит в передней:

Петр, зачем так звонишь – разбудишь Зою.

Послышалась непристойная брань; отгаливая мачеху, отец тащил в комнату двух приятелей, не переставая ругаться. Сдернул скатерть со стола, достал из карманов бутылки и закричал:

– Быстро закуску! – ругань в адрес мачехи залила комнату.

Я сидела за своим столиком и смотрела на мачеху – что теперь будет? Когда отец начнет ее бить?

Несколько мгновений мама Наташа растерянно смотрела на отца и его пьяных приятелей; резко повернулась, открыла входную дверь и, схватив одного из пришедших за воротник, поволокла на площадку. Что там было – не знаю. Вернулась за вторым и с силой, которую трудно предположить в ней, потащила, вытолкнула за дверь, с лестницы слышалась ругань.

Я смотрела на маму Наташу, тогда еще мачеху, и видела: всегда доброе и приветливое лицо стало возмущенным и гневным, окаменевшим, решительным – это не была затравленная моя мама.

Остервеневший отец бросился к мачехе и ударил по лицу. Мелкая дрожь билась меня, жалость захватила душу, хотела кинуться и защитить.

Мама Наташа не испугалась ударов, не отскочила, не произнесла ни одного слова, схватила подвернувшуюся настольную лампу и стала бить ею отца.

– Ты что, ты что? – закричал он, стараясь вырвать лампу, но видя, что это невозможно, стал закрывать голову руками, сразу стих, присмирел, а мама Наташа, бросив лампу, схватила линейку и продолжала наносить удары, при этом лицо ее выражало безразличие и отвращение, словно она выполняла противную, но необходимую работу.

Отец сразу протрезвел и только повторял:

– Успокойся, Наташа, успокойся, – а она молча продолжала ударять линейкой по рукам, плечам, голове. Бросив линейку, сказала:

– Все убрать! Если еще раз повторится, явишься пьяный, будешь сквернословить при детях и драться – выгоню. Понял? Повтори!

Отец послушно убрал все, пытался просить прощения, но мама Наташа две недели не говорила с ним. Нас детей, увела в другую комнату, обняла обоих и долго молилась вслух.

И вот здесь-то я и поняла, что мама Наташа – человек с сильным характером, и ее доброта, приветливость, помощь людям, забота о нас, чужих ей детям, строятся на основе глубокой ее веры в Бога. Конечно, я полностью осмыслила это, став достаточно взрослой.

Прожила она с отцом одиннадцать лет, пока папа не умер. Никогда больше отец не приходил пьяным, он видимо, понял, что мама Наташа не безответная наша мама, и с ней его отвратительные поступки недопустимы. Через два года родился у мамы Наташи сын, назвали Сережей, но отношение к нам с Зоей не изменилось; скажу только, что между нами возникла огромная духовная дружба, и, думаю, что больше Зои и Сережи любит она меня.

Мы всей семьей ходим в церковь, исповедуемся и причащаемся 3–4 раза в год; когда ходили к Илье Обыденному, то нашим священником был о. Александр Толгский.

Удивительный человек мама Наташа! Господь дал ей необыкновенную духовную мудрость, молитвенность. Когда мы приходим в церковь, то она словно отрешается от окружающего и вся уходит в молитву, этому же учит и нас. Приготовление к исповеди, сама исповедь и причастие – это глубокое очищение от всего греховного. Мама словно перерождается и становится новой, с очищенной и просветленной душой. Удивительный она человек!

Слишком много рассказала о жизни нашей семьи, но лишь для того, чтобы вы поняли, как она, имея глубокую веру в Бога, смогла изменить меня, обозленного, ненавидевшего ее ребенка, добротой, лаской, смирением, перевернуть мой характер и заставить меня осознать неправоту своего отношения к ней.

Вы сказали, что я с больными какая-то особенная. Никакого у меня к ним особого подхода нет, отношение мое к людям от мамы Наташи и от того, что привела меня к Богу.

Помните, в начале разговора сказала я о добром слове, какой в нем лежит смысл: оно – слово – окрыляет человека, вселяет в него надежду, веру в свои силы и возможности. Доброе слово идет от Бога, в нем, в этом слове, лежит любовь. Мама Наташа всегда напутствовала меня своим добрым словом, при этом благословляя, и я шла по дороге, на экзамен, к знакомым, а доброе слово шло со мной, оно согревало, не оставляло одинокой.

Мама Наташа всегда говорила: “Словом можно заставить жить и можно убить человека, выбить почву из-под ног, отнять уверенность, погасить надежду на жизнь, убедить, что умрешь от пустяковой болезни. Рану, боль, неприятности, можно залечить, а от злого слова в душе навсегда остается глубокий след”. Не было в нашей семье у мамы Наташи злого слова, было только доброе; было требовательное и строгое, но в основе его лежало добро. Вот почему я так говорю с больными – этому научила мама Наташа.

Помолчав некоторое время, Любочка сказала: “Почему так откровенно говорю с вами? Вы ведь тоже верующая, видела вас, и не раз, в церкви, в Загорске. Приходите к нам, когда поправитесь”.

Конечно, я пришла, познакомилась с Натальей Павловной и вспомнила, что не раз видела ее в церкви, но не знала, кто она. Знакомство наше перешло в дружбу.

Рассказ Любочки, знакомство с Натальей Павловной и всей семьей оставили в моей душе радостные и светлые впечатления; в один из свободных дней рассказала о. Арсению (он лежал, укрытый пледом, а я рассказывала).

Отец Арсений внимательно слушал и сказал:

– Какое удивительное понимание доброго слова в жизни человека, настоящее, глубоко христианское! В добром слове живет любовь к ближнему, многим детям моим духовным не хватает этого понимания, а Наталья Павловна нашла, с помощью Господа и Матери Божией. Да хранит всех милость Господа!

Потом задумался и сказал:

– Соберемся вечером за столом – расскажите об этой семье все, что говорили, и обязательно запишите. Пусть это войдет в те записки “Путь к вере”, что я поручил собрать.

Мне хотелось просить у о. Арсения позволения привести Любочку и Наталью Павловну, но он, предваряя мой вопрос, сказал:

– Вы хотите приехать ко мне с Натальей Павловной и Любочкой, чтобы я принял их в число моих духовных детей? Господь охраняет их, моя помощь им не нужна. Молитвы, Слово Божие услышат в храме, в службах церковных найдут все, что необходимо верующему, в исповеди и в принятии Святых и Животворящих Тайн будут всегда иметь милость и руководство Господа нашего Иисуса Христа; большему, чем они знают и умеют, мне их не научить. Наставлять и поучать эту семью не надо, Господь всегда с ними.

Вечером, когда приехавшие собрались пить чай, я рассказала о Любочке и Наталии Павловне и о добром слове.

Обращаясь ко всем, о. Арсений сказал:

– То, что сейчас мы слышали, радостно. Много людей стремится к Богу, находит Его, но с огромным трудом пробивается сквозь тьму неверия, сопротивления окружающих. Наше поколение имело храмы, священнослужителей, проповедь, церковную службу, великие таинства, духовные книги и оттолкнуло все это великое, необходимое для души человеческой и вечного спасения, и стало на путь неверия, безбожия и не оказало необходимого сопротивления натиску темных сил, а Наталия Павловна, придя в неверующую семью, встретившись с озлобленным ребенком, Любочкой, силой любви, верой в Бога, победила зло, привела к глубокой вере мужа, Любочку, Зою и сына Сергея, и не только привела к Богу, но научила каждого из них любви к людям. Разве это не пример и не укор нам, верящим в Господа Бога, у которых разлад в семьях и дети не имеют веры и любви к ближним своим? Рассказанное о пути, пройденном Натальей Павловной, Любочкой и всей семьей, об этой великой милости Господа, показывает, что много званных, но мало избранных, в нашей вере в Бога, в любви к человеку – путь к спасению, путь быть избранными.

1974, 1987 гг.

Е. А. Скобликова.

Из архива В. В. Быкова.

ВЫСОТА

Мы сидели с Сергеем Петровичем и долго говорили о духовных детях о. Арсения, о Церкви, о семьях и о том, какими дорогами приходит человек к Церкви, к познанию Бога; и у меня возник вопрос: что привело его самого к Церкви?

Сергей Петрович помедлил с ответом, видимо, обдумывая его, и сказал: “Это длительный и мучительный рассказ, охватывающий детство, отношения, сложившиеся в семье между отцом и матерью, двойственность моего сознания под влиянием воспитания, вернее сказать – двуличность. Решающую роль сыграли годы, проведенные на войне, и люди, встреченные в жизни. Одно от другого неотделимо. Если у Вас хватит внимания и терпения, расскажу. Коротко не обещаю”.

Прежде всего, в общих чертах, обрисую Сергея Петровича: это был человек, много испытавший на своем веку; лицо доброе, задумчивое, с еле заметными шрамами; голову покрывали темные волосы без малейшей седины, глаза смотрели на собеседника доброжелательно, но во всем его облике проглядывал сильный характер, и я невольно чувствовала к нему расположение и заинтересовалась этим человеком. Незаметно простое знакомство перешло в дружеские отношения, мы с удовольствием бывали в его семье и, с не меньшим удовольствием, радостно ждали у себя. Особенно привлекала дружеская атмосфера, царившая в этой семье, и то, что при наших встречах разговоры никогда не были пустыми, бездумными, а всегда чем-то обогащали нас – меня, мужа, детей.

С разрешения Сергея Петровича весь его рассказ я записала, кое-что несущественное было им вычеркнуто.

* * *

Отец мой, – начал Сергей Петрович, – всю жизнь работал бухгалтером в Государственном Банке, был образованным, начитанным и интеллектуальным. Мама – учительница музыки в музыкальной школе; сестра, старше меня на три года, еще в 1937 году вышла замуж. Жили мы одной семьей, дружно. Мама и папа имели легкий, располагающий характер и, благодаря этому, объединяли всех нас.

Катин муж (Катя – моя сестра) благоговел перед папой и буквально на руках носил нашу маму. Жили, конечно, в коммунальной квартире в большой комнате, разгороженной шкалами (тогда все так жили, отдельных квартир не было). Папа казался молчаливым, серьезным и замкнутым человеком, был глубоко верующим, а мама, мягкая, добрая и жизнерадостная, относилась к убеждениям папы с внешним уважением и вниманием, но в глубине души к вере была почти равнодушна, старалась не возражать; дабы не обидеть отца, делала вид, что верит, и мы, дети, давно заметили это. Отсюда и пошла двойственность в моем сознании и двуличие по отношению к отцу.

Молчаливость отца, замкнутость и суровость, являлись внешней оболочкой, а на самом деле папа был добрый, душевный и отзывчивый, делавший людям массу добра и откликавшийся на любую просьбу, спешивший к людям, если они находились в беде; но когда ему напоминали о сделанном, сердился и сейчас же переводил разговор на что-нибудь другое.

Кажущаяся суровость и замкнутость шли от стеснительности. Если собиралось много гостей или папа нервничал, он начинал чуть-чуть заикаться, и это сразу заставляло его замолкать, слушать других и стараться отвечать на вопросы короткими “да”, “нет”. Дома, в семье, при близких людях, говорил хорошо, и никто не сказал бы, что папа может заикаться.

Все свободное время, когда мы были маленькими, папа отдавал нам, играл с нами, рассказывал интересные бесконечные сказки и истории, у которых конец обязательно переходил на следующий день. Летом ездили в лес за грибами, ходили в старинные парки и усадьбы – Архангельское, Кусково, Абрамцево, полуразрушенный (в то время) Загорск, папа давал пояснения, с нашим взрослением папины беседы с Катей и мной менялись: незаметно и вдумчиво говорилось об истории Церкви, святых отцах, строе и содержании богослужений.

Особенно много уделялось в этих беседах молитве: “Молитва, – говорил папа, – соединяет человека с Богом, она является дыханием души человека, без Церкви и молитвы не может быть веры”.

Помню, поучения о любви к людям – это была излюбленная его тема, он сам поступал так, как говорил, этим жил и старался вложить нам, детям, в душу. “Без любви к людям не может быть истинной веры”, – повторял папа и приводил слова из Евангелий и Посланий.

“Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов” (Гал. 6, 2). “Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви: ибо любящий другого исполнил закон” (Рим. 13,

8). “Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих, заповедей нет” (Мк. 12, 31 и Лев. 19, 18).

Примерно с 13 лет мы читали ежедневно по одной главе Евангелия, начиная круг чтения с 14 сентября. Методично и аккуратно делалось все это мной, но прочитанное, так же как и богослужение, проходило мимо, не оставаясь не только в сердце, но и в памяти.

Так, к сожалению, было. Кружки моделирования, футбол, приключенческие книги, пионерская работа увлекали куда больше, чем папины рассказы и желание верить в Бога.

Сестра Катя выросла человеком глубокой веры, и Василий, ее муж, хотя и был летчиком, под ее влиянием тоже стал верующим, но это тщательно скрывалось от знакомых. Почему говорю: “Хотя и был летчик”? В довоенные годы слово “летчик” звучало очень гордо и звонко. Люди этой профессии считались самыми передовыми и верующими не могли быть.

Конечно, музыка была центром маминной жизни, но папу мама по-своему любила и даже иногда пыталась приносить музыку в жертву и идти с папой в церковь, но случалось это редко.

Отношение мамы к Церкви было папиной болью; внешне она со всем соглашалась, но, видимо, ничего не могла поделать с собой, внутренний мир ее был иным. Музыка без остатка заполняла ее душу. Музыка была ее счастьем, всем жизненным мироутверждением, основой основ жизни; и нас, детей, она старалась погрузить в мир звуков фортепьянных пьес, арий, опер, хоралов, симфоний. Лучшими днями ее жизни были дни посещения консерватории, Большого Театра, концертов в Доме Союзов. Если мама шла с отцом в церковь, то, возвращаясь домой, могла сказать: “Сегодня хор пел слаженно” или “Сопрано сильно фальшивило, когда пели “Херувимскую”. Папа сердился, но молчал, вероятно, думая: “Разве для этого ходят в церковь?” Уважая убеждения отца, мама старалась и нас воспитывать в духе веры, но мы, дети, чувствовали ее отношение, понимали многое, и нам было жаль и папу, и маму.

Суббота – папа собирается к вечерне, ждет маму. Входя в квартиру, еще в дверях, мама радостно и возбужденно говорит:

– Петя! Огромная удача, у меня билет в Большой Театр на “Евгения Онегина”. Поет Козловский.

– Мы договорились пойти сегодня в церковь.

– Петенька! Ты пойми, это же Чайковский! И кто поет! Такую удачу пропустить просто преступление (эту оперу с участием Козловского мама, вероятно, уже слушала раз пять).

Расстроенный, папа шел один или с Катей, если она была дома; я в этот день старался быть занятым чем-нибудь в школе, то в кружке, то в какой-нибудь постановке.

История знакомства папы и мамы была полна драматизма. Встретились они в годы гражданской войны, разрухи и голода. Только вернувшись с войны в 1947 году, узнал я от мамы, что, будучи в 1919 году на фронте красным командиром, папа спас маму и ее мать – нашу бабушку, где-то под Ростовом, от насилия и расстрела, выходил маму – она была ранена штыковым ударом в грудь, и там же на ней женился; в детстве мы ничего не знали об этом, слышали, что папа спас маму. Оглядываясь в прошлое, думаю, что большой любви у мамы к папе не было, а просто было чувство благодарности, перешедшее потом в долготелную привязанность.

Двойственное отношение родителей к религии вызвало у меня двоедушие, двуличность. Чтобы не огорчать отца, иногда ходила в церковь. Ходили в церкви, отстоящие далеко от дома: тогда к хождению в храм да и к самим верующим относились с недоверием. Если бы на работе папы или мамы узнали, могли возникнуть большие неприятности, особенно у мамы, преподававшей в музыкальной школе.

Скажу, что ни папу, ни маму, а также родных годы “культы личности” совершенно не коснулись.

Папа, человек чуткий и душевно тонкий, видел, что происходило со мной, понимал мой отход от Бога, церкви, веры, но молчал, видя невозможность повлиять на меня, хотя внешне, до самого ухода на фронт, я выполнял все, чего требовал от нас и чему учил отец. Самыми близкими ему людьми были Катя и Василий.

После моего возвращения с войны папа прожил более одиннадцати лет, и все эти годы для него были огромной радостью – сын Сергей пришел к церкви, стал верующим. За эти 11 лет много воспринял от отца, многому научился. Никогда не думал, что в нем, словно в огромной сокровищнице, скопилась духовная мудрость, истинное понимание Православия, знания человеческого духа, людей.

– На Ваш вопрос о семье я ответил, – сказал Сергей Петрович.

Перейду к годам Отечественной войны. Война началась 22 июня, а 23 июня 1941 года меня вызвали в Киевский военкомат Москвы. Призывная комиссия работала в школе, которую только что окончил; осмотрели, признали годным и, не отпуская домой, взяли в армию.

Восемь месяцев пробыл в учебном лагере под Свердловском, где нас обучали солдатской науке; потом отправили в резервную часть, там пробыл два месяца. Где-то в середине 1942 года направили на Северный Кавказ, где пришлось столкнуться с такими событиями, что они врезались в память на всю жизнь. Возможно, стоит когда-нибудь рассказать, но это будет особый разговор.

Бои на Северном Кавказе были затяжные; то мы откатывались назад, неся огромные потери, теряя тылы, оставляя на поле боя сотни убитых и раненых; то успешно били немцев, нанося им ощутимые потери. Бои были трудными, кругом гибли друзья и товарищи, но я, как ни странно, ни разу не был ранен. Часть несколько раз переформировывали, пополняли необстрелянными солдатами. Я считался уже старым солдатом, имел звание сержанта и, из-за нехватки офицерского состава, командовал взводом.

Учебный лагерь был намного тяжелее фронта: бесконечная шагистика, непрерывные ночные тревоги, многокилометровые марши с полной выкладкой, голод, холод, сырые землянки, младший лейтенант, озверевший от страха перед возможной отправкой на фронт. Он не видел в нас людей, вымещал свою злобу и страх, старался выслужиться перед начальством и показать, что “из человеческого необученного дерьма” сделал солдат. Выражение “дерьмо необученное” сотни раз повторялось в день, с прибавлением еще многих отвратительных слов, унижавших и оскорблявших людей. За время нахождения в учебном лагере солдаты не видели ни одной светлой минуты.

До Бога ли было? В воздухе постоянно висела изощренная до виртуозности многоэтажная брань, одолевала усталость от бессмысленной муштры, до боли в желудке хотелось есть, “нажраться до отвала” было постоянной мечтой каждого солдата; и выспаться, выспаться хотя бы один раз. Зачем создавались такие условия – до сих пор не пойму.

В резервном полку все было разумно, ясно, для чего делается. Были тревоги и ночные марши; кормили так же, как и в лагере, но офицеры были людьми. Мы видели в них старших товарищей, несших те же тяготы, что и мы. Можно было подойти, доложить по форме, обратиться с просьбой, получить совет. Грубости, брани и, тем более, матерщины не было.

Трудно сейчас представить, что, воспитанный отцом в духе Церкви, я за эти годы ни разу не вспомнил о Боге, духовно опустился, был такой же ругатель, как и все, и при этом смеялся, когда другие издевались и высмеивали нашу Церковь и Бога.

Воевал не хуже и не лучше других, получил за это время три серебряные медали – две “За храбрость”, одну “За боевые заслуги”. По тогдашним военным меркам награды были “плевые”. Приходилось также, как и другим солдатам, бывать в атаках, рукопашных схватках, тащить языка через нейтральную зону, ползти к танку с зажигательной смесью в бутылке, спасать товарищей из-под пуль – и все это, конечно, не один раз. Много раз смерть стояла рядом, и, казалось, вот-вот она схватит, но, видимо, Бог миловал, и она, только прикоснувшись, проходила мимо.

Страшно было, очень бывало страшно, и думаю, что многие люди, говорившие: “Я ничего не боялся и не ведал страха”, были неискренни, говорили неправду. Солдаты, с которыми воевал, всегда говорили, что часто бывало страшно, но умели подавлять страх.

Даже тогда, когда смерть казалась неизбежной, мысль о Боге не приходила ко мне.

Но пришло время, и пришел час воли Божией, час большого испытания, после чего стал верующим, настоящим верующим. Вспомнил все, чему учил отец, вспомнил Бога, молитвы к Нему, веру, Церковь и пронес до конца войны в своей душе.

Вот рассказом об этом и ответу на Ваш вопрос, почему стал верующим, как нашел Бога. Но говорить буду долго и со многими подробностями, только тогда поймете меня. Поймете тот душевный перелом, который совершился со мной.

То, что произошло, вряд ли было более опасным и страшным, чем то, что случалось ранее на военных дорогах за долгие месяцы войны, но здесь впервые осознал – Бог есть, впервые ощутил реальность Его бытия и понял – жить без веры, молитвы, любви к людям, Богу – нельзя!

В начале 1943 года нашу часть перебросили под Сталинград. Стояли сильные морозы, метели заваливали дороги снегом; непрерывно велись тяжелые бои, потери – огромные, тысячи наших солдат остались лежать на промерзшей земле или в сугробах, заметенные снегом. Немцы тоже несли тяжелые потери, бросая технику и тысячи трупов. К удивлению однополчан и своему, я ни разу не был ранен или обморожен, дважды довольно сильно контузило, один раз взрывом снаряда, второй – миной, разорвавшейся почти рядом.

Примерно в середине 1943 года перебросили на Курское направление, расположились у деревни Святой Ключ. Деревни, конечно, не было – стояли остатки обгоревших печных труб; в

землянках, вырытых в склоне оврага, ютились крестьяне, не успевшие эвакуироваться или не желающие покидать родные места.

Небольшая речка отделяла нас от немцев. Наш берег – пологий, топкий, еле-еле покрытый мелким кустарником. Немецкий берег высокий, заросший густым высоким кустарником, и, примерно метров через 800, на небольшой возвышенности, рос небольшой лесок. Смотришь в погожий день на берег, занятый немцами, и видишь мирную, спокойную картину; только временами немцы начинали обстреливать наши позиции из тяжелых орудий, расположенных где-то за высотой. Обстрел продолжался минут 5–6 и прекращался до следующего дня.

Мы знали – у немцев прочнейшая оборонительная линия, в полный профиль несколько рядов окопов с многочисленными ходами сообщений, блиндажи в несколько накатов, ДОТы из прочнейшего бетона, покрытые стальными колпаками, скрытые пулеметные гнезда и опять, опять окопы.

Наши войска также зарылись в землю. Работы велись ночью, отрывали несколько линий окопов в полный профиль, строили блиндажи в пять накатов бревен, строили ДОТы, кое-где зарывали в землю танки, а где-то рядом располагалась артиллерия, минометы, танки, самоходки и опять пехота в своих окопах. Думаю, что за всю свою оставшуюся жизнь и тысячной доли того, что было сделано лопатой, не смогу сделать. Но пройдя войну, понял: земля – спасение для человека, и тянет она солдата к себе, без нее он незащищен. Планов нашего командования никто не знал, но солдаты понимали: наступление будет, и, смотря на высокий немецкий берег и высоту, господствующую над окружающей местностью, сознавали, что лягут здесь сотни, а может быть, и тысячи людей.

Более двух месяцев простояли в обороне у Святого Ключа, хорошо укрепились; командование, видимо, разведало немецкую оборону. Ждали приказа “Вперед, на Запад!” То с нашей стороны, то с немецкой систематически возникал недолгий артиллерийский обстрел; и мы, и немцы пытались разведать оборону, очаги сопротивления, расположение артиллерии, минометов.

Настал день наступления, началась знаменитая битва на Курской дуге, и на нашем маленьком участке, у деревни Святой Ключ, тоже началось наступление. Где-то на фронтовой карте наш участок протянулся коротенькой линией в 1–2 миллиметра, почти незаметный для глаза. Были сотни таких участков, сливающихся в длинную изломанную линию, называемую фронтом; но для нас, солдат и офицеров, маленький отрезок линии у деревни Святой Ключ был огромным смертным сражением и ничего другого не существовало.

Именно здесь должны были мы продвинуться или умереть, обеспечив своей смертью победу тем, кто придет нам на смену.

Обстрел начала наша артиллерия, огневой шквал был мощным и долгим, земля стонала, качалась от взрывов, осыпались стенки наших окопов, огненные трассы прочерчивали реактивные снаряды “катюш”; выли минометы, волнами шли бомбардировщики, двинулись танки; прижимаясь к земле, с оглушительным шумом проносились штурмовики и, наконец, пошла пехота, пошли в атаку мы. Минут через 15–20 немцы пришли в себя после долгого огневого налета на передний край их обороны и открыли ответный огонь. Наша пехота закрепилась на захваченном высоком берегу и ожесточенно сопротивлялась немецким ответным атакам.

На третий день немцы сбросили наши войска с высокого берега и, после нескольких ожесточенных атак, выбили нас из деревни. Четыре раза переходила деревня из рук в руки, но в конце концов мы выбросили немцев, прочно укрепились в деревне и пошли в наступление на высоту. Вторично форсировали реку, с огромными потерями заняли большой участок высокого берега и под его прикрытием стали постепенно скапливаться для последующего броска и взятия высоты.

Укрепившись на высоте, укрывшись в ДОТах, окопах, блиндажах, хорошо замаскировавшись, немцы простреливали все подходы к высоте, а сам склон высоты надежно укрепили несколькими линиями окопов, связанными ходами сообщения. Работа нашей артиллерии и самолетов, видимо, мало нанесла повреждений немецкой обороне, разрушенное восстанавливали ночью.

Утром, в предрассветной тишине, началась атака, пошли танки, мы, пехотинцы, бежали за ними во весь рост. Танки подрывались, горели, подожженные снарядами, сотни немецких мин засыпали склон высоты, и в конце концов пулеметный и автоматный огонь положил наступающих солдат на землю.

Подняться и бежать вперед нечего было и думать; если кто-либо приподнимался или поднимал голову от земли – неминуемо погибал. Несколько офицеров вставали и пробовали поднять пехоту в атаку, но тут же падали убитыми или ранеными. Поддержанная артиллерией или танками, пошла вторая волна атакующих, но снова захлебнулась. Особенно мешал ДОТ, расположенный на правой стороне высоты; хорошо замаскированный, он не был виден. Пошла третья волна атакующих, оставшиеся в живых от первых двух атак солдаты тоже поднялись и от криков “Ура!” бросились

вперед. Но заградительный огонь немцев был настолько плотен, что мы опять залегли, вжавшись в землю. Еще несколько раз атаковали высоту, но успеха не добились, только подходы к ней покрыли тела убитых и раненых.

Части, расположенные у подножия высоты, топтались на месте; от командования пришел категорический приказ: во что бы то ни стало, любой ценой, взять высоту. Немцы, укрепившиеся на высоте, сдерживали продвижение не только частей нашего, но и соседних участков фронта.

Начался решительный штурм, подготовка велась ночью. От нашей части остались считанные единицы солдат и офицеров; подтянули резервы, скопились под высоким берегом и на рассвете, поддержанные всеми видами вооружений, пошли вперед. Как всегда, после мощной артиллерийской подготовки и бомбового удара, немцы на несколько минут затихли. Пользуясь этим, мы бросились вверх, взбегая по склону; впереди шли танки, стреляя сходу по окопам и ДОТам. Минут пять немцы почти не стреляли, приводя в порядок окопы, блиндажи, поврежденные ДОТы. Но только пехота начала подниматься по склону, все, что осталось у немецкой обороны неповрежденным, ожило, и буквально шквал огня обрушился на нас.

Некоторое время мы еще бежали вверх, на высоту, но большинство наших солдат было скошено, оставшиеся в живых вжались в землю. Я бежал впереди. Взрыв снаряда бросил меня на землю; очнувшись, невольно обернулся назад – пехота лежала; кто был жив, ранен или убит – понять, конечно, было нельзя. Складки местности, воронки от разорвавшихся бомб и снарядов спасали от пулеметных очередей и автоматов, но не защищали от осколков рвавшихся снарядов и мин.

Лежа в неглубокой воронке, образовавшейся после падения бомбы, вдруг почувствовал: кто-то вполз и лег рядом со мной. Повернул голову и увидел нашу санитарку Веру. Прижавшись ко мне, конвульсивно вздрагивая, пыталась что-то сказать, но гул не давал возможности расслышать.

– Ты чего сюда забралась?

Она не поняла или не услышала.

– Ты зачем здесь? – крикнул ей в ухо.

Обняв меня за голову, приблизив лицо к моему, ответила:

– За ранеными.

“За ранеными? – подумал я. – Здесь только убитые”. Да и чем она могла помочь раненому под убийственным огнем немцев?

В нашей части Вера появилась недели за две до наступления; худенькая, невысокого роста, чернобровая, миловидная, с на редкость приветливым и добрым лицом, она мгновенно завоевала симпатии солдат и офицеров. Женщин в полку было немного: врачи, медсестры, санитарки, связистки, писаря – они пользовались благосклонностью офицеров, называли их за глаза “походными женами”, поэтому солдаты относились к ним с издевкой, кое-кто и брезгливо, тем более что солдатам подступиться к ним было нельзя.

Вера оказалась веселой, общительной, неплохо пела, отлично танцевала русскую, ухарский матросский танец, была остра на язык и за словом в карман не лезла. Дня через три пошла среди солдат про нее плохая слава. Слышал разговор о ней, поддакнул и даже обсуждал появление Веры в части. Два или три раза пришлось обращаться в медсанбат, там и увидел ее первый раз. Сейчас уже не помню почему, но пришлось говорить с ней и назвать свою фамилию и имя – вот и все мое знакомство.

А имя ее уже трепалось в похабных разговорах, выдуманных историях; называли то одного, то другого офицера, сожительствующего с ней, и всегда имя ее произносилось с приклеенной характеристикой.

Лежим в воронке, и я рад, что не один. Вера прижалась ко мне, за мою шею держится рукой, дрожит, а пулеметные очереди то спереди, то сзади, бьют по нам, но не попадают.

Сняла Вера руку с моей шеи и вдруг быстро-быстро несколько раз перекрестилась мелкими крестными знаменами и что-то шепчет. Дрожать перестала и успокоилась.

– Слушай, Сергей! Я поползу к ДОТу! Уничтожить, подавить его надо, смотри, сколько наших положили. Бог мне поможет!

Всю войну ни разу, даже мысленно, не крестился – вырос в верующей семье, многому был научен, а о Боге никогда не вспомнил, а здесь девчонка-санитарка с отвратительной кличкой вдруг о Боге говорит, крестится, на Бога надеется и хочет к ДОТу ползти. Посмотрел на нее внимательно и вижу – в другой руке держит связку гранат. Прижал Веру рукой к земле, взял свои и ее гранаты, неожиданно для самого себя перекрестился несколько раз и вдруг вспомнил все до мельчайших подробностей, чему учил отец, и громко сказал:

– Господи, помоги и спаси, не остави нас, грешных, – и опять перекрестился.

Вера внимательно посмотрела на меня, перекрестила, крепко обняла за голову, поцеловала и сказала:

– С тобой поползу, наших много побило.

– Лежи и не вылезай из воронки!

Она погладила меня по лицу, перекрестила. Не слышу, а только почувствовал, сказала: “С Богом, Сергей!”

Все это происходило на поле боя, словно не было ожесточенного артиллерийского огня, воя мин, взрывов, пулеметных очередей.

Близость Веры, крестное знамение ее и мое, словно соединили, вдохнули силы, бодрость, бесстрашие. Голова четко работала, понимая происходящее. Осторожно выполз из воронки и пополз к ДОТу. Мешал автомат, мешали связки гранат, но я полз, работая руками, ногами, извиваясь, словно уж, и достиг новой воронки. Осмотрелся, сколько позволяла обстановка, наметил направление и пополз.

Стрельба затихла, немцы молчали, атака, казалось, заглохла. Немецкий пулеметчик заметил меня, дал несколько очередей и загнал в новую воронку. Время тянулось медленно, возможно, прошло полчаса а может быть час; вылезти из воронки не мог, чуть двигался, немец давал очередь, пули ложились почти у самой головы.

Бой затих, молчали наши, изредка постреливали немцы. Воспользовавшись затишьем, метнулся из воронки в сторону и быстро пополз вперед. Немецкий пулеметчик не успел поймать меня в прицел, а я, меняя все время направление, сворачивая влево или вправо, прополз метров 30 и укрылся в складке местности, а, может быть, в полузасыпанном окопе. Пулемет неистовствовал, стараясь поразить меня, но, слава Богу, я был цел. Мокрый от пота, в разорванных брюках, в гимнастерке, от которой остались клочья, двинулся дальше. Автомат, связки гранат, сползающая на глаза каска мешали движению, цеплялись за землю; от гари и пороховых запахов не хватало воздуха. Сбросил каску и ждал, когда наступит мгновение броситься вперед.

Опять начался наш артиллерийский обстрел. Пользуясь тем, что немцы временно затихли, попытался проползти еще несколько метров, но упавший недалеко тяжелый снаряд разлетелся тысячько осколков, а взрывной волной меня выбросило из укрытия. Пролетев несколько метров, ударился о землю, сильно повредив голову о камень.

Долго пролежал без движения, пришел в сознание, мучительно болело тело, и на какое-то время я полностью оглох. Придя в себя, поднял голову, осмотрелся и отчетливо увидел расположение немецких укреплений и ДОТ, к которому полз. Но этот осмотр едва не стоил мне жизни – пулеметная очередь прошла рядом с головой и, промедли я на десятую долю секунды и не упали сразу на землю, наверняка был бы убит. Умно и расчетливо была сделана немецкая оборона – без подавления скрытых ДОТов взять высоту без огромных потерь было невозможно. После неоднократных артиллерийских и бомбовых обработок было разбито много огневых точек, но ряд ключевых ДОТов, в том числе и “мой”, не давали нашей пехоте продвигаться вперед. Попытался ползти, но немецкий пулеметчик, сидевший в ДОТе, словно приклеился ко мне. Пули ложились со всех сторон, окружая плотным кольцом на поражение.

Происходило необычайное: двигался я – передвигалась ровно на столько же и струя пулеметного огня. Стараясь поразить меня, пулеметчик следил за моим перемещением, но пули ложились то впереди меня, то сзади; казалось, что пулемет просто играет со мной.

Превозмочь естественный страх, возникавший, когда очередь ложилась недалеко от головы, временами не мог, но упорно полз и полз вперед, все время меняя направление. Конечно, хотел остаться живым, и почему-то верил, что Господь сохранит меня. Откуда пришла эта уверенность, сознание “останусь жить”?

Встреча в воронке от бомбы с Верой, крестное знамение, которым она крестилась, а по движению губ, и молилась, всколыхнули всю мою душу, и все утраченное ранее, все, чему учил меня отец, мгновенно вспомнилось, возвратилось и словно опалило.

До ДОТа оставалось совсем немного, еще и еще надо проползти, потом внезапно вскочить и бросить связку гранат в дверь или гранату в амбразуру. Немцы в ДОТе понимали, зачем я ползу, и несколько автоматов из разных точек одновременно ударили по тому месту, где я лежал. Сплошная завеса огня окружила меня, комки земли взлетали в воздух, а я, по милости Божией, жил вопреки всем жизненным и военным законам. Временами отдыхал, вжавшись в окоп, а потом по опустевшему ходу сообщения перебрался в сторону и вышел из зоны обстрела соседних ДОТов и автоматов. Немцы поняли это и прекратили обстрел – он был бесцелен. По-прежнему стрелял по мне “мой”

ДОТ, к которому я полз, но и его очереди проходили теперь только надо мной – слишком близко я подполз.

Все время, пока полз, истово молился, обращаясь к Матери Божией, своему святому, Сергию Преподобному, и к Господу. Огромные отрезки жизни высвечивались в единое мгновение, воспринимались иначе, чем ранее. Я не был один, со мной была молитва и Бог, который не оставит меня. Я полз к ДОТу, делал все что нужно, для того чтобы его уничтожить, но молитва, несмотря на мои действия, все время была со мною.

Не о спасении жизни молил, а о прощении и о том, что обязательно надо уничтожить этот ДОТ! Слишком много наших солдат убивал он, очень многих. Сейчас это был акт милосердия к сотням наших людей.

Положение, в котором я находился, с человеческой точки зрения, было безвыходным; так казалось еще и потому, что вновь начался артобстрел немецких позиций и опасность быть убитым своим снарядом была больше, чем немецким. Не знаю, сколько времени пробыл в воронке, но даже отдохнул и опять пополз вперед. Мешали связки гранат, болело избитое тело, израненное осколками от мин и снарядов.

Пулемет из ДОТа по-прежнему стрелял по мне, но безрезультатно, а я полз и полз; очереди проходили высоко над головой, а я молился, взывая о помощи.

Оставалось метров двенадцать, я хотел встать и броситься к ДОТу, но вдруг из него выскочил немец и кинул в меня гранату, она упала рядом со мной, я успел схватить ее за длинную ручку и бросить обратно, в этом не было ничего особенного, у немецких гранат время срабатывания запыла на полторы-две секунды было дольше, чем у наших, этим я и воспользовался. Немецкий солдат был убит осколками гранаты, разорвавшейся в воздухе.

Вскочив, побежал и в открытую дверь ДОТа бросил связку гранат, в памяти осталась железная дверь, бетонный проем, грохот взрыва – и больше ничего.

Очнулся, голову кто-то держал; стояла абсолютная тишина, было темно, пахло кислым запахом взрывчатки, земля подо мной вздрагивала.

Голову поворачивали, вытирали лицо, пытались поднять и перевернуть. Ни рукой, ни ногой не мог двигать. Темнота и тишина напугали меня, но вдруг яростный гул боя внезапно ворвался, оглушив, и боль охватила все тело.

– Куда его? – спрашивал мужской голос.

– Сейчас осматриваю, кровью залит, умрет! – сказала женщина и заплакала.

– Чего плачешь, раненых не видела! Одним больше, другим меньше.

– Да он ДОТ подорвал, сколько этим наших спас!

– Ну и что? Подорвал! Один что ли такой? Помогите, если жив – перевязывайте и тащи в санбат, а я другими займусь.

Возможно, я вздрогнул, и женщина сказала: – Жив, жив! – и начала рвать пакеты с бинтами и перевязывать лицо, грудь, спину, задирая обмундирование, чтобы обмотать бинтом.

Ослепительный свет внезапно залил глаза, и я стал различать предметы. Перевязывала санитарка Вера; увидя мои открытые глаза, спросила:

– Ты слышишь, понимаешь?

Единственное, что я мог делать – открывать и закрывать глаза.

Сквозь отдаленный грохот разрывов до меня с трудом доходил ее голос:

– Высоту два часа тому назад взяли, бой идет далеко впереди. Тебя у ДОТа нашла, – вот, кажется, что понял из ее разговора.

– Кончай с ним, вези в санбат! – сказал мужской голос. Вера втащила меня на неведомо откуда появившуюся плащ-палатку и поволокла вниз, к реке.

Маленькая, худенькая, она волокла меня, надрываясь из последних сил. Бой ушел с высоты на Запад, но на высоту еще летели снаряды: где-то в отдалении ожесточенно строчил пулемет, стреляли из автоматов, в сопровождении наших солдат шли небольшие группы пленных немцев. Болтаясь из стороны в сторону на неровностях почвы, стал постепенно различать предметы. Опираясь друг на друга, впереди шли двое раненых – офицер и солдат. Офицер с трудом волочил ногу, солдат, скрючившись держался за живот.

Временами я терял сознание; приходил в себя, когда ударялся о камень, проваливался в воронку или яму. Еле-еле доползли до обвалившегося немецкого окопа. Офицер и солдат с трудом сели на землю, особенно плохо было солдату. Меня Вера оттащила в ближайшую воронку и свалилась рядом. Я был в сознании, вдруг раздалось шипение летящего снаряда, прогремел взрыв, и там, где сидели солдат и офицер, образовалась воронка. Веру и меня выбросило из нашей воронки и

засыпало землей. До падения снаряда я был недвижим, а здесь, отброшенный взрывной волной и засыпанный землей, попытался сесть, сбросить землю и даже подняться.

Ухватившись за подбежавшую Веру, поднялся. Залитый кровью, без сорванной взрывом гимнастерки, почему-то в одном сапоге пытался что-то сказать и махал рукой – об этом через долгое время рассказала мне Вера. Плащ-палатка исчезла; держась за Веру и поддерживаемый ею, я медленно тащился к реке.

Через занятую высоту двигалось подкрепление, бежали пехотинцы, ползли самоходки, танки, тянули провода связисты, шли саперы; навстречу этому потоку медленно и осторожно тащились раненые, помогая друг другу. Видя, что наше командование подтягивает через занятую высоту резервы, немцы начали обстреливать ее из тяжелых орудий, снаряды падали один за другим, осколки поражали все живое.

Вера тащила меня вниз.

– Миленький, помогай, помогай, – повторяла она, – Сереженька, отталкивайся от земли, помогай. Стреляют смотри как, помогай.

С неимоверным трудом, преодолевая усиливающую боль во всем теле, цепляясь за Веру, плелся к реке. Закинув мою руку к себе на шею, спотыкаясь, качаясь, Вера шла; шла, практически не ведя, а таща на себе. Интенсивность обстрела возросла, тяжелые снаряды все чаще и чаще падали на склон высоты, идти было невозможно. Дойдя до глубокой воронки, мы упали на дно, скрываясь от осколков.

– Только не раздавил бы нас танк или наша самоходка, – сказала Вера, прижалась ко мне и заплакала, закрыла мою голову своими руками, словно защищая от осколков, и сквозь слезы повторяла: Господи, помоги! Господи, не оставь нас! – и, снимая с моей головы руку, крестилась, – Миленький Сереженька! Мне дотащить тебя до санбата, там спасут. Господи, помоги нам!

Контуженный, избитый о землю взрывной волной, временами теряющий сознание, потерявший речь, беспомощный, ничем не мог помочь я Вере. Единственное, что сохранилось во мне, – четкость восприятия происходящего. Желание Веры во что бы то ни стало спасти меня, даже тогда, на склоне высоты, под непрерывным обстрелом, поражало и удивляло, но уверенность, что останусь жив, не оставляла.

Обстрел усилился, взрывы то приближались, то удалялись. Обняв и словно стараясь слиться со мной, Вера заговорила:

– Сереженька, миленький! Не умирай, миленький, не умирай! Потерпи! Господи, помоги! Ты, Сереженька, в Бога веришь, я тоже верю. Видела, крестился, попроси Его – поможет нам. Говорить не можешь – мысленно проси, – кричала Вера мне в ухо. – Говорить буду, а ты повторяй мысленно, повторяй!

Одно сознание – со мной человек, который не бросит, не оставит и старается сделать все возможное для спасения, а, главное, он верит в Бога так же, как и я, – облегчало веру в спасение и даже боль. Вера начала говорить слова молитвы, то, что разбирал, повторял. Молитва была просьбой спасти, не оставить нас в беде. Помню, были там слова: “Собраны во Имя Мое”; теперь, конечно, знаю эту молитву, она называется “молитвой по соглашению”.

Несколько раз, напрягая голос, повторила Вера молитву. На душе стало спокойней, даже невыносимая боль во всем теле чуть-чуть утихла. Обстрел внезапно прекратился, мы вылезли и пошли, но минут через пять немцы возобновили обстрел, пришлось залечь в полуразрушенный окоп. Снаряды рвались и рвались, осколки визжали над головой. Плотнo вжавшись в землю, мы моргали, в какой-то момент Вера вздрогнула, что-то словно оборвалось в ней и, сотрясаясь от рыданий, заговорила.

– Сереженька, не верь им, не верь, не такая я, как говорят, не гулящая. Добровольцем пошла на фронт, хотела людям помогать, раненым. Мама моя, верующая, на это благословила. Училась на сестру милосердия, на фронт санитаркой попала. Каждый, кому не лень, на матрац бросить хочет, грязью душу залепить, в самое святое человеческое чувство плюют, в офицерский блиндаж вызывают, как будто по делу – страх нападает. Смотрят, словно на блудливую кошку. Сальности гадости говорят, лапищи свои тянут. Думала, думала, как от этого кошмара избавиться, и притворилась разбитной, языкатой. Тому скажу, что к этому иду, другому, что к тому, – лезть меньше стали. Благодаря этому от мерзости и спасаюсь. Не верь, Сереженька! Не верь, миленький!

Плачет, молится и все повторяет: “Не верь!”

– Если побьют нас осколками, ты мне хоть перед смертью поверь, не хочу умирать в твоих глазах дрянью. Словно на исповеди тебе говорю – не такая я, не верь им!

Что мог сказать я, лишенный речи? Лишь слабо сжал в ответ несколько раз руку, показав, что поверил Вере. Приходя в сознание, молился; снаряды почему-то не пугали больше меня. Вера, прижавшись ко мне, тоже, вероятно, молилась.

Все, что я рассказываю, происходило на поле боя, рядом с постоянно стоявшей смертью. Вера спасла меня, дотащила до берега, здесь ее ранило довольно тяжело осколком мины. Нашли нас, истекающих кровью, солдаты-телефонисты, доставили в санбат.

Веру в тот же день эвакуировали – конечно, узнал об этом много времени спустя. Я двое суток пролежал на земле, прежде чем был осмотрен врачами. Раненых множество, в первую очередь оперировали тяжелых, а я, видимо, был отнесен к легкораненым. То, что выжил, два дня пролежав без всякой помощи под открытым небом, является не меньшим чудом, чем то, что случилось со мной и Верой на высоте.

Плохо помню эти двое суток. Лежали, сидели под деревьями не одна сотня раненых; кого-то уносили на операцию, перевязывали на скорую руку; небрежно запирали умерших; давали пить, укладывали новых на освободившиеся места. Сознание то приходило, то уходило. Временами жарко грело солнце, хотелось отчаянно пить. Лежал на боку, с трудом повернул голову: между ранеными ходил санитар с ведром воды и кружкой, давая пить тем, кто просил. Прошел несколько раз и около меня, но я молчал и не мог пошевелиться, показать жестом, что хочу пить.

Гремела кружка о край ведра, лилась вода, а я мог только взглядом, да и то недалеко, провожать санитаря. Возвращение сознания было мучительным, мгновенно осознавалась боль, скачкообразная, пульсирующая, раздирающая тело; когда она доходила до наивысшей точки – терял сознание, проваливался в беспамятство, для того чтобы через некоторое время опять придти в себя. Особенно болел живот.

Самым мучительным, когда приходил в сознание, было соединение боли и жажды. Губы запеклись, рот был сух, язык прилип к гортани, глотательных движений, из-за сухости горла и пищевода, производить не мог. Несколько раз кто-то подходил ко мне, переворачивал, тормошил, двигал. Слышались обрывки фраз:

– Живой, мертвый?

– Живой, долго ему еще очереди ждать, – и люди уходили.

Очнулся, солнце шло к горизонту; перед лицом рос невысокий куст ромашки, крупные цветки еле заметно колебались, легкий, едва уловимый запах травы доносится до меня. Хотелось пить, бездвижное, парализованное тело болело, боль нарастала; еще немного боли, и я должен снова потерять сознание. Ромашки касались лица. Собрав всю волю, все оставшиеся силы, поглощаемые чудовищной болью, стал молиться, стараясь вложить в слова молитв всего себя, стараясь победить боль.

Молотообразный стук в висках и голове затих, мысли очерчивались яснее. Спасение было только в молитве. Молясь, невольно смотрел на куст ромашки. Слепительно белые и в то же время почти прозрачные, высвечивались на солнце лепестки, желтая середина цветка горела и переливалась золотистым цветом.

Стонали раненые, умирали, плакали, а ромашки жили, словно напоминали о Великом Творце всего живого, словно еще и еще раз утверждая жизнь на земле; своей красотой, хрупкостью и чистотой творя славу Богу, утверждая Его величие и бесконечность.

Каждый раз, приходя в сознание, искал глазами куст ромашки; и даже ночью чувствовал его легкое прикосновение к лицу и был рад, словно боль, беспомощность и одиночество отдалялись, смягчались. Молитва и живые цветки ромашек поддерживали, успокаивали, утверждали веру в жизнь и Господа Бога.

Возможно, улыбнетесь и не поймете, покажется наивным, надуманным или придуманным через несколько лет, но так тогда думал. Словно знак Божий, цветы говорили: жизнь не оставит меня. Конечно, большую часть времени был без сознания.

Трудным и смертельно опасным было уничтожение ДОТа, но на войне сотни, а возможно, и тысячи солдат подавляли очаги сопротивления и ДОТы и не считали сделанного подвигом или героизмом; так же думал и я; однако двое суток, проведенных на земле, под лучами солнца, с безумной болью, раздирающей тело, мозг, и ожигающей жаждой, были во много раз тяжелее, чем путь к ДОТу под губительным огнем немцев. Двое суток боролся с болью и жаждой, и только когда в минуты просветления обращался к Богу с молитвой, пытаясь вложить в нее свою душу, боль отступала, для того чтобы с новой яростью наброситься на меня.

Очнулся на операционном столе. Высокий хирург пытался спрашивать, ответить не мог, но слышал разговоры окружающих; тогда, обращаясь к кому-то из присутствующих врачей, он сказал:

– Взгляните! Тело в синяках и кровоподтеках, сильнейшая контузия, правая сторона лица изуродована, и осколков набрал полный ворох! Долго придется ему с того света на этот перебираться, – и, обращаясь ко мне, сказал: – Велик твой Бог, солдат, коли оставил живым. Какому Богу молился, тому и дальше молись. Долго жить будешь, если сейчас тебя спас. Говорить не можешь, но по глазам вижу – слышишь. Ну так слушай. Без общего наркоза придется оперировать, контузия у тебя сильная, от общего умрешь. Терпи, голубчик! Терпи да Богу своему молись.

Странны были слова хирурга, почему так сказал? Но действительно, молитва Господу и милость Господня спасли меня и на поле сражения, и у лазарета, на операции.

Осколков было около тридцати, в основном в спине и шее, частично раны уже гноились. Четыре глубоко ушедших осколка удалять не стали, сказав: “Сейчас опасно. Поправишься от контузии – в тыловом госпитале вынут”. Два вынули через четыре месяца, а остальные два остались на память, ношу в себе, удалять нельзя, глубоко сидят; один под лопаткой вблизи сердца, другой в шее.

Удалив осколки, хирург принялся за изуродованное лицо, долго возился с ним, что-то сшивал, подтягивал, сдвигал. Окончив, сказал:

– Заштопал что надо! Красавцем будешь!

Операция была закончена, хирург еще и еще раз тщательно осмотрел меня и удивление воскликнул:

– Как же мы пропустили? Осколок пробил брюшину, прошел внутрь, кругом наслоение, отверстие еле заметное, Дрянь дело!

– Плохо твое дело, солдат, скрывать не стану, выживешь ли? Терпи, голубчик, очень больно будет!

И началась еще одна операция, самая тяжелая и болезненная. Было совершенно непонятно, необъяснимо. Раненный на высоте и лежа на земле двое суток перед операцией, я то терял сознание, то приходил в себя, а здесь, на операционном столе, оперируемый под местным наркозом, испытывая ужасающие боли, ни разу не потерял сознания, слышал разговор врачей, высказывания их, пессимистические прогнозы на мое будущее.

Врачи были измотаны, измучены, еле держались на ногах, но делали все, чтобы спасти.

Когда лежал на земле, санитары, разносившие воду, случайно не давали мне пить, и это спасло меня, потому что при ранении в полость живота пить недопустимо, это привело бы наверняка к смертельному исходу. Это случайность не что иное, как великий Промысл Божий.

В госпиталях врачи неоднократно говорили мне – если при ранении в брюшную полость проходило более восьми часов, а тем более если в это время раненый пил воду, смерть была неизбежна вследствие воспалительных процессов и общего заражения крови.

Помню, кончив операцию, хирург долго и удивленно смотрел на меня и сказал, ни к кому не обращаясь:

– Подумайте! Что он вытерпел! Да это просто чудо! – и, подойдя ко мне, поцеловал в лоб, – Молодец, солдат, больше чем молодец. Знаю, все чувствовал. Жить долго будешь. Скажу тебе – молись своему Богу.

Что-то почти прозорливое было в его словах. Думаю, для окружающих эти слова были мало значимыми, но для меня звучали как предвестники будущей жизни.

Вот так я пришел к Богу.

Я выжил, через сутки был эвакуирован и долго лечился в тыловых госпиталях. Несколько раз рассказывал врачам, уже в госпиталях и в гражданских больницах, про операцию во фронтовых условиях, и никто, никто никогда не верил, что такая операция могла совершиться, да еще в походных условиях и без общего наркоза. Сделали на лице еще несколько пластических операций.

Жалею, что не смог разыскать хирурга, узнать его фамилию. Шесть месяцев пролежал в госпиталях, в 1944 году комиссия признала ограниченно годным, отправили в тыл армии, но где-то на фронте произошла заминка с наступлением, потребовались солдаты, попал опять в пехоту. Закончил войну в 1945 году лейтенантом в комендатуре небольшого немецкого городка, демобилизовался в 1946 году. Возвратился в Москву искренне верующим человеком, пересмотревшим свою жизнь.

Конечно, радости родных не было пределов, но то, что стал верующим, радовало папу и сестру не меньше, чем то, что остался жив.

* * *

Рассказ Сергея Петровича произвел на меня огромное впечатление; несколько минут молчали. Я думала об одной из тайн Господа и великой Его милости – долготерпении, милосердии к людям и

всепрощении; одновременно с этими мыслями пришла и другая: что стало с санитаркой Верой? Хотелось спросить; в то же время было неудобно, может быть, он никогда не встретил ее и забыл? Но решила спросить, вероятно, врожденное женское любопытство победило стеснительность.

– Вы после окончания войны не узнавали, куда делась Вера и что с ней?

Сергей Петрович недоуменно посмотрел на меня и сказал:

– Конечно, разыскал! Подробности о том, как она волокла меня к берегу, узнал от нее. Кстати, в рассказе упомянул об этом.

Любопытство подхлестнуло задать второй вопрос:

– Скажите, а где сейчас Вера?

Сергей Петрович улыбнулся, потом засмеялся, и в этом смехе было столько ласки и приветливости! Кончив смеяться, громко сказал:

– Вера, зайди, пожалуйста, к нам!

Я мгновенно все поняла, готовая провалиться сквозь землю. Вера Алексеевна, жена Сергея Петровича, врач-невропатолог, с которой мы дружили уже несколько лет, была Верой-санитаркой, спасшей Сергея. Надо было догадаться об этом во время рассказа!

Человек скромный, обаятельный, старающийся каждому из друзей и знакомых сделать что-то доброе и хорошее, она никогда не рассказывала ничего о себе. Вглядевшись, увидела, словно первый раз смотрела на нее – среднего роста (совсем не маленькую) стройную женщину, чуть-чуть постаревшую – прошло 28 лет со дня боя у деревни Святой Ключ – легкие паутинки легли на ее лицо – время безжалостно накладывает свой отпечаток на каждого из нас.

Сергей Петрович сидел на диване, смотрел на нас, как-то особенно по-доброму смеялся, а записывающий магнитофон безостановочно работал. Записи эти сделаны мной с магнитной ленты, поэтому, сохранив весь рассказ Сергея Петровича, мне пришлось в то же время многое править и редактировать, это было вынужденно.

Понимаю, что в написанном много внимания уделено военным действиям, но сократить не имела права.

С. П. Мамонтов.

Из архива В. В. Быкова.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ

В армию призвали меня осенью 1940 года, девять месяцев прошли в непрерывных тренировках, тревогах, изучении боевой техники.

Для меня война началась 22 июня 1941 года и окончилась в декабре 1944 года, после тяжелого ранения. Первый бой приняли на самой границе. Часть наша сражалась ожесточенно, панике не поддавались, без боя не сдали ни одной позиции, однако у немцев были огромные силы и преимущества “внезапного удара”. Постепенно с боями отходили в глубь страны, попадали в окружение, прорывались, стараясь сохранить солдат и вооружение, несколько раз переформировывались и наконец, почти через два года, оказались в районе Краснодара.

Бои были затяжные, тяжелые. Когда мы остановились около какой-то станицы, наш батальон был поредевшим, почти без боевой техники и с малым количеством боеприпасов. Жара стояла невыносимая, немецкие самолеты не давали покоя, а небольшие танковые соединения преследовали отступающие части по пятам, заставляя отходить все дальше и дальше. Резервов у нашего командования не было, и наступающие немецкие войска мы остановить не могли.

То, что хочу рассказать, ни в какой мере не касается описания военных действий, и все же довольно подробно придется коснуться некоторых военных событий, заставивших меня переосмыслить взгляд на верующих людей, найти Бога и самому прийти к вере.

Рота наша держала оборону около станицы, единственной достопримечательностью которой были виноградники, окружавшие чистенькие белые домики, сложенные из камней неправильной формы, и церковь со сбитым крестом и полуразрушенной белоснежной колокольней. Отступая, таких станиц приходилось видеть десятки, и сейчас эта станица ничем не привлекала нас. Рано утром пришли, не успели как следует расположиться и отдохнуть – дали команду копать окопы в полный профиль. Поступил приказ: стоять насмерть, ни шагу назад, задержать наступающих немцев во что бы то ни стало.

Усталые после ночного перехода, голодные – кухни отстали – пропотевшие, покрытые пылью, под палящими лучами солнца долбили и копали каменистую землю; за день углубились едва-едва на полметра. Где-то вдали шел бой, то затихая, то вспыхивая с новой силой. Мимо нас тянулись раненые с истомленными, землистыми лицами. Вечером, примерно около шести часов, из-за

небольшой рощи, где стояло наше боевое охранение, послышались разрывы снарядов, гул, и через несколько минут появились четыре немецких танка.

Две противотанковые пушки, выданные нашей ротой, начали вести огонь. Два танка были подбиты, а третий, уничтожив боевой расчет одной противотанковой пушки, загорелся от брошенной бутылки с горючей смесью, четвертый повернул назад. Наша рота занимала оборону по растянутому фронту длиной более километра. Боеприпасов почти не осталось; ночной переход, жара и безостановочное рытье окопов измотали бойцов; оставшаяся противотанковая пушка не могла остановить продвижение немецких танков; окопы, вырытые на треть глубины в каменистом грунте и не соединенные ходами сообщений, не служили надежной защитой от осколков и пуль; ко всему этому всех бойцов томила жажда. Днем воду подносили женщины и дети, но после начала боя жители ушли в невысокие горы или попрятались в подвалы.

Второй, третий, четвертый раз пошли на нас танки, бойцы забрасывали их бутылками с горючей смесью. Пять или шесть танков уже горели, но еще несколько прорвали нашу редкую оборону, зашли в тыл и стали стрелять и давить бойцов гусеницами. Большинство бойцов было ранено или убито, но никто из оставшихся в живых не отступал и не впадал в панику, сражались до последнего патрона. За танками пошла пехота. Серые немецкие мундиры вдруг в большом количестве появились на поле боя, перебегая от одного укрытия к другому. Лейтенант Антонов попытался из оставшихся бойцов организовать оборону.

– Ни шагу назад! – кричал Антонов, и все, кто был жив и имел боеприпасы, залегли за каменным сараем в круговой обороне и продолжали бить немецкую пехоту.

Лавируя между камнями и ямами, на нас медленно надвигался немецкий танк; он не торопился, фашисты знали – часть разбита, орудий нет – и сейчас методично добивали оставшихся в живых. Лейтенант Антонов схватил две бутылки с горючей смесью, одну дал мне, и мы поползли навстречу танку. Бойцы укрылись в окопе. Бутылки мы бросили почти одновременно, но от случайно попавшей пули бутылка Антонова разлетелась почти у него в руках, и он вспыхнул огненным факелом. Я попал в танк, жидкость разлилась по броне, вспыхнула, и я стал отползать обратно к сараю. Раздался взрыв – больше ничего не помнил.

Очнулся в каком-то здании. Лежал на спине, кругом слышались стоны, ругань, разговоры. Режущая боль охватывала грудь, живот, левую ногу; голова отчаянно болела. Давило удушьем, рот был забит землей и кровью, каждый вздох сопровождался неистовой болью. Попробовал перевернуться и опять потерял сознание.

Снова пришел в себя; задыхаясь, стараюсь освободить рот от грязи и крови. Закашлялся, хлынула кровь, боль усилилась, но дышать стало легче. Кружилась голова, сознание было нечетким.

Виделись узкие окна, через которые пробивался слабый лунный свет, рядом со мной была высокая дверь, на стенах что-то тускло поблескивало. Где я? Через некоторое время осознал, что лежу в здании церкви, заполненном ранеными и пленными. Люди сидели, лежали на полу, стояли, слышались стоны, разговоры, где-то в отдалении подавались команды на немецком языке. Лунный свет падал мне в лицо. Вторично попытался перевернуться на бок, но безуспешно, – сил не хватало. Временами терял сознание; вдруг почувствовал, что меня подняли и куда-то потащили. Боль резко усилилась.

Очнулся и ощутил, что лежу на чем-то мягком, в помещении было темно; рядом со мной, на столе, горели две свечи, и в их колеблющемся свете виделось худое сосредоточенное лицо наклонившегося ко мне высокого человека, он разрезал и снимал надетое на мне обмундирование – гимнастерку, брюки, сапоги.

Боль стала еще невыносимее, но сознание уже не терял. Высокий человек, осматривая меня, протирает тело какой-то жидкостью, смазывает места ранений, нажимал на ребра, тянул и поворачивал в разные стороны руки и ноги. Окончив осмотр, сказал:

– Слава Богу, что жив остался! Не волнуйся, все будет хорошо, но крепко придется потерпеть, – и стал привязывать к левой ноге палки и дощечки, вытягивая их веревкой. – Сейчас крепись, кость на место буду ставить. Повернул ногу, что-то хрустнуло, я дико вскрикнул.

Продолжая перевязывать, человек говорил: “Осколочных мелких ранений много, но не глубокие; а вот пуля или осколок насквозь пробил правое легкое, оно сейчас полно крови, нога в голени перебита и тяжелая контузия головы и всего тела. Вот и все твои беды. Не врач я, но в медицине немного смыслю. Лечить буду травами, других лекарств нет, всю надежду возложим на Бога – Он нам обязательно поможет, главное – духом не падать, а коли на Бога надежду иметь будем – все пройдет. Нога быстро срастется, осколки где выну, где придется оставить, мешать не будут, а с легкими и контузией долго придется возиться. Лежать без движений нельзя из-за легких, двигаться надо, иначе в них возникнет воспаление, плеврит. Ногами, руками двигай, чаще переворачивайся с

боку на бок. Костыли сделаю, пытайся ходить, но все делай осторожно из-за контузии. Зовут меня отец Василий, так и обращай ко мне. Был когда-то священником местной церкви, теперь столяр и бондарь в станице. Приходить буду только ночью, днем нельзя, а чтобы тебе одному в темноте не лежать – рядом всегда будет гореть “моргасик”, а в красном углу – три лампадки”.

Что еще говорил отец Василий – не помню; от боли, слабости и потери крови заснул, а может, и потерял сознание; когда пришел в себя, то в памяти осталось только лицо высокого и доброго человека. Прошло несколько дней, по-прежнему хрипело в груди и клокотала мокрота и кровь, нестерпимо тяжело болела голова, и в ушах гудело от шума; нога, вероятно, срасталась, но ныла пульсирующей болью. Поднимался на руках, постоянно переворачивался, садился на край кровати, старался делать гимнастику, показанную о. Василием.

Понятия “ночь” и “день” были для меня условными, в подвале царствовала темнота, и день от ночи отличался только по приходам о. Василия.

Наступили дни, когда я смог говорить с отцом Василием, и вот что узнал. После окончания боя за станицу немцы собрали всех раненых и взятых в плен бойцов нашей роты и поместили в церковь; этим же вечером пригнали сотни две пленных, взятых на других участках фронта, и тоже загнали в церковь. Меня положили около бокового правого входа, где дверь по оплошности охраны оказалась незапертой. Охраняли только главный вход.

Ночью четверо местных жителей открыли боковую дверь и вынесли двух раненых, одним из них оказался я. Через открытую дверь исчезли несколько десятков пленных, разбежавшихся в разные стороны и ушедших в леса и горы, где вскоре, пополнив партизанские отряды, сражались на краснодарской земле.

Почти пять месяцев пробыл я в подвале у о. Василия; лечил он только травами, в действии которых хорошо разбирался. Настои, отвары, компрессы, обкладывание влажными травами и какие-то особые снадобья, приготовляемые на виноградном вине, были в арсенале лечебных средств – всего не перечислить, чем лечил о. Василий; но ко всем своим настоям и отварам добавлял стакан терпкого, сладкого, удивительно вкусного виноградного вина, выделяемого только в этой станице. “Наш станичный кагор, – говорил о. Василий. – Еще задолго до революции привезли в станицу виноградные лозы, прижились они у станичников, теперь этим вином всюду хвастают, лучшего вина в округе нет”.

О жизни о. Василия, к сожалению, пришлось узнать очень мало; основной причиной было то, что о себе не любил рассказывать, а то малое, что удалось услышать, напишу сейчас. Церковь в станице закрыли в 1930 году, во время Пасхальной службы, тогда же, во время заутрени, арестовали и о. Василия, дали пять лет лагеря; жену выслали под Архангельск, где она умерла от голода. Сын и дочь, задолго до ареста о. Василия, уехали куда-то в Сибирь и больше у отца не появлялись.

Кончился пятилетний лагерный срок, и “по неизреченной милости Божией, дали паспорт и разрешили жить в станице”, – говорил о. Василий. В церкви был клуб, потом склад. Жить о. Василию было негде, приютила одинокая старушка, бывшая прихожанка, и, умирая, завещала ему маленький домик из нетесаного камня.

Домик был чистенький, окруженный садом и имел, как каждый дом в станице, подвал. Разбирая однажды подвал, заваленный старой рухлядью, о. Василий обнаружил в одной из стен большую дыру-лаз во второй подвал, заставленный бочками со знаменитым кагором. Вот в этом, втором, подвале, я и жил почти пять месяцев.

Внешне можно было думать, что о. Василий жил одиноко. До прихода немцев работал бондарем, делал и ремонтировал бочки, столярничал, а ночью запирали дверь дома, закрывали окна, спускался в подвал, где ежедневно совершал церковную службу, в субботу и воскресенье служил Литургию. Местные власти относились к о. Василию терпимо, в сороковые годы это было удивительно. “Милость Божия и заступничество Пресвятой Богородицы не оставляют меня”.

У председателя совета венчал дочь, крестил внуков, отпевал жену председателя колхоза; да и многие женщины приходили и просили тайно крестить детей или отпеть родных. Но самое удивительное в том, что никто не доносил на него!

Вернусь к рассказу о себе. Долгие часы ночи и дня лежал или пытался ковылять на самодельных костылях в темноте, при мерцающем огоньке “моргасика” и трех огоньках лампадок перед иконами. О. Василий приходил в подвал ночью и, редко, днем. Приносил еду, свои лекарственные снадобья, осматривал меня, кратко сообщал печальные станичные новости, отвечал на мои вопросы и шел за невысокую перегородку и начинал молиться.

Вначале читались иерейские молитвы, потом вечерня, потом утренья, часы, а, как уже писал, в праздники, субботы и воскресенье – Литургия. Я заметил, что во время церковных служб о. Василий словно перерождался, голос становился особенно четким, слова и фразы звучали ясно и понятно, и

он словно уходил от всего окружающего и видел что-то мне неизвестное. Временами казалось, что не один он служит, а стоят с ним люди, знаемые им, и для них и для себя совершает он литургию, вечерню, утреню, читает акафист или служит молебен или панихиду. Конечно, все эти названия служб я узнал только к концу второго месяца своей жизни в подвале.

Через месяц уже довольно бодро ковылял по подвалу, опираясь на костыли; ранение было сквозное, все время держалась высокая температура, в груди kloкотала мокрота, смешанная с кровью, и при надрывном кашле выбрасывалась комками, с тяжелой болью.

– Двигайтесь, двигайтесь, – говорил о. Василий, – иначе начнется отек легких. Тяжелое у тебя ранение, дыхательные пути забиты мокротой, плеврит и сквозная пулевая рана, да еще живешь в холодном подвале, но – живешь! Не травы, не уход мой, а Сам Господь и Мать Божья охраняют тебя. Запомни это, Сергей.

Говоря со мной, он звал меня то на “ты”, то на “Вы”.

Лежу на топчане вымытый, накормленный, обложенный компрессами с травами и слушаю, как молится о. Василий. Горят перед иконами три лампадки: красная, белая и зеленая; непрерывно почему-то мигает стоящий рядом со мной “моргасик”, и вдруг тишину подвала раздвигает голос о. Василия:

– Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Я знаю – это начало всенощной, а дальше ширятся куда-то ввысь и плывут слова

– Приидите, поклонимся Цареву нашему Богу.

Читает, нет, не читает, а произносит по памяти всю службу – отчетливо, громко. Слово от слова словно отделены, но в то же время соединяются в одну слитную фразу. Первые дни ничего не понимал, но невольно вслушивался; с каждым днем слова и фразы вспоминались и складывались в памяти, приобретали смысл; я начал улавливать внутреннее значение услышанного. Наступило время, точно не помню когда, вдруг ощутил логическое построение служб, молитв и совершаемого о. Василием богослужения. Времени для размышлений было у меня более чем достаточно. Начал услышанное анализировать, продумывать, как бы раскладывать по одному мне известным “полочкам”. Славянского языка, конечно, не знал, но логичное построение и ежедневное повторение служб позволили довольно скоро понять произносимые молитвы, кондаки, икосы, псалмы, читаемые в службе часов.

С детства у меня была удивительная память, что-либо услышанное или прочитанное словно фотографировалось в клетках мозга и запоминалось навсегда. Еще в школе, когда задавали выучить стихотворение или отрывок текста, то, прочтя два раза, точно запоминал, а брату надо было учить весь вечер.

Слушая ежедневно совершаемые службы и оставаясь один, вспоминал услышанное, осмысливал и в конце концов понял, во что верит о. Василий.

Темная завеса неверия постепенно сползала с моей души, и осторожно и робко вера начала проникать в мое внутреннее “я”. Оставаясь большую часть времени в темноте один, осмыслив и поняв что-то в службе, с нетерпением ждал прихода о. Василия, дабы задать ему десятки вопросов. Спрашивал, спрашивал, спрашивал и на все получал ответы и разъяснения, если что-то не так воспринял.

О. Василий на ночь уходил спать в дом – ходили с обысками, стучали в окна, дабы узнать, дома ли хозяева.

О. Василий, окончив службу, садился на противоположный топчан и рассказывал о том, чего я раньше не знал. Основы православной веры четко и незыблемо легли в душу, стало понятно, что, веря в Бога, человек становится духовно богаче, обретает навсегда внутреннюю опору, в любых, самых сложных обстоятельствах не остается одинок – с ним Бог, Мать Божия и вечно стоящий рядом Ангел-Хранитель.

Все это понял на всю жизнь, к концу третьего месяца о. Василий крестил меня и после этого каждое воскресенье исповедовал и причащал.

Вот и ответ на ваш вопрос – как я пришел к Богу, стал верующим. Конечно, находясь в подвале, не мог читать Евангелие, не было света, но о. Василий по памяти воспроизводил целые отрывки или просто рассказывал содержание.

Возвращусь еще раз к воспоминаниям об о. Василии. Он кончил Санкт-Петербургский университет – факультет естественных наук, сразу поступил в Духовную Академию: не знаю, как его приняли, если он не кончал сперва Семинарию? После окончания Академии выразил желание служить в провинции, хотя ему предлагали остаться служить священником в Петербурге. Направили в станицу, где создал крепкий приход, сплотил вокруг себя много хороших прихожан: может быть,

этим и объясняется, что, возвратясь после лагеря, остался в станице и на него не доносили и не тронули.

Одно его высказывание запало мне в душу:

– Отрицающие Бога говорят – докажите Его существование, и мы поверим. Это постоянная уловка материалистического мировоззрения. Математически вычислить Господа невозможно, также как доказать Его отсутствие. Если бы это было возможно, то человечество давно бы привело эти доказательства. Господь познается только душой, духом человека, и притом – если он стремится познать Бога; и это познание – милость Господа и дар Его.

Заканчивая свои воспоминания, скажу: вера и любовь к Богу и людям были у о. Василия безграничны, хочется привести Евангельские слова:

“Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: “возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим”. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей: “возлюби ближнего, как самого себя”. На сих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки” (Мф. 22,36–40).

Так верил и жил о. Василий, силой молитв своих сделавший меня христианином. Христианство давало возможность оценивать свои поступки и подходить к людям, тебя окружающим, на основе заповедей Иисуса Христа, Его учения. Память о. Василия поражала даже меня – я говорил о хорошей памяти, – но он цитировал большие отрывки из сочинений святых: Иоанна Златоуста, Василия Великого, епископа Феофана Затворника и других святых отцов и учителей Церкви. Любил рассказывать о жизни митрополита Филарета (Дроздова), Иоанна Кронштадтского (Сергиева), у которого бывал несколько раз и получил благословение на служение в станице. Любимыми его святыми были Сергей Преподобный, Серафим Саровский, Феодосий Тотемский, Мария Египетская, о которой говорил с особым душевным почтением, как о величайшем образе человеческого раскаяния и покаяния.

Образок Пантелеймона-Целителя, висевший над каменным престолом, был особо почитаем о. Василием, но высочайшее поклонение и почитание имели иконы Божией Матери – Владимирская и Новгородская, Знамение – акафисты этим иконам он помнил наизусть, и когда в станице происходили расстрелы или другие волнующие события, то, отслужив установленную службу, читал акафист перед одной из икон. Только при чтении Апостола и Евангелия на короткое время зажигалась свеча.

Интересными и связанными с современной жизнью были рассказы о Святых отцах Церкви и церковных писателях: Клименте Александрийском, св. Иустине-мученике, блаженном Иерониме, Иустине Философе, Григории Нисском и других. О. Василий умел донести до слушающего мысль, изложенную в каком-либо духовном сочинении, ярко и просто, и при этом, органически увязать с настоящим, сегодняшним. Эта удивительная способность не отгораживаться от современной жизни, а связывать ее с учением Церкви, поражала меня, хотя многое оценил и понял только после войны, но основу, фундамент вложил в мою душу о. Василий.

После войны прочел полный курс по истории Церкви, в 1948–49 годах достал много книг по этому вопросу и с удивлением понял, что почти ничего нового не узнал. При этом в прочитанных книгах не очень четко связывались исторические события с современным им обществом, а в рассказах о. Василия история и жизнь шли рядом и были неразделимы.

Вот таким был о. Василий, приведший меня в Церковь.

К сожалению, эти воспоминания приходится кончать очень грустно: при отходе немцев о. Василий с группой станичников, мужчин и женщин, был приговорен к смертной казни и повешен.

Да упокоит Господь душу иерея Василия!

Из архива В. В. Быкова.

МИЛОСТЬ ГОСПОДА

Впервые Мария и я приехали к о. Арсению в 1965 году, а в дальнейшем приезжали не чаще одного-двух раз в год для духовного наставления, совета и очищения души от всего греховного, что накапливалось за прошедшее время, в Москве ходили в церковь, где молились, исповедовались, причащались. В 1972 году приехал без жены, она болела. Мне рассказывали, что с 1965 года о. Арсений начал вечером за столом, после ужина и чая, проводить с приехавшими к нему духовными детьми беседы на выбранную им тему, причем подробно отвечал на вопросы или просил кого-нибудь из присутствовавших рассказать, какими путями пришел он к Богу или сохранил и умножил веру в труднейших условиях плена, лагерей ГУЛАГа, допросов, военных действий, боя, тяжелейших ранений и интересовался, как удавалось молиться в это время, какие встречались замечательные в

духовном отношении люди, помогавшие окружающим жить и поддерживать (укреплять) веру в Господа.

В этот приезд в 1972 году собралось вечером за столом человек пять незнакомых мне духовных детей о. Арсения, один из приехавших задал вопрос об Оригене, о Промысле Божиим и судьбе – пути жизни, – предначертанной человеку. Сейчас уже не помню, но все сказанное он как-то связал в одно. Отец Арсений удивился этому вопросу и вместо ответа вдруг быстро обратился ко мне и попросил рассказать мою жизнь начиная с 22 июня 1941 года. Я посмотрел на часы и сказал, что это долгий рассказ, он задержит сидящих часа на два.

“Господь послал нам сегодня нетрудный день, и мы не спешим”, – произнес о. Арсений. Собравшись с мыслями и возвращаясь к прошлому, решил рассказать все, как когда-то было, не приукрашивая, не сгущая краски тяжелого, плохого или хорошего, но присутствие незнакомых людей смущало меня. Словно прочтя мои мысли, о. Арсений произнес: “Не смущайтесь, это мои добрые друзья, рассказывайте!”

И я начал вспоминать, вначале несколько стесняюсь, но потом полностью погрузился в прошедшее и стал жить во время рассказа той жизнью, которую прожил. Забылись люди, сидевшие рядом со мной за столом, и виделся только один отец Арсений и мое прошлое, возникавшее из небытия. Естественно, написанное и рассказанное отличаются друг от друга, а, когда вспоминал отношения, сложившиеся у жены с моей мамой, то невольно смягчил многое, но в воспоминаниях написал правду, то есть то, что было. Когда закончил свой рассказ о прошлом, долгое время царил молчание, потом о. Арсений благословил, и мы разошлись.

На другой день приехала Ирина Николаевна, и вечером за столом были те же, незнакомые мне люди. Отец Арсений был задумчив и, когда окончился ужин и чаепитие, сказал: “Вчера мы выслушали воспоминания Алексея Федоровича (так зовут меня), и хочу сказать, что это не просто человеческая жизнь, а непрерывное проявление милости Божией к человеку, который по всем жизненным расчетам должен был десятки раз обязательно умереть, но десница Божия являла чудо, спасая его. Я попросил Алексея вспомнить прошлое для того, чтобы показать, что не предначертание судьбы вело его в жизни, а Господь Бог, а Матерь Божия, которой он постоянно молился в труднейшее время жизни, по милости Своей прикрывала его платом любви Своей, спасая от смерти, а в несчастьях, страданиях и бедах не оставляла и давала счастье встречать людей глубокой веры и любви к людям, помогая этим не только сохранить, но и еще больше укрепить веру. Нет судьбы человеческой – есть только Господь Бог наш, Его воля и наша собственная вера к Богу и людям, по глубине и силе которой и определяется наша жизнь”, – и, обратившись ко мне, сказал: “Запишите рассказанное, но подробнее; и напрасно, говоря о своей матери, моей духовной дочери, утаили ее отношение к жене вашей Марии, жестокое и несправедливое, и о той перемене, что произошла с ней потом. Знаю, трудно и долго будете писать рассказанное но напишите”.

Начал писать в 1972 году сразу по приезде в Москву, но закончил только в 1991 году, когда мне было уже 74 года, многим это покажется странным, что почти двадцать лет понадобилось, чтобы написать только одну тетрадь, но в этой тетради была вся моя жизнь, сжатая в двадцать страниц текста, и вы не представляете, как было трудно мне писать о прошлом! Да! Очень трудно, потому что это были не мемуары, а жизнь моя; и где-то лежали сотни и тысячи убитых, расстрелянных, замученных людей, и я многих из них знал и любил, но, когда писал, то почти не упоминал имен многих знаемых и ушедших, все они остались в душе моей, а рассказывал только о себе. Отец Арсений предвидел, что долго буду писать когда-то рассказанное в зимний вечер в доме Надежды Петровны.

Мама наша была исключительным человеком, глубоко верующим; духовная дочь иеромонаха Арсения, ведшего ее несколько лет и наставлявшего на путях веры; кроме того, в общине она была усердная его помощница. Воспитала мама сестру и меня в вере, научила любить Господа, Матерь Божию, святых и полагаться на волю Божию во всем и всегда. Особое внимание уделяла молитве, помощи ближним; мы часто бывали в церкви, знали церковную службу; и когда стали закрывать церкви и духовенство и верующие разделились на поминающих и непоминающих, то очень редко бывали на литургии, совершаемой дома иереями, которые еще не были арестованы, или братьями общины, ставшими тайными священниками по благословению духовного отца и посвященных владыкой Афанасием. Знал это от мамы и ее близких друзей по общине, бывавших часто у нас.

Отец был арестован в 1927 году по делу Промпартии и исчез – мне тогда было десять лет. На мамины запросы отвечали “в списках не значится”, и мы не знали – осужден он, жив или расстрелян. В 1958 г. на наш запрос сообщили “умер от воспаления легких – пневмонии”, а в 1989 году “расстрелян – место захоронения неизвестно”. Однако нашей семье после ареста отца репрессии не коснулись, мы продолжали жить в Москве, работать и учиться.

Я окончил физико-математический факультет МГУ, был оставлен на кафедре; в 1941 году, в первые дни войны, взяли в армию. Попал в пехоту и сразу на фронт, дивизия с боями отходила в глубь России, в конце августа подошли к Смоленску. Было приказано “стоять насмерть”, во что бы то ни стало – задержать наступление немецких войск в 30 километрах от Смоленска. Закрепилась дивизия недалеко от леса, прочно окопались и стали ждать немцев, предполагая, что они пойдут по шоссе. Дивизия потеряла в боях почти две трети состава, боеприпасов было мало, основное вооружение – винтовки, гранаты, бутылки с зажигательной смесью, пулеметы и несколько орудий и устаревших танков, но боевой дух солдат и офицеров (тогда командиров) был высокий, панических настроений, несмотря на большие потери дивизии, не было. Пока окапывались, ждали немцев, молился, призывал Матерь Божию, Господа Иисуса Христа и своего святого, Алексея, человека Божия, просил явить свою милость, защитить и сохранить.

Примерно в семь часов утра появились немецкие танки и пехота на автомашинах. Немцы спешились и под прикрытием танков пошли на нас цепью, непрерывно стреляя из автоматов; первые две атаки мы отбили, немцы залегли; и тогда по команде “вперед”, мы поднялись и с криком “ура” пошли в ответную атаку, вокруг падали убитые, раненые, но солдаты бежали вперед на немцев. Пробежав, может быть, сотню метров, я почувствовал, как что-то подняло меня, ударило, и очнулся, лежа на спине, с нестерпимой болью в ногах и какой-то “тупой” головой; на поле боя было тихо, но в ушах возникал временами отчаянный звон и шум, глазами я то видел окружающее, то ничего не видел; мысли путались. Пролежав в таком состоянии какое-то время, захотел встать, приподнялся на руках и потерял сознание.

Пришел в себя, чуть-чуть приподнялся и увидел свои ноги изогнутыми в сторону – были перебиты голени. Руки и голова только могли двигаться, малейшее движение туловища и ног вызывало нестерпимую боль. Понял, что не смогу сдвинуться с места, и стал молиться Заступнице нашей Владычице Богородице о милости и помощи, однако сознавал, что человеческой помощи ждать не от кого, поэтому возложил все упование на Господа, веря в милость Его. Вся душа изливалась в молитве, особенно к Матери Божией.

Лежу, молюсь и вдруг слышу в отдалении немецкую речь и редкие выстрелы из автоматов. Осторожно повернул голову и увидел отдельные фигуры немцев, шедших по полю боя; подходя к лежащим бойцам или командирам, обыскивали, что-то брали и бросали в вещевые мешки, висевшие на плечах, а иногда, обыскав лежащее тело, стреляли в него. Понял – немецкая трофейная команда обыскивает трупы убитых солдат и особенно командиров: ищет документы, карты, письма, ценности, оружие, а тяжелораненых пристреливают. Легкораненые, вероятно, были взяты в плен или успели скрыться в лесу.

Немецкий солдат подошел ко мне, ударил ногой по перебитым ногам, наклонился и стал обыскивать. Взял командирский планшет (я был младшим лейтенантом), достал документы, письма и снял с руки часы, презрительно отбросил винтовку, поднял свой автомат к моей груди, и я осознал – пристрелит как тяжелораненого.

Поднял я руку и трижды перекрестился, сказав: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного, и душу мою”. Немец опустил автомат, внимательно посмотрел на меня и сказал: “Гут, гут”; полез в вещевой мешок, достал фляжку, пакет, завернутый в целлофан, мои документы, часы надел мне на руку и, коверкая русские слова, сказал: “Куст, лес, куст, лес”. Я опять перекрестился, немец дал короткую очередь из автомата в землю рядом со мной и, махнув в сторону леса, повторил: “Лес, куст”. Повернулся и пошел, а я начал еще истовее молиться Богородице и непрерывно повторял “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного”.

Стрельба затихла, трофейная команда ушла с бывшего поля боя, я приподнял руку и увидел, что уже почти семь часов вечера, это значило, что десять или одиннадцать часов я находился без сознания, лежа на поле боя. Вероятно, дивизия наша была разбита и фронт переместился еще дальше на восток. То, что произошло, была великая милость Господа, это было необъяснимое чудо, явленное мне, грешному: по немецким законам войны я должен был обязательно быть застрелен, но то, что перекрестился, спасло меня, и я еще и еще раз возблагодарил Господа и Заступницу нашу Богородицу.

Стало темно, решил попытаться поползти до кустарника, ведь не зря немецкий солдат сказал: “Куст, лес”, он хотел моего спасения, и я пополз, хватаясь руками за траву, корни, кочки. Возникла мысль, что немцы считали милосердием добивать безнадежно-тяжелых раненых, или им просто не хотелось возиться с ними, пленных было и без того много. Перебитые ноги болтались, цеплялись за землю, затрудняли движение, вызывали неопишемую боль, и тогда терялось сознание, отлеживался какое-то время, сознание возвращалось, и я продолжал ползти, непрерывно (когда был в сознании)

взывая о помощи к Богородице, своему святому, Алексею, человеку Божию и просил Господа помиловать меня, грешного.

Прозрачная августовская ночь покрыла землю, а я все полз, полз и полз, хотя до кустарника было не больше двухсот метров. От боли и слабости обессилел, но наконец ухватился за корни кустов, подтянулся, заполз вглубь, и полностью отключился от окружающего меня мира. Не знаю, сколько времени пробыл без сознания, но, когда пришел в себя, хватаясь за кусты, залез в чащобу и больше ничего не помнил. Утром очнулся, кто-то тормозил меня за голову и спрашивал: “Дяденька, ты живой или мертвый?” Открыл глаза и увидел трех мальчишек, стоящих около меня на коленях.

“Дяденька, вы ранены?” – спросил один из них. Сказал о перебитых ногах. Ребята о чем-то поговорили, и один из них убежал, двое остались, помогли достать фляжку, данную немецким солдатом, дали выпить несколько глотков, вероятно, коньяка, целлофановый пакет, пока полз, потерял. Вскоре прибежал третий мальчишка, принес большую ватрушку с творогом и бутылку молока. Немного поев, продолжал молиться, потом ребята говорили, что молился вслух. Вскоре все смешалось, когда очнулся, мальчишек около меня не было. Прележал весь день в кустах, сломанные ноги стали болеть даже тогда, когда я не двигался, боль стала пульсирующей, сотрясающей все тело; чтобы унять боль, продолжал молиться. Пришла мысль, что никто не придет ко мне, ребят больше не было. Достал бутылку с молоком, пожевал ватрушку и, в который раз, отключился.

Ночью почувствовал, кто-то толкал, что-то спрашивал, увидел высокого старика, двух женщин и одного из мальчишек, нашедших меня. Стали поднимать за плечи и сломанные ноги. Очнулся в избе на кровати, раздетый догола, как меня несли, не знаю. Около кровати стоял старик и женщина – оба осматривали меня. Говорили между собою: “Пулевых и осколочных ранений, вроде бы, нет, крови нигде невидно, а ноги багровые, распухли и словно бревна стали. Надо Анну позвать”.

Голос старика донес сказанные кому-то слова: “Беги, Марьюшка, к бабке Анне, человек верный, скажешь все как есть, пусть сейчас придет, хоть ночь”. Хлопнула дверь, через какое-то время появилась невысокая старушка и стала меня осматривать. “Голова, руки, грудь, живот – ран нет, а с ногами плохо, кости во многих местах перебиты и опухоль до ужаса большая, как бы Антонов огонь не начался? Петр Сергеевич, пойдись к дровам и с березовых поленьев мягкой коры надери, много надо будет, а ты, Марфа Павловна, щепок гладких и палок небольших с веревками принеси, воды ведро вскипяти, Марьюшка! Тряпки возьми и самогоном всего оботри, стеснение отбрось, наше дело бабье – за ранеными мужиками ухаживать”.

Старик принес охапку березовой коры, нагрели воду, принесли прямые щепки, палки, веревки, подошла бабушка Анна и сказала: “Звать-то как? Алексей, говоришь, имя хорошее, доброе. Ежели в Бога веруешь, молись Пресвятой Богородице, читай молитву “Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых”. Знаешь молитву, аль нет?” Ответил: “Знаю”. – “В голос читай, в голос. Больно будет – кричи во все горло, сейчас все от Господа зависит, вся надежда на Него, я только бабка-костоправка, уложу косточки, распаренной корой обложу, щепки и палки веревкой к ногам привяжу и стяну крепко. Знаю, милый, больно, ох, как больно будет, а ты Богу и Пресвятой Богородице молись и мы все за тебя молить Господа будем, помощник у тебя какой великий – Алексей, человек Божий, и он с нами здесь будет. Молись”.

Перекрестилась, и на меня крестное знамение положила. Вероятно, долго укладывала сломанные кости ног, я был без памяти. Рассказывала мне потом Марфа Павловна – кричал я сильно, то молитвы читал, то замолкал, словно умерший; ничего не помню. Долго укладывала кости, обкладывала березовой корой, щепками, палками, стягивала веревкой и сама себе говорила: “Опухоль, опухоль какая, и кости не прощупаешь!”. Всю ночь возилась со мной бабушка Анна, закончила, на лавку упала от усталости и стала со всеми молиться о моем здравии. Все знаю по рассказу. Посидела-посидела бабушка Анна, отдохнула, а я в это время в сознание пришел. Перекрестила меня бабушка и сказала: “Как умела, так и сделала, что в силах моих было, теперь все упование на Господа и Заступницу нашу Матерь Божию возложи и на святого твоего – Алексея. Кормить тебя надо хорошо. Зайду еще ко времени не один раз”.

Стал жить в незнакомой семье, словно родной. Выхаживала меня Марфа Павловна и дочь ее Марьюшка. Петр Сергеевич, высокий, кряжистый, энергичный, лет ему было шестьдесят пять, человек богомольный. Марфе Павловне тридцать четыре года, и в эти годы она была настоящей русской красавицей, тяжелая крестьянская работа никак не отразилась на ее лице, сложении. Марьюшке шестнадцать было, лицом, фигурой полностью на мать похожа, и красота та же, и доброжелательность в улыбке, движениях, голосе, жестах. Муж Марфы Павловны – Николай был в армии, вестей не было, и только в 1945 году сообщили, что убит был в 1941 году. Все это я увидел, заметил, пролежав долгие месяцы на топчане. Семья была глубоко верующей.

Утром вставали все в одно время, приводили себя в порядок и сразу начинали читать утренние молитвы, начинал Петр Сергеевич, потом читала Марфа Павловна и Марьюшка, в субботу читалась вечерня и утренняя, четко, отчетливо, оттеняя каждое слово, произносил Петр Сергеевич, а в воскресенье вся литургия, но об этом я еще напишу дальше. Петр Сергеевич, отец мужа Марфы Павловны, с виду был строг, а на самом деле добрейшей души человек, во всем подчинявшийся Марфе Павловне, но стержнем семьи была Марьюшка, в которой оба души не чаяли.

Первых три недели ноги болели ужасно, пошевелить пальцами ног было невозможно, казалось, что ноги распирает огромный нарыв. Ни днем, ни ночью не спал целый месяц, говорить с домашними не мог, только молился вслух или про себя, это единственное, что отвлекало от боли. Утром Петр Сергеевич уходил работать по хозяйству на дворе – колхоз распался; Марьюшка занималась огородом, а зимой помогала матери и Петру Сергеевичу; Марфа Павловна постоянно была занята хозяйством, готовкой и скотиной, пока ее не отобрали немцы.

Большую часть дня лежал один, молча наблюдая жизнь семьи, фамилия их была Выропаевы. Деревня, куда я попал, была “выселки” и пока названия не имела, а так и называлась “выселки”, отселились от большого села, где когда-то была церковь, и вся семья регулярно ходила каждое воскресенье к обедне. В 1935 году церковь закрыли, священника арестовали и вскоре расстреляли. Со слезами на глазах говорил Петр Сергеевич о расстрелянном священнике, которого прихожане любили, и церковь всегда была полна народа. “Вот теперь только дома и молимся”, – говорили Петр Сергеевич и Марфа Павловна.

Немцы деревню не трогали, назначили полиция – парня из этой деревни. Пьяница отчаянный, зашел к нам, увидел меня, лежащего на топчане с перевязанными ногами, что-то промышчал, потоптался и сказал Петру Сергеевичу: “Дед, я – молчок, каждую неделю две бутылки самогонупервача, и делов никаких не будет. Понял?” – и ушел. Приходил староста, я уже на костылях ковылял, посмотрел на меня и сказал Марфе Павловне: “Считай его своим примачком”, – это означало временным мужем и работником. Когда-то Петр Сергеевич дружил с человеком, ставшим старостой. Прошло шесть месяцев, я уже хорошо ходил, только ночами и в плохую погоду в ногах возникали тянущие боли. Господь хранил семью и меня, немцы деревню не трогали, только отобрали коров и лошадей, а свиней и овец крестьяне сами прирезали, мясо засолили и убрали в вырытые на огородах ямы.

Семь месяцев прожил я в этой семье, сроднился с ней, полюбил этих глубоко верующих людей и, нечего греха таить, полюбил Марьюшку всей душой, но тщательно скрывал это от нее и родных. Ранили меня в августе 1941 года, сейчас был март сорок второго, жить на хлебником в семье не хотел, хотя, поправившись, много помогал по хозяйским делам, но совесть твердила мне, что идет война и отсиживаться нельзя, а надо перейти фронт и вернуться в армию. Переговорил с Петром Сергеевичем, Марфой Павловной, они одобрили мое решение, хотя я почувствовал, что это согласие было дано “скрепя сердце”. Уходить надо, а сердце кровью обливается, молюсь, прошу помощи у Царицы Небесной, вижу – и Марьюшка загрустила, отчего, понять не могу, а спросить неудобно. Уход мой обсуждали всей семьей, только Марьюшка своего слова не сказала. Однажды Петр Сергеевич неожиданно сказал мне: “Алексей! Ты Марьюшку не увлекай, уйдешь, а она одна останется. Не греш!” Марфа Павловна при этом разговоре присутствовала и сказала: “Да что ты, Петр Сергеевич, не видала ничего плохого от Алексея”.

Собрали меня: куртку теплую, брюки ватные, сапоги достали новые, заплечный мешок, флягу с самогоном и трофейный пистолет с патронами. Завтра ночью уходил. Собрались: Петр Сергеевич начал читать молитвы, потом Марфа Павловна прочла акафист Божией Матери “Скоропослушнице”. Вдруг Марьюшка заплакала, уткнулась в грудь матери. Посмотрела Марфа Павловна на Петра Сергеевича и сказала: “Давно вижу – любите друг друга, и знаю, Алексей себя соблюдал и любовь свою скрывал. Вижу, Марьюшка тебя всей душой любит – сердце материнское все чувствует. Не буду мешать любви вашей, положимся на волю Господа и Царицы Небесной. Уходишь в опасный путь, верю – защитят тебя Силы Небесные, окончится война – придешь к нам и возьмешь Марьюшку в жены, да и молода она сейчас решать за себя; дорога твоя дальняя и трудная, а пути Господни неисповедимы. Материнское благословение положу на тебя, Марьюшка, и на тебя, Алексей, ждать будем, ежели Господь нас и тебя сохранит. Вручаю тебя покровительству Царицы Небесной, молитесь Ей постоянно”.

Благословили нас Марфа Павловна и Петр Сергеевич иконой Божией Матери “Федоровской”. Марьюшка бросилась ко мне на грудь, заплакала, сам в слезах от радости, целую ее, и никак оторваться друг от друга не можем. Слышу, Петр Сергеевич срывающимся голосом говорит: “Веру в Господа умножайте и не только мужем и женой будьте, а друзьями, помощниками; в бедах, радостях и скорбях волю Бога находите, не ропщите и людям помогайте, помните слова Послания, сказанные

апостолом Павлом: “Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов” (Гал. 6,2), – и закончил: –Довольно, нацеловались, давайте помолимся”. Сейчас, когда через десятки лет пишу воспоминания, помню, как тогда задумывался, откуда в простой крестьянской семье была такая глубокая внутренняя православная духовность, восприятие жизни через веру, искренняя молитвенность?

Кто дал им это? Кто вложил в их души? Кто научил каждый день читать по одной главе Евангелия? Расстрелянный священник закрытой шесть лет тому назад церкви или кто другой? И только много лет спустя, когда Марфа Павловна жила с нами в Москве, узнал от нее, что Петр Сергеевич в 1891 г. шестнадцатилетним юношей уехал в Москву на заработки и поступил учеником слесаря на завод Вари (кажется, теперь называется завод “Компрессор” – возможно, и ошибаюсь). Жил на квартире у богомольной старушки, которая постоянно бывала в церквях, и Петр также стал посещать церкви, полюбил церковное пение, службу, исповедовался и причащался по несколько раз в год. Начальные знания о церковной службе, православной духовности, любви к ближнему дала ему эта старушка, от которой услышал, что у Ильинских ворот служит очень хороший священник, отец Алексей, и Петр стал ходить в эту церковь и стал постоянным ее прихожанином.

Жил и работал в Москве Петр Сергеевич до 1915 года, потом был солдатом на Первой Мировой войне, гражданской и после всех войн вернулся в деревню. Узнав от Марфы Павловны о жизни Петра Сергеевича в Москве, я сразу понял, что церковь у Ильинских ворот называлась Никола в Кленниках, а священник – о. Алексей, был известный московский старец в миру, отец Алексей Мечев, о котором мне много рассказывали, и я даже был знаком (после войны) с его духовными детьми, спрашивал, не знал ли кто Петра Сергеевича, но оказалось, что пришли они в эту церковь в 1917–18 гг. и, конечно ничего о нем не ведали.

Вот откуда была глубокая вера, знание церковных служб, ежедневное чтение главы Евангелия, необычный для многих духовный настрой семьи, любовь к ближнему – все это, конечно, можно было получить у старца отца Алексея Мечева, но еще больше удивился я, что Петр Сергеевич по благословению о. Алексея (так мне говорила Марфа Павловна) несколько раз бывал у старцев в Оптиной Пустыни.

Прожив более семи месяцев в семье Марфы Павловны, никогда не слышал от Петра Сергеевича, что жил в Москве, работал на заводе, был прихожанином церкви Николы в Кленниках и духовным сыном старца Алексея Мечева; только однажды, когда я стал рассказывать об Оптиной Пустыни, Петр Сергеевич начал говорить об Оптинском старце Варсонофии и довольно подробно поведал его житие: что был полковником, знал о. Иоанна Кронштадтского, и как тот поцеловал руку полковнику – будущему старцу Варсонофию, и что скончался старец 1 апреля 1913 года. Тогда не придавал значения этому рассказу, но после того, что узнал от Марфы Павловны, все стало понятно.

В воскресенье утром Петр Сергеевич читал всю службу литургии, причем читалось все: ектеньи, молитвы священника, алтарные молитвы, возгласы, песнопения. Мне показалось это неправильным, и я сказал об этом. Петр Сергеевич простодушно ответил: “Церковь-то закрыли, читаю, чтобы не забыть самой великой службы, а то, что правильно или неправильно, – Господь рассудит. Понимаешь, Алексей! Когда читаю, то всю службу церковную душой ощущаю – и иерея с дьяконом, когда служили, и таинство причастия, и отпуст”.

Огромная внутренняя духовность этой семьи поражала меня, и я понял, что все это вложил в их душу Петр Сергеевич. Я, воспитанный мамой и еще до войны в свои 23 года прочитавший ряд творений Иоанна Златоуста, Василия Великого, жизнеописания и письма Оптинских старцев, Иоанна Лествичника, записки Мотовилова и многое другое, не имел и части той внутренней духовности и веры, которую несла в себе эта семья. Понял, что мою маму, которую считал и чтил глубоко верующим человеком, научившую любить Бога, верить и молиться, бывшую кандидатом филологических наук, не только мог сравнить по глубине веры с Петром Сергеевичем и Марфой Павловной, простой крестьянкой, имевшей семиклассное образование, но в чем-то они превосходили ее, не говоря уже обо мне.

Вернусь в “выселки” – ко времени моего ухода на фронт в 1942 году. Обнял я Петра Сергеевича и Марфу Павловну, поблагодарил за все сделанное: за уход, лечение, заботы, за все, за все. Поклонился в ноги, а Марьюшка, прощаясь со мной и плача, говорила: “Ждать тебя, Алеша, до конца жизни буду, только бы Господь нас сохранил”. Благословили еще раз меня и ушел сейчас же ночью. О том, как удалось пройти по территории, занятой немцами, много рассказывать не буду, опасность подстерегала всюду – на дорогах, в лесу, в заброшенном колхозном овине: Обходил разрушенные деревни, скопление немецких войск, как-то удавалось ускользнуть от вражеских патрулей, Господь и Матерь Божия хранили. Однажды в лесу ночью неожиданно наскочил на немецкую часть, уходил долго, гнались с собаками, но ушел. Добрался до фронта, всюду немецкие

части, но все же удалось ночью проползти глубоким оврагом к нашим войскам, где-то в районе Гжатска. Встретил наше боевое охранение, бросился радостный, говорю – ранен под Смоленском, хорошие люди помогли, никто не слушает, связали руки и доставили в особый отдел. Допрашивали три дня день и ночь, не кормили и воды не давали. Вопросы одни и те же: где сдался в плен, кем заброшен, в какой школе Абвера учился, пароли, явки, кто радист? Пытаюсь сказать: ранен, посмотрите ноги – ничему не верят. Плохую службу сослужил пистолет немецкий “Вальтер”, взятый мной для защиты при передвижении по вражеской территории, был для “особистов” одним из главных доказательств, что я заброшенный немцами агент. Конечно, не со мной одним такое было, а со многими сотнями тысяч солдат и офицеров, бывших в плену и перешедших фронт к своим.

Ничего не добившись, направили в “фильтрационный” лагерь, где-то под Рязанью, пробыл там четыре месяца, лишился двух коренных зубов, допрашивали через день, вопросы были те же, что и у “особистов”; особенно усердствовал молодой следователь с “веселыми” глазами, белокурый, с красивым лицом, бил смеясь, весело, неистово ругаясь, и, чем дальше бил, тем сильнее веселее на глазах допрашиваемого. Следователей сменялось много, но фамилию этого запомнил на всю жизнь – Смирнов была его фамилия, и звали его так же, как и меня, – Алексей, и почему-то это его особенно веселило, и он часто повторял, как ему казалось, замечательную шутку: “Алексей Смирнов врага Алешку добьет”. Знал, что грозит мне расстрел, но приговора не зачитывали, а направили в ГУЛАГ сроком на десять лет. Попал на лесоповал, работа тяжелая, голодно, но легче, чем в “фильтрационном”, хотя бы потому, что допросов не было и не били, а только норму выработки требовали – кубометры и кубометры срубленного леса.

Пробыл пять месяцев на лесоповале, вдруг срочно собрали заключенных, бывших офицеров (командиров), посадили в вагон и повезли неизвестно куда, но из окон теплушек вскоре увидели разбитую военную технику, искореженные вагоны, станции, эшелоны с войсками – везли на фронт. Прибыли, высадили из вагонов, повели под конвоем, выстроили и объявили, что мы – бойцы маршевого батальона и завтра нас введут в первую линию обороны – окопы. Огромный был батальон из эсков, все в офицерском звании от младшего лейтенанта до полковника; человек, вероятно, более тысячи собрали – батальон на полк по численности тянул. Раздали оружие, ввели ночью в окопы, а утром раздали патроны, по три гранаты и дали приказ выбить немцев из первой линии обороны, закрепиться, предупредив – отступать нельзя, сзади заградительный отряд с пулеметами, только вперед.

Поднялись и пошли на передний край немецкой обороны, видны проволочные заграждения, высокий земляной накат. Пробежали метров двести, немцы открыли шквальный огонь из автоматов, пулеметов, гранатометов, орудий. Бежал вперед со всеми, мысленно повторяя: “Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного!”. Повторял беспрерывно, других молитв в мыслях не мог держать, ибо эта молитва была краткой, но вмещала в себя смысл и устройство всех молитв к Богу, и, молясь, понимал, что каждое мгновение могу быть убитым, и от дознания этого еще более углублялся в молитву и в то же время видел происходящее вокруг.

В первые минуты немецкого обстрела половина батальона полегла убитыми и ранеными, а кто успел уцелеть и добежать и пытался преодолеть проволочные заграждения – остался висеть убитым на колючей проволоке. Все же часть оставшихся в живых, в том числе я, ворвались в немецкие окопы и в жестокой рукопашной схватке уничтожили немцев, заняли большой участок обороны.

Как только мы заняли немецкие окопы и подавили немецкие огневые точки, пошли армейские части, а нас, эсков, быстро собрали, отобрали оружие, обыскали и отвели в тыл под усиленной охраной. Вероятно, осталось в живых человек не более двухсот. Ввели нас назад – обратил внимание – убитые заключенные лежали головой к немцам, отступать было нельзя, нас ждал пулеметный огонь заградительного отряда. Бой маршевого батальона, состоящего из тысячи эсков, бывших офицеров, был не что иное, как расстрел заключенных. Отдав приказ наступать (не было предварительно огневой обработки артиллерией и бомбовым ударом немецкой обороны), нас послали на верную смерть, мы считались не людьми, а отбросами.

Дней через десять вновь привезли эсков, бывших офицеров (командиров); нас, оставшихся от первого наступления, влили в новый “маршевый” батальон, перебросили на другой участок фронта, где мы пытались занять окопы немцев и подавить огневые точки, но потерпели неудачу, и почти все погибли, я был тяжело ранен, попал в госпиталь, провалялся месяцы на больничной койке, и, что самое для меня главное, мне сделали рентген ног и установили зажившие множественные переломы. Когда я рассказывал хирургам, как меня лечила бабушка Анна, – смеялись и не верили. Рентгеновский снимок ног в дальнейшем мне помог при проверке моей биографии в НКВД.

Вылечили, отправили в штрафной батальон, трижды бросали в бой, дважды остался цел, на третий раз получил пулевое и осколочное ранение, пролежал три с половиной месяца в госпитале, и

направили просто в армию. Воевал как все, демобилизовался из армии лейтенантом в июле 1945 года, приехал в Москву к маме, где жил раньше, прописали не без труда, и стал искать работу. Приду, заполню анкету: в графах – был ли в плену, на вражеской территории, в заключении, в лагерях – пишу, что был. Посмотрят, когда вежливо, и иногда и грубо, дадут отказ. Устроился в промкооперацию счетоводом. Конечно, из армии и как только демобилизовался, писал письма Марфе Павловне, Марьюшке, Петру Сергеевичу и всей душой стремился к ним, но не мог сразу поехать.

Друг мой, с которым учились, работала оборонном “ящике” под Москвой, начальником вычислительного математического отдела, пригласил к себе работать. Пришел в отдел кадров (заявка на меня там была) заполнил анкету, написал длинную автобиографию, долго и, представьте себе, участливо расспрашивали, сказали зайти через три месяца, решил, что “пустой номер”, просто вежливо отказали и устроиться на работу не удастся, потом только узнал – друг мой несколько раз просил обо мне начальника предприятия. Прошел месяц, вызвали в военкомат, в комнату номер 13; пришел в справочный стол, спрашиваю, где тринадцатая. Посмотрел на меня капитан и как-то жалостливо показал, куда идти. Нашел дверь, постучал. “Войдите”. Сидят двое военных в форме НКВД, пригласили сесть, достали две огромные по толщине папки и начали расспрашивать, где родился, учился, армия, часть, когда перебило ноги, и вижу рентгеновский снимок; где перешел фронт, лагеря, штурмовой батальон, штрафной, в общем, все рассказал, даже про бабушку Анну спрашивали и про семью Выропаевых. Спрашивали и на каждый мой ответ смотрели, видимо, документы в папках. Четыре часа допрашивали, иногда предлагали выйти из комнаты, думаю, что звонили по телефону.

Кончили допрос, и один из них сказал: “С документами все совпадает”. Через месяц пришло письмо – явиться в отдел кадров, приняли на работу, где и работал до тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года. Без каких-либо неприятностей и трудностей, и в этом была огромная милость Господа ко мне, грешному.

Пока оформляли на работу, поехал под Смоленск, в “выселки”, к Марьюшке, набрал продуктов в рюкзак и две сумки, мысль только одна: скорее встретиться. Добрался, “выселки” пострадали мало – из сорока дворов сгорело только восемь. Дом Марфы Павловны не пострадал, но обветшал и стал (так мне казалось) меньше. Дверь подперта палкой, хозяев нет дома. Разволновался, спросить некого, даже ребятишек на улице нет. Присел на поленья, волнуясь, жду, время уже к вечеру. Смотрю, идут две женщины, бросился к ним и увидел Марфу Павловну; обнимаю, целую, плачем оба и первый вопрос, где Марьюшка? Где Петр Сергеевич?

Вошли в дом, втащил рюкзак, сумки и бросился расспрашивать. Марфа Павловна сказала: “Разговоры после будут, давай возблагодарим Господа и Владычицу нашу Богородицу, под покровительство Которой вручала тебя и Марьюшку, что сохранила вас”, и стали молиться. Кончили, стала рассказывать Марфа Павловна, а я весь в ожидании Марьюшки, что с ней стало за эти годы? Расставались – было ей шестнадцать лет, а сейчас двадцать один год, все могло случиться. Словно прочтя мои мысли, Марфа Павловна сказала: “Не волнуйся, Алексей – Марьюшка только о тебе думала, все годы ждала”. Услышал шаги, скрипнула дверь, и вошла моя Марьюшка, а я за занавеской притаился, и первые ее слова были: “Мама, от Алеши письма не приносили?”

Лицо, руки у рукомойника вымыла, одернула и встряхнула платье и вечным женским жестом стала поправлять свои волосы, заплетенные в косы. Подошел тихонько, обнял Марьюшку, вздрогнула, испугалась и гневно начала вырываться, обернулась, обхватила меня руками, до боли сжала мою голову и одну фразу шепчет: “Алешенька! Алешенька! Милый, вернулся, вернулся! Благодарю Тебя, Господи! Благодарю Тебя, Матерь Божия!”

Вошел и Петр Сергеевич, радости конца не было, но первые слова его были: “Помолимся Богу!” Постарел, осунулся он, шел ему уже семьдесят первый год. Худой и на вид болезненный. Марфа Павловна приготовила обед, разложила продукты, привезенные мной, сказав: “Алеша! Голодно в деревне, лебеду едят, отнесу кое-что людям, и особенно бабушке Анне, и обедать сейчас к нам позову”. Отобрала, что нашла нужным, а мы трое остались и стали рассказывать и расспрашивать друг друга. Вскоре пришли Марфа Павловна и бабушка Анна, пообедали и почти до ночи проговорили.

Через два дня пошли с Марьюшкой в сельсовет, зарегистрировали брак и возвратились в “выселки”. Но это был формальный брак, необходимо было обвенчаться в церкви, и только тогда станем мы мужем и женой. Зарегистрированный брак отпраздновали пирогом и позвали бабушку Анну. Прошло почти пять лет, много бед перенесла она, убило двух сыновей, погибла при пожаре дочь с двумя детьми, сгорел дом, но не изменилась бабушка – доброжелательная улыбка часто

появлялась на лице, была приветлива и добра. Несколько раз я привозил ее к нам в Москву, и в доме становилось радостнее и светлее от хрупкой маленькой старушки.

Прожил пять дней и увез Марьюшку в Москву, радостный, счастливый, благословляемый Петром Сергеевичем и Марфой Павловной. Много перенес трудного, всю войну стоял лицом к смерти, но самый большой удар получил по приезде домой. Приехали, переполненные счастьем взаимной любви, вошли в комнату (мы жили в коммунальной квартире), кричу: “Мама, мама! Жену привез Марьюшку, посмотри на мою красавицу!”, а Марьюшка и впрямь красавица, каких не сыщешь, и на лице столько приветливости, очарования и внутренней привлекательности, глаз оторвать нельзя. Конечно, одета по-крестьянски: платок на голове, кацавейка колхозная, башмаки грубые.

Встала мама. Подошла к нам, оглядела Марьюшку холодно, спокойно и вместо радостного приветствия неожиданно сказала: “Ты что, не понимаешь? Деревню в дом привез, в Москве интеллигентную найти не мог?”, – и, не поздоровавшись, вышла из комнаты. Растерялись мы, больно задела меня и Марьюшку сказанные с презрением и злобой слова, и, главное, непонятно – почему? Мама знала, что я ехал за Марьюшкой, знала, что эта семья выходила и спасла меня. Знала. Невзлюбила мама Марьюшку, так невзлюбила, что жизнь стала невыносимой, слышались замечания, осуждения, злобно сказанные слова.

Марьюшка на любые мамины слова не отвечала, мысленно молилась, выполняя все, что требовала мама. Я уже работал в “ящике”, а Марьюшка поступила в вечернюю школу в восьмой класс. Прожили четыре месяца, и увидел: так жить нельзя. Пытался несколько раз поговорить с мамой, но, кроме оскорблений и поношений Марьюшки и меня, ничего не услышал. Что произошло с мамой – не понимал, всегда видел в ней глубоко верующего человека, отзывчивого и доброго, а сейчас?

Знал, что была духовной дочерью отца Арсения. Где он был в 1945–46 гг, никто не знал, говорили – расстрелян или умер в лагере. Переговорил с Ниной Александровной, Верой Даниловной, Юлией Сергеевной, Наталией Петровной, друзьями мамы по общине. Рассказал о нашей обстановке, познакомил с Марьюшкой, полюбили они ее, и даже какое-то время жили мы у Ирины Николаевны. Переговорили они с мамой, но она еще больше озлобилась.

Не понимал отношения мамы, озлобленности и видел, что сейчас ничто не изменит ее. По приезде в Москву мы обвенчались на квартире Ирины Николаевны, венчал приехавший из Костромы отец Евгений, в прошлом один из братьев общины, ставший иереем и при патриархе Алексии служивший уже в церкви. Прожили почти семь месяцев в атмосфере полной ненависти, и чем дальше, тем становилось хуже. Жить вместе стало невозможно. Поехали в Мытищи, с большим трудом сняли комнату, отдали деньги за два месяца вперед, собрали вещи и сказали маме, что завтра уезжаем, тебе без нас будет легче.

“Скатертью дорога”, – ответила она. Отпросился с работы, встали утром, уезжать надо. Мама лежит и бредит, смерили температуру – 40,6°C, где тут об отъезде думать! Три месяца проболела мама, двухстороннее воспаление легких, грипп с какой-то латинской буквой, тяжелое осложнение на почки. Выходила ее Марьюшка, а лечили Ирина Николаевна и Юлия Сергеевна, они доставали антибиотики и пенициллин, которые тогда было трудно достать. Днем и ночью дежурила Марьюшка и при этом продолжала учиться. Поправилась мама, но еще больше озлобилась на меня и Марьюшку. Поговорил со своей сестрой, и вторично поехали в Мытищи, сняли другую комнату и решили в воскресенье утром уезжать, в пятницу утром мама ушла, предупредив, что придет в воскресенье. Сказал, что уезжаем, но в ответ ничего не услышал.

Поехали в церковь в Донской монастырь (малый собор Покрова Богородицы), храм почему-то открывался редко и в основном по большим праздникам, мы всегда старались приходить сюда, потому что молиться было, особенно у гробницы патриарха Тихона, благостно. Спокойствие и умиротворенность сразу охватывали душу – в этом храме мы отдыхали от забот, тревог и словно уходили в другой мир, оставляя все житейское.

Домой шли пешком, путь был далекий, шли и молились, изредка говорили о завтрашнем дне, и опять каждый из нас молился про себя. Дома молиться не могли, мама отказалась молиться вместе, а когда мы начинали молиться вслух, мешала нам.

Наступило воскресенье, мама пришла растерянная, отрешенная, нервно подергивая плечами, стала переключать какие-то книги и, когда мы стали прощаться и я попросил благословить нас, резко обернулась, пошла к Марьюшке, и у меня мелькнула мысль: сейчас ударит.

“Вон из моего дома, и никогда больше не приходите!”. Мы ушли подавленные и ничего не понимающие. Вот так сложилась наша жизнь. Год прожили в Мытищах, два раза переезжая на другие квартиры, потом, по милости Господней, предприятие, где работал, дало однокомнатную

квартиру в Москве – в то время это было подлинное чудо. Марьюшка и я тосковали по Марфе Павловне и Петру Сергеевичу, несколько раз ездили в деревню, жизнь там была голодной и тяжелой: все, что колхоз выращивал, государство отбирало.

Надо было увозить Марфу Павловну и дедушку. Понимали, сложно будет жить вчетвером в однокомнатной квартире, а еще более сложно с пропиской в Москве. Однако и здесь проявилась Милость Божия, наше учреждение построило под Москвой несколько домов, кому-то из работников министерства (мы входили в его подчинение) понадобилась однокомнатная квартира в Москве, и мне предложили две комнаты в трехкомнатной квартире в новых домах. Согласился, прожили год, но почему-то за это время никого не вселяли. Помолились мы с Марьюшкой, и решил пойти на прием к нашему генеральному директору. Попасть было трудно, но меня принял. Рассказал, что хочу привезти из деревни мать жены и деда, комната в квартире пустует больше года. Выслушал благожелательно, сказал: “Посмотрим”. Решил, что ответ начальства “посмотрим” означает вежливый отказ, но через неделю позвонили из жилотдела предприятия и сказали зайти за ордером. И то, что принял меня “генеральный”, и то, что получил комнату, было великой милостью Господа.

Поехали за Марфой Павловной и Петром Сергеевичем. Петр Сергеевич лежал больной, состояние было крайне тяжелым, о переезде в Москву не приходилось и думать, мне пришлось уехать, Марьюшка осталась в деревне – благо были у нее летние каникулы. Через четыре дня получил телеграмму: “Дедушка умер”.

Тяжко было на душе, умер замечательный, глубоко верующий человек, воспитавший в вере Марфу Павловну, Марьюшку и оказавший на меня большое влияние. Горе Марфы Павловны, Марьюшки и мое трудно выразить даже теперь, через много лет. Похоронили Петра Сергеевича, надо было увозить Марфу Павловну, пришел к председателю, прошу отпустить, отвечает: “Людей в колхозе нет – не могу”. Говорил я долго, он упорно отвечал: “Не могу”. Но потом откровенно сказал: “Аккордеон и часы наручные принесешь – отпущу и справку дам”. Поехал в Москву, достал трофейный аккордеон, часы купил. Выдал справку и паспорт председатель, и увез я Марфу Павловну к нам домой.

Боже мой! Как тяжело расставалась она с домом, усадьбой, могилой Петра Сергеевича, слез пролила много. Приехала Марфа Павловна, и вместе с ней вошли в наш дом радость, свет и духовное умиротворение с глубокой молитвой, даже отношения с мамой перестали казаться безысходными и трагичными.

Вначале звонил маме домой каждый день, сказала, чтобы больше не звонил, стал звонить один раз в неделю; услышав мой голос, не отвечала, бросала телефонную трубку, о жизни мамы узнавал от сестры, которая к Марьюшке относилась хорошо.

Прошло два года, Марьюшка экстерном (за один год) сдала все экзамены, получила “аттестат зрелости” и в этот же год поступила в Первый медицинский институт – конкурс был огромный, но сдала экзамены с превышением на три балла, в этом проявилась великая милость Божия; если говорить откровенно, трудно было понять посторонним людям, почему простая крестьянская девушка за год одолела три класса средней школы и блестяще выдержала экзамены в медицинский институт, но я знал свою жену, знал ее целеустремленность, работоспособность и неукротимое желание стать врачом и помогать человеку.

Марфа Павловна быстро освоилась в Москве, первый выход ее после приезда был в ближайшую церковь, пошли мы все трое. Боже мой! Сколько радости и счастья было на ее лице, когда мы отстояли литургию и она исповедовалась и причастилась после долгих-долгих лет отрыва от церкви при жизни в деревне. Я и Марьюшка рассказали Марфе Павловне об отношениях, сложившихся с моей мамой, и о том, что никакие просьбы и уговоры не дали нам возможности изменить ее взгляд на нас обоих.

Марфа Павловна молча выслушала и сказала: “Господь милостив, со временем пройдет это наваждение. Молиться будем Матери Божией, просить Ее о помощи. Мать у тебя, Алексей, очень хорошая, но пелена гнева заслоняет ей сейчас любовь к тебе, и ревность материнская заставляет ненавидеть Марьюшку”.

Прошло более трех лет, с тех пор как мама отошла от нас; переживал, но сделать ничего не мог, в воскресенье, 21 сентября, в день Рождества Богородицы были в церкви в Москве, приехали домой часов в 12 дня, и каждый занялся своим делом: Марьюшка занималась, я что-то мастерил, Марфа Павловна читала книгу Игнатия Брянчанинова и, когда что-либо не понимала, задавала вопросы – как мог, отвечал. Раздался звонок, дверь пошла открывать Марфа Павловна, в передней слышались голоса, открылась дверь. Вошла мама, улыбающаяся, радостная.

“Я только что от обедни. Здравствуйте, с праздником”, – и, подойдя к Марьюшке, обняла и несколько раз поцеловала, тихо опустилась на колени, низко склонив голову к полу, сказав: “Прости

меня, грешную, перед Богом и тобой виновата. Прости”. Марьюшка растерялась, поднимает маму и вдруг заплакала, мама еще раз обняла ее, подошла ко мне и так, как делала всегда, перекрестила и так же поцеловала и, обернувшись к Марфе Павловне, произнесла: “Спасибо, что спасли Алексея, выходили. Спасибо и покойному Петру Сергеевичу, и тебе, Марьюшка”. С этого дня жизнь изменилась, мама стала той, прежней, которую знал всю жизнь. Особую заботу и нежность проявляла к Марьюшке, а отношения с Марфой Павловной сложились удивительно дружеские, словно всю жизнь были друзьями, и вера в Бога объединяла их.

Прошли годы. Марьюшка в 1952 г, закончила мединститут, в это время ей было уже 26 лет, и в этом же году родила двойняшек, дочь назвали Марией, сына – Петром, ребят сразу взяли под опеку обе бабушки. Марьюшка начала работать врачом под руководством Ирины Николаевны (профессора и доктора медицины), нашего доброго друга, духовной дочери отца Арсения, я продолжал работать в своем “почтовом ящике”, занимаясь сложнейшими математическими проблемами, но Марьюшка по “ученым степеням” давно обогнала меня.

Дети выросли, дочь вышла замуж за биолога, который вскоре стал священником, сын также давно женат и работает математиком – специалистом по вычислительным машинам. Растут четверо внуков – две девочки, два мальчика. Дети и внуки воспитаны в вере, знают церковные службы, читают Евангелие, и все вложено в них Марфой Павловной, мамой, Марьюшкой, ну и, конечно, мной.

Я перечислил почти все, что произошло со мною. Не судьба, не случай, как часто говорят многие люди, не знающие Бога или не до конца познавшие Его, чудо, великая милость Господа Иисуса Христа и заступничество Матери Божией и святых все время охраняли меня, спасали и укрепляли в вере;

Мама моя умерла в 1979 г., но мы никогда не узнали, почему она вдруг невзлюбила Марьюшку и меня, и не задавали вопросов, молча обходя эту тему. Вероятно, было это необходимо маме для осознания, следует ли она заповедям Божиим о любви к ближнему, для последующего смирения и победы над собой. Старенькая стала Марфа Павловна, но сохранила память, трезвый ум и читает без очков, много молится и редко-редко когда пропускает церковные службы; внуки и правнуки идут к ней за советом и утешением.

Прочтя воспоминания, многие удивятся, что в них ничего не написано о нашем старце, иеромонахе отце Арсении. Это объясняется тем, что в 1984 году мне на хранение были даны воспоминания о нем (тогда мы боялись, что их найдут, потому что многое из написанного стало появляться в самиздате без ведома живущих духовных детей отца Арсения), и они пробыли в нашей семье почти пять лет, с разрешения М. А я прочел написанное и понял: мне ли писать об отце Арсении, когда духовные дети, знавшие его десятки лет, настолько полно и подробно рассказали о великом молитвеннике, о его жизни, духовности, старческом подвиге, любви к людям, – что мог добавить я, приезжавший на один день, а иногда и вечер – получить совет, благословение или принести покаяние? Поэтому, несколько раз переделывая свои воспоминания, решил не писать об о. Арсении, полагая, что все лучшее и необходимое люди найдут в прекрасно написанных воспоминаниях его духовных детей и сподвижников.

Скажу только, что поражало меня всегда его проникновение в душу, сердце человеческое; говоря с о. Арсением или рассказывая о себе, понимал – он уже знает, что хочешь сказать, знает о твоём горе, несчастье, страданиях и, может быть, уже знал, когда ты только вошел к нему. Милость Господа осеняла его и давала дар прозорливости, и это пришло через великие страдания, глубокую постоянную молитву, растворение в любви к человеку и то, что многие десятилетия горести, обиды, печали, несчастья, смерть тысяч людей проходили через его душу и он принимал все это на себя, сопереживал и страдал вместе с тем, кто пришел к нему, и находил необходимый для этого человека ответ. Соединившись с милостью Господа, все это дало о. Арсению дар прозрения души человеческой.

Великая благодарность всем тем, кто помогал мне в моей тяжелой тогда жизни, и всем, кто после войны опекал, молился за Марьюшку, меня и семью нашу. Благословение Господа да снизойдет на них, и Матерь Божия да поможет им.

Алексей.

Из архива В. В. Быкова.

СЛЕДОВАТЕЛЬ

Приходили дни, когда прошлое властно вторгалось в мою жизнь, оно ощутимо вставало рядом и заставляло до мельчайших подробностей вспоминать ушедшие в небытие годы.

Обыкновенно в эти дни одолевала бессонница, она, словно назойливая сиделка, располагалась около меня, и ничто не давало возможности избавиться от нее, и тогда в середине ночи вставала, усаживалась за письменный стол, брала тетрадь и начинала писать. Сквозь легкую дымку забвения постепенно вырисовывалось прошлое, вначале события, лица близких и дорогих людей, потом это объединялось в бесконечную нить ушедшей жизни, исчисляемой многими годами, и в эти минуты хорошее и плохое становилось на свои места.

Шел год жестоких церковных репрессий – год 1932, только что освобожденного отца Арсения опять арестовали и выслали на север на пять лет. Одновременно взяли 6 человек братьев и сестер общины и выслали двоих на пять лет в Караганду, а четырех человек в лагерь на срок от трех до пяти лет. Это было время, когда каждый из нас ждал ареста, ждал своей очереди. Мы много молились по завету о. Арсения, собираясь по несколько человек у кого-нибудь на квартире (церковь нашу закрыли), иногда приходил священник, и тогда совершалась литургия, мы исповедовались и причащались, все делалось тайно. Отец Арсений присылал с оказией короткие письма, наставляющие, поддерживающие и утешающие. Получение письма было огромной радостью для каждого из нас. Постоянно кто-то из сестер общины жил у него в том селе, городке или деревне, но более шести месяцев на одном месте жить не давали, каждый раз, направляя в более суровое место, особенно было трудно зимой и ранней весной, когда сообщение прерывалось.

Аресты в Москве шли волнами с промежутками один, два месяца. Наступала ночь, и каждый из нас думал, что, может быть, сегодня придут за ним, кулек вещей на случай ареста всегда лежал собранный. Ночной звонок или резкий стук в дверь говорил “пришли”, и вот 18 марта 1932 г., пришли за мной.

Обыск, арест, внутренняя тюрьма на Лубянке, дни, проведенные в камере, допросы, Бутырки и Следователь, допрашивающий меня, отчетливо возникают в ночных воспоминаниях. Не удивляйтесь, что слово Следователь пишу с большой буквы.

Обыск комнаты, тщательный, долгий, грубый. Выброшены на пол из шкапов: книги, бумаги, фотографии, перетряхнуты и смяты вещи, испуганные лица мамы, сестры, отца, составление протокола с указанием изъятого: Евангелия, писем (было указано “бумаг”) религиозного содержания. Мои письма, написанные маме еще начиная с детских лет, назвали “бумагами религиозного содержания”. Я отказалась подписать протокол, Подписали понятия – дворник Хабардинов и трясущаяся от страха соседка-старушка.

Тягостное прощание с родными, разрывающие сердце слезы на лицах, грубые окрики охраны: “Быстрее, не канительтесь, ничего не передавать! Быстро! Пошли!” Мама крестит на прощание и плачет, плакала и я, но пыталась сдерживаться. Уходишь, возможно, навсегда, живая, но уже заживо похороненная, полная страха перед ожидающими тебя допросами, тюрьмой, лагерем. На улице еще снег и холод, темно (четыре часа утра), внутренняя тюрьма на Лубянке, унижительный обыск ведет мужчина, хотя здесь же в “приемной” сидят женщины из охраны, одетые в форму. Тупые, безразличные лица, смотрящие на тебя, словно на вещь, не понимающие, что ты человек. Пытаюсь возражать, прошу, чтобы обыскивала женщина. Отвечают, “женская охрана занята”. Отбирают шнурки, гребенки, тесемки и даже заставляют снять лифчик, потому что там есть тоже тесемки. Идем длинными извилистыми коридорами, всюду яркий, ослепительный свет. Скупые многозначительные наставления о поведении в камере, слышатся только “нельзя, запрещено, нельзя”. Бесшумно открывается дверь в камеру, в ней уже кто-то есть. Дверь закрылась, и я растерянно стою около пустой койки. Соседка по камере начинает жадно расспрашивать, что происходит сейчас в Москве. Проходит день, два, три; на допрос не вызывают, “глазок” в двери почему-то страшен, кажется, за тобой беспрерывно наблюдают. Знаю, мне обеспечен лагерь или ссылка, но больше всего боюсь допросов.

В год, в который меня взяли, обычно давали пять лет лагеря или ссылки, в другие годы “мера пресечения” могла быть больше. Больше всего пугал допрос, он страшен неизвестностью, неожиданностью вопросов, направленных на оговор, близких людей, издевательствами, унижением человеческого и женского достоинства, физической болью. Самое ужасное, если физическая боль и издевательства сломят меня, заставят оговорить, предать родных, друзей, духовного отца. Возможно, заставят “признаться”, что являюсь участником какой-нибудь религиозной организации, борющейся против власти.

Все свои силы обратила к молитве, почти беспрестанно взывая к Матери Божией, умоляя Ее укрепить и поддержать меня, с соседкой по камере говорила мало, она обижалась, но я молилась и молилась. Прошло дней десять, дни считаем по приносимым обедам, в камере окон нет, но постоянно горит яркий свет. Иногда из коридора раздается ужасающий вопль: “Больно! Не бейте, все расскажу”, – слышно, как кого-то волокут, и опять тишина. Возможно, ведут на допрос, а может

быть, просто устрашающая провокация. На десятый день вызвали на допрос, вели долго коридорами, поворачивающими то налево, то направо. Двери, двери и двери, в одну из них конвойный постучал, глухо прозвучало “войдите”. Вошли; не поднимая головы, за столом сидел пожилой человек, конвойный доложил, следователь продолжал листать папки, лежащие на столе, и о нас словно забыл.

Папки с делами все листались и листались, я стояла и молилась Божией Матери.

Следователь, наконец, поднял голову, с удивлением посмотрел на конвойного и меня, сказав: “Вы что же не доложили, что привели арестованную?” – “Докладывал, вы ничего не ответили”. Конвойный ушел, следователь сказал: “Садитесь”, – и опять продолжал просматривать дела, прошло, вероятно, более получаса, я молилась, и в то же время мелькнула мысль: это новый устрашающий прием допроса. Вчитавшись в одно из дел, поднял голову, посмотрел на меня и началось: фамилия, имя, отчество, год рождения? Я ответила, порылся в папках и достал мое дело, тоненькую папочку, и стал просматривать вшитые в нее документы.

“Не жирно, не жирно на тебя подобрали”, – сказал следователь, внимательно посмотрев на меня. “Мать, отец есть?” – Ответила: “Да”. Лицо следователя было усталым, глаза воспаленные, видимо, он систематически недосыпал.

“Что же мне с тобою делать? Двадцать четыре года, столько моей старшей дочери было, в церковь ты ходила, молилась, а когда закрыли, группами стали молиться, и даже обедню иногда дома священники у вас служат, благо двое еще где-то скрываются. Твоя группа из восьми человек”, – заглянул в папку и назвал фамилии и имена. “Собирались почти всегда у Швыревой, реже у Слонимской, подтверждаешь?” Я молчала. “Слушай, Ия, – произнес следователь, – признаешь, не признаешь, срок тебе обеспечен”. Я молилась, возможно, губы мои шевелились или внутреннее переживание отражалось на лице, но лицо следователя стало мягким, доброжелательным и как бы засветилось. “Новый прием следствия, – подумалось мне, – говорит мягко, а потом бить будет”. Но следователь по-прежнему задумчиво смотрел на меня. Я продолжала молиться.

Следователь встал, подошел ко мне и с оттенком грусти сказал: “Молишься! Все вы на допросах молитесь, знаю. Ну! Скажи: молишься и, конечно, меня боишься?”

И я ответила: “Молюсь и боюсь вас”. Вдруг почувствовала, что рука его ласково погладила меня по голове. “Что это?” – подумалось мне, и я сжалась, ожидая удара, пощечины, но произошло удивительное, взяв мое лицо своими руками, пристально взглянув в глаза, сказал: “Не бойся, не все следователи бьют”, – и отошел к столу.

“Дело твое, Ия, дрянь! Заранее тебе определено восемь лет лагеря, вот смотри, начальник отдела написал: “Меру пресечения всем арестованным – восемь лет лагеря за религиозную антисоветскую деятельность”, – и я увидела приколотый скрепкой листок блокнота с текстом, который прочел следователь: “Забудь о том, что тебе сказал и показал”, – я кивнула головой. “Что делать будем? Ты подумай, с кем боретесь – с ОГПУ; вы дилетанты, хотите скрыть, утаить, конспирацию липовую разводите, кустари-одиночки, а вам противопоставлен огромный аппарат, слаженный, вооруженный технически, имеющий неограниченные людские резервы, в вашей среде работают наши люди, при этом верующие, но с душой запуганных зайцев. Нам действительно все известно, или почти все. Эх! Ия! Ия! Дети вы, а у нас жесткий, собранный аппарат.

Думаешь, хочу обмануть, признание получить и тебя под лагерь подвести, и в камере об этом думать будешь. Зачем рассказываю? Жалко тебя, девчонка еще, на дочь Зинаиду погибшую похожа. Давай прикинем, что мне с тобой делать? Незачем в лагерь попадать, пропадешь, замордуют, занасилуют – пропадешь”. Следователь задумался, я молилась Матери Божией, прося отвести от меня его козни, не верила ни одному сказанному слову. Думала – обыкновенная уловка при допросе, но не понимала, чего он хотел.

“Вот что сделаю: твое дело от общей записки начальства отколю и пушу тебя по отдельному делу, без группы, это, голубушка, года три высылки, а не лагерь с уголовниками и работы на сплаве леса. Смотрю на тебя и вижу – не веришь, и я бы на твоём месте не верил. Разговоры – разговорами, а протокол допроса писать надо. Сиди и молись, а я писать буду”.

Вероятно, писал около часа, изредка поднимал голову и смотрел на меня, лицо у него было усталое, утомленное, благожелательное и в то же время лицо мужественного человека. Меня не оставляла мысль: “Почему он так странно ведет себя со мною, ведь это же зверь, наверняка зверь, раз работает следователем, поведение его лицемерно и подло”.

“Читай!” – и протянул мне протокол допроса, внимательно прочла. Помнится, в нем было написано: “Обвиняемая (возможно, не обвиняемая, а подследственная – сейчас точно не помню) показала, что является верующей-сектанткой, имела на дому религиозную литературу, которая конфискована, в найденных бумагах выражала свои религиозные взгляды, общее количество изъятых

документов...”, протокол был длинным, запомнилось главное, был составлен по типу вопрос-ответ, об общине и группе не упоминалось. Вопросы и ответы были придуманы следователем и, как и протокол, носили какой-то общий характер. Прочла и сказала: “Евангелие и письма разве являются религиозными документами?”

Следователь даже вспыхнул: “Ты что думаешь, я тебя невинным членом партии должен изобразить? Если не напишу, что прочла, то выпускать тебя надо, начнут копать, поставят дело на специальный досмотр – почему арестована? А раз арестовали, то, значит, виновата, скажут – следователь бдительность потерял, присоединят тебя к группе и в лагерь, а меня за потерю чекистского чутья с работы снимут и допрашивать, как тебя, начнут. По этому протоколу в общей безликой массе подследственных пройдешь, дадут начальству общий список подписать, никто ничего не заметит, сейчас массовые аресты идут. Поняла?”

Конечно, поняла и подписала “свои” показания. “Слушай, – сказал следователь, – забыл представиться, дело твое ведет следователь Василенко Владимир Павлович, подследственный должен помнить фамилию человека, ведущего его дело. Дня через три переведут в Бутырскую, на второй допрос вызову на двенадцатый день, меньше двух допросов нельзя провести. Иди, девочка, с Богом, языком не болтай, он многих людей к нам привел. Людям верь, но помни: подлецов вокруг нас много. Передачу продуктовую и вещевую разрешу, в тюрьме себя соблюдай, молода, все в жизни обойдется”.

Ушла от следователя, а мысли в голове: “Странный человек, не поддавливает он меня?” На третий день перевели в Бутырки, получила продуктовую передачу и вещевую, на двенадцатый день вызвали ночью на допрос к Василенко, встретил приветливо, спросил, освоилась ли в тюрьме, и стал писать второй протокол допроса: “Прошлый раз тебе все рассказал, сиди и молчи, и, конечно, молиться будешь”. Протокол писал долго, вдруг без стука открылась дверь, по шагам поняла, вошло несколько человек – сидела спиной к двери.

Василенко вскочил, крикнул мне: “Встать!”, и по стойке “смирно” отрапортовал: “Докладывает следователь Василенко, товарищ, – и далее назвал высокий чин для работников ОГПУ, – ведет допрос сектантки Хохловой, следствие заканчивается, необходимые показания получены, вещественные доказательства, изобличающие ее деятельность, приобщены к делу”.

Начальствующий голос сказал: “Необходимое взбадривание для ускорения следствия применяете?”

“Применяю, товарищ”, – и далее следовал ранг и фамилия вошедшего. “Продолжайте!” – последовал ответ, и начальство вышло. Василенко сел и продолжал писать протокол; закончив, дал прочесть – построенный на вопросах и ответах протокол растянулся на несколько страниц, я подписала его – от первого он отличался мало, но был длинен и подробен.

“Вот и все, Ия, – сказал Василенко, – главное отколоть тебя от группы, превратить твой арест и высылку в обыкновенную профилактическую операцию по очищению социалистического общества от вредных элементов. Возможно, тебя и вспомнят при проведении следствия по другим арестованным, но ты срок уже получила, и тебя больше не тронут. Сколько таких, как ты, через наш аппарат проходят, представить себе не можешь! Прощай, голубушка! Думаю, все у тебя хорошо будет, молодая. Напоминаешь дочь Зинаиду – в горах погибла. Не забывай, вспоминай нас обоих. Прощай!” Крепко пожал руку и, чуть-чуть касаясь волос, провел рукой по голове, тяжело вздохнул и вызвал конвойного.

Пробыла несколько дней в Бутырках, в пересыльной тюрьме, был этап, ссылка в Караганду, жила на вольном поселении, работала, часто увольняли за то, что ссыльная, потом опять брали на работу, жилось голодно, но мама присылала посылки, и жить было можно.

Все, кто был арестован со мной по бывшей общине, получили от пяти до восьми лет лагеря, только Клавдия Викторовна и я получили ссылку, она за преклонностью возраста – пять лет, а я, благодаря милости Божией, явленной через следователя Василенко Владимира Павловича, только три года.

Действительно, великую милость проявил ко мне Господь – в месте, где никто и никогда не давал пощады, нашелся человек, проявивший милосердие, доброту. Человек, с которым никогда не пришлось больше встретиться. Все же однажды встреча произошла, но, к сожалению, заочно, через тридцать пять лет. Работала в большой библиотеке, фамилия давно стала не Хохлова – другая, более тридцати лет была замужем, ссылка забылась, но следователя Василенко Владимира Павловича и Зинаиду, его дочь, помнила всегда, молилась за них. Пришлось мне довольно долго работать с милой женщиной, Светланой Владимировной Швырковской. Мы подружались, невольно о многом говорили, и она стала постепенно рассказывать о своей жизни, о детстве, матери, но об отце

совершенно не упоминала. Знакомство перешло в дружбу, и постепенно мы хорошо узнали друг друга, и стали они бывать у нас, мы тоже приезжали к ним.

Однажды мой муж заговорил о тысяча девятьсот тридцать третьем, тридцать четвертом годах, культуре личности, и Светлана Владимировна сказала, что ее отец в эти годы работал в ОГПУ, потом в НКВД и в 1936 году был расстрелян за потерю бдительности, а ее с матерью выслали в Сибирь.

Слушая Светлану, почему-то спросила: “Не было у вас сестры Зинаиды, погибшей в горах в 1931 году, и не было ли отчество отца Павлович, фамилия Василенко?” Светлана Владимировна разволновалась, спросила, откуда мне это известно, и я рассказала о встрече с ее отцом, допросе, протоколе, как вел следствие по моему делу и спасал от лагеря.

“Да! Да! Папа был такой. Он очень мучился происходящим в те годы, возмущался, пробовал говорить начальству и даже написал докладную в ЦК партии и руководству наркомата. Вскоре его арестовали и расстреляли. Конечно, в 1956 г. посмертно реабилитировали, маме и мне разрешили вернуться в Москву и даже дали двухкомнатную квартиру”.

Вот и все, что хотела рассказать о своей встрече со “странным”, как мне тогда казалось, Следователем.

Неисповедимы пути твои, Господи! Добавлю только, что Светлана Владимировна и ее мать, оказывается, еще в ссылке в Сибири пришли к вере. В 1962 году подробно рассказала об этом допросе о. Арсению, он сказал: “Напишите”

Отрывок из воспоминаний Ии Сергеевны.

Из архива Т. Н. Каменевой.

ВОСПОМИНАНИЯ А. Ф. БАТУРИНОЙ (ОТРЫВОК ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

Еще за несколько лет до кончины отца Арсения многочисленные воспоминания его духовных детей широко распространились в самиздате среди верующих, полюбились, стали чем-то родным и близким. Несмотря на то, что он говорил, что воспоминания об общине могут быть прочтены только после его смерти, все же многое из написанного неизведанными путями появилось на руках читателей еще при его жизни, и это огорчало его.

Воспоминания об о. Арсении, его духовных детях, общине являются бесценным духовным наследием, оставленным нам, живущим. Мы, знавшие его и духовно росшие под руководством отца Арсения, рано или поздно уйдем (многие уже ушли) в мир иной, а написанное, возможно, останется и согреет душу человеческую. Мои воспоминания вряд ли добавят что-либо новое, тем более что в основном пишу о людях, окружавших его, и об их пути ко Господу. Случилось многое, помешавшее мне написать свои записки при его жизни. Время сделало свое, я стала очень старой, больной, но память Господь сохранил.

Временами приезжаю с внучкой в город, где провел 17 лет своей жизни наш батюшка – старец, иеромонах отец Арсений, вхожу в домик Надежды Петровны – она еще, слава Богу, бодра и здорова – горячая волна воспоминаний охватывает душу, все как при нем: комната, где он жил, иконы, горящие лампадки, кресла, книги, диван, на котором он отдыхал, окно в любимый им сад. Глубокая грусть и в то же время состояние благодати, ощущение незримого присутствия о. Арсения наполняют душу. Здесь он, он с тобой!

Иду на кладбище; на небольшом гранитном камне, привезенном из Москвы, высечена надпись:

Отец Арсений

1894–1975

Мы долго размышляли, надо ли написать “иеромонах” (так, конечно, было бы правильно), но для нас, его многочисленных духовных детей, был он отцом Арсением, и слова на могильном камне утверждали это. Мирское имя, отчество и фамилию также решили не писать. Вероятно, пройдут долгие годы, и когда-нибудь подлинными именами тех, кто писал воспоминания о себе и других, будут восстановлены нашими детьми, сейчас еще не время, слишком все еще опасно.

Я, вероятно, одна из первых духовных детей о. Арсения, которая пишет свое настоящее имя и фамилию – слишком стара, и Господь скоро призовет к Себе.

А. Ф. Батурина.

Из архива Т. Н. Каменевой.

СЕЛО КРЯЖИ

Выслали меня на три года в глухое северное село на Урале. Высокие заборы, крепкие ворота, ставни на окнах, собаки во дворах, словом, каждый дом – крепость.

Стучись, проси, умоляй – ворота, дверь не откроют, не пустят даже во двор. Идешь по улице, встречаешь человека – не взглянет на тебя, только собаки заливаются за заборами. Но все это узнала только после приезда в село.

По направлению районного НКВД определили мне место ссылки – село Кряжи.

Зарывшись с головой в сено, ехала на санях по скалистой снежной дороге к месту своего назначения, сильно мерзла.

Возчик всю дорогу молчал и только раз сказал:

– Тяжело тебе будет, село неприятное, чужих не любят, как жить-то будешь?

Ответила: – Бог поможет.

– Бог-то Бог, да сам будь неплох, – ворчливо проговорил старик. Пыталась расспрашивать, задавать вопросы. Ответил два-три раза: “Угу”, – и замолк. Так я ничего и не узнала про село или деревню, куда ехала.

Утром въехали в село.

– Твоя, девка, деревня, слезай!

Слезла, взяла мешок с вещами. Морозно, по земле мела поземка, где-то истошным лаем заливались собаки. Вдоль длинной улицы растянулись дома, пустынно. Лишь вдалеке женщина несла на коромысле от колодца ведро с водой.

Попыталась догнать, женщину, но она скрылась за заборами, улица опять стала безлюдной. Постучала в одни ворота – не открыли, во вторые, третьи, десятые – в ответ на мой стук за заборами злобно лаяли собаки. Иду, стучусь, – село словно мертвое; из труб над домами поднимается дым – топят печи, но никто не показывается, безлюдно.

Прошла село, пошла обратно, увидела у колодца женщину, подошла к ней, спрашиваю, где можно остановиться.

Окинула меня взглядом, опустила голову, набрала в ведра воды, медленно надела их на коромысло и пошла, ничего не ответив. Отойдя шагов двадцать, обернулась и сказала:

– Чужая ты, не пустят.

Пошла я в другой конец села, и также никто не пустил меня в дом. Замерзла, устала, вернулась к колодцу, присела и жду – может быть, подойдут, спрошу. Подходило несколько женщин, спрашивала, и все отвечали – не знаем. Опять пошла вдоль деревни. Редко встречающиеся прохожие сворачивали в небольшой проход между заборами. Повернула в проход и увидела деревенскую лавку, отворила дверь, напугавшую меня пронзительным визгом, и вошла.

Ни покупателей, ни продавца не было. Громоздились ящики, бочки, ведра, висели косы, серпы, на прилавке лежали куски материи.

Осматривая лавку, жду, когда появится продавец. Стою пять, десять минут не двигаясь, никого нет. Крикнула:

– Кто-нибудь есть?

И вдруг рядом со мной раздался голос:

– Ну! Чего кричишь? Не видишь, что ль? Сижу, смотрю на тебя, чего пришла?

И действительно, на расстоянии метра от меня, между ящиками сидел мужчина, фигура которого сливалась в полумраке лавки с бочками, ящиками, товарами.

Рассказала – ищу квартиру, спрашивала, но все встреченные отвечают “не знаю” или молчат, даже обогреться в дом не пускают, деваться мне некуда, а жить направили в село.

– Чужих не любят, жить к себе не возьмут.

– Что же мне делать, куда деваться?

Дверь отчаянно завизжала, вошел покупатель, о чем-то поговорил с продавцом, купил и ушел, а я продолжала стоять посередине лавки.

– Садись на ящик, подумаю.

Села на ящик и стала молиться Пресвятой Богородице.

– Не пустят наши, куды тебе деваться – ума не приложу. Может, Яковлевых спросить, да снохато у них норовистая. Другие не возьмут. Может, к себе пустить, я-то с сестрой, Анной, живу. Тебе и работа нужна, а мне позарез счетовод нужен, ты, видно, городская, на счетах щелкать умеешь, да и грамотная. Ссылная ты, участь твоя погибельная, защиты ни от кого нет, тебя сюда и прислали, чтобы со свету сжить. Село у нас неприятное, в районе знают, а народ – хороший, сумрачный только. Раньше кем работала?

Говорю – врач, хирург.

– Ну! Это ты врешь, баба – и доктор!

Долго молчал, потом спросил:

– Звать-то как?

– Александра Сергеевна, – и фамилию называю.

– Александра, значит, а по батюшке мы с тобой тезки: а что доктор – врешь, нешто доктора такие бывают, да выслать их сюда не за что. Возьму тебя счетоводом в магазин, жить при нем будешь, а вот врешь, что доктор, – плохо. Доктор вид имеет, а ты – баба и баба есть.

Так состоялось мое знакомство с Сергеем Сергеевичем, продавцом лавки сельпо, или, как он любил говорить “магазина”, делая ударение на втором “а”.

До обеда сидела на ящиках в углу; в обед лавка закрылась, Сергей Сергеевич повел меня в дом, где жил с сестрой Анной. Критически осмотрев и молча выслушав мой рассказ, почему я оказалась в селе, Анна, не приглашая меня сесть, также молча дала мне крынку топленого молока и кусок ржаного хлеба, сказав:

– Оголодала, небось.

Сергей Сергеевич, сидя за столом, обедал молча и сосредоточенно; я продолжала стоять, пила из крынки теплое, необыкновенно вкусное топленое молоко, закусывая хлебом.

– Сергей Сергеевич! Ты в лавку опять ее веди, а то во вшах, может быть. Вечером баню истоплю, пусть помоется.

Брата Анна уважала и звала только по имени-отчеству. Пообедав, Сергей Сергеевич отвел меня в лавку; вскоре пришла Анна, и за каких-нибудь два часа крошечная комнатка за лавкой обрела жилой вид. Из ящиков была устроена “тахта”, застеленная матрасом из сена и толстым слоем чистых мешков; подушку, простыню и одеяло, сшитые из многочисленных разноцветных лоскутков, Анна принесла из дома.

Моих вещей Анна доставать не разрешила, сказав: “В бане обмоешься, белье постираешь, тогда и доставай”.

Сергей Сергеевич хорошо протопил печь, вбил в стены несколько гвоздей:

– Одежу вешать будешь, рукомойник за дверью, а нужник во дворе найдешь. Ночью дверь никому не открывай, народ у нас тихий, но долго ли до греха. Товару много, и денежный он, а мне отвечать.

Комната была готова и выглядела уютной, но меня в нее не пустили, и я по-прежнему сидела в лавке на ящиках. Устала, волновалась, болело тело, ломило голову, но я была рада, что нашла пристанище, возможно, временное. Обживусь, если здесь что не выйдет, буду знать, где искать, Господь поможет. Вечером, перед закрытием, пришла Анна.

– Пойдем, баня истоплена.

Первый раз в жизни мылась в деревенской бане.

– Мыться умеешь в нашей бане?

Постеснявшись, сказала “Да”, а что делать – не знаю. Разделась, Анна стала мне помогать, березовым веником хлещет, на раскаленные камни воду льет, щелоком с мылом трет спину, и чувствую, что разглядывает меня внимательно.

– Давай теперь на снег – не бойся.

Выбежала она, бросилась в снег, мне кричит:

– Давай!

Будь что будет, бросилась я в снег, перевернулась раза два и назад, в баню, а там Анна воду на горячие камни льет, задыхаюсь, воздуха не хватает. Оделись и чувствую себя обновленной. Одежду Анна дала мне свою.

– Пошли в избу, вшей теперь не принесешь, чай будем пить.

Первая ночь в комнатке при лавке была для меня страшной, уж очень просто все получилось; была комната, работа счетоводом; люди, которых я еще совсем не знала, приняли к себе, накормили, одели.

– Господи! – повторяла я. – Благодарю Тебя за милость! Слава Тебе!

Но одновременно неясная тревога жила во мне, почему Сергей Сергеевич сказал “со мной будешь жить”.

Легла, долго молилась и незаметно уснула. Утром проснулась от толчков, около меня стояла Анна и говорила:

– Вставай, Александра, пойдем! Горячего поешь. Заспалась.

Началась моя новая жизни в ссылке, в селе Кряжи, среди людей, которых я вначале боялась, а потом с благодарностью вспоминала и отчетливо видела во всем этом великую милость Господа.

Три года, прожитых в Кряжах, остались в памяти как одно из светлых и теплых воспоминаний о хороших и отзывчивых людях, внешне суровых, неприветливых и замкнутых.

Несколько столетий тому назад пришли они на северный Урал, спасаясь от гнета и рабства крепостничества, суровая природа оказала на них влияние, и сами они стали похожи на нее.

Суровая жизнь выработала в этих людях чувство взаимопомощи, товарищества. Но каждый вновь появляющийся человек был “чужак”, его боялись, опасались; но, если видели, что чужак не опасен, миролюбив и не лезет в чужие дела, его принимали в свою среду и люди открывались доброй стороной характера.

Продолжу о своей жизни. Жить так и осталась в комнатке при лавке. Обед и ужин готовила Анна, и я питалась вместе с ними.

В бухгалтерской работе ничего не понимала, первые три месяца делал ее за меня Сергей Сергеевич, одновременно обучая меня счетоводству. Врожденная внимательность и деликатность поражали меня в Анне и Сергее Сергеевиче. Они были грубы и резки в разговорах, в обращении друг с другом и окружающими, но в существовании каждого из них лежало желание оказать посильную помощь человеку, иногда даже в ущерб себе.

Лавочник, продавец в деревне, да и не только в деревне, считался обманщиком. Сергей Сергеевич тоже был не без греха, но, работая с ним, я заметила, что он никогда не обвешивал и не обманывал ребенка или древнюю старушку, но с большим удовольствием старался обвесить или обмануть скандальную задиристую бабу и подвыпившего мужика. Однажды я спросила, почему он так поступает.

– Ребенка или старуху обмануть – грех, несмышлениши они, а бабу-горлодранку или хмельного мужика и Бог велел – для науки полезно.

В этом была глубокая логика человека, с детства работающего в лавке.

Внешне Сергей Сергеевич производил не очень приятное впечатление: высокий, грузноватый, с чуть-чуть вытянутым лицом, выпуклыми глазами и крупным носом, он невольно настораживал, и людей, не знавших его, даже отталкивал от себя.

Впечатление было ошибочным – добрый и отзывчивый человек жил в его душе. Мне не раз приходилось быть свидетельницей, что, отпуская товар какой-нибудь одинокой бедной старушке, он не только не брал денег, а еще совал небольшую сумму, при этом смущался и начинал даже, несильно, заикаться.

Брат и сестра жили дружно. Анна, высокая красивая женщина, лет 32, “вдовья”, как она называла себя, трогательно заботилась о брате, хотя временами между ними вспыхивали ожесточенные споры, и тогда ругались всласть, выражения были выпуклыми, звонкими и не все могли быть написаны на бумаге; но утром следующего дня ссора и обиды полностью забывались, и жизнь текла опять спокойно.

В доме висели иконы, справлялись церковные праздники, но были ли брат с сестрой верующими в настоящем значении этого слова – трудно ответить.

Бог, конечно, был, но Он не был осязаем, видим, следовательно, находился где-то далеко. Его можно было чуть-чуть обмануть, и, возможно, Он и не заметит того, что ты сделал. Но если совершалось плохое, большой обман, кража – Бог видел, и человек ждал наказания.

Понятия о добре и зле у Анны и Сергея были довольно четки и почти полностью совпадали с Евангельскими, в разговорах часто упоминались Евангельские и Апостольские тексты:

“Всякому просящему у тебя давай”,

“Друг друга тяготы носите, и тем исполните Закон Христов”,

“Взявший меч от меча и погибнет”,

“Не судите, и не судимы будете”.

Эти и многие другие Евангельские выражения, конечно, несколько перефразированные, употребляли не только брат и сестра, но и другие односельчане. Посещая в селе больных, я редко видела у кого-либо из жителей Евангелие, хотя, может, они прятали Его, поэтому вопрос, откуда запомнились им эти тексты, – заставлял задумываться.

Церковь в селе закрыли лет семь тому назад, через год ее подожгли, и только остатки фундамента и погост с покосившимися крестами напоминали, что на горе стоял храм. Сейчас здесь было уныло и безлюдно.

Религия, вера, постепенно изживалась в народе, оставались обычаи, смутные воспоминания и что-то таинственное, непознаваемое и, возможно, существующее, и поэтому всего этого в какой-то мере надо было бояться и уважать на всякий случай.

Кто была я Сергею Сергеевичу и Анне, “чужак, чужая”, почему они помогли мне, что их толкнуло на это? Живя с ними три года, часто задавала себе этот вопрос и под конец ссылки спросила Сергея и Анну.

– Почему да почему? Чего спрашиваешь? Сама, небось, понимаешь! В лавку пришла замерзшая, голодная. Бабы в магазин заходили, говорят, женщину привезли, ходит по селу, в дома стучится, жилье ищет, никто не пускает. Пришла ты в лавку, стоишь, ничего не видишь, растерянная.

Знаю, никто в дом чужую не возьмет, тем более бабу, жалко тебя стало, вот и взяли. Ты-то, Александра, разве не так бы поступила? Хотели сперва к себе в дом, подумали с Анной, решили от соблазна подальше. Баба ты ладная, ростом супротив наших баб только чуток меньше. Будешь жить с нами, глядишь, лукавый чего-нибудь и сотворит. Отдельно потому и поселили.

Скучала я, не было знакомых, родных, не было церковных книг, исповеди, причастия, и, несмотря на все это, моя ссылка являла великую милость Божию. Анна заботилась обо мне, готовила обед, ужин, Сергей Сергеевич колол дрова и приносил их мне, топила печку сама. Вечерами было уютно сидеть у горячей печки, молиться и читать Евангелие, единственную книгу, бывшую у меня.

Счетоводство отнимало не более двух часов в день, остальное время посвящала молитве и лечению больных. Вначале мне не доверяли, но после приема двух родов стали звать акушеркой; в основном лечились только женщины, но постепенно “практика” моя увеличивалась, расширялась, и я приобрела известность в округе.

Милость Божия не оставляла меня; несмотря на то, что лекарств никаких не было, больные выздоравливали, становились на ноги и относились ко мне хорошо. Ближайшая больница находилась на расстоянии почти 90 верст, попасть туда было трудно.

Лечила я больных самыми простыми средствами: банки, компрессы, обертывание горчицей, гусяное сало со скипидаром, травы, которые в изобилии нашлись у дочери одной умершей старушки. Делала из трав отвары, настойки, капли, и все это, к моей радости, помогало.

За время моего пребывания в селе случилось несколько серьезных травм, но и здесь принятые меры оказались удачными – милость Господа не оставляла меня.

Три года ссылки прошли относительно спокойно, в других деревнях и селах ссыльных беспрерывно вызывали в район, посылали на жительство в другую местность, направляли на лесозаготовки, допрашивали и всячески преследовали; в результате из десяти ссыльных оставались в живых три-четыре человека.

Меня эти преследования миновали, а отношение Анны и Сергея Сергеевича, а также местных жителей скрашивало оторванность от семьи и друзей.

Однако месяцев через восемь после моего приезда в Кряжи произошло со мной довольно опасное событие, которое только по милости Божией не привело к катастрофе. Чем внимательнее вспоминаю происшедшее, тем более убеждаюсь, что обстановка, создавшаяся тогда, была очень опасной и любые врачебные средства были бессильны. Помощи можно было ждать только от Бога, и то, что она пришла, было, конечно, чудо.

* * *

Прошло мое первое ссыльное лето, настала ранняя осень и ранняя зима, снег давно покрыл землю толстым слоем. Составляла отчет за третий квартал. Ночь просидела у постели мальчика, болевшего тяжелым воспалением легких; пенициллина и сульфамидных препаратов тогда не знали, лечили банками, горчичниками, и я ждала кризиса, страшного кризиса, который, словно лезвие ножа, отделял жизнь от смерти. Мальчик был слабенький, жизнь в нем еле теплилась, но ночью кризис прошел, и Васенька выжил.

Утром от бессонной ночи болела голова, а квартальный отчет, несмотря на все мои усилия и многочисленные пересчеты, не сводился. За окном послышался непривычный шум, перешедший в оглушительный треск. Приподняв занавеску, увидела аэросани, из них вылез высокий человек в дохе и направился к лавке.

– Александра Сергеевна здесь? – спросил он Сергея Сергеевича, с трудом протиснулся в комнату, бесцеремонно сел на мою “тахту” и спросил: – Ну, как живешь?

И я сразу узнала в этом человеке начальника райотдела НКВД Бажова, который направил меня в эту деревню на жительство.

– Работаю счетоводом, – ответила я.

– Счетоводом, говоришь, – повторил Бажов. Из деревни без разрешения выезжала?

– Нет.

– Граждан лечишь?

– Лечу, когда просят, я врач.

– Лечишь, значит. Разрешение имеешь на лечение?

Я молчала.

– Спрашиваю, разрешение есть?

– Я врач, имеющий диплом об окончании мединститута, имею право лечить больных – это оговорено законом.

– Законом, значит, оговорено, – повторил Бажов.

Разговор, а вернее, допрос, велся минут десять. Задавая вопрос, Бажов повторял мой ответ, прибавляя в конце фразы “говоришь”.

– Ясно. Одевайся, поедем, посмотрим, какой ты доктор, да еще без разрешения лечишь! Разберемся Вещей не брать.

“Арестовывают, везут на дополнительное следствие, создают новое дело, направляют в лагерь?” – вот что мгновенно возникло в мыслях. Бажов вышел из комнаты, я оделась и вышла на крыльцо. Оглядев меня критически, Бажов проговорил:

– Плохо одета, в санях замерзнешь. Сергеевич! Дай ей тулуп – назад пришло.

Надела тулуп Сергея Сергеевича, влезла в аэросани. Бажов еще раз осмотрел меня, влез сам, закрыл себе и мне ноги мохнатой шкурой.

Оглянувшись на столпившихся около аэросаней людей, с тоской взглянула на Анну и Сергея Сергеевича, на односельчан, с которыми успела сдружиться. Мотор взревел, аэросани рванулись и заскользили по снежной дороге, то ныряя во впадины, то взлетая на бугры. Бажов молчал, да и рев мотора не позволял сказать ни одного слова. Я молилась Пресвятой Богородице, мысленно осеняя себя крестным знамением, и умоляла Матерь Божию не оставить меня. Впереди лежала неизвестность, и, конечно, неприятности были неизбежны – в те времена ОГПУ и НКВД несли людям только горе.

Дорога была долгой, незаметно для себя я уснула и даже во сне продолжала звать на помощь Богородицу. Проснулась от толчка. Сани стояли около одноэтажного дома.

– Выходи!

С трудом встала на затекшие ноги, путаясь в длиннополом тулупе.

– Пошли!

Вошли; оказалось, что привезли не в учреждение, а в жилой дом, в передней разделась.

– Пройдите, – сказал Бажов, открыв дверь в комнату. У детской кровати стояли три человека. Войдя, Бажов сказал:

– Привез еще доктора, посмотрим, чем поможет?

Поздоровалась, но никто не ответил. Подошла к кровати, в ней лежал мальчик лет восьми. Щеки запали, дыханье было прерывистым, тяжелым, при каждом вздохе тело его напрягалось, он с трудом втягивал воздух, захлебываясь мокротой, и с таким же трудом выталкивал его.

Склонившись над мальчиком, вглядываясь в его лицо, я еще до осмотра поняла – дифтерит, в горле образовался нарыв, закрывший гортань.

Двое из стоявших были врачи местной больницы, они несколько растерянно говорили между собой приглушенными голосами, третьей была мать ребенка.

Попросила Баждова проводить меня вымыть руки, вернулась и приступила к осмотру, и вдруг неожиданно раздался злобный крик:

– Ты чего стоишь, сволочь? Помогай, лечи! Для чего привезли?

Не отвечая, стала говорить с врачами. Один из них довольно грубо сказал:

– Нарыв в горле, дифтерит, понимать надо, положение более чем серьезно, летальный исход неизбежен, в районе сейчас нет хирурга, вызвали в область, а отоларинголога вообще нет в районе.

– Надо немедленно делать операцию, ребенок умирает, ждать нельзя, – почти крикнула я.

И опять тот же врач сказал, громко, отчетливо, так, чтобы слышал Бажов:

– Неумелые руки оперирующего наверняка приведут к смерти; если нарыв прорвется сам, ребенок останется жив.

Было ясно – местные врачи боялись ответственности. Мать опять озлобленно закричала:

– Чего стоишь? Помогай!

Мальчик угасал, синел, захлебывался, дыхание было прерывистым свистящим. Приподняв его, попросила посветить лампой, осмотрела горло, с силой открывая рот, и увидела, что операцию надо делать немедленно, если ее не сделать в течение десяти минут – ребенок умрет.

– Скальпель есть? – спросила я.

– Здесь нет, а через час можно доставить – больница от поселка три километра, – ответил молодой врач.

– За это время ребенок умрет, ждать нельзя ни минуты.

Попросив у Баждова нож с острым клиновидным концом, прогрела его над керосиновой лампой и решительно подошла к мальчику.

Бажов крепко держал голову сына, с осторожностью раскрывая ему рот; один из врачей неохотно светил керосиновой лампой. Попросила принести спирт и вату. Мать ругала, называла ссыльной сволочью, пыталась ударить меня, оттолкнуть от ребенка и в то же время требовала помощи.

“Господи, спаси, помоги и помилуй!” – непрерывно повторяла я мысленно. Бажов помогал молча. Введя нож в горло, я с усилием разрезала нарыв. Ребенок вскрикнул, брызнула кровь. Гной, мокрота, залили мне лицо, и в этот момент мать стала бить меня по голове и лицу.

Не выпуская голову сына, Бажов крикнул: “Вон!” Притихнув на мгновение, мать, громко рыдая, вышла из комнаты. Минут десять очищала я ребенку горло и рот ватой, смоченной в спирте. Дыхание стало ровнее, синюшность пропадала. Мальчик стонал, кашлял кровью, мокротой, гноем.

В комнате остались я и Бажов. Попросив его посмотреть за ребенком, вышла вымыть лицо, руки, привести себя в порядок. Болела голова, левый глаз почти закрылся от удара, багровое пятно на щеке говорило, что била меня жена Бажова сильно.

В комнату к мальчику я возвратилась в слезах, горькая обида и возмущение не покидали меня часа два.

Бажов видел мое состояние, видел слезы, текшие по лицу, и синяки и с неудовольствием смотрел на меня.

Ночь провела у кровати ребенка. Трудная была ночь, жизнь висела на волоске, мальчик стонал, кашлял кровью, и временами, приходя в сознание, пытался что-то сказать. Отирая его лицо, я сознавала свою беспомощность, возложив упование только на Бога, и молилась, взывая к Пресвятой Богородице. Молилась, конечно, мысленно, но знала, что губы мои беззвучно повторяют слова молитвы, и это заметил Бажов. Он просидел ночь со мной, не сказав ни единого слова, не помогая, а только внимательно наблюдая, что я делаю. Раза два пыталась войти мать мальчика, но Бажов не пускал ее в комнату.

Под утро мальчик уснул, дышал ровно, но температура была высокой. Задремала и я на несколько минут. Проспал ребенок часов пять и проснулся посвежевший, попросил пить и опять уснул.

Прожила я в семье Бажова семь дней. Семья была большая, но меня никто не замечал, не здоровался, кормили на кухне, спала, сидя на стуле около кровати больного. На пятый день мальчик стал вставать. Говорил со мной только Бажов, и только о здоровье ребенка. Когда я кормила больного и пробовала бульон или кисель, жена Бажова говорила:

– Сама-то не жри, это для ребенка!

Петя, так звали мальчика, привязался ко мне, с большим интересом слушал сказки, расспрашивал о Москве, о прочитанных детских книжках, что еще более восстанавливало против меня Бажову.

Жизнь в доме стала для меня невыносимой, на седьмой день жена Бажова говорила на кухне мужу, при мне:

– Петя поправился, гони ты ее в шею, жрет, пьет, зачем держать? Гони, тебе говорю, видеть не могу эту ссыльную суку, в лагерь пошли, расселили дерьмо по всему району.

Бажов ответил:

– Завтра уедет. Что ты нападаешь, сына ведь спасла, наши-то доктора не смогли. Приготовь ей продуктов с собой.

– Я ей приготовлю, долго помнить будет, второй фонарь под глазом поставлю!

Почему ненавидела меня жена Бажова – навсегда осталось для меня загадкой.

Утром простилась с Петей, он заплакал, когда я уходила. Вышла на крыльцо, аэросаней не было, стояли сани-розвальни, в них сидел старик. Взглянув на меня, сказал:

– Где это тебя разукрасили? Здорово глаз подбили! Я промолчала.

Вышел Бажов, посмотрел, кивнул головой, сани тронулись, но я сказала возчику остановиться – не было тулупа Сергея Сергеевича! Бажов еще не ушел с крыльца, и я крикнула:

– Тулупа Сергея Сергеевича нет!

– Как нет? Это Катериныны штучки! – и бросился в дом.

Сани стояли. Минут через пять вышел Бажов с тулупом, следом за ним выскочила жена, вырывая тулуп и крича: – Кому вещь отдаешь? Ссыльной сволочи, ведь все равно сдохнет.

Бажов бросил в сани тулуп, возчик дернул возками, и мы поехали. До меня долетал крик Катерины, но слова переходили в злой визг, и он долго еще звенел в ушах.

Ехали назад двое суток. Сани скрипели по снегу, дорога шла лесом; мимо проплывали сосны, ели, березы, и опять сосны, ели и березы, покрытые шапками снега. Однообразие подавляло. Старичок возчик говорил непрерывно, рассказывая удивительно запутанную семейную историю, где участвовали снохи, невестки, зятя и кумовья. Молиться поэтому было невозможно, почти после каждой фразы возчик спрашивал:

– Ясно тебе аль нет?

На что я обязательно должна была ответить “да”. Если я не отвечала, старик оборачивался ко мне и говорил:

– Ты пойми, пойми! Дело-то какое! – и начинал толкать меня в ногу кнутовищем, дожидаясь ответа. На второй день заболела голова, знобило и не давала покоя мысль, почему в семье Бажова живет озлобленность и дикая ненависть к ссыльным. Хотелось понять причину этой ненависти.

На душе было тоскливо и грустно, мысленно перенеслась в Москву, к родным, в любимый, но закрытый уже несколько лет наш храм. Вспоминались церковные службы, находящийся в неизвестном лагере духовный отец – иерей Петр, друзья, Валя, Дуняша и многое хорошее и милое сердцу, чего я была лишена за годы ссылки.

– Господи, Господи, не оставь, – взывала я, – Господи, помоги!

Но перед глазами возникала спина возчика, слышались глухие удары комков снега о передок саней и скрип полозьев, нарушавший тишину леса.

– Засветло добраться до Проскурова надо, у свояка встанем, а ежели не доберемся, то в темноте и сбиться можно, – говорил возчик.

Я заболела, хотелось спать и было безразлично, доберемся до Проскурова или не доберемся. Второй день пути провела словно в тумане, в памяти запечатлелись только слова возчика, сказанные кому-то:

– Девка-то в дороге сомлела.

И следующим воспоминанием было выплывшее из окружавшего полумрака лицо Анны, склоненное надо мной.

Вначале заболела тяжелым гриппом, а потом дифтеритом, болезнью, редкой для взрослых; к счастью, все обошлось благополучно. Проболев положенное время и выдержав карантин, продолжала размеренную жизнь.

Очень боялась, чтобы полученный мной дифтерит не распространился среди детей села, но принятые карантинные меры и милость Божия ограничили болезнь только мной.

Время шло, быстро проходили дни, медленнее – недели, тянулись долго и нудно месяцы, и нескончаемыми казались годы, но наконец три года ссылки пришли к концу.

Вызова из района не было. Прошла неделя, месяц, пошел второй, и наконец желанный вызов пришел. Желанный и в то же время страшный. Никто из нас, ссыльных, никогда не знал, отпустят тебя или добавят, без объяснения каких-либо причин, еще новый срок ссылки, а может, – направят в лагерь.

Явилась в райотдел к Бажову, в приемной тянулась очередь, люди стояли взволнованные или подавленные, плохо одетые, истощенные, молчаливые; лишь изредка кто-нибудь из стоящих обращался шепотом к соседу, но молодцеватый секретарь в военной форме грубо обрывал разговоры и каким-то особенно многозначительным и зловецким голосом вызывал к Бажову.

Очередь двигалась медленно, многие, выходя, плакали; для двух или трех человек секретарь вызвал охрану, и их тут же из приемной увели; человек шесть вышли радостные – ссылка для них закончилась, можно было уезжать, но, получив от секретаря справку, читали перечень городов, где им запрещалось жить, – домой ехать было нельзя. Волнуюсь и я – что ждет меня? Секретарь называет мою фамилию, вхожу к Бажову. Зашла, остановилась около стола.

“Матерь Божия, помоги!” – говорила в душе и ждала с волнением решения своей участи.

Подняв голову, Бажов несколько секунд смотрел на меня, медленно встал и подошел ко мне, в голове мгновенно пронеслось: “Продлевается срок, направляют в лагерь, гонят на лесозаготовки”.

Бажов молча, внимательно разглядывал меня; заметив волнение, сказал:

– Александра Сергеевна! Не волнуйтесь, ссылка ваша окончена. Паспорт получите чистый, можете ехать куда хотите. Характеристику в дело вложил хорошую. Не думайте, что забыл спасение сына. Помню хорошо. Трудное тогда было у вас положение, но спасли. Не говорю “До свидания” – прощайте! С нашим братом встречаться не следует. Берегитесь людей, берегитесь! Спасибо.

И, крепко сжав меня за плечи, легонько повел к выходу из кабинета. По справке, полученной у секретаря и подписанной Бажовым, получила чистый паспорт, разрешающий жить, где угодно.

Сергей Сергеевич, Анна и многие люди, с которыми сдружилась в селе, остались в моей душе светлым воспоминанием. Конечно, когда ближе сошлась с Анной, много рассказывала о Боге, Церкви, житиях Святых. Сергей Сергеевич тоже присутствовал при этих разговорах. Анна задавала вопросы, он только молча слушал. Анна стала по-настоящему верующей, выучила ряд молитв, где-то достала Евангелие и каждый день читала по одной главе. Думаю, что Сергей Сергеевич тоже стал верующим – так говорила Анна.

Господь явил свою великую милость, дав возможность встретить тех, кто приютил, накормил, обогрел, одел и даже дал работу и тепло душ своих в трудное время ссылки.

Сложность души человеческой показала и встреча с Бажовым; что было в душе его – знает только один Бог.

Долгие годы переписывалась я с Сергеем Сергеевичем и Анной, переписываюсь и сейчас. Сергей Сергеевич был взят в армию и погиб в 1943 году под Курском. Анна Сергеевна вышла через год после моего отъезда замуж. Родилась дочь Наташа, в 1954 году приехала в Москву поступать в институт; три года прожила у нас, на четвертом курсе вышла замуж за моего племянника Георгия, они многие уже годы живут счастливо.

Прошло 23 года после ссылки, работала консультантом-хирургом в онкологической больнице. Однажды вошла больная лет 45–50, разделась; стала я ее осматривать, просмотрела анализы, снимки, диагноз лечащих врачей и вижу, что опухоль опасная, большая, жалость к больной проникла в душу, внимательно взглянула ей в лицо и что-то знакомое увидела в нем. Я знала эту женщину. Взяла историю болезни – имя Екатерина и фамилия Бажова мгновенно напомнили прошлое: умирающий от дифтерита мальчик Петя, Катерина, бьющая меня по лицу, Бажов.

Непроизвольно, неожиданно для самой себя, спросила: – Где ваш сын, Петя? Ему, сейчас, вероятно, лет 35, и где муж, Бажов?

Изумленно и испуганно взглянула на меня и затравленно вскрикнула:

– Кто вы, доктор? – и тут же мгновенно узнала меня и вспомнила прошлое. Растерянно, не отвечая на мои вопросы, только спросила: “Поправлюсь я или нет? помолчав несколько минут, сказала: – Простите, время такое было”.

Я молча писала в истории болезни свое заключение, молчала Бажова, молчали врачи. Сказала стандартную фразу:

– Вам будут делать операцию, на подготовку к ней уйдет дней десять.

Что было потом с Бажовой – не хотела знать, но все-таки раза три-четыре заходила к ней в палату. Вопреки всем прогнозам, операция прошла успешно, Бажова выписалась из больницы.

Неисповедимы пути Твои, Господи!

А. С. Глаголева.

Из архива В. В. Быкова.

ВАЛЕНТИНА

Вероятно, жизнь моя могла стать совершенно другой, если бы не встретила студентку Валентину – Валю, приведшую меня в Церковь.

Она, Валя, училась на факультете естественных наук, а я – на медицинском; сейчас уже не помню, по каким причинам, но лекция читалась для того и другого факультета. Со мной рядом сидела, на мой взгляд, невзрачная, хрупкая девушка, показавшаяся подростком, совсем не похожая на студентку.

Одетая просто и аккуратно, с папкой для книг и записи лекций, не раз встречалась в коридорах, но мы не здоровались – мало ли было в университете студентов и студенток, не знаемых мной. Кажется, факультет естественных наук раньше входил в физико-математический или медицинский на правах отделения.

У меня была своя компания, состоящая, как тогда говорили, из “интересующихся”. Почему она называлась так, забыла. Студентку, как узнала потом, звали Валентиной.

– У вас разорван рукав. У меня есть иголка с черной ниткой, после лекции зашью.

Мне неприятна была эта студентка, ее жалкий вид (так мне тогда казалось), желание оказать помощь и то, что она была свидетельницей вольного обращения со мной двух студентов, отчего и разорвался рукав, когда я не очень сильно сопротивлялась их грубым ухаживаниям. Говорилось при этом что-то пошлое и плоское.

Вечером собралась наша “компашка”, и я с подружкой Мариной и с этими студентами должна была идти на вечеринку, к этому вечеру мною было разучено модное танго, и мне хотелось показать его, блеснув перед друзьями. Сидя на лекции и мечтая о предстоящем вечере и “триумфе” нового танго, беспокоилась, что приду поздно. Москва в те годы была тревожной, опасной – мама не любила моих хождений на вечеринки, позднего прихода, и это создавало трудности во взаимоотношениях. Приходилось изворачиваться, лгать, говорить: “Засиделась у подруги, изучая анатомию, читали учебник терапии”, и от этого на душе оставался осадок нечистоплотности и опустошенности.

Но среди студентов было модно выражение: “Живешь один раз, молодость не повторяется, бери от жизни все!”, и я старалась следовать этому афоризму. Слушаю лекцию, в мыслях мечты о вечере, впечатляющем танго, и вдруг эта студентка лезет со своим сочувствием да еще была свидетельницей вольного, панибратского отношения моих приятелей! Кончилась лекция, и пришлось

попросить зашить рукав, нельзя же было ходить с дырой. После лекции в коридоре один из студентов пытался довольно грубо обнять меня, крикнув:

– Сегодня покажем, где раки зимуют! – толкнул Валу, шедшую со мной, и убежал. Зашив рукав, Валя сказала: “Пойдемте сегодня ко мне”. Бесцеремонность и нагловатая грубость моих друзей задела и обидела, желание “оторвать” пропало, и я решила пойти к Вале, совсем не зная ее. Вечером разыскала в Гранатном переулке дом, в большой Коммунальной квартире семья занимала две комнаты. Встретили приветливо, в одной комнате собралось человек десять молодежи, в основном студенты. Как я поняла, каждый что-то принес: хлеб, ириски, сахар, картофельные котлеты и даже – тогда это была роскошь и редкость – несколько баранок. Время было голодное и трудное, каждый приносил то, что мог.

Держались все просто, меня встретили, словно я бывала у Вали каждый день. Вначале разговор шел о каких-то общих вопросах, потом перешел на поэзию; читали Блока, Гумилева, Волошина и мало тогда известного Есенина, долго спорили о повести известного писателя, какого – теперь забыла. Попросили и меня прочесть стихи, и я, желая блеснуть, прочла “Незнакомку”, “Скифы” Блока и что-то из И. Северянина и В. Брюсова.

Незаметно разговор перешел на Мережковского, Андрея Белого. Один из присутствующих рассказал о драме Мережковского, опубликованной в Париже и о том, что в ней отражено новое понятие о мистических силах, героике духа и о какой-то революции души человеческой, которая еще грядет. Упоминали об антропософах, Елене Блаватской, спиритизме; было что-то, обволакивающее сумраком непознаваемого, неизвестного и зовущего к исканию Тайны.

Многое из услышанного было мне непонятно и неизвестно. Незаметно перешли на тему “Русская Православная Церковь”. Юноша, рассказывавший об антропософах и Мережковском безнадежно махнул рукой и сказал: “Это прошлое человеческого духа”, и вдруг горячо и страстно заговорил высокий черный студент с добрым открытым взглядом, ранее молчавший, а потом стала говорить Валентина.

Говорили они просто, без пафоса, наигранности и желания показать себя умными перед другими. О чем говорили? О смысле христианства, учении Православной Церкви, всепрощающей любви к ближнему; совершенствовании души человеческой, познании истины через христианство. Приводили примеры из жизни и истории Православной Церкви. Поразил меня рассказ об Оптиной пустыни, основанной учениками Паисия Величковского, о старцах Льве, Амвросии и что с какого-то старца Достоевский списал своего старца в “Братьях Карамазовых”.

Иноческий подвиг старцев, неутолимая жажда оказать помощь ближнему, служение народу, путь, которым они вели верующих, был для меня удивительным и услышанным впервые, но самым поразительным было то, что старцы руководили приходящими от имени Бога – так тогда я поняла путь старчества.

Удивил меня рассказ о Великом Инквизиторе, искренне верующем и в то же время уничтожавшем людей во имя Милосердного Бога. Конечно, прочтя “Братьев Карамазовых”, я знала о Великом Инквизиторе, но сравнение с верой оптинских старцев раскрывало истинность пути, в основе которого лежало Евангельское изречение: “Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга” (Ин. 15, 12), и ложность пути Инквизитора, хотящего использовать веру как принудительный гнет над человеком, его совестью, и фарисейское восприятие веры ради веры, а не ради любви к Богу и людям – так поняла я тогда.

Было в этот вечер много интересного; некоторые студенты, оказывается, были в христианском студенческом кружке и, хорошо зная Евангелие, рассказывали и поясняли отдельные места. Это все заинтересовало меня, и я не жалела о пропущенной вечеринке. Долгим был мой путь к Богу, с трудом отошла от прежней жизни и компании и все чаще и чаще стала приходить к Валентине.

После окончания лекции старались вместе идти домой и вели бесконечные разговоры о вере, жизни, окружающих людях, бродили по переулкам, чтобы продолжить наши разговоры, и однажды, идя по Староконюшенному, увидели стоящую в глубине пустынного двора церковь. “Давай зайдем”, – сказала Валя. Мы зашли. Церковь была довольно большая, но народу почти не было. Купили по две свечи и поставили перед иконой Божией Матери. Священник служил негромко, видимо, так полагалось (так думали мы тогда), вышел на амвон (мы стояли рядом) и обратился к нам:

– Барышни, вы исповедоваться?

Исповедников никого не было, стояли только мы двое. Растерянно переглянулась с Валей и, влекомая неизвестной силой, подошла к священнику, он наклонил мою голову и спросил:

– Что вы скажете?

Я растерянно молчала, а потом сказала:

– Батюшка, я никогда не исповедовалась.

– Вы крещеная?

– Да, – ответила я.

Священник был старенький, он помолчал и вдруг стал говорить, тепло, проникновенно рассказывая о Боге, вере, Матери Божией и в то же время задавая вопросы.

После Валя сказала, что о. Иоанн говорил со мной почти 30 минут. Потом позвал Валю, так же долго говорил и исповедовал и ее, задержав службу почти на час. Человек пять прихожан, стоявших в церкви, по-моему, были удивлены.

Эта первая исповедь у неизвестного старенького священника в полном смысле перевернула мою и Валину жизнь. Церковь была во имя Иоанна Предтечи, священника звали о. Иоанн. Добрый, вдумчивый человек вложил в нас основы веры, вдохнул в нас жизнь, приобщил к Церкви. Приход был бедный, церковь еще до 1917 года обветшала. Тогда было принято после исповеди давать иерею в руки деньги. Мы три года ходили к о. Иоанну, и он всегда наотрез отказывался брать что-либо от нас. Мы ходили с Валею на собрания христианского студенческого кружка, но все, что мы получили, дал нам добрый и чуткий духовно о. Иоанн. К сожалению, церковь Иоанна Предтечи скоро закрыли; несколько лет она стояла пустая и запертая, а потом ее снесли и на этом месте построили большой кирпичный дом. Церковь находилась почти напротив гимназии Медведникова. Отец Иоанн был арестован, и дальнейшая судьба его неизвестна.

Стали ходить в другие церкви: св. Власия, Николы Явленного на Арбате, но все было не то, и однажды поехали, в церковь, где, нам сказали, служит “приятный и хороший” священник. Церковь была небольшой, но какой-то ухоженной и уютной, полумрак создавал молитвенное настроение. Имя священника нам сказали, и мы сразу пошли к нему. Настоятелем был высокий, осанистый о. Павел, а третьим был иеромонах о. Арсений. Народа в церкви было очень много.

Неисповедимы пути Господни и милость Его. При поддержке Валентины пришла я к Богу; вроде бы “случайно” зашли в церковь Иоанна Предтечи в Староконюшенном переулке, и иерей Иоанн наставил нас на путь веры, а потом о. Павел и о. Арсений повели нас по этому пути молитвы, познания Бога, любви к Матери Господа нашего и всем святым, и теперь, в глубокой старости своей, понимаю великую милость Господа, сделавшего меня христианкой, православной, верующей.

В 1958 году, встретившись с о. Арсением, рассказала ему о болезни, тяготах жизни и смерти Валентины. Долго он расспрашивал меня о Вале и так же долго молился о упокоении души ее.

Продолжу о Валентине.

Одевалась Валя просто, шила сама, но, благодаря ее врожденному изяществу, одетое на ней платье становилось красивым и выглядело словно сшитое хорошей портнихой. Дважды я приезжала к Вале в лагерь зимой, и меня поражало, что лагерная телогрейка, где-то ушитая, сидела на ней словно влитая и не казалась уродливой или неряшливой, как это было у большинства заключенных (в лагере она провела ровно пять лет).

Сколько страданий, горьких потерь, пролитых и непролитых слез пришлось на ее долю! Легко было ожесточиться, стать равнодушной к судьбам других людей – после допросов, побоев, тяжелых этапов, лагерных тягот, рабского лагерного труда, голода, унижений, специально предназначенных для женщин! Но с душой Валентины этого не произошло, она по-прежнему осталась участливой к горю ближнего, милосердной и доброй к слабым и обездоленным. Отбыв срок в лагере, истощенная и больная, она была отправлена на три года в ссылку, где находился о. Феоктист из нашей общины. Там же в ссылке находился больной туберкулезом незнакомый диакон о. Аркадий, озлобленный человек, писавший доносы на ссыльных. Он постоянно пытался внезапно ворваться в избу, где жили Валентина с о. Феоктистом, пытаясь застать их за церковной службой. Спасая этого злобного и больного человека, ухаживая за ним, Валентина заразилась туберкулезом. После смерти о. Феоктиста и окончания ссылки разрешили ей жить в г. Александрове, где с трудом устроилась и все время тяжело болела туберкулезом. Конечно, благодаря Валентине, Вале, нашла я Церковь Христову, только она своей мягкостью и добротой сглаживала мою порывистость. Уже когда мы пришли к Церкви, меня всегда поражала в ней беспредельная вера и глубокая молитва, обращенная к Богу и заступнице нашей Матери Божией. Вспоминаю: мы молимся, и Валя, склонившись над книгой, автоматическим движением руки забрасывает сползающие тяжелые свои косы за плечи. Вижу ее молящейся в церкви и дома, полностью ушедшей в молитву и не воспринимающей окружающий мир. Помню задыхающейся в продолжительном кашле, с кровью на губах и все равно молящейся. Она любила детей и, играя с ними, часто весело смеялась; но когда у нее обнаружилась открытая форма туберкулеза – боялась заразить их и сторонилась.

Не будучи врачом – она закончила естественный факультет – постоянно и до ареста, и в ссылке, и в Александрове ухаживала за больными знакомыми или просто за теми, кому была нужна помощь.

Постоянно с сумкой, полной продуктов и лекарств, бежала к очередному человеку, которому требовалась помощь.

Что только мы, любившие Валентину, не делали – доставали самые дефицитные лекарства, привозили из Москвы продукты, четыре раза удавалось устраивать на лечение в Московский Областной туберкулезный институт, сделали два поддувания легких, но ничем не могли помочь – болезнь побеждала все наши усилия. Такова была воля Господа.

Дружба наша продолжалась до самой ее смерти; первая встреча состоялась в 1918 году, в Александрове я подолгу жила с ней, и умерла Валя у меня на руках 12 июня 1954 года, в возрасте 51 года.

1963 год.

М. Т. Горопова.

Из архива Т. Н. Каменевой.

ИРИНА НИКОЛАЕВНА – ДУНЯША

В начале 1921 г. о. Арсений стал вторым священником в храме, где настоятелем был о. Павел, в конце 1921 г. или в начале 1922 г. о. Арсений был уже настоятелем и стал руководить общиной, сестрами которой о. Павел и о. Арсений благословили нас с Валею стать примерно через год после нашего прихода. Протоиерея Павла перевели в другую церковь и вскоре арестовали.

Когда мы с Валентиной пришли в эту церковь (настоятелем был еще протоиерей Павел, а иеромонах Арсений был еще третьим священником), то после первой исповеди о. Павел направил нас на окормление к о. Арсению, который, поисповедовав нас и поговорив с нами, как-то неопределенно сказал:

– У иконы Знамения Божией Матери всегда стойте.

Приходя в церковь, мы теперь стояли около этой иконы. Икона была в правом приделе, и почти рядом с нами стояла скромная и тихая женщина, ничем не выделявшаяся, было ей лет около сорока. Проходя в церковь месяца три, стали даже здороваться с ней и узнали, что зовут ее Дуняша и что она уборщица в храме.

О. Арсений имел обыкновение знакомить вновь пришедших прихожан с людьми, хорошо знавшими службу, так произошло и с нами. Однажды, после вечерни о. Арсений позвал Валу, Дуняшу и меня и благословил нас быть вместе, помогать друг другу, сказав, обращаясь к Дуняше:

– Ирина Николаевна! Возьмите их под свое руководство и крыло.

Валя и я невольно удивились, что нами будет “верховодить” уборщица, и почему Дуняша превратилась в Ирину Николаевну? С этого момента Дуняша вошла в нашу жизнь и стала для нас не Дуняшей, а Ириной Николаевной.

Первые слова, сказанные нам Ириной Николаевной были: “Встаньте, девочки, около иконы Знамения, где стояли, но поближе – служба хорошо слышна и молиться спокойно”, – и заботливо поставила нас туда, где мы простояли долгие годы до закрытия храма. По воскресеньям, после литургии, звала к себе домой, но не одних нас, а еще двух, а иногда и четырех человек. Пили чай с ломтиками-сухариками черного хлеба, грызли сухие баранки или приносили, кто что мог, и это бесхитрое угощение было всегда необыкновенно вкусным.

– Пейте, кушайте, – говорила Ирина Николаевна, – когда еще домой попадете? И мы беззастенчиво съедали большое блюдо сухариков, слегка посыпанных крупинками соли, или баранок, принесенных кем-нибудь из нас.

Но каждое такое посещение Ирины Николаевны не было простым чаепитием, это были дни учения, постижения смысла богослужения, понимания и восприятия, как должен молиться человек, и главное – учиться любви к Господу и человеку, не к абстрактному всему человечеству, а именно к человеку – ближнему своему.

Казалось, Ирина Николаевна – Дуняша была очень простым человеком, однако долгое общение с ней открывало незаурядные способности, глубокий ум, поразительную наблюдательность и в то же время большую сложность ее характера и еще большую ранимость. Молитвенницей была удивительной.

Имя ее было Ирина Николаевна, но в церкви все упорно звали ее Дуняшей, иногда она поправляла обращавшихся к ней. Но прихожане, братья и сестры общины, по-прежнему называли ее Дуняшей, видимо, подсознательно считая, что уборщица храма может быть только с таким именем.

Когда мы собирались у нее, рассказывала о богослужении, учении святых отцов, старалась подобрать каждому из нас соответствующие книги, неизвестно откуда ею доставаемые, и, если требовалось, давала на прочитанное разъяснение и духовное толкование.

Наши посещения Ирины Николаевны постепенно превратились в серьезные занятия, и не один из братьев общины, впоследствии ставший иереем, обязан ей своим знанием богослужения. О. Арсений, конечно, уделял всем нам много внимания (священников в храме было четверо и диакон о. Валерий Камушкин), но, естественно, не мог заниматься с сестрами и братьями общины, так что занималась с нами Ирина Николаевна. Через несколько лет я узнала, что подобных групп, где братья и сестры постигали духовную премудрость, было несколько.

Студенческий кружок, в который мы с Валею ходили, перестал нас интересовать, он был как бы интерконфессионален и вопросам православия уделял мало внимания, а занятия с Ириной Николаевной давали огромный запас знаний, да и о. Арсений не благословил нас ходить в кружок.

Мы любили Ирину Николаевну, но тогда (в 20-е годы) так и не узнали ее жизни, она открыла мне много позже.

Ирина Николаевна стала верующей в 1914 году, но что было до четырнадцатого – никогда не говорила. Кто были родители? Где училась и училась ли – тогда мы не знали. Думалось, что Ирина Николаевна перенесла большое горе или потрясение, связанное с чем-то для нее очень тяжелым, и эта боль, никогда не высказанная, постоянно напоминала о себе и тяжелым камнем лежала на душе. Большая духовная близость, существовавшая между нами, тем не менее никогда не позволяла спросить о детских годах, юности, где училась.

Ирина Николаевна умела держать людей на расстоянии (если считала это нужным) и поворотом головы, взглядом или жестом могла остановить любые расспросы, и в то же время оставалась приветливой и благожелательной.

Она не была красивой, довольно простое русское лицо, чуть-чуть полноватое, было приветливым и становилось прекрасным от всегда благожелательной улыбки. Большие серо-голубые глаза освещали лицо и смотрели на собеседника внимательно, словно стараясь прочесть его мысли, но временами в них возникала невысказанная грусть и печаль.

Мне не раз приходилось замечать, что многие красивые и интересные женщины и девушки теряли свое обаяние, если с ними рядом появлялась Ирина Николаевна. Многие братья общины ухаживали и делали предложение уборщице Дуняше, но никто успеха не имел.

После долгих исканий духовных путей Ирина Николаевна в 1919 году пришла в нашу церковь, почти в то же время пришел в нее, с разрешения патриарха Тихона, иеромонах о. Арсений, и мысль о создании общины, возникшая у него, реально осуществилась в конце 1921 года, и первой вошла в нее Ирина Николаевна, ставшая его незаменимым помощником, приняв на себя послушание по уборке храма, дабы ничем не выделяться среди сестер общины.

Ирина Николаевна в начале 30-х годов, с благословения о. Арсения, была тайно пострижена владыкой А[фанасием (Сахаровым)] и стала монахиней Афанасией. Владыка Афанасий находился в далекой ссылке, это было в короткий перерыв между постоянными лагерными заключениями. Владыка был под особым надзором, попасть к нему было опасно и трудно, но. Ирина Николаевна все трудности и опасности сумела преодолеть, о том, что она стала монахиней, я узнала только в 1958 году. Неизгладимый след оставила в душе моей Ирина Николаевна – мать Афанасия, поэтому приведу несколько эпизодов, которые, возможно, более полно раскроют ее характер и отношение к людям и жизни.

Помню, пригласила нескольких сестер общины на именины Надя М., человек милый, хороший, но, к сожалению, отягченный сословными предрассудками: гордостью своим происхождением, заслугами предков, родовитостью, дворянством, в те времена это часто случалось в разговорах, и особенно когда собирались “бывшие”, да и теперь свойственно многим людям, только одни вспоминают дореволюционных предков, а другие роднят себя с известными деятелями революции.

Гостей пришло много, большая часть состоял из родных и старых дореволюционных знакомых, меньшая – из молодежи, братьев и сестер общины. Надя познакомила нас с родственниками и знакомыми, но почему-то, представляя Ирину Николаевну, также приглашенную, сказала:

– А это наша Дуняша, уборщица храма.

Гости, взглянув на Дуняшу, слегка кивнув, продолжали свой разговор, полный воспоминаниями о прошлом, с перечислением высокопоставленных лиц, имен и приемов Императора Николая II. Мы, друзья Нади, вместе с Дуняшей тихо сидели и вели свой разговор, явно чувствуя себя “не в своей тарелке” и что мы стесняем присутствующих.

Один, видимо, из весьма почетных гостей, возмущался современными порядками и что хамы управляют государством.

Мать Нади сказала по-французски:

– Князь, будьте осторожны, не говорите так, здесь, среди нас, простая уборщица!

Насколько я поняла, фраза была примерно такой.

Гости перешли на французский, а мы продолжали свой негромкий разговор. Мои познания в языке были довольно скромными, но все же я улавливала смысл и понимала, о чем шла речь. Пожилая дама говорила:

– Демократизация! Вот ее плоды, простая уборщица за одним столом с нами – и сделала негодующий жест, завершающий фразу.

Хозяйка дома, разливая чай, видимо, по рассеянности, обратилась к нам по-французски с какими-то словами, мы не поняли, переглянулись и недоуменно посмотрели на нее. Родственники и знакомые заулыбались. Вдруг наша Дуняша на отличном французском языке ответила матери Нади довольно длинной фразой, сказав, что, к сожалению, в начале разговора по-французски не предупредила, что знает этот язык.

Гости и родственники были смущены и удивлены, только небольшой старичок, которого все называли князем, сказал по-английски, видимо что-то язвительное и обидное, на что наша Дуняша ответила также по-английски, отчего князь весьма смутился.

Больше всех были поражены мы, друзья Ирины Николаевны. Этот случай заставил меня, да и не только меня, совершенно по-другому взглянуть на Дуняшу – Ирину Николаевну.

Дружба и взаимная любовь наша стала настолько крепкой, что примерно года за два перед смертью передала она мне девять толстых тетрадей своих дневников и записей, из которых узнала я всю ее жизнь, и разрешила брать из ее записей все, что найду нужным. Этим я воспользовалась, и сейчас, когда пишу о ней, то некоторые сведения черпаю из дневников, не касаясь глубоко личных событий ее жизни.

Обретя веру и придя в Церковь в начале 1914 года, Ирина Николаевна до 1917 года побывала во многих монастырях России. Это был период исканий лучшего из лучших, желания поступить в один из них. Эта мечта тогда не осуществилась, но дала большие знания духовной жизни, дала возможность общаться с людьми, обладавшими высокой духовностью, и самой воспринять от них лучшее. Слушая ее, я словно сама бывала в монастырях, видела жизнь, уклад, особенности богослужения и дореволюционный мир монашества. Жила в монастырях Ирина Николаевна подолгу или столько времени, сколько разрешалось по уставу или гостиничным правилам.

В ее рассказах не было восторгов перед ложной декоративностью, святостью или набожностью, а виденное излагалось и анализировалось с истинно духовных позиций Церкви и церковной истории. Из оставленных записей было отчетливо видно, что она тщательно изучала труды святых отцов Церкви и знала их, великолепно знала устав и церковные службы, а также историю многих монастырей. Приведу несколько рассказов о монастырях (преднамеренно соединив ее рассказы 20-х годов с высказываниями в 40-х, 50-х, 60-х), а также приведу несколько сделанных в последние годы выводов о связи наследия прошлого православия с состоянием его в период 1917–1970 годов.

“Самым высокодуховным монастырем последнего времени, – говорила Ирина Николаевна, – считаю Оптину пустынь, давшую православию и России великих старцев о. Льва, Моисея, Макария, Амвросия, Нектария и последнего старца Никона, сосланного [и скончавшегося в ссылке], положивших начало новому направлению духовной жизни в миру – старчеству у нас в России.

Мне довелось увидеть одного из последних старцев – о. Нектария, и не только увидеть, но и принять благословение на дальнейший путь жизни моей, не раз получать от него советы. Отца Никона видела мимолетно.

О. Нектарий – старец большой духовной жизни и внутренней силы, но понять его можно было лишь тогда, когда подойдешь к нему, отбросив все житейское, открыв душу свою, и тогда получишь то, что определено тебе Господом, найдешь успокоение в советах и руководстве его”.

– Посмотри, Саша, – говорила она мне, – прочти, что написано об оптинских старцах, посмотри, и ты поймешь, скольких людей духовно кормила в XIX и начале XX века Оптина, какой огромный след оставила в духовной жизни нашей Церкви.

“Старчество стало в России достоянием не только монашествующих, но пришло к мирским людям через приходские церкви. Первую такую общину создал великий духовник о. Иоанн Кронштадтский. Придет время, и то, что сделала Оптина пустынь, Саровский, Дивеевский, Соловецкий, Валаамский монастыри, духовные общины, созданные в начале XX века, даст свои всходы на нашей земле. Может быть, для этого понадобятся долгие годы, но Церковь Русская будет жить и крепнуть, ибо Господь и Царица Небесная спасут Россию, не оставят ее и нас, православных христиан.

Церковь никогда не умрет, она возродится на том богатом наследии, которое создано за многие столетия ее жизни на Руси, на опыте и крови тех страдальцев и мучеников, что погибают в лагерях, тюрьмах и ссылках”.

Ее рассказы о Дивееве, Оптиной пустыни, о небольшом монастыре Макарьевском под Киевом (кажется, так называла его Ирина Николаевна) были просты, вдохновенны и благостны. “Проживешь в них неделю, две, и многие месяцы чувствуешь, словно второй раз родилась, душа в семи водах вымылась”.

Однажды вспомнила о каком-то Орловском монастыре: “В 1915 году приехала я туда, так на третий день не чаяла, как убежать! Не монахини, а блудницы, да и те лучше, именем Господа не покрываются, а эти крест, одеяние монашеское носят – были и такие монастыри, за что Бог и наказывает нас сейчас”.

Из дневников я узнала, что родилась Ирина Николаевна в 1888 году в Санкт-Петербурге в богатой дворянской семье, в 17 лет окончила гимназию (1905 год), ушла из семьи и почти три года провела, как сама пишет, “почти на дне морального опущения и поведения; символисты, артисты, поэты разных направлений, рестораны и многое другое, мерзкое, грязное, опустошающее прошло в то время через мою жизнь”. Но она нашла в себе силы и волю вырваться из порочного круга. Самым удивительным было то, что, по произволению Господа, совершилась ее встреча с о. Иоанном Кронштадтским.

В своих записках об этой встрече она пишет: “Я была у знакомых (1907 год), у них тяжело болела сестра хозяйки дома, врачи не помогали, обращались даже к Бадмаеву – доктору тибетской медицины; больной становилось все хуже и хуже. Хозяин дома, известный просвещенный адвокат, безразлично и даже в какой-то мере враждебно относился к вере, но жена, человек верующий, но по особому, тогда принятому “кодексу” интеллигенции, воспринимала веру – православие – как обычай, свойственный русскому народу. Видя, что сестра находится в состоянии, близком к смерти, после долгих семейных споров, решили пригласить на дом о. Иоанна Кронштадтского, но это оказалось непросто. О. Иоанн всегда был занят, и пригласить его на дом было почти невозможно. После долгих хлопот о. Иоанн согласился приехать и помолиться о больной Марии.

Совершенно случайно я пришла к ним в три часа дня, ждали приезда отца Иоанна. Обстановка в доме была напряженной, но осталась, захотела увидеть этого, известного тогда, священника просто из любопытства.

Иоанн Кронштадтский приехал с опозданием, вошел, и мы, все присутствующие, подошли к нему под благословение, даже хозяин дома.

О. Иоанн зашел в комнату больной, исповедовал, причастил и отслужил долгий молебен; был молебен какой-то возвышенный, необыкновенно душевно-теплый. Даже до меня это дошло тогда. О. Иоанн, закончив молебен, так же как и по приезде, стал благословлять, дошла очередь и до меня. Я подошла, сложив руки для благословения, и вдруг неожиданно о. Иоанн взял мою голову своими руками, прижал к груди своей и сказал:

– Ищи, Ирина, и найдешь. Молись Господу и Матери Божией, молись, молись. Придешь к Господу, раба Афанасия, – и, благословив, отпустил.

Удивилась словам его, но и задумалась. Больная Мария после исповеди, причастия и молебна стала быстро поправляться и вскоре выздоровела. Великий чудотворец был о. Иоанн, чудотворец и провидец. Когда постриг принимала, то владыка Афанасий дал мне имя Афанасия, хотя о встрече с о. Иоанном не рассказывала – времени на это не было, не до рассказов – ареста боялись, тайно я приехала”.

В 1909 году Ирина Николаевна поступила на филологический факультет Санкт-Петербургского Университета, потом переехала в Москву, здесь окончила в 1914 году Московский Университет [1], но по специальности никогда не работала и даже умалчивала об окончании университета.

Церковь нашу закрыли. Ирина Николаевна осталась без работы, устроила я ее статистиком в райздравотдел, где она проработала до 1963 года и ушла на пенсию в 75-летнем возрасте.

В конце 1958 года я привезла Ирину Николаевну к о. Арсению. Какая это была встреча! О своем приезде мы никого не предупредили, и о. Арсений тоже не знал, но Надежда Петровна, хозяйка дома, где жил о. Арсений, рассказывала:

“Утром о. Арсений вышел к нам в столовую радостный, просветленный и сказал всем:

– Ждите гостей, очень хороших гостей, сегодня приедут. Надежда Петровна, пирог с капустой, праздничный, пожалуйста, сделайте.

Никогда таких разговоров раньше не было, ну я, конечно, испекла, а между собой говорим – кто же это придет?”

Приехала с Ириной Николаевной, стучим, а дверь открывает сам о. Арсений. Вошли мы, дверь закрыли, и тут же, в передней, упала Ирина Николаевна на колени и навзрыд плачет, а о. Арсений поднимать ее начал и тоже весь в слезах.

Много раз потом привозила Ирину Николаевну и видела, что встречи эти были для обоих радостными, долгомолитвенными, и во время этих встреч воскресало доброе, прекрасное прошлое: община, люди, жившие и ушедшие теперь, великолепный храм, служение в нем; приходила прошедшая молодость, стремление к вере, любовь к людям.

Начиная примерно с 1965 года о. Арсений направлял некоторых своих духовных детей к матушке Афанасии (Ирине Николаевне), говоря при этом: “Господь да будет с вами, матушка Афанасия скажет все, что требуется, слушайте ее, как меня бы слушали”.

И люди по благословию о. Арсения шли и всегда были довольны тем, что духовно давала им мать Афанасия.

Однажды, по приезде к о. Арсению (я тогда приехала с Ириной Николаевной), состоялся интересный разговор об общинах Москвы и Ленинграда, существовавших в первой четверти XX века. О. Арсений говорил:

“Старец Нектарий Оптинский не раз говорил, что возникновением при храмах церковных общин мы обязаны Оптиной пустыни и святому Серафиму Саровскому, духовный опыт и многолетняя практика которых в XIX веке явилась духовной основой для всех общин, вобравших в себя лучшее, что было в среде верующих старшего поколения, в том числе верующей интеллигенции и большой массы ищущей Бога молодежи.

Во главе общины стоял, как правило, опытный в духовном отношении иерей-старец и так же, как старцы Оптиной пустыни, ведший своих духовных детей – членов общины по пути духовного совершенства в полном соответствии с учением Православной Церкви. Ярким примером служит жизнь о. Иоанна Кронштадтского, о. Алексея Мечева, о. Валентина Свенцицкого и других.

Общины не только собирали верующих для молитвы в храме, они организовывали взаимную помощь, изучение церковной службы, богословия, святых отцов. Почти каждый член общины нес послушание, церковные певчие выбирались из членов общины, и при этом почти никто не получал никакого вознаграждения за свою работу. Собранные средства шли на содержание бедных, обеды, покупку для них продуктов и на уплату огромных налогов, которые взимала советская власть, любыми способами старавшаяся удушить Церковь. Были и срывы, когда организовывалась община и во главе ее становился иерей, не обладающий даром старчества – опытом глубокой духовной жизни”. Помню, он сказал, что наступит время, И церковные общины вновь возродятся на Руси. Мой приход к вере во многом связан с длительным общением и дружбой с Ириной Николаевной. Умерла она 10 августа 1972 г, в возрасте 84 лет.

1979 год.

А. Н. Ширвинская.

Из архива Л. А. Дилигенской.

КОНЕЦ

ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТИ

Отец Арсений Часть пятая. ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО СВОЕГО

Содержание

- БЕСЕДА
- ОТЕЦ ИЛАРИОН
- УШЕДШЕЕ – НАСТОЯЩЕЕ
- ПСИХИАТР
- ВСТРЕЧА С ДАНИИЛОМ МАТВЕЕВИЧЕМ
- БЕСЕДА
- КРОССВОРД
- ЮРИЙ И КИРА
- АРХИЕПИСКОП
- ОДИНОЧЕСТВО
- РАЗВЕДЧИК
- ОТЕЦ СЕРАФИМ
- ОТЕЦ ОЛЕГ
- ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ
- ПОЭТЫ “СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА”
- ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ АРСЕНИИ И ЕГО ДУХОВНЫХ ДЕТЯХ, БЕСЕДЫ ОТЦА АРСЕНИЯ, ЗАПИСАННЫЕ КИРОЙ БАХМАТ

- о ВОСПОМИНАНИЯ А. Ф. БЕРГ 1980 г.
 - о ЕЩЕ О НАШЕЙ ОБЩИНЕ...
 - о ИСЦЕЛЕНИЯ
 - о О МОЛИТВЕ
 - о ВОСПОМИНАНИЯ ОТЦА АРСЕНИЯ
 - ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВОСПОМИНАНИЯМ ОБ ОТЦЕ АРСЕНИИ
-

БЕСЕДА

19 января 1964 г.

Беседы после вечернего чая были довольно редки. Обыкновенно приезжало несколько человек, с каждым необходимо было поговорить, выслушать, поисповедовать, на это уходило все время о. Арсения. Отходя ко сну, он в буквальном смысле слова падал от усталости, перед сном еще долго молился.

Меньше пяти человек почти никогда не находилось в доме Надежды Петровны, в выходные и государственные праздники приезжало 10–12 человек. Тогда Надежда Петровна начинала нервничать, понимая, что если милиция придет с проверкой, то для о. Арсения это может кончиться арестом. Но, слава Богу, за все время его жизни в городе этого не произошло, а прожил он в Ростове почти 17 лет.

Иногда все же выдавались редкие вечера, когда все спокойно сидели в столовой и непроизвольно возникала беседа; она могла возникнуть из заданного вопроса, или о. Арсений просил одного из присутствующих рассказать о том, что пережил доброго, хорошего, о пути, приведшем к Богу, или сам начинал рассказ о встреченных людях, о своих переживаниях, думах. Так из этих бесед и родилось большинство воспоминаний. Некоторые воспоминания записывались со слов рассказывавшего, другие, по совету о. Арсения, записывались самим рассказчиком, и часто – в течение не одного года. Написанное собирали А. В. и Елизавета Александровна и отдавали на хранение надежным людям. Воспоминания стали отображением долгой жизни наших братьев и сестер – старых духовных детей о. Арсения, а теперь и многих вновь пришедших после 1958 г.

Лагерные воспоминания о. Арсений всегда просил писать без лагерного “фольклора”, блатных слов, специфики лагерного диалекта: “Пишите без этого сора, пишите интеллигентным русским языком”. Мне удалось записать несколько бесед, проведенных о. Арсением, – интересных и духовно полезных.

В тот день за столом собралось восемь человек, троих я видела впервые, остальных знала. Разговор шел о вере в Бога и о любви к ближнему своему. Никто ни о чем не спорил, просто обсуждали, что важнее – глубокая вера или полная отдача себя помощи близким. Отец Арсений, сидя в кресле, медленно пил чай, время от времени помешивая его чайной ложечкой, и, прислушиваясь к разговору, улыбнувшись сказал:

“Давайте вспомним слова Господа нашего Иисуса та, ответившего законнику, искушавшему Его: “Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки” (Мф. 22, 36–40).

В словах Господних сказано настолько четко и определенно о любви к Богу и ближнему своему, что, казалось бы, никаких дополнительных толкований не нужно. И тем не менее апостол Иаков пишет: “Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его?” (Иак. 2, 14), и продолжает: “Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе” (Иак. 2, 17), и еще раз пишет: “Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?” (Иак. 2,20).

Апостол Павел в Послании к Евреям говорит об обязательности веры: “А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает” (Евр. 11, 6), но чтобы воедино связать веру в Бога и любовь, апостол Павел продолжает: “Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы” (1 Кор. 13, 1–3).

Глубокая любовь к Богу и ближнему своему нераздельна, и если человек совершает добро, любит людей, возможно, кладет жизнь свою за други своя, но Бога не любит, не верит в Него, то,

несмотря на доброту свою, он духовно мертв, ибо не хочет знать Бога. Мне приходилось часто встречать таких людей: добрых, приветливых, готовых поделиться последним куском хлеба, но безразличных к Богу, отрицающих Его или относящихся к Богу враждебно. И знаете, при всей “хорошести” этих людей, замечал в их поведении, характере, восприятии жизни ущербность, из собственной доброты они создавали свою религию, заменявшую им Господа.

Оценить, взвесить добрые дела, совершенные этими людьми, отдать должное этим делам (возможно, облегчили многим людям жизнь или кого-то спасли от поругания и смерти) может только Господь; но без веры, только одними добрыми делами спастись невозможно. С другой стороны, в Деяниях Апостолов сказано: “Но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему” (Деян. 10, 35). Возможно, в этих словах есть малая надежда на милость Господа к людям, совершающим добрые дела, хотя и не имеющим должной любви к Богу, но все же – при обязательном понимании, что Бог есть, и при религиозном сознании: “Я, человек, верю в Него”.

Не мне рассуждать об этом, – я простой иеромонах а не ученый богослов, так учат святые отцы”.

ОТЕЦ ИЛАРИОН

15 марта 1964 г.

“На моем пастырском пути, – говорил о. Арсений, – приходилось встречаться с людьми, наделенными, по милости Божией, прозорливостью, способными читать в душе верующего человека все, совершенное им, и даже провидеть его будущее. В лагерях и ссылках был свидетелем чудесных исцелений совершенно безнадежных умирающих больных по молитвам епископов, иереев, монахов, видел лагерных “доходяг” – полностью лишенных воли, физической сопротивляемости, истощенных дистрофиков, по молитве иерея Валентина преобразившихся, становившихся здоровыми, обретавшими волю и вышедшими из лагеря смерти раньше меня (и теперь, уже стариками, приезжающими ко мне). Отец Валентин служил иереем в одном из храмов Москвы и был расстрелян 21 ноября 1942 г. Одно время я находился с ним в одном лагерном пункте и бараке. Был он великий молитвенник и помощник людям.

Кстати сказать, я тоже должен был быть расстрелян 21 ноября, в день собора Архистратига Михаила. Утром после поверки конвой отвел меня к вахте (ворота при входе и выходе из лагеря), собрали человек двадцать пять, в основном священников, диаконов и одного епископа. Было морозно, конвой переминался с ноги на ногу, мы тоже мерзли, но стали петь “Достойно есть яко воистину...” и “Святой Боже...” Охрана молчала, понимая, что это последние наши слова перед смертью. Мы знали – нас поведут на расстрел в глубокий Воронин овраг, где расстреливали заключенных.

Прошло около часа, мы пели вполголоса. Вдруг прибежал военный и приказал выходить заключенным, номера которых стал выкликать. Назвал и мой номер. Вызвал пять человек и приказал: “Быстро по баракам”. Остальных вывели за ворота, минут через пятнадцать раздался треск автоматных очередей. Почему меня вызвали из группы приговоренных? Не знаю. Была на то Господня воля.

Еще дважды, когда находился в лагерях, утром вызывали к вахте для расстрела, но после многочасового ожидания отправляли в барак или на работу. Пути Господни неисповедимы!

Второй раз меня вызвали 19 января 1943 г., в день Святого Богоявления – Крещения Господня, и в третий раз – 19 августа 1943 г. – в день Преображения Господня. Конечно, во всем было Господне произволение. Он отвел от меня смерть, и я сижу сейчас с вами; это чудо, дарованное мне, грешному!

Расстрелы в лагерях администрация называла “чисткой”, и производились они почему-то часто накануне советских праздников. Со всех лагерных пунктов свозились к этим дням обреченные. Никому не зачитывали приговора, а вели к воротам, собирали группу заключенных, занесенных в список, и за воротами в оврагах расстреливали.

19 августа 1943 г., когда собрали у вахты заключенных и, как всегда, часа два мы уже стояли, вдруг один из обреченных засмеялся, вначале тихо, потом громче и громче. Смех был звонкий, радостный. Окружающие попытались его остановить, но безуспешно. Смех, нервный, заражающий, продолжался, засмеялись еще два-три человека. Я и другие молились. Вы знаете (обратился к нам о. Арсений), мне по-человечески стало страшно, охватила душевная боль за людей, которые через несколько минут умрут, а сейчас разрываются от смеха. Молился, осеняя себя и смеющихся крестным знаменем, то же делали и другие. Слышал, что в группе были два епископа, которых я не знал, их привезли из дальних лагпунктов. Меня снова вызвали из расстрельной группы. Для чего

трижды водили на расстрел и возвращали обратно в барак – не знаю. Запугать? Но режим лагеря был равноценен расстрелу.

Мне довелось быть свидетелем чудесных явлений и действий, совершаемых глубоко духовными людьми, прошедшими долгий путь молитвенного подвига, творения добра и высокого пастырского служения. Живя рядом с ними, получал от них благодать, учился молиться и пытался хотя бы в малой степени быть таким, какими были они.

Постоянно стоит передо мной небольшого роста старенький сельский иерей – о. Иларион, в монастыре Иоанн, с добрым лицом, живыми глазами, длинной белой бородой. Почти два года прожил я в северном селе Архангельской области. Село было большое, на горе стояла древняя деревянная церковь удивительной красоты, старого северного архитектурного благолепия, с одним куполом над церковью и вторым – над небольшой колокольней. Купола были покрыты осиновой щепой и, в зависимости от солнечного освещения, принимали то золотистый, то серовато-серебристый цвет. Церковь была старинной, но еще крепкой. Входя в нее, невольно поражался обилию икон, развешенных на стенах, слегка потемневших, но с ясно видимыми ликами святых. Всегда горело несколько лампад, было довольно темно, и, войдя, человек невольно погружался в молитвенное состояние отрешенности от окружающего мира, его суетности. Чистота в церкви была необычайная, свечи горели только восковые, из города свечей не привозили. Изготавливал их причетник, молодой человек, всегда прислуживавший в храме. Хор состоял из пяти–шести женщин, был строен и хорошо сложен. Прихожан по воскресеньям и праздничным дням приходило по пятьдесят–шестьдесят человек, и не только стариков и старух, но и молодых.

Служил о. Иларион точно по уставу, но служил как-то особенно, полностью овладевая вниманием молящихся, делая их участниками богослужения. Молитвы “Верую”, “Отче наш”, “Иже херувимы” прихожане пели в едином духовном порыве, с огромным восторгом. В воскресные и праздничные дни после неторопливой исповеди к причастной чаше подходили 12–15 прихожан. Для сельской церкви это было много. Церковного вина не было, и о. Иларион (крестьяне звали его “Ларион”) приготавливал его из сока малины, клюквы и меда и все время сокрушался: “Господи! Ты сказал – от плода виноградного, а я что делаю? Простит ли мне это Господь?”

Первое время я не мог постичь, почему так внимательно и благочестиво слушают прихожане службу. Я сослужил в московских храмах с иереями большой внутренней духовности, но такое понимание и вхождение в богослужение видел редко. Однажды, захваченный служением о. Илариона, понял, постиг – он служил вместе с народом и как бы в народе, он не отделялся во время сужения от прихожан, он был с ними и в них, поэтому особая благодать Господа осеняла и соединяла молящихся. Примерно шестьдесят лет после окончания Архангельской семинарии служил он ежедневно в этом храме Святой Троицы, говорил краткие проповеди нравственного содержания (хотя в те годы, когда я жил в селе, проповеди запрещали) – шестьдесят лет ежедневного безотказного общения с прихожанами. За советом, наставлением, примирением жители села и окрестных деревень шли к нему.

В селе любили и уважали о. Илариона, помогали, чем могли, и церкви. Сам о. Иларион жил бедно, ухаживала за ним древняя бабушка Ольга; дом сверкал чистотой, иконы во множестве висели по стенам, в основном старинного вологодского и устюжского письма, очень тонкой работы, но были и удивительно примитивного письма, редко встречающиеся. Засушенные цветы, разного рода травы наполняли дом необыкновенным запахом, к которому примешивался запах воска. Книг на полках лежало немного. Жена о. Илариона умерла двадцать лет тому назад, кажется, в 1918 г.; в 1923 г., через пять лет после ее кончины, с разрешения правящего архиерея он принял монашеский постриг с именем Иоанн. Постриг был тайный, поэтому для прихожан он по-прежнему остался о. Иларионом, никто не знал, что он принял монашество. Только через год он сказал мне об этом. У него было двое детей: сын Борис, убитый в первую мировую войну, и дочь Ксения, умершая в 1925 г. Осталась внучка, ставшая врачом и вышедшая замуж также за врача. Раз в год они приезжали к о. Илариону, заботились о нем и всегда просили и убеждали уехать к ним в Ярославль, говоря, что ему много лет и пора на покой. При одном таком разговоре присутствовал и я. Отец Иларион на все уговоры отвечал только одно: “Господь призвал меня в село, здесь хочу окончить дни свои в храме Святой Троицы. Прихожан, с душой моей связанных, не оставлю”. Отцу Илариону к моменту появления моего в селе исполнилось восемьдесят лет, но был он подвижен, энергичен, скор на любое дело, плотничал, столярничал, водил пчел. Изредка выезжал на требы в окрестные деревни и скорбел, что в эти дни службу в храме не совершал.

Я подробно рассказываю об о. Иларионе, потому что видел его службы, отношение к прихожанам, полное растворение в подвиге, глубокой вере и любви к Богу и людям. Это был настоящий старец, облеченный Господом за свою подвижническую жизнь даром прозорливости и

исцеления духовно и телесно страждущих. Я был духовным сыном Оптинских старцев о. Нектария и о. Анатолия, встречался со старцем о. Алексеем Мечевым, епископом Варфоломеем (Ремовым) и многими выдающимися в духовном отношении иереями и владыками и считаю, что о. Иларион достойно сравним с этими великими подвижниками. Я отчетливо понимал недосыгаемую для меня силу их веры и духовного подвига.

Удивляло, что в отдаленном селе простой сельский священник ежедневным служением в церкви в продолжение шестидесяти лет, постоянной духовной работой над собой и молитвой достиг высокого духовного совершенства. Благодарю Господа, что Он разрешил мне увидеть этого подвижника, пройти с ним хотя и короткий, но давший силы и научивший общению с людьми путь, что помогло в дальнейшем в малой мере помогать людям, окружавшим меня.

Власти запретили мне посещать церковь в селе, но удалось тайно совершить с о. Иларионом несколько литургий и вечерами постоянно молиться с ним в его доме, тоже тайно. Несколько раз я был свидетелем совершенных им исцелений людей, пораженных запущенными раковыми опухолями, умиравших от крупозного воспаления легких, пораженных инсультом, водянкой, другими болезнями. Люди избавлялись от смерти, вставали и начинали работать. В церкви была чудотворная икона “Знамение” Божией Матери Новгородская (празднование 10 декабря). Приходя к больному, о. Иларион полагал икону на него, долго и проникновенно молился и помазывал елеем, кропил святой водой и возлагал руки. Молясь, призывал помощь Божией Матери и святого, именем которого был наречен исцеляемый.

Станным было то, что исцеленный и его родные не всегда понимали, что на их глазах произошло чудо по молитве о. Илариона, самое настоящее и откровенное чудо, и воспринимали, что это так и должно быть, на то он и поп. Но я, иерей Арсений, приходил в духовный восторг от увиденного.

Примером чуда может служить и событие, случившееся при мне и оказавшее на жителей села большее впечатление, чем многие исцеления больных, совершенные о. Иларионом.

По дороге, проходившей через село, незнакомый мужик шел рядом с тяжело нагруженной телегой; дорогу развезло, грязь была по колено. Лошадь с трудом тащила телегу, выбиваясь из последних сил. Внезапно колеса провалились в глубокую яму, телега застряла. Возчик стегал лошадь по спине, потом толкал телегу; подошли несколько местных жителей, но сдвинуть телегу не смогли. Возчик озверел и, отчаянно ругаясь, стал хлестать лошадь кнутом под живот, после каждого удара оставался кровавый рубец. Окружающие возмутились, стали убеждать возчика пожалеть лошадь – она дрожала, слезы текли из глаз; но мужик бил и бил ее. Она дергалась вперед, дрожала, но вытащить телегу не могла. Жители села попытались вырвать кнут, возчик достал с воза топор и двинулся на протестующих, потом опять схватил кнут и с остервенением продолжал бить лошадь под живот. Я попытался вырвать кнут и остановить избиение, но он ударил меня в грудь, и я упал в грязь. Окружающие подняли меня... Возчик кричал: “Моя лошадь, хочу и бью”. Все понимали – лошадь он изуродует, вот-вот она должна была упасть.

В этот момент неизвестно откуда появился о. Иларион, вырвал кнут, с силой ударил кнутовищем возчика по лицу и, не оборачиваясь, пошел к лошади. Мужик поднял топор и, размахнувшись, опустил на голову о. Илариона, но топор вылетел у него из рук, перелетел через воз и упал в грязь. Обернувшись к возчику, о. Иларион спросил: “Ну! Морда от кнута болит?” –

“Ты чего же меня по морде ударил? Больно”. – “Тебе больно, а лошади, думаешь, нет?”

Подошел к лошади, ласково погладил по спине и, достав платок, стал осторожно промокать кровавые рубцы, затем обратился к стоявшей рядом женщине: “Аксинья! Принеси льняного масла”. Масло принесли. Удалив кровь и полив масла на ладонь, о. Иларион промазал лошади исполованный живот. Лошадь успокоилась, слезы из глаз больше не текли. Взяв ее под уздцы, о. Иларион сказал возчику: “Ну! Подтолкни телегу!” – перекрестился несколько раз, легонько потянул уздечку. Тяжело груженная телега вышла из глубокой колдобины и двинулась по дороге.

Подойдя к возчику, о. Иларион сказал: “Ты, Василий, меня Бога ради прости, что ударил, да остановить тебя иначе было нельзя! Поезжай спокойно с Богом; доедешь – живот маслом мажь, два дня лошади отдохнуть дай. И чтобы этого больше не было! Понял?” – и, перекрестив всех, пошел.

Мужик подошел к лошади, погладил по спине и, обращаясь к стоящим, спросил: “Братцы! Кто это был?” – “Наш священник о. Иларион, его вся округа знает, ты что, нездешний?” – “Нет, – ответил возчик, и проговорил, – как же я на попа, да с топором? Грех какой!”

Не могу еще раз не сказать: жизнь о. Илариона была непрерывным подвигом, полным отречения от своего человеческого “я”, постоянной молитвой и растворением в помощи людям. Внимательно вглядываясь в его жизнь, в отношение к нему окружавших его людей, я видел, что все дела его воспринимались как естественно вытекающие из обязанностей священника, все считали, что

так и должно быть. Но происшедшее с лошадей было необычным и поразило крестьян. Разговоров об этом было множество: “Батя-то Ларион – прямо святой, ничего не побоялся. Чудо так чудо, и лошадь пошла с телегой!”

Я любил о. Илариона и дружил с ним, считая его своим наставником, руководителем, пытался у него научиться; и то, что удалось, по милости Божией, получить, помогло выжить в лагерях, находить правильный духовный подход к заключенным и духовным детям.

Совершение чуда дается, по милости Божией, тем людям, которые жизнью своей во Христе достигли всей полноты веры и выполнили заповеди Господа о любви к Нему и к ближним.

В полном соответствии с этими главнейшими заповедями Христа жил о. Иларион, и Господь даровал ему силу творить исцеления, прозорливо читать содержащееся в душе человеческой. Еще и еще благодарю Господа за то, что милостью Своею дал мне возможность увидеть святых людей и общаться со старцем Нектарием, старцем Никоном, монахом Михаилом, с, казалось бы, совсем простым сельским священником о. Иларионом – великим праведником и молитвенником. А сколько таких праведников погибло, расстреляно, забито, закопано еще живыми в землю, в ямы, в могилы, медленно уничтожено в лагерях, в ссылках. Но никогда, никогда их великий мученический подвиг, вера, помощь ближним, пролитая кровь не пропадут, на подвигах их, молитвах и крови крепко и нерушимо будет стоять и жить Русская Православная Церковь, а Матерь Божия будет охранять и защищать Церковь и землю Русскую...”

Отец Арсений встал, перекрестился, молча благословил сидящих и ушел к себе. Мы видели – по лицу его бежали слезы. Затаив дыхание слушали мы слова о. Арсения и понимали, что, вспоминая прошлое, он снова жил прежней жизнью и лица любимых людей возникали перед ним.

Записано Ксенией Галицкой

Из архива В. В. Быкова (получено в 1998 г.)

УШЕДШЕЕ – НАСТОЯЩЕЕ ОТЕЦ ИЛАРИОН

15 марта 1964 г. – 20 февраля 1965 г

На другой день вечером мы опять собрались за столом Воспоминания вчерашнего дня заинтересовали всех. Ольга Сергеевна спросила: “Отец Арсений! Скажите что стало потом с о. Иларионом?” – “К стыду своему, не знаю. Отслужили мы с ним тайно рано-рано утром литургию в церкви, простились, и я ушел домой. В час дня приехали сотрудники НКВД, взяли пять человек ссыльных, в том числе и меня, и увезли в район. Было это в мае 1941 г. [1]. Проститься ни с кем не смог, ну, а там пошли лагеря – до начала 1958 г.

Хочу попросить Александра Сергеевича съездить туда и узнать. Вы – в отпуске, самый молодой из нас. Давно это было, 24 года тому назад, но узнайте, что удастся, про о. Илариона, приедете – расскажете. Поездка не опасна, и природа, там прекрасная, даже отдохнуть сможете”.

Александр Сергеевич был один из сидевших за столом, лет 28, энергичный, подвижный и интересный лицом и фигурой. Видела я его в первый раз, однако другие звали его Сашей – видимо, хорошо знали.

Двадцатого февраля, но уже 1965 г. я слушала его рассказ о поездке и объединила воспоминания о. Арсения об о. Иларионе (беседу 15 марта 1964 г.) и рассказ Александра Сергеевича. Вот что рассказал Александр Сергеевич:

“Я доехал до станции поездом, дальше ехал где автобусом, где на грузовых попутках за бутылку водки (денег не спрашивали, а только – бутылку). Приехал в Петровский Ям, стал добираться до Троицкого села, где в ссылке жил о. Арсений, – никто такого села не знает; одного шофера спрашиваю, другого, третьего, отвечают: “Не знаем”. Наконец один из пожилых водителей сказал: “Знаю село Троицкое, колхоз там огромный, называется “Ильич”, название “Троицкое” давно забыли. На машине надо добираться: километров 90–110 будет, меньше чем за две бутылки на попутках не возьмут. Иди к парикмахерской, там всегда нашего брата много толпится, обрастут дома, а сюда приедут и стригутся”.

Купил четыре бутылки водки, положил в сумку и пошел искать машину; и действительно, у парикмахерской нашел шофера из колхоза “Ильич”, договорились: товар погрузит – и поедет. Запросил три бутылки водки, потом подумал и сказал: “Ладно, за две отвезу”. Забрался в машину, брезент шофер бросил, я уселся, и мы поехали. Время от времени молился о благополучии поездки. Три часа ехали большаком, дорога всего меня измотала, от тряски на ухабах все бока избил. Приехали. Вылез из машины, качаюсь, устал от непривычной езды; время уже к шести подошло, надо пристанище найти. Спросил водителя. “Да иди в любой дом, пустят, только с бабой говори, а не

с мужиком, – баба деньги возьмет, а мужик водку потребует, а бабы у нас терпеть не могут, когда мужик выпивши”.

Пошел по селу, дома большие, красивые, высокие. Подошел к приглянувшемуся дому, постучал. Вышла хозяйка – женщина лет двадцати, осмотрела меня и спрашивает: “Чего надо-то?” Говорю: “Пристанища дней на пять”. – “Ладно, входи”, – и цену назначила. Лето в этом году стояло жаркое, хозяйка сказала: “В холодной тебя положу на сенном матраце”. Вошел, умылся, смотрю – в красном углу икона висит, перекрестился и пошел на холодную половину дома. Хозяйку звали Любой. После того как перекрестился, внимательно посмотрела на меня и сказала: “Ты небось, Александр, голодный, садись, на стол соберу”. Стал отказываться, неудобно. Собрала на стол; я встал, “Отче наш” прочел и сел на лавку у стола. Крынку топленого молока, ватрушки с грибами, щи капустные на стол Люба поставила и радушно, доброжелательно рассказывала о своей семье и меня расспрашивала.

Откровенно сказал, зачем приехал; спросил, где церковь, кладбище. Люба слышала об о. Иларионе. Кладбище осталось, а церковь давно сгорела; об о. Иларионе от матери и бабушки слышала, рассказывали – хороший священник был, все село его любило. “Отведу завтра к матери, дочка моя у нее сейчас; поговоришь и узнаешь, что надо”. Смотрел я на Любу, и настоящая красота русской женщины поразила меня и заморозила. Люба вдруг вспыхнула, одернула сарафан, надетый поверх кофточки, и сказала: “Чего уставился, женщин, что ли, не видал? Иди ложись, отдохни; к ужину разбуду”, – и ушла.

Пошел, лег на сенник и крепко уснул. Проснулся от того, что кто-то толкал меня, говоря: “Дядя, дядя! Вставай ужинать, мама на стол поставила!” Около меня стояла девочка чуть больше двух лет, ударяя кулачком в плечо. Недоуменно смотрел я на нее, потом сообразил, где нахожусь, и пошел ужинать. В комнате были только Люба и дочка Нина, а где же муж? Спросил, ожидая, что он тоже будет. Люба неопределенно махнула рукой, сказав: “Расспрашивать приехал? Садись, ешь!”

Утром она отвела меня на кладбище – погост. Кладбище, как все деревенские, заросло травой, холмики расплылись, многие кресты истлели, некоторые могилы окружала тесовая ограда и стояли кресты-голубцы, покрытые голубой краской. Ходил я долго, осматривая каждый холмик, кресты с надписями, но так и не нашел могилы о. Илариона. Проходил часа четыре, солнце невыносимо пекло, побрел домой. Дом был пуст; взял книжку, стоявшую на полке, сел на крыльцо и стал читать, увлекся; услышал Любин голос: “Дай в дом войти, ишь ты, всю дверь загородил!” Взглянув на Любу, снова поразился ее русской красоте. Словно прочитав мои мысли, проходя, тщательно отстранилась и вошла в дом. Обедали вдвоем, молча, я стеснялся есть. Любовь заметила: “Ты не в Москве в гостях, а в деревне, чего стеснение наводишь? Ешь!” – “Люба! А где твой муж?” – вновь спросил я. “Опять спрашиваешь? Ну, отвечу. За большими рублями погнался, уехал в Якутию, в город Мирный алмазы добывать, другую завел, написал – не вернется. Вот так и живу одна с Ниной, в колхозе работаю, мама за дочкой смотрит. Но не горюю, не одна я такая в колхозе. Глупая была, совсем девчонка, среднюю школу здесь кончила, а он тут как тут! Выскочила замуж, а он взял и уехал, да любви и не было. И зачем тебе рассказываю, сама не знаю. Ты в дом вошел, перекрестился, значит, в Бога веришь, а я – некрещеная. Верю в Бога и каждый день молюсь, мать и бабушка верующие, еще священника о. Илариона помнят, многому у него научились. Завтра к моим отведу, может, что и вспомнят?”

Унесла тарелки в угол около печки, вымыла и ушла на работу. На другой день отвела к матери и бабушке. Матери было лет сорок, бабушке за шестьдесят. Обрадовались, услышав, что приехал узнать об о. Иларионе. Разговорились, и бабушка даже вспомнила о. Арсения, жившего двадцать пять лет тому назад через три дома от них.

Все подробно записал и сейчас расскажу. Говорили обе женщины об о. Иларионе с большим почтением, рассказывали и о влиянии, оказанном им на односельчан. Помнили его смерть, закрытие храма. Отец Иларион служил в храме Святой Троицы до сентября 1941 г., службы совершал ежедневно. Прихожан стало меньше, в воскресные дни в храм приходило человек 20–30, причастников бывало пять–восемь человек, в будние дни в храме было не больше трех–четырех прихожан, старушки и старики. Колхоз был большой, председатель – жестокий, требовавший обязательного выхода на работу; если кто-то оказывался в рабочий день в храме, грозили неприятности, а о. Илариону председатель делал выговор и грозил закрытием церкви.

В сентябре 1941 г., числа женщины не помнили, в воскресный день при совершении литургии о. Иларион собирался причастить причастников. В храм вошли, не снимая шапок, четверо агентов НКВД; расталкивая стоящих, поднялись на амвон, хотели вырвать чашу с Пречистыми Дарами: один из пришедших вошел в царские врата и тянул руки к чаше. Отец Иларион оттолкнул его и успел потребить Святые Дары; вошедший вырвал чашу и бросил на престол. Другой стал в Царских вратах

и, обращаясь к прихожанам, сказал: “Граждане! Расходитесь, церковь закрывается, поп арестован, он – враг народа”.

Все четверо вошли в алтарь и подошли к о. Илариону, он спокойно стоял, только попытался поставить лежавшую на престоле чашу; перекрестился, перекрестил всех стоящих, начал медленно оседать на пол и упал. Приехавшие попытались его поднять, но он был мертв. Посоветовавшись между собой и мерзко выругавшись, сказали: “Поп ваш помер, хороните, он нам теперь не нужен”, – и уехали, не закрыв и не опечатав храм.

Обмыли старушки тело о. Илариона и на другой день похоронили без отпевания – отпевать некому было. Крест большой дубовый поставили, на могилу народ и сейчас ходит. Память о себе большую у людей оставил, о нем много сельчане друг другу рассказывают. Церковь открытой осталась, прихожане все иконы по домам разнесли, тетя Мавруша антиминос, чашу, дискос и Евангелие к себе взяла. У нас – вот эти иконы бабушка спасла. Через неделю опять приехали из района церковь опечатывать, а она уже пустая была; допрашивали колхозников, кто что взял. Отвечали: не знаем. Обозлились и сожгли церковь, не в селе стояла, а у погоста. Более двадцати лет прошло, а о. Илариона многие еще помнят. Завтра пойдешь на кладбище, могиле о. Илариона поклонись, помолись об упокоении души его”. – Я сказал, что искал и не нашел. – “Ну, завтра вечером из колхоза приду, покажу.

Внучка о. Илариона после войны приезжала на могилу поклониться, с бабушкой Глафирой переписывается, недавно деньги прислала, чтобы новый крест поставить. Все, что знали, рассказали”.

Утром я вновь пошел на кладбище, но не мог найти могилу. Ходил, ходил, слышу – кто-то говорит мне: “Кого ищешь?” Смотрю, у совершенно нового креста-голубца сидит женщина; подошел, говорю, что ищу могилу священника о. Илариона. “Да ты что, слепой? Могилка вот здесь, около нее стоишь”. Поднял голову и вижу большой новый крест и надпись: “Отец Иларион”. Опустился на колени, начал молиться, светло и спокойно стало на душе. Вспомнилось то, о чем рассказывал о. Арсений, мученическая смерть в алтаре, как он, спасая, потребил Святые Дары, похороны без отпевания, и здесь, на месте его вечного покоя, возник духовный образ великого праведника.

Женщина, сидевшая около могилы, разговорилась со мной, но нового ничего сообщить не могла. “Девочкой двенадцати лет была – помню батюшку. Мать меня на исповедь и к причастию водила; хорошо, радостно в храме бывало. У нас в колхозе кому что плохо станет, несчастье какое, болезнь, тоска найдет – идут на могилу о. Илариона, что мужики, что женщины. О священнике о. Арсении спрашиваете – не помню, тогда в колхоз человек двадцать ссыльных наслали”.

Зашел к бабушке Мавруше, рассказал, зачем приехал; отдала антиминос, чашу, дискос и подарила икону Божией Матери Смоленской, красоты и письма удивительных. Попросила молиться о батюшке о. Иларионе.

Надо было уезжать, но не хотелось. Спросил Любу: “Можно пожить еще неделю?” Ответила: “Не гоню, живи”. Через пять дней стали мы добрыми друзьями, а Нина постоянно играла и возилась со мной. Необыкновенная внутренняя чистота и доброта были в душе Любы, в мыслях, обхождении, воспитании, – говорить при всех неловко, но полюбил я эту молодую брошенную женщину и маленькую ее дочь Нину. Красота и внутреннее обаяние Любы полностью покорили меня. Мог ли предполагать, что я, москвич, встречу и полюблю женщину, живущую в далеком архангельском колхозе? Но на то была воля Господня.

Люба – женщина с чуткой и чистой душой, заметила мое отношение к ней и стала строже держаться со мной. Настал день отъезда, помолился на могиле о. Илариона и попросил помощи в отношениях с Любой, попрощался со старушками и в 12 часов дня собрался уезжать. Прощаясь со мной, мать Любы сказала: “Да устроит Господь твою жизнь, Александр”, перекрестила меня. Вечером, накануне отъезда, сидели с Любой за ужином, а были молчаливы, грустны, и я совершенно неожиданно сказал: “Люба! Приезжай зимой в Москву”. – “К кому я поеду, знакомых нет, да и зачем?” – “Ко мне приезжай, Москву покажу”, – глупо ответил я. – “К тебе? удивилась Люба, – Зачем?” “Приезжай с Ниной, встречу!” И, вероятно, в моем голосе было что-то, на что она совершенно спокойно ответила: “Не боишься? Приеду зимой, потом не жалеи!” Денег с меня за квартиру и еду не взяла”.

Отец Арсений внимательно слушал Александра Сергеевича, хотя по приезде все было ему рассказано. Отец Арсений по монашескому чину совершил заочное отпевание о. Илариона; чаша, антиминос, дискос бережно хранились, употреблялись при служении в особо торжественные дни.

“Александр Сергеевич! Ваш рассказ неполон, закончите его”. – “Раз Вы говорите так, доскажу и конец”, – ответил Александр Сергеевич.

“Запала мне Люба в сердце, рассказал об этом о. Арсению и стал с ней переписываться. В декабре, получив благословение о. Арсения, поехал в колхоз “Ильич”, не предупредив Любу. Мороз стоял крепкий, но добрался, подошел к Любиному дому – заперт, никто в нем не живет. Пошел в дом Марии Тимофеевны, матери Любы. В калитку не войдешь, собака люто лает, и к дому не подойдешь; стучу о столб. Вышла бабушка Татьяна, утихомирила пса, спрашивает: “К кому? По какому делу?” Объяснил, кто я, узнала: “Входи в дом, расскажешь”. Пока раздевался, вошли Мария Тимофеевна и Нина. Узнали меня, обрадовались, обнял я их. Мария Тимофеевна спросила: “Зачем приехал?” Взял да и прямо сказал: “За Любой!” – “Ждала я этого, сердце чуяло, но ей решать, ты не забывай – у ней Нина почти трех лет, дело непростое – чужого ребенка воспитывать, да Москву твою не знает. Пишем много писал, письма одно, жизнь – другое. Подумай! Семь раз отмерь, один раз отрежь. Беспокоюсь за Любу”.

Не успел я ответить – вошла Люба. Я бросился к ней и говорю: “За тобой, Люба, за тобой приехал”. Посмотрела на меня долгим взглядом, словно расцвела, засветилась, серьезность исчезла, засмеялась и сказала: “А ты меня спросил? Знаем друг друга без году неделю”. – “Вот и спрашиваю, поедешь с Ниной ко мне женой?” Снова засветилась, ответила: “Пойду за тебя замуж и поеду с Ниной”. Обнял я ее, бабушку Татьяну, Нину, Марию Тимофеевну. Прожил в семье неделю, на удивление всему колхозу, – приходили, смотрели на меня, кто это женщину с ребенком в Москву берет. И увез Любу и Нину.

Первое время она жила у моей двоюродной сестры, на третий день поехали к о. Арсению, говорил он с ней долго, а через пять дней крестились Люба и Нина у о. Сергия в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Акулово под Москвой [2], он нас и повенчал. Вот и все”. Несколько резкая, не всегда тактичная, но очень добрая и хорошая Анна Федоровна сказала: “Смело в Москву приехала к одинокому мужчине, в столицу легко перебралась, посмотреть бы на нее”. Александр Сергеевич покраснел, не нашелся, что ответить, но, видимо, обиделся.

Отец Арсений улыбнулся и, обратившись к Анне Федоровне, сказал: “Обернитесь, Любовь Андреевна рядом с Вами”. Мы обернулись и увидели; мы, конечно, видели эту женщину все время, но никто не думал, что она жена Александра Сергеевича. Анна Федоровна растерялась и, чтобы исправить неловкость сказанного, стала извиняться. Действительно, Люба была до удивления красива, доброжелательна и приятна всей своей внешностью и обхождением. Улыбаясь, сказала: “Анна Федоровна, Вы правы: легко, неожиданно оказалась в Москве, но есть одна извинительная причина – Саша и я полюбили друг друга, и сейчас так же любим, в этом заключается все”.

Обрывая все разговоры, о. Арсений встал и произнес: “Помолимся о упокоении иерея Илариона и возблагодарим Господа, что милостью Своей соединил Александра и Любовь”. Мы вошли в комнату о. Арсения; горели три лампы, освещающая лики икон, на столе лежал напрестольный крест, и чувство тишины и молитвы охватило душу.

В 1972 г., просматривая записи, связанные с о. Арсением, решила немного дописать. С Любой подружилась давно, удивительный она человек, полный доброты, такта, всепрощения! Семья получилась на удивление сплоченная, они часто приезжают к о. Арсению, и я заметила, что он особенно внимательно относится к Любе.

Неисповедимы пути Твои, Господи!

Записала Ксения Галицкая.

Из архива В. В. Быкова (получено в 1999 г.).

ПСИХИАТР

1964 г.

В 1964 г. известный психиатр, профессор, доктор медицины Дмитрий Евгеньевич Мелихов (ученик Ганушкина), с которым я дружил долгие годы, в прошлом духовный сын о. Алексея Мечева, впоследствии – его сына о. Сергия Мечева, обратился ко мне с просьбой отвезти его в Ростов к о. Арсению, с которым он встречался в тридцатые годы. У Мити в это время произошли большие осложнения в личной жизни и на работе. Кроме того, в 1956 или 1957 г. он перенес тяжелую операцию по удалению желудка и имел ряд сопутствующих заболеваний, отчего питание стало для него чрезвычайно сложной проблемой.

Он был высокого роста, красивый и сильный, добрейшей души человек, сверх головы загруженный своей работой, но постоянно оказывавший друзьям, знакомым и тем, кто его просил, медицинскую помощь, а где считал необходимым, – и материальную. Его личная жизнь всегда была полна разных осложнений, и тогда он замыкался в себе. В молодости, в 1924–1930 гг., он был одним из участников и организаторов христианского студенческого кружка; его арестовывали, он сидел в

тюрьме, впоследствии его неоднократно вызывали на Лубянку и всю жизнь он находился под негласным надзором “органов”.

Что угнетало Дмитрия, не знаю. Но ему требовалась срочная встреча с хорошим священником, и он знал, что я систематически езжу к о. Арсению, вышедшему из лагеря в 1958 г. Дмитрий был глубоко верующим человеком, встречался до 1941 г. со многими выдающимися иереями. В одну из поездок я испросил разрешения приехать с Дмитрием к о. Арсению.

О чем говорили они, мне неизвестно, но уехать в тот же день мы с Митей не смогли, поезд был только в 14 часов на следующий день, пришлось остаться. Учитывая сложность питания Мити, Надежда Петровна приготовила для него что-то протертое. Вечером о. Арсений более трех часов беседовал с Дмитрием, утром все приехавшие исповедовались и причащались. В 14 часов выехали в Москву, народу в вагоне было мало, в четырехместном купе ехали только мы с Митей.

Когда мы ехали к о. Арсению, Митя был в угнетенном состоянии, но возвращался уже другим, просветленным, радостным, полным энергии. Почти всю дорогу говорили, в основном он. Я знал Митю, знал его последнюю жену, знал всю его жизнь, но когда мы ехали, он словно старался обнажить себя передо мной, показать негативность своих поступков, говорил о том, что был женат не один раз; и рассказывал это не мне, а самому себе, как бы проводя психоанализ, а я был молчаливым слушателем; возможно, он просто забыл о моем присутствии.

“Я бесконечно рад, – говорил Дмитрий, – что вновь свиделся с о. Арсением; в жизни встречался со многими священниками, благоговел перед ними, старался выполнять их советы и наставления, но вчера и сегодня получил больше, чем получал тогда. Начал рассказывать о. Арсению о своих домашних трудностях, о сложившейся обстановке на работе, упомянул несколько имен людей, непонимающих меня; о. Арсений перекрестился, остановил и тихо стал говорить. Он вошел в мое внутреннее “я”, мой духовный мир, и читал скопившиеся во мне за долгие годы наслоения. Я слушал и видел себя, видел бездну совершенных ошибок, не исправленных и пропитавших все мое существо. Он говорил о людях, с которыми не сложилось взаимопонимание, называл их имена, показывал их взгляд на сложившуюся обстановку, говорил от имени этих людей, словно зная их.

“Почему вам всем трудно? Каждый видит только себя и ни на одно мгновение не хочет встать на позицию другого”. Он был прав во всем; после долгой очистительной беседы и исповеди тяжелейший груз моих переживаний был снят, я понял, что надо делать, и возвращаюсь домой другим человеком.

Ты пойми, – говорил Митя, – можно было подумать, что его разговор со мной был беседой опытного психолога-аналитика, возможно, психиатра с огромным опытом работы. Он не задал мне ни одного наводящего вопроса; изредка кладя на себя крестное знамение, он раскрывал весь мой внутренний мир, и не только мой, но и тех людей, с которыми складывались мои трудности; и при этом поражало то, что он понимал этих людей и знал, никогда не видя и не слыша о них.

Конечно, не был о. Арсений опытным психологом, психоаналитиком, психиатром – просто у него были всеобъемлющая любовь к человеку, соединенная с любовью к Богу, великий духовный опыт и данный Господом дар проникать в душу человеческую прозорливым взором. Я – профессор, доктор медицины, психиатр, принявший тысячи больных и здоровых людей, с огромным опытом работы, написавший десятки научных работ по психиатрии, – был перед ним как студент, только начинающий изучать заданный курс. Если бы я, психиатр, знал психику и духовный мир больного подобно о. Арсению, то, думаю большинство моих больных давно бы выздоровели. Но чтобы стать человеком, подобным о. Арсению, нужна постоянная молитва, устремленная к Богу, и всепоглощающая любовь к человеку; соединение этих двух начал создает подвижника, молитвенника, старца”.

Еще дважды мы приезжали с Дмитрием к о. Арсению, в дальнейшем он приезжал без меня. Во второй приезд состоялся крайне интересный разговор, записанный мною по возвращении в Москву.

Приехали, в доме уже находилось несколько человек из Москвы, Воронежа и Владимира. Мы сидели вечером в столовой; Антонина Сергеевна, зная, что Дмитрий Евгеньевич психиатр, задала вопрос: “Скажите, Господь исцелял бесноватых, это были душевнобольные?”

Дмитрий ответил: “Человек может болеть душевной болезнью, но может болеть духовным заболеванием, это совершенно разные заболевания. Люди, больные духовными заболеваниями, – это бесноватые; они одержимы жадной убийств, непреодолимым желанием совершать зло, пытать, истязать, оскорблять, вся их духовная сущность пропитана злом, они могут поклоняться злу – демоническим силам. Вспомните двух бесноватых, живших во гробах (Мф. 8, 23), их одержимость. Вспомните следователей НКВД, проводивших допросы с применением ужасающих пыток, надругательствами над допрашиваемыми, их превосходящие понимание о человечности издевательств над женщинами. Эти следователи были тяжело духовно больны, силы зла – демонизм

захватил их души, но многие из них совершенно не болели душевными заболеваниями, я встречал таких духовно тяжело больных не один раз. Этим людям психиатрия не может лечить, это – одержимость.

Избавление от духовной болезни может быть совершено по милости Божией только духовным подвижником, полностью погруженным в молитву, любовь к Богу, людям, и не всякий пастырь вылечит такого больного, что подтверждают слова Господа нашего Иисуса Христа: “Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста”. (Мк. 9,29).

Душевные заболевания можно лечить в психиатрических больницах и в домашних условиях медикаментами, физиотерапией, трудом, психоанализом. Многие священники считают психоанализ греховным, утверждая, что психоаналитик насильственно вторгается в душу человека, замещая исповедь, потому что только в исповеди можно открывать сокровенное, но я, врач-психиатр, не раз видел, что проведенное опытным психоаналитиком лечение полностью восстанавливало больных. Бывает, человек одновременно болен духовной и душевной болезнью. Таких больных лечить крайне трудно, в моей практике излечений не встречалось. Кроме того, видя духовную болезнь, современный врач не отличит ее от душевной, а если и отличит, то не может сказать: “Идите к священнику”. Необходимо заметить и другое: человек, болеющий духовной болезнью – демонизмом, – никогда не захочет исцеления от священника.

Больные душевной болезнью в определенные моменты жизни создавали гениальные произведения (Врубель, Гаршин и др.) или, приходя к Церкви, становились глубоко верующими людьми, выздоравливали, им помогало духовное руководство, молитва и сам православный дух Церкви. В разное время духовные руководители многих общин направляли ко мне на консультацию или лечение своих духовных детей, и многие из них впоследствии стали замечательными иереями, монахами, монахинями, художниками. Болезнь побеждалась верой в Бога”.

Был задан вопрос: существуют ли вообще здоровые люди? Дмитрий ответил: “Странный вопрос. Конечно, существуют, и их большинство, но у многих есть свои особенности, может быть и странности; это не душевные заболевания. Иногда это – легкие сдвиги психики, которые можно назвать “психическими насморками”, вызванные сильным напряжением, потрясениями, расстройствами. Они могут перейти в серьезные психические заболевания, если заблаговременно не принять необходимых мер. Некоторые странности человека бывают результатом воспитания, влияния окружающей среды, трудного детства, вредного общения с плохими людьми. Влияние веры и Церкви особенно плодотворно для таких людей, они избавляются от своего незначительного недуга или странностей, в запущенных случаях помогает психоанализ, быстро избавляющий пациента от этих несерьезных, но беспокойных для него привычек, странностей, плохих черт характера”.

“Со многим я согласен, – произнес о. Арсений, – но к сказанному Вами добавлю: духовная болезнь, в отличие от душевной, страшна тем, что под влиянием темных сил она заразна и распространяется с быстротой эпидемии. Возьмите наших в прошлом “вождей”, они были тяжело духовно больны, темные силы завладели полностью их душами, зло заполняло все их существо, и они заражали им души миллионов людей, а результатом явилось создание ГУЛАГа. Знаменитый афоризм, выражающий господство зла: “Здесь власть не советская, а Соловецкая” – символизирует миллионы замученных в лагерях, расстрелянных, умерших от голода, замерзших, и все эти несчастные прошли через зверские пытки и издевательства. Разрушение церквей, массовое уничтожение епископов, священников, диаконов, верующих могло произойти только потому, что “микроб” темной злобы был брошен “вождями” в человеческую массу.

Их вера в демоническое Зло не имела границ, миллионы людей, зараженных злом, поддерживали “культ личности”, участвовали в репрессиях, доносах, создавали ГУЛАГ и работали в нем, не понимая, во имя чего поставляли мучения, убивали людей. Вернее, понимали: надо донести, убить, замучить, так требует верховное Зло, значит, это необходимо и полезно; и только когда сами попадали на допросы и пытки в ГУЛАГ, – прозревали, начиная “выздоровливать”, но и то не все. Некоторые считали, что, подписывая ранее тысячи приговоров, раскулачивая крестьянство, обрекая на голодную смерть или огульно оговаривая в доносах невинных людей, делали правильно и продолжали бы делать дальше, а в лагерь попали по ошибке. Эти люди были неизлечимо больны Злом – бесноваты.

Мне приходилось в лагере встречаться с заключенными, находившимися прежде на вершинах власти, доносчиками и даже бывшими следователями, зараженными злом. Добротой, ласковым словом, помощью было возможно спасти их души, помочь осознать греховность совершенного ранее и привести к Богу, но это был трудный для них путь и не менее трудный для тех, кто им помогал. Если они порывали со Злом и приходили к Богу, вере, Церкви, то уже ничто не могло заставить их свернуть с избранного пути.

Среди заключенных уголовников была особая прослойка, называемая “лагерной шпаной”, вившаяся около крупных рецидивистов, “воров в законе”, и жившая за счет мелких краж, подачек с “барского стола” сильных и жестоких преступников, издевательств и ограбления слабых. Заключенные из “лагерной шпаны” не имели ни капли совести, демоническое зло являлось в них основой жизни; вытравить, удалить его не представлялось возможным. Крупный рецидивист, “вор в законе”, как правило, был одаренным, умным человеком, пошедшим по дороге зла; с этими людьми можно было говорить, что-то доказать им, и они довольно часто обращались к вере. Мне неоднократно приходилось исповедовать их, причем исповеди носили глубоко проникновенный характер, полный искренности и желания примириться с Богом.

Демоническое зло распространяется подобно эпидемии, и в большой степени этому способствуют книги, газеты, журналы, радио и особенно быстро нарождающееся и распространяющееся телевидение. Все это свободно входит в дом человеческий и отравляет душу ребенка, юноши, взрослого человека”.

В третий мой приезд с Дмитрием состоялся интересный разговор о христианском студенческом кружке, членами которого в прошлом были мы оба.

“Христианские студенческие кружки образовались в 1916–1918 гг., – говорил Митя, – во многих высших учебных заведениях Москвы, Ленинграда, Киева, Самары и в других городах. Первоначальным их организатором был Владимир Марцинковский, отчества не помню. В задачу кружков входило изучение Евангелия и Ветхого Завета. Группы состояли из 15–20 человек, в основном это была студенческая молодежь, но были люди и старшего возраста. Состав был крайне “разношерстный”: православные, католики, баптисты, протестанты, евангелисты. Наличие студентов разных конфессий налагало определенный отпечаток на деятельность кружковцев, но ни в какой мере не сказывалось на дружеских отношениях друг с другом. По моему мнению, – сказал Митя, – кружки приносили большую пользу, вовлекая студентов в христианство, помогая изучать Священное Писание, понимать и толковать его, а свободный обмен мнениями давал возможность глубже усваивать услышанное и прочитанное.

Обыкновенно член кружка брал определенный текст Священных книг, прорабатывал его дома и на следующем собрании делал сообщение и тут же давал свое толкование. Бывало, что руководитель кружка рекомендовал (никаких принуждений не было) двум или трем кружковцам изучить один и тот же текст, дать толкование и на следующем собрании всем трем выступить со своими сообщениями, после чего начиналось общее обсуждение и выяснялось, кто наиболее правильно “раскрыл” отрывок, взятый из Евангелия или Ветхого Завета”.

Митя подробно рассказал о работе кружка и привел два–три примера толкования отдельных текстов: притчи о блудном сыне, одной из заповедей блаженства – “Блаженны нищие духом”.

“Сейчас мало кто знает о деятельности христианских студенческих кружков, – сказал о. Арсений, – но я знал многих их участников. Московское духовенство негативно относилось к кружковцам, в некоторых церквях священники не всегда допускали их к исповеди, что, конечно, было большой ошибкой, тем более что впоследствии многие участники кружков стали священниками, тайными монахами и монахинями, двое даже епископами. Сотни их пришли в Православную Церковь, стали верными ее чадами и погибли в лагерях и ссылках; однако некоторые православные кружковцы перешли в протестантизм, баптизм, а определенная часть стала активными теософами и антропософами; правда, большинство впоследствии отошло от этих учений и пришло к Церкви. Марцинковского я знал, это был хороший, не фанатичный человек, с совершенно четким мышлением протестанта. Конечно, в свое время христианские студенческие кружки принесли большую пользу молодежи, но их “сборная” конфессиональность вредно отражалась на некоторой части кружковцев.

Вы сказали, что о. Сергей Мечев, духовным сыном которого Вы были, считал, что кружок приносил пользу, привлекая молодежь к Богу, к изучению Библии. Возможно, и так, но мне думается, что в тяжелые 1917–1928 гг. наилучшим духовным прибежищем для студенчества была Русская Православная Церковь, ее храмы, службы, очистительная исповедь, причастие”.

По выражению лица Дмитрия я понял, что он не полностью согласен, то же заметил о. Арсений и, помолчав некоторое время, продолжил: “Дмитрий Евгеньевич! У меня было и сейчас еще осталось несколько духовных детей, бывших членов христианского студенческого кружка. Я видел, что они, придя в Церковь, принимали все рассудочно, особенно в первое время, не скажу критически, но настороженно. У большинства из них не было детской веры, воспринимающей Господа Бога, Матерь Божию, святых всем сердцем, всем разумением своим, всею душою своею. Сказанное слово они анализировали, словно фильтруя; потом это проходило. Видимо, самостоятельное изучение духовных писаний и собственное толкование оставило в душах кружковцев необходимость

пропускать сказанное через разум. Я был далек от кружка, другое, сложное и трудное, в те тяжелые годы занимало меня. Кстати, Дмитрий Евгеньевич! Среди нас есть бывший участник христианского студенческого кружка”. – “Кто же это?” – спросил Митя. Из-за стола поднялась женщина лет шестидесяти пяти, хорошая моя знакомая Анна Владимировна, и сказала: “Дмитрий Евгеньевич! Митя! Забыли? Не узнали?” Митя вскочил, со словами “Аня! Аня!” бросился к ней, и они обнялись. В Москву мы ехали втроем. Митя и Аня говорили всю дорогу, забыли про меня, а я лежал на верхней полке, читая книгу. Больше с Митей я не ездил к о. Арсению, дорогу он уже знал и приезжал без меня.

Последние годы мы виделись с Дмитрием редко, так сложилась жизнь.

Записал Александр В.

Из архива В. В. Быкова (получено в 1999 г.).

ВСТРЕЧА С ДАНИЛОМ МАТВЕЕВИЧЕМ

23 июня 1963 г. произошло ужасное несчастье. Дочь Аня, сын Игорь, мама и я ехали в дачный поселок, расположенный за г. Пушкино. Машину вел муж Николай, опытный водитель, три года возивший нас на дачу и обратно в Москву. Проехали г. Пушкино, встречных машин было мало, ехали не быстро, но внезапно со встречной полосы вылетел огромный грузовик, который пытался обогнать впереди идущий автомобиль. Шофер не справился с управлением и врезался в нашу машину. Последовал удар, наш автомобиль несколько раз перевернулся.

Я очнулась лежащей на асфальте, соображала плохо, помню, закричала: “Аня, Игорь!” Никто не ответил. Попыталась подняться, но от боли упала. Подъехали машины “скорой помощи”, кого-то клали в них, втащили меня. При аварии погибли сын Игорь и муж Николай, в живых остались дочь Аня десяти лет и изуродованная моя мама. Пролежала я в больнице Склифосовского три месяца, перенесла ряд операций и вышла почти совершенно здоровой, долечивалась дома и в санаториях.

Говорить, а тем более писать о моем горе и душевном состоянии бессмысленно, три месяца после лечения работать не могла и, вероятно, многим виделась ненормальной, плакала, проклинала жизнь, судьбу и всех, кто пытался утешить меня. Даже не была на похоронах Игоря и Николая, лежала в больнице после самой первой и тяжелой операции, мама также лежала в больнице г. Пушкино. Окружающие родные, знакомые и сослуживцы относились ко мне удивительно внимательно и участливо, но смягчить мое горе это не помогало. Я ожесточилась против всех и вся, мне думалось, что все счастливы, а мне Бог, в Которого верила, зачем-то послал неистребимое горе. Ожесточилась на Бога: зачем, зачем послал такое несчастье? Зачем? Словно одержимая, задавала этот вопрос всем. Зачем? Чем провинился Николай, маленький Игорь, ставшая инвалидом мать – Наталия и я? Чем? И не получала ответа от самой себя и окружающих.

Моя самая близкая подруга, настоящий друг – Лена, с которой мы вместе росли и учились, была человеком большой веры и доброты, молитвенница. Мы очень любили друг друга, мой покойный муж Николай относился к нашей дружбе даже ревниво. Знала, что Лена вместе с мужем Юрием ездила куда-то далеко за город к священнику, который до войны руководил христианской общиной, а с 1958 г., пробыв в лагерях целую жизнь, сейчас жил в городе Р. (потом узнала, Ростов Северный). У Лены с Юрием было двое детей [3].

Почти каждый день я приходила к ним, но в основном разговаривала с Юрием, вероятно, ежедневно повторяя одно и то же. Он молча слушал, обнимал за плечи и ласковыми и добрыми словами снимал, хотя и на один вечер, малую часть моего горя. Лена говорила о Боге, Его милости, воле Господней и звала в церковь. От этих разговоров меня трясло: как Бог, церковь могли успокоить, если на меня брошено такое горе? Разговоры с Леной раздражали, и я избегала их, повторяя одно и то же в разных вариациях: “Зачем? Зачем?”

Однажды Лена сказала, что едет к священнику о. Арсению, это имя я и ранее слышала от нее. Перед этим я устроила Лене неприятный скандал в присутствии ее детей и Юрия, повторяя: “Тебе легко говорить, твои все живы-живехоньки, а мне только горе досталось”. На другой день было стыдно за шумный разговор, и чтобы сгладить свое поведение, согласилась поехать, хотя понимала бесцельность поездки. Это было уже в 1964 г.

Поезд шел медленно, погода стояла дождливая, день сумрачный, под стать моему настроению. Ехали молча, бездумно смотрела в окно, за которым проплывали оголенные деревья, кусты, телеграфные столбы. Лена читала книгу. Я перестала смотреть в окно, озлобленно уставилась взглядом в угол купе, ругая себя и проклиная за малодушие, бесхарактерность, что согласилась поехать к неизвестному попу. Чем он может помочь? Вернет потерянное? Какая глупость, слов утешения я слышала уже много.

Поезд пришел в город, дошли до дома, дернули ручку звонка. Дверь открыла пожилая женщина, приветливо встретила и сказала: “Как раз к обеду, входите. Отец Арсений сказал, что приедете”. Что за чушь, откуда он мог знать о нашем приезде? Я еще более озлобилась, а под ногами назойливо путался большой кот, что еще более раздражало. Разделись, вымыли руки, вошли в столовую. Большая комната, длинный стол и стулья вокруг стола и около стен, в ней никого не было. Лена расцеловалась со встречавшей нас женщиной, назвав ее Надеждой Петровной, и куда-то вышла. В столовую стали заходить незнакомые люди, пришла Лена, представив меня вошедшим. Во мне все клокотало от злости, возмущения на Лену и себя. Зачем я здесь? Обедать в чужом доме? Увидеть неизвестного попа, о чем-то поговорить с ним, для чего это надо? Мое огромное горе все равно останется со мной.

Сели за стол, меня посадили рядом с мужчиной примерно моих лет, сказав, что его зовут Георгий.

Вошел священник выше среднего роста, худощавый, с добрым, но усталым лицом. Поздоровался, прочел молитву перед трапезой (обедом), благословил, я не перекрестилась. О чем велся разговор за обедом, забылось, противный кот терся о ноги и раздражал, хотелось отшвырнуть его ногой. Обед кончился, прочли молитву, все стали расходиться, остались в столовой только я и о. Арсений. Встав с кресла и подойдя ко мне, он сказал: “Пойдемте”.

Словно в полусне пошла, он посадил на диван сказал: “Расскажите, зачем приехали к неизвестному попу”. Вот здесь-то меня прорвало, почти с криком, злобой, ненавистью и даже оскорблениями стала говорить. Он молча сидел, я все говорила, вероятно, повторяясь, и все время твердила: “Зачем?” Устала, выговорилась и с удивлением взглянула на священника. Где же слова утешения, успокоения, где же обещанная Леной духовная помощь?

Отец Арсений встал, молча поправил лампадки, зажег несколько свечей и, подойдя ко мне, произнес: “Встаньте на колени”. Я безропотно встала и опустилась на колени. Положив руку мне на голову, он стал читать молитвы, много раз называя мое имя, дочери Анны и мамы Наталии, потом сам опустился на колени и стал читать молитву Пресвятой Богородице [4]: “Царице моя Преблагая, надежда моя Богородице, защитнице сирым и странним, обидимым покровительница, погибающим спасение, всем скорбящим утешение, видишь мою беду, видишь мою скорбь и тоску. Помогите мне немощной, укрепи меня страждущую. Обиды и горести знаешь Ты мои, разреши их, прости руку надо мною, ибо не на кого мне надеяться, только Ты одна защитница у меня и предстательница перед Господом, ибо согрешила я безмерно и грешна перед Тобою и людьми. Будь же, Матерь моя, утешительницей и помощницей и спаси мя, отгони от меня скорбь, тоску и уныние. Помогите, Матерь Господа моего”. И прочел: “Днесь верные людие, духовно торжествуем, прославляюще Заступницу усердную рода христианского и притекающе к пречистому Ее образу зываем сице: О Премилостивая Владычице Богородице, подаждь нам нечаянную радость, обремененным грехми и скорбьми многими, и избави нас от всякого зла, моляще сына Твоего Христа Бога нашего спасти души наша” (тропарь иконе Божией Матери “Нечаянная Радость”).

Ясно, отчетливо были прочитаны слова молитв, теплота и необыкновенная проникновенность голоса о. Арсения первый раз в жизни довели до самой глубины моей души сокровенность, горячее дыхание моления к Пресвятой Богородице, защитнице и покровительнице нас, грешных. “Утром, днем и вечером выберите время, будь то дома, на работе, в дороге, и читайте эти молитвы, и Она, Матерь Божия, обязательно поможет Вам. Ходите чаще в церковь, где есть чудотворная икона “Нечаянной Радости”, читайте акафист. Никаких слов утешения, рассуждений о Вашем горе говорить не нужно, в этих молитвах вмещается вся Ваша земная скорбь, молитесь. Приезжайте ко мне с Леной”, – и, осторожно взяв за плечи, предварительно благословив, повел к двери.

Утром рано исповедовалась и причащалась, на исповеди о. Арсений сказал: “Горе Ваше огромно, ему нет измерения и сравнения, Вы – мать и жена погибших, но ни Вы, ни я не знаем волю Господа. Боль огромна, и я, иерей Арсений, понимаю это, но склоняюсь перед волей Божией. Только Он, да, да, только Ему открыты пути жизни человека. Отцы Церкви говорили, что Господь призывает к Себе человека в лучшие мгновения жизни. Молитесь об ушедших, читайте молитвы Пресвятой Богородице и помните две главнейшие заповеди Господни: “Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки” (Мф. 22, 37–40). Войдя в столовую, посмотрите на лица сидящих. Многие из них несут в себе тяжесть большого горя, но они спокойны, ибо верят в Бога. Вечером за столом Вы сидели рядом с Георгием Алексеевичем, он перенес огромное горе. У него убили дочь и жену, предварительно надругавшись над ними, но посмотрите, как он это переносит, он в глубокой скорби, но весь в молитве”.

Необычная была эта исповедь, так я никогда не исповедовалась. Начиная рассказывать, а он двумя–тремя заданными полувопросами приоткрывал самое затаенное, тщательно скрываемое от всех и даже от самой себя, что ранее старалась никогда не вспоминать, а сейчас говорила священнику. Да и не могла умолчать, видела и понимала, что о. Арсений знает, что лежит на дне моей совести, и если что недоговаривала, то ощущала неполноту раскаяния и возвращалась к упущенному.

Многое, что наслылось в отношениях с погибшим мужем Николаем и мамой, поняла по-другому, увидела свои ошибки и даже гибель сына и мужа стала воспринимать по-другому. Исповедь у о. Арсения словно сняла завесу, отделявшую мою душу от веры, многое пришлось переосмысливать, духовно переоценивать. Я была безгранично благодарна Лене за то, что она привезла меня к о. Арсению, это еще более укрепило нашу дружбу, появились новые интересы и темы для душевных разговоров с Юрием и Леной.

Был обед, наступил вечер, собрались к ужину, разговор шел о церковных новостях, здоровье мне неизвестной Наталии Петровны, о методах траволечения. Отец Арсений тоже принимал участие в разговоре, ел очень мало, хотел выпить две чашки какого-то настоя, но доктор, которую называли Люда, отобрала у него вторую чашку, сказав: “Отец Арсений, Вы мой духовный наставник, но сейчас хотели обмануть меня и выпить больше положенного, а я это запрещаю, больше одной чашки при Ваших отеках пить нельзя”. Окружающие заулыбались. Большой кот, что прежде раздражал меня, прыгал ко всем на колени, забрался ко мне и лизнул щеку.

Вдруг отчаянно задребезжал звонок, Надежда Петровна взволнованно бросилась открывать дверь, в передней послышался шум, отрывочные возгласы, дверь в столовую открылась с треском, и в комнату не вошел, а именно ввалился огромный человек, таща в руках две большие сумки, с рюкзаком за плечами и длинным свертком подмышкой. Бросив все на пол, вложил руки для благословения, порывисто шагнул к о. Арсению. “Батюшка! Отец Арсений, благословите”, – и, получив благословение, сгреб о. Арсения в охапку и стал целовать, и мы увидели, как по лицу шумливого гиганта и о. Арсения потекли слезы, радость встречи была взаимной. Потом большой человек подошел к Надежде Петровне (хозяйке дома и духовной дочери о. Арсения), поднял за плечи, повторяя “Петровна! Петровна!”, крепко расцеловал и пошел по кругу, обязательно целуя и что-то говоря каждому, то поднимая кого-нибудь, то просто обнимая. Подошел ко мне, поднял, крепко поцеловал и почему-то сказал: “Хороша Маша, да не наша, не горной, милая, скоро место себе найдешь”, – посадил на стул и пошел дальше.

Он был настолько огромен, шумлив и до удивительности добродушен, что обижаться на него было невозможно, и все рады были его появлению, хотя потом я поняла, что его знали и любили о. Арсений, доктор Юля и Надежда Петровна, а все остальные видели впервые. “Ну, а теперь примусь за подарки, рыбу в Астраханских лиманах две недели ловил”. Развязав длинный сверток, достал огромного осетра, может быть севрюгу, передавая о. Арсению, сказал: “Отец Арсений, он до копчения вот такой был” – и широко раздвинул руки почти до противоположной стены. “Даниил Матвеевич! Ты руки-то сократи, севрюгой стену пробьешь”, – улыбаясь сказал о. Арсений. “Так я же рыбак, мы, рыбаки, поймали щуку в треть метра, а обязательно кажем в метр, рыбаки только больших рыб ловят”. Сидевшие за столом засмеялись. “Ну, а теперь каждому – подарок, первый, Петровна, тебе, – и достал трехлитровую банку черной икры, – сам ловил, сам солил, пальчики оближешь, да знаю, Петровна, гостям и о. Арсению скормишь”. Обошел всех сидящих и каждому давал огромный кусок осетрины или банку черной или красной икры. Подошел ко мне, внимательно посмотрел и громко сказал: “В первый раз приехала?” – “Да, да”, – ответила я. “Вижу, в горе, большом горе, вот этот сверток в Москве развернешь, банку с черной икрой больной матери отдашь, а вот – дочери”. – Опять поднял меня со стула и трижды расцеловал. “Не грусти, милая, Господь милостив, молись Ему”

Никто со мной так не обращался, но обижаться на Даниила Матвеевича было невозможно, слишком был непосредствен. Но откуда он мог знать о моем горе, маме и дочери? Мне показалось, что о. Арсений был этим также удивлен. Надежда Петровна накормила Даниила Матвеевича, вечерний чай закончился, недолго велись общие разговоры, договаривались, когда кто уедет, о встречах в Москве.

Все устали, было уже поздно, и Надежда Петровна начала распределять, кто где ляжет спать. Отец Арсений сказал: “Даниил будет спать в моей комнате, пойд и возьми матрац”. Кто-то из врачей, лечивших о. Арсения, произнес: “Прошу вас обоих, не проговорите всю ночь, ведь каждый из вас устал и болен”. Даниил Матвеевич засмеялся и сказал: “Дорогая моя, мне врачи отвели еще не один месяц жизни, а о. Арсений на много лет меня переживет”, – и обнял эту женщину. Было видно, что Даниил Матвеевич доволен, что будет спать в одной комнате с батюшкой.

Мы разошлись, ночь я спала с Леной и тремя женщинами на сенных матрацах. Встали рано, прочли молитвы, настроение было хорошее, отстояли в комнате батюшки литургию, причастились. Отец Арсений почему-то попросил Лену и меня остаться еще на один день. Лена и я днем прошлись по музеям города и вечером вновь собрались в столовой. Кончился ужин, шли общие, вероятно, для каждого интересные разговоры. Отец Арсений сидя в кресле молча перебирал четки, мощный голос Даниила Матвеевича гудел словно гром, я в этой атмосфере чувствовала себя удивительно уютно и хорошо.

Уже не помню, но кто-то из присутствующих обратился к Даниилу Матвеевичу с просьбой рассказать о своей жизни и встрече с о. Арсением. Какое-то время Даниил Матвеевич отнекивался и, видимо, был недоволен просьбой, но, помолчав и собравшись с мыслями, начал говорить.

“Все рассказанное и есть мой путь к Богу. По профессии геолог, доктор наук, лауреат государственных премий за открытие ценных месторождений, изъездил всю Сибирь и Дальний Восток. Успешно работал в геологических партиях, сотрудники были хорошие, дружные, а в нашей работе это главное. Шел 1951 г., направили в нашу геопартию нового партийного организатора. Так себе мужичонка, не видный, лицом неприятный, заносчивый, грубый, в геологии не разбирается, но мнения о себе огромного, а свое значение в нашей геопартии ставил выше главного геолога района. Нас считал человеческим материалом, который он должен воспитывать, перевоспитывать и тому подобное. Кое-кто из нас возмутился: безграмотный человек учит. Высказались, в том числе и я. В начале рассказа упомянул о своих званиях лишь для того, чтобы вы поняли, в геологии понимаю, написал ряд крупных работ. Ну и высказался: “Ты безграмотная бездарность, ничего в нашей работе не понимаешь, а указания даешь мне, доктору наук, лауреату”. Первого взяли Серегина, потом еще троих, меня арестовали в Якутии и привезли в Москву, на Лубянку.

О допросах, избиениях, пытках рассказывать не буду. Скажу, что на всех допросах был в наручниках, боялись следователи моих рук и моей силы. Три конвейерных допроса прошел, каждый по трое суток, шесть следователей допрашивали непрерывно. В карцерах разного типа много дней провел, но признания не подписал. Говорили – диверсант, шпион, продавал оптом и в розницу иностранным разведкам данные о разведанных месторождениях. Приговорили к смертной казни, расстрелу, лишили всех наград и званий, но потом направили умирать в лагерь особо строгого режима. Приговор о расстреле отменен не был, это означало, что при “чистке” лагеря я мог быть в любой момент расстрелян. То же было и с о. Арсением.

Воспитание получил в верующей семье, мать моя Арина (Ирина) Леонидовна верила глубоко и была большая молитвенница. В меня вложила веру в Бога. Но я размотал ее в своих странствованиях по Сибири и Дальнему Востоку, хотя малая вера жила во мне. Сидя в тюрьме, почти все молитвы вспомнил, а когда пытали, стисну зубы и “Отче наш” непрерывно читаю. Что было странно и злило на Лубянке следователей – ни карцеры, ни пытки не меняли моего внешнего облика, все такой же здоровый, огромный, сильный.

Попал в “особый”. Помню, пригнали этапом, мороз, мокрые, усталые вошли в барак. Уголовники бросились отбирать у пришедших вещи, что только можно. Молча отдают. Сунулись ко мне, говорю: “Не тронь!” – куда там, лезут. Ну, я троих изуродовал, кому зубы выбил, кому руку повредил. Пошли на меня с “заточками” (самодельные ножи, сделанные из напильников, ободов и прочего), но побил их всех. Уважением стал пользоваться, больше никто не лез, но дважды пытались убить топором на работах. Я на страже был, и кое-кто из них на всю жизнь инвалидом стал. Доноса на меня не было, лагерь особый, шпану в нем не держали, а у воров крупных свои законы о доносах и “чести”. Хотя иногда и доносят, но “свой” за это убить могут.

Назначили меня на лесоповал в бригаду: лесоповальщики, обрубщики веток, хлыстовщики, погрузчики и другие. Меня бригадир поставил с о. Арсением валить (спиливать) деревья. Слово за слово, подружились с ним. Узнал, что священник, монах, интересные разговоры вели, и начал я о Боге задумываться, в душе у меня жила вера в Него, вложенная матерью.

Зимой, в декабре, бригада валила лес. От лагпункта до леса надо было пройти три километра по сугробам; дойдешь, измучаешься, мокрый от пота, хотя и мороз 20 градусов, охрана за тобой плетется злая-презлая. Для них костер разведешь и начинаешь лес валить. Дело это тонкое, ювелирное; в руках топор и двуручная пила, бензопил тогда у нас не было. Лес маховый, стройный, высокий, кора ствола красивая, бывало, пилишь – и самому жалко, живое оно.

Три, четыре сосны свалили, стали валить пятую. Подпилили, подрубили все как надо, определили, куда упадет, крикнули, чтобы отошли. Последний подпил и подруб сделал и ждем, когда упадет. Подул ветер, дерево стало падать не туда, куда рассчитывали, а на нас. Бросился в сторону и зацепился за старый пень, упал; вижу – придавит меня, а о. Арсений стоит, не бежит. Кричу: “Беги!” Мне-то уже конец. Знаете, как срубленное дерево падает? Сперва раздастся треск

хлыста (ствола), отрывающегося от остающегося пня, и в звуке этом слышатся отголоски плача. Потом, наклонившись, задевая ветки стоящих деревьев, ствол зловеще скрипит и, падая на землю, издает глубокий вздох, смешивающийся с треском ломающихся ветвей, переходящий в протяжный стон, – и затем комель (конец спила) прижимается к земле, раздавливая все, что попадает под него. Понял, погибаю. Комель сосны взвился над моей головой. Отец Арсений, перекрестившись, толкнул его руками в сторону. Ветки сосны еще ломались от падения, но комель лежал в двух метрах от меня. Я встал верующим человеком, увидевшим чудо, настоящее чудо [5]. Увидел Бога и без оглядки пошел за о. Арсением. И вспомнил до мельчайших подробностей то, чему учила мать. Так я обрел Бога.

Чудо было настолько явным, что все, находившиеся около падения дерева, удивлялись, как мог человек оттолкнуть дерево весом в несколько тонн. Кто-то из зеков, помню, перекрестился.

Вспоминаю другой случай (хотя с человеком не бывает случайностей, все определяется волей Божией). Заключение-уголовники отбирали у “врагов народа” пайку – миску с баландой и кашу. Один или два раза при раздаче пищи я видел, что у о. Арсения отобрали пайку и обед. Решил отучить уголовников-зеков и стал следить за о. Арсением, когда он подойдет к раздаче. Подошел уголовник Холодов – жестокий и подлый человек, за ним стоял о. Арсений. Получив свою порцию, Холодов не отходил и ждал, когда обед получит о. Арсений. Схватил его миску, пайку и хотел переложить к себе. Здесь-то я и решил схватить уголовника – и остолбенел. Отец Арсений спокойно отстранил его руку и, смотря в глаза Холодову, сказал: “Оставьте, идите с Богом, не делайте этого больше”. Жестокий, наглый Холодов, никого не боявшийся в нашем бараке, сжался и смущенно ушел. Моя помощь была не нужна. Я понял, о. Арсений не беззащитен, с ним Бог, и Он охраняет и защищает его”.

Даниил Матвеевич закончил воспоминания. Я смотрела на него, и мне чудилось, что у этого большого, живого по натуре, подвижного человека лицо все время менялось. То оно становилось улыбающимся, радостным, оживленным, то, когда он замолкал и на него никто не смотрел, появлялось облако грусти и глубокого страдания, которое исчезало только тогда, когда с ним начинали разговаривать. Видимо, глубокое горе и боль жили в его душе.

С особой любовью и тревогой смотрел на Даниила Матвеевича о. Арсений, видимо, что-то беспокоило батюшку, чувствовалась глубокая забота и желание помочь ему.

Когда писались эти воспоминания, Даниил Матвеевич уже умер, предсказав месяц и день своей смерти – 12 сентября 1966 г., это был день святого Даниила Московского, в честь которого он был крещен.

Он был веселым, добрым, жизнерадостным человеком, жившим не для себя, а для других людей, отдававшим все и всем: заработанные научным трудом деньги, силы, доброту своего сердца, готовый вовремя теплым словом поддержать скорбевшего, ободрить, вселить уверенность и надежду на лучшее.

Встреча с Даниилом Матвеевичем показалась мне вначале мимолетной, но Господь и будущий духовный наставник о. Арсений решили по-другому.

После долгой беседы, исповеди, литургии и причастия я осознала, что жизнь под руководством батюшки пойдет по совершенно новому пути. Вечером о. Арсений позвал меня одну в свою комнату и сказал: “Мария Адриановна, обращаюсь к Вам с просьбой. Знаю Ваше горе, но Вы видели Даниила Матвеевича, он смертельно болен, у него рак печени, проживет он не больше 18 месяцев. Возьмитесь заботиться и ухаживать за ним до самого смертного часа. Вижу – удивлены. У Вас больная мать и еще есть дочь, и видите Вы меня, иеромонаха Арсения, и Даниила Матвеевича впервые, и внезапно – такая просьба. Поверьте мне, Господь во всем поможет, и безмерное горе Ваше растворится в добре. Даниил Матвеевич человек не от мира сего, он даст радость и мир Вашей семье”.

Я задумалась. Просьба была необычной, непосильной, и я совершенно не знала Даниила Матвеевича, да и как к этому отнесутся мама и дочь Аня? И в какой форме будет выражаться мой уход? “Но...” – начала я говорить. – Повторив мое “но”, о. Арсений сказал: “Дней через десять Даниил Матвеевич зайдет к Вам с моей посылкой, это положит начало знакомству Вашей семьи с ним”. Сказал так, словно вопрос был уже решен, но добавил: “ Попрошу Лену, Юрия и Георгия Алексеевича посылать Вам, кстати Георгий Алексеевич по профессии – прекрасный хирург”.

Действительно, дней через десять пришел Даниил Матвеевич и передал мне от о. Арсения большую Богородичную просфору, таких просфор я раньше не видела. С этого времени Даниил Матвеевич стал заходить к нам. Мама, с трудом ходившая по комнате, и дочь Аня приветливо встречали его. Надо сказать, что мама, человек чрезвычайно умный, интеллигентка в пятом поколении, и, что греха таить, гордившаяся этим, не со всяким человеком вступала в контакт,

особенно при ее властном характере. Но с Даниилов Матвеевичем она разговаривала оживленно часами, и если он не приходил, я видела, явно ждала его. Работала мама ранее в одном институте по исследованию радия. Работу любила, была доктором физико-математических наук и сейчас тяжело переживала свою инвалидность. Частым и желанным гостем стал в нашем доме Даниил Матвеевич, к сожалению, имевший привычку обязательно приносить дорогие подарки. Приносил цветы, зная, что люблю их, или вдруг появлялся с огромным тортом мороженого. Я возмущалась и кричала: “Зачем?” Анька нахально ела, мама улыбалась и молчала. Несколько раз Даниил Матвеевич приходил с Георгием Алексеевичем, тот осмотрел маму и сказал, что положит ее в госпиталь им. Бурденко: там сделают какую-то операцию, и она сможет намного лучше ходить. Георгий Алексеевич работал в госпитале Бурденко хирургом.

Даниил Матвеевич стал заметно сдавать. Боли в области печени усилились, он сильно похудел, быстро уставал. Положили в госпиталь, пролежал два месяца, постоянно навещали Аня, Лена, Юля, Ольга, Ирина, конечно, я, да и многие другие. Вышел посвежевшим, прибавил в весе, но было видно, что болен тяжело. Помню, пришли ко мне Лена, муж ее Юрий, Георгий Алексеевич, Ирина, Светлана, Юля и Даниил Матвеевич. Праздничного дня не было, и я была поражена такому наплыву гостей, хотя и рада. Все были духовные дети о. Арсения. Удивило, что каждый принес какой-нибудь подарок. Даниил Матвеевич притащил огромный торт из мороженого, кто-то бутылку шампанского. Все это показалось мне странным (потом узнала, что это был сговор и одновременно психологическая атака на меня). Даниил Матвеевич встал и сказал: “Маша! – он всегда звал меня так, – мне осталось жить не более шести-семи месяцев, у меня трехкомнатная квартира, в ней собран редкий минералогический музей. Я умру, и все это пропадет, хочу, чтобы все это досталось Вашей дочери Анне. Все сидящие здесь и Ваша мама знают об этом, Вам надо пойти со мной в ЗАГС и зарегистрироваться, а потом прописаться. Это только формальность, о. Арсений переговорит с Вами, он просит с Леной, Юрием, Георгием Алексеевичем и мной приехать к нему в ближайшую субботу или воскресенье”. Я взорвалась, наговорила много всякого, наотрез отказалась. Гости не особенно огорчились, почему-то улыбались и так же спокойно пили и ели. Обозлилась на Даниила Матвеевича. Человек болен, придумывает глупости, устраивает какое-то праздничное сборище. Квартира мне совершенно не нужна с ее минералогическим музеем. У меня своя трехкомнатная и, кроме того, я не пешка, которую можно переставлять по чьему-то желанию.

Высказалась, но удивила меня мама, сказавшая: “Мария! Ты не права и обижаешь Даниила Матвеевича”. От мамы таких слов не ожидала, слишком щепетильным и умным она была человеком.

Не буду вдаваться в подробности, поехали к о. Арсению, разговор был долгим и трудным, но по благословению батюшки через полтора месяца зарегистрировались, и я прописалась “женой”. Господи! Как же все это оказалось промыслительно с квартирой и необходимо для меня и дочери Анны впоследствии!

Через два месяца Даниил Матвеевич слег, боли были невыносимые. Переносил он их мужественно, днем приходили из поликлиники и делали укол, вечером приходил Георгий Алексеевич, а ночью укол делала моя мама, особо внимательно относясь к Даниилу Матвеевичу.

Лежал и умер Даниил Матвеевич у нас в комнате, где ранее жила Аня. Несколько раз из Калуги приезжал о. Алексей и исповедовал его, за два дня до смерти привезли о. Арсения, и он исповедовал и причастил Даниила Матвеевича.

Смерть Даниила Матвеевича потрясла меня не меньше, чем смерть сына и мужа, хотя я знала, что он должен был умереть. Поражало меня, маму и всех окружавших его отношение к своему “умиранию”, поражала беспрестанная молитва, безропотность и покорность. Ни одной жалобы, упрека, раздражения на окружающих. Поведение Даниила Матвеевича сильно повлияло на поведение моей мамы, ранее постоянно жаловавшейся на свою инвалидность, бесперспективность жизни. Теперь она переносила все без жалоб.

Ухаживали за Даниилом Матвеевичем Лена, ее муж Юрий, Георгий Алексеевич и сестры общины, дежурившие даже ночами. Поразила меня моя дочь Аня, все свободное время проводившая около больного, а ей было только одиннадцать лет и характера она была порывистого, по натуре неусидчива. Встреча, знакомство и дружба с Даниилом Матвеевичем внесли в нашу семью взаимную любовь и понимание друг друга, чего раньше не было.

Этот высокий, мощный, огромный человек, проникнутый верой, редкой добротой и чуткостью, поражал необыкновенным свойством, а может быть и даром, пугавшим меня. Бывало, молча сидя за столом с пришедшими к нам гостями, не принимая участия в разговоре, неожиданно мог сказать кому-то из присутствующих: “Вы хотите завтра пойти с дочерью (и называл, куда) – не ходите, пойдите в четверг”. Его спрашивали: откуда вы знаете? Он не отвечал, но все сказанное сбывалось.

Таких примеров было много, и мы стали верить его словам. Некоторые поступки его были часто необъяснимы.

В одну из своих встреч с о. Арсением я рассказала ему об этом. Он ответил: “Замечал, еще будучи с ним в лагере. Это дар Божий, дающийся человеку большой веры. Вы, Мария Адриановна, конечно, слышали, что есть большие святые земли Русской, которых в народе называли юродивыми. Их святость велика, вера в Господа беспредельна, “судьбу рекнут” и чудеса совершают, а ведут себя на людях странно и непонятно, по-современному у них есть “отклонение от нормы”, у одних больше, у других меньше. Вы часто соприкасаетесь с Даниилом Матвеевичем, разве не замечали особенностей его поведения, подхода к людям? Доброта, которая сообщается им, всегда исходит из познания души человека, понимания, что человеку необходимо в данный момент. Например, в день рождения все несут новорожденному цветы и конфеты, совершенно не нужные ему, а Даниил Матвеевич подарит именно то, что жизненно необходимо человеку, и скажет слова, которые согреют душу, и нужны они. Помните первую вашу встречу, он сказал: “Хороша Маша, да не наша...” Видел Вас в первый раз, но сказал, словно знал давно. В лагере, в жизни, на работе многим представлялся, вероятно, наивным и инфантильным, и в то же время – крупнейший специалист в области геологии, все сочеталось и сочетается в одном человеке.

Не удивляйтесь, скажу Вам – он современный юродивый, с такой же преданной Богу душой, как у юродивых XV–XVI вв., но его поведение среди современных людей соответствует времени. Каждому веку соответствует юродивость своего времени. Если бы сегодня появился юродивый с образом поведения Василия Блаженного, он не был бы понят и его наверняка положили бы в лечебницу. Не удивляйтесь моим словам, Господь посылает Вам счастье общаться с таким человеком. Всегда он был человеком глубочайшей веры, и его слова, что он растерял ее в экспедициях, – одни только разговоры. Где бы он ни был, он защищал слабых, убогих, больных, зарабатывал очень много и все всегда раздавал. Молится беспрестанно, читает Иисусову молитву, но скрывает это. Однажды здесь у меня он встретился с иеромонахом Серафимом. Увидев его, о. Серафим сказал мне: “Это человек Божий, высокого духа, думаю – принял давно тайное монашество”. А о. Серафим провидец. Что целует всех, не удивляйтесь, тоже от юродивости, но мысли людей читает и часто видит, что произойдет с человеком. Может внезапно сказать ему об этом, потом стесняется, что сказал, но говорит по произволению Господа.

Мария Адриановна! Он вошел в Вашу семью, и разве Вы не ощущаете, как все переменялось. Ваша мама и дочь стали другими людьми, мир и спокойствие пришли в дом. Куда бы ни пришел Даниил Матвеевич, приходит радость и благодать Божия. Жить ему осталось немного, боли переносит страшнейшие, но молчит, стараясь этого не показывать. Меня, иеромонаха Арсения, поражает тайность его жизни и сокровенность совершаемых им добрых дел. А их множество. И все это сочетается в одном человеке: огромный ученый, молитвенник, совершитель множества добрых дел, одним появлением своим приносящий людям радость и свет, и знающий час и день своей смерти, идущий к ней с постоянной молитвой к Господу о прощении. Он сейчас живет у Вас, и Вы не один раз видели его молящимся перед иконой Смоленской Божией Матери, это любимая им икона; И сразу Вас охватывало желание молиться, такова сила его молитв к Богу”. “Да, – ответила я, – когда Даниил Матвеевич молится, то и маму, и дочь, и меня сразу охватывает непреодолимое желание присоединившись к нему, молиться”. – “Я рад, что Господь привел Вас встретиться с ним”, – и благословил меня. Я глубоко благодарна была о. Арсению, что он поручил мне заботиться о Данииле Матвеевиче.

Вернусь к своему первому приезду с Леной к о. Арсению, полностью изменившему мое отношение к жизни. Вечером (в первый приезд) батюшка минут тридцать говорил с нами о молитве, ее значении в жизни человека, приводил высказывания святых отцов Церкви, подчеркивал неразрывную связь молитвы к Вседержителю и любви к ближнему своему. Я уезжала из Ростова другим человеком, не стало озлобленности, раздражительности, роптания на Бога, пришло спокойствие. Горе осталось, но оно сгладилось. Приехав в Москву, все силы отдала воспитанию дочери и уходу за мамой, стараясь под руководством о. Арсения исполнять две основные заповеди Господни, о любви к Богу и людям. Как только было возможно, ездила с Леной, Юрием и Даниилом Матвеевичем в Ростов, в Москве часто ходила в церковь вместе с Аней, а иногда с Георгием Алексеевичем и Даниилом Матвеевичем, дома молились мама, Аня и я. По завету батюшки, как могла, опекала Даниила Матвеевича, благо жил он от нас в пяти минутах ходьбы. Приходил к нам почти через день, потом переехал к нам.

Через полгода после смерти Даниила Матвеевича Георгий Алексеевич попросил меня стать его женой. Поехали в Ростов, о. Арсений благословил, и вскоре мы обвенчались и зарегистрировались. Мама и Аня не возражали. Мне было к этому времени 32 года.

Потом стало понятно, что молитва “Царице моя преблагая, надежда моя Богородице...” была любимой у о. Арсения, и многим, пришедшим в горе, читал он ее.

Мария Тропарева (1964–1975 гг.).

Воспоминания Даниила Матвеевича о лагере

и о спасении его о. Арсением были записаны в 1965 г.

доктором Ириной Николаевной.

Из архива В. В. Быкова (получено в 1999 г.).

БЕСЕДА

28 июля 1965 г.

Это моя третья запись беседы-разговора о. Арсения; я записывала то, что слышала, когда приезжала. Существует довольно много других записей, сделанных теми, кто приезжал в другие дни.

Свои беседы, разговоры со своими духовными детьми о. Арсений всегда вел с точки зрения учения Церкви, ее канонов и установившихся преданий. Очень не любил говорить о последователях мистических учений: теософах, антропософах, йогах, индийских учителях-гуру, Блаватской, спиритах и тому подобных последователях псевдорелигий.

Однажды мне пришлось присутствовать в одном доме в Москве, куда он приехал к своей больной духовной дочери Анне Федоровне. Приходило, конечно, много духовных детей, с каждым надо было поговорить, посоветовать, поэтому и прожил он шесть дней. Один вечер был полностью испорчен. К больной родственнице зашел ее племянник, человек уже в годах, представительный, заведующий какой-то кафедрой в МГУ. Поздоровавшись с о. Арсением и узнав, что он священник, обрадовался и, называя о. Арсения “батюшкой”, сказал, что уже давно хотел поговорить в домашней обстановке со священником. Мы все (нас было шесть человек, кроме больной) с интересом смотрели на пришедшего, но не предполагали, о чем пойдет разговор.

“Слушаю вас”, – произнес о. Арсений. И произошло что-то необычное. Племянник заговорил, и, словно из рога изобилия, пошли вопросы: “Блаватская, масоны, йоги, учение Рериха, антропософы, спириты, теософы, учителя-гуру” и так далее. Мы сидели, а он все говорил и говорил не переставая, противопоставляя мистические учения христианству, православию; остановить его, вставить слово было невозможно. “Вы священник и должны разбираться в этих вопросах”, – закончил он разговор. Но как только о. Арсений хотел ответить, племянник снова заговорил. Его тетка Анна Федоровна, чувствуя создавшуюся неловкость, сказала: “Кирюша! Дай ответить о. Арсению”. – “Да я еще и половины не сказал”, – ответил Кирюша и продолжил, – “Отец Арсений! Вам, вероятно, приходилось знакомиться с этой сейчас важной в человеческой жизни мистикой, охватившей все страны мира?” – “Приходилось”, – сказал о. Арсений и стал отвечать племяннику, но он не только отвечал, но и задавал вопросы, на которые Кирюша не мог ничего толком ответить, явно показывая, что в мистических учениях абсолютно не разбирается. Он знал только их названия, а когда перешел на критику православия, обнаружил полную несостоятельность, запутался, да так запутался, что вызвал у всех сидящих смех. Доктор физико-математических наук Ангелина Николаевна, духовная дочь о. Арсения, человек резкий и раздраженный тем, что пропадает вечер, которого каждый из нас ждал с нетерпением, сказала: “Кирилл Михайлович! И ежу понятно, что в этих вопросах Вы совершенно не разбираетесь, так для чего разговор затеяли с о. Арсением? Да каждая из здесь сидящих знает больше вас! Что такое антропософия, учение Блаватской, теософия, я сама Вам за о. Арсения отвечу”. И в течение пятнадцати минут она рассказывала об этом Кириллу Михайловичу, закончив: “Все эти учения придуманы темными силами для отвлечения людей от христианства. Человек вы русский, профессор МГУ, тетушка ваша глубоко верующая, так вам православное вероисповедание знать надо обязательно. Знаю, что дед Ваш был священник. Стыдно мне за Вас!” Племянник обиделся и, попрощавшись, быстро ушел. Анна Федоровна, его больная тетка, сказала: “Спасибо тебе, Ангелина, что поставила его на место!” Отец Арсений, чуть-чуть улыбнувшись, произнес: “Немного резко Вы его осадили, Ангелина Николаевна”. Было уже поздно, всем надо было уходить, вечер полностью пропал.

Вспомнила об этом разговоре потому, что 28 июля, когда мы собрались в столовой и ждали интересной беседы о. Арсения или воспоминаний кого-либо из присутствующих, создалась обстановка, подобная той, которая была в Москве при профессоре Кирилле Михайловиче.

Незнакомая многим женщина, приехавшая из Костромы с Ольгой Петровной, старинной духовной дочерью о. Арсения, задала вопрос о снах и связанных с ними предсказаниях, откровениях и даже беседах с умершими. Вопрос задала совершенно серьезно, видимо ожидая, что ее сны и видения в “тонком сне” действительно вещие и рассказав их, она получит от священника одобрение

и разъяснение. Женщину звали Валерия Валентиновна. Начав разговор, она сказала, что три года назад умерла ее мать, с которой у нее была необычайная духовная дружба; они почти не расставались, даже уход на работу доставлял той и другой страдания. Все делали вместе, и после смерти матери она постоянно видит ее, говорит с ней, советуется и почти реально физически ощущает ее присутствие.

Отец Арсений задумчиво посмотрел на Валерию Валентиновну, перекрестился и произнес: “Я не толкователь снов, очень осторожно отношусь к рассказам о снах вообще, и в особенности к снам, которые называют вещими. Сны, в которых являются умершие, говорят и дают советы живущим, – опасны в духовном отношении, навеяны больной психикой или темными силами. Особенно считаю вредными разговоры, связанные с кажущимися откровениями, предсказаниями или навязчивыми явлениями умерших.

Толкованием снов занимались еще во времена фараонов, была специальная школа толкователей, возглавляемая жрецами; в Древней Греции и Риме при храмах всегда находились жрецы или жрицы – толкователи снов. В средние века, а также в XVIII и XIX вв. толкование снов было очень распространено, в России уже начиная с XVII в. издавались “сонники” и были гадалки, толкующие сны.

Все толкования были не что иное, как мистификация, грубый обман, основанный на том, что проверить правильность толкования было невозможно. Если толкование не сходилось с предсказываемым событием, то толкователь говорил: “Ты совершил проступок (в промежутке между толкованием и предсказанным событием), и боги разгневались на тебя и изменили свое решение”. В XVIII и XIX вв. представители ряда мистических учений, в частности спириты, пытались подвести даже “научную” основу под толкование снов. Издававшиеся за границей и в России “сонники” были нелепы, глупы и походили на сборники неудачных анекдотов, например: видеть курицу во сне – к дороге, собаку – к несчастью, умершую мать – к смерти. Еще до 1917 г. я раз или два держал в руках подобные книги и ничего, кроме омерзения, не испытывал к этой ерунде. Ваши сны объяснить не берусь, считаю что Вы должны глубоко и усердно молиться Господу, Пресвятой Богородице и святой, именем которой названа ваша мама. Скажите мне ее имя, буду молиться о ней”. Валерия Валентиновна назвала: “Галина – в честь мученицы Галины, память 29 апреля”. – “Чаще ходите в церковь, заказывайте панихиды, подавайте поминальные записки. И сами молитесь об упокоении усопшей рабы Божией Галины, и сны оставят вас. Ни на одно мгновение не думайте, что Господь из загробного мира присылает душу умершей матери для разговоров во сне и встреч с Вами. Не Господь посылает ее, а ваша скорбь, постоянные мысли о матери, нервное ваше состояние являются причиной снов, а может быть, силы зла стараются смутить, сбить с пути ко Господу. Молитесь, молитесь, и я, иерей, также буду поминать усопшую Галину”.

Я смотрела на лицо Валерии Валентиновны и видела, что ответ о. Арсения не понравился и не удовлетворил ее: она твердо верила, что мать приходит к ней во сне по произволению Бога. “Отец Арсений, а настоятель храма у нас в Костроме о. Николай по-другому объяснил явления моей мамы. Он сказал, что это милость Божия, что мать приходит ко мне, а Вы сказали, что на это влияют силы зла, как же мне понять? Ведь это моя мать, я любила и люблю маму и не могу даже помыслить и каком-то зле, направляющем ее ко мне, да и другим не позволю так говорить. Все, что связано с памятью моей мамы, для меня священо, я обижена и удивлена Вашими высказываниями”.

Надежда Петровна спросила Валерию Валентиновну: “Если настоятель храма в Костроме ответил Вам, зачем спрашиваете отца Арсения?” В комнате воцарилось молчание, о. Арсений вздохнул тяжело и, будто Валерия Валентиновна ничего не сказала, начал говорить о видениях во сне, упомянутых в Священном Писании, в житиях святых, в преданиях об обретении чудотворных икон и святых угодниках, и подчеркивал, что видения во сне бывают в основном благочестивым людям или, как в явлении Божией Матери нечестивому человеку, – для вразумления (чудо об иконе “Нечаянной Радости”). Все было напрасно, Валерия Валентиновна продолжала настаивать и спорить.

Отец Арсений встал и ушел, а мы, сидящие за столом, еще долго слушали рассказы Валерии Валентиновны о ее снах, и в заключение она сказала: “Станный ваш батюшка, очевидного не видит”. Весь вечер прошел в разговорах о снах, она приводила ссылки на иностранных авторов. Мы устали, вечер, которого ждали, пропал.

Под конец вечера вновь вышел о. Арсений и сказал: “Вы недовольны и обижены, но я священник и о ваших снах по-другому не могу мыслить. Молитесь Господу Богу, Пресвятой Богородице, святой мученице Галине, и сны с явлением матери пройдут. Молитесь”.

Не могу сказать, убедили ли слова батюшки Валерию Валентиновну, но примерно года через два увидела ее сидящей за столом и не вспоминающей о снах.

Записала Ксения Галицкая.

КРОССВОРД

1966 г.

После долгих просьб и уговоров Наталия Владимировна согласилась привести меня к о. Арсению, к которому сама пришла только в 1965 г. и о котором восторженно рассказывала, как о благостном старце, ведущем людей по духовному пути.

Дома, в семье происходили крупные неприятности: от дочери уходил муж, возникла проблема с разменом квартиры, с детьми (а их было двое) и всем тем, что встречается при разводах. Мне жизнь была испорчена – жизнь не в жизнь. Зятя я ненавидела, стараясь это даже подчеркнуть.

Видимо, Наталия предварительно получила согласие на мой приезд. Ехала радостная: увижу благочестивого старца, и он сразу разрешит наши проблемы, скажет, что делать, выразив этим волю Господню. Приехали поздно вечером, спали на полу на матрацах, встали в шесть утра, умылись и сразу пошли на литургию в комнату о. Арсения. После литургии нас позвали завтракать в столовую, где собралось человек шесть. Завтрак был простой: гречневая каша, рыба и чай с медом.

Перед о. Арсением поставили графин с вином темного цвета. Стали завтракать, о. Арсений налил себе стакан вина, запивая им кашу. Стакан опустел, и он протянул руку к графину, но одна из сидевших за столом женщин взяла графин, сказав: “Батюшка, не надо больше пить, и так уже много выпили”.

“Хорош старец, – мелькнула мысль, – выпил стакан, за вторым потянулся, его даже духовные дети останавливают, а я-то, дура, думала – старец”. Кончился завтрак, о. Арсений ушел отдыхать, женщины пошли на кухню мыть посуду и готовить обед, а я и трое мужчин остались в столовой. Пока о. Арсений отдыхал или, возможно, беседовал с одним из приехавших, мужчины достали журнал с кроссвордом и начали разгадывать слова. Играли минут 15–20, но разгадать все слова не смогли. Из комнаты вышел о. Арсений, увидел играющих и сказал: “Не получается? Давайте помогу”. Взял журнал и удачно разгадал несколько слов, но потом, положив журнал, произнес: “Пошли вопросы о спорте, надо назвать фамилию футболиста, в этом я не разбираюсь”.

И вторично возникла мысль: “Какой это старец? Пьет вино, занимается пустым делом, разгадывает кроссворды. Зачем приехала?”

За обедом по-прежнему около него стоял графин с вином, он наполнил им стакан и пил маленькими глотками. Вдруг батюшка подвинул ко мне графин, сказав: “Вы на него так смотрите, наверное, хотите пить?” Начала отнекиваться, но соседка по столу налила мне полстакана. Боясь поперхнуться, сделала глоток и поняла, что в стакане – черничный сок. Мне стало стыдно за свои мысли, и я присмирела на своем стуле.

После обеда о. Арсений пригласил меня к себе в комнату. Волнуясь, стала рассказывать о домашних бедах, даже плакала, обрисовала поведение и характер зятя. Говорила долго и сбивчиво, особенно выделяя, что вся семья держится на мне. Батюшка довольно долго задумчиво смотрел на меня, я молчала. Потом встал, подошел к иконам, прочел какие-то молитвы (я узнала потом, какие), перекрестился и сказал: “Анастасия Марковна, смотрю на Вас и вижу, что основная вина в сложившихся отношениях в семье лежит только на Вас. Выслушайте спокойно, постаравшись понять сказанное мною, не возмущайтесь – тем более, что говорите со священником, пьющим вино и разгадывающим пустые кроссворды. Выслушайте внимательно. Ваш зять Леонид – не только не плохой человек, а по-настоящему хороший, отзывчивый, любит свою жену Светлану и детей. Зарабатывает меньше, чем жена, но старается, чем может, помочь по дому, что еще можно требовать от него?”

Вы постоянно говорите, прямо и иносказательно, что он зарабатывает меньше жены, стараетесь восстановить дочь против мужа, говорите детям, что он – плохой отец и каждый день напоминаете о своей доминирующей роли в семье, уходе за внуками и об “огромной работе”, совершаемой вами. Подумайте, кто может это вынести? Хотите мира, благополучия в семье – изменитесь сами, и все придет на круги своя. Приедете завтра домой и, войдя в него, станьте другим человеком, новой, доброй, настоящей христианкой. Вы – человек верующий, ходите в церковь, о чем же Вы просите Бога? Об уходе зятя? Об увеличении его заработка? О ненависти к нему? Станьте доброй, отзывчивой, незлопамятной, поступите своим самолюбием и себялюбием, и семья станет дружной и крепкой. Покажите дочери, зятю Леониду и внукам, что такое настоящий христианин, и приведете их к Церкви, к Богу.

Не Вы одна, приходя ко мне, думаете, что молитва священника сразу поможет в любом горе и беде. Да, молитва поможет, но только тогда, когда человек сам будет стремиться к Богу, понимать

совершенные им плохие дела, стараться исправить их и приносить покаяние. Если священник видит, что пришедший к нему человек поступает греховно, не по-христиански, он должен молиться об исправлении его, а не о помощи в дурных делах, которые он совершает или хочет совершить. Давайте вместе помолимся, чтобы Господь и Пресвятая Богородица помогли Вам перемениться, стать настоящим верующим человеком. Просите Господа о помощи". Я опустила на колени, а о. Арсений начал громко и ясно молиться. Многие слова и фразы молитв я не понимала тогда, но примерно через год, бывая на воскресных службах в церкви, стала их понимать.

Разговор с о. Арсением потряс и поразил меня, о многом я не говорила ему, а он откуда-то знал, знал даже о моих мыслях о вине и кроссворде. Вначале не со всем сказанным о. Арсением я соглашалась, оставался протест, но постепенно, подвергая анализу совершаемые мною поступки, согласилась. В изменении отношений с зятем Леонидом очень мешало мое самолюбие: как это я смирюсь, уступлю? Но постепенно, преодолевая себя, перестала настраивать дочь против мужа и никогда больше не говорила детям плохо об отце. Примерно через полгода отношения в семье наладились, а через год семья была на удивление крепкой и спаянной. С Леонидом я просто подружилась и с удивлением увидела, что он действительно хороший человек, муж и отец.

Постепенно стала водить внучку и внука в церковь, к церкви пришел Леонид, дочь Светлана не пришла к церкви, осталась поверхностно верующей.

Не просто мне было изменять свои взгляды, подход к дочери и Леониду, ох, как непросто, не раз плакала, уткнувшись лицом в подушку. Несколько раз (четыре-пять) приезжала с Наталией Владимировной к о. Арсению, получала от него очередной духовный совет, помогавший мне жить и находить правильный путь во взаимоотношениях в семье и в жизни.

В том, что Наталия Владимировна привезла меня к о. Арсению, вижу великую милость Господню.

По просьбе Наталии Владимировны
написала воспоминания Анастасия Щербакова, 1966 г.
Из архива В. В. Быкова (получено в 1999 г.).

ЮРИЙ И КИРА

Август-сентябрь 1967 г.

Перечитывая свои воспоминания, написанные в 1967 г., ясно вижу нечеткость в изложении прошлого, особенно в отношении старца о. Арсения, образ которого у меня удивительно бесцветен и беден, и о нем мало сказано. Увлечшись своими переживаниями, связанными с Кируй, я невольно отодвинул многое, о чем надо было бы написать.

Старец о. Арсений был иеромонахом и человеком с несгибаемой волей, полностью устремленной к Богу, был верным сыном Церкви, в любых условиях жизни идущим к Господу, всю свою жизнь отдающим духовным детям и каждому человеку, приходившему к нему. Больной, порою почти умирающий, истомленный, он целыми днями, а иногда и ночами слушал, беседовал, исповедовал приходящих, беспрестанно молясь. Он жил для других, и любое горе, беду человека пропускал через свою душу, воспринимал так, словно это его беда и горе, молясь за пришедших, молился и за себя, ибо принимал сказанное в свое сердце. Мы, его духовные дети, не жалели старца Арсения, часто приходил с пустяковыми вопросами, которые не требовали его решения, а были просто житейской шелухой, не понимали или не хотели понять, что отнимать на это его силы нельзя. Мы были жестоки и себялюбивы, мы думали только о себе.

* * *

Впервые я встретил Киру в общине о. Арсения. Мы были его духовными детьми; познакомились, подружился. И я полюбил ее, полюбил так, что удивился сам. Среднего роста, стройная, изящная, с красивым обаятельным лицом и всем обликом, Кира нравилась многим братьям общины. Ей неоднократно делали предложение. Она дважды была почти согласна, но о. Арсений своего благословения не давал.

Совершенно случайно мы несколько раз одновременно выходили из храма и вместе шли до трамвая. Мне было 23 года (рождения 1900 г.), Кире – 21 год, учились в институтах. Однажды я спросил Киру, могу ли провожать ее домой, когда она бывает в церкви. Она согласилась, и я стал постоянным провожающим. Отношения из дружеских стали другими, и я понял, что Кира полюбила меня, был счастлив и в то же время удивлен. Внешность моя обыкновенная, красота мужская отсутствовала: высок ростом, худой, но сильный. Возникали мысли: может ли Кира меня полюбить? Не временное ли увлечение, ошибочное? Но скоро понял – любит по-настоящему. Целый год встречались в церкви, потом ходили по бульварам, улицам, познакомились взаимно с родителями. За

год было переговорено, рассказано уйма всего. Кира писала удивительные стихи, в которых жила ее душа, нежной, ласковой изображалась природа, и каждое стихотворение открывало заветный уголок ее сердца. Я любил и сейчас люблю каждую написанную ею строчку, советовал посылать стихи в журналы, они превосходили многих печатавшихся поэтов, но она смеялась и в ответ читала новые. Отец Арсений знал о наших взаимоотношениях.

Через год я попросил ее стать моей женой. Пошли к о. Арсению, он выслушал нас, долго молился. Я волновался. Но о. Арсений благословил нас и сказал: “Друг друга тяготы носите, и тем исполните закон Христов”. И повторил: “тяготы носите”. Родители Киры и мои благожелательно восприняли предстоящий брак. Моя мама и сестра Надя быстро подружились с Кирой и души в ней не чаяли. Венчал нас о. Петр.

Кира была деятельным помощником о. Арсения в делах общины, и он уделял ей больше внимания, чем мне, ставя иногда в пример другим сестрам общины. Жить стали на Большой Молчановке в шестиэтажном доме, в пятикомнатной коммунальной квартире, в комнате двоюродного деда Ивана Васильевича. Дедушка был очень стар, за ним требовался постоянный уход, и мама с папой решили взять это на себя, дав нам возможность жить вдвоем.

Тревог и опасностей было много, всего и не вспомнишь. Главное: арест о. Арсения в декабре 1927 г., высылка его, потеря духовного руководителя, арест почти всех священников храма, некоторых братьев и сестер общины, закрытие храма и огромная волна репрессий, начавшаяся в 1928 г. и достигшая высшей точки в 1937–1938 гг. Эти годы были постоянным ожиданием ареста, ссылки, лагеря, расстрела – для каждого жителя страны и особенно для верующих.

Община затаилась, но жила скрытой жизнью, постоянной молитвой, ежедневным чтением всеми членами общины очередной главы Евангелия, совершением на дому редких, радостных литургий оставшимися на свободе, но уже не служившими священниками, скрывавшимися от ареста, или братьями общины, тайно рукоположенными во иереи владыкой Афанасием. Я знал, что еще в 1924 г. Патриарх Тихон рекомендовал ряду верных иереев Москвы избрать из братьев их общин или из прихожан подходящих людей и подготовить к принятию тайного священства, ибо нависла угроза поголовного уничтожения духовенства. Известно также, что просили об этом нескольких владык, я знаю только о владыке Афанасии. В число братьев, избранных для тайного посвящения, я не входил.

В эти жестокие годы безвременья моя Кира развернула кипучую деятельность. Ездил несколько раз к о. Арсению в разные места его ссылок, постоянно сопровождала в такие поездки Александру Федоровну Берг. Собирала с другими сестрами продукты, деньги для помощи нуждавшимся, для священников, братьев и сестер общины, находившихся в ссылках, лагерях, и для их родственников (в основном этим занималась Ирина Николаевна – “Дуняша”). Молодые братья и сестры развозили собранное, что бывало часто крайне опасным. Я четыре раза ездил в ссылку к о. Арсению и два раза – к о. Петру.

Репрессии, по милости Божией, обошли наши семьи, и мы дожили до 22 июня 1941 г. – начала Отечественной войны – “без потерь”. С момента свадьбы и до моего ухода в армию жизнь Киры и моя, несмотря на окружающий страх (террора), была духовно общей и, можно сказать без преувеличения, – поразительно счастливой. Вся моя жизнь протекала в любви к Кире; пусть это гиперболично, но ее дыхание было и моим дыханием – общим жизненным и духовно единым. Долгими вечерами молились: читались утренняя, вечерняя, часы, акафисты Божией Матери, преп. Серафиму Саровскому, преп. Сергию Радонежскому, преп. Феодосию Тотемскому и другим святым. Бывали дни, когда мы с упоением читали стихи разных поэтов или я с наслаждением слушал стихи моей Киры, они слагались у нее по дороге на работу, в трамвае, во время подготовки обеда. Большим горем было отсутствие детей. К врачам не обращались, полагаясь на волю Господа. Считали брак счастливым. Полная духовная и душевная близость соединяла нас.

6 июля 1941 г., в день моей любимой иконы Владимирской Божией Матери, меня вызвали в спецчасть предприятия, где я работал, объявили: броня на освобождение от военной службы снимается и я направляюсь в распоряжение Министерства обороны; должен явиться на следующий день к 10 часам, дали адрес. Немедленно поехал домой, вызвал с работы Киру, поехали проститься к ее и моим родным. Поздно вечером пошли к о. Герману, тайному иерею и нашему другу. Ночью он отслужил литургию, исповедовал, причастил нас. Всю ночь молились, утром прямо от него поехали с Кирой по данному адресу.

На душе после литургии и причастия было спокойно. Тяжелым, грустным и полным внутреннего трагизма было прощание с Кирой, слезы застилали глаза.

Приняло меня какое-то высокое начальство, сказали, что, учитывая мою специальность и профиль работы, меня посылают работать по радиообнаружению объектов (теперь называется

радар). Посадили в закрытую машину с тремя моими сослуживцами и в неизвестном направлении повезли.

По прибытии сообщили: с территории выхода нет, питание будет хорошее, письма родным – одно в три месяца, вставать, завтракать, ужинать, спать по сигналу; работа по 15 часов в сутки, любые разработки сразу воплощаются в металле, имеются мощные производственные мастерские; прозвучали угрозы – как будут караться нарушения. Мы все военнообязанные, нам присвоят воинские звания. С нами будут работать заключенные, крупные специалисты; указали, как с ними должны общаться.

Мы поняли, что попали в закрытый привилегированный лагерь, в дальнейшем такие лагеря называли “шарашкой”.

Стали работать, но пробыли в Москве только месяц, в конце августа нас на самолетах эвакуировали в другой город. Всю войну я проработал в этой организации, раз двадцать в составе бригады меня направляли на фронт для испытания разработанного оборудования, но все проходило под наблюдением охраны и без возможности общаться с посторонними. От родных получали письма, в которых часть текста была тщательно зачеркнута, грубо замазана черной краской.

Кончилась война, прошел сорок пятый год, начался сорок шестой, нас перевезли в Москву, режим тот же. Многие стали просить о демобилизации, в том числе и я. В апреле месяце демобилизовали в высоком чине полковника (никогда не участвовавшего в войне), мне в это время было 46 лет, Кире 44 года. На машине привезли домой.

Приехал взволнованный, открыла соседка по коммуналке, милая старушка Мария Петровна; увидев полковника, не узнала, но потом дала ключи от комнаты и все время порывалась что-то сказать, тревожно глядя на меня. Зажег свет, все было как прежде, но в углу стояла детская кроватка, лежали детские вещи и игрушки. Пытался осмыслить, но услышал звук открываемой входной двери, детский голосок, слова Марии Петровны: “Он приехал”. Кира что-то ответила и вошла в комнату, пропуская впереди себя девочку лет трех.

Бросился к жене со словами: “Кира!” Перед этим, сидя у стола, молился, благодаря Господа, что дома и встречу Киру. Словно защищая от меня девочку, прижав к себе и смотря расширенными глазами, не сказала, а простонала: “Это моя дочь! Моя!” – “Кира! – повторил я, – Кира!” – “Это моя дочь! Ты понял? Моя!” “Девочка родилась без меня, Кира вышла замуж”, – промелькнула мысль. “Ты вышла замуж?” – “Нет, не вышла, но это моя дочь”. Я замолчал, не осознавая, что должен делать и говорить.

Собрав всю свою волю, сдерживая волной нарастающее раздражение, разочарование и гнев, подошел, взял на руки девочку и спросил: “Как тебя зовут?” – “Катя!” – и доверчиво потянулась ко мне. Доброе личико, глаза, весь ее облик являл сходство с Кирой. Девочка спросила: “Ты папа? Мама рассказывала о тебе”.

“Одеться и уйти, – мелькнула мысль, – и больше никогда не видеть Киру, не встречаться”. Но она – жена, о. Арсений благословил нас, я соединен с ней таинством брака; бросить, оставить одну с ребенком? Где же моя вера? Этому учил о. Арсений? Да! Кира совершила ошибку, предала меня, нарушила законы веры, заповедь. Я угнетен, раздавлен, но имею ли право судить, наказывать, накладывать трудности на жизнь ранее любимого человека? – И ответил сам себе: “Нет, не имею, я и сейчас люблю свою жену Киру”. Опустил Катю на пол, подошел к жене, сказав: “Давай помолимся Богу и Пресвятой Богородице”. Горько заплакав, она сказала: “Прости меня, я виновата перед тобой, Господом, о. Арсением. Знаю – совершила смертный грех. Все тебе расскажу. Скажи: что нам троем сейчас делать? Скажи!” Взяв ее за локоть, повел к иконам; молитвы читал я, Кира все время плакала. Всю ночь просидел в кресле, молился и думал, думал. Кира уложила Катю, не раздеваясь легла на кровать, под утро тревожно уснула.

Кто из людей не совершает ошибок? И мне ли, человеку, судить мою Киру? Мысленно представил, что решил бы о. Арсений, если бы мне пришлось спросить его, и ответил сам себе: остаться с Кирой, Катей, заботиться о них, никогда не оставлять, возродить отношения духовного единения, общность молитвы, никогда, никогда не спрашивать о случившемся, ни единым словом, и никогда не попрекнуть происшедшим, сделать так, словно этого и не было, и вместе воспитывать Катю. Но полностью отстранить любую физическую близость с Кирой, жить вместе братом и сестрой и воспитывать Катю. Потом понял, что это решение унизило жену, – через много лет сказал мне об этом о. Арсений.

Не стал говорить о своем решении Кире, остался, и стали мы жить так, как будто ничего не произошло. Было странно одно: мои родители и сестра Надежда никогда не сказали ни одного плохого слова о Кире и не осудили, по-прежнему относились хорошо и любили ее и Катю. Мать Киры – Елизавета Андреевна – осудила дочь, но я промолчал.

Конечно, пришлось уехать из комнаты на Большой Молчановке в другой район; обмен был трудный: с доплатами, переплатами, но в результате мы получили две комнаты в трехкомнатной квартире. В третьей комнате жила молодая учительница Александра Викторовна Шилова с сыном Сережей, на один год старше нашей Кати.

Прожили год, однажды в три часа ночи пришли трое: мы решили, что за нами, но они произвели тщательный обыск у Александры Викторовны и увели ее. Мальчик остался в ее комнате. Месяца три Сережа жил с нами, решили усыновить. Пошел в райотдел, спросил, можно ли усыновить. Ответили – нет. Прошло еще три месяца, сказали, что отправят в детский дом для “врагов народа”. Пошел в третий раз, дали бумагу в отдел опеки, поволынили и оформили. Мы знали, что усыновление незаконно, мать жива, но в райотделе обмолвились: осуждена на десять лет без права переписки, потому и дали согласие. Семья наша теперь состояла из четырех человек.

Квартира из трех комнат стала полностью нашей, соседей не было, мы спокойно молились. Приходили священники и совершали литургию, собиралось обыкновенно пять-шесть, реже семь человек, больше собирать боялись.

Внешне были мужем и женой, любили друг друга и постоянно занимались Катей и Сережей, рассказывали сказки, короткие, но интересные пересказы житий святых, мучеников, подвижников. Были две бесконечных сказки. У Киры – черный котенок Светик, ловкий, умный, сильный, постоянно попадавший в беду, но всегда побеждавший и помогавший всем окружающим. У меня героями бесконечной сказки были Волк и Лиса, вечно старавшиеся победить друг друга. Когда бы Кира или я ни пришли, раздавался двойной крик: “Папа, мама, сказку!” Не дай Бог не рассказать – обида.

Книги доставали у знакомых или у Татьяны Ниловны, работавшей в библиотеке им. Ленина старшим научным сотрудником; выносили их тайно и через неделю возвращали. Это были апокрифы о детских годах Иисуса Христа, Божией Матери, Николае Чудотворце. Ребята особенно любили эти повести и рассказы. С восьми лет они сами погрузились в мир книг, которые подбирали дедушки, бабушки, Надежда и Кира. Кира по-прежнему занималась делами общины, но в меньших размерах, работала микробиологом, я преподавал в МВТУ и работал в “ящике”. Катя и Сергей учились хорошо, без нажима готовили уроки, молились самостоятельно и с нами, постоянно занимались друг с другом, ходили неразлучной парой, осмысленно подбирали друзей и, самое главное, росли глубоко верующими людьми. Детей любили совершенно одинаково, никого не выделяли, они понимали это, но Катя больше тянулась ко мне, а Сережа – к Кире.

Были мы дружны и счастливы, дети соединяли нас, но невидимая черта разделяла Киру и меня. Через два года после приезда я потерял над собой контроль. Было Рождество, устроена елка, розданы детям подарки. Передаю Кире свой подарок, радостно поздравляю и вдруг схватываю ее за плечи, целую лицо, губы, глаза, шею. Теплые руки Киры охватили меня, прижавшись ко мне и целуя, произнесла несколько раз: “Юра! Юра!” – крепче охватывая мою голову.

Сняв руки с шеи, почти оттолкнув ее, отошел и смог только сказать: “Прости! Я забылся!” Сказав эти слова, понял свою неискренность, ложь, ведь я до самозабвения любил Киру и должен был помнить: она моя жена и благословил от имени Господа нас о. Арсений, а я свою гордость поставил выше любви и всепрощения.

Боже мой, как же она рыдала, повторяя: “Юра! Юра! Прости!” Ужас охватил меня, мне было жалко, больно, что я обидел Киру, но невысказанное, не до конца осознанное чувство не давало возможности разорвать невидимую разделявшую нас преграду.

Я взял Киру за локоть и стал вслух читать молитвы перед иконой Владимирской Божией Матери, а Кира рыдала и никак не могла остановиться. Закончив молиться, положил ей руки на плечи, усадил рядом с собой на диван, обнял, прижал к себе и стал молча и тихо проводить рукой по ее голове, плечам и рукам, осознав всю свою неправоту, жестокость, безудержное зазнайство и гордость, опустился перед ней на колени и, обняв, сказал: “Бога ради, прости меня, я не прав, надуманной отстраненности больше не будет – ты знаешь, я люблю тебя. Все мое поведение было результатом ложной гордости, и не этому учил нас с тобой о. Арсений”.

Поднял, поставил перед собой и много раз расцеловал. Все прошло, рухнуло, осталась вера в Господа, соединяющая нас, дети – центр земной жизни, и любовь, скрепляемая верой и милостью Божией. Я был неправ и виноват перед Кирой, забыв благословение духовного отца, забыв, что она – моя жена, доставлял мучение Кире и самому себе, сейчас это исчезло.

Никогда я не говорил, не спрашивал Киру, что толкнуло ее в годы войны совершить ложный шаг и родить ребенка. Однажды, через несколько лет она внезапно сказала: “Юрий! Все, чему учил о. Арсений, все, чему посвятила жизнь: вере, Богу, тебе, мужу, – пало в одно мгновение бездумно, подло. Это случилось единожды, гнусно, противно, безвольно; поняла – будет ребенок, уничтожить

его нельзя, это убийство, огромный смертный грех перед Господом. Даже если бы не было ребенка – все равно призналась бы тебе в неверности; хотя это тоже смертный грех, но не убийство ребенка, Ангел Хранитель дается ему еще до рождения”. Больше об этом никогда не говорили.

В 1958 г. из лагеря после 18 лет заключения возвратился о. Арсений. Дети выросли, Кате 15 лет, Сергею 16 лет. Мне было пятьдесят восемь, Кире – пятьдесят шесть лет, но она была такой же красивой и стройной, на вид можно было дать не более сорока. У нее всегда была особенность выглядеть на пятнадцать-шестнадцать лет моложе.

В июне 1958 г. Кира и я приехали в Ростов к о. Арсению, прожили три дня. О радости встречи писать не буду, понятно, что испытывал каждый из нас. Лагерь тяжело отразился на здоровье о. Арсения, ухудшилась сердечная деятельность (в прошлом, в юности, он перенес эндокардит, который тогда не умели лечить), обострились отеки ног. Внешне, конечно, несколько постарел, но духовно еще больше возрос. Это становилось особенно понятным, когда он своим прозорливым взором проникал в твою душу – знающий ее, добрый и всепрощающий, понимающий человеческие слабости, их причину, и каждого пришедшего человека рассматривающий в соответствии с его внутренним устройством, особенностями характера, воспитания и жизни. Редко когда священник в храме так внимательно подходит к приходящему на исповедь человеку, да и времени у него на это нет.

Долго, очень долго он говорил и исповедовал Киру, и вышла она от него просветленная, радостная, со слезинками на расширенных счастливых глазах. Моя исповедь и разговор тоже были долгими, откровенно признаюсь, мне было духовно страшно исповедоваться о. Арсению. Я стал рассказывать о многом, что происходило со мною, и о грехах, совершенных в прошлом, но он движением руки остановил. “Это суетное, потом. Кира подробно рассказала о происшедшем в 1943 г. и о том, что было с 1943 по 1946 г., когда вы вновь встретились. Все знаю, не повторяйся. Ее поступок даже по церковным канонам давал тебе право развестись и постараться забыть ее, и никто не осудил бы тебя, потому что совершенный Кирой грех является смертным, подлежит суровому осуждению, и только Господь на Страшном суде может простить совершенное, по Своей великой милости.

Кира – человек сильной воли, большой духовности и проникновенной веры, и именно такие люди, осознав ужас происшедшего, способны на совершение безумных поступков под влиянием эмоционального стресса: “Мне нет прощения, нет возврата к прошлому”.

Перед ней открывались три пути: первый – обращение к всепрощающей милости Господа, постоянному покаянию, молитве, перенесению бесконечной цепи унижений, отвержению от друзей по общине и незнанию, простишь и примешь ли с чужим ребенком, и так жить нужно было постоянно; второй, по которому пошло бы большинство женщин, – уйти к другому человеку, тем более, что он многие годы любил Киру (молись об этом человеке, его имя – Дмитрий), но против этого в ней восставало все: обретенная годами вера, безграничная любовь к тебе, к друзьям общины, к Церкви, молитве и к Господу Богу, Пресвятой Богородице, святым. Это был путь второго предательства, полного отречения от прошлого, погружения в житейскую суету и сумрак безверия; и третий – страшный: под влиянием возникшего стресса – мне приходилось встречаться с такими людьми в лагерях, ссылках, на воле – принять решение уйти из жизни, будучи уверенной, что ей нет прощения на земле.

В лагере Господь Бог явил мне великое чудо. 27 января 1943 г. ощутил я душой своей, что Кира находится на грани гибели, и начал молить Пресвятую Богородицу спасти ее, особенно тревожился и молился ночью (в Москве в это время был день). Я просил, умолял Господа помочь, послать людей, способных поддержать ее, и такие люди нашлись: твоя мать, Елена Александровна, отец и сестра твоя, Надежда, и это было поистине великое чудо. Родные твои не только не осудили Киру, но сделали все, чтобы спасти ее, взяли в свой дом заботились и любили, как свою дочь и твою жену.

Возвратившись из армии, ты принял Киру и Катю. Внешне вы жили мужем и женой, все считали Катю твоей дочерью, но два года ты отстранялся от общения с женой, что заставляло ее постоянно сознавать греховность содеянного и постоянно молить Господа о прощении и очищении. Твое решение было правильным, Бог вразумил тебя, но потом, по великой Своей милости, Господь вновь соединил вас воедино. Усыновив Сергея, ваша семья стала сплоченной крепкой верой и дружбой”.

Разговор наш был долгим, воспоминания приходили и приходили, и от этого о. Арсений оживал, вспоминал и многое рассказывал мне в этот день.

Отец Арсений был для меня и Киры не только духовным отцом, это был друг, вместе с которым мы создавали общину, шли к одной общей цели, шли по заветам святых отцов Церкви.

Много раз исповедовался я у о. Арсения, и каждая исповедь была ступенью к новому очищению души и познанию духовного, но сейчас это была исповедь совершенно особая. Восемнадцать лет мы не виделись с батюшкой, восемнадцать лет отделяло нас от той давней исповеди, что происходила в деревне Архангельской области, но внутренне ощущение оставалось таким, что не было долгой разлуки и всегда и постоянно о. Арсений был с нами. Да он всегда и был с нами и в лагере молился о нас, его духовных детях, этим спасая и поддерживая нас.

В одном из разговоров о. Арсений однажды сказал мне: “Твое принятие Киры было закономерным, ты знал ее внутреннюю жизненную сущность, характер, чрезвычайную ранимость и духовное мировоззрение, глубину веры и понимал, что ее падение станет для нее постоянным молением о прощении, стремлением к Богу через раскаяние и вечное сокрушение, и знал ее любовь к тебе и свою – к ней. Вероятно, тебя удивят мои слова, но совершив тяжчайший грех, сознавая это, мерой своего покаяния, постоянного сознания греховности Кира еще более укрепила свою веру и стала внутренне более совершенной. Это, Юрий, удивительно, но так бывает у людей сильного характера и глубокой веры. Пути Господни неисповедимы.

Господь показал ей, что есть люди, готовые в самые тяжелые часы жизни, отбросив все условности, помочь терпящему бедствие человеку. Этим они открывают духовную красоту души своей и ярким светом показывают величие Промысла Божия. Это дало Кире духовные силы”.

После выхода о. Арсения из лагеря в 1958 г. было множество моих встреч и бесед с ним. Временами он жил неделю–две у нас в Москве, летом мы приезжали с Кирой в Ростов, снимали комнату и жили весь отпускной месяц, брали с собой Сергея и Катю. Дни эти всегда были днями радости; а встречи заполнялись воспоминаниями о. Арсения или приезжающих, разговорами и интереснейшими беседами на духовные темы.

В последние годы батюшка чувствовал себя слабым, подолгу лежал на диване или летом в садике в шезлонге, прикрытый пледом. Временами резко ухудшалась сердечная деятельность, появлялась одышка, отеки ног, длительная аритмия. В общине врачей было много: Юлия, Ирина, Людмила, Ольга Сергеевна, Александра Андреевна и еще много других. Теперь кто-то из них был профессором, доктором медицинских наук, заведовали клиниками, возглавляли мединституты, больницы. Благодаря их заботам и усилиям, насильственным увозам в лучшие лечебные учреждения и лечению и, в особенности, благодаря великой милости Господа и Пресвятой Богородицы к нам, его духовным детям, смог тяжело больной о. Арсений, перенесший девять лет ссылок и восемнадцать лет “лагеря смерти” прожить семнадцать лет в Ростове в доме Надежды Петровны, беззаветно ухаживавшей за ним.

Отец Арсений был слаб и болен, но люди ехали и ехали к нему, почти каждый день приезжало не менее пяти человек, и он принимал, беседовал, исповедовал, служил и непрерывно молился.

Продолжением этих записей являются воспоминания Киры.

Юрий Бахмат.

Из архива В. В. Быкова (получено в 1999 г.).

* * *

В 1967 г. о. Арсений попросил Юрия и меня написать воспоминания, как я поняла – обо всем, что связано с жизнью общины, и о наших взаимоотношениях с мужем. Воспоминания Юрия абсолютно правдивы, в них нет ничего, что хотя бы в малой степени отклонялось от истины, и тем не менее в них есть одна неточность, связанная с субъективным восприятием некоторых событий.

Начну с того, что в двадцатые годы, когда наша община жила глубокой духовной жизнью, инициатором “случайных встреч” была я, а не Юрий. Этого он знать не мог, и думаю, что я первая полюбила, но, как всякая девушка, старалась не показать свое отношение к нему. При исповеди рассказывала об этом о. Арсению и как сейчас помню сказанные им слова: “Господь все расставит по своим местам”.

Вся наша жизнь описана Юрием довольно полно, поэтому мне в своих воспоминаниях мало что придется добавить.

С начала 1943 г. по 1948 г. вся моя жизнь была совершенно иной, чем раньше, полной постоянных тревог, глубокого раскаяния в совершенном и ощущения, что обязательно случится нечто неожиданное и плохое. Каждый день проходил в напряжении, хотя отношения с Юрием начиная с апреля 1946 г. были внешне добрыми и хорошими. Он очень любил мою дочь Катю, привязался к ней, однако постоянная напряженность жила во мне.

В 1958 г. неожиданно возвратился о. Арсений. До 1956 г. мы думали, что он погиб в лагерях или расстрелян, но Господь сохранил его для нас, духовных детей его. В июне 1958 г. Юрий и я первый раз приехали в Ростов в дом Надежды Петровны. Прожили три дня, о радости встречи писать не буду, для Юрия и меня это был великий праздник, батюшка тоже был рад.

На второй день по приезде исповедовалась у о. Арсения. С момента моего падения прошло пятнадцать лет, отношения с мужем стали прежними, мы любили друг друга, и так же, как раньше, строй мыслей, взаимопонимание и взгляды были едиными, совершенный мною грех растворился во времени. Но когда я пошла на исповедь, все прошлое во всем ужасающем его виде мгновенно возникло передо мной, и страх охватил душу, сердце, ум. Как смогу взглянуть в глаза духовного отца старца Арсения? Что скажу?

Со страхом, душевным трепетом вошла к нему в комнату. Тогда она еще не была вся в иконах, на стене не висел портрет неизвестной женщины в телогрейке-бушлате на фоне стены барака (был написан М. В. Нестеровым и тайно где-то хранился), вместо дивана стояла кровать, застеленная темным покрывалом.

Вошла, о. Арсений стоял, упала перед ним на колени, голос прервался, смогла сказать только одну фразу: “Отец Арсений! Я совершила тяжкий грех, умолите Господа простить меня” – и уткнулась головой в пол. Подняв, он посадил меня на кровать рядом с собой, тихим голосом сказав: “Кира! Давайте помолимся”. Подойдя к иконам, стали молиться, я повторяла каждое слово произносимых молитв. Не, знаю, сколько времени молились, может быть, полчаса, час или больше, но кончив, батюшка вновь посадил меня на кровать, сел рядом, сказав: “Рассказывайте”. Говорила долго, плакала, закрывая от стыда лицо руками, замолкала, снова начинала рассказывать, и прошлое, омерзительное прошлое, сознание грязного падения являлось передо мной. Оно было результатом моей огромной самоуверенности в своей добродетели, высокой духовности, нравственности: “Смотрите, смотрите! Я все равно удержусь” – в этом жило отвратительное женское греховное начало. Играть с огнем на краю пропасти, перед влюбленным в тебя человеком, – это сожгло меня в одно мгновение, и потом сознание и понимание грехопадения, ужас охватили меня. Кое-как одетая, бежала и бежала, смертельно напугав этого человека, ничего не понявшего и посчитавшего меня, вероятно, ненормальной. И произошло это не в 18–20 лет, а в мой 41 год; я уже была старой.

И вот в таком состоянии я ворвалась к Елене Александровне, матери Юрия, и его сестре Надежде. Почему к ним? Не знала тогда. Пока ехала, бежала, шла, возникала мысль: они выгонят, проклянут, жена их сына и брата оскорбила, опозорила его своим поступком. Бросилась к Елене Александровне и Наде и стала рассказывать обо всем происшедшем, ожидая пощечин, грубых слов, крика: “Вон из дома!”, – но произошло совершенно противоположное. Обняв меня, Елена Александровна и Надя ласково и нежно стали успокаивать, привели в порядок мою одежду, не задали ни одного вопроса, только Елена Александровна пророчески сказала: “Кира, у тебя обязательно будет ребенок, его надо сохранить, готовься стать матерью. Ты с сегодняшнего дня будешь жить у нас. Пойдете с Надей на Молчановку и возьмете вещи”.

Я не верила, не хотела верить, что, возможно, будет ребенок, но через десять дней поняла: Елена Александровна права.

Прожила в семье Елены Александровны три года десять месяцев. Вам не понять, как я жила? Жила любимой оберегаемой дочерью, о которой заботилась вся семья: Елена Александровна, Александр Николаевич – отец Юрия, Надя. Рождение Кати было непритворной радостью для всех, родилась внучка, племянница, которую выхаживали, кормили, заботились и любили. Когда приехал Юрий, они продолжали заботиться о Кате, а потом и о нашем приемном сыне Сергее. Катя настолько любила бабушку Лену и тетю Надю, что мне казалось что Юрий и я находились далеко на втором плане, – вероятно, так и должно было быть.

Вот такой бессвязной и в то же время полной греха была моя исповедь о. Арсению. Я замолкла, о. Арсений безмолвно перебирал кожаные четки и внимательно смотрел на иконы, огоньки лампы и пламя одинокой свечи. Двигались на стенах тени, я стояла на коленях, ожидая жестких слов осуждения и, возможно, отказа в прощении. Становилось все страшнее и страшнее, сейчас решалась моя духовная судьба, но батюшка обнял меня за плечи и тихим проникновенным голосом сказал:

“В 1943 г., 27 января, в день святой равноапостольной Нины, в лагере ночью и днем непрерывно молил Господа, Пресвятую Богородицу и святую Нину спасти тебя. Гибель твоя была не в совершенном падении, а после. Знал тебя, понимал, можешь лишиться себя жизни, спасаясь от позора, стыда и омерзительности совершенного, или вернуться к тому человеку. Молил Господа спасти от того и другого, послать людей, способных удержать от окончательного греховного падения или от собственного самоуничтожения. Ответь, возникали у тебя такие мысли?”

“Да, батюшка! На улицах было затемнение, хотелось броситься под трамвай, мелькала мысль вернуться к тому человеку, он любил меня до самозабвения, надежды на прощение Юрия не было, но непреодолимая, непонятная сила влекла к Елене Александровне”.

“Я умолял Господа, Пресвятую Богородицу и святую Нину помочь тебе, спасти и удержать, и они услышали мои молитвы и привели в семью Юрия, вот почему ты пришла к ним. По

человеческим законам после совершенного такого падения к родным мужа не приходят и не рассказывают.

Отчетливо помню этот день в лагере, ты постоянно возникала в моем сознании, видел совершенный тобой поступок, тебя, почти обезумевшую и бежавшую по темным улицам Москвы, твои путаные, беспорядочные мысли и успокоился только тогда, когда Елена Александровна и Надя обняли и оставили у себя. Ты говорила, что не понимала, почему пришла в семью Юрия, теперь знаешь. Юрий и ты не только мои духовные дети, но одни из самых близких по духу друзей. Господь услышал мою молитву и спас тебя, а Пресвятая Богородица взяла под свое покровительство. Молясь о всех своих, никогда не забывай в молитвах отца Кати – Дмитрия, он – хороший человек и пришел к Богу”.

Потрясение мое было невероятным, потому что никто не знал о случившемся 27 января 1943 г. и об имени этого человека, отца Кати – Дмитрия, но о. Арсений знал.

“Прошло пятнадцать лет, время сгладило события прошлого в вашей памяти, ты исповедовалась у о. Петра много раз, просила прощения, он дал отпущение грехов, но твой грех – смертный, и Господь на суде Своим спросит еще тебя. Да будет воля Твоя, Господи.

Ни вразумлений, ни наставлений давать не буду, ты долго и тяжело переживала случившееся, сжигая себя огнем раскаяния. Властью духовной, данной мне Господом, прощаю и разрешаю, иди и впредь старайся ни в чем не грешить и всегда помни: людей, подобных Елене Александровне, Надежде и Александру Николаевичу, найти почти невозможно, а человека, равного, как ты любишь говорить, “твоему Юрию”, – еще труднее. Я люблю вас обоих, моих друзей и духовных детей. Позови ко мне Юрия”.

Когда о. Арсений волновался или уходил в себя, он мог, не замечая, называть человека то на “ты”, то на “Вы”.

Я позвала Юрия, о. Арсений повернулся к иконам, и мы стали молиться. Он поставил нас на Колени, благословил иконой Владимирской Божией Матери, и мы приложились потом к кресту.

Читаю написанные воспоминания и ощущаю бессвязность, повторы, перечитываю и перечитываю, но по-другому написать не могу, пусть все останется так, как есть. Происшедшее в 1943 г. оставило неизгладимый след в моей душе и никогда не исчезнет.

Дети наши, Катя и Сергей, тоже находились под духовным руководством нашего батюшки, хотя в последние годы своей жизни он все больше и больше направлял их к о. Алексею (“Алеша студент”) в Калужскую область.

Почти все годы, когда о. Арсений изредка приезжал в Москву или его “принудительно” увозили в клинику или больницу, после этого, выходя из лечебных учреждений, он жил у нас (квартира была трехкомнатная, Сергей и Катя имели свою квартиру недалеко от нас) или у Наташи, Люды, Ирины, и москвичи шли к тем, у кого он находился, для исповеди, совета, бесед, и тогда творилось нечто невообразимое. Кухня наша заваливалась десятками килограммов кураги, ядрами грецкого ореха, витаминами, мандаринами, клубникой, всем, что можно было достать, купить в это время года. Помню: Сергей Семенович (Сережа) притащил десять бутылок прекрасного кагора с медом и алоэ и убедительно доказывал, что это средство поможет о. Арсению. Наш батюшка смеялся, но постепенно, за десять дней, к моей радости, приходящие выпили настойку. Дни пребывания о. Арсения в Москве были праздником для всех, но особенно для тех, у кого он жил.

Бывали дни, когда о. Арсений хотел поехать на какое-нибудь кладбище или просто проехаться по улицам, которые когда-то знал и любил. Тогда обыкновенно Юрий или Василий Иванович брали такси и полдня путешествовали с одного конца Москвы до другого.

Добавлю к написанному, что не один раз порывалась рассказать о содеянном Юрию, но он всегда говорил: “Не надо, все прошло, я по-прежнему люблю тебя и поднимать это прошлое не хочу”. Только о. Арсений и Елена Александровна с Надей знали все обо мне.

Удивительные люди были Елена Александровна и Надя, их слова “ты наша дочь”, заботы обо мне и Кате в голодные трудные годы войны согревали мою грешную душу, помогали переносить тяжесть совершенного и давали уверенность, надежду на то, что Юрий простит меня. Никогда ни одного слова осуждения или намека не слышала я в семье Юрия за то, что совершила. Вся семья Юрия и я постоянно молились вполголоса, потому что жили в коммунальной квартире, читала всегда Надя.

Закончу о себе. Катя родилась в клинике, которой заведовала Ольга, продержавшая меня лишний месяц. Роды были тяжелыми, мне был 41 год, врачи опасались за мою жизнь, но Господь был милостив и, перенеся все трудности, я возвратилась к Елене Александровне, где в общей сложности прожила три года и десять месяцев. Моя мама и отец до глубины души были возмущены моим падением и рождением Кати, они любили Юрия и понимали, какой унижающий удар я нанесла

ему своим поступком. Только после его приезда отношения наладились. Мое ожидание ребенка, рождение Кати вначале удивило моих друзей, но когда все увидели, что я живу у родителей мужа, возникла “легенда”, что в 1942 г. Юрий приезжал из армии на несколько дней и Катя – его дочь. Хотя Юрий вскользь подтверждал этот слух, я всегда молчала, и это еще более убеждало окружающих в его достоверности. Иногда я задумывалась, как бы я отнеслась, если бы Юрий привел в дом ребенка от другой женщины? Человеческая любовь бывает крайне жестокой, и возникает часто желание мстить. Только любовь подлинного христианина, в душе которого глубоко укоренилась вера в Господа, способна простить то, что человек без веры или с малой верой никогда не простит.

Сейчас, когда я пишу воспоминания, Кате 24 года, Сергею 25 лет, я уже бабушка и помогаю воспитывать Лену трех лет и Надю двух лет. В 1964 г. произошло невероятное. Катя и Сергей дружили с самого раннего детства, но оказалось, что полюбили друг друга давно, и когда Кате исполнился 21 год, а Сергею 22 года, поехали в день преподобного Сергия, 18 июля, к о. Арсению просить благословения на брак, ничего не сказав ни отцу, ни мне. 20 июля возвратились радостные, но смущенные, и объявили: “Отец Арсений благословил нас на брак, венчать будет о. Алексей в церкви в августе месяце”. В душу Юрия и мою легла обида: как же первыми не сказать отцу и матери? Смущаясь, объяснили, что еще год тому назад говорили с о. Арсением о браке, и он сказал: “Проверьте, проверьте себя, подождите и приезжайте, когда Кате будет 21 год”. Они так и сделали.

После сказанного наша обида почти прошла. Благословили детей иконой Казанской Божией Матери, выкупленной Юрием в 1929 г. у рабочих, разрушавших храм. Икона в той местности глубоко чтилась и считалась чудотворной (церковь была в селе под Ярославлем).

Сергей знал, что он наш приемный сын, но любил Юрия и меня не менее, чем Катя. В 1957 г. мы сделали запрос в НКВД и получили ответ: “Александра Викторовна Шилова умерла в 1950 г. от воспаления легких”. На повторный запрос в 1966 г. ответили: “Расстреляна в 1948–1949 гг. (?), захоронение неизвестно, реабилитирована” .

Вот так сложилась наша жизнь, Юрия и моя. Господь был милостив к нам, особенно ко мне, многогрешной и виновной перед мужем. Отчетливо сознаю, что все мной написанное в основном относится только к моей жизни, Юрия и детей, почти ничего не сказано о жизни общины, ее людях, и духовный облик старца иеромонаха Арсения, руководившего нами, совершенно не обрисован.

Объясняется это тем, что мною написаны воспоминания об общине, озаглавленные: “Несколько кратких воспоминаний об о. Арсении и его духовных детях”, сделана запись “Воспоминания о. Арсения 9 января 1975 г.”, а также совместно с Наталией Петровной и Людмилой по поручению батюшки мы написали “Повесть временных лет общины” начиная с 1921 г. по 1976 г., в которой упомянули имена всех братьев, сестер, иереев, в том числе и тайно посвященных, важнейшие события, происходившие в описываемый период, даты смерти, приход к о. Арсению новых духовных детей, лагерников и других. По крупицам путем расспросов, как могли, собрали биографии многих духовных детей, ныне живущих или уже давно умерших. Биографии крайне кратки, но получилось три большие тетради, и, конечно, главным в воспоминаниях является наш батюшка старец о. Арсений.

Отец Арсений был доброжелателен, мягок и ровен по отношению ко всем людям, он любил их, но мне пришлось быть свидетельницей его непримиримости и твердости, когда это касалось исправления допущенных его духовными детьми ошибок, несправедливостей, грехов. В двадцатые годы Аня К. была деятельным участником общины, помогала многим, и батюшка даже отмечал ее. Кончалась литургия, о. Арсений вышел с крестом, и молящиеся подходили и прикладывались, некоторых он благословлял. Подошла Аня, но он давал окружающим прикладываться к кресту, а ее словно не замечал. “Батюшка! – послышался голос Ани, – Благословите меня!” – и о. Арсений громко сказал: “Я удивлен, как Вы могли появиться в храме после совершенного, не приходите, пока не исправите содеянного”. Вся в слезах ушла Аня, но в следующее воскресенье была в храме, исповедовалась и причащалась. Все встало на свои места. Впоследствии Аня рассказывала, что дома оскорбила мать и отца в такой сильной степени, что маму положили в больницу. Сразу после ухода из церкви она поехала и испросила прощения, и то, что батюшка так поступил, на всю жизнь стало ей уроком.

В 1965 г. мы сняли летом комнату и жили в Ростове. Помню, приехавшие собрались за столом к обеду, в комнату вошел батюшка, прочел молитвы, и мы стали подходить под благословение. Подошла Любовь Ивановна, пришедшая к батюшке в 1961 г., человек очень приятный, добрый и любимый нами. Подошла Любовь Ивановна, а о. Арсений сказал: “Благословлять не буду, немедленно уезжайте, исправьте сделанное и только тогда приезжайте”. Любовь Ивановна заплакала, батюшка ушел в свою комнату и вышел, когда она ушла из дома. Через неделю Любовь Ивановна

приехала, долго исповедовалась и потом приезжала постоянно. Причину, побудившую о. Арсения не благословлять ее, не знаю.

В тех случаях, когда возникала необходимость исправить недостатки человека, помочь ему преодолеть греховность, укрепить в нем веру в Бога, научить любить ближних своих, батюшка был непоколебим, но всегда как бы оценивал внутренний мир человека, глубину его веры и характера, чтобы словами строгости, необходимым вразумлением не оттолкнуть, не обидеть человека, а помочь понять то плохое, что необходимо исправить в самом себе.

Кончая свои записки, вспоминаю сказанные о. Арсением слова: “Вера в Господа Бога и любовь к людям тогда живут в каждом из нас, когда мы искренне и постоянно возносим молитвы к Творцу, Божией Матери и святым, живем в Церкви, совершаем добрые дела и любим ближних своих”.

В воспоминаниях, написанных духовными детьми о. Арсения, иногда встречаются разночтения, неточности в датах, одни и те же события освещаются по-разному. Думаю, что это результат того, что каждый писал в меру своего восприятия и памяти, тем более что многое писалось спустя годы, но главное – о. Арсений остается и сегодня нашим наставником, и все написанное о нем равно дорого.

Написано Киной Бахмат.

Из архива В. В. Быкова (получено в 1999 г.).

АРХИЕПИСКОП

4 августа 1970 г.

Я приехала к о. Арсению с целым рядом вопросов и сомнений, возникших в связи с семейными обстоятельствами, племянником, моим братом, его семьей. Приехала рано и уже в шесть утра звонила в дверь дома Надежды Петровны, предполагая уехать с поездом в 22 часа. Днем переговорила и, получив наставления о. Арсения, сказала, что уезжаю вечером. К моему удивлению, батюшка попросил меня не уезжать и остаться до двухчасового поезда – я, конечно, с радостью согласилась.

Вечером, это было 4 августа 1970 г., в день святой мироносицы равноапостольной Марии Магдалины, как было принято, после вечернего чая собрались в столовой, было нас семь человек. Когда разговоры закончились и стало тихо, о. Арсений сказал нам, что расскажет о событии, происшедшем с ним в лагере особо строгого режима в 1942 г.

“Неизвестно, почему (хотя в лагере для заключенных все неизвестно) привели в барак человек десять–двенадцать заключенных из дальних лагерных пунктов; все они были “доходяги”, то есть не пригодны к работе. Мое внимание привлек древний старик, с трудом дошедший до нижних нар. Старик выглядел уставшим и больным, но утром свободно ходил по бараку по нужде и даже на поверки.

Я знал, что в бараке находились два священника, одного звали о. Архип, другого – о. Пантелеимон, он был украинский униат. Не знаю почему, но и тот и другой тщательно избегали общения со мной. Поведение униата о. Пантелеимона было понятно, да я и сам не хотел с ним вести разговоры. Ненависть униатского духовенства к православным священникам была огромной, и любой самый безобидный разговор мгновенно превращался в поток оскорблений и поношений в адрес православия. Я давно уже заметил, что униаты неплохо дружили с баптистами и протестантами, но православные были им ненавистны. Почему избегал меня о. Архип, не знаю, но стороной мне стало известно, что когда-то он служил священником в Воронежской области. Внешне он был приятен, добр и, насколько можно быть в лагере, приветлив и общителен.

Прошло дней 15–20 с тех пор, как с этапа привели в барак группу заключенных. Вечером, вероятно часов в десять, подошел ко мне заключенный и сказал: “Слушай! У нас старый поп помирает, еще говорит, просит тебя придти; давай быстренько, а то издохнет” (уголовники не говорили “человек умер”, говорили – “подох”). Я пошел. На нижних нарах лежал древний старик. Утром его разбил парад, двигаться уже не мог, но почему-то еще говорил; речь его была мятой, нечеткой, но я понимал его. Сел на его нары. Медленно выдавливая слова, начал исповедь, назвал свое имя и сказал: “Я – архиепископ”. В одно мгновение я вспомнил все, что знал об этом умирающем человеке. Он был епископом синодального посвящения (до 1917 г.), считался верным сыном Церкви, принимал участие в Поместном Соборе 1917–1918 гг. и в избрании Патриарха Тихона – и вдруг внезапно примкнул к обновленцам, вел ожесточенную борьбу за смещение Патриарха Тихона и многих архиереев. Потом был арестован, сидел в лагерях, вышел, принес покаяние митрополиту Сергию [6], был принят в общение с оставлением в сане епископа, вновь несколько раз арестовывался, заключался в лагерь. Личных встреч у меня с ним не было.

Почему этот изможденный старик находился в лагере? В лагере особо строгого режима больных не “активировали”, в инвалидные лагеря не отправляли, а при очередной “чистке” лагеря всех безнадежных больных обычно расстреливали. Этот человек, абсолютно нетрудоспособный, находился в общем бараке, на работы не выводился, старшой по бараку был об этом предупрежден. Я вспомнил, что в 1939 г. этот епископ внезапно куда-то исчез. Об аресте его не говорили, и имя в церковных кругах не упоминалось.

Был уже поздний вечер, соседи умирающего могли высказать недовольство, что разговором мы им мешаем, но все же в лагерях к смерти относились “уважительно”. Если заключенный священник в нашем лагере исповедовал умирающего, наказывали большим сроком сидения в карцере или увеличивали срок заключения на один год. Однако в лагере особого режима любое увеличение срока заключения являлось абсурдным: заключенный рано или поздно должен был обязательно в нем умереть, ибо весь режим жизни, питания и работы был направлен на это. На свободу из нашего лагеря в основном выходили бывшие члены партии и только по решению “вождя” или ходатайству его ближайших соратников. За семнадцать лет моего заключения таких освобождений было не более двенадцати–пятнадцати, в то время как в лагерях общего режима, где я пробыл один год, досрочные освобождения были обычным явлением.

“Почему он назвал себя архиепископом, а не епископом?” – подумал я, и, словно прочтя мою мысль, он сказал: “Сан архиепископа я получил от “тихоновцев”, почти перед самым арестом”, – и, медленно произнося слова, начал исповедоваться. Почему “тихоновцы”? Эти слова насторожили меня.

“Еще до Октябрьской революции 1917 г. я понял: в Церкви необходимо провести изменения в управлении, канонах, церковной службе и даже частично в таинствах, требуется введение нового календаря, перевод богослужебных книг на русский язык и многое другое. Я был за избрание митрополита Тихона (Белавина) Патриархом, знал и по-своему любил его, но когда возникло обновленческое движение и большинство епископата поддержало его, я обрадовался, видел в этом спасение Церкви, ее обновление, и активно поддержал его, вошел в это движение, тем более что государство поддерживало обновленчество; я считал, что для новой церкви складывается благоприятная обстановка. Считал и считаю, что православие должно подвергнуться в ближайшие годы значительным изменениям, и об этом много раз высказывался.

Представитель ОГПУ Тучков Евгений Александрович [7] пригласил меня к себе. Состоялся долгий разговор, встречались несколько раз, потом были встречи с Карповым и другими. Не думайте, я не был наивным, но считал, что все средства хороши для борьбы с застоём, – и начал работать против Патриарха Тихона, митрополита Петра (Полянского), митрополита Агафангела (Преображенского), архиепископа Илариона (Троицкого) и многих других митрополитов, архиепископов, епископов и реакционного духовенства, активных верующих мирян, выступавших против поминовения властей, что только сеяло рознь. “Тихоновцы” не могли понять, что значит: “всякая власть от Бога” [8]. Я понимал, что самозванный “митрополит” Александр Введенский, протоиерей Владимир Красницкий были проходимцами, рвущимися к церковной власти, не думающими об обновлении православия, но они были активны в борьбе и поэтому полезны обновленческому движению.

Внезапно меня арестовали. Одиночные камеры Лубянки, допросы с пристрастием и встреча с Тучковым – не с тем доброжелательным собеседником, с которым я встречался раньше, а жестким властным человеком, сказавшим мне с насмешкой: “Ты, Ваше Преосвященство, нам нужен в новом качестве, работать на нас будешь.

Пошлю тебя в лагерь, выпущу через год-полтора, выйдешь мучеником, переметнешься к “тихоновцам поминающим”, принесешь покаяние, любят они кающихся, примут в общение, простят, сан вернут, обновленцев ругать начнешь, а там – снова в лагерь, и так несколько раз: лагерь – свобода. И где бы ни был, все до последнего слова сообщать будешь. Ты уже давно на нас работаешь, сам этого не осознавая. Запомни, советской власти что тихоновская, что обновленческая церкви – вредны, и ОГПУ их уничтожит. Перед отправкой в лагерь в Бутырках “отдохнешь” месяца два, а наши за это время с тобой “поработают”, чтобы знал: с нашей конторой двойную игру не ведут”.

Били меня несколько раз следователи для вразумления, направили в лагерь, где в основном держали священнослужителей, в то время такие небольшие лагеря были, отсидел отмеренный срок. Вышел, отрекся от обновленчества, покаялся, оставили в сане епископа, вошел в доверие и писал, что требовалось следователю. Страдал ужасно, Господа молил, Пресвятую Богородицу спасти, помочь и понимал, что по своей слабости попал в ловушку. Перед каждым заключением в лагерь били, дабы не забывал, что необходимо работать на ОГПУ”.

После этих слов я встал и сказал: “Исповедовать Вас не буду, я – простой иеромонах и не могу принять Вашу исповедь, это – грех против Церкви, ее устоев, канонов и жизни тысяч погубленных людей”. Повернулся и ушел.

Прошло, возможно, минут двадцать, вторично пришел заключенный и сказал: “Поп-то, мулла, умирает, зовет тебя, зачем ушел? Вот-вот подохнет, спать не дает. Иди, еще сказать хочет”. Заключенный был по национальности татарин и говорил по-русски, коверкая слова и фразы. Я не пошел. Татарин пришел в третий раз, длинно выругался и сказал: “Ты – мулла, он – мулла, поп, зачем не идешь, совсемдохнет, иди”.

Пошел, сел на нары рядом с умирающим, сказав, что исповедовать не могу и не буду. “Что хотите мне сказать?” Кругом слышалась приглушенная ругань, сдавленный смех, разговоры, барак еще не спал. К моему удивлению, голос архиепископа стал четким, но в глазах почти не было жизни.

“Я понял, Вы исповедовать меня не будете, в Вашем представлении я – великий грешник”. – “Да, не буду” – ответил я. – “Тогда окажите милость, выслушайте меня. В Русской Церкви существовал обычай: если умирал человек и рядом не оказывалось священника, то умирающий мог поведать свои грехи товарищу, а тот рассказывал иерею, и иерей решал, принять или не принять исповедь умершего. Особенно часто происходили такие рассказы-исповеди во время войны на полях сражений, и у меня сейчас наступил мой последний час жизни. Именем Господа прошу выслушать меня, а по выходе из лагеря перескажите мою исповедь любому архиерею, и он, посоветовавшись с другими владыками, решит, принять мою исповедь или нет. Полагаюсь на милость и волю Господа”. Я ответил, что выслушаю исповедь, но выйду ли из лагеря, не знаю. Архиепископ четко сказал: “Господь освободит Вас, обязательно освободит”. Медленно, временами задыхаясь, начал он исповедный рассказ, и, к моему удивлению, я осознал, что он искренне верил в Бога, любил Его и многое из того, что он совершал, по его разумению, делал для Господа, Церкви. Как же велики были его заблуждения!

Началось бесконечное перечисление имен выданных, преданных, завербованных, и вся мерзость предательства, доносительства, причем взаимного, предстала передо мной. Если бы архиепископ не умирал, то многому бы я не поверил. В рассказе архиепископа не чувствовалось духовного раскаяния, это была повесть о содеянном и сожаление, что Церковь не приняла обновленчества. Четко вырисовывалась умно проводимая ОГПУ работа по подрыву Русской Православной Церкви, по вербовке агентов с использованием честолюбивых замыслов людей, рвущихся к власти, и одновременно с этим ясно выделялись митрополиты, епископы, священники, предпочитавшие принять истязания, пытки, поношение и смерть, но не отступить, защитить Церковь, веру, Господа, каноны, таинства, и таких людей были многие тысячи. Перенеся все мучения, пролив свою кровь, отдав жизнь, они спасли Церковь, и не только спасли ее, а вдохнули в нее новые силы.

Архиепископ временами замолкал, видимо уставал, а у меня возникали мысли: “Никакой уголовник не совершил столько предательств, убийств, сколько совершил называющий себя верующим обновленческий епископ, совместно с ОГПУ и НКВД разрушая веру, растлеывая духовное сознание народа”. Он работал в тесном контакте с ОГПУ, был не только секретным сотрудником, но и консультантом по церковным вопросам, об этом он также упомянул. Я все время сидел молча и слушал, но не выдержал и спросил: “Скажите, Вы до 1917 г. были викарным епископом. Если бы в то время к Вам пришел человек и покаялся в том, что совершил предательство, доносы и погубил тысячи людей, посланных на каторгу и в тюрьмы в результате совместной работы с полицией и царской жандармерией, Вы отпустили бы ему эти согрешения?”

“Да! Да! Вы правы, но я отрекаюсь от прошлого, прошу прощения. Господь долготерпелив и многомилостив, и я раскаиваюсь в содеянном и надеюсь на спасение”, – и вдруг горько заплакал.

Я встал и сказал, что скоро приду. Пошел, разыскал нары о. Архипа, разбудил его и попросил вместе со мной подойти к умирающему. Отец Архип довольно грубо сказал: “Ко мне после проверки приходил татарин, звал к умирающему. Пошел, узнал, что архиепископ был обновленцем, рассказывать он начал, я повернулся и ушел. Значит, теперь за Вами послал. Я так думаю: “Нашкодила кошка, ей и ответ давать”. Обновленцев не переносу, из-за них двенадцать лет по лагерям мотаюсь, а теперь даже в “смертный” попал без надежды на выход. Не пойду”.

Я пошел к умирающему. Он лежал без движения, слезы текли по лицу. Трижды перекрестил его и сказал, что не мне, простому иеромонаху, отпускать такие прегрешения. “Вашу исповедь, если Господь сподобит выйти живым из этого лагеря, обещаю полностью передать епископу, а он уже с другими иерархами решит все. Думаю, что если бы ересиарх Арий обратился к иерею с просьбой отпустить ему грехи, то тот не имел бы на это канонического права, так же думаю я о себе”:

Низко поклонившись, ушел и всю ночь молился об архиепископе, обращаясь к Господу Иисусу Христу и Пресвятой Богородице о вразумлении меня, грешного. Утром пришел татарин и сказал:

“Бачка! Твой – того, уже холодный, пойду старшому скажу”. На меня никто не донес, что половину ночи просидел на нарах рядом с архиепископом, все прошло благополучно.

Встреча с архиепископом оставила в моей душе тяжелое впечатление. В этом странном человеке жила, казалось, искренняя вера в Бога, в этом я убедился, слушая его исповедь-признание, и одновременно – неизмеримая подлость совершаемых предательств, ослепленность и сатанинская идея сломать Русскую Православную Церковь во что бы то ни стало, любыми методами, несмотря ни на что – сделать обновленческой. И вербовка его в агенты и консультанты ОГПУ, а потом НКВД, являлась не только слабостью характера и воли, но одним из путей к осуществлению его греховного замысла.

Думаю, что силы зла давно овладели душой архиепископа, в своем обольщении он искренно думал, что верит в Бога, но охватившее его зло подавляло веру, и он стал игрушкой в руках темных сил.

В первую свою встречу с владыкой Афанасием я полностью передал ему рассказ-исповедь архиепископа и его просьбу рассмотреть ее с несколькими владыками.

Во время моего рассказа владыка Афанасий ни разу не перебил меня, не задал ни одного вопроса. Мне он сказал: “Я знал этого архиепископа, он производил на меня двойное впечатление. Говорить об этих впечатлениях не буду, думалось, что он – хороший человек, но исповедь показала другое. Вам, иеромонаху, отпускать сказанное архиепископом было нельзя, хотя многим это может показаться жестоким и не христианским поступком. Когда меня примет Патриарх Алексий, сообщу ему об этом. Вы, иеромонах, поступили правильно”.

Один из присутствовавших спросил: “Отец Арсений, Вы не назвали имени архиепископа”. – “Имя архиепископа я сказал только владыке Афанасию”.

Записала Т. Н. Каменева.

Из архива Т. Н. Каменевой.

ОДИНОЧЕСТВО

1971 г.

Прежде чем начать воспоминания об о. Арсении, о том, как я впервые встретила с ним в 1971 г., потом начала приезжать к нему и стала духовной дочерью, необходимо рассказать о моей предшествующей жизни.

Мне было сорок восемь лет, когда после недолгой, но тяжелой болезни в возрасте пятидесяти лет умер мой муж Михаил. Дочь Марина уже была к этому времени замужем и жила у мужа. Мать мужа – Екатерина Федоровна, человек удивительного характера и веры, всегда жила с нами, занимаясь воспитанием внучки Марины. К Екатерине Федоровне, ее влиянию на меня и значению в нашей семье еще вернусь, умерла она за два года до смерти Михаила в возрасте семидесяти восьми лет.

Я осталась в квартире одна. До этого жили дружно, любили друг друга, а теперь каждая вещь напоминала о прошлом: диван, кресло, любимая чашка мужа, платье Екатерины Федоровны, вещи, оставленные Мариной, которая сейчас нечасто приходила ко мне. В ее новой семье была своя бабушка, взявшая на себя попечение о двухлетнем внуке Вите. Редко, когда кто-то заболел в семье дочери, внука привозили мне “на сохранение”, и это была большая радость. Так сложилась жизнь.

Первые месяцы после смерти мужа я была в постоянных хлопотах: надо было поставить два памятника, оформить массу документов, продать дачу, которая теперь была не нужна, и многое другое, кроме того, была работа. Вся наша семья была верующей, сына Михаила Екатерина Федоровна воспитала в вере. Я вышла замуж за него совершенно не религиозной, в школе и в институте, где училась, была активной комсомолкой. И только в семье мужа пришла к Богу под влиянием мужа и Екатерины Федоровны, которая была совершенно необычным человеком, весь духовный строй семьи держался на ней. Трудно поверить, за двадцать четыре года совместной жизни у нас не произошло ни одной ссоры, хотя характер у меня был взрывной. Бывало, иду с работы раздраженная, усталая, окружающее давит, вот-вот взорвусь, даже боюсь появляться дома, понимаю, что в таком состоянии могу совершить много глупостей. Открою дверь, разденусь, войду в кухню, Екатерина Федоровна взглянет на меня и мгновенно почувствует мое состояние, подойдет, обнимет и скажет, по-особому ласково: “Устала, Настенька”. Я хочу вырваться, а она прижмет к себе, поцелует в щеку, перекрестит трижды, и весь мой взрывной заряд исчезнет. Так она вела себя и с внучкой Мариной, лаской, добрым словом умела заставить слушаться, и невольно у ребенка сложилась не только любовь, но и уважение и понимание внутреннего превосходства бабушки, которое также возникло и у меня. В поведении Екатерины Федоровны не было ничего наигранного, придуманного,

просто она была такой. Человек большой веры, она довольно часто бывала в церкви, в основном – в воскресные дни. Каждый вечер перед сном, несмотря на усталость, молилась не меньше часа, читая установленное правило, а в дни чудотворных икон Божией Матери или великих святых добавляла еще акафист.

Муж Михаил ходил вместе со мной в церковь по большим праздникам, исповедовались мы только на Страстной неделе один раз в год. Муж работал научным сотрудником в институте, я окончила химический факультет педагогического института и работала химиком на заводе.

Состояние покинутости, полного одиночества, квартира, не наполненная жизнью, почти сломили меня. На работе, и то не всегда, оживала, но домой шла угнетенной, подавленной. Пытаясь снять свое состояние, стала чаще ходить в гости, звать к себе, смотреть телевизор, читать и посещать церковь вечером в субботу и утром в воскресенье. Начала дома вечерами молиться, но чувство подавленности и одиночества не уходило.

Однажды вспомнила, что у Екатерины Федоровны была знакомая Варвара Семеновна, с которой они ездили далеко за Москву в Ростов к священнику о. Арсению, возвратившемуся в 1958 г. из лагеря, и даже несколько раз там ночевали. Разыскала старую записную книжку Екатерины Федоровны, нашла телефон и позвонила. Рассказала Варваре Семеновне о своем состоянии и попросила помочь встретиться с этим священником (о смерти Екатерины Федоровны и моего мужа та знала, так как была на похоронах). Она, выслушав, сказала, что перезвонит через неделю. Через неделю раздался звонок, и Варвара Семеновна сообщила, что в ближайшее воскресенье я могу поехать с ней.

Утренним поездом выехали из Москвы и около двух часов дня приехали в Ростов. Город был старинный, но запущенный, виднелось множество куполов, вероятно закрытых церковью. Пришли, встретили нас приветливо и сразу усадили обедать. У меня создалось впечатление, что я и раньше бывала в этом доме и встречалась с сидевшими за столом людьми. Когда мы уселись, а приехавших было девять человек, вышел из своей комнаты о. Арсений, прочел молитвы и всех благословил.

Шел сентябрь, было 20 число, на следующий день – праздник Рождества Богородицы. За столом после обеда о. Арсений подробно рассказывал о детстве Божией Матери, упомянув, что все повествование основано главным образом на древних преданиях и апокрифах, прочтенных им когда-то на греческом языке. День для сентября был теплый. Отец Арсений прошел в сад, минут через двадцать меня позвали к нему. Благословив, он показал рукой на стоявший рядом с креслом стул. Я села, и он мягко сказал: “Расскажите о себе”. Начала рассказывать, вначале сбивчиво, но потом собралась и поведала все, что могла вспомнить о своей жизни до замужества, о жизни с мужем, о наших взаимоотношениях, о вере Михаила и моей и, конечно, о Екатерине Федоровне – самом близком мне когда-то человеке и лучшем из всех, кого я знала, и упомянула, что она приезжала к нему вместе с Варварой Семеновной, с которой я сегодня приехала. Говорила довольно долго, батюшка не перебивал, не задавал вопросов. Кончила и замолчала. Молчал и о. Арсений. Мы сидели под большой липой, еле слышно ветер шевелил листья, светлые пятна солнечных лучей от этого перебегали по траве, было тепло не по-сентябрьски. Опершись руками на подлокотники кресла, батюшка был сосредоточен, взгляд его был устремлен вверх моей головы, куда-то в неизвестную мне даль. Молчание затягивалось, и странное волнение стало охватывать меня.

“Анастасия Владимировна, – сказал о. Арсений, – я внимательно слушал вас. Вы чувствуете себя одинокой, постоянно в тоске, но напрасно. Это надуманное обостренное состояние – не результат одиночества, а действие бездуховного образа жизни. Вы жили с мужем Михаилом, опирались на него, рядом была дочь, требовавшая забот и внимания, и удивительно христианский по душе человек – мать мужа Екатерина Федоровна, которая своей любовью, молитвой к Богу и добротой объединяла всех воедино. Это сейчас ушло от Вас, Вы не можете найти место в жизни. Вы сами уходите в состояние тоски и одиночества и приехали ко мне, священнику, с уверенностью, что поговорив с Вами, я одним словом и молитвой сразу помогу Вам. Да, иногда так бывает, по великой милости Господа, но мы должны вместе работать над выходом из вашего угнетенного состояния и будем добиваться этого с помощью Божией, Пресвятой Богородицы и вашей святой Анастасии Узорешительницы, вознося наши молитвы ко Господу Иисусу Христу. Знаю, что Вы любили Екатерину Федоровну, поражались ее долготерпению, вере в Бога, постоянной помощи окружающим, удивляясь, как она все это выносит и где находит силы. Отвечу за нее: Господь давал силы на все за великую любовь к людям и твердую и постоянную молитву к Вседержителю. Повторите ее путь, и отойдут тогда все душевные невзгоды.

Я слушал Вас, но то, что Вы говорили, было лишь поверхностью прожитой жизни, поступков, грехов. Главное – то, что болезненно, противно и не хочется помнить, Вы не сказали, оно осталось в тайных кладовых совести, возможно – из-за ложной стыдливости”.

Отец Арсений некоторое время молчал, потом, перекрестившись и смотря на меня, сжато и кратко повторил мой рассказ, но все, сказанное сейчас им, было извлечено из сокровенных тайников моей души, вся-вся моя жизнь предстала в отвратительных поступках, грехах, действиях. С замиранием сердца я видела себя в словах, сказанных о. Арсением. Волна стыда и отвращения к самой себе охватили меня, захотелось встать и бежать из дома, из города – такой грешной даже священник не должен знать меня. Он понял и повелительным движением руки показал на стул, с которого я вскочила. Ни мужу, никому, никому я никогда не рассказывала то, что сейчас слышала о себе, меня охватил страх.

Я вскочила, упала перед ним на колени со словами: “Отец Арсений, мне стыдно, простите”, – и все, что было на моей совести сокрыто, начала снова рассказывать, хотя все уже было им сказано. Отец Арсений, положив руку на мою голову, сказал: “Анастасия Владимировна! Я не осуждаю. Мне Господь дал пройти пять ступеней духовного постижения жизненного пути. Первая ступень была постижением веры, дали мне это моя мать Мария Александровна и великие Оптинские старцы о. Нектарий и о. Анатолий, у них я научился молиться, любить людей. На вторую ступень дали мне подняться Патриарх Московский и всея России Тихон в краткой беседе и архиепископ Иларион (Троицкий). Третью ступень показал простой сельский священник о. Иларион – тезка архиепископа Илариона. Четвертой был лагерь особо строгого режима (мы называли его “смертным”), где общение с самыми разными лагерниками открывало и духовно прекрасные души людей, и самые страшные души, охваченные неизмеримой злобой, соединенные с темными силами. И пятая ступень – мое пастырское служение и общение с вами, моими духовными детьми. Это научило меня никогда не осуждать никого, ибо сказано в одной из молитв: “Несть человек, иже жив будет, и не согрешит”.

Помните, вся наша вера утверждается на любви к Богу, ко Пресвятой Богородице, на почитании святых, и это мы выражаем в постоянных молитвах, а также в безотказной любви к людям, в помощи им. Всеми всегда говорю евангельскими словами: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим и ближнего своего, как самого себя.

Разве Вы одиноки? В Вашей квартире находятся иконы: Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, Вашей святой Анастасии Узорешительницы, Ангела Хранителя, Архангела Михаила, вероятно есть и другие. Если чувство тоски и одиночества охватит душу, подойдите и помолитесь, тогда темные силы исчезнут.

Каждый день читайте одну главу Евангелия. В четырех Евангелиях 89 глав, за год прочтете весь круг четыре раза. С малых лет я читаю Евангелие по одной главе в день, пятьдесят лет – иеромонах и почти ежедневно совершаю служение, и каждый раз нахожу в читаемой главе новое и богодухновенное.

Будьте с людьми, помогайте им, кем бы они ни были – сослуживцы, знакомые, родные, – всем помогайте, и окружающие поймут, что такое христианин и придут к Церкви, к Богу”.

Повторю старую и много раз кем-то сказанную фразу: душа моя “навсегда легла в ладони” старца о. Арсения. Утром я исповедовалась и уезжала со спокойной душой. Перед отъездом батюшка сказал мне при всех присутствующих: “Приезжайте чаще ко мне без предупреждения. Когда меня будут привозить в Москву, приходите, Вам сообщат”.

По приезду в Москву поступила во всем по совету о. Арсения. В Москве на квартирах его духовных детей встречалась с ним шесть раз, в Ростов ездила, но не более одного раза в два-три месяца.

Отец Арсений для людей был источником, из которого любовь изливалась неисчерпаемым потоком, и жаждущий мог подойти, зачерпнуть эту любовь горстью руки, выпить и передохнуть от жизненных тягот и грехов или, наполнив до краев взятый сосуд, унести его и пить дома, постепенно расходуя полученное.

Встречаясь с ним, всегда уходила от него напитанная любовью, с наставлениями, советами и помощью, но первая встреча с ним в 1971 г. послужила основой моего духовного перерождения.

Анастасия Владимировна Корсакова.

Из архива В. В. Быкова (получено в 1999 г.).

РАЗВЕДЧИК

10 декабря 1972 г.

В 1972 г. 10 декабря, в день иконы Божией Матери, именуемой “Знамение”, я приехал к о. Арсению и увидел солагерника Иннокентия Владимировича, с которым не встречался более пяти лет, оба обрадовались; потом приехал Константин Прозоров. Все мы по воле Божией были в прошлом в одном лагунке и даже бараке – четверо: о. Арсений, Константин, о. Иннокентий и я, Серафим

Сазиков. Годы наложили свой отпечаток на каждого из нас. Меньше коснулись о. Арсения, но все чаще и чаще он целыми днями лежал на диване, непрерывно молясь или беседуя с приехавшими; временами его увозили в Москву и помещали в клиники.

В этот приезд батюшка чувствовал себя хорошо, и каждый из нас с ним говорил и советовался, на следующий день должны были причащаться. Вечером в столовой собрались одиннадцать человек, было тесновато, но уютно и доброжелательно. Отец Арсений обратился к о. Иннокентию с просьбой рассказать о его приходе к Богу.

В последние годы с такими просьбами он обращался ко многим, считая это необходимым и полезным для слушающих. Единственным, кто не рассказывал о своей жизни, был я, бывший уголовник, “вор в законе”, порвавший с прошлым, пришедший к Богу и Церкви еще в лагере под духовным влиянием о. Арсения.

Отец Иннокентий начал рассказывать:

“Был в армии начальником группы разведки, забрасывали в глубокий тыл к немцам, собирали по крупицам сведения, необходимые командованию, и передавали по рации. Иногда, если складывалась благоприятная обстановка, немцы не обнаруживали нас, тогда задерживались на два-три месяца, а то и больше, живя в лесу в землянках, разрушенных деревнях; расходились по местности, расспрашивали жителей, сутками лежали в кустах у дорог, железнодорожных станций, аэродромов, складов, наблюдая и наблюдая. Работа смертельно опасная, гибли отдельные бойцы, погибали группы сразу при десантировании на вражеской территории. У немцев существовали специальные подразделения для борьбы с нашими разведгруппами. Как правило, большинство выброшенных разведгрупп погибало.

Это вступление, для ознакомления с работой в тылу противника. В группы входили не просто солдаты, а специальный контингент обученных людей, часть которых должна была в совершенстве знать немецкий язык. Эти люди оканчивали специальные курсы, институты иностранных языков или просто хорошо знали язык. В состав группы обязательно входили женщины, им было проще вести разведку среди гражданского населения. Все участники вооружались первоклассным огнестрельным и холодным оружием, гражданской одеждой и безупречными документами.

Забросили нас далеко от Москвы, за Минск, под город Лида. Нашли опустевшую сожженную деревню и в каменном подвале сожженного деревянного дома, стоявшего на окраине, расположились. Сбросили группу из восьми человек на лес, из них три женщины; выбрались с трудом, собрали контейнеры с грузом и приступили к работе.

В задачу группы входила разведка, в исключительных случаях, если попадался важный объект, разрешалась диверсия, но это обнаруживало нас. Для того чтобы вы могли понять дальнейшие особенности нашей работы, должен сказать, что приходилось обязательно захватывать отдельных немецких военнослужащих, допрашивать, узнавать у них расположение штабов, воинских частей, складов, движение поездов, а потом расстреливать.

Расстрел был обязателен и для всех членов группы всегда был тяжелым делом: убивали не в бою, а беззащитного человека, хотя и врага. Жалели, но друг другу говорить об этом не могли, боялись. Расстрел был необходим, жесток, но взятого в плен солдата или офицера отпустить не допускалось – он немедленно сообщит о нахождении группы, и она будет уничтожена; то же приходилось делать с местными жителями, если они догадывались, кто мы, о полициях и старостах говорить не приходится, все понятно.

Был октябрь, непролазная грязь, дождь со снегом, пронизывающий до костей ветер. Работали без потерь, захватили поодиночке одиннадцать немецких военнослужащих, получили разведанные, сообщили в центр. Сожженную деревню с теплым подвалом пришлось покинуть, неподалеку расположилась немецкая танковая часть. Ушли в лес, трудно стало с питанием, немецкие документы, взятые нами при заброске, устарели, что усложнило передвижение по территории врага, кончались продукты и садились электробатареи для рации. Сообщили в центр. Нам сбросили ночью с У-2 контейнеры, но неудачно, произошел большой разброс. Два дня обшаривали лес, многое нашли, основное – батарейки – не разбились.

Перехожу к главному. Жили в землянках в лесу, расходились, одетые в гражданскую одежду, но вооруженные, отсутствовали иногда по два-три дня. В землянке всегда дежурила сменная радистка и боец охраны. В один поход пошли четвером: лейтенант, младший лейтенант, вторая радистка Ира и я. Зашли далеко, километров за тридцать, и увидели небольшую церковь и рядом дом. Шел проливной дождь, ледящий, с мелкой снежной крупой, одежда промокла насквозь, мы замерзли. Вернуться на базу не могли, слишком далеко отошли, и решили под видом партизан зайти в дом; шаг был рискованный, но другого выхода не было. Постучали, вошли, впустили безропотно, да и как не впустить, оружием обвешаны. В доме находились: мужчина средних лет, молодая

женщина, девочка лет десяти и мальчик пяти-шести лет. Разделись, одежду положили сушить на печку, оружие при себе, младшего лейтенанта на охрану у двери поставили, окна занавешены. Хозяйка, красивая приветливая женщина, молча, не спрашивая, достала большую кастрюлю горячей картошки, хлеб и миску с творогом, сказав: “Кушайте на здоровье”. Наелись до отвала, своих консервов добавили; сменили младшего лейтенанта и посадили есть.

Начали расспрашивать мужчину: что? где? кто? Отвечает спокойно и, кажется, правдиво. Допрашивали часа два, не только его, но и женщину. Мужчина оказался священником, звали Петром, жену – Ольгой. Закончили разговор, и о. Петр сказал: “Местных партизан всех знаю, ко мне часто заходят то за одним, то за другим, не откажешь. Партизаны и прихожане говорили, советская армия забросила в наш район диверсионную группу. Вы не из нее будете? Немцы всю местность прочесывают, вас ищут”. Этим вопросом о. Петр подписал смертный приговор всей семье, он понял: мы – не партизаны.

Прожили два дня, отогрелись, отъелись. В дом Ольга никого не впускала, говоря, что о. Петра нет дома, корову доила, за живностью ухаживала, за ней кто-нибудь из нас с автоматом ходил. Надо было уходить, а перед этим увести семью в лес и расстрелять. Мальчик Сережа привязался ко мне, девочка Женя возилась с радисткой Ирой, которая и сама была почти девочка-подросток. Отец Петр, матушка Ольга и дети часто молились вслух, а о. Петр почти все время молился перед иконами.

Вечером мы уходили; приказали одеться всей семье и сказали – пойдём в лес. Отец Петр и Ольга все поняли, побледнели, о. Петр попросил разрешения причастить семью запасными Дарами. Мы не знали, что такое причастие и Святые Дары, но я разрешил. Подойдя к иконам, все долго молились, потом о. Петр причастил Ольгу, Евгению, Сергея и причастился сам, благословил каждого, в том числе и нас; подойдя к шкафу, достал воду, окропил дом и каждого из нас, обнял своих домочадцев и изменившимся голосом сказал: “Мы готовы к смерти”. Он понимал – ни просьбы, ни унижения ничего не изменят. Я посмотрел на своих и увидел: каждый был против расстрела.

Ира тихо сказала: “Командир, может, не надо?” Я промолчал. Лейтенант и младший лейтенант были растеряны, мрачны, никто из них не знал, кому я поручу расстрел. Детей расстреливать до тех пор не приходилось, да и о. Петр и Ольга ни в чем не были виноваты. Все участники нашей группы были неплохие люди; взяты в армию потому, что знали немецкий язык, направлены в дальнюю разведку, никакого отношения к следователям-садистам из НКВД не имели.

Вышли, пошли лесом, прошли километра два до какого-то оврага, приказал остановиться. Расстрел о. Петра, Ольги, детей был не военной акцией, вызванной необходимостью, а самым настоящим убийством ни в чем не повинных людей. И в то же время отпустить их я не мог, потому что любой член нашей группы, согласно приказу, был тогда обязан застрелить меня, а потом семью о. Петра. Видел, что лейтенанты и радистка были против расстрела, возможно, сейчас мы бы договорились, но я не знал, кто из них работал агентом СМЕРШа (расшифровывалось “смерть шпионам”, иногда расшифровывали по-другому) и потом донес бы на всех, мы боялись друг друга. Я принял решение: приказал лейтенантам и радистке идти к старым окопам – месту встречи – и ждать меня. Увидел неподдельную радость на их лицах, что не им придется расстреливать, мгновенно повернулись и быстро пошли, боясь, не передумаю ли я. Прижавшись друг к другу, стояли о. Петр, Ольга и дети, громко и отчетливо читая молитвы. Руки Ольги охватили детей, не защищая, а соединяя воедино. Отец Петр медленно поднимал руку, благословляя семью и даже меня. Смотрел я на них, и меня била нервная дрожь. Вера в Бога в этих стоявших передо мной людях превосходила страх смерти; ожидая ее, никто не плакал, не просил о пощаде меня, вершителя их судьбы, – они молились, предав свою жизнь Господу, Его воле.

Я подошел к о. Петру; не замечая меня, он продолжал молиться. Только на лице Ольги промелькнули испуг и мольба. “Отец Петр! По жестоким законам войны я обязан расстрелять всю семью, но не могу, не буду, это – убийство! Идите, но поклянитесь, что не скажете о нашей группе, никто не должен знать, никто!” – “Клятву иерей давать не может, но за себя, Ольгу, Евгению, Сергея обещаю: никто не узнает о том, что вы приходили. Обещаю!” Достал наперсный крест, поцеловал его, приложил к моим губам, сказав: “Благодарю Тебя, Господи, за великую милость, явленную нам, грешным. Пресвятая Богородица, благодарю Тебя! Да святится Имя Твое!” И, обращаясь ко мне, пророчески произнес: “Вы придете к Богу, обретете веру, Церковь. Пройдете трудности, но Господь сохранит Вас”, – и поклонился мне. Подошла Ольга, перекрестила, обняла, и, упав на колени, поцеловала мне руку. Женя также поцеловала меня, Сережу я обнял. Предупредил, что дам автоматную очередь в землю, чтобы мои бойцы слышали выстрелы. Выстрелил и, не оборачиваясь, быстро пошел. За долгие годы войны у меня было впервые ощущение внутренней радости, теплоты, света.

Предваряю ваши вопросы. Кто я? Откуда? Родители? Образование? Москвич, родился в 1917 г., окончил МВТУ в 1938 г., работал на заводе конструктором. Отец и мать преподавали в этом же институте, отец – сопротивление материалов, мать – немецкий и английский языки. Мама и папа выросли до революции в семьях прогрессивных профессоров, сочувствовавших революционному движению, считавших хорошим тоном не верить в Бога и осмеивать Церковь, попов, так же воспитали и меня. Дома ради практики говорили на немецком или английском, поэтому я в совершенстве знал немецкий язык. В военкомате в моем деле было записано: “Владеет немецким и английским”, что и решило мою судьбу при взятии на военную службу. Направили в специальную разведывательную школу, а в начале 1942 г. забросили впервые за Смоленск. К началу войны мне исполнилось 24 года.

Кончилась война, я вернулся в Москву, женился на бывшей радистке Ирине. Предложили работать в разведке – отказался, вернулся на завод. Все шло хорошо, но в апреле 1952 г. меня арестовали как шпиона иностранной разведки, завербованного немцами в 1943 г. на вражеской территории.

Сидел в Бутырках, в Таганской тюрьме. Первый допрос состоялся через две недели после ареста, допрашивала миловидная приятная женщина, назвала фамилию: “следователь Воронеж”, запомнившуюся на всю жизнь. Допрашивала доброжелательно, в разговоре была мягкой. Через неделю вызвала вторично, допрашивала в Таганской тюрьме. Но сейчас Воронеж показала себя другим человеком: “Давай признавайся, подписывай, ты у меня заговоришь”. Я отказался, отвели в какой-то блок, стащили брюки, белье, бросили на цементный пол, спиной кверху, раздвинули ноги и начали бить резиновым шлангом. Боль превосходила возможность сдерживать себя. Палачей было пять человек, один сидел на моей голове, двое придавили ноги, а двое били. Следователь Воронеж присутствовала при пытках, подавая команды: “Сильнее, еще, еще, по этому бейте”. В камеру идти не мог, охрана волокла за ноги, голова билась об уступы, пороги.

Не обвиняйте меня в слабости, такие пытки человек вынести не может. На третьем допросе “признался”, что я шпион, завербованный немцами, готовил террористический акт. При всех пытках присутствовала Воронеж, давая команды избивавшим меня палачам.

В камере допросов, подписав протоколы с признанием, сказал Воронеж: “Гражданин следователь! Вы знаете, я не виноват”. – “Дурачок! Нам надо набрать участников организации, вот ты и попал. У нас не такие признаются, ты мелкая сошка, вша для численности, попал к нам – подписывай, что следователь говорит”. Внезапно лицо ее исказилось злобой, поток грязных ругательств извергнулся на меня: “Сам Лаврентий Павлович [9] следит за созданием организации, а мне с тобой возиться приходится, нервы свои портить на такое дерьмо, как ты”, – и ударила несколько раз по лицу.

Приговорили к расстрелу, но, не объявив замену расстрела лагерем, направили в лагерь особо строгого режима, что означало по законам ГУЛАГа: при “чистке” лагеря мог быть в любой день расстрелян. В 1952 г в лагере встретился с о. Арсением, стал верующим, нашел Бога, осознал греховность прожитой жизни. Возникло желание замолить прошлое, стать священником. О лагере рассказывать не буду, о них много написано. Для меня лагерь – обретение Господа через о. Арсения, и мучения, перенесенные в нем, – в малой степени искупление прежде совершенных грехов, так мне хотелось думать.

Освободили из лагеря в марте 1955 г., до всеобщей повальной реабилитации. Дали справку, вернулся в Москву. Ирину и детей не тронули, квартира сохранилась. Ирина ничего не знала обо мне, думая, что я погиб в лагерях или расстрелян, на запросы в НКВД не отвечали. Сообщить, что жив, я не мог, переписка из особых лагерей запрещалась. Господь оказал милость мне, соединив с Ириной – бывшей радисткой в группе, радостно и безоговорочно принявшей веру в Бога и ставшей бессменной помощницей во многих делах, а впоследствии и в церкви.

Вышел из лагеря почти на три года раньше о. Арсения, он дал мне адреса нескольких своих духовных детей. В декабре 1956 г. встретился с ними, сообщил, что он жив, но они уже знали, получив от него письма. Запрет на переписку был снят, и двое или трое из них даже ездили в лагерь и встречались с о. Арсением. Особое участие во мне приняли Наталия Петровна и Мария Александровна. Они помогли креститься в загородной церкви, исповедоваться и причащаться рекомендовали ходить в церковь св. Николая – Николы в Кузнецах к священнику о. Всеволоду Шпиллеру [10], с которым обо мне предварительно переговорили, кратко рассказав о моей жизни. Наталия Петровна пришла со мной в церковь, познакомила с о. Всеволодом. Он сказал: “Прежде чем буду Вас исповедовать, расскажите подробно о своей жизни, по окончании литургии побеседую с Вами. Подождите”. Церковь была полна народа, в основном женщинами. Дождался окончания литургии, но ждал еще долго, к о. Всеволоду подходили и подходили прихожане, временами он

взглядывал на меня, давая понять, что помнит обо мне. “Пойдемте”, – и мы пошли, в сводчатой комнате он усадил меня за стол, сел сам. Пожилая женщина, потом узнал – его жена, матушка, принялась кормить нас обедом. Обед окончился, говорили мы очень долго. Этот разговор был одновременно беседой и исповедью, в которой я пытался раскрыть свою душу до основания. Отец Всеволод нечасто задавал вопросы, но если задавал, то извлекал из тайников моей души самое основное, что я и сам не всегда понимал. Рассказано было все: жизнь до армии, работа в разведгруппе, подготовка к расстрелу семьи о. Петра, допросы в НКВД, лагерь и встреча с о. Арсением, благодаря которой я пришел к вере. Отец Всеволод долго и внимательно расспрашивал меня об о. Арсении: где он служил? В какой церкви? К сожалению, я этого не знал и ответил, что Наталия Петровна и Мария Александровна – его духовные дети и могут подробно ответить на эти вопросы. Я мог рассказать только о той духовной помощи, которую оказал он мне, и о том, сколько заключенных приводил к Богу в лагере особого режима. Отец Всеволод задумчиво сказал мне: “Я в Союз приехал не так давно и о таком московском священнике не слышал”. С этого дня я стал его духовным сыном, а жена Ирина – духовной дочерью о. Всеволода, мы полностью исполняли все его духовные советы и наставления. Мы часто бывали в Николо-Кузнецях вместе с Ириной.

Примерно в 1958 г. у меня возникло непреодолимое желание стать священником, на это о. Всеволод говорил: “Ваш путь до принятия священства еще очень долог. Подумайте, духовного образования у Вас нет, в семинарию, уверен, за содеянное в прошлом Вас не возьмут, и возраст не тот. Ни один архиерей не рискнет посвятить Вас, да и я не смогу дать Вам на это благословение. Ваш путь до принятия священства еще очень долог, надо пройти дорогой очищения от совершенных злодеяний (он так и сказал, “злодеяний”), и это будет долгим и трудным. Вы будете иереем, но только по великому соизволению Господа, и мне это не ведано. Главное, молитесь и кайтесь, умоляйте Бога о прощении, пройдут годы, и Господь все решит”.

Однажды я попытался оправдаться, сказав, что работой в разведгруппе мы спасли на фронтах войны десятки тысяч наших солдат. “Это верно, но руки свои обливали кровью убиваемых или отдавали подчиненным приказы о расстреле, а это смертный грех, совершенный не один раз, даже если Вы исполняли приказ командования. Молитесь о прощении и кайтесь”.

В 1958 г. вновь встретился с о. Арсением, рассказал, что более двух лет моим духовником является о. Всеволод Шпиллер, настоятель церкви Николо-Кузнецы – св. Николая Чудотворца, но, однако, попросил о. Арсения взять меня под свое духовное руководство, учитывая, что к вере еще в лагере привел меня он. Отец Арсений в начале разговора ничего не ответил мне, но, подробно расспросив об о. Всеволоде, сказал, что он – священник большой внутренней силы и духовности, и ему, о. Арсению, не должно брать на себя руководство мной, потому что уже несколько лет моим духовником является о. Всеволод, и духовный отец должен быть только один, при наличии двух духовных отцов возникнет возможность получения разных духовных советов, что приведет к плохим результатам. Духовный отец может быть только один, так же, как не бывает двух отцов у рожденного ребенка.

Несколько раз я говорил с о. Арсением о своем желании стать иереем. Более девяти лет не получал благословения от о. Всеволода на принятие сана иерея, точно такого же мнения придерживался и о. Арсений. Однажды после долгого разговора со мной он написал письмо о. Всеволоду, переданное ему Марией Александровной, и знаю, что получил от о. Всеволода ответ. Вопрос о моем посвящении так и остался нерешенным, но в 1968 г. по соизволению Господню произошло необычное.

Еще раньше, постоянно вспоминая семью о. Петра, решили с Ириной поехать под г. Лида, встретиться с семьей, попросить прощения и их молитв. Прошло более двадцати лет, многое изменилось. Приехав, помытарились, но храм разыскали; в нем шла служба, служил другой священник. Дома, где жил о. Петр, не было, сгорел после войны. Стали расспрашивать, фамилию не знаем, только имя о. Петр. Отвечают, священников каждый год меняют, только приживется, – куда-то переводят, нового присылают, у нас “отцов Петров” несколько было, никто толком ответить не мог. Однако древняя старушка за свечным ящиком поняла, какого о. Петра спрашиваем, сказала приблизительный адрес.

Поехали на север Белоруссии, разыскали небольшой город, нашли одну-единственную в городе церковь, сильно поврежденную, но служба в ней шла. Спросили, где живет о. Петр, пошли на квартиру. Открыла дверь матушка Ольга, время бросило на ее облик сетку морщинок, немного расплнела, но по-прежнему была красива. Узнав, что ищем о. Петра, сказала: “Он в церкви”. Попросили разрешения подождать. Ольга тревожно взглядывала на нас, чего-то опасаясь, но подождать разрешила.

Надо отметить, что в эти годы, да и в последующие, на всей территории Белоруссии гонения на Православную Церковь были жестокими, ставился вопрос о том, чтобы объявить республику атеистической и безбожной. Спросил Ольгу про дочь Женю, сына Сергея, – с удивлением ответила: дочь вышла замуж и живет под Рязанью, Сергей окончил вуз и работает в Минске, и спросила: “Кто Вы? И откуда знаете наших детей?” Конечно, поступил глупо, встал, подошел к ней, взял за плечи и произнес: “Ольга, не узнаете?” Вначале испугалась, сбросила руки, перекрестилась, отшатнулась, отчаянно покраснела и со словами: “Это вы? Это вы?” – обняла меня и, плача, расцеловала. В этот момент с улицы вошел о. Петр, смеясь, сказал: “Матушка! Кого расцеловываешь?” – “Петр! Петр! Посмотри, кто приехал!” Подошла Ирина, и мы, упав на колени, просили прощения за прошлое у о. Петра и матушки Ольги. Радость охватила нас, у всех по лицам текли слезы.

С этого времени почти каждый год я приезжал с Ириной к о. Петру и матушке Ольге на четыре-пять дней. Конечно, рассказал о своей жизни в лагере, об о. Арсении, сделавшем меня верующим, о своем духовном отце – протоиерее Всеволоде Шпиллере, о котором он уже слышал, бывая в Москве, и, конечно, о своем заветном желании стать иереем. Отец Петр и Ольга приезжали к нам в Москву и в один из приездов поехали (с разрешения) к о. Арсению, потом эти встречи повторялись.

В 1968 г. мы приехали к о. Петру, и он сказал, что говорил со своим другом, правящим Владыкой [11], рассказал про мою жизнь, разведгруппу, лагерь, о том, что я – духовный сын о. Всеволода, которого Владыка знал в 1950 г., будучи студентом Московской Духовной Семинарии, о моем знании церковной службы. Владыка выслушал о. Петра и сказал, чтобы по приезде я обязательно с о. Петром приехал к нему. Мы пришли, Владыка принял нас, долго говорил со мной и в день перенесения мощей священномученика Игнатия Богоносца, 11 февраля, посвятил меня в сан иерея, накануне состоялось посвящение в диакона. Время сейчас ненадежное, имя Владыки не назову, можно нанести ему вред.

Приехал в Москву иереем и сразу пошел в храм Николы в Кузнецках к о. Всеволоду. Он очень удивился, что я без благословения духовного отца принял сан и был недоволен, но, помолившись, сказал: “Да будет, Господи, воля Твоя”, обнял, благословил и поцеловал, понимая, что, возможно, я еще недостойн, но все совершилось. Служу в Белоруссии, но духовным отцом по-прежнему остается о. Всеволод, а о. Арсений живет во мне громадным духовным началом, из которого черпаю внутреннюю духовность и силу. Отец Арсений не одобрил мое скоропалительное посвящение без благословения духовника о. Всеволода и слово в слово повторил: “Да будет, Господи, воля Твоя”. То же, что сказал и о. Всеволод.

Я понял, что Бог есть, увидев, как о. Петр, Ольга и дети готовились принять смерть, так могли умирать люди, глубоко верящие в Него. Скрывать не буду, рассказывать вам о своей жизни было мне нелегко”.

Задумчивый и отрешенный, не замечающий нас, находящихся в комнате, и о. Иннокентия, закончившего воспоминания, сидел в кресле о. Арсений. Медленным движением руки он отогнал что-то мешающее, сказав: “В 1962–1963 гг. я обратился к многим из вас с просьбой написать воспоминания о жизни в Церкви, о том, какими путями нашли или укрепили веру, о глубоко духовных людях, встреченных на дорогах жизни. За одиннадцать лет написано воспоминаний немало, некоторые из них рассказывались в этой комнате, другие читали написанное и понимали, что путь к Господу у каждого был свой: у одних через страдания, мучения, холодное дыхание смерти, у других – через радость общения с глубоко верующими людьми, с чудом, явленным Богом. У очень многих этот путь был трудным, полным сомнений, разочарований, падений, колебаний: правильно иду или заблуждаюсь? Но наступал момент, и с помощью Господа, Пресвятой Богородицы, святых препятствия преодолевались. Многие пришли к Богу через человеческую земную любовь, став мужем и женой.

Посмотрите на Серафима Алексеевича (о. Арсений говорил обо мне), каким невероятно трудным путем пришел он к Богу, вырвался из страшнейшего окружающего мира! Сегодня мы выслушали воспоминания о. Иннокентия – абсолютно неверующий, не имеющий ни от кого поддержки, совета, он все же пришел к Богу через испытание своей совести. Расстрел семьи о. Петра казался неизбежным. Отец Иннокентий стоял перед выбором: выполнить приказ командования, расстрелять или оставить в живых. На весы своей совести он положил на одну чашу приказ командования, на другую – жизнь о. Петра, Ольги, двух детей и понял: никакие приказы не сравнимы с человеческой жизнью, ее ценностью. Перешагнул через воинский долг и оставил семью жить, но сам мог быть расстрелян.

Господь поставил семью о. Петра на грань смерти, дал тяжелейшее испытание, но, раз испытание было дано по Божью произволению, значит, оно было необходимо и о. Петру, и о. Иннокентию. Таково произволение Божие: эта встреча привела о. Иннокентия к Богу, дружбе с

семьей о. Петра; и он – о. Петр – способствовал посвящению о. Иннокентия в иереи. Вот где ослепительно выявляется Господня воля! Сказано: и волос с головы не упадет без воли Божией [12].

Была война, разведгруппа, захватившая немецкого солдата, после допроса обязана была уничтожить, расстрелять его, отпустить не представлялось возможным. Но убивавший безоружного становился человекоубийцей. С военных позиций это оправдывалось – он враг. Отпустив, погубишь всю группу,сланную для разведки и своей работой спасающую тысячи жизней на фронте. Оправдать можно многое, привести тысячи доводов, но убийство оправдать нельзя, и здесь надо молиться и просить Господа о прощении. Ты крестился после всего с тобой бывшего и очистился от ранее совершенного, исповедовался, причащался, но молись, молись, взывай к милости Господа, моли о прощении.

Сегодня кто-то из сидящих сказал: “Произошел случай”. Никогда нет ничего случайного, все в жизни человеческой совершается по воле Божией, все – любая встреча, радость, горе, кажущееся необыкновенным событие и все-все, окружающее нас, – это Господне произволение, Его воля.

Для того чтобы показать и осознать неисповедимость путей Господних, я просил писать воспоминания о путях, приведших каждого из вас к Богу. Слушая и читая их, мы погружаемся в глубину мятушейся человеческой души, ищущей Бога, и всегда поражаемся Его великой милости, всепрощению к нам грешным. Еле заметная искра Божия, тлеющая под грузом грехов, возгорается в пламя, охватывающее душу человека и часто перекидывающееся на других людей.

Знаю, я тяжело болен; не будет меня – пишите о прошлом, о путях, приведших вас к Богу; давайте читать детям, родным и знакомым. Уверен, что многое из услышанного здесь, записанного сохранится, будет прочтено и, по милости Господа, принесет пользу людям.

Да будет милость Господа, молитвы Пресвятой Богородицы и святых со всеми вами. Пишите...”

Дополнения о. Иннокентия

Прочитав свои воспоминания, записанные Серафимом Сазиковым в 1972 г., счел необходимым сделать добавления. Я понял, что мои духовные отцы – о. Всеволод, ныне, слава Богу, здравствующий, и о. Арсений, ушедший в мир иной в 1975 г., были правы: путь моего священства оказался крайне труден. Только духовная помощь о. Всеволода и жизненная душевная поддержка моей матушки Ирины спасли меня от неверных шагов. Видимо, Господь наказывал меня за совершенное ранее и поспешное принятие сана иерея.

Рассказывая о себе и об о. Всеволоде, удивительном священнике, духовнике, прозорливце, замечательном и добром человеке, ведущем меня и сейчас, поражаюсь милости Божией ко мне – грешному человеку, что Господь дал мне радость общаться с о. Арсением и о. Всеволодом, практически сотворившими по произволению Божию из меня человека, проникнутого верой в Бога.

Бывая в церкви Николая в Кузнецях, я общался только с о. Всеволодом, совершенно не вступая в контакты с окружающими; Ирина, естественно, как женщина, знала больше, и неясные мне трудности службы о. Всеволода в храме иногда доходили и до меня.

Вспоминая и рассказывая свою жизнь, невольно оставил в тени облик о. Арсения, а хотел в основном написать о нем, ибо он вдохнул в меня веру в тяжелейших условиях лагеря, он – мой духовный родоначальник. Слишком увлекся я рассказом о своей жизни и не упомянул о величайшем подвиге, совершенном им в лагере, когда он спасал, поддерживал и передавал благодать веры людям, тяжело духовно страждущим. Скольких людей он спас? Упокой, Господи, душу усопшего старца иеромонаха Арсения.

Записано на магнитофонную пленку и отредактировано

10 декабря 1972 г. Серафимом Сазиковым.

В 1977 г. дополнил воспоминания о. Иннокентий.

Из архива Т.Н. Каменевой.

ОТЕЦ СЕРАФИМ

Март 1972 г.

В 1972 г., в марте, числа не помню, я приехал в неустановленное для меня время по срочному делу. Надежда Петровна приветливо встретила и, когда я разделся, таинственным голосом сказала: “У нас удивительный гость”, – и улыбнулась. Столовая была пуста, постучал в дверь комнаты о. Арсения, услышал: “Войдите”. Открыл дверь, вошел. Отец Арсений лежал на диване, наполовину укрытый пледом, в кресле сидел мужчина, вставший при моем появлении. Увидел низенького роста человека, совершенно седого, с большой бородой, большими живыми глазами, добрым, приветливым лицом. Поздоровался, подошел под благословение к о. Арсению, он благословил и громко произнес: “Подойдите под благословение к иеромонаху Серафиму”, я подошел.

Отец Арсений обратился ко мне: “Александр Сергеевич! Попрошу Вас записать воспоминания о Серафима о его сложном жизненном пути, и пусть они войдут в собираемые нами воспоминания. Позовите всех, кто сегодня приехал, и Надежду Петровну – выслушать рассказ будет всем полезно, тем более что жизненные пути наши не раз пересекались в лагерях. Отец Серафим! Прошу Вас говорить не стесняясь, не спешите, рассказывайте подробно. Знаю, Вы стеснительный человек, но здесь все свои”. Я попросил разрешения вести запись на магнитофон, мне будет легче изложить рассказанное. Отец Серафим смущенно оглянулся, перекрестился несколько раз и, сказав “с Богом”, начал рассказ.

“Сейчас мне восемьдесят девять лет, родился в Санкт-Петербурге в 1883 г. в родовитой богатой княжеской семье. Род наш от Рюрика, в русских летописях много раз упоминался, предки и святыми были, но злодеев, предателей тоже хватало. Фамилия громкая, но называть не буду, поверьте, что это так. Мирское имя Алексей. Рос, как все дети в родовитых богатых семьях: гувернантки, бонны, лакеи, горничные. Был самым младшим, кроме меня еще три брата – Владимир, Всеволод, Игорь и две сестры – Ольга и Елена. Братья – красавцы, высокие, статные, все в гвардейских полках служили, сестры – первые красавицы в Петербурге, а я дожил до пятнадцати лет и больше не рос, лицом неказистый, волосы вечно копной стояли. Папа и мама, Царство им Небесное, братьями и сестрами гордились, а меня на приемы не брали, дома, когда гости собирались, не показывали; сам себя стеснялся, да и родителей не хотел в неловкое положение ставить.

Все в семье были русофилы, имена братьям давались только из числа русских святых, имена сестер, Ольга и Елена, – в честь святой княгини Ольги, в крещении Елены. Братья окончили Пажеский корпус, сестры – Смольный институт. Мне не только в Пажеский корпус нельзя, а и в кадетский – роста маленького, вид замухрышки, офицер из меня никакой. Учился в реальном, окончил с золотой медалью, поступил в Петербургский политехнический институт и тоже с золотой медалью окончил, но моих родителей это не радовало.

С одиннадцати лет постоянно ходил в церковь, дома усердно молился, а в семнадцать лет поехал на Валаам; ездил летом в Соловецкий монастырь и псковские монастыри. Родители, особенно мама, “рвали и метали”: княжеского рода, богатый – и к “жеребьячьей породе” лезет, так в высших, да и не только высших, кругах называли священнослужителей за длинные волосы и бороды. Вся родня поднялась против меня, пошли разговоры отправить меня в Екатеринбург, благо губернатор родственник, или в Англию в посольство, чтобы оторвать от Церкви.

После окончания института поступил на Балтийский завод. Революционно настроенная инженерная интеллигенция, узнав, что я из известного княжеского рода, да еще при царском дворе “околачивающегося”, объявила мне бойкот “молчанием”, разговоры только по делу: “да” или “нет”, и, конечно, в основном “нет”. Дома плохо, на заводе еще хуже. Золотая медаль, грамота сыграли отрицательную роль в глазах сослуживцев. Не раз говорили: “Князюшка! Золотеньку грамоту-медальку за происхождение получили или денежку дали?”

Думаю: что делать? Пошел в церковь, куда всегда ходил, хороший там был настоятель протоиерей о. Николай. Рассказал, что у меня дома, на работе и что тянет меня уйти в монастырь. Выслушал батюшка, помолчал, помолился со мной и сказал: “Алеша! Для военной службы не пригодны, гражданская тоже не ладится; в монастырь хотите, – дело большое, богоугодное. Мне трудно дать Вам совет, хотя душой своей за это. Поезжайте в Оптину пустынь, а перед этим в Кронштадт к отцу Иоанну, что скажут, то и делайте”, – и благословил. Поехал к о. Иоанну Кронштадтскому, народу толпы, не пробиться, в собор не войти. Встал недалеко от входа, молюсь, у Господа и Пресвятой Богородицы помощи прошу. Кончилась литургия, пролетку для батюшки подали. Вышел батюшка из храма, народ под благословение бросается, а то и под ноги. Стою в толпе, городские и причетники храма дорогу расчищают к пролетке. Дошел батюшка по проходу до меня, а я в толпе далеко стоял, остановился, повернулся, народ раздвинул и ко мне подошел. “Ты князюшка! В монастырь, в монастырь, а сперва в Оптину поезжай”, – благословил и пошел. Народ, окружавший меня, стал говорить: “Это тебе, раб Божий, он путь показывает”.

Через неделю поехал в Оптину пустынь. Приехал, зашел в собор, встал у иконы Божией Матери и молюсь, молюсь. Помолился и не знаю, к кому обратиться, кого спросить. Подходит ко мне пожилой монах и говорит: “Соблаговолите зайти к старцу о. Анатолию”. Удивился несказанно я. Иду, ног под собой не чувствую, и в то же время страх на меня напал. Кто мог знать, что я в храме и не знаю, как к старцам попасть? Пришли, много народу ждало приема, долго ждал, солнце к заходу пошло, вышел молодой монашек и позвал к старцу. Вошел, принял благословение. Оглядел меня старец Анатолий и сказал: “Оставляй, Алексей, свою мирскую жизнь и поезжай в монастырь Нила Столобенского к старцу Агапиту. Тяжела жизнь твоя будет, ох тяжела, золото ведрами много лет

будешь черпать. Иди к родителям, скажешь – в монастырь уходишь”. Обнял меня старец, благословил, и я уехал радостный в Петербург.

Приехал, отца дома не было, матери говорю, что получил в Оптиной пустыни благословение поступить в монастырь. Произошел огромный скандал, приехал отец, на приеме у императора был, мама ему рассказывает. Закричал отец: “В монастырь дорога тебе закрыта, поеду завтра в Священный Синод, дадут распоряжение никуда тебя не принимать”. Мать пощечин надавала, нехорошо обозвала, братья и сестры вечером пришли, смеются, юродивым называют. Вытерпел все упреки и разговоры, поехал на Балтийский завод увольняться, с радостью отпустили.

Написал родным прощальные письма и поехал в город Осташков, оттуда на маленьком парходике добрался до монастыря Нила Столобенского. Остановился в гостинице и на другой день вместе с богомольцами в храм монастырский пришел. Помолился, отстоял обедню, подошел к одному из стоявших монахов и спросил: где можно найти старца Агапита? Монах удивился: “Старец живет в скиту”. Опять спрашиваю: как же его увидеть? Отвечает: “В скит не всех, не всех допускают, надо разрешение просить у скитоначальника. Он сейчас у игумена, встаньте у игуменских покоев, когда выйдет, спросите. Коли воля Божия будет, разрешит. Строгий он у нас”. Расспросил, где покои игумена, встал у подъезда. Выходят два монаха, который из них скитоначальник, не знаю. Подошел и говорю: “Ваше преподобие, меня старец Анатолий Оптинский к старцу Агапиту в ваш монастырь направил”. Один из монахов спрашивает: “Расскажите, по какому делу”. Рассказал, оба слушают, вопросов не задают, только высокий монах сказал: “Батюшка Ваш хочет от Синода бумагу получить – не дадут!” Понял, что высокий – скитоначальник. “Еду сейчас в скит, возьму Вас с собою. Идите на пристань к лодкам, подождите”. Нашел пристань, подождал, сели в лодку и поплыли. Время было одиннадцатый час, вышли на остров, весь лесом зарос, высоченные сосны к небу тянутся, кругом вода озера Селигер, ширь, простор, небо голубое, дух у меня захватило. Позвал скитоначальник монаха, и привел он меня к старцу Агапиту.

Вошел в келью, получил благословение, старец на меня даже не взглянул, но сказал: “Долго Алексей ехал к нам, заждались. Рассказывай”. Сесть не предложил. Подробно о семье своей, себе и жизни моей в Петербурге рассказал, о непреодолимом желании уйти в монастырь. Замолчал, кажется, все рассказал, но отец Агапит повторяет: “Подробней рассказывайте”. Снова начинаю говорить, вроде повторяться стал, но опять слышу слова: “Дальше рассказывайте”. Пока рассказывал, ни разу на меня не взглянул. Вопросы задавать начал. Отвечаю. Вошел монах, подумал – келейник. Он принес старцу кусок черного хлеба и две миски – я понял, что это обед монастырский. Встал старец, долго молился, приступил к трапезе, а я все стою. Кончил кушать, помолился вместе с келейником и говорит: “Продолжай о себе рассказывать”.

“Батюшка, – отвечаю ему, – я Вам все рассказал”, а сам уже стоять на ногах не могу. Первый раз поднял о. Агапит голову, взглянул на меня и сказал: “Не все рассказал, в монастырь бежишь не оттого ли, что братьям красавцам завидуешь? Может, сам красавцем был бы, да на приемах великосветских присутствовал, тогда о монастыре и вовсе не думал бы?” Молчу, не знаю, что ответить, шевельнулось что-то в душе, мелькнуло: “Может быть, и так”. Никогда такая мысль мне в голову не приходила. Простоял часа четыре, встал старец и сказал: “Постой, подожди, пойду совета спрошу”. Прошло еще часа два, вошел и произнес: “Вопреки правилам, останешься у меня жить вторым келейником”. И вдруг неожиданно заговорил со мной по-английски, потом по-французски и сказал: “Хорошо знаешь языки, будут в жизни нужны”. Достал старинную славянскую книгу и сказал: “Читай!” Выслушал, покачал головой и произнес: “Читать умеешь, но плохо, ударений не знаешь, слова у тебя “через пень на колоду переваливаются”, учиться долго придется”. Начал спрашивать об учении святых отцов, евангельские, библейские тексты, как и что понимаю. “Знаешь ты, голубчик, одни верхушки, зелено все еще в тебе, много придется познать, но главное, научиться молитве, найти в молитве не труд, а радость и в выполняемом ежедневно молитвенном правиле, и в обращении к Господу, Пресвятой Деве нашей Богородице и святым обретать духовный восторг и духовную неподдельную радость и понимание, что соединяешься с Богом. Смотрю на тебя и думаю, сможешь ли свое княжеское воспитание и понимание мира монашеским житием заменить? Думаю, сможешь, давай вознесем “свалу Господу Богу нашему и Пресвятой Богородице”.

Устал стоять – ничего, в монастыре еще настоишься, привыкнешь. Келейником вторым будешь, отец Иеракс покажет, что надо делать. Часы у тебя в кармане – положи на стол, монаху они не нужны, по солнцу время узнавать будешь, привыкнешь”.

Так началась моя монашеская жизнь, было тогда мне 24 года, шел 1907 год. Признаюсь, грешный я человек, молод, глуп был, монашеского послушания не знал, но не понравился мне старец Агапит. Как же был я не прав и понял это только через полгода. Первое время так трудно было, мысли всякие одолевали, но под руководством старца Агапита преодолел все трудности, полюбил

его всей душой, ибо великий молитвенник был отец Агапит. Постриг принял в 1911 г. с именем Серафим, в 1913 г. стал иеродиаконем, но голос был тихий, и на служение в монастыре допускали не часто, в 1914 г. посветили в иеромонаха. Всему обучал и наставлял меня о. Агапит, сколько сил и знаний передал он о. Иераксу и мне! Изучение церковной службы, творений святых отцов Церкви, Священных Писаний проходило под его руководством. Прочтешь книгу – подробно расспросит, как понял. Если необходимо, разъяснит или скажет, какую другую книгу прочесть. Но самое главное – учил молиться. Учение состояло в том, что он молился, и мы, внимая произносимым им словам, шли за ним, полностью погружались в состояние отрешенности от окружающего земного мира. В то же время о. Агапит наставлял нас, говоря: “Сам человек должен ее – молитву постичь, проникнуть в ее сокровенный Божественный смысл, не умом, а душою, духом своим, и тогда его ум, сердце и душа оторвутся от всего вещественного, от обыденного, горестей, печалей и даже человеческих радостей. Забудешь об уставших и болящих от долгого стояния ногах и постигнешь молитвенный восторг – ты, человек грешный, по милости Бога приблизился к Нему, ты, недостойный”. Отец Агапит был из семьи военных дворян, дослужился до капитанского чина и неожиданно ушел в монастырь [13]. Он не имел духовного образования и в течение долгих лет самостоятельно изучал огромное количество духовной литературы. Знание им святых отцов было поразительным, Евангелие и Ветхий Завет знал по памяти, любил сочинения митрополита Московского Филарета (Дроздова), епископа Игнатия Брянчанинова, когда-то вел переписку с епископом Феофаном Затворником, знал о. Иоанна Кронштадтского, переписывался с Оптиными старцами, но в Оптиной пустыни не был. Отец Агапит был строг и непоколебим, если кто-то нарушал устав, шел вразрез с учением Церкви, установленным молитвенным правилом, но был справедлив и очень добр. Замечая сделанное кем-то плохое, выговаривал, накладывал наказание и потом переживал и мучился, хотя замечания и наказания были справедливы. Имея обширные богословские знания и зная досконально творения святых отцов Церкви, почитая всех святых, с особой любовью относился к русским святым: преподобным Сергию Радонежскому, Савве Сторожевскому, Феодосию Тотемскому, Нилу Столобенскому, Серафиму Саровскому, святителю Тихону Задонскому и многим другим, считая, что их жизнь является высшим духовным достижением и именно на святоотеческой жизни русских святых следует всем русским людям, и монашеству в особенности, учиться.

Пресвятая Богородица была для о. Агапита хранительницей земли Русской, защитницей сирых, убогих, обидимых, унывающих, томящихся в болезнях и муках. Молясь Матери Божией, о. Агапит перерождался, забывал о больных ногах, вставал и, если отец Иеракс или я читали акафист Богородице, то сам начинал петь кондаки и икосы по памяти. Он помнил наизусть акафисты иконам Божией Матери Владимирской, Всех скорбящих Радости, Федоровской, Нечаянной Радости, Достойно есть, Милующая, Скоропослушница, а также акафисты преподобному Сергию, Николаю Чудотворцу и многим святым. “Богородица и святые земли нашей – защитники и молитвенники о нас, грешных”, – часто повторял нам о. Агапит. Когда он молился, то словно воспламенялся, каждое слово, произносимое им, зажигало во мне и о. Иераксе пламень веры, устремленность к Богу. Он говорил нам: “Мы все просим и просим у Господа, Матери Божией, святых, но что отдаем Богу за просимое? Давайте же славить имя Господне, благодарить за оказанные милости, за то, что живем и молитвами и милостью к людям можем спасти свои грешные души”.

Почти 30 лет пробыл я в лагере, 360 месяцев. Многие не верят, говорят, что этого не может быть, тридцать лет в лагерях прожить нельзя, да и сроки такие никому не давали, – а я прожил и говорю сейчас с вами. Почему? Потому, что о. Агапит научил молиться меня и о. Иеракса, щедро передав нам свое духовное богатство, накопленное им за долгие годы монастырской жизни и непрестанной молитвы. Когда мы молились вместе с ним, то отдалялись от всего суетного, окружающего. Простите, я повторяюсь”, – сказал о. Серафим, остановился и неожиданно расплакался. Слезы текли и текли. Мы, сидящие, молчали, о. Арсений встал с дивана, подошел и обнял о. Серафима. Несколько минут длилось молчание. “Простите меня, расплакался, словно дитя малое, но воспоминания об о. Агапите взволновали меня, больше не буду плакать. Извините

Однажды о. Агапит рассказал, почему он пошел в монастырь: “Отец мой дворянин, военный, дослужился до звания генерал-лейтенанта, меня и брата видел только офицерами, мечта была у него видеть нас офицерами в гвардейских полках Его Величества, но по целому ряду сословных обстоятельств поступить туда мы не могли. Вся семья была верующей: бабушка, отец, мать, брат и я церковные службы посещали всегда, исповедовались и причащались три-четыре раза в год. Бабушка (Наталия) и мама (Екатерина) были большие молитвенницы и в духе веры воспитали брата и меня.

Решил я провести свой отпуск на Кавказе, на Черноморском побережье, в это время там отдыхала семья моего дяди. День был жаркий, легкий ветерок дул с моря. Дядя посоветовал нанять лодку и поплавать в море. Пошел, нанял большую парусную лодку с веслами, и мы поплыли. Ветер

стал попутным, не сильно надувал парус, и мы медленно уходили все дальше и дальше от берега. Вдалеке еле виднелись дома, и только горы возвышались на горизонте. Хозяин лодки начал проявлять беспокойство и на ломаном русском языке говорил: “Скорее к берегу, смотрите” – и показывал на небольшое темное облачко,двигающееся к берегу. Ветер сразу переменялся и с большой силой дул к берегу. “Скорее, буря, скорее, Аллах, Аллах”. Вначале не понимали мы, в чем таится опасность, но волны становились все больше и больше. Хозяин лодки все время менял положение паруса, предложил взяться за весла и что есть силы грести к берегу. Лодку на волнах бросало, но пошла она быстрее. Хозяин повторил: “Аллах! Аллах!”

На лодке были: моя двоюродная сестра Анастасия, ее жених Андрей Сергеев, Соня, подруга Насти, ее брат Юра шестнадцати лет, я и абхазец Ахмет. Внезапно ветер стал порывистым, море бурлило, лодку бросало и заливало водой, парус сорвало. Где был берег? Близко, далеко? Весла вырвало из рук, и неуправляемая лодка захлестывалась водой. Я стал громко молиться, одновременно сбрасывая одежду и сапоги, то же делали Андрей и Юра, девушки прижались друг к другу. Слышу, громко молится Анастасия, абхазец призывает Аллаха. Господи! Как взывал я тогда о помощи, просил, умолял Пресвятую Богородицу спасти нас и, взглянув на небо, увидел на нем огромный образ Божией Матери и мою маму, стоящую на коленях и молящуюся. “Анастасия! – крикнул я двоюродной сестре, – Ты видишь?” – и перекрестился несколько раз. “Вижу”, – ответила Настя. Понял, Пресвятая Богородица спасет нас. Огромная волна ударила в борт лодки, и мы оказались в морской воде. Схватил Анастасию и Соню, пытался держаться на воде, поднял голову, и вновь в небе ослепительно горел образ Богородицы и моя мама молилась перед ним, и вдруг волны подхватили нас и выбросили на берег. Поднявшись и оттащив женщин от бушующих волн, вновь увидел образ Богородицы. Это было видение, чудо, Анастасия и я одновременно видели на небе образ Богородицы.

Андрей спасся, Юра и хозяин лодки утонули. Видение иконы Божией Матери и моей мамы, молящейся перед Ней, так потрясли меня и Анастасию, что я немедленно подал прошение об увольнении с военной службы и уехал в Валаамский монастырь, был принят послушником, а через восемь лет переведен, по Божию произволению, в монастырь Нила Столобенского. Потом настоятель направил меня в скит, вот живу в нем и молюсь Господу. На двоюродную сестру Анастасию видение на облаках образа Божией Матери тоже так подействовало, что, отказавшись от замужества, она ушла в монастырь, жива, и мы переписываемся с ней.

Таким путем я стал монахом по великой милости Богородицы и горячей молитве мамы. Подробно рассказал отцу и маме, что было с нами, о видении иконы Божией Матери и молитве ее перед иконой, и мама сказала: “Павел! В этот день мучила меня тревога о тебе, в два часа дня подошла к иконе Владимирской Божией Матери, упала на колени и стала молиться о тебе, молюсь, слезами заливаюсь. Почему страдало и ныло сердце о тебе, тогда не знала, но молилась и молилась. Ты говоришь, что именно в два часа погибали. Заступница Богородица явила тебе великое чудо, спасение от гибели, не только тебе, но и Анастасии”. Папа и мама не удивились моему решению уйти в монастырь, дали свое родительское благословение, считая явленное чудо знамением к молитвам и монашеским подвигам”.

Книг в келье о. Агапита было немного. Конечно, были все богослужебные книги, Минеи, жития святых св. Димитрия Ростовского, Добротолюбие, несколько патериков, сочинения Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова, некоторые издания Афонского монастыря, Троице-Сергиевой лавры. Если необходимы были другие книги, привозили из монастырской библиотеки. Вставал о. Агапит рано и за день проходил весь круг всех полагающихся служб, молитв, акафистов. Каждый день читались жития святых о. Иераксом или мной, подробно разбирались кем-нибудь из нас, и о. Агапит останавливался на наиболее важных местах жизни святого, раскрывая основы его учения и совершенных им дел. Каждый день мы читали книги о чудотворных иконах Матери Божией и, если имелся для этой иконы написанный акафист, то его тоже читали. Посетителей, богомольцев в скит допускали не много; когда кто-то приходил к о. Агапиту, то о. Иеракс и я сразу уходили в другую комнату.

Сам скит располагался в сосновом лесу, огромные стройные сосны поднимались ввысь, тишина в скиту была необычайная, изредка звякала ручка ведра или слышались удары топора, рубившего дрова. Если поднимался ветер, то доносился шум качающихся сосен и тихий шум прибоя с озера Селигер. Домики в скиту были совершенно одинаковые, рубленные из соснового дерева, ворота в скит были – два столба, на которых крепилась полукруглая арка с большой надписью, текст которой мной забыт. Домик-келлия имел крылечко, крошечную прихожую, маленькую комнату, где спали о. Иеракс и я, печь-плиту, рукомойник, небольшой самовар и несколько чашек. Чистота была идеальной, все мыли и протирали ежедневно. Обед был прост до аскетизма, в посты вообще ели

мало, чай пили чуть желтый, но всегда горячий. Кроватями у нас всех служили топчаны – доски, покрытые тонким войлоком. Жизнь шла размеренно и тихо, звон монастырских колоколов возвещал о начале той или иной монастырской службы, а в кельях шла молитва, возносимая к Богу. Казалось, наш старец никогда не уставал.

Какая же красота была зимой: выйдешь на крылечко, а кругом все белым-бело, сосны, кусты, дорожки между келий, тропинки и тихий, спокойный, покрытый льдом Селигер, и только бесконечные петли заячьих следов испещряли белоснежный покров. Отец Агапит выходил на крыльцо и славил Господа за созданную Им красоту, и часто слезы благодарности текли по его лицу. “Господи! Господи! – говорил он, – благодарю Тебя, создавшего небо и землю, благодарю за красоту, которой согреваешь душу человеческую”, – и долго стоял и восхвалял Бога. В монастырь ездили на службы, летом на лодке, зимой по льду на санях, а весной, осенью и в бурную погоду молились скитники в своих кельях, сообщение с монастырем прерывалось.

О монастырях, помню, шли споры: нужны они или нет? “Монахи – тунеядцы, бездельники, лбы только расшибают, делом бы занялись”. Слышу и удивляюсь, когда слова эти говорят люди, верящие в Бога. Монастыри спасают мир, людей, в них возносятся пламенные молитвы об искуплении человека от греха, прощении его, даровании мира, спасении отчизны. В монастырях утром, днем, вечером, ночью возносятся молитвы за грешное человечество.. Россия держится на монастырях, и покуда будет существовать хотя бы один монастырь, будет жить Русь православная.

Первое время трудно было, так трудно, что сомнения нападали: выдержу ли? Но все преодолел и пошел за о. Агапитом. Стало полегче, а потом и трудностей не видел, молитва пришла и стала не трудностью, а утешением. Замечания и послушания вначале переносил с обидой и горестью, но пришло время – принял и не замечал больше, так, мол, и нужно.

Первый надетый подрясник, получение рясофора и, наконец, мантии, и я – монах, были несказанными ступенями радости; прошли годы, и я – иеродиакон и, наконец, иеромонах. Каждая совершаемая литургия – неопикуемый духовный восторг – чудо. Момент Евхаристии – великое чудо, совершаемое иереем. Оно перерождает тебя, поднимает на недостижимую высоту, и ты понимаешь, что с тобой Сам Господь. Мне приходилось слышать от верующих людей: “Что такое чудо? Я никогда не видел его”. Я всегда удивлялся: “Вы же были на литургии. Разве совершение иереем Евхаристии – не чудо? Вы только сейчас видели чудо”.

Возвращусь к прошлому: семья не искала меня, вычеркнула из памяти, как изгнанника, недостойного внимания. Только в 1957 г., через десять месяцев после выхода из лагеря, при поездке в Ленинград узнал, что два брата ушли в Белую армию и сейчас живут в Париже, старший брат Владимир к 1917 г. был уже генерал-лейтенантом, перешел на службу в Генеральный штаб Красной Армии, в 1938–1939 гг. был расстрелян как шпион и враг народа. Сестра Ольга (старшая) в 1919 г. уехала на Украину и пропала, Елена жива, работает библиотекарем и под вал репрессий 1933–1935 гг. и 1936–1938 гг. не попала.

Монастырь и скит закрывали долго, мучительно. Выборочно арестовывали, расстреливали, расселяли, отобрали все ценности, ломали и оскверняли иконы – поступали, как со всеми закрываемыми монастырями. В 1921 г., 1 августа, в день обретения мощей преп. Серафима Саровского чудотворца, старец иеромонах о. Агапит почил, тихо, спокойно. В течение одной недели вдруг ослаб, слег и с каждым днем терял силы. Теряли не родного отца или мать, уходил наставник, давший не телесную, а духовную жизнь, старец, сделавший меня человеком, научивший молитве и вдохнувший дух веры Христовой в мою душу. Настолько скорбна была для меня смерть старца, не могу передать в своем рассказе, нахлынет прошлое, встанет перед глазами, и я расплачусь”.

Слезы катились по лицу о. Серафима, и не маленьким, некрасивым человеком сидел он сейчас перед нами, а весь скорбный, но светлый, и лицо его светилось несказанной грустной добротой.

“За несколько минут до своего смертного упокоения о. Агапит вдруг обрел силы и, обращаясь к окружающим, подзвал о. Иеракса и меня, сказал: “Молитесь Господу, Пресвятой Богородице, умоляйте о прощении грехов ваших, молитесь о людях страждущих, несчастных, и любите окружающих Вас и помогайте им. Друг друга тяготы носите и тем исполните закон Христов”. Трижды перекрестил нас и, уронив руку, стал тихо угасать”.

Здесь старенький о. Серафим заплакал, смущаясь и отворачивая лицо от нас. Мы хотели уйти, но о. Арсений остановил нас. Успокоившись, о. Серафим продолжил свой рассказ.

“Монастырь и даже скит еще полусуществовали, я был выброшен из монастыря и поселился в деревне на Николо-Рожке около церкви, которая на высоком берегу возвышалась, белая, стройная. Когда поднимался на колокольню, открывался неопикуемо красивый вид на озеро Селигер с его бесчисленными островами, вдалеке виднелись церкви и колокольни Нило-Столобенского монастыря, дорогого моему сердцу. В 1923 г. меня арестовали, отвезли в город Осташков. Просидел долго, в

тюрьмах издевались всячески и, как “антисоветского деятеля и вредного элемента”, приговорили к пяти годам заключения, конечно, без какого-либо суда надо мной. До 1956 г. находился непрерывно в лагерях. Когда пять лет моего срока кончались, вызывали в управление лагеря и сообщали, что “особое совещание” продлило срок заключения еще на пять лет.

Первый лагерь был Соловецкий (СЛОН). Если во всех лагерях заключенные были бесправны, то в Соловках они были трижды бесправны. Тебя могли отвести за угол храма и без приговора, а может быть, и ради “забавы”, на краю ямы выстрелить в затылок или, повернув к себе лицом и отойдя на пять–шесть шагов, чтобы ты не вырвал направленный на тебя наган, выстрелить в лицо или в сердце и еще полуживого закопать в землю. Видел сказанное своими глазами.

Первое время был на разных работах, но на лесоповал в бригады не брали, в землекопы тоже, слишком был мал и слаб, а использовали на мелких, но труднейших работах: носить сотни ведер воды, разжигать костры в мороз для обогрева охраны и работающих заключенных, да и многое другое, перечислять не буду. Потом у лагерной администрации возникла идея, что выгребать человеческие нечистоты, убирать отхожие места – наиболее подходящая работа для монахов, священников, архиереев. Двадцать восемь из тридцати лет лагерного срока занимался этой работой. В какой бы лагерь ни переводили, сразу назначали на уборку нечистот – возможно, в моем деле имелось такое указание. Работа тяжелая, особенно зимой, ломом и скребком надо счищать смерзшуюся массу, вывозить на санках или таскать в ведрах. Запах въедается в твою одежду, руки, лицо, тебя все сторонятся, ругают, а иногда и бьют. Лагерная администрация с особым удовольствием направляла служителей Церкви на подобные работы, говоря при этом: “Тебе это подручно, ты же из попов”, добавляя богохульные слова в адрес Церкви и обрядов. Господи! Какое же это было бесправие, надругательство, желание оскорбить веру, растоптать человеческую душу.

Иногда приходил в отчаяние – грязный, пропитанный отвратительным смрадом, не мог избавиться от грязи. Воды мало, а зимой она была ледяной. Грязными руками должен был брать хлеб, баланду, кашу, слушать ругань, обращенную ко мне. Было ужасно, но угнетало, что, вознося молитвы Господу, Пресвятой Богородице, святым, не мог налагать на себя крестного знамения – руки в грязи, кругом горы грязи. Решил молиться только тогда, когда приводил себя в порядок, мыл руки, лицо, чистил одежду, но заметил, что во время грязной работы суетные мысли стали одолевать меня, уводя от монашеского устройства.

На правильный путь меня наставил архиепископ Иларион (Троицкий) [14]. Мы встретились с ним в Соловках, его также направили на уборку нечистот. “Владыка! – обратился я к нему. – Что мне делать, убираю нечистоты, иеромонах я, обязан денно и нощно молиться, но как могу, грязный, пакостный? Крестного знамения рукой такой не положишь. Что делать? Мысли суетные стали одолевать”.

Владыка Иларион сказал: “Необходимо молиться и молиться так, чтобы окружающий Вас мир ушел и в душе жила только одна молитва. Грязной рукой крестного знамения не кладите на себя, а мысленно возведите глаза вверх, потом вниз, направо и налево. Вы совершите крестное знамение, а в бараке, очистившись от грязи, креститесь рукой. Молясь во время работы, уйдя в молитву, не будете видеть грязь и смрад. Так делаю я, и это помогает переносить все тяжести. Господь избавит Вас от суетных мыслей; вспомните, чему учил Вас наставник и учитель – о. Агапит”. Благословил и, словно проникая во что-то неведомое, произнес: “Вам ли спрашивать меня? Вы были келейником о. Агапита и должны сами понимать, что нужно делать; помогайте всем людям, чем можете, – в этом завет Господа”. Я глубоко чтил Владыку, свято исполнял его завет и помню, что довольно скоро его увезли с Соловков, о чем я жалел. Вначале трудно было собраться, сосредоточиться, но месяца через два, молясь все время, перестал ощущать смрад, грязь и уходил в совершенно иной мир. Рядом становились о. Агапит, о. Иеракс, моя мама, молился так же, как в келье рядом с о. Агапитом, и делая грязную работу, словно послушание, забывал о ней. Душа наполнилась молитвой, и я мысленно крестился движением глаз, как учил архиепископ Иларион. Конечно, бывали дни, когда я не мог собраться, сосредоточиться, уйти из окружающей обстановки, но чем дальше шло время моего лагерного заключения, тем меньше и меньше становилось таких дней.

До 1928 г. пробыл на Соловках, а потом странствовал по десяткам лагерей, был на Вишере, под Пермью, на Воркуте, в разных лагерях Урала и Сибири – в основном эти лагеря занимались строительством больших заводов или закрытых городов. Когда был на Соловках, временно направили в “лесной” лагерь на лесоповал под Кемью, пробыл в нем долго и с ужасом вспоминаю, что творилось в нем. Осенью начался повальный сыпной тиф, умирало до половины заключенных, а в некоторых бараках еще больше. Бараки были нестандартные, построены кое-как, наш барак огромный, длинный – таких бараков никогда не видел – вмещал двести заключенных. Лагерное начальство объявило своеобразный карантин. Буду рассказывать о своем бараке, он был самым

“смертным”. Двери барака закрыли снаружи, внизу двери вырезали лаз, чтобы через него можно было протолкнуть человеческий труп из барака, дрова в барак и ведро с дегтем. Врезали в двери раздаточное окно для передачи пищи. В нашем бараке в день умирало от пяти до двенадцати человек, их подтаскивали к лазу двери и кричали: “Мертвяк!” А дальше их крючьями вытаскивали похоронщики. К вечеру через лаз заталкивали в барак дрова. Два раза в день открывалось раздаточное окно и раздавался крик: “Раздача жратвы”. Заключенные подходили к окошку, им лили баланду в миску, туда же бросали кашу и давали пайку хлеба. Получать пищу подходили только ходячие, остальные были в бреду или настолько слабы, что не могли подняться. Некоторые ходячие заключенные, взяв миски больных, брали для них еду и кормили слабых выздоравливающих или больных, другие получали еду за больных и сами съедали ее, таких было большинство.

На нижних нарах против меня лежал большого роста человек по кличке “Якорь”. Кто он был, я не знал. Первое время, когда он заболел, уголовники внимательно ухаживали за ним, но, увидев, что он умирает, перестали. Когда он был здоров, все в бараке боялись его, был он жесток со всеми. Ухаживать взялся я, недели две ходил за ним и кормил. Уголовник “Якорь” поправился, встал на ноги и навел железную дисциплину в бараке, заставил ухаживать за больными и кормить их. Меня, выходившего его от болезни, не замечал и со мной не говорил.

Эпидемия сыпного тифа, внезапно начавшаяся, так же внезапно и закончилась. Из двухсот человек выжило около шестидесяти. Упомянул о ведре с дегтем – все в бараке во время эпидемии обязаны были натираться дегтем, лежащих обтирали не болевшие. Никогда не слышал о лечении дегтем, но, может быть, он прекратил эпидемию? Я, слава Богу, сыпным тифом не заболел. Ухаживая за больными, по-прежнему убирал нечистоты и барак – уборщик умер.

Прошло дней пять, трупов больше не было. Открыли дверь, сказав: “Болезнь теперь не будете, иммунитет выработался у тех, кто болел, а у неболевших – врожденный”. Послали в барачную баню, выдали даже мыло и “новую” одежду б/у (бывшую в употреблении) и на другой день послали на лесоповал. Господь силы давал на все: за больными ухаживать, работу свою грязную делать, барак убирать и не заболеть сыпным тифом, хотя насекомых по мне сотни ползали. Но когда дегтем начал мазаться, пропали.

Помню, лежу усталый после поверки на своих нижних нарах, подошел заключенный “Якорь”, молча сел рядом со мной и сказал: “Выходил, спас меня, спасибо. Может быть, когда на волю выйдешь, одинокий ты и больной, помощь понадобится, запомни адрес”, – и назвал г. Владимир, далее улицу, дом, квартиру. – “Повтори”, – говорит. Я повторил. “Придешь, скажешь, что от Степана Глушко, помогут. Не бойся”. Протянул руку, пожал мою и ушел. Скоро перевели меня опять на Соловки, прежней работой заниматься. Уголовники не обижали, отбирать было нечего, иногда пайку хлеба выхватывали, да редко это бывало. Господь милостив был ко мне.

С о. Арсением встретились в 1940 г. в обыкновенном лагере, прожили в бараке до марта 1941 г., подружился. Встреча была большой радостью, мы были с ним одного духа, молились вместе, но так, чтобы не заметили, за это в карцер сажали. Если ты один у лежака стоял и молился, но крестного знамения на себя открыто не клал, не трогали, а если двое собирались около нар, то обязательно кто-нибудь доносил: “Попы молятся”. Но в 1941 г. перевели о. Арсения в лагерь особо строго режима, а я свои пятилетние сроки каждые пять лет получал. По здоровью, по силам давно должен был умереть, но Господь незримо хранил. Помните, старец Анатолий Оптинский сказал мне: “Золото ведрами носить будешь”, – вот лагерный срок золотарем и отработывал. Вновь встретились здесь, в Ростове. По произволению Господню Ярославский владыка адрес о. Арсения дал.

Милостив был Господь, после долгих трудностей взяли помогающим священником в один из храмов Тамбовской епархии. Совершил несколько церковных служб, разрешил настоятель исповедовать прихожан, когда народу приходило много. Первое время никто на исповедь ко мне не шел, уж больно вид у меня неказистый, а потом все ко мне да ко мне шли. Настоятель о. Глеб – человек строгий, хороший и молитвенник большой, стал неодобрительно относиться, что ко мне идут, запретил исповедовать и в алтаре помогающим поставил. Сейчас уже не служу, получаю пенсию за то, что несправедливо репрессировали. Ездил в Нилову пустынь, внутрь не пустили, с берега видно, что порушено много, осквернено. Местные рассказывали, что одно время был в монастыре дом для престарелых, в 1938 г. был лагерь для пленных поляков, сейчас – не знаю, что. В скиту, говорили, был сапный институт, вакцину для животных изготавливали, потом закрытый завод или еще что-то, сказать толком не могли.

Побывал на Николо-Рожке – полное разорение, по берегам озера Селигер туристских лагерей много, крик, шум. Посмотрел, погрузил и уехал. Сердце кровью обливалось. Молился о братии монастырской, расстрелянных, замученных в лагерях, убитых и замерзших на этапах, убитых охраной, умерших от голода и в болезнях, перенесших неисчислимы страдания и мучения. Даже на

могиле любимого старца своего побывать не смог. Смерть старца Агапита перенес тяжело. Боюсь даже рассказывать о гибели друга своего – о. Иеракса, тоже келейника о. Агапита, – узнал о ней в 1943 г совершенно случайно. Встретил заключенного, который на Воркуте шел в одном этапе с о. Иераксом, в это время уже полным дистрофиком, болевшим последней формой цинги. Уже не могущий идти, он шел и падал, задерживая движение, и охрана решила его пристрелить, тело бросили в кусты и забросали снегом.

Соизволил Господь по милосердию Своему послать меня в лагерь как монаха, а не сыном царского сановника, приближенного к императору, носящего старинную княжескую фамилию. Не знали следователи Осташкова и Твери об этом: может быть, дела монастыря не посмотрели, а может быть, уничтожены они были. На допросах умалчивал, что в Петербурге жил, Политехнический институт окончил, в протоколах писал – из крестьян. Если бы знали, что братья белые офицеры и живут в Париже, брат Владимир – генерал и в 1938–1939 гг. расстрелян как шпион и враг народа, то в двадцатых годах расстреляли бы за братьев, живущих в Париже, а 1938–1939 гг. – за брата-генерала, но я сам о братьях узнал только в 1958 г.

Сейчас, Господь сподобил, живу хорошо, комната есть, пенсии на житие хватает, а главное, – молюсь все время и церковь почти рядом с домом, на всех службах бываю. Служить не допускают; настоятель говорит: “Вы за штатом”.

Когда в 1956 г. освободили из лагеря, трудно пришлось. Жить негде, деньги, что дали, кончились. Обращался в разные епархии, просил разрешения служить в церкви. В одних за самозванца принимали, не верили, что иеромонах, в других говорили, что церкви закрывают, мест нет; окажут маленькую материальную помощь, – и уходишь. Дошло до того, что милостыню просить начал – было это во Владимире – голодный, замерзаю, с вокзала гонят, отогреться не дают. Помолился Богу, Божией Матери, Заступнице сирых и убогих, и пошел по адресу, что много лет назад дал мне уголовник Степан Глушко по кличке “Якорь” (потом узнал, еще в лагере: был он “вор в законе”). Разыскал улицу, дом, позвонил, открыла женщина в годах уже больших. Говорю: “В двадцатых годах Степан Глушко дал мне Ваш адрес, сказав, если трудно будет, то к Вам обратиться”. Анна Николаевна сестрой Степана была, доброты и милости необычайной. Пустила в дом, а я оборванный, грязный; вымылся, белье дала, одежду потом купила, денег много заставила взять. Предлагала остаться жить у нее. Оказывается, Степан писал или рассказывал, что я его в бараке выхаживал, знала она, что я священник. Рассказала: с шестнадцати лет он по плохой дороге пошел, ничто остановить не могло, так и докатился до страшных дел. Отбыл срок, освободился, приехал во Владимир, прожил неделю, а потом в Ростов-на-Дону уехал. С тех пор она его не видела, несколько писем получила, последнее из Канады, перебрался туда в 1946 г., к себе звал.

Прожил я у Анны Николаевны почти месяц, Царство ей Небесное, – умерла два года тому назад. Доброты была неопикуемой, учительницей работала почти до самой кончины, переписывался и приезжал я к ней не один раз. Уехал я от нее в Тамбов, и случилось чудо: епархиальный владыка принял меня, общих знакомых нашли, выслушал и направил в большое село, где, по милости Божией, сохранилась церковь. Вот в ней до ухода за штат и служил помогающим священником, теперь – на государственной пенсии. Все эти годы, что на свободе живу, бывших столобенских насельников искал; ни одного не нашел – всех поуничтожили.

Отец Арсений! Все рассказал, как мог, устал, благословите отдохнуть”.

Они подошли, благословили друг друга, и о. Серафим ушел в свою малюсенькую комнату, бывшую кладовую.

Вечером приехало несколько москвичей, в столовой собралось десять человек, о. Серафим ушел после ужина отдыхать. Отец Арсений почти весь день лежал, но к ужину вышел и после ужина сказал мне: “Александр Сергеевич! Вы записали воспоминания о. Серафима на магнитофон, включите, и пусть собравшиеся услышат рассказанное. Я принес магнитофон, включил, отрегулировал громкость, и голос о. Серафима вошел в комнату, сидящие внимательно слушали. Запись закончилась, стало непривычно тихо.

“Я знал о. Серафима по лагерю, – произнес о. Арсений, – но не так подробно был осведомлен о его жизни, как мы слышали. Был с ним в одном лагпункте и бараке несколько месяцев и до глубины души поражаюсь его отношением к окружающим заключенным. Он физически был слабым человеком и по лагерным нормам обязательно должен был быть объектом издевательств и развлекательных избиений с постоянным отнятием хлеба, но все складывалось по-другому. Его не избивали, не отнимали пайку и даже по-своему уважали. Немошный старик, усталый от грязной работы, он постоянно о ком-то заботился. Был ли это осужденный по 58-й статье, “вор в законе”, бытовик или один из представителей шпаны, – все для него были равны, помощь от беспредельной доброты о. Серафима правильно понимали и принимали.

Заметьте, о. Серафим даже не упомянул о физической и духовной помощи, оказывавшейся им заключенным, в основном говорил, как важна молитва для человеческой души и окружающих людей, говорил о работе и ни разу не упомянул, как помогал сокамерникам понять, осмыслить ложность своего пути, а я видел все это своими глазами. Отец Серафим воспринимался мною – возможно, скажу резко, но образно – реставратором загрязненных душ человеческих. Да, именно – реставратором. Осторожно, так же, как скальпель реставратора-иконописца маленькими кусочками снимает слой темной олифы и затвердевшей пыли с иконы с опаской повредить подлинник, так и о. Серафим осторожно, бережно подходил к человеку, в его душе снимал каждый раз греховные наслоения я обнажал вначале маленький просветленный кусочек души, увеличивая и увеличивая его, и, наконец, очищал ее от скверны греха. Какая же осторожность и духовная внимательность были нужны к поврежденной душе, чтобы не сделать больно тем, что ты пытаешься направить человека по светлому пути, не задеть самолюбие, не показать ужасающую греховность – ведь этим тоже можно оттолкнуть человека, он может подумать: “Я так грешен, что мне уже нет спасения”.

Долго и внимательно наблюдал я за о. Серафимом, хотел заимствовать его духовный опыт и иногда не понимал, как он просветлял душу такого человека, которому, казалось, нет прощения. Старец Агапит передал о. Серафиму весь свой духовный опыт, накопленный годами молитвы, постижением духовной мудрости, подвигом старчества, общения с людьми. Я уже когда-то говорил, что каждый человек, приходя к старцу, священнику, получает от него духовный запас, который постепенно расходует. Так же и иерей, старец, общаясь с человеком, невольно воспринимает от пришедшего в духовном общении что-то новое, духовное, накапливая в себе духовную мудрость, и это приводит к проникновению в душу человеческую, что многие называют прозорливостью. Есть прозорливость, даваемая Господом праведникам как дар Божий, но есть прозорливость, приобретенная по милости Бога долгим духовным опытом, как результат молитвы, общения со многими духовно обогащенными и просто страждущими людьми. К каждому человеку о. Серафим подходил, исходя из его индивидуальности, образа жизни, психики, степени его греховности, и своим духовным взором видел и ощущал его душу.

Вы слышали сейчас рассказ о жизни большого старца, необыкновенно скромного; в своих воспоминаниях нигде не выставлял он себя, все время был в тени, говорил не о себе, а об окружающих его людях. Когда я молюсь с о. Серафимом, душа моя наполняется светом, возникает внутреннее очищение и отдаление от всего земного. Послезавтра увезут меня в клинику, отсутствовать буду больше месяца, станут приезжать иногородние мои духовные дети, я попросил о. Серафима заменить меня”.

Беседа закончилась. В Москве я прослушал записи, отредактировал, как умел, где-то вставил слова для связи от себя, но строй воспоминаний оставил таким, как рассказывал о. Серафим. Через день о. Арсений уехал в Москву, приезжали иногородние и, не застав его, рассеивались. Но Надежда Петровна говорила им что о. Арсений болен и просил приехавших обращаться к о. Серафиму. Понимая, что изменить ничего нельзя; шли на исповедь и потом рассказывали, что о. Серафим – необычайно хороший священник и они получили большую духовную помощь. Некоторые удивлялись, что, спрашивая совета, получали неожиданный ответ: “Вы уже раньше спрашивали об этом о. Арсения, зачем спрашиваете меня?” И о. Серафим в точности повторял то, что ранее творил о. Арсений: “Никогда не спрашивайте об одном и том же у разных священников, можете получить разные ответы, и это смутит вашу душу”. Мне с о. Серафимом пришлось встречаться трижды, но уже тогда, когда о. Арсений был дома. Прожил о. Серафим у о. Арсения четыре месяца.

Записал Александр Брянский.

Из архива В. В. Быкова (получено в 1999 г.).

ОТЕЦ ОЛЕГ

14 мая 1973 г.

В тот день среди собравшихся у о. Арсения находился о. Олег. Обратившись к нему, о. Арсений попросил его рассказать о себе. На мгновение воцарилось молчание, потом о. Олег, в миру Олег Викторович, перекрестился и начал рассказ.

“В армию взяли меня в июле 1941 г. До 1944 г. не был ни ранен, ни контужен, участвовал во многих боях и дослужился до звания сержанта.

Знал: Бог существует и всегда бывает с человеком, но особой веры не имел. Жили в общей квартире в Лефортове, мать с отцом в церковь не ходили, но дома застольные разговоры о Боге велись, – так, между прочим. В одной из комнат нашей многолюдной квартиры жила девушка Надя (Надежда Владимировна) лет двадцати трех, мне, одиннадцатилетнему, казалась старой. Человек

добрый, радушный, гостеприимный, младшего брата Николая и меня часто звала к себе в комнату, пила чаем, угощала и интересно рассказывала о жизни святых, библейские и евангельские истории, апокрифические сказания, повести и рассказы шведской писательницы Сельмы Лагерлеф. Все, о чем сейчас говорю, слово “апокриф”, имя Сельмы Лагерлеф и многое другое узнал только через несколько лет, в детском возрасте не запомнилось, но через призму этих рассказов тети Нади твердо усвоил, что Бог существует и знает все. Рассказывала она очень хорошо, слова: “Господь Иисус Христос”, “Божия Матерь”, “апостолы”, сведения о святых, также понятия о добре и зле впервые были услышаны от нее. Иногда тетя Надя помогала нам готовить трудные уроки.

Вся квартира знала, что тетя Надя ходит в церковь Петра и Павла на Солдатской улице, соблюдает церковные праздники и посты, но никто на нее не доносил, ее любили за доброту, отзывчивость и безотказность, когда просили что-то сделать или помочь ухаживать за больным. Мама и папа дружили с ней и знали, что мы, дети, ходили к тете Наде слушать ее рассказы и знали, о чем они были. Вот так брат и я услышали о Боге. Помню, тетя Надя уговаривала маму и папу крестить нас. Папа соглашался, мама возражала, но потом “махнула рукой”, сказав: “Если дети не против, то мне – все равно”.

Крестил нас дома, в комнате тети Нади, священник из храма Петра и Павла, был ласков и добр, провел с нами беседу, сказав: “Теперь у вас две матери – родная и крестная мать, Надежда, и она будет заботиться о вас наравне с родной мамой”. Священник был молодой (сейчас он – глубокий старик, служит в другом храме, перенес ссылку и лагерь).

Тетя Надя заботилась о нас и через девять лет вместе с мамой и папой проводила на фронт. Конечно, я был в пионерах, комсомоле, но это носило формальный характер. Брат никогда не хотел вступать в эти организации и впоследствии стал глубоко верующим человеком, папа с мамой под влиянием тети Нади тоже пришли к вере.

В 1944 г., пройдя три года войны, оказался под Ленинградом, немцы отходили с тяжелыми боями и потерями, дрались ожесточенно. Наши части наступали, но на нашем участке фронта немцы окопались – окопы в полный профиль, высокий бруствер (насыпь земли перед окопом в сторону противника). Была долгая вражеская артподготовка, потом пошли немецкие танки, наши подбивали их из орудий, а я с напарником – из противотанкового ружья. Подбили мы два танка, но немцы прорвались и стали “утюжить” наши окопы. “Утюжить” – значит наехать на окоп и, пройдя по нему гусеницами (траками), раздавить солдат, оружие, разрушить окоп, засыпать, закопать обороняющихся.

На меня с напарником наезжал танк, мы стреляли по нему, но он двигался вперед, перелез бруствер и стал утюжить окоп; земля осыпалась, танк ревел, заглушая все. Я оказался под ним, гусеницы почти задевали меня, окоп оседал, оседал также и танк. Я был засыпан землей, танк ворочался надо мной. Понял: буду раздавлен и превращен в бесформенную грудку человеческого мяса, смешанного с землей.

Не смерть пугала меня, а именно то, что буду раздавлен. Не страх охватил меня, а – беспредельный ужас, который выразить не могу даже в малой степени. В этот момент то, что говорила тетя Надя о Господе Боге, Матери Божией, вспыхнуло в моем сознании, я произнес, лежа под вертящимися гусеницами танка: “Господи Иисусе, Сыне Божий! Пресвятая Богородице! Спаси и помоги!” Всю свою душу, все, что сохранилось от леденящего ужаса, вложил в неистовую мольбу Богу и Пресвятой Богородице. В сотые доли секунды пронеслись эти мысли, и вся моя жизнь возникла передо мною. Да, да! Вся жизнь прошла в это мгновение, но особенно четко пронзала мысль о Боге, моей вине перед Ним.

Вероятно, танк был надо мной секунды, но огромный строй мыслей о Боге, Его милости, всепрощении, о необыкновенной Доброте Богородицы, тете Наде, ее поучениях и заботах и о том, почему забывал Бога возник во мне. Если рассказывать подробно, то это заняло бы много времени, да и не нужно; тогда и сотые доли секунды я снова прожил всю свою жизнь.

Танк, проутюжив окоп, пополз дальше, но был подбит, об этом узнал позже. Бой был скоротечный, немецкую атаку отбили, меня солдаты отрыли, вытащили, влили в горло водку; очумело сидел некоторое время, но быстро пришел в себя. Подошел лейтенант, грязный и черный, как мы все, взглянув на меня, удивленно воскликнул: “Ребята! Взгляните на Киселева, он весь седой!” И действительно, за несколько мгновений, проведенных под гусеницами, поседел. Когда после войны приехал домой, мама, отец, тетя Надя и жильцы коммуналки с удивлением смотрели на меня.

Там же, на поле боя, дал обещание Господу Богу и Пресвятой Богородице изучить учение Православной Церкви и стать священником.

Вернулся в Москву после армии, окончил МГУ и стал изучать церковную историю, богослужение, патристику, Закон Божий и многое другое, что связано с православием, готовился к принятию священного сана. В те годы на этом пути стояли огромные препятствия, но добрый и верный мой наставник и друг – тетя Надя помогала, доставая духовную литературу, знакомя с глубоко верующими людьми, знавшими службу тайными священниками. Тетя Надя сама передала мне огромные свои духовные знания и являлась моей наставницей и руководительницей. Она познакомила меня в 1950 г. с Ташкентским епископом Гурием, с которым дружила долгие годы и была его духовной дочерью. В том же 1950 г. он рукоположил меня в диакона, через три дня – в иерея, я подробно рассказал ему о своей жизни, бое, обещании, данном в окопе; конечно, ранее все это было рассказано тетей Надей, а также священником о. Ф. [15], служившим в Ташкенте и хорошо знавшим меня.

Рекомендовал меня посвятить в сан иерея и замечательный священнике. М., ныне служащий в Богоявленском соборе в Москве. Он знал мою жизнь, чудесное спасение в закопанном окопе, обещание стать иереем и о той духовной подготовке, которую я прошел под руководством Надежды Владимировны.

Рукоположение в сан священника являлось в те годы настоящим чудом для человека, не имевшего духовного образования. Но владыка Гурий не побоялся это сделать. В 1953 г. архиепископ Гурий, управляя Саратовской епархией, несмотря на возражения уполномоченного, взял меня в один из небольших городов области в церковь вторым священником, и там я служу до настоящего времени. К о. Арсению привела меня в 1962 г. моя наставница и хранительница монахиня Мария (Надежда Владимировна, принявшая тайный постриг).

Великой милости Господа, Пресвятой Богородицы, заботам монахини Марии и духовному покровительству и доброте епископа Ташкентского Гурия обязан я посвящением во иерея; служу в храме святителя Николая, денно и ночью благодаря Господа Бога и Матерь Божию за оказанную мне милость и за тех, кто помог придти к вере.

Сейчас мне 53 года, давно женат, двое детей – дочери 23 года, сыну 21 год, тетя Надя (монахиня Мария) живет в нашей семье, ей сейчас 75 лет, помогает в церкви, изредка уезжает в Москву, где живет наша дочь Елизавета.

Через всю мою жизнь проходит милостивое покровительство Пресвятой Богородицы ко мне, грешному человеку, часто молюсь Ей о предстательстве к сирым, убогим, грешным, обидимым, страдающим от болезней, несчастий и бед. Вслушайтесь в слова молитвы к Богородице, и вы почувствуете все величие Ее милосердия к нам, грешным”, – и о. Олег прочел молитву:

“Царице моя преблагая, надежде моя Богородице, приятелище сирых, и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь: помози ми, яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покроеши во веки веков. Аминь”.

Во время чтения молитвы послышался тихий плач, вся в слезах стояла Надежда Петровна. Отец Арсений встал, подошел и, благословив ее, усадил на стул. Чтение этой молитвы о. Олегом словно вдохнуло в каждого из нас благодать и объединило.

Возможно, более минуты в комнате стояла тишина, нарушил ее о. Арсений: “Сколько помощников послал Господь о. Олегу, и каждый из них помог найти дорогу к Богу. Монахиня Мария первая заложила зерна веры в детские души совершенно чужих для нее детей, не побоялась, а время было опасное. Обратите внимание, какими мудрыми путями привела эта молодая девушка детей к восприятию веры: не сухими словами и нотациями, а чтением рассказов из священной истории, из житий святых мучеников и подвижников; этим она погружала детей в сокровенный мир христианства, в его духовную теплоту и проникновенность. А когда души детей восприняли услышанное о вере, добре, любви к ближнему, научила молитвам, которые прошли с ними через всю их жизнь. Отец Олег в своих воспоминаниях забыл упомянуть об этом, но подробно рассказывал мне. Дети, выросшие в совершенно неверующей семье, пришли к Богу, старший стал священником – о. Олегом, да и родители тоже пришли к вере и постоянно ходят в церковь Петра и Павла в Лефортове.

Не буду скрывать, что у некоторых сидящих здесь моих духовных чад растут или уже выросли дети, не ходящие в церковь, малoverующие или совсем без веры. В воспоминаниях о. Олега вы видите путь, который приводит ребенка к Богу, – это добрые и теплые христианские рассказы. Станьте в своих семьях “тетей Надей” с ее увлекательными христианскими повестями.

Моя мама, Мария Александровна, – говорил о. Арсений, – была мудрым и незаурядным человеком, ее отношение ко мне было двояким: как к родному сыну и как к творению Господа,

которое надо сохранить и воспитать в глубокой вере к Творцу, и она считала себя ответственной перед Ним, ибо Он вручил ей человеческую душу.

Все мое детство прошло на глубоком восприятии христианства. Мама так же, как монахиня Мария, с самого раннего возраста воспитывала во мне веру и доброту, любовь к человеку. Рассказы об Иисусе Христе, Божией Матери, пересказы евангельских и библейских историй, апокрифы, жития святых и многое другое вошло в мою душу, легло основой на всю жизнь; каждая выученная в детстве молитва пояснялась не один раз. Я, как все другие дети, играл, шалил, резвился, иногда и дрался, но мое внутреннее “я” было полностью проникнуто верой. Конечно, возникали трудности, сомнения. Постоянно читал, чтение захватывало меня, из-за него сокращал сон, прогулки. До 1917 г. выпускалось огромное количество книг, написанных “прогрессивными” профессорами, писателями левого направления, разного рода учеными, в которых под видом изучения природных явлений, научных открытий и изысканий, а то и просто оккультных наук велась самая настоящая антирелигиозная пропаганда, а иногда проповедовались демонические учения. Активно велась работа против Православной Церкви, опорочивалось все и вся. К сожалению, об этом сейчас забыли или хотят помнить только хорошее: “раньше было хорошо”; а это “хорошо” и привело к революции.

Антихристианские книги, высказывания, нападки на Церковь, конечно, встречались мне, но то, что было заложено с детства в мою душу мамой, давало возможность полностью отвергать глупость, злобность, псевдонаучность, и я понимал ложность написанного благодаря своему христианскому мышлению и вере в Бога.

Моя просьба к о. Олегу рассказать о путях, приведших его к Богу, была вызвана желанием показать, что Господь посылает человеку, стремящемуся к Нему, помощников и руководителей; кроме того, хотелось обратить внимание на важность воспитания наших детей в духе православия. Необходимо с самых ранних лет рассказами о святых, евангельскими и библейскими примерами внедрять в душу ребенка веру в Бога, любовь друг к другу и помогать молиться, объясняя смысл и содержание молитвы, как поступали моя мама и тетя Надя – монахиня Мария.

Говоря с многими родителями, слышу, что дети с самого раннего возраста знают много сказок, но содержание их не имеет ничего христианского, православного. Это: “Айболит”, “Дядя Степа”, “Золотой ключик”, переделанные русские сказки с упором на лешего, бабу-ягу. Что они могут в нравственном отношении дать ребенку?

Спасибо, о. Олег, за добрые воспоминания! Да хранит Господь всю Вашу семью и доброго, хорошего человека – монахиню Марию”.

Записала Ксения Галицкая

Из архива В. В. Быкова (получено в 1999 г.).

ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ

Видела я этого человека впервые, на вид ему было около 60 лет, среднего роста, совершенно седой, с клиновидной бородкой и удивительно добрыми и выразительными глазами. Он сидел ко мне боком и оживленно разговаривал с о. Арсением о каких-то знакомых. Обед закончился, со стола было все убрано, но батюшка в свою комнату не ушел, и мы остались сидеть.

“Давайте послушаем Илью Николаевича, мы с ним более семи лет прожили в одном лагпункте и даже в одном бараке. Потом его направили в девятый лагпункт на добычу руды в подземных шахтах, я продолжал оставаться по-прежнему в пятом лагпункте. За проведенные вместе годы стали большими друзьями и иногда после вечерней поверки говорили на богословские темы. Илья Николаевич происходит из немцев Поволжья, крещен в протестантском исповедании. Был убежденным атеистом, окончил Военно-политическую академию и был офицером в пограничных войсках. Удивил меня Илья Николаевич тем, что первым заговорил со мной о Боге и, как он потом признался, захотел узнать, что представляет собой православный священник, насколько сам верит в существование Бога, искренен ли. По душе пришелся он мне, и неизмеримо стало жалко, что Бог не живет в его душе.

Илья Николаевич постоянно расспрашивал, я отвечал на вопросы. Первое, что я сказал ему, – что без Бога человек не может жить полноценной жизнью, рассказал о Православии, о богослужении, о Евангелии и Деяниях Апостолов, приводя по памяти отдельные тексты и поясняя их, даже читал отдельные молитвы. Илья Николаевич не возражал, только слушал, но я видел, что сказанное мною он не воспринимал душой, а только принимал к сведению. Он изучал, что это такое – вера и ее слугитель.

Моя память теперь удивляет меня самого, но память Ильи Николаевича была поразительной, феноменальной – все, что я ему говорил: тексты, молитвы, события из истории Церкви и многое

другое – он запоминал с первого раза и даже спустя долгое время мог повторить слово в слово. Я верил, что Господь приведет его к Себе. Вот краткий мой рассказ об Илье Николаевиче, остальное расскажет он сам”.

Илья Николаевич начал:

“В лагерь особо строгого режима без права переписки я попал, как туда попадали все, кому расстрел заменялся этим лагерем смерти. Вначале трудно было, тем более что фамилия у меня немецкая – Шнейдер. Она вызывала у многих ненависть, но уже месяца через три нашел “свое место” в барачном “обществе”.

Однажды кто-то сказал мне: “Видишь человек стоит, это – поп, постоянно всем помогает. Понять не можем: зачем? Зовут его о. Арсений”. В моей жизни это был первый встреченный священник, да еще с такой странной характеристикой. Заинтересовался я, подошел и сказал: “Здравствуйте, о. Арсений”. – “Здравствуйте”, – ответил он, и началась дружба священника и бывшего политработника, офицера погранвойск. В жизни все подчинено Промыслу Божию. Много духовно интересного рассказал мне о. Арсений. Все это, ранее никогда неведомое и неслышанное, усвоил умом, но в душу вера не проникла.

Пять лет мы провели в одном бараке, и вдруг направили меня на девятый лагпункт. Лагерный пункт был большой, добывал в шахтах руду. Первый раз спустился в шахту, тусклый свет в главных галереях, в штреках – темнота, свет – только от своей лампы с аккумулятором, жутковато. Проработал пять месяцев, начал понимать кое-что в горном деле и увидел: работы ведутся наспех, крепление плохое, хотя заготовленного на поверхности крепежа – целые штабеля, но техника безопасности не соблюдается. Говорить, советовать нельзя, ты зек (заключенный), хорошо, если ударят кулаком в морду, а то и в карцер пошлют, и весь разговор.

Вели по породе длинный извилистый штрек, крепление ставила специальная бригада. Утром спустились в шахту, начали работать. Легонько сверху осыпалась порода, внезапно затрещало, воздушной волной сшибло с ног, и уже лежа я увидел: на меня опускалась огромная глыба. Опускалась медленно, потом остановилась. Я оказался лежащим словно в пенале высотой сантиметров шестьдесят, шириной около метра, левую ногу чем-то сильно зажало. Из-под завала слышались стоны, а рядом работавший уголовник Ширяев был придавлен и отчаянно кричал, но потом затих, умер. Стоны и крики еще некоторое время продолжались, но вскоре наступила тишина. Я кричал, но никто не отзывался. Лежу в образовавшемся “пенале”, могу даже опереться на локти, повернуться не могу из-за зажатой ноги. Выключил лампочку, остался в темноте. Надежды на спасение нет никакой, главное – смерть будет длительной и мучительной. Что делать? Да ничего нельзя сделать. Пережил внутреннее отчаяние и вспомнил мои беседы в бараке с о. Арсением. Знал его глубокую веру в Бога, и мысль, которая ранее не приходила мне в голову, явилась сейчас в ожидании мучительной смерти. Если такой человек, как о. Арсений, верит в Бога, значит, Он существует, – и я стал горячо молиться, вспоминая все, что ранее говорил батюшка.

Лежу и молюсь, читая молитвы, а между ними повторяю: “Господи, помоги! Господи, помоги!” – многие десятки раз. Нога левая болела, но, молясь, незаметно уснул. Проснулся, мучила жажда, но воды, конечно, не было. Вновь молился и засыпал. Сколько прошло времени, не знаю. Я был беспомощен, нога все больше и больше болела, но Господь давал силы молиться, и я собирал всю душевную волю, чтобы войти в слова молитвы. Утихала боль в ноге, жажда и голод не возникали. Одет был довольно тепло, в шахте была вечная мерзлота, поэтому перед спуском в нее надевали все, что могло удерживать тепло тела. Сколько времени пролежал в завале, не знаю, у меня было два состояния: постоянная молитва и провалы в сон.

Вдруг услышал работу пневматических зубил о породу и удары, вскоре меня откопали. Оказалось, что в завале без пищи и воды пробыл семь дней. Нога болела, но повреждений в ней не было [16]. Удивительным было то, что, вытащив меня на поверхность и дав выпить две кружки воды, представитель особого лагеря начал меня, совершенно больного, допрашивать: “Что случилось? Почему?” Но потом быстро отпустил, и меня доставили в больницу. Спустившись в шахту не верящим в Бога, теперь я стал искренне верующим человеком благодаря милости Господней ко мне и той духовной работе, которую долго и вдумчиво проводил со мной о. Арсений.

Под завалом погибло семнадцать человек, из всей бригады в живых остался я один. Горный инженер из заключенных говорил мне, что в известной ему литературе не встречал, чтобы в обрушившемся забое человек мог прожить семь дней без воды, еды и при температуре вечной мерзлоты. Господь по молитвам о. Арсения и по Своей милости совершил чудо и спас меня.

С девятого лагпункта после аварии возвратили на пятый, где еще два года пробыл с о. Арсением. Освободили меня в 1956 г., о. Арсения – в 1958 г. Через его духовных детей разыскал его, и он по-прежнему опекает меня. Вероятно, удивлю вас, но с 1964 г. стал диаконом. Это уже другая

моя жизненная история. А благословил меня на этот путь тоже о. Арсений, сидящий сейчас с нами”. И, встав, диакон отец Илья подошел к о. Арсению, сказав: “Благословите, батюшка”. Отец Арсений благословил, обнял и поцеловал о. Илью. Когда все снова сели, о. Илья добавил: “Аварии на шахте расследовали: “оказалось”, что установили плохое крепление, – это было всем видно до обвала. Расстреляли инженера по безопасному ведению работ и пять человек совершенно неповинных заключенных-крепыльщиков. Особый отдел, вероятно, считал: закон восторжествовал, справедливость утверждена.

Однако через год меня снова несколько раз допрашивали о причине аварии и почему я один остался жив”.

Записала Кира Бахмат.

Из архива В. В. Быкова (получено в 1999 г.).

ПОЭТЫ “СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА”

Август 1972 г. – 1980 г.

В 1972 г., в августе, я приехал с женой в отпуск в г. Ростов к о. Арсению, намереваясь прожить недели три. Через знакомых сняли небольшую комнату. Жить у Надежды Петровны не представлялось возможным: каждый день приезжали к батюшке духовные дети и, переночевав одну ночь, уезжали, а мы приехали на долгое время.

С о. Арсением меня связывало не только то, что он был моим духовным отцом и руководителем с 1920 г., но и то, что мы учились в одной гимназии, дружили, родители были знакомы “домами”, часто встречались и любили друг друга.

Я родился в 1893 г. и был старше Петра (о. Арсения) на год. Наша дружба началась в детском возрасте и продолжалась до 1915 г., когда я в 22-летнем возрасте, на один год раньше, закончил университет и сразу добровольцем пошел в армию. Направили в пехотное офицерское училище, по окончании получил чин прапорщика и был отправлен на фронт. Знал, что Петр из-за болезни сердца был освобожден от военной службы и, как окончивший университет, по какому-то закону не подлежал призыву, да при этом был еще единственный сын у матери.

С 1915 г. по 1920 г. я воевал и о Петре ничего не знал, а если говорить откровенно, почти забыл. На Южном фронте был ранен, провалялся в госпиталях, признали негодным к военной службе и демобилизовали.

Возвратившись в Москву к родителям, я узнал, что Петр жив и стал иеромонахом. Удивился. Родители мои рассказали, что Петр несколько лет жил в Оптиной пустыни у каких-то старцев, постригся там в монахи, впоследствии его посветили во иерея, он возвратился в Москву и сейчас служит в небольшом приходе.

Месяца через три после приезда я с большим трудом устроился на работу в учреждение с хорошим пайком. Голод в это время в Москве был сильнейший, мы жили плохо во всех отношениях: у нас отобрали более половины квартиры, отца и мать открыто называли “недорезанными буржуями”, хотя отец был известным хирургом, мама – психиатром, работала в психиатрической больнице, образование получила во Франции. В то время женщины, врачи-психиатры, были редкостью. Папа и мама были глубоко верующими людьми, чем и объясняется их дружба с Марией Александровной, матерью о. Арсения.

Продолжу о житейских трудностях двадцатых годов. Дров не давали, в комнатах стоял невыносимый холод, грелись и готовили на печке “буржуйке”, труба от которой выходила в форточку, тяга была плохая, комната всегда наполнялась дымом, глаза слезились и краснели. Топили книгами, стульями, штaketником от выламываемых заборов. Мерзлую пайковую картошку возили на детских санках. Вода в кранах систематически замерзала, электричество горело вполнакала или полностью отключалось. Списки расстреливаемых заложников помещались на газетных полосах, шли обыски и аресты. Кто завтра будет арестован или расстрелян из “бывших”, или “недорезанных буржуев”, никто не знал. Слова “Лубянка” и “ВЧК” были связаны в сознании людей с арестами и расстрелами.

Шесть лет, с 1915 г. по 1920 г., я в храме не был. В августе 1920 г. решил в воскресный день поехать в храм, где служил о. Арсений, подумав: “Вот отчудил так отчудил мой друг”, но вспомнил, что еще в 1913 г. он увлекался русской стариной и православием.

Вошел в храм, купил три свечи и, всматриваясь в иконы, поставил перед образами Владимирской Божией Матери, Николая Чудотворца и Святой Троицы. Надо сказать, икона Владимирская – самая мною почитаемая и любимая. Вошел в храм, когда читали Апостол. Царские врата были открыты, в алтаре стоял священник выше среднего роста, и я сразу узнал в нем о.

Арсения. Простоял литургию и был несказанно поражен его служением. Мне трудно передать свое восприятие, служба шла по уставу, конечно, все происходило внешне, как во всех церквях, но у меня создалось впечатление, что служил он не отстраненно от стоящих в храме людей (“служба сама по себе, а вы, прихожане, сами молитесь”, – как это бывает во многих храмах), а внутренне был среди них, как бы соединяясь с каждым стоящим в храме и делая его участником своего служения. Сказанное трудно описать, объяснить, это можно почувствовать только душой. Стоя в храме за литургией, я увидел не давнего своего друга Петра, а иерея Арсения, обладающего особой силой, тогда еще мной не полностью осознанной. Была встреча, долгая, радостная, и я стал его духовным сыном, братом небольшой, но крепко сплоченной общины.

Пишу воспоминания в 1980 г., мне уже 87 лет. Многие из нас написали воспоминания по завету батюшки еще при его жизни, все они мною прочитаны. К сожалению, неизведанными путями они распространились в “самиздате” с ошибками, неточностями, перепутанными датами, с самовольным внесением в текст изменений без согласия тех, кто писал воспоминания. При жизни о. Арсения я воспоминаний своих не писал и только сейчас решил беседу, услышанную в августе 1972 г. и тогда же записанную, включить в собранные уже воспоминания, потому что в этой беседе раскрывается ряд дополнительных, многим неизвестных подробностей из его жизни и ранее не высказанных взглядов.

Живя в августе 1972 г. в Ростове, я видел о. Арсения почти каждый день, присутствовал при многих вечерних беседах, но одна из бесед, продолжавшаяся два вечера, хорошо запомнилась мне.

В этот день за столом, как всегда, сидело человек девять-десять (я всегда задумывался, почему местные органы, вероятно знавшие о многочисленных приездах посетителей в дом Надежды Петровны, не пытались принять меры. И отвечал сам себе: Пресвятая Богородица охраняла о. Арсения от бед и напастей). За столом сидел незнакомый мне мужчина, чуть-чуть выше среднего роста, с худым лицом, обтянутым кожей, добрыми, довольно большими глазами, глубоко уходящими под глазницы, приятным голосом. Еще отличали его руки с длинными пальцами, не находившие себе покоя, легкое едва заметное подергивание верхней губы, довольно глубокий и широкий шрам на левой щеке. Он был очень нервным и заставлял себя все время от чего-то сдерживаться – видно, постоянно находился в напряжении. Вероятно, жизнь прожил нелегкую и когда-то много страдал. К о. Арсению он обращался с неизменной почтительностью.

Вначале, как всегда после чаепития, разговор был общий, но кто-то из сидящих женщин упомянул поэта Блока, а потом Сергея Есенина, при этом было сказано, что они верили в Бога и были в душе православными. Отец Арсений осмотрел сидящих и сказал: “Это очень интересная и нужная тема”. – И обратился к неизвестному мне человеку со шрамом на лице: “Илья Сергеевич долгие годы вращался в литературной среде и хорошо знал многих поэтов первой четверти двадцатого века, в том числе упомянутых Блока и Есенина. Прошу Вас, Илья Сергеевич, рассказать о поэтах “серебряного века” и об их отношении к Богу, Церкви и православию. Илья Сергеевич, пожалуй, как никто другой знает эту проблему”.

Илья Сергеевич ровным голосом начал рассказывать:

“В 1906 г. было мне 20 лет, родился в Санкт-Петербурге в 1886 г., сейчас мне 86 лет. Учился в университете и буквально бредил Блоком, Ходасевичем, Брюсовым, Бальмонтом, Андреем Белым, Соллогубом. Была мечта познакомиться, войти в их круг, познать “аромат их поэзии” и приобщиться к великим литераторам, несущим свет и радость людям. Но это была только мечта, войти в этот круг было невозможно.

Однажды совершенно случайно разговорился с одним из студентов своего курса, услышал, что он знаком с некоторыми поэтами и может познакомить меня даже с Блоком. Действительно, через несколько дней студент Юра Светлев позвал меня на литературный вечер, подвел к Александру Блоку и представил. Вероятно, я смотрел на него влюбленными глазами, заметив это, он подал руку, сказал: “Рад знакомству” и, повернувшись, подошел к кому-то еще. В этот вечер Юра познакомил меня еще с двумя великими “мэтрами”. Я просто обалдел от счастья. В свободное и несвободное время стал постоянным посетителем литературных вечеров, собраний, концертов, лекций. Постепенно примелькался “великим” поэтам и в сознание их вошел знакомым, постоянным почитателем их талантов.

Семья, в которой я вырос, была стародворянской, патриархальной и по-настоящему, глубоко верующей, и все хорошее, что можно было, вложила в меня. Отец, мать, бабушка и две мои сестры-гимназистки постоянно посещали церковь и даже виделись с о. Иоанном Кронштадтским.

Три года я упивался литературной средой, впитывал ее взгляды, сам стал пописывать, подражая то одному, то другому “мэтру”. Конечно, стихи были нелепы и бездарны. Показывал их “великим”, они хвалили снисходительно, но в своих журнальчиках печатать отказывались. Только Николай

Гумилев, прочитав мои стихи, сказал: “Молодой человек! Вы учитесь в университете и написали удивительно глупые и бездарные стихи. Если нет таланта, берите уроки по стихосложению, наши “мэтры”, может быть, помогут”. Я очень обиделся и стал избегать Гумилева.

В семье заметили мое увлечение модными поэтами, вечерами я постоянно отсутствовал, в университете учился “с грехом пополам” (забегая вперед, скажу – университет окончил). Отец и мать уговаривали порвать с литературным окружением, но я преклонялся перед Блоком, Соллогубом, Андреем Белым, Брюсовым и другими.

После окончания университета год бездельничал, потом с огромным трудом “пролез” в редакцию одного журнальчика на незначительную, почти не оплачиваемую должность с гордым названием “секретарь редакции”. Мне верилось, что я вошел в великий мир литературы и поэтов “серебряного века” (это название появилось во второй половине XX в.). Всех этих поэтов окружало несколько сотен поклонников и поклонниц, зараженных духом декадентства, символизма и других “измов”, они вились огромным роем, восхваляя то одного, то другого “мэтра”, и, подражая им, объединялись в группы и вновь распадались.

Среди ожесточенных споров, сплетен и разговоров шла тяжелая и грязная война, полная предательства. Курсистки разных толков, влюбленные в “мэтров”, менялись словно перчатки, но считали себя счастливыми. Папа мой, умнейший и необычайно добрый человек, был не интеллигент (он считал это слово чуждым и не любил его), а интеллеktуал, впитавший в себя русскую культуру, православие, веру, любивший Церковь. Видя мое барахтанье в литературной среде, долго и вдумчиво говорил со мною, убеждая меня порвать со всем этим.

Я взорвался, кричал, что это – моя жизнь, я уже не ребенок, но отец сказал: “Я ни в чем не убеждаю тебя. Помнишь, несколько лет тому назад ты увлекался психологией, прошу тебя только об одном: проведи психологические наблюдения и анализ окружающей тебя среды и твоих “мэтров” и каждый день дома записывай их в журнал. Помни, ты – православный верующий человек и выводы свои сделай с опорой на веру в Бога. Обещаешь?” Я согласился. Отец продолжал: “Я прочел много стихов и произведений Брюсова, Блока, Андрея Белого, Ходасевича, злого и угрюмого Соллогуба и других и понял: в большинстве стихов есть форма и в ней и за ней скрывается содержание, но духовности, согревающей человеческую душу, веры в Бога нет, есть изломанность, претензии на гениальность. Только один поэт – по-настоящему гений, это Александр Блок, но во всем, им прекрасно созданном, живет огромный внутренний надлом”.

Год проводил я психологические наблюдения, записывая их ежедневно в тетрадь, потом сделал анализ и многое, многое увидел по-другому, хотя должен был все это заметить, вращаясь в окружении поэтической среды уже давно.

Неожиданно для родных и даже для себя женился, встретив у знакомых очаровательную девушку, дочь священника отца Михаила, служившего в храме св. Николая Чудотворца. Ксения была верующей, доброй, отзывчивой на чужую беду, человек глубокого и большого ума. Познакомились в августе, а в октябре обвенчались, свадьбу отпраздновали скромно, мои родители и о. Михаил с матушкой были рады.

Я позвал жену пойти со мной на три-четыре литературных вечера и даже познакомил с несколькими “мэтрами”. На одном из этих вечеров присутствовали московские поэты Брюсов и Андрей Белый. Литературные вечера, выступления и особенно знаменитые поэты не понравились Ксении.

“Ты знаешь, – сказала она мне, – все искусственно, натянуто, наигранно, а твои “мэтры” мне не понравились, при всей их словесной изысканности смотрят грубо и откровенно на окружающих женщин, словно на скаковых лошадей”, – и дала мне необычайно исчерпывающий анализ каждого из посещенных ею вечеров.

Беседа с отцом, скептические и тонкие наблюдения Ксении и мои личные наблюдения привели к выводу, который полностью открыл мне глаза на людей, в окружении которых я провел несколько лет. Как же я был слеп, будучи верующим человеком!

Перечитывая и вспоминая прочитанное, а также слушая читаемые ими стихи и поэмы, увидел, что каждый из поэтов постоянно писал и говорил о Боге – и сразу упоминал нечистую силу и дьявола, а иногда здесь же сразу превозносил последних. В сущности, все написанное вело к отрицанию Бога, насмешке над Ним, сопоставлению Божией Матери, святых с фавнами, Афродитой, Аполлоном, дриадами, нимфами, Венерой и тому подобным.

Большинство “мэтров” были теософы, антропософы (например, Андрей Белый), бредили постройкой антропософского храма (где-то в Швейцарии или во Франции), некоторые увлекались учением Елены Блаватской, буддизмом, Тибетом, со значительным видом говорили о неизведанной стране Шамбале, занимались спиритизмом, служили “черные мессы” (Валерий Брюсов), верили в

переселение душ. Один из мэтров доказывал, что переживает сейчас пятую инкарнацию (переселение души) и что во втором перевоплощении был индийским раджей. И наряду с этой смесью религиозных воззрений беспрерывно повторялось слово “Бог”. Что это был за Бог? Понять не представлялось возможным. Особенно открыто свои религиозные воззрения старались не выставлять, но между строк, и не только между строк, “пропитывали” свои произведения своими взглядами.

Каждый поэт недоброжелательно относился к другому поэту, постоянно шли споры, словесные баталии, подсиживания, проявлявшие внутреннее противостояние. Произведения печатались поэтами в журналах, журнальчиках, отдельными тоненькими книжечками, жадно прочитывались почитателями, любопытствующими, особенно молодежью, вселяя в их сознание дух неверия, скептицизма в отношении к Богу, православию, вере и этим самым невольно подготавливая к принятию революционных идей, безбожия и атеизма.

Осознав и поняв при поддержке Ксении, благодаря разговорам с отцом и своим наблюдениям тот огромный разрушительный вклад, который вносили эти поэты в разложение человеческих душ, отравление их вредной мистикой, я внутренне отошел от этой среды “гениев”, но внешне продолжал в ней находиться и работать; все это не украшало меня.

Высказываемые ими мистические и немистические идеи “упаковывались в обложку” красивых слов, изысканную, но часто непонятную, таинственную рифму, что завлекало читателя и внушало ему, что читая написанное, он поднимался над обывательской средой к чему-то таинственно высокому. Впоследствии я прочел много книг, воспоминаний, научных исследований, в которых подробно раскрываются биографии поэтов “серебряного века”, анализируется их творчество, их взаимоотношения, сопоставляются разные течения, но нигде я не нашел ни одного слова о той отрицательной духовной роли, которую они своими творческими “идеалами” сыграли в разрушении России, в подготовке интеллигенции к принятию идей революции. Конечно, все, что писалось о них, выходило в советское время и такие мысли не могли попасть на печатные страницы. Возможно, за рубежом было об этом написано, но я этого не знаю.

Среди этих поэтов я был маленькой величиной, к которой привыкли, как к стоящему стулу, иногда кому-то нужному, а то и незамечаемому, но постепенно из секретарей маленького журнальчика стал секретарем “толстого” журнала, а с 1918 г. почти бессменно работал в Гослитиздате, в “Советском писателе” редактором, старшим редактором, на всю жизнь связав себя с литературой. В 1930 г. мы переехали в Москву, и я работал в издательстве “Советский писатель”. В 1936 г. меня арестовали и приговорили к 10 годам лагеря общего режима, в декабре 1941 г. дело пересмотрели и дали 10 лет лагеря особо строгого режима без права переписки. В этом лагере я встретился с о. Арсением в 1951 г. и стал его духовным сыном.

Перейду к главному: о “духовности” поэтов “серебряного века” и их влиянии на русское общество перед революционными событиями 1917 г.

Начну с того, что большинство поэтов “серебряного века” были на удивление талантливы, а некоторые по-настоящему гениальны, и то, что я буду дальше говорить о них, не является умалением их творческих способностей, желанием принизить или оклеветать написанные ими произведения. Просто попытаюсь рассмотреть их творчество с точки зрения православного человека. Многое написанное ими вошло и войдет не только в серебряный, но и в золотой фонд русской литературы.

Безусловно, гениальным поэтом был Александр Блок. Много, что он написал, было прекрасным, но он “утонул” в “Незнакомке”, в стихах о “Прекрасной даме”. Во всех его произведениях чувствовался надлом, глубокая боль, запавшая далеко-далеко в душу, и от этой надломленности и душевной боли он никогда не мог освободиться. В его стихах упоминались имена: “Бог”, “Пресвятая Богородица”, иногда почти отождествлявшаяся с “Прекрасной дамой”, – я не напрасно сказал “упоминались”, потому что эти слова помогали создавать образы, хорошо рифмовались и накладывали оттенок таинственности, что давало возможность создавать сопоставления. Конечно, Блок верил, что Бог есть, но это был его Бог, только его, но не Господь Русской Православной Церкви. Если внимательно читать его стихи, то это можно легко увидеть, хотя слово “Бог” часто живет в его произведениях. Каждый в мое время читавший Блока не видел истинного Бога в его стихах. Этим он нанес вред многим людям. Возможно, воспитание Блока его матерью не дало возможности найти Господа, а впоследствии на это повлияли отношения, сложившиеся с его женой, Любовью Дмитриевной Менделеевой.

Особым представителем озлобленного отношения к Богу и православию являлся Валерий Брюсов. Он был демонистом, устройтелем “черных месс”, постоянным раскопщиком учений древних религий, особенно египетской, где он старался найти “утраченную тайну”. Своими произведениями он нанес огромный вред молодежи, ибо сам ни во что светлое не верил, крепко связался с темными

силами, и многие его последователи в дальнейшем ушли работать на Лубянку, в ЧК, были “хорошими” следователями. Вы понимаете, как далек был Брюсов от веры, Церкви, Бога.

Сергей Есенин, конечно, обладал гениальностью поэта, глубочайшей лиричностью, тонкостью восприятия, любовью к природе (рябине, березке, клену, к глупому жеребенку), но не имел умственного кругозора, знания его были поверхностные, заимствованные из услышанных разговоров. Философский багаж его ума был убог и беден. В стихах часто он упоминал Иисуса Христа, Бога, Пресвятую Богородицу, некоторых святых, что-то знал из Евангелия и Библии (учился в церковно-приходской школе) и вставлял в строки своих стихов или цитировал эти священные книги, то опираясь на них, то подвергая поруганию. От христианства, Иисуса Христа, Церкви; православия он отрекся еще в 1918 г., написав оскорбительно кощунственное стихотворение, называемое “Инония”, и никогда не считал написанное ошибкой.

Особенностью Есенина была гениальная, непревзойденная лиричность, обращенная к природе, женщине, любимому человеку, к селу, деревне, – думаю, подобных поэтов в России нет. Когда он писал стихи, на него нисходило озаряющее творческое вдохновение, даже не всегда понятное и ему самому, но если стихи или поэма были уже написаны, он становился ограничен, беден, бессодержателен, тускл, пока не наступал новый всплеск поэтической энергии, дающей возможность написать новый лирический шедевр. Отрицательное влияние Есенина на молодежь было огромным, оно характеризуется не только словом “есенинщина”, выразившим разгул и буйство, но и духовным воздействием его антихристианских мыслей и взглядов.

Все же Есенин верил в Бога, но все время осквернял Его образ и не мог найти к Нему верной дороги.

В одном из разговоров со мной он сказал: “Ты понимаешь, я верю и знаю, что Бог есть, есть Божия Матерь, “человеки” не напрасно ходят в церкви, но иногда, когда пишу стихи, хочется мне это все осмеять и сказать свое слово поэта и пророка”. Понять высказывание Есенина было трудно, в нем как бы жили одновременно или по очереди несколько человек: гениальный лирик, человек, пытающийся иметь свою собственную философию, но ничего в ней не понимающий, поэт нежных “персидских” мотивов, лирик природы и женщин, “черный человек” и человек, по воспитанию в церковно-приходской школе православный. Он все время пытался выставить себя перед людьми, показать себя, но из-за отсутствия кругозора и образования не мог охватить то, что ему хотелось. Понимая это, он в бессильном раздражении оскорблял даже Бога. Так я воспринимал Есенина; возможно, многие понимают его иначе. Дополню: у Есенина упоминание Бога, Богородицы, церковных таинств и церковных слов было ничем иным, как удобной словесной терминологией, выражающей определенные поэтические образы, но это было не только у него, а убогих поэтов того времени.

Есенин мог написать теплое и проникновенное стихотворение с православной направленностью и тут же написать другое, оскорбляющее чувство читателя. Приведу по памяти отрывок из одного стихотворения, казалось бы, доброго и хорошего:

“Шел Господь пытаться людей в любви,
Выходил Он нищим на кулишку.
Старый дед на пне сухом в дуброве
Жамкал деснами зачерствелую пышку.
Увидал дед нищего дорогой,
на тропинке с клюшкою железной,
И подумал: “Вишь, какой убогой, –
Знать, от голода качается, болезный”.
Подошел Господь, скрывая скорбь и муку:
Видно, мол, сердца их не разбудишь...
И сказал старик, протягивая руку:
“На, пожуй... маленько крепче будешь” [17].

Но своей поэмой “Инония” он полностью отрекся от религии, от Господа Иисуса Христа.

Андрей Белый (Бугаев) был антропософом, его отношение к Богу основывалось на антропософских воззрениях, противоположных восприятию Бога в нашем православном понимании. Он мог зайти в церковь и поставить свечу, заказать об умершем знакомом панихиду, но это был обычай, традиция, а не вера. Конечно, многое он внес в свои произведения из антропософских мыслей и идей, проникавших и в сознание читателей, но поэт он большой, умный, знающий, обогащенный многими идеями, со своей собственной философией. Считая себя гением и великим поэтом, мечтал о постройке храма антропософов и был враждебен вере, православию.

Соллогуба я не любил, мне он всегда казался мрачным и неприятным человеком, и его поэзия не вселяла в меня радости. По натуре был пессимист, увлекался философом Шопенгауэром. Восставал против Бога, отвергая Его, считая человека центром вселенной.

Я приведу отрывки только из двух стихотворений Соллогуба, которые полностью характеризуют его отношение к Богу и противопоставление Его (Бога) Сатане.

Начало стихотворения:

“Когда я в бурном море плавал
И мой корабль пошел ко дну,
Я так воззвал: “Отец мой, диавол,
Спаси, помилуй – я тону”.

Конец стихотворения:

“Тебя, отец мой, я прославлю
В укор неправедному дню,
Хулу над миром я восставлю
И соблазняя, соблазню”.

И в другом стихотворении продолжает:

“Что мы служим молебны
И пред Господом ладан кадим!
Все равно непотребны,
Позабытые Богом своим.
В миротканной порфире,
Осененный покровами сил,
Позабыл Он о мире
И от творческих дел опочил”.

После приведенных отрывков из стихотворений Соллогуба, думаю, ничего не надо говорить об отношении его к Богу, православию, ничего не надо разъяснять. Следует сказать, что Соллогуб пользовался меньшей популярностью у молодежи, чем Блок, Андрей Белый, Гумилев, Бальмонт и даже Брюсов.

Бальмонт – я много раз встречался с ним, когда он приезжал в Петербург, но никогда не мог понять его внутреннее “я”, был он верующим или нет, не знаю. Поэтический талант имел огромный, считал себя гением, в начале века все читающее общество России увлекалось его стихами. Во всяком случае атеистического или антиправославного начала в его произведениях я не видел, но если говорить откровенно, поэзия его была нежна и благозвучна, но духовно пуста и довольно скоро забылась. Осталась только фамилия Бальмонт как историческая веха в созвездии поэтов “серебряного века”. Однако его творчество в свое время увлекало людей, уводя красивыми изысканными фразами от православия, Церкви, Бога.

Перечислять всех поэтов того периода не буду, главное сказано: упоминание святых имен, церковных слов и цитат использовалось ими для создания кощунственной атрибутики, рифм, сопоставлений – тем более что эти слова были близки русскому человеку, постоянно упоминались в богослужении и в разговорной речи и поэтому были понятны читателю. Это давало возможность поэтам, имевшим “собственного Бога”, искусно вставлять их в свои творения, придавая издевательский смысл, опорочивая православие. Влияние этих поэтов на русскую читающую интеллигенцию было отрицательным, разлагающим и отравляющим душу и часто вело к потере духовности и веры, к нигилизму. Разрушалось духовное сознание общества, нарочитыми сопоставлениями святых понятий с темными осквернялись религиозные чувства людей, во многие сердца поселялись сомнения в вере.

Была особая группа поэтов, куда входили Николай Гумилев, Анна Ахматова, Чулковы, мужи жена, впоследствии Надежда Павлович и в какой-то степени Марина Цветаева.

Несмотря на утверждение советских биографов Гумилева, что он не был верующим, утверждаю, что он был человеком верующим и православным.

Анна Ахматова и дружившая с ней Надежда Павлович были верующими и в своих произведениях никогда не обмолвились ни одним словом в оскорбление Бога. Надежда Павлович была духовной дочерью Оптинского старца о. Нектария и написала прекрасную поэму “Оптина пустынь”, ходящую сейчас в “самиздате”, одно время была духовной дочерью московского священника о. Сергия Мечева, так же как Чулковы.

В 1957 г., после выхода из лагеря, я встретился с Надеждой Павлович и получил от нее в подарок “Оптину пустынь” и несколько стихотворений о старце Нектарии. Встреча была радостной, вспоминали Гумилева, Андрея Белого, Анну Ахматову.

Марина Цветаева всегда была для меня загадкой, встречался с ней до 1918 г. и больше ее не видел. При всей странности (для меня) ее творчества, она была верующим человеком, но со своим обостренным восприятием Бога. Натура ее была сложна и противоречива, выросла она в профессорской среде, где вера не была основой жизни. Все же Бог в ее сознании и душе жил, но Бог особый, личный, только ее Бог.

Перечислять всех поэтов “серебряного века” не буду, все они были разные, и в то же время во многих из них жило что-то общее, соединяющее. Это был русский нигилизм, старавшийся отрицать, осмеивать, абстрагировать устоявшие еще ценности, понятия, взгляды и, конечно, веру, Бога, православие и для себя сотворить собственного Бога, свою религию – в виде теософии, учения Елены Блаватской, антропософии, переселения душ, кармы или, подобно Брюсову, поклоняться нечистой силе и, подобно Есенину, поносить Иисуса Христа, отречься от таинств Церкви и придумывать туманную новую религию для русского мужика.

Тогда мне встречалось много молодежи, которую завораживала ритмика стихов, вычурных сочетаний слов, которая в полунамеках и фальшиво таинственных фразах искала смысл и вывела из всего этого мистические предначертания. Вы можете сказать, что они верили в Бога, – но какого Бога? Созданного своим воображением, ложного и враждебного истинному Богу, и православию”.

Илья Сергеевич закончил свой рассказ и замолчал.

“Вы не упомянули имя одного из самобытных и интереснейших поэтов того периода, Максимилиана Волошина”, – сказал о. Арсений. Илья Сергеевич хотел продолжить свой рассказ, но о. Арсений остановил его и произнес: “Я сам расскажу о нем. В 1924 г. в наш храм по окончании литургии вошел среднего роста коренастый человек с большой бородой, огромной шевелюрой, довольно широким лицом, лучистыми добрыми пытливыми глазами. Все это, конечно, я увидел, когда он подошел ко мне. Подойдя, сказал: “Отец Арсений! Я к вам на разговор, где мы можем спокойно поговорить?” – “Пройдемте”, – и я провел его к скамье, стоявшей у одной из стен храма, предназначенной для престарелых прихожан. Мы сели, я взглянул в лицо пришедшего. Что-то знакомое проступало в его чертах, но я знал, что встреч с ним не было. Видел, что он не знает, с чего начать разговор, и несколько растерян. Решил помочь ему и неожиданно для себя сказал: “Максимилиан Александрович! Я слушаю вас”. – Он вздрогнул и, несколько волнуясь, спросил: “Откуда вам известно мое имя?” Я не знал, что ответить, ибо имя возникло в моей голове внезапно, видимо по произволению Господа. Видя мое молчание, он начал свой рассказ:

“Я действительно Максимилиан Александрович, фамилия Волошин, по “профессии” – поэт, художник-акварелист, не совсем удачный философ-мыслитель, вечный искатель истины, ходатай по чужим делам, выдумщик и человек с не очень удачной (сумбурной) личной жизнью; по своей природе – поэт, художник и мечтатель, любитель красоты, в том числе и женской, и ощущаю свою греховность перед Богом. Живу в Крыму, в Коктебеле, приехал в Москву по делам и для того, чтобы зайти в Ваш храм и переговорить с Вами.

Мне это посоветовал Сергей Николаевич Дурылин, человек верующий и мой добрый знакомый. Я, отец Арсений, все время ищу Бога, ощущаю Его близость и даже неоправданную ко мне Его милость и снисхождение, но я – большой грешник”.

Говорил внешне спокойно, но я чувствовал его внутреннюю напряженность. Я читал ранее многие его стихи, любил их внутренний смысл, знал о его необычайной доброте и о спасении им многих людей от расстрела и заключения. Рассказывали, что он склонен к эпатированию (самовыставлению перед окружающими), но сейчас передо мной сидел усталый, взволнованный и чем-то огорченный человек.

Сергей Николаевич Дурылин был искусствовед, мы были дружески знакомы, хорошо относились друг к другу. Я знал, что он верующий человек, и раза два встречал его в Оптиной пустыни, когда находился там на послушании у старцев. В 1920 г. он принял сан иерея и служил в храме святителя Николая в Кленниках на Маросейке, в общине о. Алексея Мечева, потом о. Сергия Мечева, был арестован, сослан в Сибирь и по возвращении из ссылки (или во время нее) женился на сестре общины – Ирине, поехавшей ухаживать за ним. После этого в церкви он уже не служил, а занимался только литературно-искусствоведческой деятельностью и, возможно, даже снял сан; но я предполагаю, что сана он не снимал, брак был фиктивный, дабы избежать повторного ареста. С. Н. Дурылин был слишком хорошим человеком, чтобы уйти от Бога и веры, однако, его поступок имел негативное влияние и был осужден духовенством, служившим в Москве, я все эти разговоры тогда слышал.

Вот он-то и рекомендовал Волошину встретиться со мной. Мы пошли на мою квартиру, где Анна Андреевна, хлопотливая старушка, моя хозяйка по дому, начала нас кормить чем-то средним между завтраком и обедом. С Максимилианом Александровичем проговорили почти до самой

вечерни, и это была исповедь, рассказ о своей жизни, в которой он жил, и о его окружении. Конечно, содержание исповеди рассказывать не буду, но многое мне тогда было непонятно, только восемнадцатилетнее пребывание в “лагере смерти” научило меня, по соизволению Господа, понимать человеческую душу.

Многое было как у каждого человека, но поражала необыкновенная чистота его души, словно это была душа ребенка. Временами, слушая мои слова, он восклицал: “Конечно, так, верно, я так и думал”. Выслушав исповедь, я спросил: “Максимилиан Александрович, Вы исповедовались, бремя греха снято, скажите, будете стараться не совершать вновь тех ошибок, в которых приносили покаяние?” – и он честно, как-то совсем по-детски, ответил: “Отец Арсений! Конечно, буду бороться сам с собой, но боюсь, что по своей природе слишком приземлен, и где-то и когда-то, в сложившихся ситуациях споткнусь, не совладаю с собой”.

Смотря на Максимилиана Александровича, я понял всю чистоту его души и искренность ответа, отпустил его грехи и причастил.

С 1924 г. до самого моего первого ареста в 1927 г. Максимилиан Волошин приходил ко мне, когда приезжал в Москву, и наши отношения перешли в дружбу. Он очень любил свою мать Елену Отгобальдовну, называя ее Пра (от слова “праматерь”), но мне думалось, что о своих исповедях ей не рассказывал, потому что это лежало в его “запредельном я”.

При наших долгих беседах он читал свои стихи, до глубины души поражавшие меня; помнится, одно из них называлось “Северовосток”:

“Расплясались, разгулялись бесы
По России вдоль и поперек,
Рвет и крутит снежные завесы
Выстуженный северовосток.
Ветер обнаженных плоскогорий,
Ветер тундр, полесий и поморий
Черный ветер ледяных равнин,
Ветер смут, побоищ и погромов,
* * *

Сотни лет тупых и зверских пыток,
И еще не весь развернут свиток
И не замкнут список палачей,
Бред Разведок, ужас Чрезвычайка –
Ни Москва, ни Астрахань, ни Яик
Не видали времени горчей”.

Стихотворение большое, все приводить не буду. Волошина не печатали, потому что в его стихах жила правда о большевистском терроре и о гнете, которому подвергалась человеческая душа. Не знаю, напечатают ли когда-нибудь то, что он написал втайне [18].

В 1931 г., когда я был в ссылке на севере, приехали Кира с Юрой и привезли мне несколько стихотворений Максимилиана Александровича, специально присланных им мне и написанных его рукой, одно из стихотворений, называемое “Владимирская Богоматерь”, сейчас по памяти прочту. К присланным стихотворениям Волошин приложил записку, в которой писал, что “Владимирскую Богоматерь” посылает своим первым двум читателям, мне и своему знакомому художнику-реставратору Александру Ивановичу Анисимову, который принимал участие в реставрации этой великой русской святыни. А. И. Анисимова я хорошо знал. По-человечески был глубоко душевно тронут письмом Волошина и поистине замечательным стихотворением как в духовном, так и в историческом смысле. Конечно, при советской власти оно никогда не печаталось, и никто из вас, кроме Киры и Юрия, его не слышал. Одновременно он прислал несколько отрывков из поэмы “Серафим Саровский”, написав, что ее еще не закончил. Сейчас почти все забылось, в памяти осталось несколько строк:

“Лет с семи с верхушки колокольни
Оступился он. Но чьи-то крылья
Взвились рядом, чьи-то руки
Поддержали в воздухе и невредимым
На землю поставили.
* * *

Богородица сама избрала место

На Руси меж Сатисом и Сарой
Для подвижничества Серафима.
* * *

Болен был помещик Мотовилов
На руках был принесен он в Саров.
Старец строго спросил больного:
“Веруете ль вы в Христа, что Он
Богочеловек, а Богоматерь
Истинно есть Приснодева?” – “Верю”.

Полностью поэму я не читал и думаю, что уже не прочту, все наследие Волошина было изъято и находится в архивах.

Прежде чем по памяти прочесть вам стихотворение “Владимирская Богоматерь”, скажу, что такое произведение мог написать человек, глубоко чувствующий Бога, Пресвятую Богородицу и имеющий в себе веру, даже если своим гениальным поэтическим восприятием что-то осмысливал и воспринимал не так, как все. За написанное стихотворение Максимилиану Волошину многое можно простить, оно входит в душу православного человека великой любовью ко Пресвятой Богородице. Оно радостно, и мы воочию видим историю Родины и то великое Божественное заступничество России, о котором русский народ восклицал: “Матерь Божия, спаси Землю Русскую”.

Любил я стихотворение, называемое “Дом поэта” характеризующее его гостеприимство и любовь к человеку и природе, оно печаталось, найдите и прочтите. Начинается оно словами:

“Дверь отперта. Переступи порог.
Мой дом раскрыт навстречу всех дорог.
В прохладных кельях, беленных известкой,
Вздыхает ветер, живет глухой раскат
Волны...
Войди, мой гость, стряхни житейский прах
И плесень дум у моего порога...
Со дна веков тебя приветит строго
Огромный лик царицы Таиах.
Мой кров – убог. И времена – суровы...”

Волошин нес людям добро, многих принимал в своем доме и сам постоянно находился на грани ареста, лагеря, расстрела. Конечно, поэзия Волошина противоречива, но осудить его за это нельзя. Он был большой поэт, сын своего века и окружения, но был верующим и православным”.

В то время когда Илья Сергеевич рассказывал о поэтах “серебряного века”, а о. Арсений о Максимилиане Волошине, в столовой собралось десять человек, двух женщин я видел впервые. Обе были, вероятно, одних лет, 55–60, одна из них была молчалива, другая, порывистая и подвижная, все время что-то порывалась сказать. Молчаливую женщину, имя которой я узнал, – звали Елизаветой Александровной, вторую Людмилой Александровной. Во время наступившей паузы Елизавета Александровна, обратившись к о. Арсению, сказала: “Батюшка! Я много слышала от своих друзей, сестер нашей общины, о Максимилиане Волошине, а у мужа он – один из любимых поэтов.

Одна из наших друзей, Зоя Дмитриевна Прянишникова (дочь академика), болела с детства костным туберкулезом правого бедра, и в 1918 г. родители направили ее в Крым для лечения со своей знакомой. Но началась гражданская война, длившаяся почти три года, и они остались в Крыму, разобщенные от Москвы войной, без средств к существованию, защиты, помощи и умирали от голода.

Не могу сейчас припомнить, какими путями произошла их встреча с Волошиным, но он и его мама Елена Оттобальдовна взяли их к себе в дом, где они прожили больше года, и потом помогли уехать в Москву к родителям.

Второй наш друг, Елена Сергеевна Волнухина (дочь скульптора Волнухина, автора памятника первопечатнику Ивану Федорову), приехала в Крым для лечения слабых легких сразу после окончания гражданской войны. Ей посоветовали снять комнату в окрестностях Коктебеля. Утром, наняв татарина с арбой, сложила в арбу чемодан, сумки с вещами и сумочку с документами и деньгами и пошла рядом с повозкой.

Отъехали от города, татарин хлестнул лошадь и быстро уехал, а Елена Сергеевна осталась в легком ситцевом платье без вещей и денег. Пошла по дороге в полной растерянности и безысходности. Шла и непрерывно молилась Пресвятой Богородице, возложив на Нее всю надежду.

Вскоре она увидела дом необычной постройки, подошла, постучалась. Разрешили войти, и плача, вся в слезах, рассказала пожилой женщине и мужчине о своем горе.

Впоследствии Елена Сергеевна (Леля) всегда со слезами на глазах и с удивлением рассказывала, что ее сразу приняли, поили, кормили, дали одежду. Прожила Леля у Волошина три месяца, пока не получила деньги от родных на дорогу. Максимилиан Волошин достал ей билет и проводил. Нам Леля рассказывала, что Елена Оттобальдовна и Волошин – удивительные, добрые и гостеприимные люди. Привезла Леля от Волошина много рукописных стихотворений, которые мы переписывали. Я рассказала об этих двух эпизодах, потому что они раскрывают душевный мир поэта и его матери”.

Другая женщина, Людмила Александровна, оказывается, хорошо знала Андрея Белого, дружила с Надеждой Павлович, встречалась с Анной Ахматовой и довольно хорошо знала Брюсова и Надежду Чулкову.

Разговор о поэтах и их литературных взглядах и об отношении к Богу, вере, православию велся в течение двух вечеров. В конце второго вечера о. Арсений рассказал, что сам, будучи юношей, отдал невольную дань увлечению поэтами “серебряного века”.

“Вы знаете, – говорил он, – увлечение этими поэтами было повальным, модным, почти все читающее общество знало их стихи, особенно Блока, его стихотворения произносились почти во всех домах. Куда ни придешь, слышались слова: “О доблестях, о подвигах, о славе...” или “Под насыпью во рву некошенном...”, “Что же ты потупилась в смущении?”

Любили Игоря Северянина, Николая Гумилева и других, но я быстро осознал их внутреннюю духовную пустоту, не совпадавшую с моим миропониманием. Однако, некоторые стихотворения Гумилева я люблю, в основном из “Африканского цикла” – это “Носорог”, “Жираф”, “Ягуар”, “Гиена” и даже “Озеро Чад”. Значительными его стихотворениями являются “Андрей Рублев” и “Рабочий”, в котором он как бы предсказывает свою смерть:

“Пуля, им отлитая, просвищет
Над седою вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.
Упаду, смертельно затоскую,
Прошрое увижу наяву
* * *

И Господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век”. [19]

Николай Гумилев был православным и верующим человеком, об этом мне рассказывали люди, близко знавшие его. Конечно, вера его не была полностью церковной, он верил, как большинство интеллигентов того времени.

Отец Арсений обратился к Илье Сергеевичу: “Я Вас прервал и стал вспоминать Волошина, Вы, видимо, хотели еще что-то сказать?” Илья Сергеевич произнес: “Я взял на себя смелость подвергнуть критическому рассмотрению творчество многих поэтов и, возможно, кое-кто со мной будет не согласен, но так я воспринимаю их сейчас душой православного человека”.

Было уже поздно, прочли молитву, батюшка всех нас благословил и ушел в свою комнату, мы стали расходиться. Несколько приезжих ночевали у Надежды Петровны. Я, Елизавета Александровна и Людмила Александровна вышли на улицу – оказывается, у них в Ростове были друзья, у которых они хотели переночевать одну ночь. Вызвался их проводить, вечер был теплый и тихий. Пока мы шли, узнал, что Елизавета Александровна и Людмила Александровна Дилигенская – двоюродные сестры и были сестрами одной когда-то большой московской общины, что их духовный отец давно расстрелян [20], и сейчас Господь привел их к старцу о. Арсению. Они считают это большим духовным счастьем, но, к сожалению, видятся с ним редко. Проводил их до дому, впоследствии встречал в Москве на квартирах, когда о. Арсения привозили в Москву.

Воспоминание двух вечерних бесед записал тогда же, в 1972 г., пока был в отпуске, запись была черновой, и только через несколько лет обработал ее. Стихотворение “Владимирская Богоматерь” переписал тогда же с рукописного оригинала, взятого у о. Арсения.

Владимирская Богоматерь
Не на троне – на Ее руке,
Левой ручкой обнимая шею, –
Взор во взор, щекой припав к щеке,
Неотступно требует... Не мею –
Нет ни сил, ни слов на языке...

А Она в тревоге и в печали
Через зыбь грядущую глядит
В мировые рдеющие дали,
Где закат пожарами повит.
И такое скорбное волненье
В чистых девичьих чертах, что Лик
В пламени молитвы каждый миг
Как живой меняет выраженье.
Кто разверз озера этих глаз!
Не святой Лука-иконописец,
Как поведал древний летописец,
Не печерский темный богомаз:
В раскаленных горнах Византии,
В злые дни гонения икон
Лик Ее из огненной стихии
Был в земные краски воплощен.
Но из всех высоких откровений
Явленных искусством – он один
Уцелел в костре самосожжений
Посреди обломков и руин.
От мозаик, золота, надгробий,
От всего, чем тот кичился век, –
Ты ушла по водам синих рек
В Киев княжеских междуусобий.
И с тех пор в часы народных бед
Образ Твой, над Русью вознесенный,
В тьме веков указывал нам след
И в темнице – выход потаенный.
Ты напутствовала пред концом
Ратников в сверканьи литургии...
Страшная история России
Вся прошла перед Твоим лицом.
Не погром ли ведая Батыев,
Степь в огне и разоренье сел –
Ты, покинув обреченный Киев,
Унесла великокняжий стол?
И ушла с Андреем в Боголюбов,
В прель и глушь Владимирских лесов,
В тесный мир сухих сосновых срубов,
Под намет шатровых куполов.
И когда Хромец Железный предал
Окский край мечу и разорил,
Кто в Москву ему прохода не дал
И на Русь дороги заступил?
От лесов, пустынь и побережий
Все к Тебе за Русь молиться шли:
Стража богатырских порубежий...
Цепкие сбиратели земли...
Здесь в Успенском – в сердце стен Кремлевых,
Умилясь на нежный облик Твой,
Сколько глаз жестоких и суровых
Увлажнялось светлой слезой!
Простирались старцы и черницы,
Дымные сияли алтари,
Ниц лежали кроткие царицы,
Преклонялись хмурые цари...
Черной смертью и кровавой битвой
Девичья святилась пелена,

Что осьмивековой молитвой
Всей Руси в веках озарена.
Но слепой народ в годину гнева
Отдал сам ключи своих твердынь,
И ушла Предстательница-Дева
Из своих поруганных святынь.
А когда кумашные помосты
Подняли перед церквами крик, –
Из-под риз и набожной коросты
Ты явила подлинный свой Лик.
Светлый Лик Премудрости-Софии,
Заскорузлый в скаредной Москве,
А в грядущем – Лик самой России –
Вопреки наветам и молве.
Не дрожит от бронзового гуда
Древний Кремль, и не цветут цветы:
В мире нет слепительного чуда
Откровенья вечной Красоты!
Верный страж и ревностный блюститель
Матушки Владимирской, – тебе –
Два ключа: златой в Ее обитель,
Ржавый – к нашей горестной судьбе.
1925–1929 гг.
Коктебель.

Приписка о. Арсения (1961 г.): “Предполагаю, что последние четыре строки относились к А. И. Анисимову, реставрировавшему икону Владимирской Богородицы и охранявшему ее от посягательств на дальнейшее раскрытие красочных слоев. Александр Иванович Анисимов был расстрелян в 1937 г.”.

Н. Т. Лебедев.

Из архива В. В. Быкова (получено в 1999 г.).

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ АРСЕНИИ И ЕГО ДУХОВНЫХ ДЕТЯХ, БЕСЕДЫ ОТЦА АРСЕНИЯ, ЗАПИСАННЫЕ КИРОЙ БАХМАТ

Эти воспоминания писались в течение двадцати лет начиная с 1958 г., и представляют отдельные, подчас не связанные друг с другом фрагменты, записанные мною по мере возникновения в памяти.

ВОСПОМИНАНИЯ А. Ф. БЕРГ 1980 г.

С момента основания общины мы познакомились и подружились на всю жизнь с Александрой Федоровной Берг, удивительным человеком, добрым, верующим и большой молитвенницей. Мое отношение к ней всегда было почтительным. Хотя разница в возрасте была только четыре года и в общину мы вошли одновременно, но не могу объяснить, почему всегда звала ее по имени и отчеству, а она меня – Кира. Александра Федоровна сердилась на меня, что не зову ее просто Александрой, но что-то никогда не давало называть ее на “ты” и произнести имя без отчества. Мы любили друг друга, дружили, помогали и вместе молились: Юрий, Саша (я так называла ее за глаза) и я. В последние годы, когда Александра Федоровна почти перестала видеть, она продиктовала мне несколько отрывочных воспоминаний об о. Арсении и о своей жизни:

“Я происхожу из древнего дворянского рода, верой и правдой служившего своему Отечеству. В конце XVI столетия Петр I пригласил моего прапрадеда служить в Россию, и он остался здесь навсегда. Немецкое дворянство перешло в русское, император дал чины и звания. Женился прапрадед на русской, в конце концов забылись немецкие корни, и только одна фамилия напоминала о далеком прошлом.

Отец мой Федор Игнатьевич хорошо знал родословную семьи и в большую кожаную тетрадь вписывал все основные события: кто родился, когда венчался, когда умер, награды, сведения о больших приобретениях и продажах. Первая запись была сделана в 1743 г. Толстые пожелтевшие листы тетради невольно вызвали к ней уважение. Уже несколько десятилетий прошло с тех пор, как ее при моем первом аресте занесли в “протокол изъятия”, и сейчас тетрадь, возможно, лежит в архиве

КГБ или НКВД, а может быть, и уничтожена. Прошла реабилитация, и я попросила “органы” вернуть мне тетрадь. Ответ был расплывчатым и странным: тетрадь признавалась исторической ценностью, имеющей государственное значение, была передана на хранение в архивы Госфонда. Запросила, куда передали, но ответа не получила.

Вспоминаются рассказы моего отца. Маленькой девочкой сажал он меня к себе на колени, приходили сестры Надя и Вера, и он говорил: “Пойду в страну забвения и сказок, возьму оттуда что-нибудь интересное и поведу рассказ”. Некоторое время папа молчал, видимо собираясь с мыслями, начинал повествование, и мы, сидящие вокруг него, погружались в мир волшебных русских сказок, переосмысленных отцом с обязательным введением в них христианских поступков и понятий. Стала старше, папа читал апокрифические сказания или брал толстую кожаную тетрадь с твердыми желтыми страницами и говорил о предках, совершавших героические поступки, вспоминал родословную семьи Берг или читал короткие рассказы ряда писателей. Особенно осталась в памяти повесть Гаршина “Сигнал”.

Маленькой девочкой я просила папу отвести меня в “страну забвения”, он улыбался и говорил: “И у тебя будет своя “страна забвения”. Став старше, я поняла, что это за страна. Сейчас мне 82 года, и моя “страна забвения” – прошлое – огромна, но постараюсь говорить только о добром и хорошем, озаренном верой, духовным руководством о. Арсения, и о том, что показало великую милость Господа ко мне, много грешившей в жизни. Воспоминания буду говорить так, как это позволяет моя стариковская память. Ты, Кира, знаешь, что в моем возрасте прошлое проявляется отдельными пятнами, возможно, в зависимости от настроения, самочувствия и даже от хорошей или плохой погоды. Сейчас я почти слепая и сидя в кресле или лежа, просматривая прошедшее и совершенное мной ранее, оцениваю многое совершенно по-другому. Вижу свои ошибки, совершенные несправедливости, обиды, нанесенные людям, множество совершенных грехов, малую устремленность к Богу, но исправить уже ничего не могу, все осталось в прошлом, и единственный путь – это молитва ко Господу и постоянное покаяние на исповеди, испрашивание прощения за когда-то содеянное. Ох, как тяжело вспоминать сделанное мной греховное и плохое.

Родилась в 1898 г., в 14 лет все окружающие уже считали меня красавицей, а в 16 лет, сознавая свое “достоинство”, многим молодым людям бездумно кружила голову, искушала людей много, некоторые мужья обещали мне бросить свои семьи, умоляя выйти за них замуж. Вспоминаю прошедшее, и мне, старухе, стыдно и страшно. Кружила головы многим, но сама оставалась девушкой-недотрогой. Ты должна, Кира, знать, что почти всегда красота женщины, да еще “ослепительная красота” – большое несчастье для женщины, ее тяжелый жизненный крест. Отец сердился на меня, разговаривал, убеждал, но мама даже несколько гордилась, что дочь – красавица, тем более что две мои сестры не были, мягко говоря, красивы.

Мама и папа были глубоко верующими людьми, но все их мировоззрение являлось отражением окружающего общества, были они умны, образованны, интеллигентны. Семья наша ходила в церковь, конечно, исповедовались, причащались два раза в год. Церковные службы, несмотря на мою взбалмошность, я понимала и любила. Однажды исповедовал не обычный священник о. Иоанн, а неизвестный мне старичок о. Феодосии. Я подошла, сказала несколько фраз о грехах и ожидала отпущения, но батюшка заговорил со мной, словно знал мою жизнь, говорил спокойно, ласково, вспоминая заповеди Господни, разъясняя их и поучая меня, как надо жить, молиться, готовиться к исповеди. Говорил со мной о. Феодосии долго, церковная служба шла своим чередом – отец Феодосии в этот день был помогающим иереем, и в конце нашей беседы сказал, что я не готова к исповеди, посоветовал посмотреть свою жизнь и придти через месяц.

Отец мой был возмущен отказом мне в исповеди и причастии, подошел к о. Феодосию, стал что-то горячо ему говорить и минут через двадцать вышел с сосредоточенным лицом, грустный и пристыженный. Подойдя ко мне, папа сказал: “Отец Феодосии прав, ты недостойна исповеди, а я и мать плохо воспитали тебя, придешь на исповедь через месяц, одумайся”.

Я очень обиделась на сказанные о. Феодосием и отцом слова, но задумалась. Через месяц вторично пошла на исповедь, предварительно тщательно продумав, в чем буду каяться. Говорила довольно долго, о. Феодосии внимательно слушал, не перебивая, и когда я закончила, сказал: “Слушал Вас, и у меня все время было ощущение, что отвечаете затверженный урок, помните, в школе было слово “зубрежка”, отвечаете слово в слово, а внутреннего понятия изучаемого предмета нет. Подготовились к исповеди формально, нет в ней души, христианского понимания греха, желания больше его не совершать, готовились, вероятно, по вредной брошюрке Добровольского “Вопросы и ответы на исповеди”. “Да, – ответила я, – готовилась по ней”. Отец Феодосии долго стоял у аналоя, молчал, губы его чуть-чуть двигались, вероятно молился. “Стою и думаю, могу ли отпустить грехи, допустить к причастию? Странно скажу: красивы Вы, и красота эта губит Вас.

Забудьте про нее, она Господом дана, а не Вашими заслугами и трудами. Пройдут годы, и морщинами покроется лицо, станете незрячей и ощутите пустоту прожитой жизни. Если в душе будет жить вера в Господа, Пресвятую Богородицу, Церковь, то до конца жизни Вашей сохраните красоту духовную, немеркнущую и нестареющую, и вспомните меня, недостойного иерея Феодосия, добрым словом, и помянете в молитве. Не по жестокосердию своему, а для пользы Вашей скажу: идите домой и приходите в следующее воскресенье на исповедь, и верю, не обидитесь и обязательно придете, а брошюру Добровольского сожгите”.

Семья наша дружила с матерью о. Арсения, в детстве мы с ним играли, Мария Александровна часто ходила с сыном в музеи, театры и брала также меня. Я знала, что Мария Александровна – глубоко верующий человек, пришла и рассказала, что священник трижды отказал мне в исповеди. Внимательно выслушав, она сказала: “Саша! Отец Феодосий прав, исповедь человека – это исход души его к Богу во всей открытости, без утаенности, с желанием не совершать плохих поступков. Не обижайся, Саша, но ты живешь в любви и очаровании своей красотой, которая дана тебе не для смущения людей. Осмысли свою исповедь душой, посмотри на свои поступки как бы со стороны, и тогда примет о. Феодосий твое покаяние”. Много очень нужного и важного рассказала мне в этот вечер Мария Александровна. Через неделю в воскресенье о. Феодосий исповедовал, и после причастия первый раз в жизни чувство необыкновенной радости переполняло меня, радости не житейской, а внутренней, духовной.

Я уже говорила, что наша семья дружила с семьей Марии Александровны. Отец Арсений, тогда Петя, дружил и играл со мной, и временами Мария Александровна водила нас, детей, на выставки, в музеи, театры, и мои папа и мама всегда охотно отпускали меня в эти походы. Три года подряд мы жили рядом на даче, и я очень дружила с Петей, хотя он был старше меня на три с половиной года. Сколько мне помнится, он всегда увлекался русской стариной, собирал книги по иконописи, о русских монастырях, иконах, московских старинных церквях, интересовался архитектурой, делал бесконечное количество выписок из книг и читал, читал.

Когда жили на даче, Мария Александровна собирала нас, детей, и совершала дальние прогулки по окрестным лесам. Звала Петра, но он постоянно пытался сослаться на то, что ему необходимо закончить какие-то записи, но потом шел с нами и восторгался красотой здешних мест. Природу он любил, понимал и говорил: “Господи, как все разумно и удивительно создано”.

Учился всегда блестяще, досрочно окончил с золотой медалью классическую гимназию. Поступил в университет и тоже досрочно окончил его. Несколько месяцев проболел эндокардитом с высокой температурой, опубликовал в серьезных научных журналах несколько больших статей, в которых полностью отвергал “западный” взгляд на русское архитектурное и иконописное искусство, утверждая самобытность его происхождения и чисто национальные отечественные корни...

В конце 1916 г. произошел духовный перелом, он стал меньше заниматься искусством, полностью погрузился в изучение православия. Московские церкви стали местом постоянного его местопребывания, он искал духовника, отвечающего его внутреннему миру. Один из хорошо известных московских священников посоветовал ему поехать в Оптиную пустынь, тогда говорили – “к старцам”. Уехал и два года прожил в Оптиной пустыни под руководством о. Анатолия и о. Нектария. В 1919 г. приехал по благословению старцев в Москву уже иеромонахом. Мария Александровна, его мать, восприняла это событие двояко. Была она человеком глубокой веры и поэтому радовалась, что сын – иеромонах, но в глубине души было и желание видеть сына женатым, видеть его жену и своих внуков. Думаю, радость ее была бы больше, если бы о. Арсений стал женатым священником – о. Петром, с той же глубиной веры, что приобрел в Оптиной пустыни. Эта горечь долго жила в Марии Александровне, не знаю, говорила она об этом сыну или нет. К концу 1919 г. Мария Александровна осознала, что для о. Арсения выбранный им путь был единственно правильным.

Я все годы дружила с Марией Александровной и любила ее не меньше своей мамы; если говорить откровенно, то в духовном отношении она оказала на меня большее влияние, и многому я училась у нее, возрастная разница была между нами в тридцать лет.

Жизнь о. Арсения прошла перед моими глазами, только два года, проведенных в Оптиной пустыни, девять лет ссылки и восемнадцать лет лагеря разъединяли нас, но в ссылку к нему я ездила не один раз.

На всю жизнь запомнилась поездка зимой. Доехала до Вологды, а от Вологды надо было нанять возчика, что я и сделала. Ехали долго, наступила ночь, вдруг возчик остановил лошадь, выбросил мою поклажу и сказал: “До твоей деревни восемь верст осталось, вон видишь пристань, до утра переждешь, а потом пешком дойдешь”. Я ему говорю: “Ночь, поклажа тяжелая, не дойду”. Тронул лошадь и уехал. Мороз двадцать градусов, пронизывающий ветер, смотрю – баржа на берегу косо стоит, пошла к ней, вещи постепенно подтаскиваю, один мешок за другим, решила от ветра

укрыться. Забралась по лесенке на баржу, смотрю, написано: “Касса”. Вошла, и в лицо ударил запах махорки, кто-то сказал: “Мужики, глядите! Баба пришла от ветра прятаться”. Я похолодела, в промерзшей кассе находилось трое мужчин, поняла по голосам. Стало страшно: кто они? Защитить может только Господь, начала молиться, прошу помощи у Матери Божией, святых, но молитва все время прерывается, мужики задают и задают вопросы, надо отвечать. “Куда идешь? Зачем? Откуда? Что везешь? Сколько лет? Баба али девка?” Вопрос за вопросом, решила говорить правду. Если до утра доживу, то увидят, куда иду и к кому. Отвечаю на все вопросы и в промежутках между ответами молюсь Пресвятой Богородице.

Распросили, затихли, холод промозглый, но в помещении нет ветра, хотя слышится постоянный ветровой вой. Один из мужиков сказал: “Ты, девка, смотри не засни, сейчас знобко, во сне замерзнуть можно”. Чуть рассвело, выбрались из баржи. Двое мужиков (шли в ту же деревню, что и я) взяли мои мешки, вскинули на плечи и понесли. Ветер стих, по дороге разговорились, попутчики оказались в возрасте под пятьдесят лет. “Небось, испугалась, когда на баржу зашла?” Откровенно ответила: “Испугалась”. – “Скажу тебе, девка, в наших краях теперча одна не ходи, ограбят, испоганят. Лагереи у нас здесь много, жулье на дорогах, в лесах, деревнях озоруют, грабят, тебе повезло, что нас встретила”. Донесли мои мешки до дома, где жил о. Арсений. Поблагодарила мужиков, вышла хозяйка дома, за ней наш батюшка, бросились друг к другу. “Всю ночь о тебе молился, на барже ночевала?” Повернулся к хозяйке, сказал: “Екатерина Николаевна! Возьмите и расходуите”, – показав на мои мешки. Больше одна к о. Арсению не ездила, боялась”.

Мы вспоминали, как дважды сопровождали о. Арсения к владыке Афанасию (Сахарову) в Петушки [21]. Были эти встречи в 1960 г. или в начале 1961 г. Встречи эти были трогательными. Присутствовали при совместном служении. Владыка и о. Арсений были когда-то одного мнения о поминовении митрополита Сергия [22], но с момента поставления на патриаршество Патриарха Алексия этот вопрос был снят, и теперь иногда Владыка служил в церкви, кажется, даже во Владимире.

Было видно, что владыка Афанасий и о. Арсений дружили и хорошо знали друг друга. Не один раз хотела спросить об этом, но подходящего случая не было. Удивительно было то, что лагерея надолго вырывали их из обычной жизни, и поэтому возникал вопрос: где и когда они встречались? Александра Федоровна этого не знала.

Последние годы она жила у нас. Дети ее работали, внуки были взрослыми, учились. Днем все расходились, и ослепшей Александре Федоровне оставаться одной было нельзя. Юрий работал, а я “сидела на пенсии” дома, поэтому присутствие ее только радовало нас. Дети и внуки Александры Федоровны не забывали ее, часто приходили к нам и заботились о ней.

Александра Федоровна, – человек одаренный, с огромными знаниями, которые называют энциклопедическими, – обладала обширными знаниями творений святых отцов, патристики, устава церковной службы и разбиралась во многих других духовных вопросах. Знания свои охотно передавала людям, желавшим принять священный сан, иногда приходили и учащиеся Духовной Академии или Семинарии, которых направлял один из знакомых иереев.

Однажды Александра Федоровна вспоминала, как мама о. Арсения воспитывала его в детстве, об этом подробно рассказывал он и сам (в воспоминании “Отец Олег”). Я сказала ей об этом, но Александре Федоровне очень хотелось, чтобы я записала рассказанное ею:

“Мария Александровна считала, что вера должна быть заложена в ребенке матерью с самых первых дней жизни, а до рождения необходимо постоянно молиться Богу, ибо, как говорила она, молитва проникает в ребенка еще во чреве матери, а молясь вслух над колыбелькой ребенка, тем более оказываешь духовное воздействие на его душу.

Когда ребенок рождается, ты принимаешь на себя ответственность не только за его телесное здоровье, но и за его душу. Можно вырастить физически здорового человека, но с изуродованной душой. Этот человек, став взрослым, погибнет, станет лжецом, преступником, но если мать раскрыла в ребенке образ Божий, то, будучи даже не совсем здоровым, он будет духовно богатым человеком и найдет себе дорогу в жизни. “Я, – говорила она, – относилась к Пете и как к сыну по плоти, и как к творению Божию и считала себя ответственной перед Ним, ибо Господь вручил мне на воспитание человека. Я всегда была против механического заучивания детьми молитв, необходимо тщательно и внимательно все объяснить, показать соответствующие изображения, картинки, доступные детскому пониманию, и тогда молитва станет ребенку понятной. Огромное значение для воспитания ребенка имеют сказки. Большинство родителей начинают рассказывать о бабе-яге, о лешем, о русалках, об Иване-дурачке или читать сказки братьев Grimm, но не это надо, чтобы в душе ребенка заложить основы веры. Постоянно читайте краткие рассказы о детстве Иисуса Христа, Божией Матери, святых, легенды шведской писательницы Сельмы Лагерлеф об Иисусе Христе, пересказывайте в

сокращенной форме жития святых: Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Николая Чудотворца и даже апокрифические повести Лескова, хотя в них иногда проскальзывает легкая дымка толстовства, которым Лесков увлекался.

Конечно, рассказывайте и русские сказки, осмысленно исключая при рассказе то, что сочтете ненужным. Когда ребенок сам начнет читать, то, естественно, прочтет и то, что вы не рассказывали, но уже будет иметь в своей душе фундамент веры и сможет отбросить плохое”. Вот взгляд Марии Александровны на приобщение с детских лет ребенка к вере.

Когда Мария Александровна водила Петю и меня в театр, то выбирала такие постановки, которые только положительно влияли на нас, детей. Неизгладимое впечатление оставило у меня посещение детского спектакля “Синяя птица” в Московском Художественном театре. Мое детское воображение было потрясено до основания, и несколько дней я ходила под впечатлением увиденного. Пес, Кот, Сахар, Вода, Квашня с хлебом, Тиль и Метиль, Смерть с огромной косой в руках стояли перед глазами днем и ночью, но больше всего поразило меня путешествие в мир теней. Огромные белые колонны поднимались ввысь (будучи достаточно взрослой, я поняла, что это был свет от прожекторов и легкий тюль, свисавший сверху, но все это создавало незабываемое впечатление), легкий, казалось, туман поднимается в воздух, и Тиль и Метиль почти теряются среди Великого Хаоса и бредут по проходу, – и даже грусть, что Синяя птица не найдена, не огорчала. Все было таинственно и прекрасно.

Помню, когда на сцене возник огромный зал мира теней, я громко спросила: “Тетя Маша, это рай?” Возбужденные пришли домой, всю дорогу задавали вопросы: “Почему? Что это?” Мария Александровна – тетя Маша – отвечала: “Все расскажу дома”. За столом тетя Маша сказала нам: “Дети, вы видели, что Тиль и Метиль искали счастья, искали долго, настойчиво, но не нашли его. Потому не нашли, что счастье – это вера в Бога, любовь к Нему, счастье – говорить Богу свои мысли, молиться Ему, счастье человека – в Церкви, в общей молитве к Господу, счастье – в постижении воли Господа, а Тиль и Метиль искали счастья на земле и забыли Бога. Счастье – любить друг друга и помогать людям”.

Расскажу о нескольких случаях (хотя о. Арсений всегда говорил: “Случайностей нет, есть только воля Божия”), происшедших со мной в жизни, которые считаю чудесными.

На Воркуте, не знаю почему, переводили меня из одного лагпункта в другой, я умирала от цинги, истощения, усталости. После этапа, войдя в теплый барак и пройдя по проходу, упала от слабости. Очнулась на нарах, кто-то снимал с меня одежду. “Заплечный мешок (“сидор”), вероятно, украдут”, – мелькнула мысль, но мне было уже все равно, я умирала. Сквозь туман полубессознательности услышала разговор двух женщин: “Ты грудь и живот растирай, а я буду ноги, потом ее перевернем”. Почувствовала, что руки незнакомых женщин стали растирать мое тело, силы и сознание постепенно возвращались, я пришла в себя. Света в бараке почти не было, лиц женщин различить не могла. Дали кусок хлеба, горячей воды, что-то надели на меня, закрыли одеялом, и я уснула.

Утром услышала сигнал “вставать”, привычная многоэтажная брань раздавалась в бараке. Женщина, склонившись ко мне, сказала: “Тебе хоть один день отлежаться надо, а то помрешь. Пойду, поговорю со старшой (старшая по бараку; в других лагерях называли – комендант барака, в иных – староста), может, поможет”. Пришла старшая, посмотрела на меня, ткнула кулаком под ребра и сказала: “Помогу, ей надо не один день, а все три дня лежать”, – и ушла. Что сделала старшая, не знаю, но три дня я пролежала на нарах, и все эти дни две женщины ухаживали, лечили и неведомыми путями приносили “пайку”. Видишь, выжила и сижу с тобой, а женщины эти были – Анна Александровна, колхозница из Тульской области, человек верующий и доброты необыкновенной, умная, сильная и обидеть себя не дающая. У нее было доброе круглое лицо с огромными серыми глазами и слегка курносый носом. Вторая женщина называла себя Ларисой и была “воровкой на доверии”. Красивое лицо с удивительной, располагающей внешностью, интеллигентностью, добротой во взгляде. Имен у нее было около десятка и столько же фамилий, настоящее имя – Екатерина. Была воровкой, настоящей “блатной”, имела кличку, могла быть отзывчивой и чрезвычайно доброй, но – и очень жестокой. В бараке пользовалась авторитетом среди “блатных”, и многие боялись ее. То, что совершенно чужие “зечки” спасли и выходили меня, было подлинное Господне чудо.

Прошли годы. Шел 1939 г., я уже давно жила в Москве, кончила МГУ, работала в научном институте, постоянно возясь с белыми мышами и крысами, испытывая на них действие разных препаратов, вирусов и микробов. Вышла замуж за Вячеслава. Я была в универмаге ЦУМ на Петровке, слышу: “Здравствуйте, Александра Федоровна”. Оборачиваюсь и вижу: передо мной стоит женщина с очаровательным милым лицом и одета хорошо. Смотрю, и вдруг понимаю: это – блатная

Катя. Обнялись, расцеловались, хотела ее расспросить, но она сказала: “Дайте Ваш адрес”. Я сказала, она сразу отошла и, не прощаясь, смешалась с покупателями. Удивилась я, пошла по этажам ЦУМа. Вечером часов в десять раздался звонок, я открыла дверь. Катя вошла, молча разделась и сказала: “Простите, не простилась – было нельзя” и, еще не входя в комнату, произнесла: “Разрешите мне пожить у вас два месяца”. Не знаю, что выражало мое лицо, но сказала: “Конечно, Катя, живи”, – а в душе мелькнула мысль: “Обворует”.

Ты, конечно, помнишь, что детей днем я отводила к родителям мужа, вечером забирала. Прожила Катя у нас более двух месяцев, дети мои и Вячеслав души в ней не чаяли, любили ее, и никогда не была она нам в тягость. Вечерами и в выходные молились при ней, из Ярославля приезжал о. Петр и дважды служил литургию, и мы не боялись Кати. Когда мы молились, всегда вставала, но крестилась редко. При служении о. Петром литургии подошла к нему и попросила уделить ей время для разговора, который был долгим. Потом, через год, о. Петр сказал нам: “Удивительный человек ваша Катя. Удивительный, и душа у нее христианская, но трудна ее жизнь”.

Катя приходила в разное время, днем, вечером или около одиннадцати часов ночи, поэтому я дала ей ключ от квартиры. Как-то утром Катя подошла ко мне и Вячеславу и попросила ее перекрестить, обняла детей, приложилась к иконе Казанской Божией Матери и, как всегда, спокойно ушла. Ты же помнишь ее, встречалась у нас, даже была на литургии, что служил о. Петр, ты тогда сказала про Катю: “Какое доброе, интеллигентное, красивое и располагающее лицо”. (Я вспомнила свои слова и действительно располагающее и привлекающее лицо этой женщины). Чем занималась и куда уходила Катя, я никогда не спрашивала, – продолжала Александра Федоровна. – В тот день, когда Катя попросила ее перекрестить, я пошла отводить детей к бабушке, а потом с Вячеславом двинулись на свои работы.

Придя с детьми вечером домой, увидела стоящую посередине стола чистую чашку и под ней записку: “Дорогие мои! Спасибо за доверие, за все. Люблю вас, вспоминайте Екатерину. Катя. P. S. Сверток – вам, он чистый” – и слово “чистый” было подчеркнуто. Рядом лежал завернутый в газету большой сверток. Развернула и ахнула – такой большой суммы денег никогда не видала. Долго молились, советовались с о. Германом, и он сказал: “Одну треть отдайте нуждающимся, остальное оставьте себе”. Все в жизни промыслительно, и “чистый” дар Кати помог нам. Разве это все не великое чудо Господа? “Воровка на доверии”, “блатничка”, не раз сидевшая в тюрьмах, – и вдруг такой удивительный поступок. Больше Катю не встречала, только в 1961 г. получила удивительное, полное любви и благодарности письмо. Однажды, рассказывая одному из знакомых о происшедшем, услышала: “Вы совершили грех, взяв деньги воровки”. Я подумала, что этот человек плохо знает людей и не знает, что такое лагерь. Конечно, в 1958 г. рассказала об этом о. Арсению, и он ответил: “Правильно, что взяли, Катя сказала правду, деньги – “чистые”, – этими словами она хотела сказать: “Крови и бедствия для людей на них не было”.

Еще об одном чудесном случае расскажу. Шла я в половине двенадцатого ночи по Малой Никитской улице, было холодно, ветрено и на улице пустынно. Дома – все почти старой постройки с большими подворотнями. Молюсь и думаю: “Нужно скорее дойти до остановки трамвая “А”, а идти еще минут пять-шесть, мне страшно. Прохожу высокий дом, внезапно вышли двое мужчин и втолкнули меня в подворотню, я пыталась, что-то сказать, но третий мужчина схватил меня за горло и, достав нож, сказал: “Молчи – прирежу! Быстро ее в подвал”. Втащили в подвал, взяли сумку с продуктами и сумку с деньгами, где была зарплата, и стали меня со всех сторон ощупывать руками – нет ли чего ценного? Большой золотой крест на золотой цепочке висел на шее. Стащили через голову джемпер, и я осталась в одном платье с грубо расстегнутым воротом. Крест и цепочка еще оставались на мне. В подвале было светло. Кричать, просить, умолять было бесполезно, пощады ждать не приходилось. Сжавшись в комок, вложила все свое душевное “я” в молитву к Богу, Пресвятой Богородице, к духовному отцу Арсению. Не смерть пугала меня, а грязное надругательство над моим телом. Двое стояли около меня, а третий, по-видимому главный, вынимал из сумочки деньги, документы и разные лежащие там бумажки. Под висячей лампой внимательно просматривал их и даже читал, деньги положил в свой карман. А я могла только молиться Богу и беспорядочно призывать помощь Пресвятой Богородицы и батюшки. Третий внимательно и долго читал вынутую из моей сумочки какую-то бумажку и внезапно спросил: “В каком лагере сидела?” От растерянности вопроса не поняла. “В каком лагере находилась и сколько лет?” – я ответила. Внимательно посмотрев на меня, произнес: “Братва! Оденьте ее”, – вынул деньги из своего кармана, положил в сумочку и сказал: “Иди домой, а о нас – сама понимаешь...” Я все поняла, Господь и Пресвятая Богородица и заступничество духовного отца Арсения спасли меня. Подошла к третьему (главарю), низко поклонилась, перекрестилась, протянула ему руку и сказала: “Спасибо Вам”. –

“Иди, иди скорее, за твое спасибо и тебе спасибо, а что в лагере была, по твоей справке узнал, лагерь хорошо знаю, иди”.

Это было такое чудесное избавление, такое неопишное чудо! Шла и прославляла Господа, Пресвятую Богородицу и защитника рода человеческого святого Николая Мирликийского. Шла со спокойной душой, но войдя в дом, разрыдалась, долго не могла придти в себя и только подойдя к иконам и помолвившись, смогла рассказать Вячеславу все во всех подробностях. Только подумать, какую милость и чудо проявили Господь и Матерь Божия ко мне грешной. Ведь я была на краю гибели. Это было чудо”.

Так вспоминала Александра Федоровна Берг о своей прожитой жизни.

ЕЩЕ О НАШЕЙ ОБЩИНЕ...

Воспоминания об о. Арсении, общине, ее жизни, о братьях и сестрах начали писать уже в двадцатые годы. Воспоминания были искренние, свежие, полные той духовной атмосферы, в которой тогда жили. Но начавшиеся массовые аресты верующих заставили многих из нас уничтожить написанное или отдать на сохранение знакомым, не связанным с общиной. Боясь репрессий, они тоже часто уничтожали воспоминания.

У двух сестер и одного брата общины при аресте были найдены воспоминания, и это принесло огромный вред многим из нас.

Самыми трудными годами для жизни общины были годы с 1928 по 1937: аресты, ссылки, лагеря, массовое закрытие храмов, повальные аресты священников и прихожан и полная неуверенность каждого в завтрашнем дне. В конце декабря 1927 г., под самое Рождество Христово, о. Арсения арестовали и выслали в Архангельскую область, при этом часто переводили на жительство из одной деревни в другую, не давая прожить на одном месте более четырех-пяти месяцев.

До 1929 г. храм не закрывали, в нем служили наши иереи о. Стефан и о. Василий, потом их арестовали, и настоятелем стал обновленческий священник. Ходили в другие церкви, еще открытые, община теперь жила скрытно.

Большие сложности возникали с поездками к о. Арсению в ссылку: ссыльные голодали, и мы старались как можно чаще возить продукты, пачки писем от духовных детей и, естественно, общаться с ним, но возникли две почти непреодолимые трудности. После второго приезда к нему одной из его духовных дочерей пришел милиционер и придирчиво расспрашивал, зачем приезжают и кто, сказал о запрете посещения. Кроме того, хозяйки домов, где поселялся о. Арсений, видя, что мы привозим много продуктов, смотрели на проживание у них батюшки как на “золотую жилу”, из которой можно добывать пропитание для всей своей семьи, тем более что он отдавал привезенное хозяйке и она готовила ему пищу. Кто бы из нас ни приехал, слышали: “Мало привезла”. Почти все хозяйки во всех деревнях поступали так же. Я как-то сказала одной из них, что привозим продукты на прокормление шести человек и услышала: “Ну и что? Кормлю от вашего попа всю семью, у вас, московских, денег – воза, а у меня – дети. Милицию захотела? Пойду и сообщу – разъездились!”

Пришлось уехать в другой дом, но вскоре пришел милиционер, стал грозить, был сильно выпивши. Дала ему сто рублей, по тем временам – большие деньги, он взял и сказал: “Ладно, дело закрою, а Варвара – баба дрянная”.

После окончания ссылки и срока проживания за сто километров от Москвы о. Арсений поселился в небольшом подмосковном городке, где чудом еще сохранилась маленькая церковь с настоятелем о. Александром – больным и старым человеком. Он разрешил батюшке служить, договорившись, видимо, с властями предрержащими. Служил о. Арсений не часто, это дало возможность всем сохранившимся духовным детям приезжать к нему, но мы чувствовали – это было временно, репрессии возрастали, усилия властей были направлены на уничтожение Церкви, на полное истребление духовенства, осквернение и разрушение храмов.

В 1931 г. о. Арсения арестовали второй раз и выслали в Вологодскую область в ссылку. В 1939 г. – снова арест, кратковременное направление в Сибирь, на Урал, и потом – годовая ссылка в Архангельскую область, о которой сам батюшка рассказал в воспоминаниях об отце Иларионе. В конце 1940 г. о. Арсений был заключен в лагерь, и до 1956 г. мы не знали, жив он или расстрелян. Мы, его духовные дети, оставшиеся на свободе, жили тревожно. Участились вызовы некоторых из нас на Лубянку, кого-то арестовывали, ссылали в лагеря, выселяли из Москвы. Был арестован даже Борис Тимофеевич – о. Борис, тайно посвященный по благословию о. Арсения в иерея. О его посвящении в общине знали только Наташа, Юрий и Вера, но он по душевной доброте служил литургию у К. С., на которую она без его согласия позвала несколько человек. По вопросам

следователей при вызове на Лубянку поняли, что среди наших работают доносители, и стали скрупулезно рассматривать каждый шаг людей, бывших на этой литургии.

Определили, кто доносил, было противно, но знать было необходимо. Создали замкнутые группы по семь-восемь человек, хорошо знающих друг друга, договорились не сообщать членам других групп о предстоящих службах, о совместном чтении вечерни, утрени, акафистов, все переговоры о делах общины вели руководители групп, а сбор материальных средств проводился в каждой группе старшими по группам. Аресты прекратились, но прежней открытости между всеми нами уже не было.

Многие из нас за собой замечали слежку, тогда называли – “хвост”. Замечая ее, никогда не шли к членам общины, а заходили к нейтральным знакомым или родным. Все стали осторожны. Бывало, без предварительной договоренности вечером в субботу или рано утром в воскресенье приходила одна из двух подозреваемых в доносах, говоря: “Я к вам на службу”. Тогда говорилось: “Извините, но больна мама, и мы службу дома не совершаем”.

До 1941 г. прежний дух общины еще объединял нас и мы старались сохранить прежние связи, знакомства, встречи и совершение тайных литургий на дому. После 1941 г. литургии в домах не совершались, мы просто собирались группами, общались друг с другом, читали вслух творения святых отцов или кто-либо из нас читал написанный маленький доклад на избранную духовную тему, и это был “свет в оконце”.

Исповедовались и причащались в открытых церквях, но исповеди наши не всегда понимались священниками: когда кто-либо из нас просил совета в духовных и житейских вопросах или полностью раскрывал свою душу, говоря о каких-то помыслах, священники часто это воспринимали с удивлением, как экзальтацию, и старались, без долгих разговоров возложив епитрахиль, отпустить грехи.

Об о. Арсении по-прежнему ничего не было известно, думали – расстрелян или погиб в лагерях. Помню, 7 апреля 1956 г., в день Благовещения Пресвятой Богородицы, прибежали, вернее ворвались Юля и Люда с криком: “Юра, Кира! Письмо от о. Арсения”. Сейчас же позвонили Вере (Даниловне) и Наташе (Наталии Петровне). Собрались, радости не было конца. Сразу написали батюшке несколько писем, адрес лагеря он прислал. Первой поехала к нему Ольга, потом Юрий, Наташа, Юля и Люда. В своем письме о. Арсений написал, что свидания разрешены. Повезли продукты, деньги, вещи. Оля по приезде рассказала, что за восемнадцать лет лагеря, к ее радости, о. Арсений изменился мало, только взгляд его глаз ее поразил необыкновенным одухотворенным светом и сам он стал строже и в то же время мягче. Привезенное тут же роздал. В начале 1958 г. его освободили, реабилитировали. Никого не предупредив, он уехал в Ростов, где какое-то время не мог устроиться, но, по милости Божией, нашел пристанище у Надежды Петровны, где прожил семнадцать лет, охраняемый Господом, Пресвятой Богородицей и святыми.

Сколько людей за эти семнадцать лет перебивало у него – не счесть. Более половины приезжавших были бывшие “лагерники” и вновь пришедшие, приведенные кем-нибудь из бывших братьев и сестер или “лагерниками”.

Кого только не приходилось встречать в доме Надежды Петровны: убеленного сединами академика, отставного генерала, члена-корреспондента, колхозника, докторов медицины или других наук, рабочего, известного психиатра, бывшего партийного работника, воров в законе, порвавших с преступным миром под влиянием о. Арсения, и даже работников органов и разведки, ранее находившихся в лагерях, а сейчас восстановленных в своих правах и ставших верующими.

Молодые, старые, служащие, пенсионеры, домохозяйки побывали здесь. Сколько горя, переживаний, слез вошло в комнату о. Арсения, и сколько вышло людей обновленных, полных надежд и обогащенных верой и любовью. Иногда внезапно на один день приезжали правящие владыки, одетые в гражданскую одежду, а владыки, находившиеся на покое, жили неделями. Приезжали священники, встреченные в лагерях и на всю жизнь ставшие друзьями о. Арсения, конечно, приезжали и братья общины, ставшие в 1935–1940 гг. тайными иереями, а теперь служившие в церквях разных епархий. Кто-то так и остался тайным иереем – одновременно был членом-корреспондентом Академии Наук или доктором наук, конструктором самолетов, моторов. Церковных служб дома теперь уже не совершали, ходили в церкви. Приезжая к о. Арсению, сослужили вместе с ним. Воля Господня и время расставили все по своим местам. Но были и потери: приблизительно семь сестер общины в годы гонений и преследований отошли, и только три или четыре из них по возвращении о. Арсения из лагеря снова пришли к нему.

По-прежнему собирались средства для помощи неимущим, ухаживали по очереди за лежачими больными, посещали лежавших в больницах и домах престарелых. Приезжали духовные дети не

только из Москвы, а из самых разных городов Союза: из Магадана, Норильска, Ленинграда, Алматы, Ярославля, Горького, Харькова – всех не перечислишь.

Приходилось встречаться с замечательными людьми, полными такой внутренней духовности, что я чувствовала себя недостойной общения с ними. Вспоминаются: иеросхимонах Серафим, о. Евгений Богородский, о. Кирилл, монахини Иоанна и Евдокия, Александра Федоровна Берг, Елизавета Александровна, схимонахиня Ирина, иеромонах Филипп, о. Алексей. Каждая встреча с этими людьми всегда была радостью и наполняла душу духовным теплом.

1958 год явился переломным моментом в жизни многих из нас – вернулся о. Арсений, – но, конечно, община в ее прежнем виде возродиться не могла, ибо не было храма, время было другое. Отец Арсений стал для нас старцем, как бы живущим в скиту, к которому приезжали получить совет, наставление, сложить груз грехов своих, тяготевших на душе, очиститься, чтобы потом вернуться в мир и постепенно расходовать полученную благодать, затем снова приехать для очищения, когда наступит твой срок. Для всех приезжавших было установлено: приезжать один раз в три месяца, только Люде, Юрию, Наташе, Ирине, мне, о. Герману, о. Алексею и нескольким другим можно было приезжать в любое время, но и мы – “избранные” – старались приезжать нечасто. Многие из нас приезжали в Ростов на время отпуска, снимали комнаты, жили и часто общались с о. Арсением, совершая с ним, когда он бывал здоров, прогулки по городу и окрестностям. Юрий и я почти каждый год приезжали на месяц и много времени проводили с батюшкой, последние годы мы даже брали с собой внуков. Отец Арсений рекомендовал всем нам обращаться к о. Александру Толгскому [23], о. Всеволоду Шпиллеру, о. Сергию Орлову [24], служившему под Москвой в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Одинцовском районе, и иерею – имя его не назову, он живет и здравствует, – служившему в церкви Петра и Павла на Солдатской ул. В церкви к этому иерею относились неодобрительно, был он молчалив и вел себя не так, как вели остальные священники, настоятель его не любил, но это был иерей глубокой веры, духовности и доброты. Сейчас он – настоятель большого храма и пользуется большим влиянием [25]. Откуда знал этих священников о. Арсений, не знаю, но всегда говорил о них с большим уважением. Направляя к ним своих духовных детей, просил не упоминать, что это он, о. Арсений, их направил. Кроме того, москвичам батюшка советовал ходить для наставления к монахине Афанасии (Ирине Николаевне).

В определенном отношении община была уникальна, в 20-е и 30-е годы большинство составляла интеллигенция, люди, имевшие высшее образование, или молодежь, учившаяся в вузах, члены христианских студенческих кружков, и это накладывало особый отпечаток на всех ее участников, создавало атмосферу интеллектуальности в отношениях друг с другом, в восприятии и понимании церковных служб, наставлений и поучений о. Арсения. Иногда, подчеркиваю, это было положительное влияние, но случалось, что высокая интеллектуальность мешала, создавала препятствия к познанию Бога, веры, любви к людям, к духовному пониманию мира и души человека. Особенно это проявлялось на беседах, проводимых о. Арсением, в задаваемых вопросах и даже в возникавших горячих спорах. Чувствовалось, что некоторые веру воспринимали не душой и сердцем, а – рассудком, сопоставляя с багажом приобретенных знаний. Вопросы и споры продолжались и после бесед, когда все расходилось и шли домой.

Но чем дольше жила община, тем меньше становилось споров и приходило взаимопонимание и любовь между нами. Напрасно было бы думать, что высокий интеллект многих членов общины делал их более обогащенными по сравнению с людьми, вышедшими из среды рабочих или крестьян. Часто человек с невысоким уровнем образования или почти без образования был на “несколько голов” духовно выше, лучше, чем “интеллектуал”, имеющий диплом инженера, врача, учителя. В общине сначала было много людей, которых тогда называли “бывшие” – дворяне, богатые промышленники, купцы, даже князья из высшего общества со звонкими фамилиями, известными всему миру, их дети, но никто и никогда не выставял превосходства своего происхождения, все были равны и могли выделяться только степенью духовного воспитания, послушания, углубленностью в молитву, добротой и любовью.

Я уже писала, что о. Арсений не признавал двойного духовного руководства, считая его вредным, и если о. Сергей, о. Всеволод, о. Александр или иерей из церкви Петра и Павла что-то советовали, наставляли, никогда не Отменяя, а говорил: поступайте так, как они сказали. С особенно глубоким уважением относился к о. Всеволоду Шпиллеру, с которым имел редкую переписку через своих духовных детей, и к о. Сергию Орлову, которого хорошо знал через владыку Афанасия (Сахарова) и любил.

К о. Арсению после 1958 г. люди стремились в тяжелые и трудные, подчас труднейшие дни земной жизни, когда оказывались на развилке дорог и не знали, куда повернуть, и он указывал ту дорогу, по которой следовало идти. В горе, духовном пожаре, в случае смерти близких или других

тяжелых утрат он утешал, наставлял и общей с пришедшим молитвой возрождал его к жизни. Если кто-либо совершал тяжкий грех, о. Арсений молился о грешнике, взывая ко Господу, умоляя простить, но свое слово пастыря-духовника говорил так, что человек на всю жизнь запоминал сказанное и старался никогда больше не совершать ранее соделанного.

Как уже говорилось, в доме Надежды Петровны постоянно находилось не менее четырех-пяти человек, приезжавших на один-два дня, иногда в выходные дни приезжало до двенадцати человек. Отцу Арсению было необходимо переговорить с приехавшими, побеседовать, поисповедовать и причастить, а на это требовались время и силы. Он очень уставал, сердце часто сдавало, и он вынужден был ложиться на диван и принимать приехавших лежа. В некоторые дни, когда приезжающих было много, положение в доме Надежды Петровны осложнялось тем, что ранее прибывшим следовало уезжать, так как на их место уже ехали другие духовные чада. Уставший и больной батюшка вынужден был принимать даже ночью. Разницы между большими и малыми делами, грехами, помыслами, с которыми шли к нему духовные дети, о. Арсений не делал, он все внимательно выслушивал и давал советы, исповедовал. Однажды попытались подсчитать: сколько человек приезжало в Ростов каждый год, получилось более 350–380 человек. Приезжало 20–25 иереев (это тех, кого я видела) из разных городов Союза – это были священники, встреченные в лагерях, братья общины, ставшие иереями и теперь служившие в церквях, приезжали несколько десятков “лагерников” и примерно столько же сестер и братьев общины. Очень многие не дожили до встречи с о. Арсением, скончались своей смертью, погибли в ссылках, лагерях, трое были расстреляны: о. Игорь, диакон о. Евгений и Валентина Петровна. Много, очень много пришло новых людей, это были родственники, дети (уже в возрасте от двадцати до сорока лет) знакомых и друзей членов общины, “лагерников” и просто неизвестные для нас люди, какими-то путями пришедшие к о. Арсению. Зная о. Арсения священники направляли к нему своих духовных детей. Уставал о. Арсений безмерно и только увозимый в больницы и клиники изолировался от своих подопечных, но болел за них душой и переживал, как они там без него. Начиная с 1966 г. при отъезде о. Арсения в Москву всегда оставался за него древний-предревный о. Филипп, давно живший на покое под Ярославлем и привозимый кем-нибудь из нас в Ростов. Отец Филипп был поразительно духовно образован, мудр и к каждому человеку подходил соответственно его внутреннему устройству, образованию, взглядам. Был он иеромонахом, в начале века десять лет провел в Афонских монастырях, в 1912г. вернулся в Россию, жил в Псково-Печерском монастыре, и по воле Господней аресты, лагеря и ссылки прошли для него стороной. В 1922 г. он уехал под Ярославль и жил на покое у верующих родных, где никто не знал, что он – иеромонах. К нему так же, как к о. Арсению, приезжали его духовные дети, руководимые им, но он говорил: “У меня “семья” маленькая – человек тридцать, вот поэтому и миновали нас аресты и лагеря”. В 1966 г. о. Филиппу исполнился 91 год, но был он деятелен, быстр, подвижен и беспрестанно творил Иисусову молитву; служил благостно, строго, но вдохновенно. Мы все любили его, и когда о. Арсений болел, охотно шли к нему – батюшка и о. Филипп были одного духа.

Редко, но выпадали дни, когда собирались около о. Арсения несколько близких ему людей, знакомых несколько десятилетий, и тогда он рассказывал нам о своей жизни, о приходе к Богу, о создании общины, о встреченных людях, о сомнениях и ошибках. Мы знали батюшку с 1920 г., практически все время были с ним и шли за ним, и нам думалось, что весь его жизненный путь известен нам. Но когда он начинал рассказывать, понимали, что, находясь с ним рядом, были слепы, воспринимая происходящее через свое “я” и не видя основного.

Память о. Арсения удивляла многих. Бывало, что человек исповедовался у него десять, пятнадцать лет тому назад и, конечно, полностью забыл, что тогда говорил, и вдруг он вспоминал большой отрывок из той исповеди. Становилось просто страшно. В воспоминаниях духовных детей о. Арсения, написанных о себе или о нем, часто упоминались слова или фразы: “привел к вере”, “духовно спас”, “вложил веру” и другие сходные выражения. Отец Арсений не любил слушать эти слова, считая себя недостойным, расстраивался, просил не делать его праведником, считая себя только простым иеромонахом. Зная об этом, мы просили, предупреждали рассказывавшего не упоминать при нем этих слов, но когда воспоминания записывались, то эти слова и фразы вписывали, так как это соответствовало действительности. Поэтому часто записанный на магнитофонную ленту рассказ несколько отличался от текста, написанного впоследствии рассказчиком, но только в части слов, фразы и действий о. Арсения – это необходимо знать, чтобы понять причину разночтения. Замечу, что некоторые воспоминания близки по содержанию, хотя писались людьми, разными по духу и не знакомыми, – видимо, так складывались жизненные обстоятельства.

Видела неоднократно, что мужчины и девушки, женщины, встречаясь у о. Арсения, впоследствии вступали в брак и, как правило, в созданных семьях пребывал высокий дух веры, поэтому некоторые воспоминания носят как бы “семейный характер”.

Помимо длительных разговоров с приезжавшими духовными детьми, о. Арсений вел обширную переписку с теми, кто не мог приезжать к нему. Письма присылались духовными чадами в Москву на разные адреса и переправлялись к батюшке. Он их прочитывал и диктовал ответы, записывались они Аней, мной или Ниной (написавшей когда-то замечательные воспоминания о своем спасении, названные “Мать Божия, помоги”). В день батюшка диктовал от семи до двенадцати писем. Написанные нами письма о. Арсений внимательно прочитывал, редко правил, потом мы вкладывали их в конверты, надписывали адреса и кто-нибудь из уезжающих бросал письма в разные почтовые ящики. Особые, неизвестные нам ответы писал сам о. Арсений, но таких писем было мало, батюшка так уставал, что старался диктовать даже ответы владыкам и иереям.

Часто он говорил многим из нас: “В Москве обязательно зайдите к такому-то, – и называл имя, – у них все сейчас плохо”. Иногда, встав рано утром, срочно диктовал письмо своей духовной дочери или сыну, жившим в Рязани, Торжке, Ленинграде или Новгороде, говоря: “У них сейчас большие неприятности”. Мы садились, записывали и срочно бросали письма в почтовый ящик. Два или три раза я давала телеграмму только с одним словом: “Приезжайте!” – вероятно, и другие духовные дети о. Арсения тоже посылали подобные телеграммы по его указанию.

В 1977 г. возникла идея собрать у адресатов ответы батюшки и составить сборник его писем, но сразу возникли трудности, многие не захотели прислать письма или даже снять с них копию. Адреса получателей у нас были, и мы повторно обратились к ним, но пришло в ответ только тридцать копий и одно письмо, написанное рукой о. Арсения, а написано их было много сотен. Наш замысел не осуществился, а жаль.

В разговорах и беседах на религиозные или философско-религиозные темы о. Арсений никогда не касался вопросов, связанных с темными силами. Если кто-то из присутствующих старался поднимать эту тему, то о. Арсений начинал говорить о другом или произносил: “С нами Господь, Пресвятая Богородица и святые и это неисчерпаемый источник света, любви, промыслительных наставлений и бесед, о темных силах говорить не следует, это приводит к смущению души, ненужным и вредным знаниям”.

Однажды одна из приехавших женщин весь вечер старалась говорить об этих силах. Отец Арсений отмалчивался, но потом этот разговор стал ему неприятен и он спросил: “Скажите, почему Вы все время обращаетесь к этой теме?” – “Хочу научиться бороться с ними”, – ответила она. “Если хотите бороться с ними, молитесь, посмотрите молитвенники, там есть специальные молитвы, ходите чаще в церковь, исповедуйтесь, причащайтесь, творите добрые дела; чаще читайте девяностый псалом “Живый в помощи Вышнего...” и молитву к Пресвятой Богородице “Взбранной Воеводе победительная...”, – и отойдет от Вас все плохое, но если Вас одолевают эти силы, значит, плохо молитесь, мало посещаете церковь, исповедуетесь. Других советов дать не могу и поддерживать разговор на эту тему не буду, он вреден”.

Отец Арсений не любил и никогда не допускал фамильярности в обращении с духовными детьми, кто бы они ни были. Немногих людей называл он только по имени и на “ты”, в основном – давних членов общины, некоторых “лагерников”, остальных звал по имени и отчеству и на “Вы”. Обращение вроде “Катюшка”, “Юлька”, “Петя”, “Леша”, дружеское похлопывание по плечу или поглаживание рук никогда не случалось. Обнимал и целовал батюшка при встречах только духовных лиц, нескольких лагерников и братьев общины. Не любил употреблять уменьшительных словечек, ласкательных фраз, считая, что в них часто проскальзывает неискренность, прикрываемая этими словами.

Простым сказанным словом он сразу давал понять, что уже понял пришедшего, понял, зачем он пришел, проник в его духовный мир, знает тревоги, беды и охватившее его духовное смятение. Пришедший мгновенно сближался с ним, не стеснясь и не боясь открывал свою сокровенную греховную тайну. Слово батюшки было соединено с сердечной молитвой к Богу и любовью к пришедшему.

Говорил, что многие стараются помочь знакомым, друзьям, сослуживцам, но не родным: матери, отцу, деду, сестре, брату и объяснял: “Помогая знакомым, ты показываешь себя перед ними добрым и отзывчивым: “Видите, какой я хороший христианин”, а помогать отцу или матери буднично, неинтересно, для окружающих незаметно. Грубое слово, резкость по отношению к друзьям и знакомым считаются недопустимыми, а невнимание, грубость, раздражение по отношению к родным, особенно – к родителям, считается почти нормой, не осознается, что это – тяжкий грех.

Обращал внимание, что многие из вас часто ведут друг с другом пустые разговоры, но зайти к немощному больному, старенькой знакомой старушке и, возможно, в десятый раз выслушать стариковские жалобы, посочувствовать, сказать доброе слово, – не могут и не хотят. Если вы знаете всю важность своего прихода к этим больным и обездоленным людям, ту радость и надежду, что можете внести в их жизнь и дом, – значит, прониклись словами Господа Иисуса Христа: “Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне” (Мф. 25, 35–36). Весь боговдохновенный смысл христианской любви и веры заложен в этих словах Иисуса Христа и в заповеди: “Возлюби ближнего твоего, как самого себя” (Мф. 22, 39)”.

Читая воспоминания многих духовных детей о. Арсения, а также его воспоминания, обращаю внимание на постоянное упоминание заповедей Господних о любви к Богу и человеку. На этих заповедях (Мф. 22, 37–40) он строил руководство общиной до 1940 г. и общение со своими духовными детьми, приезжавшими к нему в Ростов после 1958 г., а также, по рассказам бывших лагерников, взаимоотношения с окружающими его заключенными в лагере.

В своих поучениях, беседах, разговорах о. Арсений не был многословен, старался в сжатой, но четко обрисованной форме передать свою мысль. О чем бы и с кем бы он ни говорил, был доброжелателен, и человек чувствовал внутреннюю доброту и тепло сказанных слов. Не переносил пустых разговоров, “перемывания костей”, осуждения любого человека и особенно священнослужителей, недоброжелательности, не переносил сплетен и ссор между своими духовными детьми, старясь примирить их и выяснить причину конфликта.

Отец Арсений был очень эрудирован в богословских вопросах, искусстве, древней архитектуре, русской истории, но никогда не пытался это подчеркнуть. Если при нем возникал разговор на сложные богословские темы, то всегда говорил: “Оптинские старцы великой жизни о. Анатолий, о. Нектарий и владыка Иларион благословили меня на пастырское служение, сказав: “Это твой путь. Помни учение Церкви. Богословскими спорами и рассуждениями пусть занимаются богословы”.

Мною прочитаны почти все воспоминания об о. Арсении и о жизни его духовных питомцев. Почему-то мало в них говорилось о том, что был человек, благодаря которому семнадцать лет жизни в Ростове он прожил спокойно, ухоженный, вовремя накормленный, окруженный постоянной заботой, а приезжающие духовные дети, от пяти до двенадцати человек в день, обедали, завтракали, ужинали, и все это лежало на удивительно безотказной и услужливой, но уже весьма пожилой Надежде Петровне.

Уставала она до изнеможения, но терпела, никому ничего не говоря. Только в начале 1960 г. дошло до нас – ей необходима помощь. Ее освободили от готовки обедов, завтраков, ужинов и всех дел на кухне: продукты привозились приезжающими, каждая приехавшая женщина обязывалась заниматься готовкой или помогать на кухне. Любой приехавший привозил с собой две простыни, наволочку, полотенце, и уезжая, конечно, увозил домой. Единственное, от чего не захотела отказаться Надежда Петровна, – от ухода за о. Арсением, от приготовления для него завтрака, обеда, ужина, чая; если пытались ее заменить, сердилась и расстраивалась.

Не одни доктора, которых в общине было много, поддерживали здоровье о. Арсения – думаю, что только благодаря Господнему произволению и уходу Надежды Петровны тяжело больной батюшка смог семнадцать лет прожить и вести огромное количество людей к Господу Богу, наставлять, учить и постоянно молиться о всех своих духовных детях. Труден был его старческий подвиг, очень тяжел. Когда вдумываешься, откуда брал он силы, то понимаешь, что Господь давал их ему для нас грешных.

ИСЦЕЛЕНИЯ

Расскажу теперь о поистине чудесном, что совершалось по молитвам о. Арсения. Внучка Марины Петровны – Таня, которой было двадцать пять лет, заболела: в области желудка и печени возникли боли. Ее положили на обследование, сделали рентген, гастроскопию и обнаружили опухоль. Решили делать операцию по удалению части желудка. Положили Таню в самую лучшую хирургическую клинику, которой заведовала Юлия, разрежали брюшную полость и обнаружили огромную опухоль желудка, поражение поджелудочной железы и метастазы даже на печени. Операцию делать было бессмысленно, зашили брюшину и больной ничего не сказали. Все родные были в безысходном горе – оставалась трехлетняя дочка. Муж Евгений, старше Тани на восемь лет, стал просто невменяем, он до безумия любил жену. Я и Марина, с которой мы дружили еще в двадцатые годы, поехали к о. Арсению, Таня была его духовной дочерью с 1959 г. Человек она мягкого характера, безотказно помогавшая всем нуждающимся и всегда желавшая помочь человеку,

утешить его, сказать в трудную минуту ободряющее слово и поддержать, чем могла. Мне всегда виделось, что Господь наложил на нее Свою печать благодати и совершенства. Приехали и рассказали обо всем батюшке. Все духовные дети были равны для него, но Таню он явно опекал особенно. “Завтра поедем к ней. Господи! Господи! Какое горе”. Поездка о. Арсения в Москву всегда вызывала беспокойство и тревогу наших докторов и Надежды Петровны, все боялись за его здоровье, но он твердо сказал: “Еду”.

Приехали прямо на квартиру к Марине, бабушке Тани. Таня лежала, постанывая от боли. Войдя в комнату, о. Арсений прочел несколько молитв, благословил Таню и, на удивление собравшихся, сказал: “Таня! Таня! Такая молодая и заболела раком, разрежали и зашили, Господь милостив, будем молиться о Его милости и помощи Пресвятой Богородицы”. Попросил зажечь перед иконами лампадки, надел подрясник, епитрахиль, опустился около кровати на колени, попросив нас выйти. Не выходил из комнаты четыре часа, исповедовал, соборовал и причастил Таню. Прожил три дня, каждый день по несколько часов молился около больной, потом – со всеми нами о здоровье Татьяны, на четвертый день уехал домой в Ростов.

Прошло полтора месяца, Таня давно встала. Обследовали несколько раз – опухоли исчезли, остался, как память о когда-то бывшем раке, шов на животе. Врачи, обследовавшие Таню, с удивлением разводили руками и не понимали, что произошло. Произошло Господне чудо по молитве о. Арсения, устремленной к Богу и Пресвятой Богородице. Большое, настоящее чудо.

Таких исцелений было много, приведу еще два примера. Муж Алевтины Кирилл Петрович, в прошлом заядлый курильщик, при прохождении на предприятии обязательной флюорографии узнал, что на левом легком обнаружена онкологическая опухоль. Вопрос об операции резко осложнялся: Кириллу Петровичу было 55 лет, сердце работало отвратительно, была аритмия, ишемическая болезнь сердца, и когда-то был мощный инфаркт. На консилиуме решили операцию не делать, вероятность смерти на операционном столе была стопроцентной. Кирилл Петрович все понял, но спокойно отнесся к случившемуся. Видя, что выздороветь ему невозможно, поехал к отцу Арсению на исповедь. Батюшка, увидев Кирилла Петровича, сказал: “Господь милостив, все обойдется, проживете у нас два дня, и будем молить Господа и Пресвятую Богородицу помиловать и исцелить вас”. Два дня все мы собирались и молились почти непрерывно, о. Арсений и Кирилл молились даже ночью, конечно, батюшка исповедовал и соборовал Кирилла.

Явившись в диспансер на обследование онкологов, Кирилл удивил врачей тем, что опухоль рассосалась, объяснить происшедшее не смогли. Это было чудо, которое произошло по молитве праведника, понятное только верующим людям.

Третье исцеление произошло с дочерью Марии Федоровны – Евгенией, у нее к тридцати годам резко обострился диабет, никакие новейшие препараты не помогали, инсулин не снижал сахара в крови. Евгения начала быстро слепнуть, возрастала слабость. Врачи предрекали быструю смерть. Помню, собрались мы в комнате о. Арсения, и он попросил всех молиться о Евгении. Сам о. Арсений, встав на колени, молился со слезами на глазах и не вставал более трех часов. Плакал о. Арсений очень редко, а сейчас, читая молитвы, буквально заливался слезами и даже временами не мог произносить слов. В этот день приехал о. Андрей, он также стоя на коленях умолял Пресвятую Богородицу исцелить рабу Божию Евгению.

Прошло два месяца, зрение возвратилось, сахар в крови пришел в норму, Евгения полностью выздоровела и через два года родила совершенно здорового сына без каких-либо осложнений. Вымолил о. Арсений больную Евгению у Господа и Пресвятой Богородицы.

Я могла бы привести еще несколько чудесных исцелений людей по молитве батюшки, говорящих о великой духовной силе, о данной ему Господом благодати. Господь даровал о. Арсению эту силу за долгий молитвенный подвиг и любовь к людям.

О МОЛИТВЕ

Мне много раз приходилось присутствовать на беседах, проводимых о. Арсением с приехавшими к нему людьми, иногда тема беседы повторялась, если прибывшие ранее не слышали того, о чем говорил батюшка. Вот две беседы о. Арсения о молитве.

“Все евангельские слова боговдохновенны, но с особым чувством я воспринимаю слова, сказанные Спасителем: “Ибо, где двое или трое собраны во Имя Мое, там Я посреде них” (Мф. 18, 20). Есть прекрасная, глубоко проникновенная молитва, созданная, по-видимому, в XVI веке, но никогда не включавшаяся нив один молитвослов и называемая в народе “Молитва по соглашению”. Существует несколько преданий о ее создателях, но мне думается, что сложилась она в душах многих православных христиан, ибо основные слова взяты из Евангелия. Как правило, при каких-то

бедах, несчастьях несколько православных христиан договариваются читать ее одновременно и просить Господа о выздоровлении больного, о милости к падшему, о спасении воина, заключенного. Молящиеся могут находиться в разных городах, домах, но читают молитву все в одно и то же время утром, днем или вечером. Многие знают эту молитву, но я прочту ее: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Ты рекл еси пречистыми устами Твоими, егда двое или трое на земли согласятся просить о всяком деле, дано будет Отцем Моим Небесным, ибо где двое или трое собраны во Имя Мое, там Я посреде них.

Непреложны словеса Твои, Господи, человеколюбие Твое беспредельно, милосердию Твоему нет конца. Мы, рабы Твои (следует назвать имена одновременно молящихся), согласно молимся о рабах (упоминаются люди или события, о которых молятся), помоги, Господи, все дела наши, совершаемые в сегодняшний, завтрашний и во все дни, о Тебе Самом совершити, но обаче, не как мы хотим, а как Ты. Да будет воля Твоя, Господи. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь” (Мф. 18, 19–21).

Все верующие являются членами Церкви Христовой, и без Церкви одному человеку трудно найти верный путь к спасению, правильному поведению в земной жизни. Вне Церкви человек хиреет, легко поддается соблазнам, колебаниям, смущениям, смятению духа. Церковь духовно питает каждого проходящего к ней. Мы живем в окружении разнообразных людей: плохих, хороших, верующих и неверующих, встречаемся с последователями вредных учений, не зная об этом, что-то пытаемся передать им свое, но чаще получаем от них вред, ненужные знания и вредную информацию. Наша вера в Господа постепенно вытесняется посторонними мыслями, и, считая себя православными христианами, мы на самом деле становимся слабым отражением христианина. Постоянное общение с Церковью помогает бороться с окружающим злом и восстанавливает в человеке дух Христов, дух веры.

Если человек молится один и не живет жизнью Церкви, то суета и заботы века сего все дальше и дальше будут уводить его с дороги веры. Необходимо постоянно бывать в храме, молиться со всеми стоящими в нем, ибо “где двое или трое собраны во Имя Мое, там Я посреде них”, исповедоваться и приобщаться Святым Тайн. Образно молитву одного человека можно сравнить с одиноко горящей свечой, но молясь в храме, сотни молящихся соединяют свет своих горящих свечей, и тогда возгорается огромный столп света, озаряющий всех стоящих в храме, и молитвы наши, соединенные воедино, возносятся в доме Господнем – храме – к Творцу. И Он слышит и внемлет нам. Пребывая в храме, молитесь о друзьях ваших, дабы Господь помогал им жить, сохранять и умножать веру, о врагах и обидчиках, чтобы примириться с ними, и никогда не забывайте молиться об умерших – ваша молитва помогает душам ушедших. Помните, что всегда надо помогать людям. На памятнике милостивого врача Гааза высечены слова: “Спешите делать добро”. Да, да, спешите, это – евангельская истина. Добро и молитва – этому учит нас Иисус Христос”. Сейчас точно не помню, но была эта беседа в 1969 г., присутствовало на ней восемь человек.

Вторую беседу о молитве, в день преподобного Алексия, человека Божия 30 марта, я записала в 1973 г., присутствовало девять или десять человек. Разговор был долгим, шли споры о значении молитвы, о влиянии ее на человеческую душу и о значении домашней молитвы и молитвы в церкви. В разговоре участвовали четверо. Отец Арсений молчал, остальные, в том числе и я, были слушателями и участия в жарких дебатах не принимали. Когда все смолкли, о. Арсений произнес: “Я – иеромонах, моя обязанность, по благословию старцев, помогать людям, нести им успокоение, любовь, учить молиться и любить ближних своих и Господа всем сердцем своим, всем разумением своим. Верю в Отца и Сына и Святаго Духа – нераздельную Троицу. Моя вера точно соответствует великим словам “Символа Веры”, утвержденным Вселенскими Соборами, мне заповедано никогда не вступать в богословские споры, и я считаю их ненужными.

Боюсь ошибиться, но, насколько мне не изменяет память, почти каждый апологет и богослов, написав много хороших книг, всегда допускал одну-две неточности, за которые подвергался жестокой критике и осуждению со стороны своих противников (однако, за свои великие деяния и такие богословы бывали тоже канонизированы). Я принял послушание служить людям, и то, что буду говорить о молитве, исходит только из канонов Церкви и моего иерейского опыта, накопленного годами в общении с духовными детьми и проходящими ко мне людьми.

С большим интересом слушал ваш разговор о молитве, каждый из вас прав; молитва многообразна и у каждого человека исходит из сердца (души) по-своему, в зависимости от внутреннего устройства, духовного опыта, умения настроить себя на молитву, от созерцательности молящегося. Почти все, что я буду говорить, давно известно, но для собравшихся несведущих повторю. Все учителя Церкви писали о значении молитвы для верующего. В XIX в. писали

митрополит Московский Филарет (Дроздов), епископ Феофан Вышенский, епископ Игнатий (Брянчанинов), Оптинские старцы (в письмах к духовным детям) и другие духовные писатели, в новейшее время даже составлена классификация молитв. Мне представляется самым главным при совершении молитвы: духовная собранность, душевная искренность, отрешение от житейской суеты, соблазнов и погружение в молитвенное состояние. Только тогда душа в своем молении может устремиться к Богу, но не каждому человеку это доступно в одинаковой степени.

Молитвы ко Господу Богу условно можно подразделить на три вида:

1. Просительная молитва, когда молящийся просит Бога оказать помощь, избавить от бед и несчастий, помочь близким, исцелить от болезней, утешить в скорби, дать хлеб насущный, простить грехи или когда он молится за умерших. Просительная молитва для большинства верующих является главной – даже человек, недостаточно осознающий Бога, может в трудную минуту обратиться к Вседержителю с просьбой о спасении. Приходя в церковь и молясь, мы всегда о чем-то просим Бога.

2. Благодарственная молитва – возносящая благодарность за оказанную человеку помощь в делах его, за исполнение наших просьб, ранее излагавшихся в просительных молитвах, за то, что Господь милует и дает жизнь. К сожалению, не все возносят Господу благодарственные молитвы. Многие только просят, уподобляясь должникам, постоянно берущим в долг, но забывающим отдавать прежде взятое. Благодарственная молитва, устремленная к Богу, Пресвятой Богородице и святым, и устремленная не единожды, а много раз, является возвращением человеком его долга Господу за исполнение просимого ранее в просительной молитве. Однако, как я уже упоминал, обращаются к Господу с благодарностью не все верующие. Задача священника, духовника разъяснять приходящим к нему людям, что необходимо благодарить Господа Бога, Пресвятую Богородицу и святых за оказанную помощь.

3. Прославляющая Бога молитва – это высшее моление к Богу, Творцу неба и земли, это восхваление Господа за все и вся. За скорби и беды, за спасение и избавление, за то, что живем, за радости и горе и, еще раз повторяю, – за все и вся. Господь – наш Творец, все исходит от Него, Он создал нас и дает нам возможность своей благочестивой жизнью на земле спасти свою душу и по Его милости войти в Царствие Божие. Это великое моление совершенной души, и каждый из нас, постигнув всю силу благодарственной молитвы, может войти в круг прославляющей молитвы.

Прославляющая Господа молитва всегда звучит в храме, и особенно во время самой великой церковной службы – литургии.

Скажу несколько слов о том, как следует молиться. Отрешиться от окружающего тебя мира и войти в слова и дух молитвы без долгого молитвенного опыта многим бывает трудно. Ты молишься, стараясь вникнуть в молитву, а молитва идет рассеянно, рядом с молитвой все время возникает параллельная мысль о чем-то житейском, и ты не можешь избавиться, уйти от нее. Чтобы преодолеть это, необходимо чаще и больше молиться, обязательно первое время вслух, если есть возможность. Часто священники говорят и даже пишут, что рассеянная, несосредоточенная молитва не угодна Богу и даже греховна, потому что молящийся не отдает свою душу полностью Богу и этим совершает грех. Конечно, такая молитва неполноценна. Молящийся пытался собрать свою волю и ввести душу в молитвенное устремление, но, по своей немощи, не смог, но все же стремился это сделать. Только один Господь может оценить искренность и духовную ценность такой молитвы. Однако считаю, что если молитва произнесена и человек пытался устремиться к Богу, то хотя в силу неизвестных нам причин он не смог совершить горячей и искренней молитвы, все же он молился. Не забыл прочесть в положенное время правило – это уже жертва, труд, принесенный Господу, и Он примет молитву, взвесив внутреннее устройство и искренность молящегося. Многие, в том числе и священники, не согласны со мной, но я так думаю и находил косвенные подтверждения своим словам в духовной литературе и даже в древних патериках.

На всех ступенях молитвенного делания человек обязан стремиться, вознося прошения, благодарение или хвалу, молиться от всей души, стараясь отрешаться от всего суетного, земного. Если молящийся никак не может обрести способность искренне молиться, он должен посоветоваться со своим духовником. Часто с приезжающими я долго молюсь, громко и отчетливо произношу каждую фразу, стараясь всю свою душу вложить в каждое слово и потом поясню смысл и значение молитвы. Наиболее искренними и устремленными к Богу бывают молитвы просительные, ибо любой молящийся, даже не достигший духовного совершенства, в просительных молитвах искренен до конца – он просит исцеления, дарования милости, помощи близким, ниспослания жизненных благ, о спасении от смерти, болезней, о том, что вызывает у него боль и страдания”

* * *

Запись беседы о молитве воспроизведена по памяти. Две беседы о молитве о. Арсения, записанные мной, носили общий характер и велись с вновь приехавшими людьми. С каждым новым

человеком, приходившим к нему и становившимся его духовным чадом, о. Арсений всегда проводил личную беседу о молитве ко Господу и о взаимоотношениях с людьми. Считал и требовал от человека обязательного и неукоснительного выполнения ежедневного молитвенного правила. Вначале спрашивал, какое правило выполняет пришедший, выслушав, советовал, – какие молитвы включить или исключить, в зависимости от духовного облика пришедшего. Рекомендовал тщательно просмотреть прошедший день, свои действия, мысли, разговоры, осознать, что совершил плохого, и, вознося молитвы к Богу, просить у Него прощения о соделанном и стараться не повторять плохого в следующие дни. Длительных молитвенных правил о. Арсений не одобрял, говоря, что молящийся к концу своего моления устает и молитвы повторяет бездушно, механически, однако некоторых благословлял молиться по часу и больше.

Советовал молиться утром и вечером в установленные раз и навсегда часы, рекомендовал родителям, имеющим детей, молиться всей семьей, но так, чтобы ребенок не уставал; вначале помолиться кратко с детьми, а потом продолжать молиться взрослым, выполняя установленное правило. Советовал молиться, идя на работу или с работы, повторяя все правило или отдельные молитвы из него, считая, что такая молитва избавляет человека от пустых и ненужных мыслей. Постоянно напоминал: “молитесь Богу, но не забывайте молиться о людях, совершайте добро. Молитва к Богу и любовь к человеку должны быть в единении, одно без другого не живет”.

ВОСПОМИНАНИЯ ОТЦА АРСЕНИЯ

9–10 января 1975 г.

Юрий и я на Рождественские праздники приехали на десять дней к о. Арсению, остановились у Платоновых, где летом постоянно снимали комнату.

Шел третий день Рождества Христова, 9 января 1975 г. Последние дни самочувствие о. Арсения резко ухудшилось. Два доктора Ирина и Люда жили у Надежды Петровны уже несколько дней, наблюдая за его состоянием. Литургию в этот день служили о. Николай с о. Германом и о. Павлом. Отец Арсений лежал на диване. От постоянной слабости, одышки и аритмии он не мог не только встать, но и сидеть.

По окончании литургии и после завтрака о. Арсений попросил придти к нему всех приехавших в этот день: Люду, Ирину, Юрия, о. Николая, о. Германа и о. Павла, Надежду Петровну, Наташу и меня. Мы молча сели в кресла, на стулья, скамеечку для ног. Отец Арсений был задумчив, лежа на диване, машинально перебирал бахрому закрывавшего его пледа. Стояла тишина. Подняв склоненную голову, долго смотрел на иконы, трижды перекрестился и тихим голосом сказал:

“Дорогие мои и любимые друзья и духовные дети, жизнь медленно и неумолимо покидает мое бренное тело, такова воля Господа. И сейчас хочу рассказать вам отрезки своей жизни, на основе которых формировалось мое духовное мировоззрение и определялась дальнейшая дорога, ведущая к познанию Бога и руководству врученной мне Господом паствой и отдельными людьми, встреченными в жизни.

Я прожил долгую жизнь, две трети которой окружали меня люди, несущие божественную радость и свет. Первой была моя мама Мария Александровна (однажды я уже говорил о ней), человек одаренный, мудрый, проникнутый глубочайшей верой в Бога, именно глубочайшей. Она относилась ко мне двойственно: как к родному сыну, и как к творению Божию, которое обязана была сохранить и воспитать в глубокой вере Творцу. Она считала себя ответственной перед Ним, ибо Он вручил ей человеческую душу. Я был третьим ребенком в семье, брат умер в два года, сестра – четырех лет, и мама, когда я родился, дала обещание Господу вложить в меня веру, правдивость и любовь к людям, и она воспитала меня так. В шестнадцать лет, увлекаясь древнерусским искусством, уже мечтал о монашестве. Потом была Оптиная пустынь, в которую под руководство старцев попасть было трудно, но по милости Божией был принят, и руководили мной старцы о. Анатолий и о. Нектарий. Два года прожил в Оптиной пустыни под руководством старца о. Нектария и старца о. Анатолия. Почему двух старцев? Многих это удивляет; вероятно, это по замыслу старцев входило в систему моего духовного воспитания. Бывало, придешь к о. Нектарию, долго всегда ждать приходилось. Спрашиваешь, а он отвечает: “Иди к о. Анатолию, он скажет”. Приду к о. Анатолию, тоже ответит: “Идите спросите у о. Нектария”. Вначале терялся и даже до слез обижался, но потом осознал: “Значит, так надо”, – и это впоследствии определило мое духовное мировоззрение, когда по благословению о. Нектария и о. Анатолия в сане иеромонаха был послан служить “в мир”, в приходскую церковь.

В монастыре, находясь в послушании у старцев, нельзя иметь своей воли, а должно поступать так, как говорит духовный наставник, вне зависимости от того, нравится это или не нравится, ибо принятием воли старца послушник совершенствуется, отсекается от помыслов, грехов, живет волей

старца, имеющего благодать от Господа, знающего его душу, знающего, что ему духовно необходимо для достижения монашеского совершенства. Круг общения в монастыре невелик, постоянно одни и те же люди, монахи, которых знаешь и ежедневно видишь, монастырские работы, постоянная молитва в церкви, келье, на работе, минимум разговоров и наставления старцев. Покорность и смирение при общении с послушниками, монахами. Не надо думать, что взаимоотношения с окружающими были безоблачными в монастыре, иногда они были настолько тяжкими, что душа сжималась от боли, это были искушения, попускаемые Господом. Приходя к старцу, раздавленный и угнетенный, хотел все рассказать, но он уже знал, да, все знал и по характеру твоего отношения к совершившемуся определял уровень твоего духовного совершенства или падения и поучал воспринимать случившееся с молитвой как волю Господню.

Твое мнение, полученное унижение, обида во внимание не принимались, принималась только смиренность перед Богом и понимание: ты настолько еще несовершенен, что происшедшее есть результат твоей греховности и является справедливым. Старец в монастыре – твой отец, наставник, руководитель во всем, своей воли у тебя нет, есть полное отречение от твоего суетного “я”.

Получив от старца о. Нектария и старца о. Анатолия благословение идти служить в мир, в приходской храм (это в те времена было совершенно необычным), я был глубоко удивлен и растерян. Не знаю, кто говорил обо мне Святейшему Патриарху Тихону, но меня пригласили к нему, он принял, разрешил служить в приходском храме, где настоятелем был протоиерей Павел. Патриарх минут десять говорил со мной, благословил и сказал пророческие слова о моем иерейском пути, говорить их не буду, слишком сокровенны они. Скажу одно: находясь в ссылках, лагерях, выводимый на расстрелы, избиваемый на допросах и почти умирающий на морозных этапах, верил словам великого святителя земли Русской – Патриарха Тихона, что исполнятся его предначертательные слова и вновь приду к вам, моим духовным детям. Верил дерзновенно, ибо это были слова Патриарха.

Я, малоопытный иеромонах Арсений, пришел к настоятелю храма о. Павлу. Высокий, осанистый, чуть-чуть грузноватый, с добрым и приветливым лицом, скептически оглядел меня, попросив рассказать о себе. Рассказывал долго и подробно: о жизни до монастыря, о детстве, образовании, увлечении древнерусским искусством и зодчеством, жизни в Оптиной пустыни. Отец Павел не задал ни одного вопроса, сказал: “Вы из интеллигенции, у меня тоже такие прихожане есть, все у них какие-то искания и искания, себя даже в вере найти не могут, вот и будете с ними разбираться, я плохо их понимаю. В Оптиной пустыни не был, о старце Нектарии, старце Анатолии и старцах Никоне и Варсонофии слышал много. Говорят, старцы великие, но Москва – не Оптина, город шумливый, грешный.

С незапамятных времен мои прадеды, деды попами были, и хорошими попами, я всю жизнь к иерейству стремился, семинарию окончил, потом Академию, но со старчеством не встречался. Есть в Москве священники, общины создали, хотя в миру оптинским путем идти, Бог им в помощь. Знаете, батенька (у о. Павла было любимое выражение “батенька”), трудно быть в миру, да еще в Москве, священником, представить себе не можете! Это не монастырь, где все по часам расписано. Я бы с радостью в монастырь ушел, да не могу прихожан оставить, женат, дети, хотя и взрослые, но дети”. Знал ли о. Павел Господнее произволение? Был он арестован и в Архангельской области умер в ссылке от голода через шесть лет после этого разговора. “Церковь власти рушат, иереев в лагеря посылают, кому храм оставлю? Отец Михаил – человек хороший, но рюмку любит. Знаешь, о. Арсений! На тебя оставлю”, – и благословил меня.

“Вот что, батенька, все, что монастырское, при тебе останется, но для службы в городе буду тебя переучивать. Не обижайся, образованием ты силен, но я служу иереем более тридцати пяти лет, все, что знаю, тебе передам”. Знаете, этот грузноватый, осанистый иерей о. Павел, веселый, улыбочивый, любитель крепкого чая с сахаром и пивший его с черным хлебом, обладал огромным духовным совершенством, я благоговел перед ним. Его духовный мир не уступал духовному миру Оптинских старцев, но был иным, городским.

И вот я, иеромонах Арсений, ощутил духом, увидел два пути, разных, но ведущих к одной цели. И задумался, просил Господа указать, какой духовной дорогой идти, какую выбрать. Долго раздумывал, молился, умоляя Господа помочь сделать правильный выбор, поехал в Оптину пустынь получить совет от старцев. Прожил три дня, о. Анатолий выслушал и сказал: “Благословляю! Милость Господа да будет с тобой. Дерзай!” Отец Нектарий принял только на третий день перед самым отъездом, выслушал и долго молчал, видимо, молился, потом сказал: “В Москве есть старец, прихожан по-оптински ведет, вот с кого пример надо брать. Походи по церквям, посмотри, посоветуйся, Господь вразумит. Иди, найдешь себе дорогу”.

Я ушел, побывал у московских иереев, руководивших общинами, каждый имел свое мнение, советы давали разные, отличавшиеся друг от друга, но благословение старца Анатолия было для меня путеводной звездой. Видел – власть делает все, чтобы разрушить Церковь, и понимал – в дальнейшем будет еще хуже: духовенство репрессировали, церкви закрывали и разрушали.

Моя мысль была в том, чтобы научить человека беспредельно верить в Бога и любить ближнего своего. Считал и считаю, что вера Христова зиждется на двух заповедях о любви ко Господу и ближним, много раз говорил об этом вам.

Господь был милостив и явил великое чудо мне, недостойному. Часа в два, после литургии, в глубокой задумчивости пошел по улицам, думая о своем служении, и внезапно увидел, что нахожусь в Гончарном переулке, сейчас, кажется, называется ул. Володарского, это около Таганской площади. Посмотрел на часы, было уже пять часов, значит, в задумчивости шел три часа. Что привело меня сюда? Воспоминания детства или что-то иное? Увидел, что стою около дома моего друга, с которым не встречался несколько лет. О его жизни сейчас не знал, хотел пройти, но непонятная сила влекла зайти. Позвонил, дверь открыл сам Костя, очень обрадовался, но сказал: “Петр! Подожди в соседней комнате, сейчас у меня владыка Иларион, епископ Верейский, будет долгий и важный разговор”. Я почувствовал, что мешаю и, сказав несколько слов, стал прощаться и уже открыл дверь на лестницу, но услышал звук открывающейся двери и властный голос, произнесший: “Иеромонах Арсений! Я жду Вас”. Я вздрогнул. Это было великое чудо. Я вошел, владыка Иларион благословил и пригласил садиться. Видел Владыку впервые, хотя слышал о нем много, говорили, он был близок к Патриарху Тихону. С епископами я почти не общался, откуда он мог знать обо мне, третьем священнике небольшого московского храма, расположенного далеко от Садового кольца, в “купеческом” районе?

“Расскажите о Ваших сомнениях”. Откуда владыка Иларион мог знать о моих мучительных размышлениях и сомнениях? Стесняясь, стал рассказывать. Владыка прервал меня, сказав: “Время у меня есть, отбросьте стеснительность и говорите, словно на исповеди”.

Отбросив стеснительность, даже не боясь высказать что-то не совсем верное с точки зрения установленных правил, начал свой сбивчивый рассказ, полный сомнений и искания пути своего иерейства. Говорил о желании организовать общину, о том, как хочу вести в ней духовную работу и наставлять духовных детей. Говорил о многом, Владыка внимательно слушал, не перебивал. Я привел заповеди Господни, сказал, что хочу вложить в душу прихожан веру в Бога, любовь к ближнему, чтобы это давало человеку возможность идти по пути веры и любви и находить среди окружающего греха, зла и насилия верную дорогу в наше жестокое время гонений на православие.

Я, воспитанник Оптиной пустыни, всей душой принадлежавший ей, отчетливо понимавший величие духовных Оптинских старцев, их подвигов и того пути, которым вели они своих духовных детей, думал, что это – лучший из лучших путей к спасению души человеческой, который может предложить Церковь, но могу ли я, приходской иерей, повести десятки, а возможно и сотни своих духовных детей по такому пути, давая советы и руководя каждым прихожанином? Не могу. Служа в храме, общаясь с прихожанами, исповедуя их, среди их разноликой массы я видел людей, могущих принять великий и правильный путь Оптинского служения, но были и другие верующие, с особенностями своей жизни, психики, характера и среды, не способные принять его. Как же быть? Я должен научить всех вере в Бога, научить любить окружающих людей и, вложив в их душу, сердце, ум сопротивляемость злу, насилию, безбожию, атеизму, “заставить” людей верой своей в Бога и любовью отбрасывать все плохое, уметь ориентироваться в сумятице жизни и зла. Тех же духовных детей, в которых был особый дух веры, вести по пути Оптинских старцев.

Путь, по которому шел настоятель храма о. Павел, был традиционным для городского духовенства и, по моему мнению, внутренней духовной стойкости не давал.

Все, о чем думал и мечтал, дерзновенно высказал перед владыкой Иларионом, смутился и даже испугался. Кто я такой, чтобы перед Владыкой излагать свои мысли о путях руководства духовными детьми?

Внимательно выслушав меня, владыка Иларион стал так говорить со мной, словно он знал всю мою жизнь, упомянул мою маму, увлечение искусством, жизнь в Оптиной, очень тепло сказал об о. Павле. Встал, повернулся к иконам и произнес: “Помолимся”. Прочел молитвы, сел, я остался стоять.

“Вы хотите соединить два направления в одно: Оптинское и то, что живет в наших приходах, у вашего настоятеля о. Павла?” – “Да”, – ответил я. “Вы хотите вложить любовь ко Господу, как сказано в заповедях, и любовь к ближнему как к самому себе я этим создать в душе человека сопротивляемость грехам, гонениям, смущению, безбожию, падениям. Встреча наша произошла по произволению Божию и необходима для нас обоих. Я, епископ Иларион, благословляю Вас идти по избранному пути – соединив два пути в одном. О разговоре нашем доложу Святейшему Патриарху. Благословляю, идите избранной дорогой. Господь сохранит Вас во всех бедах и напастьях”. Я упал на

колени, и Владыка, положив руку мне на голову, еще раз благословил. Во все время нашей беседы он был сосредоточен и серьезен, и только при последнем благословении на лице появилась добрая улыбка. Сейчас уже не помню, но, кажется, он был секретарем у Святейшего Патриарха Тихона [26].

С этого момента я пошел по благословию замечательного церковного деятеля, впоследствии архиепископа Верейского, умершего в узах, перенесшего Соловецкий лагерь, издевательства, унижения, побои и встреченного иеромонахом Серафимом в Соловках за унижительной уборкой нечистот (отца Серафима вы знаете и помните его воспоминания о встрече с Владыкой).

Встреча с архиепископом Иларионом была необыкновенным, чудесным проявлением милости Господа ко мне, незначительному священнику, начавшему служение в небольшом московском храме. В жизни человека чудо не может быть случайным, оно определяется степенью его духовности, необходимостью влияния на его внутренний мир. Такое чудо подал мне Господь через владыку Илариона, и я пошел по этой дороге, постоянно помня полученное благословение.

Возвратившись в свой храм, я отслужил благодарственный молебен, все рассказал о Павлу, и он сказал мне: “Если владыка Иларион благословил тебя, иди этим путем, Владыка – человек глубокой духовности. Мне, старику, переучиваться негоже, но тебе помогу”.

С этого дня я начал служение в храме, руководствуясь принятым решением. Каждый день служил раннюю обедню, стараясь сделать все понятным и ясным для прихожан, вводя их как бы в круг участников службы. Договорился с диаконом о Львом (умер в лагере в 1937 г.), что каждое слово ектений будет громким и четким, также переговорил с хором, состоявшим из трех женщин. К ранней обедне приходило человек 8–10, в основном тех, кто жил близко от церкви, на исповедь ко мне никто не шел. На поздней обедне народу всегда было много, служил о. Павел, я был помогающим священником. К о. Павлу очередь исповедников, а я стою у аналая, крест и Евангелие лежат, но прихожане не идут. Отец Павел стал ко мне исповедников посылать, шли неохотно, но когда приходили, исповедовал долго, рассказывал о значении исповеди, говорил о необходимости ежедневно молиться и читать главу Евангелия. Слушали рассеянно, иногда даже вступали в спор, но постепенно человек десять–пятнадцать стали приходиться ко мне. Организовал вечером беседы, поучения.

Отец Павел радовался за меня и многих исповедников направлял ко мне, но о. Михаил, второй священник, почему-то возненавидел меня, называя сектантом и еретиком. Вскоре он сильно запил и ушел в другой приход. Община росла, совершенствовалась, Глеба посвятили в иерея, вы стали моими помощниками. Великое значение для меня имело напутствие и благословение владыки Илариона, знания, приобретенные в Оптиной пустыни, наставления старцев Нектария и Анатолия, великая милость Господня, что Святейший Патриарх Тихон направил меня в церковь, где настоятелем был протоиерей Павел. Помните совместные доклады на собеседованиях, которые проводились тогда нами? Сколько пользы принесли они всем вам (к сожалению, многих уже среди нас нет). Росла община, росли вы, и я учил вас и сам учился у вас!”

Мы видели, что о. Арсений устал. Доктора Ирина и Юля одновременно встали и сказали: “Отец Арсений! Мы запрещаем Вам дальше говорить, продолжите завтра”. – “Я обязательно должен все досказать, это необходимо”. Юля махнула нам рукой, мы вышли.

На четвертый день Рождества Христова, 10 января 1975 г., о. Арсений попросил всех придти к нему. Отец Николай должен был уехать, о чем очень сожалел, но неожиданно приехали Оля и Надежда, сестра Юрия, ставшая давно уже тайной монахиней.

Доктора наши были недовольны, что о. Арсений вновь собрал нас. Мы расселись кто куда, сегодня батюшка выглядел намного лучше, чем вчера, даже голос был более громкий.

“Вчера я рассказывал, как я шел к общине, как она создавалась, остальное вы знаете, ибо вы жили в ней и знаете всю ее жизнь. Сейчас я буду говорить о годах, трудных физически, но духовно светлых, ибо и в ссылках, и в лагерях я встречал людей высочайшего духа, подвижников веры, страдальцев, помогавших людям. Вы знаете, я встречал людей, вера которых была так совершенна и велика, что мне виделось: поднеси к ним восковую свечу, и она вспыхнет неземным светом. Вот об этих праведниках поведаю вам, ибо учился и учился у них. Но возвращусь к моей маме, Марии Александровне. Я уже говорил, мама была человеком необычным. Она выросла в интеллигентной профессорской семье, где вера признавалась одним из обязательных обычаев русского народа, чем-то похожим на народный фольклор, и в этой окружающей ее обстановке она сама пришла к вере и стала верующей, привела к познанию веры свою мать и своего отца. Вера ее в Господа была настолько велика, а знания святых отцов и духовной литературы столь обширны, что она поражала современных ей духовных философов. Почему я говорю об этом? Потому что именно моя мать заложила в мою душу зерна веры, взрастила их, и я вошел в жизнь, стоя на твердом основании, с которого ничто не могло меня столкнуть. Оптина пустынь, принятие священства, основание общины

и тяжелый путь лагерей и ссылок – все зиждилось на вере, данной мне матерью. Сейчас я буду говорить о трети своей жизни, проведенной в лагерях и ссылках, но не о перенесенных физических трудностях, а о прекрасных людях, встреченных там, научивших меня многому и передавших свой духовный опыт.

Первым таким духовным светочем был иерей Иларион, в монашестве Иоанн, служивший в селе Троицком Архангельской области. О нем записаны хорошие воспоминания Ксенией Владимировной, и в них подробно рассказано о том влиянии, которое он оказал на меня. Вторым был иеромонах Серафим из Нило-Столобенского монастыря, воспоминания о нем записал Александр Сергеевич. С третьим я внезапно встретился в своем же лагерном бараке – монах Михаил. Каждый из них передал мне, даже не зная этого, глубокую духовную мудрость, обогатившую меня.

Лагерь физически был непосилен и страшен, но многочисленные встречи и исповеди заключенных открывали мне, иерею, неизмеримо высокую духовность людей. Не думайте, что все эти люди были владыки, иереи, монахи, – среди этих подвижников веры находились простые миряне, обретшие такую полноту веры Христовой, что мне, иеромонаху, было далеко до них. Исповеди их были для меня откровением Божиим. Вспоминается простой колхозник Иван Сергеевич. Всегда тихий, спокойный, он исповедовался за три дня до смерти, его в забое завалило породой. Я слушал его исповедь, рассказ о своей жизни, слушал слова: “Батюшка, я через три дня погибну, посылают в лагпункт – в шахту”. Он говорил отстраненно, с глубокой верой в Господа, я слушал, и слезы текли по моему лицу.

Вспоминается пожилой инженер, помню только его имя, Вячеслав, я видел его в бараке каждый день. Однажды вечером он подошел ко мне: “Батюшка, я плохой верующий, но завтра будет “чистка” лагеря, меня расстреляют, исповедуйте и отпустите грехи”. Этот “плохой верующий” был настолько духовно высок, что я с трепетом слушал его. На следующий день его расстреляли. И сколько было таких встреч, как много они дали.

Там же в лагере был иеродиакон Печорского монастыря Иоанн, невысокого роста, остриженный, как и все заключенные, под машинку, всегда с печальным лицом, но когда он говорил, голос гремел. Музыканты из заключенных говорили, что у него редчайший бас – бас профундо, и с таким голосом надо петь в итальянском театре Милана “Ла скала”. Отец Иоанн пришел ко мне на исповедь в барак, попытался говорить шепотом, но каждое его слово было слышно метров за пять. Исповедь не состоялась, договорились, что он будет исповедоваться на лесоповале, в лесу, в том году меня посылали на заготовку леса.

Долго исповедовать было нельзя, и разговор с перерывами длился минут пятнадцать. То, что я услышал, повергло меня в духовный трепет, передо мной стоял великий праведник, и, исповедуя о. Иоанна, я неизмеримо обогатился духовно сам. Все, что он говорил о своей жизни, поведении, было для меня настоящим откровением и поучением на всю мою жизнь.

Всех праведников, встреченных мной в лагерях, перечислить невозможно.

Остановлюсь еще на вопросах, связанных с исповедью. Если пришедший на исповедь был полон желанием открыть свою душу Господу и действием благодати, данной иерею, очистить ее и испросить прощение в содеянном, то это всегда было для меня радостью и шагом к совершенству. Человека, приходившего с огромным горем, смертью ребенка, жены, мужа или другими бедами, просившего молитв и духовной помощи, я принимал, молился с ним и воспринимал его горе, как свое, и вместе с ним переживал и страдал, я как бы соединялся с ним в его страданиях, и если человек уходил после исповеди успокоенный, понявший, что во всем воля Господа, – я бывал духовно счастлив и после исповеди усердно молился об исповедниках.

Однажды одному владыке К. и известному протоиерею из Нижнего Новгорода я рассказал, как я воспринимаю исповедь, и получил ответ: “Так горячо исповедь пришедшего воспринимать нельзя, Вы сгорите, душа Ваша не вместит чужих горестей”. Я не согласился. Когда-то, возможно не один раз, я говорил, но повторяю. Мне пришлось исповедовать сотни, а возможно и тысячи людей, и от каждого из них я взял частицу духовно светлого и хорошего, обогатившего меня, и потом я передавал ее другим страждущим и несчастным людям.

Когда я еще служил в храме, то были прихожане, приходившие в дни Великого поста и просившие по обычаю “отпустить им грехи”. Приходили один раз в год, это был формальный обычай, и мои слова к исповедующимся падали в пустоту, не воспринимались, и я искренне расстраивался”.

Отец Арсений устал и замолк, мы поднялись и хотели выйти. Люда подошла к нему и стала измерять кровяное давление, измерив, сказала: “90 на 60, низкое”. Увидев, что мы встали, батюшка сказал: “Не уходите, я передохну немного и продолжу об исповедях заключенных уголовников в лагере”.

“За долгие годы пребывания в “лагере смерти” – так мы, заключенные, называли лагеря особо строгого режима, куда посылали не отбывать наказание, а умирать, обязательно умирать, – я понял, что человек, находившийся там, не имел надежды ни на что, его ждала только смерть, поэтому определение добра и зла у большинства заключенных было совершенно иным, чем когда-то на воле. Отсюда и отношение друг к другу, к чужой и собственной жизни измерялось по-другому: жестоко, грубо, бескомпромиссно. Понятия о добре и зле переосмысливались в демоническом понимании: хорошо, когда другому плохо, и плохо, когда другому хорошо. В соответствии с этим соизмерялись твои действия и воспринимались чужие.

В этой обстановке лагерного ада, если человек приходил для покаяния, исповеди, то – отягченный таким грузом грехов, что иерей терялся, не знал, имеет ли духовное право простить совершенное. Времени для исправления своей жизни, ее изменения пришедший не имел. Завтра могут убить свои же уголовники, может пристрелить охрана, засыпать в забое порода, придавить спиливаемое дерево, – и он уйдет из земной жизни не раскаявшись, не примирившись с Богом, если я откажу ему в исповеди. Какой бы ни был он грешник, но пришел принести покаяние и получить прощение в меру своей совести. Стоя перед исповедующимся, слушая искреннюю исповедь, иногда ужасался услышанному, душа моя леденела, но слушал, внимал и, если осознавал его искренность, то отпускал грех. Но бывало, что, выслушав исповедь, просил заключенного подождать до следующего вечера и всю ночь молился, умоляя Господа дать силы отпустить грехи исповедующемуся. Случалось много раз, что на другой день или в ближайшие дни исповедующийся заключенный погибал, и в этом проявлялся Промысел Божий. Если я видел неискренность в раскаянии пришедшего, то говорил ему об этом и не совершал отпущение грехов. Было несколько заключенных, приходивших ко мне, которым отпустить грехи не мог, – я не видел искренности, и столь велики были злодеяния этих людей, что моя духовная совесть не позволяла этого сделать. Два или три раза меня даже пытались за это убить, что только подтверждало правильность принятого решения.

Ранее я прочел много хороших духовных книг об исповеди, написанных святыми отцами Церкви и современными авторами, и это вошло в мою душу и сознание непреложной истиной, я руководствовался этим при общении со своими духовными детьми, а также заимствовал опыт иереев, стоявших в духовном отношении намного выше меня и обогащенных долгим служением в Церкви. Вот они-то и подготовили меня к неожиданным встречам в лагере с людьми, обреченными на уничтожение, отягченными страшнейшими грехами: многократными убийствами, насилиями, грабежами, разбоями.

Сомнения одолевали меня в правильности совершенного, и в 1961 г. при встрече с владыкой Афанасием в Петушках подробно рассказал ему о своих переживаниях и спросил, правильно ли вел себя как иерей при исповедях уголовных заключенных, несших тягчайший груз преступлений на своей душе. И Владыка ответил, что и ему приходилось исповедовать таких людей, если он видел их искреннее раскаяние, но Сам Господь решит их участь, оценив меру искренности покаяния.

Вы помните, храм наш был невелик, входивших в него мгновенно охватывала благость и умиротворенность, в Москве он не “гремел”, как другие общины. Прихожане в основном были из интеллигенции, много молодежи от 18 до 30 лет, но и пожилых людей было достаточно, остальные были местные прихожане. Общее количество членов общины было 90–95, много народа приезжало из разных концов Москвы. Храм всегда был полон.

Со всеми сидящими здесь сейчас мы создавали нашу общину, поэтому хочу поделиться с вами, моими духовными детьми, своими мыслями. Шестнадцать лет я здесь с вами, но за восемнадцать лет моего лагерного заключения изменился мир, мышление людей, да и вы, мои любимые духовные дети. Даже вера у многих стала иной, восприятие Бога приняло “светский оттенок”. Конечно, Бог есть, Троица, Божия Мать, святые, таинства, каноны, предания и даже, обратите внимание, даже есть и сохранилась Церковь, но на все понятия легла дымка “современного прогресса”. Конечно, Бог есть, и сомнений в Его существовании нет, но часто слышатся слова: “исходящий из космоса”, “космический”, “исходящий из космических сфер”, и говорят это верующие люди. “Конечно, есть Пресвятая Богородица, святые, это милое предание Церкви оживляет веру и придает ей апостольскую преемственность, окрашивает в тона духовной древности и придает благость. Церковь необходима, но вы подумайте, – говорят эти верующие люди, – две тысячи лет отделяют нас от ее создания. За эти два тысячелетия человек стал другим, “интеллектуальным”, вырос, и все вокруг него жило и тоже менялось, а Церковь осталась “на кругах своих”. Так давайте “подгоним” ее устройство под современного человека, оставив все, как было и раньше, но изменив и подладив к понятиям двадцатого и двадцать первого веков”. И вот эти слова – “оставив, как было раньше, и подладив к двадцатому, двадцать первому веку” – остаются не раскрытыми и являются зловещими

для Церкви. К сожалению, так думают не только миряне, но и некоторые священники, и моих некоторых духовных детей эти веяния не обошли. Слово “экуменизм” в своей основе доброе, но для православия оно губительно, так думаю я, но своего мнения никому не навязываю. Чистая, первоизданная вера в Бога, называемая “детской”, которая существовала у многих русских людей, сейчас бывает у немногих верующих, сознание собственной “интеллектуальности” слишком глубоко проникло в душу человеческую. Все это горько и грустно, но верю: Господь Бог в конце концов откроет Свою мудрость людям.

Я встречаюсь со многими людьми, каждый из них в той или иной мере открывает мне свою душу, но всех ли, проходящих ко мне, я могу назвать духовными детьми? К сожалению – не всех; у некоторых в духовном мышлении появился рационализм, я для них – не духовный отец, руководящий их жизнью, как это было в общине, а священник, призванный исповедовать, отпускать грехи и причащать. Мои советы и наставления они выслушивают, но поступают и живут по собственному разумению, при этом считают меня своим духовным отцом, обманывая себя, что живут под моим духовным руководством. Беседуя с приезжающими владыками и иереями, я слышу от них такие же высказывания. Духовных дочерей, духовных сыновей и духовных отцов, руководящих их духовной жизнью в полном понимании этого слова, становится все меньше и меньше. Это глубокая духовная трагедия современного верующего человека, но верю – это пройдет, и вновь возродятся монастыри и общины. Церкви будет принадлежать ведущая роль в обществе”.

Это последняя беседа о. Арсения. С каждым днем ему становилось все хуже и хуже.

* * *

С каждым годом нас, сестер и братьев, стоявших когда-то у истоков общины в двадцатые годы, становится все меньше. Раньше я не могла запомнить имена всех сестер, а в 1977 г. нас осталось там мало, что чувство глубокой грусти и скорби охватывает душу. В двадцатые годы большинству из нас было по двадцать – тридцать лет, а сейчас самым младшим не менее семидесяти пяти, а другим далеко за восемьдесят.

Каждый из еще живущих и уже ушедших получил в жизни огромное количество глубоких ран и шрамов, у многих родные погибли на Отечественной войне, в лагерях, тюрьмах, ссылках, от голода или в других жизненных невзгодах – такой была жизнь почти всех людей нашего времени.

Но у нас было главное, что только может быть у человека: вера в Бога, Церковь и наставник – старец о. Арсений, вложивший в наши души понимание духовности и любви к людям. Уходящие из земной жизни покидали ее с верой в Бога и молитвой к Пресвятой Богородице и святым, с надеждой на спасение души по милости Господней.

Многим десяткам, а может быть и сотням людей, пришедшим к о. Арсению после 1958 г., дал он веру, многих направил своей молитвой к Богу, к познанию Церкви. Сейчас старые члены общины двадцатых годов и те, кто пришел после 1958 г., встречаются, как самые родные люди, объединенные в одно целое наставлениями, поучениями и любовью о. Арсения. Он всех нас любил, мы все – его духовные дети. Батюшки теперь нет с нами, но в своих несчастьях и бедах мы спешим помочь друг другу, ибо этому учил он нас.

Каждый из нас, еще живущий на земле, просит молитв батюшки перед Господом и Пресвятой Богородицей. Мы – сироты Твои, моли Бога о нас, грешных, батюшка о. Арсений! Вечная, вечная память тебе, наш старец и духовный отец иеромонах Арсений!

Воспоминания написала и произвела запись

бесед и воспоминаний духовных детей

о. Арсения Кира Бахмат.

Из архива В. В. Быкова

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВОСПОМИНАНИЯМ ОБ ОТЦЕ АРСЕНИИ

Июль 1999 г.

21 июня 1999 г. ректор Православного Свято-Тихоновского Богословского Института протоиерей Владимир Воробьев попросил меня написать воспоминания о моих встречах со старцем иеромонахом Арсением. Я опрометчиво согласился. Почему опрометчиво? Придя домой, просматривая книгу “Отец Арсений”, написанную его духовными детьми, долго и близко общавшимися с ним с 1920 г. до самой кончины в 1975 г., я осознал, что могу добавить лишь немного к тому прекрасному, что уже написано. Ведь я впервые встретил батюшку в Москве в 1961 г. и потом встречался с ним одиннадцать-двенадцать раз только в Москве, когда он после лечения в клиниках жил по две недели у своих духовных детей. Я приходил всегда со своей женой Елизаветой,

она уже хорошо знала о. Арсения и ездила к нему в г. Р., теперь можно писать Ростов (Северный) [27].

Самая продолжительная из моих встреч с о. Арсением была в 1967 г. и длилась больше трех часов, небольшая часть беседы касалась личных проблем, а основная была посвящена расспросам батюшки об общине, руководившейся о. Сергием Мечевым (все знали общину под названием “Маросейка”) и о владыках и иереях, с которыми мы встречались в жизни, но об этом напишу дальше. Хотя остальные встречи были кратковременными, но входил я к о. Арсению одним человеком, а уходил совершенно другим, получившим новое духовно обновляющее наставление, совет, помощь, разъяснение возникавших недоумений. Память на расстоянии прошедших лет тускнеет, многое забывается, однако обещание, данное о. Владимиру, я обязан исполнить, ибо сказанное “да” не должно быть нарушено.

Прежде, чем писать, вспоминая, подошел к книжной полке, посмотрел, сколько вышло изданий книги “Отец Арсений” и увидел, что в России, начиная с 1993 г., вышло шесть изданий, общим тиражом приближающимся к 500 тысяч экземпляров, два издания вышли в Греции на греческом языке, два – в США на английском, и есть сообщение, что книгу издают и во Франции. Такое количество изданий в России и за рубежом, а также огромные тиражи сделали эту книгу одной из самых читаемых среди православных христиан, и это заслуга Православного Свято-Тихоновского Богословского Института и Братства во Имя Всемилоостивого Спаса, положивших начало ее изданию и широкому распространению) среди верующих.

Мне придется немного рассказать об общине, руководившейся о. Сергием Мечевым и о моей личной жизни, потому что это связано с упоминанием имени о. Арсения, которое я впервые услышал в 1938–1939 гг.

В 1920–30-е гг. о. Сергием Мечевым обсуждался вопрос о посвящении в тайные иереи девяти братьев общины епископом Афанасием (Сахаровым). Трое братьев были уже посвящены: Федор Семенов (он был маросейским и подкопаевским), Герман и Георгий. Но владыка Афанасий оказался вновь в заключении в лагере, и о. Сергей с сожалением сказал: “Не успели мы, а вот иеромонаху Арсению Владыка посвятил десять братьев во иереи. Сейчас договариваемся с епископом Мануилом (Лемешевским), он готов произвести посвящение братьев нашей общины”. Из девяти епископ Мануил посвятил пять: Романа, Бориса, Петра, Константина, пятого имя не помню [28]. Но через некоторое время все посвященные им были вызваны на Лубянку, трое получили “сроки”, двое отрицали посвящение, подверглись тяжелому физическому воздействию и были отпущены, но находились под постоянным наблюдением. Самым странным было то, что к отрицавшим посвящение дважды на дом приходил епископ Мануил и просил признаться “органам” (??).

О предполагавшемся посвящении еще четырех братьев епископ Мануил не знал, трое из них уже при Патриархе Алексии I были посвящены во иереи, но в разных епархиях, и в 1945–1946 гг. служили в храмах. Все, о чем пишу сейчас, я узнал только в пятидесятые годы, ибо даже посвящаемые не знали, кто из других братьев должен был стать или стал священником. Время было страшное, и тайно посвященные иереи совершали домашние литургии у ограниченного круга лиц, которым запрещалось сообщать об именах священников и совершенных службах. Вот так мы жили в те годы.

Второй раз имя о. Арсения я услышал в 1940 г. после литургии за трапезой у нас дома. Жили мы с женой Еленой (Лелей) в отдельной двухкомнатной квартире (в мезонине трехэтажного дома в Малом Козихинском пер., д. 14), поэтому у нас два раза в месяц по воскресеньям служились тайные литургии, совершаемые скрывавшимися от ареста священниками закрытых церквей или тайно посвященными иереями. Литургия 1940 г., а также все на ней присутствовавшие мне хорошо запомнились. Обычно на такие службы приглашались только члены Маросейской общины, но иногда приглашались и члены других общин, в верности которых не было сомнений. Дабы все было понятно, скажу, что состав и число приглашенных определялся не хозяевами квартиры, а специально выделенным для этого в общине человеком (это была Сима – Серафима Соловьева), мы сами могли приглашать только двух человек, наших друзей. Серафима устанавливала очередность посещения литургий братьями и сестрами. Общиной руководил о. Сергей Мечев, сын известного московского старца о. Алексея Мечева, духовным сыном которого я был мальчиком 12 лет и исповедовался у него. В 1939 г. о. Сергей жил в г. Калинин (Твери) под надзором НКВД. Я неоднократно ездил к нему, иногда батюшка тайно приезжал летом на станцию “Мцыри” Октябрьской железной дороги, где многие встречались с ним в лесу. Отец Сергей был духовным отцом Лели и моим, и он же благословил нас на брак.

Возвращусь к литургии, проходившей у нас дома. Совершал ее о. Александр “горбатенький”, невысокого роста и действительно немного горбатенький, фамилии его я не знаю, ранее он был иереем в Подкопаевском храме, тогда уже закрытом. Жил, вернее, скрывался на разных квартирах в Москве или уезжал в г. Боровск, где и умер впоследствии от воспаления легких во время оккупации города немцами. Служил литургию о. Александр у нас много раз. Невысокого роста – скорее, почти маленького, с постоянно добрым и приветливым лицом, он был светел и лучезарен, и очень напоминал мне старца о. Алексея Мечева. Все, кто знал, любили его. Когда я исповедовался у него, то не напрягаясь, без малейшего усилия, смущения рассказывал о своих грехах, словно говорил самому себе, и от каждого слова и жеста о. Александра исходила доброта и всепрощение. Удивительный был человек и священник о. Александр.

Кончилась литургия, причастники поздравили друг друга, причащались все. Поставлен стол, расставлены чашки, тарелки, все сели вокруг стола, Леля и я начинаем всех поить и кормить. Вглядываюсь – все знакомые лица, кроме двух. На литургии присутствовали: Елизавета Замятина, ее двоюродная сестра Людмила Дилигенская, впоследствии тайная монахиня Серафима, филолог и режиссер, Зоя Прянишникова – дочь академика Прянишникова, Павел Оленин, сын композитора, Елена Сергеевна Волнухина, дочь скульптора (автора памятника первопечатнику Ивану Федорову), тайно приехавшая из Орла или Рыбинска, Андрей, духовный сын о. Михаила Шика, Юрий и Кира и, конечно, Леля и я. Леля – Моя первая жена, умершая 8 июля 1943 г. Отец Александр всех нас знал, встречаясь на службах, но Юрия и Киру видел впервые, так же, как и я, и обратился к ним с вопросом: “Кто Ваш духовный отец?” – “Наш батюшка – иеромонах Арсений, все время был в ссылках, сейчас заключен в лагерь”. Отец Александр спросил еще что-то уточняющее, сказав: “Иеромонаха Арсения встречал не раз в 1925–1927 гг., но я тогда еще иереем не был. Знаю, знаю”.

Как вы уже поняли, об иеромонахе Арсении до 1958 г. я слышал дважды, значения этому не придал и не предполагал, что встречу с ним.

В 1960 г. двоюродная сестра моей второй жены Елизаветы – Людмила Дилигенская (в тайном монашестве Серафима) пригласила Лизу поехать в г. Ростов к старцу иеромонаху Арсению, вот тогда-то я услышал в третий раз о старце. Ездили они в Ростов втроем: Людмила, Елизавета и Кира. После своего первого приезда к батюшке с глубокой проникновенностью рассказывала мне о нем, ибо почти с 1941 г. по 1960 г. духовного руководителя в полном смысле этого слова у нас не было. С этого времени Лиза ездила к о. Арсению два раза в год, но обязательно в сопровождении Людмилы или Киры, одну ее не отпускал. Я к о. Арсению не ездил. Работал на двух работах, вставал в шесть утра, работал до 16 ч. 30 м. на одной и быстро ехал на вторую и приходил в 22 ч. 15 м. домой, успевал только пообедать и усталый ложился спать. Лиза не работала после выхода замуж, занималась хозяйством, воспитывала сына Александра.

Первая моя встреча с о. Арсением произошла в январе 1961 г. В это время мне давали двухкомнатную квартиру в неприятном рабочем районе, а жили мы на Арбате в коммунальной квартире, и Лиза никак не могла решить, переезжать или нет, новый район ей не нравился. Пришли к о. Арсению вдвоем, он выслушал нас и благословил переехать. Встреча наша произошла на квартире Юрия и Киры Бахмат, и в дальнейшем мы почти всегда встречались с о. Арсением у них, редко у Люды или Наталии Петровны.

Вторая встреча была долгой. “Расскажите о себе”, – сказал мне о. Арсений, и я подробно стал рассказывать. С горестью говорил об умершей первой жене Елене. Начиная с 1930 г., она была инвалидом второй группы – двойной порок сердца, поражение клапанов. Она получала пенсию и дома подрабатывала, печатая на машинке. Я полюбил Лелю, она не соглашалась быть моей женой, но после долгих моих уговоров и благословения духовного отца – о. Сергия Мечева вышла за меня замуж 17 июля 1936 г., все время мучительно переживая, что своей болезнью “портит” мне жизнь, но это было глубочайшее ее заблуждение.

Филолог по образованию, работать по специальности она не могла. Пришла в общину о. Сергия в 1924 г. вместе со своими друзьями: Александрой Цуриковой (впоследствии женой иерея Федора Семененко), Ириной Свешниковой, Валентином Ивановым. Здесь после тяжелых переживаний, связанных со смертью матери, она нашла душевный покой и духовное руководство о. Сергия, много настоящих, хороших, добрых друзей, с которыми дружила до самой смерти. Это были Мария Николаевна Соколова (монахиня Иулиания), учившая ее иконописи, но не только ее, а многих братьев и сестер общины, Елена Майдель, Зоя Прянишникова, Павел Оленин, Татьяна Куприянова (впоследствии жена тайного иерея Бориса Васильева), моя сестра Елена Апушкина-Быкова (впоследствии жена иерея Константина Апушкина), Мария Александровна Залесова, протоиерей Петр Гнедич – преподаватель Ленинградской, затем Московской Духовной Академии и многие другие. Елена жила общиной и жила в общине, была она человеком необыкновенной доброты, веры,

молитвенности и постоянной помощи окружающим людям. Начиная с 1934 г. возникла большая и тесная дружба между женой и Елизаветой Замятиной – любимой духовной дочерью о. Сергия и одной из деятельных сестер общины. Елизавета всегда была на всех литургиях, совершавшихся у нас дома. Кроме того, три раза в неделю у нас читались вечерня, утреня, часы, акафисты, и на них всегда присутствовали Лиза, Павел Оленин, Зоя Прянишникова, конечно, хозяйка квартиры моя жена Елена. Я приходил с работы поздно и заставал почти всегда конец службы.

Я рассказал о. Арсению о последней предсмертной болезни Елены в 1943 г. (хотя каждый год, начиная с 1934 г., она тяжело заболела и по три месяца лежала в постели с тяжелой одышкой и застойным воспалением легких). Рассказал об удивительной духовной дружбе Елены и Елизаветы, в результате чего Леся (она понимала, что умирает) обратилась к Лизе в марте 1943 г. с просьбой, чтобы Лиза вышла за меня замуж. Мне Елена сказала: “Я уйду, ты не можешь жить один, тебе нужен сильный в духовном отношении человек. Я скоро уйду, не утешай меня, я все понимаю и знаю. Прошу тебя, пусть твоей женой станет Лиза, человек сильного характера, огромной веры, любви к людям, способный во всем помогать тебе. Она намного выше меня в своем духовном развитии, красивее и привлекательнее. Это мое завещание, я просила также и Лизу быть твоей женой”.

Но все оказалось сложным и трудным, Лиза категорически отказалась выходить замуж, мечта ее начиная с 18 лет была уйти в монахини, но мои воспоминания не об этом. Господь все же соединил нас.

Я рассказал о. Арсению свою жизнь, он ни разу не перебил, не остановил, только слушал и внимательно смотрел на меня, и когда я кончил, сказал, повернувшись к иконам: “Давайте помолимся Господу, Пресвятой Богородице Владычице и святым Елизавете и Захарии, святому князю Владимиру, святым Константину и Елене, возблагодарим Бога за милость Его”. После молитвы он говорил мне слова, которыми все мной сказанное переосмыслил, приоткрыл и оценил с точки зрения духовности, веры, и все недосказанное мною о Елене, Лизе и себе, о взаимоотношениях с окружающими положил передо мной, сказав: “Владимир, Владимир! Я поражаюсь той великой милости, что оказал вам Господь и Пресвятая Богородица. Они послали вам двух удивительно духовных женщин, жену Елену, жену Елизавету, которые верой и образом своей жизни вкладывали в вас силу веры, внутренне питали вас этой верой и этим спасли от всего плохого. Господь по милости Своей еще мальчиком привел вас к великому старцу московскому о. Алексею Мечеву и дал вам возможность почти до самого расстрела замечательного иерея о. Сергия Мечева (я знал его) быть его духовным сыном. То, что вы рассказали о вашей жене Елене и о Елизавете Александровне радует меня, иерея Арсения, и как бы я хотел, чтобы все сестры нашей небольшой общины были такими, как они. Благодарите Господа за все и вся, а Елизавету Александровну знаю уже два года”. Много еще сказал мне батюшка, а я всей душой прилепился к нему и в коротких и довольно редких встречах с ним находил духовную радость и утешение.

Я прочел почти все воспоминания об о. Арсени, помню, что писали люди, исповедовавшиеся у него или беседовавшие с ним, поражаясь его способности проникать духовным взглядом в человеческую душу. Я также был тогда потрясен, и весь мой рассказ о себе показался после его слов поверхностным, неполным. Обращаясь ко мне, о. Арсений каждым своим словом, словно с лукавицы, снимал с меня шелуху, показывая ошибки, заблуждения, несовершенство. Говоря о Елизавете, подчеркнул ее высокую внутреннюю духовность и веру и, улыбнувшись доброй и теплой улыбкой, произнес: “Она в жизни вашей духовный руководитель и наставник. Елизавета Александровна очень ранима, по совершенству и чистоте души все воспринимает на свое сердце, и это оставляет незаживающие рубцы. Берегите ее – люди с такой душой редки”.

Отец Арсений обладал необыкновенным даром прозорливости, иногда пугавшим и удивлявшим приходивших к нему людей. Выше среднего роста, с чуть-чуть удлинненным овальным красивым лицом, небольшой бородкой, довольно густыми, когда-то вероятно темными, а сейчас почти седыми волосами, большими карими добрыми глазами и всегда добрым приветливым лицом, он сразу располагал к себе человека. С левой стороны лица почти от самого глаза тянулись два шрама, скрываясь под бородой, с правой стороны на половине лба проходил беловатый рубец, уходивший к виску и пропадавший в волосах головы. Воспоминания о. Арсения и его духовных детей подробно рассказывают о перенесенных им тяжких физических страданиях, но он не горбился, не сутулился, ходил прямо. Никогда не жаловался ни на что, хотя был тяжело болен, а всегда благодарил Господа и Пресвятую Богородицу за все, постоянно творя Иисусову молитву. Из святых особенно почитал свв. Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Пантелеимона целителя, св. равноапостольную Марию Магдалину, Марию Египетскую, апостола любви Иоанна Богослова, Николая чудотворца.

В 1967 г. состоялась долгая беседа о. Арсения со мной, Лизой, Киной, Юрием и Людмилой Дилигенской. Батюшка подробно расспрашивал Лизу, Людмилу и меня об общине о. Сергия Мечева, о старце о. Алексее Мечеве и почему-то просил рассказать об иереях, встреченных нами в жизни. Имен было много, и иногда о. Арсений говорил: “Я знал его, встречался с ним в Оптиной пустыни” или “он был духовным сыном старца Нектария”, а этот – “погиб в лагерях” или “расстрелян”. Про одного сказал: “Заблудился, ушел в “Живую церковь”. Слушая нас, батюшка был грустен, многие имена, вероятно, напоминали давно ушедших из жизни друзей и знакомых, но некоторые имена священников, называвшиеся нами, были ему неизвестны. “Напишите мне имена иереев, – расстрелянных, погибших в лагерях и ссылках, умерших, я буду поминать их” – сказал о. Арсений. Мы написали не только тех, кого называли батюшке, но и имена еще многих иереев и диаконов.

В 1971 г. мне впервые встретилась у знакомых отдельная тетрадка самиздатовских воспоминаний об о. Арсении, они поразили необыкновенной современностью, правдивостью и духовностью, показывавшей жизнь людей в наше трудное время 1920–1960-х гг. Стал собирать воспоминания у духовных детей о. Арсения, кто-то давал охотно, других приходилось упрашивать, некоторые отказывали. В 1975 г. батюшка скончался, и многие из духовных его детей ранее написанные свои воспоминания стали дополнять, пришлось вновь и вновь собирать написанное.

В 1993 г. Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт и Братство во Имя Всемилостивого Спаса издали на основе самиздата книгу “Отец Арсений”, полюбившуюся верующим и быстро распроданную. Однако я знал, что у духовных детей о. Арсения имеется еще много воспоминаний, не вошедших в книгу. С момента смерти о. Арсения прошло более 20 лет, ранее дружившие со мной Кира, Юрий, Наталия Петровна, Юля, Люда и другие уже умерли (в 1995 г. им было бы по 92–93 года), их дети и внуки неохотно давали написанное, а то и отказывали. Почему? Понять было трудно, но так было. Все же по благословению о. Владимира Воробьева удалось для третьего издания (1998 г.) собрать 12 воспоминаний, а для четвертого издания – с огромным трудом еще 16 воспоминаний.

Сейчас мне уже за 90 лет, но сказанное о. Арсением по-прежнему живет во мне, напоминая о необходимости глубокой веры в Господа, постоянной молитвы и верности великой евангельской истине, выраженной словами: “возлюби ближнего своего, как самого себя”.

Владимир Владимирович Быков.

“Не стоит село без праведника” – гласит русская пословица. Кто эти праведники, если стоит еще наша Россия, пройдя через страшный XX век?

Эти праведники – лучшие люди нашего народа, в которых горел неугасимый огонь веры, епископы и священники, монахи и простые верующие люди, крестьяне и рабочие, дворяне, купцы, фабриканты, учителя, военные, представители всех сословий, – расстрелянные, сосланные на мучения и смерть в лагеря, гонимые за веру в Бога, за верность тому призванию, которое было им дано Богом.

Жизнь этих людей – это самые прекрасные страницы нашей истории, пример веры, верности и мужества нам и всем последующим поколениям. Этим людей, не отступивших от Бога даже перед лицом смерти, многие и многие тысячи. Почти все они уже покинули этот мир, но живы еще свидетели их жизни, которые могут рассказать о них, об их исповедническом подвиге и мученической кончине.

Пройдет еще немного времени, и этих свидетелей не останется. Наше время – последнее, когда можно записать и собрать бесценные свидетельства о жизни многих подвижников и исповедников XX века. Собрать, сохранить и сделать известными жизнеописания праведников – важнейшая задача нашего времени и наш долг перед Богом и людьми. Народ, сохранивший память о своем прошлом, сможет надеяться на будущее, свидетельства о житиях наших новых святых – лучшее средство доброго воспитания младших поколений.

По благословению Святейшего Патриарха Алексия II в Православном Свято-Тихоновском Богословском Институте ведутся работы по сбору и обработке материалов, связанных с судьбами репрессированного в XX веке духовенства Русской Православной Церкви. В Институте создана информационная система по анкетным данным более 14.000 человек – иерархов, священников, монашествующих и простых верующих, пострадавших за Христа во времена недавних гонений на Русскую Православную Церковь. Помяник новых мучеников, составленный по этим сведениям и содержащий имена пострадавших текущего дня, сегодня читается в монастырях и приходах по всей России.

Редакция обращается ко всем живым свидетелям, к людям старшего поколения, к работникам библиотек, архивов и музеев, к тем, кто уже ведет эту работу, – с просьбой сообщать все

малоизвестные сведения о жизни Русской Православной Церкви XX в., ее духовенства и известных деятелях на кафедре Новейшей истории Русской Православной Церкви по адресу: 113184, Москва, Новокузнецкая ул., 23Б; факс 953-56-97; e-mail pstbi.ccas.ru.

КОНЕЦ ПЯТОЙ ЧАСТИ

[1] По дальнейшим воспоминаниям это был май 1940 г.

[2] Прот. Сергей Орлов служил в Покровском храме с. Акулово у станции Отрадное Белорусской ж. д. с 1946 г. до февраля 1975 г.

[3] Духовным детям о. Арсения Юрию и Елене посвящен рассказ "Елена".

[4] Молитва печатается так, как она приведена в оригинале.

[5] Те, кто валил когда-либо деревья, могут засвидетельствовать, что оттолкнуть руками падающее дерево так же невозможно, как, например, столкнуть идущий по рельсам тепловоз. - Ред.

[6] Митрополит Сергей (Страгородский) с 1925 г. возглавлял Русскую Православную Церковь в качестве заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра (Полянского), утвержденного в этой должности после кончины св. Патриарха Тихона согласно его завещанию и арестованного в декабре 1925 г.

[7] Е. А. Тучков (1892-1957) - видный чекист, с 1919 г. работавший на поприще борьбы с Русской Православной Церковью. Находясь на должности начальника 6-го т. н. "церковного" отдела ГПУ-ОГПУ, проводил в жизнь политику Ленина, Троцкого, Сталина, Бухарина, Менжинского, Ягоды и др. Вел допросы св. Патриарха Тихона, св. митрополита Петра (Полянского). В 1927 г. был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1939 г. был вынужден уйти из карательных органов, с 1940 г. возглавлял "Союз воинствующих безбожников".

[8] "Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены" (Рим. 13, 1).

[9] Берия Лаврентий Павлович (1899-1953) - с февраля 1941 г. по июнь 1953 г. был заместителем председателя СНК, впоследствии - Совмина СССР. В начале 1950-х гг. возглавлял очередную, последнюю волну репрессий, окончившуюся уже после смерти Сталина.

[10] Протоиерей Всеволод Шпиллер (1902-1984) в 1950 г. вернулся в Россию из Болгарии, где он прожил в эмиграции более 30 лет. С 1951 г. был настоятелем московского храма святителя Николая в Кузнецях. Известен как богослов, замечательный проповедник и духовник, создавший крепкую общину и воспитавший целый ряд учеников. Отец Всеволод имел огромный духовный авторитет и множеству людей помог придти к Богу, найти свой церковный путь.

[11] В 1968 г. в Белоруссии правящим архиереем был архиепископ Антоний (Мельников).

[12] Мф. 10, 30; Лк. 21, 18; Деян. 27, 34.

[13] Примечание: воспоминания о. Серафима записаны в последовательности его рассказа, хотя иногда повествование о каком-либо событии, начатое в начале воспоминаний, перебивается другим, а потом возникает вновь.

[14] Архиепископ Иларион (Троицкий) был в заключении в Соловецком лагере в 1924-1925 гг., затем в 1926-1929 гг.

[15] По-видимому, прот. Федор Семененко.

[16] Опыт спасения людей из-под завалов показывает, что в зажатых конечностях кровь уже через несколько часов начинает разлагаться, - и после освобождения люди умирают от общего отравления.

[17] Сергей Есенин. Сочинения в 2-х томах. М., 1955. Т. 1. С. 66.

[18] Все упомянутые здесь стихотворения Максимилиана Волошина опубликованы в его книге "Избранные стихотворения". М., Советская Россия. 1988.

[19] Н. Гумилев. Стихи. Поэмы. Тбилиси, 1989. С. 281.

[20] Отец Сергей Мечев.

[21] Епископ Афанасий (Сахаров) (1887-1962) - один из замечательных архиереев эпохи гонений. Проведя, по его собственным словам, "За 33 года архиерейства на епархиальном служении - 33 месяца, на свободе не у дел - 32 месяца, в изгнании - 76 месяцев, в узах и горьких работах - 254 месяца", епископ Афанасий после освобождения из лагеря в 1954 г. жил у своих духовных чад сначала в г. Тутаеве Ярославской обл., потом в г. Петушки Владимирской обл.

[22] После издания митрополитом Сергием (Страгородским) "Декларации" от 29 июля 1927 г. многие епископы, священники, монахи и миряне не стали подчиняться митрополиту Сергию и поминали на богослужении его имя в качестве Заместителя Патриаршего Местоблюстителя, поминая

только сосланного митрополита Петра (Полянского) - Местоблюстителя Патриаршего Престола. Это было вызвано принятием митрополитом Сергием компромиссной линии в управлении Церковью, для многих неприемлемой.

[23] Прот. Александр Толгский (1880-1962) в течение 26 лет, с 1936 г. до своей кончины, был настоятелем московского храма св. пророка Божия Илии в Обыденском пер.

[24] Прот. Сергей Орлов, в тайном постриге иеромонах Серафим (1890-1975), был потомственным священником в Покровском храме с. Акулово у ст. Отрадное Одинцовского р-на Московской обл., где служил с 1946 г. по 1975 г. Обладал глубокой эрудицией и одновременно являл пример монашеского подвига, общался с широким кругом замечательных епископов и священников, многих из них исповедовал.

[25] Возможно, речь идет о прот. Серафиме Голубцове (1908-1981), служившем в московском храме свв. апп. Петра и Павла в Лефортово с 1961 по 1964 гг. С 1964 по 1973 гг. о. Серафим служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Черкизове, затем был настоятелем храма в пос. Тайнинская Московской обл.

[26] Архиепископ Иларион (Троицкий) (1886-1929) - ближайший сподвижник св. Патриарха Тихона. Талантливый богослов-мыслитель и церковный писатель, профессор Московской Духовной Академии, на Соборе 1917-1918 гг. он был активным защитником идеи восстановления Патриаршества. В 1920-х гг. ревностно боролся с обновленчеством. Неоднократно бывал в тюрьмах, лагерях и ссылках. В 1924-1925 гг., затем в 1926-1929 гг. был в заключении в Соловецком лагере, в 1925-1926 гг. - в Ярославской тюрьме. За талант, масштабную церковную деятельность, твердость в делах веры и преданность Церкви его именовали в церковных кругах "Иларионом Великим". Скончался от сыпного тифа в больнице тюрьмы "Кресты" в Ленинграде. Прославлен в лике святых 10 мая 1999 г.

[27] Город Ростов Великий Ярославской обл.

[28] В деле митр. Мануила (Лемешевского) упоминаются имена четырех поставленных им священников: Романа, Бориса, Константина, Валерия. - Ред.